This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

215

EX LIBRIS

STANFORD LIBRARIES

Gift of

Mr. and Mrs. Julian J. Meyer

215.

1883

И. Гончаров

Печат. въ артист. завед. А. Ф. Маркса. СПБ.

Начало писанія этого романа относится къ концу сороковыхъ годовъ. Помнится, *Сонъ Обломова* напечатанъ въ *Альманахѣ* при *Современникѣ* въ 1848 или 1849 году. Этой главы (*Сонъ Обломова*) тутъ нѣтъ.

И. Гончаровъ.

Обломовъ.

ЧАСТЬ I.

Въ Гороховой улицѣ, въ одномъ изъ большихъ домовъ, народонаселенія котораго стало бы на цѣлый уѣздный городъ, лежалъ утромъ въ постели, на своей квартирѣ Илья Ильичъ Обломовъ. Это былъ человѣкъ лѣтъ тридцати пяти отъ роду, полный, гораздо полнѣе, нежели обыкновенно бываютъ люди въ эти лѣта. Независимо отъ этой благопріобрѣтенной полноты, кажется и сама природа не позаботилась сладать его построннѣе. Голова у него была довольно большая и высокая; глядя на

Goncharov, I. A.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ И. А. ГОНЧАРОВА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Съ портретомъ автора, гравированнымъ академикомъ И. П. Пожалостинымъ, и факсимиле.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1899 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1899.

PG3337
G6
1899
v.1,11-12
c.2

Типографія А. Ф. Нарикса. Ср. Подьяч., № 1.

Иванъ Алекеандровичъ Гончаровъ

(6-го іюня 1812—15-го сентября 1891).

Біографическій очеркъ.

Иванъ Александровичъ Гончаровъ родился 6-го іюня 1812 г. въ Симбирскѣ. Въ противоположность большинству писателей сороковыхъ годовъ, Гончаровъ происходилъ изъ очень зажиточнаго купеческаго семейства, что не помѣшало ему, однако, получить весьма тщательное по тому времени образованіе. Мать его, простая, но хорошая женщина, на рукахъ которой онъ остался, послѣ смерти отца, трехлѣтнимъ ребенкомъ, ничего не жалѣла для воспитанія сына. Обстоятельства пришли ей на помощь. На другой сторонѣ Волги, въ имѣніи княгини Хованской, жилъ священникъ, мало похожій на обычный типъ захолустнаго, деревенскаго попа. Это былъ воспитанникъ казанской духовной академіи, образованный и просвѣщенный. Вещь еще болѣе замѣчательная для православнаго священника — онъ былъ женатъ на француженкѣ. Съ ея помощью онъ открылъ пансіонъ, имѣвшій большой и вполнѣ заслуженный успѣхъ среди мѣстнаго дворянства. Сюда-то, по совѣту друзей матери, былъ отданъ молодой Гончаровъ.

Дѣло обученія и воспитанія велось священникомъ чрезвычайно тщательно. Онъ слѣдилъ не только за ученіемъ, но и за чтеніемъ своихъ учениковъ, которое регулировалось строгимъ выборомъ. Дѣтямъ давали только серьезныя книги, и даже такая вещь, какъ Фонвизинскій «Бригадиръ», была исключена изъ числа разрѣшенныхъ книгъ, чтобы отдалить юношескіе умы отъ всякаго намека на фривольность и легкомысліе. нельзя Не обратить вниманіе на этотъ строгій Выборъ. въ біографіяхъ другихъ нашихъ писателей мы въ

огромномъ большинствѣ случаевъ наталкиваемся на фактъ совершенно противоположный; въ домѣ имѣется отцовская или дѣдовская библіотека, наполненная, какъ у всѣхъ людей веселаго XVIII вѣка, разными веселыми романами; доступъ къ библіотекѣ совершенно свободенъ, — и юноша читаетъ рѣшительно все, что попадается подъ руку. Правда, и Гончаровъ, когда возвращался домой на праздники и каникулы, доставалъ сентиментальные романы г-жи Жанлисъ и полные привидѣній и всяческихъ ужасовъ романы г-жи Радклифъ и даже мистическія мудрствованія Экгартгаузена; но все-таки въ общемъ характеръ чтенія былъ дѣловой и серьезный. Въ 12 лѣтъ Гончаровъ уже прочиталъ, кромѣ произведеній нашихъ классиковъ—Державина, Хераскова, Озерова, и цѣлый рядъ ученыхъ сочиненій: исторію Ролена, Голикова, путешествія Мунго-Парка, Крашенинникова, Палласа и др. Путешествіями молодой Гончаровъ особенно увлекался. Къ нимъ, кромѣ поощренія пансіонскаго начальства, автора «Фрегата Паллады» привлекали разсказы крестнаго отца — стараго моряка, выведеннаго въ «Воспоминаніяхъ» подъ именемъ Якубова. Именно это раннее чтеніе путешествій было главнымъ источникомъ рѣшенія Гончарова ѣхать кругомъ свѣта, рѣшенія— столь противорѣчащаго обычному комфортабельному теченію его жизни, при которомъ «откажешься ѣхать на вечеръ въ конецъ города, подъ предлогомъ «далеко ѣхать», боишься пропустить урочный часъ лечь спать» («Фрегатъ Паллада»).

Внутренняя жизнь родительскаго дома въ значительной степени напоминала Обломовку. Семья жила въ большомъ каменномъ домѣ, который выходилъ на три улицы. «Домъ у насъ», говоритъ Гончаровъ въ своихъ воспоминаніяхъ:—«былъ, что называется, полная чаша. Большой дворъ, даже два двора, со многими постройками: людскими, конюшнями, хлѣвами, сараями, амбарами, прачечной и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры и утки, все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разнаго пшена и всяческой провизіи для продовольствія нашего, и обширной дворни. Словомъ, цѣлое имѣніе, деревня».

Нельзя сомнѣваться въ томъ, что, рисуя жизнь въ Обломовкѣ, Гончаровъ имѣлъ передъ глазами картины дѣтства. Онъ и прямо объ этомъ говоритъ въ воспоминаніяхъ:

«По пріѣздѣ домой, по окончаніи университетскаго курса, меня обдало той же «обломовщиной», какую я наблюдалъ въ дѣтствѣ. Самая наружность родного города не представляла ничего дру-

гого, кромѣ картины сна и застоя. Тѣ же бо́льшею частью деревянные, посѣрѣвшіе отъ времени дома и домишки, съ мезонинами, съ садиками, иногда съ колонками, окруженные канавками, густо заросшими полынью и крапивой, безконечные заборы; тѣ же деревянные тротуары съ недостающими досками, та же пустота и безмолвіе на улицахъ, покрытыхъ густыми узорами пыли. Вся улица слышитъ, когда за версту ѣдетъ телѣга или стучитъ сапогами по мосткамъ прохожій. Такъ и хочется заснуть самому, глядя на это затишье, на сонныя окна съ опущенными шторами и жалюзи, на сонныя физіономіи сидящихъ по домамъ или попадающихся на улицѣ людей. «Намъ нечего дѣлать», зѣвая, думаетъ, кажется, всякое изъ этихъ лицъ, глядя лѣниво на васъ: «мы не торопимся, живемъ—хлѣбъ жуемъ, да небо коптимъ».

Непосредственно помѣщичью жизнь Гончаровъ и не зналъ даже. Въ «Слугахъ» онъ категорически заявляетъ: «Я не знаю сельской жизни», «я не владѣлъ крестьянами, не было у меня никакой деревни, земли; я не сѣялъ, не собиралъ, даже не жилъ никогда по деревнямъ»; только «ребенкомъ девяти и десяти лѣтъ я прожилъ въ деревнѣ два года»; «я вѣкъ свой провелъ въ городахъ».

Если, тѣмъ не менѣе, Гончарову въ «Обломовѣ» удалось создать такую поразительно-типичную картину помѣщичьяго быта, то это, конечно, только отчасти потому, что жизнь въ началѣ вѣка въ захолустныхъ городахъ, да еще въ такихъ домахъ-помѣстьяхъ, какъ домъ родителей Гончарова, мало чѣмъ отличалась отъ заправской усадебной жизни; главная же причина заключается въ удивительнѣйшемъ дарѣ обобщенія, присущемъ Гончарову въ бо́льшей степени, чѣмъ кому бы то ни было изъ его литературныхъ сверстниковъ.

Съ воспоминаніями о Симбирскѣ тѣсно связанъ и «Обрывъ». Только первая часть романа происходитъ въ Петербургѣ, затѣмъ дѣйствіе перенесено въ маленькій приволжскій городъ — это и есть Симбирскъ. Идея романа блеснула въ головѣ автора въ 1849 году, когда онъ «послѣ 14-лѣтняго отсутствія пріѣхалъ повидаться съ родственниками на Волгу». «Тутъ толпой хлынули ко мнѣ старыя, знакомыя лица, я увидѣлъ еще не отжившій патріархальный бытъ, и вмѣстѣ новые побѣги, смѣсь молодого со старымъ». Сады, Волга, обрывы Поволжья, родной воздухъ, воспоминанія дѣтства—все это залегло въ голову автору и послужило впослѣдствіи фономъ романа. По поводу праздновавшагося недавно 250-лѣтняго юбилея Симбирска въ газетахъ сооб-

щалось о лежащей подъ самымъ Симбирскомъ живописной мѣстности Киндяковкѣ. Киндяковская роща—любимое мѣсто прогулки симбирцевъ. «Рядомъ съ ней находится знаменитый *Гончаровскій Обрывъ* и барскій домъ, находящійся въ рощѣ—свидѣтель всего того, что описываетъ Гончаровъ въ своемъ романѣ» *).

Нѣсколько лѣтъ тому въ Симбирскѣ еще были живы старожилы, хорошо помнившіе людей, которые послужили прототипами для главныхъ персонажей «Обрыва».

Въ 1831 году Гончаровъ, пробывши предъ этимъ нѣсколько лѣтъ въ одномъ изъ частныхъ московскихъ пансіоновъ, поступилъ на словесный факультетъ московскаго университета. Въ знаменательное время попалъ онъ въ этотъ университетъ. Какъ мнѣ уже приходилось говорить въ своихъ статьяхъ объ эпохѣ Бѣлинскаго, «въ началѣ тридцатыхъ годовъ московскій университетъ находился на рубежѣ совершенно новой эпохи, на рубежѣ рѣзкой перемѣны въ профессорахъ и студенчествѣ. Цѣлый рядъ молодыхъ профессоровъ: шеллингистъ Павловъ, основатель новѣйшей русской критики Надеждинъ, Шевыревъ — тогда еще молодой энтузіастъ, только-что вернувшійся изъ-за границы и еще не превратившійся въ того сухого педанта, съ которымъ ожесточенно ратоборствовалъ впослѣдствіи кружокъ Бѣлинскаго,—Погодинъ, тоже еще молодой и свѣжій,—всѣ эти молодыя силы внесли новый духъ въ университетское преподаваніе, который не могъ не отразиться и на старыхъ профессорахъ. Вмѣсто прежняго монотоннаго считыванія съ старыхъ тетрадокъ, въ незапамятныя времена заготовленныхъ и изъ года въ годъ, безъ малѣйшихъ перемѣнъ, повторяемыхъ, съ профессорской каѳедры послышалось живое слово, отражавшее въ себѣ стремленія времени, удовлетворявшее нарождающимся потребностямъ жизни».

Большая перемѣна происходитъ и въ студенчествѣ. Студентъ изъ бурша превращается въ молодого человѣка, поглощеннаго высшими стремленіями. До тридцатыхъ годовъ московскіе студенты, главнымъ образомъ, занимались пьянствомъ, буйствомъ, задираніемъ на улицѣ прохожихъ, а въ стѣнахъ университета—устраиваніемъ разнаго рода скандаловъ профессорамъ, въ родѣ такого, наприм.: принесутъ подъ полою воробья въ аудиторію и затѣмъ, когда профессоръ войдетъ въ паѳосъ и воробей примется летать, студенты, будто внѣ себя отъ негодованія, съ шумомъ и гамомъ повскакиваютъ со скамеекъ и начинаютъ ло-

*) «Нива» 1898 г., № 40. «Новь» 1898 г., № 19.

вить нарушителя порядка. Эти времена школьничества и незнанія, куда дѣть запасъ юношескихъ силъ, мало-по-малу исчезаютъ и замѣняются стремленіемъ къ «солнцу истины», какъ выражается Константинъ Аксаковъ въ своихъ университетскихъ воспоминаніяхъ. Именно въ первой половинѣ тридцатыхъ годовъ среди московскихъ студентовъ начинается образованіе тѣсно-сплоченныхъ кружковъ молодыхъ юношей, восторженныхъ и чистыхъ, сходящихся, чтобы выяснить себѣ вопросы нравственные, философскіе, политическіе. Какъ разъ во время пребыванія Гончарова въ московскомъ университетѣ, между студентами организовались два кружка, для характеристики которыхъ достаточно сказать, что въ составъ ихъ входили Станкевичъ, поэты Сатинъ, Красовъ и Клюшниковъ, Константинъ Аксаковъ, Кетчеръ, Евгеній Коршъ, Вадимъ Пасекъ, Бѣлинскій, Герценъ и Огаревъ,—словомъ, почти всѣ члены впослѣдствіи сплотившагося въ одно московскаго кружка, знаменитаго въ исторіи русской литературы подъ именемъ *кружка Станкевича*.

Гончаровъ ни съ кѣмъ изъ нихъ не свелъ знакомства. Умственное направленіе молодого Гончарова было совсѣмъ иное, чѣмъ у Станкевича, Бѣлинскаго и ихъ друзей. Достаточно указать на то, что во время пребыванія своего въ университетѣ Гончаровъ увлекался Карамзинымъ. Между тѣмъ, въ 1834 г., — значитъ, когда Гончаровъ кончалъ курсъ, — въ «Молвѣ» были напечатаны «Литературныя мечтанія» Бѣлинскаго, въ которыхъ онъ, выражая настроеніе и взгляды своего кружка, отрицательно отнесся къ старымъ корифеямъ и между прочимъ писалъ по поводу Карамзина: «И теперь, на могилѣ незабвеннаго мужа, развѣ уже рѣшена побѣда, развѣ восторжествовала та или другая сторона? Увы! Еще нѣтъ! Съ одной стороны насъ, «какъ вѣрныхъ сыновъ отчизны», призываютъ «молиться на могилѣ Карамзина», и «шептать его святое имя», а съ другой—слушаютъ это воззваніе съ недовѣрчивой и насмѣшливой улыбкой. Любопытное зрѣлище! *Борьба двухъ поколѣній, не понимающихъ одно другое*».

Вотъ къ этой-то борьбѣ двухъ поколѣній Гончаровъ и не былъ причастенъ. Сверстникъ Бѣлинскаго и его друзей, авторъ «Обыкновенной исторіи», какъ впослѣдствіи, такъ и въ началѣ своей жизни, держался въ сторонѣ отъ людей и тенденцій слишкомъ стремительныхъ, не принимающихъ во вниманіе требованій жизни. Гончаровъ—и въ этомъ центръ тяжести его духовной личности—никогда не былъ консерваторомъ, какъ и не былъ ни-

когда «либераломъ» въ вызывающемъ смыслѣ этого слова. И вотъ почему нельзя считать одною простою случайностью то, что во время своего пребыванія въ университетѣ Гончаровъ остался въ сторонѣ отъ бурнаго кружка мятущагося, «неистоваго Виссаріона».

Въ 1834 году Гончаровъ кончилъ курсъ со званіемъ дѣйствительнаго студента и отправился на родину. Сначала онъ весь отдался во власть «домашняго баловства», но затѣмъ рѣшено было взяться за «дѣло». А «дѣломъ» по тому времени считалась служба, и юный питомецъ московскаго университета поступилъ чиновникомъ особыхъ порученій къ симбирскому губернатору. Служба мало подходила къ характеру и темпераменту Гончарова и впослѣдствіи онъ весьма иронически изобразилъ ее въ своихъ воспоминаніяхъ. Прослужилъ онъ не больше года и затѣмъ переѣхалъ въ Петербургъ. Хорошее знаніе иностранныхъ языковъ доставило ему мѣсто переводчика въ министерствѣ финансовъ. Въ этомъ министерствѣ онъ и прослужилъ вплоть до отправленія своего въ кругосвѣтное плаваніе въ 1852 году.

Въ Петербургѣ у Гончарова скоро завязываются литературно-артистическія знакомства, при чемъ онъ попадаетъ въ такой кружокъ, гдѣ изъ двухъ типовъ творчества — Шиллеровскаго и Гётевскаго — предпочтеніе отдавалось олимпійскому спокойствію Гёте, гдѣ царило поклоненіе искусству для искусства и возведеніе объективнаго творчества въ единственный истинно-художественный идеалъ. Гончаровъ дѣлается своимъ человѣкомъ въ домѣ художника Николая Александровича Майкова, отца тогда еще четырнадцатилѣтняго юноши Аполлона Майкова и его братьевъ, безвременно погибшаго даровитаго критика Валеріана Майкова и нынѣшняго вице-президента Академіи Наукъ Леонида Майкова. Литературная дѣятельность Валеріана Майкова мало имѣетъ общаго съ теоріей искусства для искусства и художественнаго объективизма. Но эта дѣятельность относится къ болѣе позднему времени—къ 1847 г., когда связи Гончарова съ Майковыми уже носили совсѣмъ иной характеръ. Въ концѣ же тридцатыхъ и въ началѣ сороковыхъ годовъ — періодъ наиболѣе тѣсныхъ отношеній Гончарова къ дому Майковыхъ, — общее направленіе дома можетъ быть охарактеризовано тѣмъ, что именно тогда были написаны Аполлономъ Майковымъ его антологическія пьесы, имѣющія въ основѣ своей такое замѣчательное эпическое спокойствіе.

Гончаровъ былъ домашнимъ учителемъ въ семьѣ Майковыхъ. Онъ давалъ уроки латинскаго языка, риторики и піитики, сна-

чала Аполлону, а затѣмъ Валеріану. Въ высоко-интеллигентномъ домѣ Майковыхъ издавался рукописный журналъ «Лунныя Ночи», въ которомъ принимали участіе члены семьи и ихъ знакомые. Здѣсь Гончаровъ помѣстилъ повѣсть «Счастливая ошибка». Впрочемъ, по нѣкоторымъ указаніямъ онъ еще студентомъ помѣстилъ въ «Телескопѣ» 1832 г. переводъ романа Эженя Сю «Атаръ Гюль».

Съ кружкомъ Бѣлинскаго Гончаровъ познакомился только въ 1846 г., благодаря «Обыкновенной исторіи», которая была прочтена знаменитымъ критикомъ еще въ рукописи и привела его въ необычайный восторгъ. Но это знакомство не было основано на настоящей, органической связи. Если мы обратимся къ воспоминаніямъ Гончарова о Бѣлинскомъ, мы увидимъ, что между ними во многихъ существенныхъ вопросахъ была цѣлая пропасть, что они расходились во многихъ важнѣйшихъ воззрѣніяхъ общественныхъ, этическихъ и политическихъ. Въ 1846 г. Бѣлинскій былъ въ разгарѣ своихъ увлеченій идеями, шедшими къ намъ въ то время изъ Франціи, — изъ Франціи Луи-Блана и Ледрю-Роллена. Врагъ всякихъ крайностей, Гончаровъ, при всемъ своемъ искреннемъ уваженіи къ Бѣлинскому, всего менѣе увлекался этими идеями, не увлекался даже самымъ сравнительно слабымъ выраженіемъ ихъ—жоржъ-зандизмомъ.

«Обыкновенная исторія», появившаяся въ «Современникѣ» 1847 г., имѣла успѣхъ необычайный и вмѣстѣ съ тѣмъ всеобщій. Романъ нравился всѣмъ слоямъ читающей публики. Если Бѣлинскій и его друзья восхищались реализмомъ романа, то не менѣе восхищались имъ люди противоположнаго направленія: люди умѣренности и размѣренности съ удовольствіемъ видѣли, что настроеніе ихъ поддержано талантомъ сильнымъ, молодымъ и много обѣщающимъ. Романомъ восхищались даже такія сферы, куда русская книга и попадала-то рѣдко. Въ одномъ изъ писемъ къ Василію Боткину, Бѣлинскій пишетъ: «повѣсть Гончарова произвела въ Питерѣ фуроръ. Успѣхъ неслыханный! Всѣ мнѣнія слились въ ея пользу. Даже свѣтлѣйшій князь Волконскій изъявилъ Панаеву свое удовольствіе».

Но фактъ самый поразительный—«Сѣв. Пчела», ярая ненавистница такъ-называемой «натуральной школы», считавшая Гоголя русскимъ Поль-де-Кокомъ, отнеслась крайне благосклонно къ дебютанту, несмотря на то, что романъ былъ написанъ по всѣмъ правиламъ ненавистной Булгарину школы.

Такимъ образомъ, 35 лѣтъ, которыя Гончаровъ имѣлъ въ

запасѣ, когда писалъ «Обыкновенную исторію», оказали большое вліяніе на первые шаги литературной карьеры нашего писателя. Никого не задѣвая, избѣгая задора, который свойственъ юности и людямъ нервнаго темперамента, того задора, который больше всего злитъ и бѣситъ старое поколѣніе,—Гончаровъ не нажилъ себѣ враговъ и сталъ всеобщимъ любимцемъ публики.

Въ 1852 г. Гончаровъ попадаетъ въ экспедицію адмирала Путятина, отправляющагося въ Японію для того, чтобы завязать сношенія съ этою, тогда еще недоступною для иностранцевъ страною. Гончаровъ былъ прикомандированъ къ экспедиціи въ качествѣ секретаря. Съ пути онъ писалъ своимъ друзьямъ письма, которыя во второй половинѣ 50-хъ годовъ печатались въ разныхъ журналахъ и затѣмъ вышли отдѣльнымъ изданіемъ въ 2 томахъ подъ заглавіемъ «Фрегатъ Паллада».

Возвратившись изъ путешествія, на половину прерваннаго наступившею восточною войною, Гончаровъ усердно берется за «Обломова», который появился въ свѣтъ въ 1858 г. въ «Отеч. Запискахъ». Успѣхъ превзошелъ всякія ожиданія. «Нужно было жить въ то время», — говоритъ одинъ изъ свидѣтелей этого успѣха, А. М. Скабичевскій:—«чтобы понять, какую сенсацію возбудилъ романъ въ публикѣ и какое потрясающее впечатлѣніе произвелъ онъ на все общество. Онъ, какъ бомба, упалъ въ интеллигентную среду».

Еще въ 1856 г. Гончаровъ перешелъ на службу въ цензурное вѣдомство, гдѣ въ 1863 г. дослужился до чина дѣйствительнаго статскаго совѣтника. Въ 1862 г. онъ нѣсколько мѣсяцевъ редактировалъ офиціальную «Сѣверную Почту». Въ 1869 г. появился на страницахъ «Вѣстника Европы» третій большой романъ нашего писателя—«Обрывъ».

Въ концѣ 1867 г. Гончаровъ вышелъ въ отставку. Написалъ онъ съ тѣхъ поръ лишь нѣсколько небольшихъ этюдовъ («Милліонъ терзаній», «Литературный вечеръ», «Замѣтки о личности Бѣлинскаго», «Лучше поздно, чѣмъ никогда», «Воспоминанія», «Слуги», «Превратность судьбы», «Май мѣсяцъ въ Петербургѣ»). Тихо и замкнуто провелъ онъ остатокъ своей жизни въ небольшой квартирѣ, изъ 3-хъ комнатъ, на Моховой, гдѣ онъ и умеръ 15-го сентября 1891 г. Похоронили его въ Александро-Невской лаврѣ.

Гончаровъ не былъ женатъ, и литературную собственность свою завѣщалъ семьѣ своего стараго слуги.

Таковы несложныя рамки долгой и не знавшей никакихъ

сильныхъ потрясеній жизни автора «Обыкновенной исторіи» и «Обломова». И именно эта-то безмятежная ровность, которая сквозила и въ наружности знаменитаго писателя, породила въ публикѣ убѣжденіе, что изъ всѣхъ созданныхъ имъ типовъ Гончаровъ ближе всего подходитъ къ Обломову. Поводъ къ такому предположенію далъ онъ самъ. Онъ былъ очень склоненъ выставлять себя Обломовымъ. Помните эпилогъ «Обломова»:

«Шли по деревяннымъ тротуарамъ, на Выборгской сторонѣ, два господина. Одинъ изъ нихъ былъ Штольцъ, другой, его пріятель, литераторъ, полный, съ апатическимъ лицомъ, задумчивыми, какъ будто сонными глазами».

Изъ дальнѣйшаго оказывается, что апатичный литераторъ, бесѣдующій со Штольцомъ «лѣниво зѣвая», — есть никто иной, какъ самъ авторъ романа.

Во «Фрегатѣ Палладѣ» Гончаровъ восклицаетъ: «Видно, мнѣ на роду написано быть самому лѣнивымъ и заражать лѣнью все, что приходитъ въ соприкосновеніе со мною».

Несомнѣнно, самого себя вывелъ иронически Гончаровъ въ лицѣ пожилого беллетриста Скудельникова изъ «Литературнаго Вечера». Скудельниковъ «какъ сѣлъ, такъ и не пошевелился въ креслѣ, какъ будто приросъ или заснулъ. Изрѣдка онъ поднималъ апатичные глаза, взглядывалъ на чтеца и опять опускалъ ихъ. Онъ, повидимому, былъ равнодушенъ и къ этому чтенію, и къ литературѣ, и вообще ко всему вокругъ себя».

Наконецъ, въ авторской исповѣди своей—«Лучше поздно, чѣмъ никогда», Гончаровъ прямо заявляетъ, что образъ Обломова не только результатъ наблюденія окружающей среды, но и результатъ самонаблюденія.

И на другихъ Гончаровъ съ перваго раза производилъ впечатлѣніе Обломова. Извѣстный итальянскій историкъ литературы Анджело-де-Губернатисъ, очевидно, лично его знавшій, такимъ образомъ описываетъ внѣшній видъ романиста въ своемъ «Dizionario dei scritori contemporanei»: «Средняго роста, плотный, медленный въ походкѣ и во всѣхъ своихъ движеніяхъ, съ безстрастнымъ лицомъ и какъ бы неподвижнымъ (spento) взглядомъ, онъ кажется совершенно безучастнымъ къ суетливой дѣятельности бѣднаго человѣчества, которое копошится вокругъ него».

Не будемъ, однакоже, увлекаться этимъ внѣшнимъ впечатлѣніемъ, какъ не увлекается имъ и де-Губернатисъ, тутъ же

немедленно прибавляющій: «и все-таки ни одна малѣйшая мелочь не ускользаетъ отъ его проницательнаго взора».

Нѣтъ, Гончаровъ не Обломовъ. Для этого имѣются вполнѣ убѣдительныя доказательства даже во внѣшнихъ фактахъ его жизни. Ну какой же это Обломовъ, который полвѣка тому назадъ рѣшился пуститься въ то дальнее плаваніе, результатомъ котораго явился «Фрегатъ Паллада». Въ настоящее время, при огромныхъ усовершенствованіяхъ морской техники, совершить кругосвѣтное плаваніе, въ концѣ концовъ, не Богъ вѣсть что такое. Но сорокъ пять лѣтъ тому назадъ, на парусномъ кораблѣ, съ возможностью заштилѣть на экваторѣ, съ возможностью при первой сильной бурѣ потерять мачты и стать, при отсутствіи паровой машины, безпомощною игрушкою океанскихъ волнъ— для всего этого нужна была рѣшительность, всего менѣе напоминающая Обломова. Въ 1852 г. кругосвѣтное плаваніе составляло эффектное мѣсто даже въ формулярѣ профессіональнаго моряка.

Всего менѣе Обломовымъ назовемъ мы Гончарова и тогда, когда ознакомимся съ тою тщательностью, съ которою онъ писалъ свои романы, хотя именно за эту тщательность, неизбѣжно ведущую къ медленности, въ публикѣ и критикѣ было принято упрекать Гончарова въ обломовщинѣ. Совершенно неправильно усматривали авторскую лѣнь тамъ, гдѣ на самомъ дѣлѣ была страшно напряженная умственная работа.

Если судить только по внѣшней сторонѣ, то дѣйствительно приходила охота пожурить автора за зарываніе таланта въ землю. Внѣшняя сторона такова: въ 1847 г. появился первый романъ Гончарова — «Обыкновенная исторія»; слѣдующій — «Обломовъ», только черезъ 12 лѣтъ, въ 1859 г. Правда, въ промежуткахъ были напечатаны Гончаровымъ въ разныхъ журналахъ отдѣльныя письма изъ кругосвѣтнаго плаванія, которыя, собранныя вмѣстѣ, составили 2 тома «Фрегата Паллады». Но эта работа, такъ-сказать, подневольная: отправился человѣкъ въ кругосвѣтное путешествіе, такъ нельзя же его не описать. Слѣдующій за «Обломовымъ» романъ—«Обрывъ» появился десять лѣтъ спустя, въ 1869 году. И на этомъ авторъ закончилъ свою дѣятельность, обмолвившись съ тѣхъ поръ только нѣсколькими небольшими очерками полубеллетристическаго и критическаго характера.

Конечно, перечень не обширный для такого первоклассного таланта, какъ Гончаровъ, и для восьмидесяти лѣтъ жизни. Сверст-

ники Гончарова—Тургеневъ, Достоевскій, Писемскій меньше его жили, а написали больше.

И все же, если мы присмотримся ближе къ дѣлу, то не преминемъ убѣдиться, что авторская лѣнь тутъ рѣшительно ни при чемъ.

Гончаровъ написалъ три романа. *Количество*, дѣйствительно небольшое. Но что же собою представляютъ эти три романа по области *воспроизведенія?* Мы тутъ оставляемъ въ сторонѣ вопросъ о мастерствѣ исполненія, чего у тѣхъ писателей, которыхъ мы сейчасъ сопоставили съ Гончаровымъ, не меньше же. Нѣтъ, мы говоримъ только о широтѣ захвата, о количествѣ беллетристическаго матеріала, заключающагося въ трехъ романахъ Гончарова. Еще Бѣлинскій говорилъ о немъ: «Что другому стало бы на десять повѣстей, у Гончарова укладывается въ одну рамку». У Гончарова нѣтъ второстепенныхъ вещей, которыя занимаютъ добрую половину даже у Тургенева, не говоря уже о Достоевскомъ и Писемскомъ.

Между живописцами есть такіе, которые могутъ писать только огромные холсты. Гончаровъ—изъ ихъ числа. Каждый изъ его романовъ задуманъ въ колоссальныхъ размѣрахъ, каждый старается воспроизвести цѣлые періоды, цѣлыя полосы русской жизни. Много такихъ вещей, слѣдовательно, нельзя писать, если не впадать въ повторенія и не выходить за предѣлы реальнаго романа, т. е. воспроизводить только то, что авторъ самъ видѣлъ и наблюдалъ. Въ обоихъ Адуевыхъ, въ Обломовѣ, въ Штольцѣ, въ бабушкѣ, наконецъ, въ Вѣрѣ и Маркѣ Волоховѣ (въ послѣднихъ двухъ, правильно или неправильно, это все равно въ данномъ случаѣ)—Гончаровъ исчерпалъ все крупное въ психологіи цѣлаго полувѣка русской жизни. Путемъ необыкновенно напряженнаго художественнаго синтеза онъ въ этихъ немногихъ лицахъ воплотилъ всѣ тѣ характерныя черты пережитыхъ имъ періодовъ русскаго общественнаго развитія, которыя онъ считалъ дѣйствительно характерными, основными. А на миніатюры, на отдѣльное воспроизведеніе мелкихъ явленій и лицъ, если они не составляютъ необходимыхъ аксессуаровъ общей широкой картины, онъ не былъ способенъ по основному складу своего болѣе синтетическаго, чѣмъ аналитическаго таланта. И только оттого полное собраніе его сочиненій сравнительно менѣе объемисто. Но попробуйте выбросить изъ Писемскаго всѣ тѣ слабыя вещи, которыя онъ написалъ въ послѣднія 20 лѣтъ своей литературной дѣятельности, вещи, въ родѣ «Игрока», написаннаго исключи-

тельно потому, что кредиторы брата не давали покоя своими назойливыми приставаніями, — попробуйте выбросить всѣ эти, не скажу даже плохія, а случайныя и второстепенныя по замыслу, по своему авторскому намѣренію, произведенія — и вы получите не больше, но даже меньше того, что дано Гончаровымъ. Повторяю еще разъ, не вслѣдствіе обломовщины, а исключительно вслѣдствіе прямого неумѣнья писать второстепенныя вещи, отъ которыхъ всегда бухнутъ полныя собранія сочиненій другихъ писателей, Гончаровъ, прожившій 79 лѣтъ, написалъ не много для такого долгаго литературнаго вѣка. «Напрасно просили»,—разсказываетъ онъ въ авторской исповѣди:— «моего сотрудничества въ качествѣ рецензента или публициста: я пробовалъ и ничего не выходило, кромѣ блѣдныхъ статей, уступавшихъ всякому бойкому перу привычныхъ журнальныхъ сотрудниковъ».

Но когда этотъ же Гончаровъ въ «Милліонѣ терзаній» взялся хотя и за критическую, но все-таки обширную тему, — за разборъ «Горе отъ ума», то получилась рѣшительно крупная вещь. Въ небольшомъ этюдѣ, на пространствѣ немногихъ страницъ, разсѣяно столько ума, вкуса, глубокомыслія и проницательности, что его нельзя не причислить къ лучшимъ плодамъ творческой дѣятельности Гончарова. Въ немъ брошенъ совершенно новый взглядъ на характеръ Чацкаго, взглядъ, который до извѣстной степени вытѣснилъ прежніе взгляды на Чацкаго Пушкина и Бѣлинскаго.

Итакъ, мы еще разъ наглядно убѣждаемся, до какой степени талантъ Гончарова только тогда и можетъ развернуться во всемъ своемъ объемѣ, когда предъ нимъ какая-нибудь большая задача. Но часто браться за большія задачи нельзя, какъ бы ни былъ великъ запасъ творческихъ силъ.

Принято удивляться Флоберу за необыкновенную тщательность въ обдумываніи и разработываніи своихъ произведеній. Но едва ли цѣною меньшей интенсивности въ работѣ достались Гончарову его произведенія. Въ публикѣ было распространено мнѣніе, что Гончаровъ напишетъ романъ, а потомъ десять лѣтъ отдыхаетъ. Это совершеннѣйшее заблужденіе. Промежутки между появленіями романовъ были наполнены у Гончарова сильнѣйшею, хотя и не осязательною, но все-таки творческой работой. Если его герои такъ выпукло и законченно обрисованы, то только потому, что по десяти и по двадцати лѣтъ вынашивалъ онъ въ душѣ свои образы. «Обломовъ» появился въ 1859 г., но заду-

манъ онъ былъ и набросанъ въ программѣ тотчасъ же послѣ «Обыкновенной исторіи», въ 1847 году. «Обрывъ» напечатанъ въ 1869 г., но концепція его и даже наброски отдѣльныхъ сценъ и характеровъ относятся еще къ 1849 г. Какъ только какой-нибудь сюжетъ завладѣвалъ воображеніемъ нашего писателя, онъ тотчасъ начиналъ набрасывать отдѣльные эпизоды, сценки, характеры, читалъ ихъ своимъ знакомымъ и притомъ не только цѣнителямъ, но и вообще знакомымъ. Все это до такой степени его переполняло и волновало, что онъ «изливался всѣмъ, кому попало», выслушивалъ мнѣнія, спорилъ. Затѣмъ начиналась связная работа. Появляются цѣлыя законченныя главы, которыя даже отдаются въ печать. Такъ, напр., одно изъ центральныхъ мѣстъ «Обломова» — «Сонъ Обломова» появился въ печати десятью годами раньше появленія всего романа (въ «Иллюстрированномъ Альманахѣ» 1849 г., разосланномъ въ видѣ преміи подписчикамъ «Современника»). Отрывки изъ «Обрыва» появились въ свѣтъ за 8 лѣтъ до появленія всего романа. А главная работа тѣмъ временемъ продолжаетъ «идти въ головѣ», и фактъ глубоко любопытный: «лица не даютъ покоя, пристаютъ, позируютъ въ сценахъ». «Я слышу»,—разсказываетъ Гончаровъ: — «отрывки ихъ разговоровъ, и мнѣ часто казалось, прости Господи, что я это не выдумываю, а что это все носится въ воздухѣ около меня и мнѣ только надо смотрѣть и вдумываться». Чтобы оцѣнить все значеніе этого поразительнаго факта, нужно принять во вниманіе крайне ровный, отнюдь не нервный, темпераментъ Гончарова. У Достоевскаго подобныя галлюцинаціи были бы однимъ изъ многочисленныхъ проявленій его болѣзненной психики. Но у Гончарова эти галлюцинаціи — были исключительно результатомъ необыкновенно сильнаго сживанія автора съ создаваемыми имъ лицами. Они до того имъ были обдуманы во всѣхъ деталяхъ, что самый актъ писанія становился для него вещью второстепенною. Годами *обдумывалъ* онъ свои романы, но *писалъ* ихъ недѣлями. Вся вторая часть «Обломова», напр., написана имъ въ пять недѣль пребыванія въ Маріенбадѣ. Гончаровъ писалъ ее, не отходя отъ стола. И это не только съ «Обломовымъ». Какъ только онъ путемъ многолѣтняго обдумыванія окончательно осваивался съ своимъ сюжетомъ, осваивался, такъ сказать, до бреда на-яву, онъ тотчасъ брался за работу, и она шла у него живо, бодро, рука едва успѣвала писать.

Неужели все это бломовщина, а не разительный при-

мѣръ необыкновенно законченнаго творчества, плоды котораго появляются на свѣтъ только тогда, когда они окончательно созрѣли?

Такимъ образомъ ходячее представленіе о Гончаровѣ какъ объ Обломовѣ даетъ совершенно ложное представленіе о немъ. Дѣйствительная основа его характера, обусловившая собою и весь ходъ его творчества — вовсе не апатія, а *уравновѣшенность*. Отнюдь не флегматичный, Гончаровъ не отъ душевной вялости былъ такъ размѣренъ въ своихъ чувствахъ, а исключительно потому, что созерцательно-спокойное отношеніе ко всему, что происходитъ, есть органическое свойство такихъ натуръ и исключаетъ всякую стремительность въ какую бы то ни было сторону, хорошую и дурную. Это и сдѣлало его корифеемъ «объективнаго» романа.

Но, безспорно, лучшимъ источникомъ для изученія темперамента нашего писателя можетъ намъ послужить «Фрегатъ Паллада»—книга, являющаяся дневникомъ душевной жизни Гончарова за цѣлыхъ два года, притомъ проведенныхъ при наименѣе будничной обстановкѣ. Путешествіе въ дальнія страны было для Гончарова осуществленіемъ одного изъ самыхъ сильныхъ душевныхъ желаній. Съ самаго ранняго дѣтства, начитавшись путешествій Мунго-Парка, Крашенинникова, Палласа, Кука и множества другихъ, наслушавшись кромѣ того разсказовъ своего крестнаго отца—стараго моряка, Гончаровъ всю жизнь лелѣялъ мечту увидѣть собственными глазами чудеса отдаленныхъ странъ и морей. «Избалованнѣйшій изъ всѣхъ своихъ знакомыхъ городскою жизнью», какъ онъ самъ себя рекомендуетъ въ первой главѣ «Фрегата Паллады», Гончаровъ никогда бы не сталъ хлопотать о томъ, чтобы попасть въ далекую экспедицію адмирала Путятина, если бы это не было осуществленіемъ пламенной грезы дѣтства, «таинственно манившей» его съ первыхъ лѣтъ сознательной жизни самому посмотрѣть «картины тропическихъ лѣсовъ, синяго моря, золотого, радужнаго неба».

И между тѣмъ вспомните общій характеръ «Фрегата Паллады»—этой книги, написанной такъ умно, занимательно, блестяще и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ спокойно. Разбросанныя по книгѣ картины тропической природы мѣстами, напримѣръ въ знаменитомъ описаніи заката солнца подъ экваторомъ, возвышаются до истинно-поразительной роскоши красокъ, до истинно-ослѣпительной красоты. Но красоты какой? Спокойной и торжественной. Когда «Паллада» шла Индійскимъ океаномъ, надъ нею разразился

ураганъ «во всей формѣ». Спутники, естественно полагавшіе, что Гончаровъ захочетъ описать такое, хотя и грозное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и величественное явленіе природы, звали его на палубу. Но, комфортабельно усѣвшись на одно изъ немногихъ покойныхъ мѣстъ въ каютѣ, онъ не хотѣлъ даже смотрѣть бурю и почти насильно былъ вытащенъ наверхъ.

— Какова картина?—спросилъ его капитанъ, ожидая восторговъ и похвалъ.

— Безобразіе, безпорядокъ,—отвѣчалъ онъ, главнымъ образомъ занятый тѣмъ, что долженъ былъ уйти «весь мокрый въ каюту, перемѣнить обувь и платье».

Любопытно вообще присмотрѣться, чему больше всего удѣлено мѣста въ «Фрегатѣ Палладѣ». Исключите тѣ страницы, которыя посвящены описаніямъ красотъ природы, и вы получите преимущественно жанровыя наблюденія. Куда бы авторъ ни пріѣхалъ, на мысъ Доброй Надежды, въ Сингапуръ, на Яву, въ Японію,—его почти исключительно занимаютъ жанровые типы. Попавъ въ Лондонъ въ день замѣчательно пышныхъ похоронъ герцога Велингтона, взбудораживших всю Англію, онъ «нетерпѣливо ждалъ другого дня, когда Лондонъ выйдетъ изъ ненормальнаго положенія и заживетъ своею обычною жизнью». «Многіе обрадовались бы видѣть такой необыкновенный случай»,—вѣрно замѣчаетъ по этому поводу Гончаровъ:—«но мнѣ улыбался завтрашній будничный день». Точно также «довольно равнодушно» нашъ путешественникъ «пошелъ вслѣдъ за другими въ британскій музеумъ, по сознанію только необходимости видѣть это колоссальное собраніе рѣдкостей и предметовъ знанія». Но его неудержимо «тянуло все на улицу». «Съ неиспытаннымъ наслажденіемъ»,—разсказываетъ далѣе Гончаровъ:—«я вглядывался во все, заходилъ въ магазины, заглядывалъ въ дома, уходилъ въ предмѣстья, на рынки, смотрѣлъ на всю толпу и на каждаго встрѣчнаго отдѣльно. Чѣмъ смотрѣть на сфинксы и обелиски, мнѣ лучше нравится простоять цѣлый часъ на перекресткѣ и смотрѣть, какъ встрѣтятся два англичанина, сначала попробуютъ оторвать другъ у друга руку, потомъ освѣдомятся взаимно о здоровьѣ и пожелаютъ одинъ другому всякаго благополучія; съ любопытствомъ смотрю, какъ столкнутся двѣ кухарки, съ корзинами на плечахъ, какъ несется нескончаемая двойная, тройная цѣпь экипажей, подобно рѣкѣ, какъ изъ нея съ неподражаемою ловкостью вывернется одинъ экипажъ и сольется съ другою нитью, или какъ вся эта цѣпь мгновенно

[illegible] лишь только полисмен съ тротуара подниметъ руку. Я [illegible] — [illegible] спокойно смотрю, какъ и что [illegible] какъ [illegible] [illegible]».

[illegible] къ [illegible] ежедневной жизни и [illegible] Гончарова [illegible] жалости.

[illegible] эстетическую при- [illegible] и [illegible] еще одну яркую [illegible] Гончарова. Слогъ [illegible] и [illegible] безъ сучка и задо- [illegible] Тургенева, ко- [illegible] периоды [illegible] и нѣтъ у [illegible] все- [illegible] не [illegible] такой [illegible] Гонча- [illegible] [illegible] [illegible]

Исчезаетъ презрѣніе къ живой дѣйствительности, является стремленіе ближе ознакомиться съ жизнью, настоящею жизнью, а не фантомами, созданными разнузданнымъ воображеніемъ романтической школы. Намъ трудно иногда распознать это стремленіе къ реализму. Повѣсти Григоровича, напримѣръ, въ настоящее время считаются въ критикѣ сентиментальными, очень честными по замыслу, но мало реальными по исполненію; его крестьянъ даже не иначе называютъ какъ «пейзанами», желая этимъ сказать, что они мало напоминаютъ заправскихъ русскихъ мужичковъ. Но для своего времени, для литературы, все еще переполненной повѣстями, въ которыхъ фигурировали одни только графы да князья, выражавшіе длиннѣйшими, изысканно-отточенными тирадами изысканно-тонкія и деликатныя чувствованія и ощущенія, для литературы, въ которой Гоголь и его послѣдователи, такъ-называемая «натуральная школа» все еще составляла предметъ суевѣрнаго ужаса, для этой литературы пейзане Григоровича были новшествомъ, шагомъ впередъ по пути къ реализму, рѣшительнымъ стремленіемъ установить живую связь между искусствомъ и дѣйствительностью. Въ той, можно сказать, ярости, съ которою Бѣлинскій преслѣдовалъ Кукольника, и вообще во всѣхъ своихъ нападкахъ на напыщенность и чопорность враждебнаго лагеря, онъ для своего времени являлся знаменосцемъ, провозвѣстникомъ той новой полосы русской литературы, которая поразила Европу своимъ реализмомъ. Тургеневъ, Гончаровъ, Писемскій, Островскій, Некрасовъ, гр. Л. Толстой, Достоевскій — все это умственныя дѣти Бѣлинскаго, которыхъ онъ научилъ уважать и понимать великаго основателя русскаго реализма, Гоголя.

Глубоко былъ правъ, поэтому, Гончаровъ, когда, рѣшивъ отразить въ своемъ первомъ романѣ эпоху 30-хъ и начала 40-хъ годовъ, онъ понялъ ее какъ эпоху «ломки старыхъ понятій и нравовъ — сентиментальности, карикатурнаго преувеличенія чувствъ дружбы и любви», какъ эпоху, протестующую противъ прежней «праздности», семейной и домашней лжи, напускныхъ, въ сущности небывалыхъ «чувствъ», противъ прежней «мечтательности и аффектаціи», какъ «зарю чего-то трезваго, дѣлового, нужнаго».

Да, несомнѣнно, эта новая заря занималась, но *занималась она только въ умахъ и сердцахъ*. Жизнь же, реальная дѣйствительность, стояла неподвижно въ старыхъ рамкахъ. Отсюда тотъ трагическій разладъ, который составляетъ основную черту

психологіи наиболѣе выдающихся представителей поколѣнія сороковыхъ годовъ. Лишніе люди, Рудины, Лаврецкіе, Бельтовы, герои Некрасовской «Саши», которые

... по свѣту рыщутъ,
Дѣла себѣ исполинскаго ищутъ,

все это жертвы рокового несоотвѣтствія дѣйствительности и идеала, роковой невозможности сыскать себѣ дѣятельность по душѣ.

Но все это, вмѣстѣ съ тѣмъ, люди, стоящіе на *вершинѣ* духовнаго сознанія своей эпохи, меньшинство, люди, такъ сказать, *необыкновенные*, рядомъ съ которыми должны же были существовать и люди *обыкновенные*. Послѣднихъ-то въ лицѣ Адуева-дяди Гончаровъ и изобразилъ въ своемъ романѣ, при чемъ, однако, нисколько не какъ *противоположность* меньшинству, а какъ людей, примыкающихъ къ новому теченію, но только *безъ стремительности*.

Относительно этого основного намѣренія автора «Обыкновенной исторіи» долго господствовало одно существенное недоразумѣніе. Несмотря на то, что Бѣлинскій при разборѣ «Обыкновенной исторіи» отнесся очень благосклонно къ личности Адуева-дяди и нашелъ въ немъ множество похвальныхъ качествъ, этотъ типъ, ни въ эпоху появленія романа, ни позже, не привлекъ къ себѣ симпатій. За исключеніемъ Бѣлинскаго, большинство критиковъ подозрительно отнеслось къ «положительности» старшаго Адуева. На этой подозрительности сходятся критики самыхъ противоположныхъ лагерей. Писаревъ и Аполлонъ Григорьевъ, А. М. Скабическій и Орестъ Миллеръ—всѣ въ житейской философіи «трезваго» дяди усматриваютъ карьеризмъ по преимуществу. Мало того, даже «Сѣверная Пчела», разбирая въ 1847 году только-что появившуюся «Обыкновенную исторію», сочла нужнымъ сказать нѣсколько словъ въ защиту идеализма отъ «трезваго» взгляда на него чиновнаго дядюшки. Вообще можно сказать, что какъ публика, такъ и критика не видѣла безусловной разницы между нравственною личностью Адуева и Фамусова. Самого автора, поэтому, большинство читателей предпочитало видѣть въ племянникѣ, конечно, до его превращенія въ дядю.

Но съ появленіемъ авторской исповѣди Гончарова («Лучше поздно, чѣмъ никогда») отношеніе къ старшему Адуеву должно

значительно измѣниться. Дѣло въ томъ, что въ этой исповѣди авторъ, комментируя свои творческія намѣренія, прямо заявляетъ, что въ лицѣ Адуева-дяди онъ отнюдь не хотѣлъ вывести типъ отрицательный. Такимъ образомъ, въ пониманіе типа Адуева вносится существенная поправка. Я этимъ не хочу сказать, что поправка должна быть внесена въ *наше* пониманіе типа Адуева. Мы-то, пятьдесять лѣтъ спустя, ушедши впередъ въ своихъ идеалахъ, вольны и не усматривать свой идеалъ въ трезвости Адуева и даже относиться къ ней отрицательно. Но если мы хотимъ понять Адуева исторически,—а всякій типъ только и можно вполнѣ понять, когда его разсматриваешь въ связи съ условіями времени,—то мы непремѣнно должны взглянуть на него и сквозь призму авторскихъ намѣреній. И тогда-то намъ станетъ, между прочимъ, понятнымъ благосклонное отношеніе къ Адуеву Бѣлинскаго. Неужели же Бѣлинскій, да еще Бѣлинскій 1846 года, весь переполненный стремленіемъ къ переустройству общества на началахъ высшей гуманности, сталъ бы благосклонно относиться къ родственнику по духу Фамусова?

Нѣтъ, по авторскому намѣренію, Адуевъ-дядя представляетъ собою явленіе прогрессивное. Въ его лицѣ Гончаровъ хотѣлъ отразить первое «мерцаніе сознанія необходимости труда, настоящаго, не рутиннаго, а живого дѣла, въ борьбѣ съ всероссійскимъ застоемъ».

«Въ борьбѣ дяди съ племянникомъ,— читаемъ мы дальше:— отразилась тогдашняя, только-что начинавшаяся ломка старыхъ понятій и нравовъ — сентиментальности, карикатурнаго преувеличенія чувствъ дружбы и любви, поэзіи праздности, семейной и домашней лжи, напускныхъ, въ сущности небывалыхъ чувствъ, пустой траты времени на визиты, на ненужное гостепріимство и т. д., словомъ всей праздной, мечтательной и аффектаціонной стороны старыхъ нравовъ. Все это отживало, уходило: являлись слабые проблески новой зари, чего-то трезваго, дѣлового, нужнаго. Первое, т.-е. старое, исчерпалось въ фигурѣ племянника. Второе, т.-е. трезвое сознаніе *необходимости дѣла, труда, знанія*—выразилось въ дядѣ». Адуевъ, напримѣръ, устраиваетъ заводъ. «Тогда это была смѣлая новизна, чуть-чуть не униженіе; я не говорю о заводчикахъ-барахъ, у которыхъ заводы и фабрики входили въ число родовыхъ имѣній, были оброчныя статьи, которыми они сами не занимались. Тайные совѣтники мало на это рѣшались. Чинъ не позволялъ, а званіе купца не было лестно».

Можно различно отнестись къ этому замѣчательно-характерному сближенію «дѣла» и «дѣловитости», но нельзя не признать, что замыселъ его очень глубокъ. Заслуга или особенность Гончарова въ томъ, что онъ подмѣтилъ эволюцію общественнаго настроенія въ тѣхъ сферахъ, гдѣ стремительные сверстники его усматривали одну пошлость. Они смотрѣли, говоря словами Адуева, только «на небо», а Гончаровъ внимательнѣйшимъ образомъ вглядывался въ землю. Благодаря послѣднему обстоятельству, между прочимъ, такъ превосходны жанровыя картины «Обыкновенной исторіи»: отъѣздъ молодого Адуева изъ деревни, дворня, благородный приживальщикъ Антонъ Ивановичъ, ключница Аграфена, способная выражать свою любовь только колотушками и неистовою бранью,—все это чудесные плоды реализма, которые никогда не перестанутъ входить во всѣ хрестоматіи и которыми Гончаровъ обязанъ исключительно тому, что умственный взоръ его съ особенною охотою останавливается на явленіяхъ жизни большинства.

Двѣнадцать лѣтъ отдѣляютъ первый романъ Гончарова отъ второго. Много за это время воды утекло, большія перемѣны произошли въ русской общественной жизни. Грозный урокъ крымской войны заставилъ всѣхъ встрепенуться, оглянуться на прошедшее и настоящее, чтобы подготовить себѣ лучшее будущее. 1855 годъ становится рубежомъ между старой и новой Россіей. По ту сторону остались стремленія къ обуздыванію всякаго самостоятельнаго проявленія мысли, понятія о государствѣ и обществѣ—какъ о враждебныхъ другъ другу элементахъ. Начинается новая пора русской исторіи, полоса пробужденія общественнаго сознанія и общественныхъ силъ. На арену русской исторіи впервые выступаетъ человѣкъ, *гражданинъ* своей родины, а не чиновникъ, офицеръ, помѣщикъ. Русское общественное мнѣніе вырастаетъ въ своемъ собственномъ уваженіи и въ уваженіи къ нему окружающей среды, а это ведетъ къ цѣлому ряду реформъ, быстро слѣдующихъ одна за другою и создающихъ совершенно иныя условія общественнаго и народнаго быта, болѣе согласныя съ истиннымъ представленіемъ о человѣческомъ достоинствѣ. Наступаетъ, однимъ словомъ, та радостная пора, полная самыхъ свѣтлыхъ надеждъ и упованій, которая не даромъ называется эпохою нашего возрожденія.

Литература, которая въ Россіи болѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, есть выразительница духовныхъ силъ родной земли, ярко отражаетъ собою новое теченіе. Ею овладѣваетъ лихорадочное, страстное

возбужденіе, которое, съ одной стороны, порождаетъ новые таланты, а съ другой — придаетъ новыя силы талантамъ, раньше начавшимъ свою творческую дѣятельность. Въ пятилѣтіе 1855—1860 гг. почти вся плеяда писателей сороковыхъ годовъ достигаетъ апогея развитія своихъ творческихъ способностей. Тургеневъ пишетъ «Рудина», «Дворянское гнѣздо», «Наканунѣ», Гончаровъ—«Обломова», Островскій—«Грозу», Писемскій—«Тысячу душъ», Тютчевъ, Майковъ, Мей, Щербина, Фетъ, Полонскій поютъ лучшія свои пѣсни.

Что составляетъ главное содержаніе художественной литературы этого знаменательнаго пятилѣтія, медоваго мѣсяца новой эры?

Главнымъ образомъ, подведеніе итоговъ прошлому. Въ воздухѣ носилось нарожденіе совершенно иной поры, иныхъ людей, иныхъ нравовъ. Значитъ, была настоятельная потребность въ суммированіи результатовъ дѣятельности прошлаго поколѣнія, а нетерпѣливая мысль, кромѣ того, побуждала къ гаданіямъ о поколѣніи будущемъ.

Это подведеніе итоговъ и гаданіе о будущемъ шло двумя путями: просто воспроизведеніемъ типовъ отжившаго поколѣнія и затѣмъ путемъ такъ-называемаго «обличенія».

Первымъ путемъ пошелъ Тургеневъ. Рудинъ, Лаврецкій, Михалевичъ послужили надгробными памятниками временъ отходящихъ; Елена, Инсаровъ возвѣщали зарю будущаго.

Мало радости испыталъ при этомъ авторъ. Какое оно тамъ ни было, зарываемое въ землю старое поколѣніе, какъ ни ясны и очевидны были его недостатки, какъ ни отчетливо было сознаніе, что на смѣну ему нарождалось новое, лучшее поколѣніе, а все-таки хоронилось *свое* поколѣніе, погребалась собственная молодость. Глубокая меланхолія, разлитая по «Рудину», «Дворянскому гнѣзду» — этимъ двумъ отходнымъ поколѣнію сороковыхъ годовъ, безысходная грусть, которая слышится въ напутствіи Лаврецкаго грядущимъ молодымъ силамъ,—имѣютъ свой естественный источникъ въ сознаніи, что и авторская жизнь прожита, что и ему самому «время тлѣть».

Совсѣмъ иначе было настроеніе литературы «обличительной». Безпощадно относилась она къ прошедшему и бодро говорила о будущемъ, которое должно вырасти на почвѣ, удобренной гніеніемъ стараго.

Гончаровъ, годами старше Тургенева, какъ это ни странно съ

перваго взгляда, примкнулъ къ бодрому настроенію литературы «обличительной». Онъ хоронилъ «обломовщину» съ такимъ веселымъ чувствомъ, его увѣренность, что на смѣну отжившей обломовщины идетъ новая полоса жизни, была такъ непоколебима, что она была подъ-стать самымъ рьянымъ изъ современныхъ «обличителей», съ такой увѣренностью возвѣщавшихъ наступленіе новыхъ временъ. Въ этомъ, опять-таки, ярко сказался бытописатель жизни большинства, которое въ то время не знало никакого унынія.

Для читателя нашихъ дней лучшую часть «Обломова» составляетъ яркая жанровая колоритность этого лучшаго и наиболѣе знаменитаго изъ произведеній Гончарова. Намъ, отошедшимъ почти на полвѣка отъ треволненій того времени, болѣе всего нравятся мѣста, гдѣ у автора нѣтъ ни малѣйшей охоты что бы то ни было обличить въ Обломовкѣ, гдѣ ни на одинъ уголъ не наложены болѣе густыя или болѣе свѣтлыя краски. Одинаково освѣщенная картина обломовскаго житья-бытья возстаетъ передъ нами, какъ живая, во всей выпуклости своихъ изумительно-схваченныхъ деталей. Но не эпическія совершенства были причиною потрясающаго впечатлѣнія, которое въ свое время произвелъ «Обломовъ»: тайна его колоссальнаго успѣха, повторяемъ, въ условіяхъ той эпохи, въ томъ страстномъ и единодушномъ желаніи порвать всякія связи съ ненавистнымъ прошлымъ, которымъ характеризуются годы, непосредственно слѣдующіе за Крымской кампаніей. Нужно было яркое воплощеніе нашей апатіи, нужна была кличка для обозначенія нашей дореформенной инертности и косности — и она быстро вошла во всеобщій обиходъ, какъ только Добролюбовъ ее формулировалъ въ своей знаменитой статьѣ: «Что такое обломовщина». Современныя свидѣтельства сводятся къ тому, что рѣшительно всякій усматривалъ въ себѣ элементы «обломовщины», всѣмъ казалось, что найдено объясненіе несовершенствъ нашего общественнаго строя, всякій съ ужасомъ отворачивался отъ перспективы столь же безплодно и безславно пройти жизненное поприще, какъ герой Гончаровскаго романа, всякій давалъ клятву истребить въ себѣ всѣ слѣды этого сходства.

Всего десять лѣтъ отдѣляютъ «Обломова» отъ «Обрыва». Но страшная перемѣна произошла за этотъ короткій срокъ въ русскомъ обществѣ. Гордо и задорно выступило новое поколѣніе на арену общественной жизни и въ какіе-нибудь три-четыре года порвало всякія связи съ прошлымъ. Отъ недавняго единодушія

не осталось и малѣйшаго слѣда. Общественная мысль раздѣлилась на рѣзко-враждебныя теченія, не желавшія имѣть что-либо общее другъ съ другомъ, обмѣнивавшіяся угрозами, тяжкими обвиненіями и проклятіями. Поколѣніе, еще такъ недавно считавшее себя носителемъ прогресса, было совершенно оттерто: ему бросали въ лицо упреки въ устарѣлости, отсталости, даже ретроградствѣ. Понятно, что озлобленіе, вызванное этими, въ значительной степени незаслуженными, упреками, было очень велико. Гончаровъ, какъ уже было сказано, никогда не былъ ни либераломъ, ни консерваторомъ, писалъ «объективно» въ то время, когда сверстники его ратовали за поэзію «мести и печали». Но потому-то онъ меньше всего и былъ склоненъ къ снисходительности, когда «Обрывомъ» вмѣшался въ споръ между «отцами» и «дѣтьми».

Руководящая мысль, положенная въ основу романа, получила различное истолкованіе. Въ сферахъ, близкихъ къ «дѣтямъ», на «Обрывъ» взглянули какъ на памфлетъ противъ молодого поколѣнія; въ сферахъ, близкихъ къ «отцамъ», усмотрѣли, напротивъ того, въ Маркѣ Волоховѣ рѣзкое, но вполнѣ вѣрное изображеніе новаго теченія. Есть и среднее мнѣніе, которое утверждаетъ, что Гончаровъ, съ его глубокимъ умомъ, не могъ *все* поколѣніе шестидесятыхъ годовъ олицетворить въ образѣ циничнаго буяна, не гнушающагося для личныхъ своихъ нуждъ выманивать деньги подложнымъ письмомъ. Рѣчь, по этому пониманію «Обрыва», идетъ только о *нѣкоторыхъ* несимпатичныхъ автору элементахъ движенія шестидесятыхъ годовъ. Въ статьѣ: «Лучше поздно, чѣмъ никогда», въ этой своей авторской исповѣди Гончаровъ примкнулъ къ такому толкованію типа Волохова. «Меня крайне удивляло», говоритъ онъ, «какъ могло молодое поколѣніе принять Волохова на свой счетъ, Волоховъ—будто бы новое поколѣніе! То поколѣніе, которое бросилось навстрѣчу реформъ—и туда уложило всѣ силы! Даровитые дѣятели въ крестьянской реформѣ, въ земскихъ дѣлахъ, въ новыхъ судебныхъ учрежденіяхъ, гдѣ успѣли пріобрѣсти громкія имена: неужели это Волоховы! Поколѣніе, которое переполняетъ школы, жадно учится, познаетъ, изобрѣтаетъ, творитъ во всѣхъ отрасляхъ русскаго хозяйства, промышленности, науки, вездѣ пробивая новые пути, вызывая новыя силы! Поколѣніе молодыхъ умовъ и дарованій въ освобожденной прессѣ, сослужившее огромную службу Россіи, угадывая, объясняя и проводя въ массу идеи, виды и цѣли великаго преобразователя! И все это Волоховы! Кому могла придти такая мысль!»

Въ «Обрывѣ» великій жанровый талантъ Гончарова сказался въ лицахъ второстепенныхъ. Бабушка и весь ея антуражъ обрисованы со всею силою изобразительной способности Гончарова. Истиннымъ художественнымъ перломъ является образъ простушки Марѳиньки. Въ галлереѣ русскихъ женскихъ типовъ живой, схваченный во всей своей, если можно такъ выразиться, прозаической поэзіи, портретъ Марѳиньки занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ.

С. Венгеровъ.

СОЧИНЕНІЯ

И. А. ГОНЧАРОВА.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧѢМЪ НИКОГДА. *)

(КРИТИЧЕСКІЯ ЗАМѢТКИ.)

Я давно положилъ перо и не печаталъ ничего новаго. Такъ думалъ я и закончить свою литературную дѣятельность, полагая, что мое время прошло, а вмѣстѣ съ нимъ «прошли» и мои сочиненія, т.-е. прошла ихъ пора.

Я рѣшился возобновить только изданіе очерковъ кругосвѣтнаго плаванія «Фрегатъ Паллада», по причинамъ, о которыхъ сказано въ предисловіи къ этому изданію. Путешествія въ дальніе концы міра имѣютъ вообще привилегію держаться долѣе другихъ книгъ. Всякое изъ нихъ оставляетъ надолго неизгладимый слѣдъ или колею, какъ колесо, пока дорога не проторится до того, что всѣ колеи сольются въ одинъ общій широкій путь. Кругосвѣтнымъ путешествіямъ еще далеко до того.

Другое дѣло—романы и вообще художественныя произведенія слова. Они живутъ для своего вѣка и умираютъ вмѣстѣ съ нимъ; только произведенія великихъ мастеровъ переживаютъ свое время и обращаются въ историческіе памятники.

---

*) *Мы предпосылаемъ эту критическую статью Гончарова всѣмъ другимъ его сочиненіямъ, потому что она полнѣе и лучше всего выясняетъ основную идею трехъ его капитальныхъ романовъ: «Обыкновенная исторія», «Обломовъ» и «Обрывъ».*

Прим. редакціи.

Прочія, отслуживъ свою службу въ данный моментъ, поступаютъ въ архивъ и забываются.

Я ожидалъ этой участи и для своихъ сочиненій, послѣ того, какъ они выдержали—одни два, другія три изданія, и не располагалъ, и теперь не имѣю въ виду, печатать ихъ вновь.

Но въ публикѣ, гдѣ еще много живыхъ современниковъ моей литературной дѣятельности, нерѣдко вспоминаютъ и о моихъ романахъ, иногда печатно, и очень часто въ личныхъ обращеніяхъ ко мнѣ.

Одни освѣдомляются, отчего нѣтъ моихъ сочиненій у книгопродавцевъ? Другіе лестно упрекаютъ меня, зачѣмъ я не пишу ничего новаго, иногда даже предлагаютъ написать о томъ или о другомъ предметѣ, на ту или другую тему, говоря, что отъ меня будто бы ожидаютъ въ публикѣ еще какого-нибудь произведенія. Третьи — и такихъ болѣе всего — обращаются къ собственному моему взгляду на то или другое изъ моихъ сочиненій, требуютъ поясненій о томъ, что̀ я разумѣлъ подъ тѣмъ, что̀ хотѣлъ сказать этимъ; кого или что̀ имѣлъ въ виду, изображая такого-то героя или героиню, вымышленны ли эти лица и событія, или дѣйствительно они были и т. д. Этимъ вопросамъ нѣтъ конца!

При этомъ, какъ это случалось почти со всѣми писателями, стараются меня самого подводить подъ того или другого героя, отыскивая меня то тамъ, то сямъ, или угадывая тѣ или другія личности въ герояхъ и героиняхъ. Чаще всего меня видятъ въ Обломовѣ, любезно упрекая за мою авторскую лѣнь и говоря, что я это лицо писалъ съ себя. Иногда же, напротивъ, затруднялись, куда меня дѣвать въ которомъ-нибудь романѣ, напримѣръ, въ дядю или племянника въ «Обыкновенной исторіи».

Иные откровенно выражаютъ мнѣ и порицаніе, за то, за другое, за третье, указываютъ слабыя мѣста, находятъ невѣрности, или преувеличенія, и за все зовутъ меня къ отвѣту. Еще недавно гдѣ-то я видѣлъ въ печати бѣглый критическій очеркъ моихъ сочиненій.

А я все думалъ, что если я уже замолчалъ въ печати самъ, то и другіе поговорятъ-поговорятъ, да и забудутъ меня съ моими сочиненіями, и потому на обращаемые ко мнѣ вопросы отвѣчалъ что̀ приходило въ голову подъ вліяніемъ минуты, личности вопрошателя и другихъ случайностей.

Но вопросы, освѣдомленія, требованія разъясненій и прочее, не только не прекратились, но, напротивъ, съ появленіемъ новаго изданія «Фрегатъ Паллады», усилились. Поспѣшаю прибавить, что я не утомляюсь и не скучаю этимъ, напротивъ, принимаю какъ выраженія лестнаго вниманія. Меня только иногда затрудняютъ отвѣты, которые я долженъ держать всегда, такъ сказать, наготовѣ, на обращаемые ко мнѣ вопросы, причемъ, конечно, неизбѣжно приходится впадать въ постоянныя повторенія.

Чтобы выйти изъ этого положенія отвѣтчика передъ тѣми или другими читателями за свои сочиненія и ходячаго критика послѣднихъ, и разъ навсегда разъяснить свой собственный взглядъ на мои авторскія задачи, я рѣшился напечатать давно праздно лежавшую въ моемъ портфелѣ нижеслѣдующую рукопись.

Этотъ критическій анализъ моихъ книгъ возникъ изъ предисловія, которое я готовилъ-было къ отдѣльному изданію «Обрыва» въ 1870 году, но тогда, по сказаннымъ въ этомъ очеркѣ причинамъ, не напечаталъ. Потомъ въ 1875 г. я опять возвратился къ нему, кое-что прибавилъ и опять отложилъ въ сторону.

Теперь, пробѣгая его вновь, я нахожу, что онъ можетъ служить достаточнымъ, съ моей стороны, разъясненіемъ и отвѣтомъ почти на всѣ обращаемые ко мнѣ съ разныхъ сторонъ и лично, и печатно, вопросы, иногда лестныя, преувеличенныя похвалы, чаще — порицанія, недоразумѣнія, упреки,—какъ относительно общаго значенія моихъ авторскихъ задачъ, такъ относительно и дѣйствующихъ лицъ, подробностей и т. д.

Я отнюдь не выдаю этотъ анализъ своихъ сочиненій за критическій непреложный критерій, не навязываю его никому, и даже предвижу, что во многомъ и многіе читатели, по разнымъ причинамъ, не раздѣлятъ его. Сообщая его, я только желаю, чтобъ они знали, какъ я смотрю на свои романы самъ, и приняли бы его, какъ мой личный отвѣтъ на дѣлаемые мнѣ вопросы, такъ чтобъ затѣмъ не оставалось уже о чемъ спрашивать меня самого.

Ежели читатели найдутъ этотъ мой ключъ къ моимъ сочиненіямъ—невѣрнымъ, то они вольны подбирать свой собственный. Если же бы, противъ моего ожиданія, мнѣ понадобилось издать вновь всѣ мои сочиненія, *то этотъ же анализъ можетъ служить авторскимъ предисловіемъ къ нимъ.*

Я опоздалъ съ этимъ предисловіемъ, скажутъ мнѣ: но если оно не покажется лишнимъ и теперь — то «лучше поздно, чѣмъ никогда»—могу отвѣтить на это.

Со времени появленія романа «Обрывъ» въ 1869 году, мнѣ пришлось прочитать не мало суровыхъ, даже раздражительныхъ приговоровъ въ печати; напротивъ того, въ обществѣ, лично, я встрѣчалъ много сочувствія, выражавшагося въ горячихъ, иногда восторженныхъ, конечно преувеличенныхъ, похвалахъ.

Я получалъ и письма отъ нѣкоторыхъ любителей литературы, наполненныя тѣми же похвалами, которыя всего болѣе относились къ моей «живописи»: и въ «Обрывѣ», и въ другихъ моихъ романахъ находили цѣлыя «галлереи» картинъ, лицъ, портретовъ, за которые хотѣли поставить меня на высокій пьедесталъ въ литературѣ.

Но я, въ отвѣтахъ своихъ и письменно, и устно, уклонялся отъ всякихъ, слишкомъ лестныхъ похвалъ. Эти похвалы имѣли бы для меня гораздо болѣе цѣны, если бы въ моей *живописи*, за которую меня особенно хвалили, найдены были тѣ идеи и вообще все тò, чтò, сначала

инстинктивно, потомъ, по мѣрѣ того, какъ подвигались мои авторскія работы впередъ, замѣтно для меня самого, укладывалось въ написанные мною образы, картины и простыя, несложныя событія.

Иные не находили, или не хотѣли находить въ моихъ образахъ и картинахъ ничего, кромѣ болѣе или менѣе живо нарисованныхъ портретовъ, пейзажей, можетъ-быть, живыхъ копій съ нравовъ—и только.

За что же тутъ хвалить? Развѣ такъ трудно вообще для таланта, если онъ есть, нагромоздить въ кучу лица провинціальныхъ старухъ, учителей, женщинъ, дѣвицъ, дворовыхъ людей и т. п.? Что за заслуга? Все бы это не заслуживало ni excès d'honneur, ni excès d'indignités, которыми, т.-е. послѣдними, меня осыпали не скупо, особенно въ печати.

Только когда я закончилъ свои работы, отошелъ отъ нихъ на нѣкоторое разстояніе и время, — тогда сталъ понятенъ мнѣ вполнѣ и скрытый въ нихъ смыслъ, ихъ значеніе— идея. Напрасно я ждалъ, что кто-нибудь и кромѣ меня прочтетъ между строками и, полюбивъ образы, свяжетъ ихъ въ одно цѣлое и увидитъ, что именно говоритъ это цѣлое? Но этого не было.

Могъ бы это сдѣлать и сдѣлалъ бы Бѣлинскій, но его не было. Потомъ, съ наступленіемъ реформъ, на очередь стали другіе вопросы, важнѣе вопросовъ искусства, и оттѣснили послѣднее на второй планъ. Все молодое и свѣжее поколѣніе жадно отозвалось на зовъ времени и приложило свои дарованія и силы къ злобѣ и работѣ дня. Было не до эстетическихъ критикъ. А тутъ еще вторгнулось въ общество новое явленіе, такъ-называемый *нигилизмъ*, явленіе сложное — и заглушило, на время конечно, чистый вкусъ, здравыя понятія въ искусствѣ, примѣшавъ къ нему Богъ знаетъ что. И критика, какъ и само искусство, отъ крупнаго, мыслящаго и осмысливающаго синтеза, перешла къ мелкому анализу.

И въ огромной толпѣ моихъ лицъ, она также погрузилась въ мелкій анализъ ихъ, не добираясь до синтеза. Читатели терялись въ обширной рамкѣ, останавливаясь, то съ одобреніемъ, то съ порицаніемъ, кто передъ *бабушкою,* кто передъ *Марѳинькой,* другіе передъ *Вѣрой,* и почти всѣ—пятились отъ Волохова, находя его «рѣзкимъ, растрепаннымъ», негоднымъ и ненужнымъ въ романѣ. Многіе видѣли въ немъ—будто бы рѣзкую карикатуру на молодое поколѣніе, другіе пожимали плечами, *удивляясь,* какъ я могъ поставить такого урода рядомъ съ чистою, изящною *Вѣрой!* Объ этомъ скажу подробно ниже. И тѣмъ покончили, сдавъ дѣло въ архивъ.

Больше ничего не видѣли — и замолчали. Молчалъ и я. Мнѣ нечего было дѣлать: нельзя было ходатайствовать за свое *дѣтище,* выводить его въ публику, объявлять, что оно такое-сякое, словомъ, рекомендовать. Я молчалъ потому, что, если не замѣтили и не нашли того другіе, что̀ замѣчаю и нахожу я самъ, значитъ, я—слабый художникъ, и о̀бразы, и картины мои не говорятъ ничего, кромѣ того, что говорятъ висящіе по стѣнамъ портреты, красивые или некрасивые, похожіе или непохожіе, съ добрыми, злыми, или гордыми лицами—и больше ничего!

Хорошо еще что хвалили за колоритъ, за вѣрность лицъ, за живость пейзажей—и то слава Богу!

Хотѣлъ-было, однако, я, въ 1870 году, сдѣлать нѣсколько возраженій нѣкоторымъ критикамъ, собственно по поводу *Волохова* и *Вѣры,* защитить ихъ и себя, но раздумалъ, чтобы не напрашиваться на новые, еще болѣе раздражительные отзывы, нежели какіе обращены были ко мнѣ тогда, именно за то, что будто бы я въ Волоховѣ изображалъ представителя новаго поколѣнія! Эти возраженія были предметомъ довольно обширнаго предисловія, которое я намѣревался напечатать при отдѣльномъ изданіи «Обрыва», но отложилъ, говорю я, и возьму оттуда теперь сюда то, что̀ покажется мнѣ умѣстнымъ.

Если молчалъ столько времени — зачѣмъ же теперь принимаюсь самъ объяснять свою книгу или, лучше сказать, свои книги, потому что придется затронуть мимоходомъ и первые два мои романа, говоря о послѣднемъ, ибо, скажу прежде всего, что они, особенно «Обломовъ» и «Обрывъ», *тѣсно и послѣдовательно связаны между собою,* какъ связаны отразившіеся въ нихъ, какъ въ каплѣ воды, періоды русской жизни.

Пишу прежде всего для тѣхъ, не составляющихъ уже теперь большинства въ обществѣ любителей художественной литературы, которые еще нерѣдко продолжаютъ въ разговорахъ со мною обращаться къ «Обрыву» и среди которыхъ найдется болѣе сочувствія и, слѣдовательно, болѣе чуткости, опредѣлительности и безпристрастія въ оцѣнкѣ — и самыхъ образовъ, и того, что̀ они выражаютъ, если они выражаютъ какой-нибудь другой смыслъ, кромѣ портретнаго сходства и яркости кисти. Если и они не найдутъ ничего, тогда я уже и самъ, послѣ опыта, перестану находить ключъ къ моимъ сочиненіямъ.

Стало-быть, прежде всего мнѣ это нужно для повѣрки себя, правъ я или нѣтъ — и если со мной согласятся и другіе и найдутъ, что я — въ значительной степени правъ, тогда, съ объясненіемъ внутренняго значенія моихъ картинъ, объяснится само собою и то, въ чемъ собственно состоитъ заслуга *романиста*, если онъ художникъ.

«*Художникъ мыслитъ образами*», сказалъ Бѣлинскій — и мы видимъ это на каждомъ шагу, во всѣхъ даровитыхъ романистахъ.

Но ка̀къ онъ мыслитъ — вотъ давнишній, мудреный, спорный вопросъ! Одни говорятъ — сознательно, другіе — безсознательно.

Я думаю и такъ, и этакъ: смотря по тому, что̀ преобладаетъ въ художникѣ, умъ или фантазія и такъ-называемое сердце?

Онъ работаетъ сознательно, если умъ его тонокъ, наблюдателенъ и превозмогаетъ фантазію и сердце. Тогда идея нерѣдко высказывается помимо образа. И если талантъ не силенъ, она заслоняетъ образъ и является тенденціею.

У такихъ сознательныхъ писателей умъ досказываетъ, чего не договариваетъ образъ — и ихъ созданія бываютъ нерѣдко сухи, блѣдны, неполны; они говорятъ уму читателя, мало говоря воображенію и чувству. Они убѣждаютъ, учатъ, [illegible], такъ-сказать, мало трогая.

И наоборотъ—при избыткѣ фантазіи и при—относительно [illegible] противъ таланта—умѣ, образъ поглощаетъ въ себѣ [illegible] идею; картина говоритъ за себя и художникъ [illegible] самъ увидитъ смыслъ—съ помощью тонкаго критиче- [illegible] истолкователя, какими, напримѣръ, были Бѣлинскій [illegible]

[illegible] въ лицѣ самого автора, соединяются и сильный [illegible] художникъ, и вполнѣ сознательный критикъ.

[illegible] думаютъ, что я беру такую роль на себя. Еди- [illegible] величины встрѣчаются весьма рѣдко, хотя боль- [illegible] [illegible]ныхъ литераторовъ конечно обладаютъ и [illegible] степенью критическаго такта.

[illegible] [illegible] болѣе или менѣе въ состояніи судить и [illegible] себя, какъ ни труденъ вообще судъ

[illegible] у меня найдется нѣкоторая доля крити- [illegible] крайней мѣрѣ мнѣ случается почти [illegible] значеніе литературныхъ произве- [illegible] же я не могу опредѣлить вѣрно кое- [illegible] Безъ сомнѣнія, я рискую быть при- [illegible] впасть въ самообольщеніе и само- [illegible] [illegible]рымъ я сообщу мои критическія [illegible] [illegible]кажутъ мнѣ эту смѣшную черту [illegible] [illegible]четъ.

[illegible] процессу сознательнаго и

безсознательнаго творчества, я о себѣ прежде всего скажу, что я принадлежу къ послѣдней категоріи, т.-е. увлекаюсь больше всего (какъ это замѣтилъ обо мнѣ Бѣлинскій) «своею способностью рисовать».

Рисуя, я рѣдко знаю въ ту минуту, что̀ значитъ мой образъ, портретъ, характеръ: я только вижу его живымъ, передъ собою — и смотрю, вѣрно ли я рисую, вижу его въ дѣйствіи съ другими — слѣдовательно, вижу сцены и рисую тутъ этихъ другихъ, иногда далеко впереди, по плану романа, не предвидя еще вполнѣ, какъ вмѣстѣ свяжутся всѣ, пока разбросанныя въ головѣ, части цѣлаго. Я спѣшу, чтобъ не забыть, набрасывать сцены, характеры, на листкахъ, клочкахъ — и иду впередъ какъ будто ощупью, пишу сначала вяло, неловко, скучно (какъ начало въ *Обломовѣ* и *Райскомъ*), и мнѣ самому бываетъ скучно писать, пока вдругъ не хлынетъ свѣтъ и не освѣтитъ дороги, куда мнѣ идти. У меня всегда есть одинъ образъ и вмѣстѣ главный мотивъ: онъ-то и ведетъ меня впередъ—и по дорогѣ я нечаянно захватываю, что̀ попадется подъ руку, т.-е., что̀ близко относится къ нему. Тогда я работаю живо, бодро, рука едва успѣваетъ писать, пока опять не упрусь въ стѣну. Работа, между тѣмъ, идетъ въ головѣ, лица не даютъ покоя, пристаютъ, позируютъ въ сценахъ, я слышу отрывки ихъ разговоровъ — и мнѣ часто казалось, прости Господи, что я это не выдумываю, а что это все носится въ воздухѣ около меня и мнѣ только надо смотрѣть и вдумываться.

Мнѣ, напримѣръ, прежде всего бросался въ глаза лѣнивый образъ *Обломова*—въ себѣ и въ другихъ—и все ярче и ярче выступалъ передо мною. Конечно, я инстинктивно чувствовалъ, что въ эту фигуру вбираются мало-по-малу элементарныя свойства русскаго человѣка — и пока этого инстинкта довольно было, чтобы образъ былъ вѣренъ характеру.

Если бъ мнѣ тогда сказали все, что Добролюбовъ и дру-

гіе и, наконецъ, я самъ потомъ нашли въ немъ — я бы повѣрилъ, а повѣривъ, сталъ бы умышленно усиливать ту или другую черту—и, конечно, испортилъ бы.

Вышла бы тенденціозная фигура! Хорошо, что я не вѣдалъ, что̀ творю!

Въ «Обрывѣ» больше и прежде всего меня занимали три лица: *Райскій, бабушка* и *Вѣра*, но особенно Райскій. Труднѣе всего было мнѣ вдумываться въ этотъ неопредѣленный, туманный еще тогда для меня образъ, сложный, измѣнчивый, капризный, почти неуловимый, слагавшійся постепенно, съ ходомъ времени, которое отражало на немъ всѣ переливы свѣта и красокъ, т.-е. видоизмѣненія общественнаго развитія. Я долженъ былъ его больше, нежели кого-нибудь, писать инстинктомъ, глядя то въ себя, то вокругъ, безпрестанно говоря о немъ въ кругу тогдашнихъ литераторовъ, повѣряя себя, допрашиваясь ихъ мнѣнія, читая имъ на выдержку отдѣльныя главы, объясняя, что̀ будетъ дальше, чтобъ видѣть, какое впечатлѣніе производитъ онъ, и бодрѣе идти впередъ. И это началось съ 1855 года (романъ задуманъ былъ въ 1849 г., когда я, послѣ 14-лѣтняго отсутствія, пріѣхалъ повидаться съ родственниками на Волгу). Тутъ толпой хлынули ко мнѣ старыя, знакомыя лица, я увидѣлъ еще не отжившій патріархальный бытъ, и вмѣстѣ новые побѣги, смѣсь молодого со старымъ. Сады, Волга, обрывы Поволжья, родной воздухъ, воспоминанія дѣтства — все это залегло мнѣ въ голову и почти мѣшало кончать «Обломова», котораго написана была первая часть, а остальныя гнѣздились въ головѣ. Я унесъ новый романъ, возилъ его вокругъ свѣта въ головѣ и въ программѣ, небрежно написанной на клочкахъ—и говорилъ, разсказывалъ, читалъ вслухъ всѣмъ кому попало, радуясь своему запасу.

Кончилъ «Фрегатъ Палладу», кончилъ, въ 1857 году, за границею на водахъ «Обломова» и тогда же, прямо изъ Маріенбада, поѣхалъ въ Парижъ, гдѣ засталъ двухъ-трехъ

пріятелей изъ русскихъ литераторовъ, и прочелъ имъ только-что написанныя въ уединеніи, на водахъ, три послѣднія части «Обломова», за исключеніемъ послѣднихъ главъ, которыя дописалъ въ Петербургѣ, и опять прочелъ ихъ уже тамъ тѣмъ же лицамъ. Послѣ того весь отдался «Обрыву», который извѣстенъ былъ тогда въ кружкѣ нашемъ просто подъ именемъ «Художника».

Приступаю теперь прямо къ тому, что мнѣ видится въ моихъ трехъ романахъ, къ общему ихъ смыслу.

Я упомянулъ выше, что вижу *не три романа, а одинъ*. Всѣ они связаны одною общею нитью, одною послѣдовательною идеею — перехода отъ одной эпохи русской жизни, которую я переживалъ, къ другой—и отраженіемъ ихъ явленій въ моихъ изображеніяхъ, портретахъ, сценахъ, мелкихъ явленіяхъ и т. д.

Прежде всего надо вспомнить и уяснить себѣ слѣдующее положеніе искусства: если образы типичны—они непремѣнно отражаютъ на себѣ—крупнѣе или мельче—и эпоху, въ которой живутъ, оттого они и типичны. То-есть, на нихъ отразятся, какъ въ зеркалѣ, и явленія общественной жизни, и нравы, и бытъ. А если художникъ самъ глубокъ, то въ нихъ проявляется и психологическая сторона. На глубину я не претендую, поспѣшаю замѣтить: и современная критика уже замѣчала печатно, что я не глубокъ.

Я самъ и среда, въ которой я родился, воспитывался, жилъ—все это, помимо моего сознанія, само собою отразилось силою рефлексіи у меня въ воображеніи, какъ отражается въ зеркалѣ пейзажъ изъ окна, какъ отражается иногда въ небольшомъ прудѣ громадная обстановка: и опрокинутое надъ прудомъ небо, съ узоромъ облаковъ, и деревья, и гора съ какими-нибудь зданіями, и люди, и животныя, и суета, и неподвижность — все въ миніатюрныхъ подобіяхъ.

Такъ и надо мною, и надъ моими романами совершался

этотъ простой физическій законъ — почти незамѣтнымъ для меня самого путемъ.

Когда я писалъ «Обыкновенную исторію», я, конечно, имѣлъ въ виду — и себя, и многихъ подобныхъ мнѣ учившихся дома, или въ университетѣ, жившихъ по затишьямъ, подъ крыломъ добрыхъ матерей, и потомъ — отрывавшихся отъ нѣги, отъ домашняго очага, со слезами, съ проводами (какъ въ первыхъ главахъ «Обыкновенной исторіи») и являвшихся на главную арену дѣятельности, въ Петербургъ.

И здѣсь — въ встрѣчѣ мягкаго, избалованнаго лѣнью и барствомъ, мечтателя-племянника съ практическимъ дядей— выразился намекъ на мотивъ, который едва только началъ разыгрываться въ самомъ бойкомъ центрѣ—въ Петербургѣ. Мотивъ этотъ — слабое мерцаніе сознанія необходимости *труда,* настоящаго нерутиннаго, *а живого дѣла*, въ борьбѣ съ всероссійскимъ застоемъ.

Это отразилось въ моемъ маленькомъ зеркалѣ въ среднемъ чиновничьемъ кругу. Безъ сомнѣнія то же—въ такомъ же духѣ, тонѣ и характерѣ, только въ другихъ размѣрахъ, разыгрывалось и въ другихъ, и высшихъ, и низшихъ сферахъ русской жизни.

Представитель этого мотива въ обществѣ былъ дядя: онъ достигъ значительнаго положенія въ службѣ, онъ директоръ, тайный совѣтникъ, и кромѣ того онъ сдѣлался и заводчикомъ. Тогда, отъ 20-хъ до 40-хъ годовъ—это была смѣлая новизна, чуть не *униженіе* (я не говорю о заводчикахъ-барахъ, у которыхъ заводы и фабрики входили въ число родовыхъ имѣній, были оброчныя статьи и которыми они сами не занимались). Тайные совѣтники мало рѣшались на это. Чинъ не позволялъ, а званіе купца—не было лестно.

Въ борьбѣ дяди съ племянникомъ отразилась и тогдашняя, только-что начинавшаяся ломка старыхъ понятій и нравовъ — сентиментальности, карикатурнаго преувеличенія чувствъ дружбы и любви, поэзія праздности, семейная и

домашняя ложь напускныхъ, въ сущности небывалыхъ чувствъ (напримѣръ, любви съ *желтыми цвѣтами* старой дѣвы тётки и т. п.), пустая трата времени на визиты, на ненужное гостепріимство и т. д.

Словомъ, вся праздная, мечтательная и аффектаціонная сторона старыхъ нравовъ, съ обычными порывами юности— къ высокому, великому, изящному, къ эффектамъ, съ жаждою высказать это въ трескучей прозѣ, всего болѣе въ стихахъ.

Все это — отживало, уходило; являлись слабые проблески новой зари, чего-то трезваго, дѣлового, нужнаго.

Первое, т.-е. старое исчерпалось въ фигурѣ племянника— и оттого онъ вышелъ рельефнѣе, яснѣе.

Второе—т.-е. трезвое сознаніе необходимости дѣла, труда, знанія, выразилось въ дядѣ — но это сознаніе только нарождалось, показались первые симптомы, далеко было до полнаго развитія — и понятно, что начало могло выразиться слабо, неполно, только кое-гдѣ, въ отдѣльныхъ лицахъ и маленькихъ группахъ, и фигура дяди вышла блѣднѣе фигуры племянника.

Наденька, дѣвушка, предметъ любви Адуева — вышла также отраженіемъ своего времени. Она уже не безусловно покорная дочь передъ волей какихъ бы ни было родителей. Мать ея слаба передъ ней и едва въ состояніи сохранять только decorum авторитета матери, хотя и увѣряетъ, что *она строга, даромъ, что молчитъ*, и что будто Наденька ни шагу *безъ нея не ступитъ*. Неправда, она сама чувствуетъ, что слаба и слѣпа до того, что допускаетъ отношенія дочери и къ Адуеву, и къ графу, не понимая въ чемъ дѣло.

Дочь нѣсколькими шагами — впереди матери. Она *безъ спросу* полюбила Адуева — и почти не скрываетъ этого отъ матери или молчитъ только для приличія, считая за собою право распоряжаться по-своему *своимъ внутреннимъ міромъ*

и самимъ Адуевымъ, которымъ, изучивъ его хорошо, овладѣла и командуетъ. Это ея послушный рабъ, нѣжный, безхарактерно-добрый, что-то обѣщающій, но мелко-самолюбивый, простой, обыкновенный юноша, какихъ вездѣ—легіонъ. И она приняла бы его, вышла бы замужъ — и все пошло бы обычнымъ ходомъ.

Но явилась фигура графа, сознательно-умная, ловкая, съ блескомъ. Наденька увидала, что Адуевъ не выдерживаетъ сравненія съ нимъ, ни въ умѣ, ни въ характерѣ, ни въ воспитаніи. Наденька въ своемъ быту не пріобрѣла сознанія ни о какихъ идеалахъ мужского достоинства, силы. и какой силы?

Тогда ихъ и не было, этихъ идеаловъ, какъ не было никакой русской, самостоятельной жизни. Онѣгины, и подобные ему, вотъ кто были идеалы, т.-е. франты, львы, презиравшіе мелкій трудъ и не знавшіе, что̀ съ собой дѣлать!

Ея достало разглядѣть только, что молодой Адуевъ — не сила, что въ немъ повторяется все, что она видѣла тысячу разъ во всѣхъ другихъ юношахъ, съ которыми танцовала, немного кокетничала. Она на минуту прислушалась къ его стихамъ. Писаніе стиховъ тогда было дипломомъ на интеллигенцію. Она ждала, что сила, талантъ кроются тамъ. Но оказалось, что онъ пишетъ только сносные стихи, но о нихъ никто не знаетъ, да еще дуется про себя на графа за то, что этотъ простъ, уменъ и держитъ себя съ достоинствомъ. Она перешла на сторону послѣдняго. Въ этомъ пока и состоялъ *сознательный шагъ русской дѣвушки* — безмолвная эмансипація, протестъ противъ безпомощнаго для нея авторитета матери.

Но тутъ и кончилась эта эмансипація. Она *сознала*, но въ *дѣйствіе своего сознанія не обратила*, а остановилась въ *невѣдѣніи*, такъ какъ и самый моментъ эпохи былъ моментомъ невѣдѣнія. Никто еще не зналъ, что̀ съ собой дѣлать, куда идти, что начать? Онѣгинъ и подобные ему

«идеалы» только тосковали въ бездѣйствіи, не имѣя опредѣленныхъ цѣлей и дѣла, а Татьяны не вѣдали.

— «Что же изъ этого будетъ?»—въ страхѣ спрашиваетъ Наденьку Адуевъ:—«графъ не женится?»

— «Не знаю!»—отвѣчаетъ она въ тоскѣ. И дѣйствительно не знала русская дѣвушка, какъ поступить сознательно и раціонально въ томъ или другомъ случаѣ. Она чувствовала только смутно, что ей можно и пора протестовать противъ отдачи *ея замужъ родителями* — и только могла, безсознательно, конечно, какъ Наденька, заявить этотъ протестъ, забраковавъ одного и перейдя чувствомъ къ другому.

Тутъ я и оставилъ Наденьку. Мнѣ она была больше не нужна, какъ типъ, а до нея, какъ до личности, мнѣ не было дѣла.

И Бѣлинскій однажды замѣтилъ это. «Пока ему нужна она, до тѣхъ поръ онъ съ ней и возится!» — сказалъ онъ кому-то при мнѣ:—«а тамъ и броситъ!»

А меня спрашивали многіе, что́ же было съ нею дальше? Почемъ я знаю? Я *рисовалъ не Наденьку, а русскую дѣвушку извѣстнаго круга той эпохи*, въ извѣстный моментъ. Самъ я никакой одной Наденьки лично не зналъ, или зналъ многихъ.

Мнѣ скажутъ, что какъ ея, такъ и другія фигуры блѣдны — и типовъ собой не образуютъ! очень можетъ быть— объ этомъ я спорить не могу. Я только говорю, что̀ самъ подъ ними разумѣлъ.

Въ началѣ 40-хъ годовъ, когда задумывался и писался этотъ романъ, я еще не могъ вполнѣ ясно глядѣть въ слѣдующій періодъ, который не наступалъ, но предчувствія котораго жили уже во мнѣ, потому что вскорѣ послѣ напечатанія, въ 1847 году въ «Современникѣ», «Обыкновенной исторіи» — у меня уже въ умѣ былъ готовъ планъ *Обломова*, а въ 1848 г. (или 1849 г.—не помню) я помѣстилъ въ «Иллюстрированномъ Сборникѣ» при «Современникѣ» и

«Сонъ Обломова»—эту увертюру всего романа, слѣдовательно, я переживалъ про себя въ воображеніи и этотъ періодъ — и, благодаря своей чуткости, предчувствовалъ, что слѣдуетъ далѣе. Теперь могу отвѣчать, «что сталось съ Наденькой?»

Смотрите въ «Обломовѣ»—*Ольга* есть превращенная *Наденька* слѣдующей эпохи. Но до этого дойдемъ ниже.

Адуевъ кончилъ, какъ бо́льшая часть тогда: послушался практической мудрости дяди, принялся работать въ службѣ, писалъ и въ журналахъ (но уже не стихами) и, переживъ эпоху юношескихъ волненій, достигъ положительныхъ благъ, какъ большинство, занялъ въ службѣ прочное положеніе и выгодно женился, словомъ, обдѣлалъ свои дѣла. Въ этомъ и заключается «Обыкновенная исторія».

Она — въ моихъ книгахъ — *первая галлерея*, служащая преддверіемъ къ слѣдующимъ двумъ *галлереямъ* или *періодамъ* русской жизни, уже тѣсно связаннымъ между собою, т.-е. къ «Обломову» и «Обрыву», или къ «Сну» и къ «Пробужденію».

Мнѣ могутъ замѣтить, что задолго передъ этимъ намеки на подобныя же отношенія между лицами, какъ у меня въ «Обломовѣ» и «Обрывѣ», частью въ «Обыкновенной исторіи», есть у нашего великаго поэта Пушкина, напримѣръ, въ Татьянѣ и Онѣгинѣ, Ольгѣ и Ленскомъ и т. д.

На это я отвѣчу прежде всего, что отъ Пушкина и Гоголя въ русской литературѣ теперь еще пока никуда не уйдешь. Школа Пушкино-Гоголевская продолжается доселѣ, и всѣ мы, беллетристы, только разработываемъ завѣщанный ими матеріалъ. Даже Лермонтовъ, фигура колоссальная, весь, какъ старшій сынъ въ отца, вылился въ Пушкина. Онъ ступалъ, такъ-сказать, въ его слѣды. Его *Пророкъ* и *Демонъ*, поэзія *Кавказа* и *Востока* и его романы—все это развитіе тѣхъ образцовъ поэзіи и идеаловъ, какіе далъ Пушкинъ. Я сказалъ въ критическомъ этюдѣ о Грибоѣдовѣ,

«Милліонъ терзаній», что Пушкинъ—отецъ, родоначальникъ русскаго искусства, какъ Ломоносовъ—отецъ науки въ Россіи. Въ Пушкинѣ кроются всѣ сѣмена и зачатки, изъ которыхъ развились потомъ всѣ роды и виды искусства во всѣхъ нашихъ художникахъ, какъ въ Аристотелѣ крылись сѣмена, зародыши и намеки почти на всѣ послѣдовавшія вѣтви знанія и науки. И у Пушкина, и у Лермонтова, вѣетъ одинъ родственный духъ, слышится одинъ общій строй лиры, иногда являются будто одни образы,—у Лермонтова можетъ-быть болѣе мощные и глубокіе; но зато менѣе совершенные и блестящіе по формѣ, чѣмъ у Пушкина. Вся разница въ моментѣ времени. Лермонтовъ ушелъ дальше временемъ, вступилъ въ новый періодъ развитія мысли, новаго движенія европейской и русской жизни и опередилъ Пушкина глубиною мысли, смѣлостью и новизною идей и полета.

Пушкинъ, говорю, былъ нашъ учитель—и я воспитался, такъ-сказать, его поэзіею. Гоголь на меня вліялъ гораздо позже и меньше: я уже писалъ самъ, когда Гоголь еще не закончилъ своего поприща.

Самъ Гоголь, объективностью своихъ образовъ, конечно, обязанъ Пушкину же. Безъ этого образца и предтечи искусства — Гоголь не былъ бы тѣмъ Гоголемъ, какимъ онъ есть. Прелесть, строгость и чистота формы — тѣ же. Вся разница въ бытѣ, въ обстановкѣ, и въ сферѣ дѣйствія— а творческій духъ одинъ, у Гоголя весь перешедшій въ отрицаніе.

Поэтому неудивительно, что черты Пушкинской, Лермонтовской и Гоголевской творческой силы—доселѣ входятъ въ нашу плоть и кровь, какъ плоть и кровь предковъ переходитъ къ потомкамъ.

Надо сказать, что у насъ, въ литературѣ (да, я думаю, и вездѣ), особенно два главные образа женщинъ постоянно являются въ произведеніяхъ слова параллельно, какъ двѣ

противоположности: характеръ положительный—Пушкинская *Ольга*, и идеальный—его же *Татьяна*. Одинъ—безусловное пассивное выраженіе эпохи, типъ, отливающійся, какъ воскъ, въ готовую, господствующую форму. Другой — съ инстинктами самосознанія, самобытности, самодѣятельности. Оттого первый ясенъ, открытъ, понятенъ сразу (Ольга въ Онѣгинѣ, *Варвара въ Грозѣ*). Другой, напротивъ, своеобразенъ, ищетъ самъ своего выраженія и формы, и оттого кажется капризнымъ, таинственнымъ, мало-уловимымъ. Есть они у нашихъ учителей и образцовъ, есть и у Островскаго въ *Грозѣ*—въ другой сферѣ; они же, смѣю прибавить, явились и въ моемъ *Обрывѣ*. Это два господствующіе характера, на которые въ основныхъ чертахъ, съ разными оттѣнками, болѣе или менѣе дѣлятся всѣ женщины.

Дѣло не въ изобрѣтеніи новыхъ типовъ — да коренныхъ общечеловѣческихъ типовъ и немного — а въ томъ, какъ у кого они выразились, какъ связались съ окружающею ихъ жизнью, и какъ послѣдняя на нихъ отразилась.

Пушкинскія *Татьяна* и *Ольга* какъ нельзя болѣе отвѣчали своему моменту. Татьяна, подавленная своей грубой и жалкой средой, также бросилась къ Онѣгину, но не нашла отвѣта и покорилась своей участи, выйдя за генерала. Ольга вмигъ забыла своего поэта и вышла за улана. Авторитетъ родителей рѣшилъ ихъ судьбу. Пушкинъ, какъ великій мастеръ, этими двумя ударами своей кисти, да еще нѣсколькими штрихами—далъ намъ вѣчные образцы, по которымъ мы и учимся безсознательно писать, какъ живописцы по античнымъ статуямъ.

У меня (въ дальнѣйшей противу Онѣгина эпохѣ) и Наденька, и Ольга, или, лучше сказать, *Наденька — Ольга*, (потому что я утверждаю, что это одно лицо въ разныхъ моментахъ) поступила иначе, согласно съ временемъ. Отъ невѣдѣнія Наденьки—естественный переходъ къ *сознательному* замужеству Ольги со Штольцемъ, представителемъ труда, знанія, энергіи—словомъ, силы.

Я не остановлюсь долго надъ «Обломовымъ». Въ свое время его разобрали и значеніе его было оцѣнено, и критикой, особенно въ лицѣ Добролюбова, и публикою, весьма сочувственно.

Воплощеніе сна, застоя, неподвижной мертвой жизни—*переползаніе изо дня въ день*—въ одномъ видѣ и въ его обстановкѣ—было всѣми найдено вѣрнымъ—и я счастливъ.

Я закончилъ свою *вторую* картину русской жизни, *Сна*, нигдѣ не пробудивъ самого героя *Обломова*.

Только Штольцъ время отъ времени представлялъ ему зеркало обломовской бездонной лѣни, апатіи, сна. Онъ истощилъ, вмѣстѣ съ Ольгой, всѣ силы къ пробужденію его—и все напрасно.

Въ послѣднемъ свиданіи со Штольцемъ только вырывается у Обломова нѣсколько сознательныхъ словъ—и напрасно я вставилъ ихъ. Я помѣстилъ ихъ въ концѣ, когда одинъ пріятель, гонявшійся всегда въ произведеніяхъ искусства за сознательною мыслію, но мало вообще доступный непосредственному дѣйствію образа, замѣтилъ мнѣ: «что же онъ, ужели не отзовется на призывъ Штольца?»

Я и вставилъ нѣсколько словъ, изъ которыхъ выглядываетъ сознаніе и самого Обломова.

И образъ его немного, такъ сказать, тронулся отъ этого, немного потерялъ цѣлости характера: въ портретѣ оказалось пятно. Но это, къ счастью, въ самомъ концѣ. Не надо было трогать вовсе. Не даромъ Бѣлинскій, въ своей рецензіи объ «Обыкновенной исторіи», упрекнулъ меня за то, что я тамъ сталъ на «почву сознательной мысли!» Образы такъ образы: ими и надо говорить.

Штольцъ, уходя въ послѣдній разъ, въ слезахъ говоритъ: „*прощай, старая Обломовка: ты отжила свой вѣкъ!*"

И того бы не нужно было говорить. Обломовъ самъ достаточно объясняетъ себя, прося Штольца *уйти, не трогать его*, говоря, что *онъ прирось одною больною половиною къ старому, отдери—будетъ смерть!*

Этимъ бы и слѣдовало закончить вторую картину *Сонъ*, т. е. непробудимымъ сномъ, потому что далѣе, за *обломовскимъ хребтомъ* (выраженіе Герцена гдѣ-то въ «Колоколѣ»), мнѣ открывалась дальнѣйшая, третья перспектива:—это картина *Пробужденія*.

Я, повторяю, ужъ съ 1849 года носилъ эту толпу лицъ, сценъ, пейзажей, въ памяти и въ программѣ (т. е. «Обрывъ»), набросанной безпорядочно, какъ все это носилось у меня въ головѣ. На первомъ планѣ являлась во весь ростъ *Бабушка*, потомъ *Вѣра*, *Райскій*, послѣ *Марѳинька*, *Козловъ* съ женой (университетскія воспоминанія товарищества), дворня, садъ съ обрывомъ. Все это тѣснилось въ воображеніи и требовало только сосредоточенности уединенія и покоя, чтобы отлиться въ форму романа.

А этого всего было у меня мало, да я все сомнѣвался въ своихъ силахъ, все не довѣрялъ себѣ, все справлялся съ мнѣніемъ и впечатлѣніемъ другихъ, разсказывалъ все до подробности Боткину, Дудышкину, Дружинину, и болѣе всего одному, еще живому литератору, требуя мнѣнія, совѣта, но совѣтовъ ни отъ кого не получалъ, и кончалъ тѣмъ, что приводилъ все медленно, послѣ тщательной отдѣлки, къ концу. Я рѣдко могъ урываться за границу — между службою, свѣтскимъ и всякимъ другимъ бездѣльемъ—и работать. Всего болѣе затрудняла меня архитектоника, сведеніе всей массы лицъ и сценъ въ стройное цѣлое, и вотъ, между прочимъ, причины медленности!

«Что другому стало бы на десять повѣстей», замѣтилъ однажды Бѣлинскій про меня, еще по поводу «Обыкновенной исторіи»,—«у него укладывается въ одну рамку».

Да и періоды, уложившіеся въ эти три рамки, растянулись лѣтъ на тридцать, слѣдовательно, и романы—или отраженія жизни—должны были тянуться параллельно долго.

У меня раскидывался и четвертый періодъ, захватывавшій и современную жизнь, но я оставилъ этотъ планъ, по-

тому что творчество требуетъ спокойнаго наблюденія уже установившихся и успокоившихся формъ жизни, а новая жизнь слишкомъ нова, она трепещетъ въ процессѣ броженія, слагается сегодня, разлагается завтра и видоизмѣняется не по днямъ, а по часамъ. Нынѣшніе герои не похожи на завтрашнихъ и могутъ отражаться только въ зеркалѣ сатиры, легкаго очерка, а не въ большихъ эпическихъ произведеніяхъ.

Прежде чѣмъ перейти къ «Обрыву», скажу нѣсколько словъ о *Штольцѣ* въ «Обломовѣ».

Меня упрекали за это лицо — и съ одной стороны справедливо. Онъ слабъ, блѣденъ—изъ него слишкомъ голо выглядываетъ идея. Это я самъ сознаю. Но меня упрекали, зачѣмъ я ввелъ его въ романъ? Отчего нѣмца, а не русскаго поставилъ я въ противоположность Обломову?

Я могъ бы отвѣтить на это, что изображая лѣнь и апатію во всей ея широтѣ и закоренѣлости, какъ стихійную русскую черту, и только одно это, я, выставивъ рядомъ русскаго же, какъ образецъ энергіи, знанія, труда, вообще всякой силы, впалъ бы въ нѣкоторое противорѣчіе съ самимъ собою, т.-е. съ своею задачей — изображать застой, сонъ, неподвижность. Я разбавилъ бы цѣлость одной, избранной мною для романа стороны русскаго характера.

Но я молча слушалъ тогда порицанія, соглашаясь вполнѣ съ тѣмъ, что образъ Штольца блѣденъ, не реаленъ, не живой, а просто идея.

Особенно, кажется, славянофилы, и за нелестный образъ Обломова, и всего болѣе за нѣмца — не хотѣли меня, такъ сказать, знать. Покойный Ѳ. И. Тютчевъ однажды ласково, съ свойственною ему мягкостью, упрекая меня, спросилъ, «зачѣмъ я взялъ Штольца!» Я повинился въ ошибкѣ, сказавъ, что сдѣлалъ это случайно: подъ руку, молъ, подвернулся!

Между тѣмъ, кажется, помимо моей воли — тутъ ошибки

собственно не было, если принять во вниманіе ту роль, какую играли и играютъ до сихъ поръ въ русской жизни и нѣмецкій элементъ, и нѣмцы. Еще доселѣ они у насъ учители, профессоры, механики, инженеры, техники по всѣмъ частямъ. Лучшія и богатыя отрасли промышленности, торговыхъ и другихъ предпріятій въ ихъ рукахъ.

Это, конечно, досадно, но справедливо—и причины этого порядка дѣлъ истекаютъ все изъ той же *обломовщины* (между прочимъ, изъ крѣпостного права), главный мотивъ которой набросанъ мною въ *Снѣ Обломова*.

Я вижу, однако, что не спроста подвернулся мнѣ нѣмецъ подъ руку—и, должно-быть, тогда (я теперь забылъ) мнѣ противно было брать чисто-нѣмецкаго нѣмца. Я взялъ родившагося здѣсь и обрусѣвшаго нѣмца и нѣмецкую систему неизнѣженнаго, бодраго и практическаго воспитанія.

Обрусѣвшіе нѣмцы (напримѣръ, остзейцы) сливаются, хотя туго и медленно, съ русскою жизнію и — нѣтъ сомнѣнія, сольются когда-нибудь совсѣмъ. Отрицать полезность этого притока посторонняго элемента къ русской жизни — и несправедливо, и нельзя. Они вносятъ во всѣ роды и виды дѣятельности — прежде всего свое терпѣніе, persévérance своей расы, а затѣмъ и много другихъ качествъ, и гдѣ бы ни было—въ арміи, во флотѣ, въ администраціи, въ наукѣ, словомъ, всюду—они служатъ съ Россіей и Россіи, и большею частію становятся ея дѣтьми.

Отвергать ихъ при этихъ условіяхъ, какъ притокъ, сливающійся съ общею рѣкою—было бы такъ же возмутительно-несправедливо съ нашей русской стороны, какъ возмутительно-несправедливо со стороны нѣкоторой партіи остзейскихъ нѣмцевъ, живя въ Россіи, съ русскими, находя въ ней надежную опору своего политическаго существованія и всѣ условія благосостоянія, считать ее чуждою себѣ, своему нѣмецкому духу, пятиться отъ сліянія съ нею и стараться удержать statu quo.

Все это, конечно, минуетъ въ будущемъ, хотя, можетъ-быть, и не очень близкомъ. Закоснѣлость и упрямство нашихъ доморощенныхъ нѣмцевъ уступятъ духу времени, когда они, съ своею мнимою остзейскою цивилизаціею, очутятся позади шагающей впередъ Россіи. И самое славянофильство, оставаясь тѣмъ, что оно есть, т.-е. выраженіемъ и охраненіемъ коренного славяно-русскаго духа, нравственной народной силы и историческаго характера Россіи, будетъ искреннѣе протягивать руку къ всеобщей, т.-е. европейской культурѣ: ибо если чувства и убѣжденія національны, то знаніе—одно для всѣхъ и у всѣхъ.

Обращаюсь къ «Обрыву». Тамъ на первомъ планѣ—*Райскій* и *Бабушка*, потомъ Вѣра, Волоховъ, Марѳинька и Викентьевъ, далѣе учитель Козловъ съ женою, большая дворня и, наконецъ, Тушинъ.

Что же представляетъ эта группа? Ужели ничего больше, кромѣ портретовъ, индивидуальныхъ характеровъ, мало связанныхъ съ общею жизнью извѣстнаго момента?

Такъ иные и смотрѣли. Нѣкоторые упрекали меня, зачѣмъ я такъ пложу и растягиваю тѣ или другія сцены? зачѣмъ обременяю ихъ подробностями? довольно бы-де однимъ намекомъ, нѣсколькими словами, штрихомъ, маленькой сценой—выразить мысль...

Но я выражалъ прежде всего не мысль, а то лицо, тотъ образъ, то дѣйствіе, которое видѣлъ въ фантазіи. Поступи я по совѣту этой критики, у меня не вышло бы ни одной живой и полной фигуры, законченнаго портрета, а вышли бы сухіе рисунки, силуэты, эскизы карандаша. Зачѣмъ же мнѣ карандашъ, если, какъ говорятъ, у меня есть кисть?

Теперь скажу, что̀ я самъ вижу въ этихъ фигурахъ.

Что такое *Райскій?* Да все *Обломовъ*, т.-е. прямой, ближайшій его сынъ, герой эпохи *Пробужденія*.

Обломовъ былъ цѣльнымъ, ничѣмъ неразбавленнымъ выраженіемъ массы, покоившейся въ долгомъ и непробудномъ

снѣ и застоѣ. И критика, и публика находили это: почти всѣ мои знакомые на каждомъ шагу, смѣясь, говорили мнѣ, по выходѣ книги въ свѣтъ, что они узнаютъ въ этомъ героѣ себя и своихъ знакомыхъ.

Райскій—герой слѣдующей, т.-е. *переходной* эпохи. Это проснувшійся *Обломовъ:* сильный, новый свѣтъ блеснулъ ему въ глаза. Но онъ еще потягивается, озираясь вокругъ и оглядываясь на свою обломовскую колыбель.

Что-то пронеслось новое и живое въ воздухѣ, какія-то смутныя предчувствія, потомъ прошли слухи о новыхъ началахъ, преобразованіяхъ; обнаружилось движеніе въ наукѣ, въ искусствѣ; съ профессорскихъ каѳедръ послышались живыя рѣчи. Въ небольшихъ кружкахъ тогдашней интеллигенціи смѣло выражалась передовыми людьми жажда перемѣнъ. Ихъ называли «людьми сороковыхъ годовъ». Райскій—есть, конечно, одинъ изъ нихъ—и, можетъ-быть—что-нибудь и еще.

Райскій — натура артистическая: онъ воспріимчивъ, впечатлителенъ, съ сильными задатками дарованій, но онъ все-таки сынъ Обломова.

Онъ, умомъ и совѣстью, принялъ новыя животворныя сѣмена — но остатки еще не вымершей обломовщины мѣшаютъ ему обратить усвоенныя понятія въ дѣло. Онъ совался туда, сюда — но онъ не былъ серьезно приготовленъ наукой и практикой къ какой-нибудь государственной, общественной, или частной дѣятельности, потому что на всѣхъ этихъ сферахъ еще лежала обломовщина, тихое, монотонное теченіе сонныхъ привычекъ, рутина. Живое дѣло только-что просыпалось. Россія доживала вѣкъ петровскихъ реформъ— и ждала новыхъ.

Райскій мечется, и, наконецъ, благодаря природному таланту или талантамъ, бросается къ искусству: къ живописи, къ поэзіи, къ скульптурѣ. Но и тутъ, какъ гири на ногахъ, его тянетъ назадъ та же «обломовщина».

Нива искусства была такъ же пуста, не воздѣлана, и отдѣльныя, хотя великія явленія въ ней — были случайности. Въ литературѣ почти то же.

Не было цѣлой рати пишущихъ, разсадника, литературной школы, почти не было журналистики; все работало робко, тихо, по уголкамъ. Только огромные таланты Пушкина и Лермонтова являлись отдѣльными яркими звѣздами а кругомъ ихъ почти никого. То же и въ живописи, и въ ваяніи: была и академія, и школа классическая и классная. Не было почвы, кружковъ, общества, которые жили бы однимъ искусствомъ и для искусства, безъ видовъ на карьеру и отличія. Не было частной иниціативы; самобытная русская художническая сила, сквозь обломовщину, не могла прорваться наружу.

Такъ было до нашего времени, до нынѣшняго царствованія. Гоголь, правда, явился прежде, но созданная имъ школа разрослась и утвердилась съ свободой печати, такъ же какъ развилась и журналистика, образовались кружки, партіи и большой кругъ замѣчательныхъ писателей.

Но это все послѣ, а *Райскій* и *Бабушка* явились, повторяю, у меня въ головѣ въ 1849 году. Какъ только я пріѣхалъ на Волгу, на меня, какъ будто сонъ, слетѣлъ весь планъ романа. Я уже разработалъ въ головѣ *Обломова* до конца и въ то же время развязалась у меня въ воображеніи слѣдующая эпоха, и все — и дѣйствіе, и лица, шли — параллельно съ развитіемъ самой жизни. Это, повторяю, мнѣ становилось замѣтно, когда я приходилъ къ концу романа.

Въ Райскаго входили, сначала безсознательно для меня самого, и многія типическія черты моихъ знакомыхъ и товарищей. Въ обществѣ, въ образованной средѣ, побѣги новыхъ, свѣжихъ стремленій, мѣшались и путались еще съ терніями и волчцами обломовщины разнаго рода — и вольной, и невольной, съ разными приманками празднаго житья-

бытья, и съ трудностями упорной борьбы съ старымъ. Застой, отсутствіе спеціальныхъ сферъ дѣятельности, служба, захватывавшая и годныхъ и негодныхъ, и нужныхъ и ненужныхъ, и распложавшая бюрократію, все еще густыми тучами лежали на горизонтѣ общественной жизни: группа новыхъ людей устремилась къ ихъ разсѣянію.

Искусство было все еще роскошью, забавой для богатыхъ, горькою нуждою для бѣдныхъ; литература, за исключеніемъ крупныхъ талантовъ, была дѣломъ подозрительнымъ. За писателями признавалось ихъ значеніе, когда они достигали виднаго положенія въ обществѣ путемъ службы.

И мы всѣ работали какъ-то въ одиночку, тихомолкомъ, съ оглядкой и опаской, и больше изъ нужды.

А кому не было нужды — тѣ дилетантствовали. Напримѣръ, одинъ зналъ отлично технику музыки, былъ меценатъ и другъ всѣхъ иностранныхъ и своихъ знаменитостей, носилъ въ себѣ планы музыкальныхъ серьезныхъ сочиненій, оперъ, можетъ-быть ораторій, симфоній, говорилъ о нихъ съ жаромъ и знаніемъ дѣла. Всѣ ждали отъ него чего-нибудь серьезнаго, а онъ разрѣшился сочиненіемъ одного хорошенькаго романса (гр. Віельгорскій), другой, обладая необыкновенною силою лирическаго паѳоса, написалъ всего десятка два прекрасныхъ стихотвореній (Тютчевъ). И это лучшіе люди извѣстнаго круга. Третій, съ многостороннимъ образованіемъ, большою начитанностью—написалъ нѣсколько легкихъ разсказовъ, гдѣ кроются сѣмена серьезнаго таланта (кн. Одоевскій). Можно много привести примѣровъ въ pendant къ этимъ.

Во всѣхъ родахъ искусства — таланты такихъ Райскихъ не были содержаніемъ и цѣлью жизни, а только средствомъ пріятно проводить время.

Райскій талантливъ — но приготовительная школа для таланта трудная, требующая всего человѣка и для него, выросшаго еще въ періодъ обломовскаго сна, неодолима,—

да и некогда ему было: новая эпоха застала его уже взрослымъ. Онъ бросается къ живописи, отъ живописи къ скульптурѣ, пишетъ романъ, неприготовленный техникой ни къ тому, ни къ другому изъ этихъ искусствъ.

Новыя идеи кипятъ въ немъ: онъ предчувствуетъ грядущія реформы, сознаетъ правду новаго, и порывается ратовать за всѣ тѣ большія и малыя свободы, приближеніе которыхъ чуялось въ воздухѣ. Но только порывается.

Онъ бьется съ Софьей Бѣловодовой, стараясь сломать стѣну великосвѣтской замкнутости, замуровавшейся въ фамильныхъ преданіяхъ рода, въ завѣщанныхъ предками границахъ недоступной гордости, въ приличіяхъ тона, словомъ въ аристократически-обломовской, переходившей по наслѣдству изъ рода въ родъ, неподвижности.

И не успѣваетъ конечно, потому что его вызвала на борьбу корысть, поклоненіе живой красотѣ; ему хочется побѣдить не эти застывшія преданія, феодальную гордость, и вызвать на живое, новое дѣло умъ и духъ Софьи; ему хочется побѣдить только кузину-женщину—для себя. А дѣла, собственной силы, примѣра—онъ не вноситъ въ эту борьбу, и оттого не успѣваетъ.

Онъ, если не спитъ по-обломовски, то едва лишь *проснулся*—и пока знаетъ что̀ дѣлать, *но не дѣлаетъ*.

Онъ раздражался только въ порывахъ къ дѣлу, а болѣе всего поклонялся красотѣ — и съ этой стороны, пожалуй, нѣсколько и тронулъ Софью, но не въ свою пользу. Она морщится при его настояніяхъ о необходимости дѣла, труда, откупается отъ этого деньгами въ пользу бѣдныхъ, но задумывается надъ его горячечными рѣчами о любви и о свободѣ располагать чувствомъ и собой. Потребность этой свободы зашевелилась и въ ней безсознательно, потому что онъ дѣйствовалъ не на сознаніе и убѣжденіе ея, а только на нервы. Она вышла изъ своей роли величавой безупречности, выглянула, насколько могла, за высокія стѣны ве-

ликосвѣтскаго монастыря и сдѣлала *un faux pas*... наединѣ поговорила съ итальянскимъ графомъ, разъ встрѣтилась съ нимъ на прогулкѣ и написала ему простую записку о присылкѣ нотъ... Faux pas! закричала вся клика, привыкшая видѣть ее холодно-безупречною—и только.

Въ ней, при появленіи графа, началъ-было таять ледъ строгаго воспитанія и приличія, но при первой тревогѣ тетокъ, при шопотѣ свѣта, она сейчасъ же одолѣла игру нервовъ.

Здѣсь я долженъ сознаться въ полной своей несостоятельности въ изображеніи фигуры Софьи Бѣловодовой. Я не зналъ тогда вовсе, и теперь мало знаю, кругъ, гдѣ она жила, и тутъ критика вполнѣ права. Это скучное начало, изъ котораго вовсе нехудожественно выглядываетъ замыселъ—показать, какъ отразилось развитіе новыхъ идей на замкнутомъ кругѣ большого свѣта. И ничего, кромѣ претензіи, не вышло изъ этой затѣи.

Кромѣ того меня соблазняла мысль выставить рядъ женскихъ портретовъ. № 1-й вышелъ неудаченъ; 2-й,—умирающей Наташи, писанный какъ и Бѣловодова, въ 50-хъ годахъ — также блѣденъ. Это между прочимъ оттого, что я торопился и смотрѣлъ дальше въ глубину романа, не останавливаясь подолгу на этихъ аксессуарныхъ явленіяхъ. Меня влекли уже близкія мнѣ лица и мѣста, гдѣ я родился и выросъ: и тѣ лица, *бабушки и внучекъ, всего провинціальнаго люда* и дворни—и вся обстановка, по отзывамъ всѣхъ, вышли у меня живѣе.

Тамъ, въ Софьѣ и Наташѣ, было сочиненіе—тутъ я писалъ съ живыхъ лицъ. Къ тому же, въ этотъ промежутокъ времени, отъ 1840—1862 г. (когда я вторично посѣтилъ Волгу), и перо мое конечно значительно должно было созрѣть и укрѣпиться въ работѣ. Кажется въ 1859 или въ 1861 году я помѣстилъ два или три «эпизода изъ жизни Райскаго» въ «Отеч. Запискахъ» и одинъ эпизодъ «Бабушка» въ «Современникѣ».

Если бы русская жизнь не раздвинула, отъ мановенія мощной руки, своихъ рамокъ, — мы всѣ остановились бы на той ступени, на которой остановился Райскій. Подъ него подходили тогда многіе наши интеллигентные люди, считавшіеся передовыми. Ихъ называли романтиками, крайними идеалистами. Они пока еще порывались къ новому, много говорили, ставили себѣ идеалы, бросались отъ одного дѣла къ другому, искали дѣятельности: и туда, въ этотъ періодъ, ушло много растерявшихся втуне талантовъ, не имѣвшихъ опредѣленнаго пути, сознательныхъ цѣлей, и снѣдаемыхъ, и своею собственною, частною, и казенною обломовщиной. Мы всѣ уперлись бы въ стѣну — и продолжали бы писать безсодержательные звучные стихи, или изображать одни и тѣ же явленія текущей, болѣе естественной животной жизни.

Въ Райскомъ, вмѣстѣ съ вліяніемъ на него хода времени и новыхъ событій, я слѣдилъ еще съ большимъ интересомъ—любопытный, психологическій, или физіологическій процессъ проявленія этой подвижной и впечатлительной натуры въ его личной жизни. Именно то́, какъ сила фантазіи въ артистическихъ натурахъ, не направленная на насущное дѣло, на художественныя созданія, бросалась въ самую жизнь, и мелочныя явленія послѣдней наряжала въ свои цвѣта и краски, производя тѣ чудачества, странности, часто безобразія, которыми нерѣдко обильна бываетъ жизнь артистовъ вездѣ.

Праздная фантазія въ такихъ натурахъ чаще всего бросается въ сферу чувствъ, во всѣ виды и роды *любвей*, производя экзальтацію, творя идолы, порождая изъ всего этого какую-то горячку или шутиху, что-то жалкое и смѣшное.

Эти упражненія въ чувствахъ и особенно въ любви, занимали между прочимъ также и значительный излюбленный уголокъ старой обломовщины!

Къ счастію, русское общество охранилъ отъ гибели застоя спасительный переломъ. Изъ высшихъ сферъ правительства блеснули лучи новой, лучшей жизни, проронились въ массу публики, сначала тихія, потомъ явственныя слова о «свободѣ», предвѣстники конца крѣпостному праву. Даль раздвигалась понемногу и открыла свѣтлую перспективу будущаго.

Въ литературѣ смѣлѣе стали раздаваться голоса представителей новыхъ идей.

Конечно и моя мысль, и фантазія прониклись новымъ вѣяніемъ. Я кончилъ «Обломова», и у меня стали шире раздвигаться рамы слѣдующей картины, т. е. «Пробужденія».

Двадцать лѣтъ тянулось писаніе этого романа, — иначе и быть не могло. Онъ писался, какъ тянулся періодъ самой жизни.

Въ «Обрывѣ», на моихъ пигмеяхъ, въ крошечномъ озерѣ, отразилось состояніе броженія, борьба стараго съ новымъ

Я слѣдилъ за отраженіемъ этой борьбы на знакомомъ мнѣ уголкѣ, на знакомыхъ лицахъ.

Слѣдилъ, — говорю я, — надо бы сказать: смотрѣлъ и писалъ, даже не думая, что вбираю въ себя впечатлительнымъ воображеніемъ лица и явленія, окрасившіяся въ краски момента, и такими выдаю ихъ назадъ, т. е. кладу на бумагу. Въ этомъ весь процессъ.

Я самъ не могу смотрѣть на свои романы иначе, какъ въ ихъ послѣдовательной связи. Я жилъ въ трехъ эпохахъ, и онѣ оттиснулись во мнѣ и въ моихъ сочиненіяхъ, въ доступномъ мнѣ быту, насколько у меня хватило силъ и таланта.

Райскій, на родинѣ, объявилъ ту же войну старому, отжившему. Онъ воюетъ съ *Бабушкою*, споритъ, горячится, но любитъ ее, какъ мать; схватывается и съ Марѳинькою, и съ Вѣрою. Но воюетъ также изъ корыстныхъ видовъ съ двумя послѣдними, какъ и съ Бѣловодовой. Воображеніе,

раздраженное ихъ красотою, влечетъ его къ побѣдѣ надъ ними. Но одна обезоруживаетъ его своей дѣтской чистотой, другая—сознательною силою.

Бабушкѣ онъ уступаетъ, потому что и самъ, хотя и воюетъ противъ изнѣженности, барства и стараго быта, но охотно спитъ на мягкой постели, хорошо ѣстъ, и даже, какъ прямой сынъ Обломова, даетъ, ворча, снимать съ себя Егору сапоги (*Обломовъ* требовалъ, чтобы *Захаръ* натягивалъ на него чулки).

Самъ онъ живетъ подъ игомъ еще неотмѣненнаго крѣпостного права, и сложившихся при немъ нравовъ, и оттого воюетъ только на словахъ, а не на дѣлѣ: совѣтуетъ бабушкѣ отпустить мужиковъ на всѣ четыре стороны и предоставить имъ дѣлать, что̀ они хотятъ; а самъ въ дѣло не вмѣшивается, хотя имѣніе—его.

Это колебаніе и нерѣшительность весьма естественны: колебалось все общество русское и всякій его уголокъ. Крупные и крутые повороты не могутъ совершаться какъ перемѣна платья, они совершаются постепенно, пока всѣ атомы броженія не осилятъ—сильные слабыхъ и не сольются въ одно. Таковы всѣ переходныя эпохи.

Мелкая пресса смѣялась когда-то надъ этою постепенностью и насмѣшливо прозвала *постепеновцами* всѣхъ партизановъ этого мудраго закона, дающаго старому отживать свою пору, а новому упрочиваться, безъ насилія, боя и крови.

Я безъ смѣха не могу вспомнить теперь комическаго недоумѣнія нѣкоторыхъ стариковъ при появленіи довольно рѣзкихъ симптомовъ, такъ-называемаго, *нигилизма*. У этихъ стариковъ своего ничего не было, т.-е. того, что называется мыслью и убѣжденіемъ, а между тѣмъ было самолюбіе казаться современными, не отставать отъ прогресса: а какъ распознать, что̀ прогрессъ, что̀ нѣтъ—они не знали, не имѣя подготовки. Проникли въ печать, несмотря на цензуру, нѣ-

которые смѣлые намеки соціальнаго характера, между молодежью произошло какое-то движеніе—и старики оторопѣли, не знали, что говорить объ этихъ книгахъ, о молодежи: порицать или стоять за нее? туда-сюда!

Райскій успѣлъ только сломать одно ветхое, старое дупло, торчавшее втуне, всѣхъ царапавшее и недававшее мѣста новымъ побѣгамъ, именно стараго чиновника, генерала Тычкова.

Здѣсь и *Бабушка* соединилась съ нимъ заодно, и оба однимъ ударомъ уничтожили это сгнившее полѣно. Она—за то, что онъ чинъ безъ заслуги хотѣлъ поставить выше значенія древности рода. Райскій казнилъ его, какъ стараго взяточника, самодура и деспота, всѣмъ навязывавшаго грубо свой отжившій авторитетъ.

И весь уголокъ, оглядѣвшись трезво, созналъ правду въ этомъ фактѣ, прозрѣлъ отъ слѣпого уваженія къ прошлому, ненужному, вредному, и аплодировалъ Райскому.

Бабушка была благосклонно принята всѣми въ публикѣ. Никто ничего не говорилъ противъ ея изображенія, и до меня доходили только похвалы ей.

Но что же такое, въ самомъ дѣлѣ, эта Бабушка?

Сжатый смыслъ всего моральнаго склада этой старухи высказанъ въ самомъ романѣ, на 342 и 343 стр. (изд. 1870 г.). Вотъ этотъ очеркъ.

«Бабушка говоритъ *языкомъ преданій, сыплетъ пословицы, готовыя сентенціи старой мудрости,* но въ новыхъ какихъ-нибудь, неожиданныхъ для нея случаяхъ, *у ней выступали собственныя силы и она дѣйствовала своеобразно.* Сквозь обветшавшую, *негодную мудрость, у ней пробивалась струя здраваго смысла*».

Только она «*пугалась немного* (новаго) и *безпокойно искала подкрѣпить его* бывшими примѣрами» и т. д.

Весь смыслъ ея характера таковъ, что она старуха твердая, властная, упорная, *уступать не любитъ*, хотя

про себя и сознаетъ, что внукъ, Райскій, часто правъ. Но она велитъ ему и тогда молчать, *«молодъ, чтобы перечить бабушкѣ»*,—говоритъ она. Она любитъ, чтобы ей *всѣ повиновались*—и Марѳинька ей милѣе всѣхъ, *потому что она изъ послушанія бабушки не выйдетъ*. Этотъ мотивъ о послушаніи проходитъ черезъ весь романъ въ ея характерѣ. На Вѣру она косится, что та удаляется, едва слушаетъ ея совѣты, и она, поневолѣ, скрѣпя сердце, даетъ ей нѣкоторую свободу.

И всѣхъ, и все въ домѣ она блюдетъ зоркимъ окомъ, и видитъ изъ одного окна—свою деревню, поля, изъ другого—садъ, огородъ и людскія. Ничто не шевельнется въ деревнѣ и домѣ безъ ея спроса, воли и вѣдома. Она хозяйничаетъ и въ полѣ, и въ кладовыхъ; съ мужиками и съ цѣлымъ городомъ держитъ себя гордо и повелительно.

За эти черты и другія, все въ томъ же тонѣ и духѣ, находили портретъ старухи *типичнымъ*.

Но почему же онъ типиченъ и кого напоминаетъ? Я вижу въ немъ что-то близкое и знакомое не мнѣ одному, а всѣмъ намъ.

Я писалъ съ русской старой хорошей *женщины*, или съ русскихъ старыхъ женщинъ стараго добраго времени—коллективно, не думая ни о какой параллели, должно-быть, но она инстинктивно гнѣздилась въ моей головѣ, и когда я уже закончилъ фигуру, оглядѣлъ ее, — у меня, въ концѣ книги, вырвались послѣднія слова, которыми я и кончилъ романъ. Вотъ они:

«За нимъ (Райскимъ, когда онъ былъ въ Италіи) все стояли и горячо звали къ себѣ его три фигуры: его Вѣра, его Марѳинька и Бабушка, а за ними стояла и сильнѣе ихъ влекла къ себѣ еще другая исполинская фигура, *другая великая бабушка—Россія!*»

Вотъ что̀ отразилось, или, если я слабый художникъ и не одолѣлъ образа, то, по крайней мѣрѣ, вотъ что̀ просилось

отразиться въ моей старухѣ, какъ отражается солнце въ каплѣ воды: старая, консервативная русская жизнь!

Не жили ли старыя наши поколѣнія и старшіе, господствовавшіе и управлявшіе нашими судьбами представители этихъ поколѣній, или, лучше сказать, не спали ли они подъ навѣсомъ *старой мудрости*, пробавляясь *преданіями*, хотя и соглашались (какъ *Бабушка* въ спорахъ съ внукомъ) *про себя*, что надо жить иначе, но *боялись, безпокоились*, какъ она, и *пятились* въ страхѣ отъ всего *новаго*, зажимая глаза и, когда нельзя было уйти назадъ, уступали неохотно, и тогда, сквозь обветшавшую, *негодную мудрость, пробивались свѣжія русскія силы здраваго смысла?*

Развѣ мы не пережили этихъ колебаній, страховъ, безпокойствъ пробуждающагося организма, пока всемогущее «*быть посему*» не указало, куда идти всѣмъ дружно, на свѣтъ, къ новымъ и разумнымъ благамъ?

А расплата за этотъ безусловный страхъ всего новаго, за высокомѣріе невѣдѣнія и за слѣпую вѣру въ свою силу— за всѣ старые *грѣхи*—развѣ не отразилось *это* въ самоувѣренности Бабушки, требовавшей повиновенія только своей волѣ, и зажимавшей глаза отъ новаго, вмѣсто того, чтобы подвести Вѣру къ этому новому исподволь и сознательно, чтобы она не обольстилась фальшивымъ блескомъ невѣдомой, будто «новой правды» и «новаго дѣла и счастья» и знала, какъ встрѣтить Волохова?

Развѣ не плакало старое поколѣніе о своихъ «грѣхахъ», какъ *Бабушка* плачетъ надъ своимъ маленькимъ Севастополемъ, разрушенной бесѣдкой на днѣ *Обрыва*?

Оставимъ пока эту параллель, т.-е. Бабушки и стараго русскаго общества: я возвращусь къ ней ниже.

Обращусь отъ синтеза къ анализу.

Что далѣе говорили о другихъ моихъ лицахъ, между прочимъ о Вѣрѣ и Волоховѣ, особенно о послѣднемъ?

Голоса раздѣлились на два хора. Хоръ старшихъ поко-

лѣній пѣлъ: «какъ можно выводить въ романѣ, претендующемъ на художественность, такую грубую, неряшливую фигуру, и сводить ее съ изящной, тонкой фигурой Вѣры?»

Другой хоръ—молодые голоса раздражительно твердили: «это рѣзкія крайности, карикатурный, преувеличенный образъ, униженіе, направленное на молодое поколѣніе» и т. д. Таковъ былъ смыслъ упрековъ съ двухъ сторонъ.

Безпристрастные люди говорили мнѣ съ участіемъ, во-первыхъ, о типичной правдѣ этой фигуры, а позднѣе, во-вторыхъ, о нѣкоторомъ вліяніи будто бы этого типа кое-гдѣ въ обществѣ. Этого слишкомъ много, и я тотчасъ уклонился отъ такой заслуги, взявъ себѣ только правдивость изображенія.

Теперь мы нѣсколько отодвинулись отъ этого явленія и можно всѣмъ быть хладнокровнѣе и безпристрастнѣе. Теперь и я могу объяснить, что̀ я самъ видѣлъ и вижу въ этой фигурѣ.

Тогда, повторяю, я хотѣлъ-было объяснить этотъ типъ въ предисловіи къ отдѣльному изданію *Обрыва*, но въ виду общаго со всѣхъ сторонъ къ нему неблаговоленія, я отложилъ эту мысль — и все предисловіе, до болѣе удобнаго времени.

Еще я долженъ сказать, что въ первоначальномъ планѣ *Обрыва*, набросанномъ въ 1848 и 1850 годахъ, на мѣсто этого рѣзкаго типа, тогда еще не существовавшаго, у меня былъ предположенъ сосланный, по *неблагонадежности*, подъ присмотръ полиціи, выключенный изъ службы, или изъ школы, либералъ, за грубость, за неповиновеніе начальству, за то наконецъ, что споетъ какую-нибудь русскую марсельезу или провретсяя дерзко про власть. Такихъ бывало не мало, лѣтъ тридцать тому назадъ.

Но какъ романъ развивался вмѣстѣ съ временемъ и новыми явленіями, то и лица, конечно, принимали въ себя

черты и духъ времени событій. Отъ этого и предположенный зародышъ *неблагонадежнаго* превратился къ концу романа уже въ рѣзкую фигуру Волохова, которая появлялась кое-гдѣ въ обществѣ. Въ 1862 году, когда я ѣздилъ вновь по Волгѣ, прожилъ лѣто на родинѣ, былъ въ Москвѣ, мнѣ уже ясно опредѣлилось это лицо.

Меня крайне удивляло, какъ молодое поколѣніе могло принять Волохова на свой счетъ, кромѣ развѣ самихъ Волоховыхъ! Оно, можетъ-быть, вспоминая свои раннія утопіи и увлеченія, думало, вѣроятно, видѣть ихъ нѣкоторое отраженіе въ развитіи мыслей Волохова. Напрасно!

Развѣ только потому оно могло видѣть это, что и Волоховъ говоритъ именемъ правды, разума и свободы: но въ этомъ всѣ сходны съ нимъ: и старые, и новые люди, и консерваторы, и либералы! И только въ этомъ. Кто же отказывался отъ этого въ своихъ убѣжденіяхъ? Но дѣло въ томъ, что Волоховъ заблуждается въ значеніи этихъ понятій и съ гордымъ самоослѣпленіемъ вводитъ въ заблужденіе другихъ, не имѣя подъ собою никакой почвы.

У всѣхъ, самыхъ противоположныхъ лагерей—всегда есть общія точки соприкосновенія, всѣ ратуютъ во имя разума, свободы и правды, всѣ приводятъ это на словахъ, но всѣ разумѣютъ слова по-своему, и оттого употребляютъ различные, часто невѣрные пути.

Волоховъ—будто бы новое поколѣніе! То поколѣніе, которое бросилось навстрѣчу реформъ—и туда уложило всѣ силы!

Даровитые дѣятели въ крестьянской реформѣ, въ земскихъ дѣлахъ, въ новыхъ судебныхъ учрежденіяхъ, гдѣ успѣли пріобрѣсти громкія имена: неужели это Волоховы!

Поколѣніе, которое—прежнюю, автоматическую военную массу—энергически помогло вождю ея, съ чудесною быстротою, преобразить въ современную, осмысленную и грозную силу! Поколѣніе, которое переполняетъ школы, жадно учится,

познаетъ, изобрѣтаетъ, творитъ во всѣхъ отрасляхъ русскаго хозяйства, промышленности, науки, вездѣ пробивая новые пути, вызывая новыя силы! Поколѣніе молодыхъ умовъ и дарованій въ освобожденной прессѣ, сослужившее огромную службу Россіи, угадывая, объясняя и проводя въ массу идеи, виды и цѣли великаго преобразователя!

И все это Волоховы! Кому могла придти такая мысль!

А самая масса общества сверху до низу, вся уходящая въ муравьиную работу, въ бездонные рудники труда, вызваннаго новою жизнію? Ужели и это Волоховы?

Нѣтъ, это не Волоховы, а представители новой «правды», воцарившейся съ освобожденіемъ крестьянъ и съ другими великими реформами, внесшими новую жизнь въ русское общество!

Но въ жизни, рядомъ съ правдой, къ несчастью, гнѣздится и ложь; и представителемъ этой новой лжи являются Волоховы! Вѣдь у меня въ книгѣ есть фигура блѣдная, неясная — намекъ, такъ сказать, но намекъ на настоящее новое поколѣніе, на лучшее его большинство: это Тушинъ или Тушины, начиная съ вершинъ русской лѣстницы и до низу!

Общество уже выкинуло Волоховыхъ изъ своей среды, какъ болѣзненное явленіе.

Пока явленіе не опредѣлилось и не закончилось — колебалось и общество слѣдило, изучало, наконецъ, распознало его, и оно уже исчезаетъ съ лица русской жизни.

Перехожу къ другому хору—старшихъ поколѣній. «Какъ можно, говорили мнѣ, выводить такую грубую, неприглядную фигуру — и ставить съ нимъ рядомъ изящную, чистую Вѣру?»

Почему именно вышла рѣзкая, грубая фигура?

Ужели я, нарисовавъ, какъ говорятъ, цѣлую *галлерею портретовъ*, не умѣлъ бы нарисовать портретъ почище, поприличнѣе?

Но вышелъ ли бы онъ тогда вѣренъ и типиченъ?—спрошу я. Вобралъ ли бы онъ въ себя и выразилъ ли бы что-нибудь общее всему этому явленію, которое разыгралось у насъ? Волоховъ не соціалистъ, не доктринеръ, не демократъ. Онъ радикалъ и кандидатъ въ демагоги: онъ съ почвы праздной теоріи безусловнаго отрицанія готовъ перейти къ дѣйствію—и перешелъ бы, если бъ у насъ могла демагогія выразиться ярче и перейти къ дѣйствію, т.-е. если бы у насъ была возможна широкая пропаганда комунизма, интернаціональная подземная работа и т. п. *). Онъ и пошелъ бы на это поле работать—искренно, потому что я взялъ не авантюриста, бросающагося въ омутъ для выгоды ловить рыбу въ мутной водѣ, а - съ его точки зрѣнія честнаго т.-е. искренняго человѣка, не глупаго, съ нѣкоторой силой характера. И въ этомъ условіе успѣха. Не умышленная ложь, а его собственное искреннее заблужденіе только и могли вводить въ заблужденіе и Вѣру, и другихъ. Плута всѣ узнали бы разомъ и отвернулись бы отъ него.

Прибавь я къ этому авторское негодованіе, тогда былъ бы типъ не Волохова, а изображеніе моего личнаго чувства, и все пропало бы. Sine ira -- законъ объективнаго творчества.

Точно такъ же, смягчи я этотъ портретъ въ угоду молодымъ голосамъ, не вышло бы героя того явленія, которое разыгралось у всѣхъ на глазахъ!

Онъ или вѣренъ или нѣтъ—дѣйствительности.

Если вѣренъ - то я правъ, и въ этомъ вся заслуга писателя, а тамъ уже дѣло читателей выводить изъ образа свои заключенія.

Теперь слѣдуетъ главный corpus *delicti*: какъ могла влю-

*) Къ несчастью, это оказалось возможнымъ въ извѣстной степени и у насъ, какъ это подтвердилось съ тѣхъ поръ, т.-е. съ 1875 г., когда были писаны эти строки.

биться въ него Вѣра, гордая, тонкая, изящная? Какъ изъ порядочнаго общества могла она уйти въ обрывъ, сблизиться съ такою личностью?

Странный упрекъ!

А вѣдь стоило только оглянуться вокругъ и слегка пробѣжать въ памяти, что̀ всѣ видѣли и пережили въ десятилѣтіе съ 1860 по 1870 годъ, чтобы рѣшить, вѣрно или не вѣрно мое изображеніе.

Мнѣ дѣлали этотъ упрекъ именно *въ то самое время*, когда это явленіе, какъ холера, какъ тифозная горячка, выхватывало изъ нашихъ родныхъ или знакомыхъ семей жертву за жертвой, и наводило почти панику на общество.

Упрекаютъ за то, что я *записалъ явленіе*, явно совершавшееся, какъ будто небывальщину!

Развѣ женщины пренебрегали сближеніемъ съ этими, оторвавшимися отъ порядка, отъ общества, отъ семействъ, грубоватыми героями «новой силы», «новаго дѣла», идеала какого-то «громаднаго будущаго»?

Развѣ многія изящныя красавицы не пошли съ ними на ихъ чердаки, въ ихъ подвалы, бросивъ, однѣ родителей, другія мужей и -еще хуже —дѣтей?

Сколько было слуховъ о какихъ-то фаланстеріяхъ, куда уходили гнѣздиться разныя Вѣры!

Какія это женщины? скажутъ мнѣ.—Всякія! отвѣчу я.

Не однѣ падшія или готовыя къ паденію бросились въ омутъ—нѣтъ.

Кто изъ насъ не назоветъ примѣра такихъ эмиграцій изъ почтенныхъ семействъ, отъ образованнаго круга, — на поиски новаго труда, новаго счастья, съ принесеніемъ въ жертву лучшихъ женскихъ качествъ, полученныхъ отъ природы и воспитанія, побѣговъ отъ прямого, скромнаго дѣла и трудныхъ семейныхъ обязанностей?

Сюда не подходятъ, конечно, тѣ серьезныя женщины новаго поколѣнія, которыя, въ самомъ дѣлѣ, хотятъ работать

и которыя, путемъ строгаго, систематическаго образованія, ищутъ усвоить себѣ ту или другую отрасль знанія, профессію, и создаютъ для себя самостоятельную дѣятельность и жизнь. Но тутъ путь дологъ и труденъ, и не всѣ выдерживаютъ его до конца. Тѣ женщины не бѣгаютъ тайкомъ отъ своихъ семей: онѣ открыто идутъ въ открытыя имъ двери учебныхъ заведеній, обществъ, курсовъ, при общемъ участіи и уваженіи. Въ рукахъ этихъ женщинъ — прямое рѣшеніе, такъ-называемаго, женскаго вопроса!

Всѣ, конечно, знаютъ и помнятъ примѣры этихъ эмиграцій — и я зналъ нѣкоторыхъ женщинъ, съ которыхъ до этого *«паденія»* не задумался бы писать свою Вѣру!

Такъ гдѣ же, спрошу и я въ свою очередь, выдумка на молодыя поколѣнія обоего пола?

Я взялъ лучшую изъ женщинъ, которая самостоятельно и гордо, не прибѣгнувъ къ «старой мудрости» Бабушки и не подготовленная этою же Бабушкою, по невѣдѣнію и также по гордости, къ познанію настоящей «новой правды и новой жизни»—пошла сама на свѣтъ и едва не сгорѣла.

«Зачѣмъ вводить это въ романъ?» говорили между прочимъ. «Зачѣмъ писать романъ?» отвѣчу я, «если онъ не долженъ отражать жизни!»

Я писалъ не одного какого-нибудь *Волохова* и не одну *Вѣру*.

«Вѣра пала! какъ можно, какая жалость!» говорили мнѣ въ глаза.

И жаль всѣмъ было моей писанной Вѣры—портрета, но ужели менѣе жаль всѣхъ падшихъ живыхъ *Вѣръ?!*

Въ IV главѣ *пятой* части (2-го тома, со стр. 482—483—до VII-ой главы) находится ключъ къ значенію Вѣры и къ тому, что подготовило ее паденія.

Пала не Вѣра, не личность, пала русская дѣвушка, русская женщина, — жертвой въ борьбѣ старой жизни съ новою: она не хотѣла жить слѣпо, по указкѣ старшихъ. Она

сама знала, что отжило въ старой, и давно тосковала, искала свѣжей, осмысленной жизни, хотѣла сознательно найти и принять новую *правду*, удержавъ и все прочное, коренное, лучшее въ старой жизни. Она хотѣла не разрушенія, а обновленія. Но она *«не знала»*, гдѣ и какъ искать. Бабушка берегла ее только отъ болѣзней, отъ явныхъ и извѣстныхъ ей золъ и бѣдъ, и не приготовила ни къ какимъ невѣдомымъ ей самой бѣдамъ.

Въ новомъ другѣ Вѣра думала найти опору, свѣтъ, правду, потому что почуяла въ немъ какую-то силу, смѣлость, огонь,—и нашла ложь, которой, по невѣдѣнію и замкнутости, не распознала сначала, а распознавъ, гордо возмечтала силою любви измѣнить эту новую ложь на свою старую правду и обратить отщепенца въ свою вѣру, любовь и въ свои надежды.

И горько заплатила она за самовольное вкушеніе отъ этого древа познанія зла!

Она воротилась, клоня голову отъ боли и стыда, и пошла къ новой жизни уже другимъ, сознательнымъ путемъ.

До этого я не дописался, оставляя это на долю другимъ, молодымъ и свѣжимъ силамъ.

Повторяю, я не выдумывалъ ничего: сама жизнь писалась у меня, какъ я переживалъ ее и видѣлъ, какъ переживаютъ другіе, такъ она и ложилась подъ перо. Не я, а происшедшія у всѣхъ на глазахъ явленія обобщаютъ мои образы.

Обѣ бабушки — и Татьяна Марковна, и старое русское общество — оплакали свой «старый грѣхъ», разрушившій счастье покоя, тишины и дремоты,—грѣхъ недостатка прозорливости, живой заботливости о новыхъ живыхъ нуждахъ для свѣжихъ и молодыхъ силъ, грѣхъ своего упрямаго и добровольнаго невѣдѣнія, беззаботности, неосновательныхъ страховъ! Онѣ поняли, наконецъ, что жизнь не стоитъ, а вѣчно движется!

Марѳинька и *Викентьевъ*, эта чета не даетъ Бабушкѣ ни горя, ни тревогъ. Послѣдняя знаетъ, что ни та, ни другой, изъ *послушанія ея не выйдутъ* и будутъ жить, какъ она укажетъ. Бабушка цѣнитъ это выше всего.

«*Оставь Марѳиньку!*»—строго говоритъ она (въ X главѣ 3-й части, стр. 118) Райскому, когда онъ вздумалъ, новыми идеалами жизни, смущать ясный міръ ея ума и чувства.— «*Она не будетъ счастлива навязываемымъ тобою счастьемъ, и, стало-быть, будешь деспотомъ ты, а не я*».

И русскія Марѳиньки и Викентьевы никогда не ослушаются бабушки!

Они всегда бодро, рѣзво и послушно, подъ ея глазами, пойдутъ по пути, покоряясь перемѣнамъ, одобреннымъ бабушкою, не нуждаясь ни въ какихъ идеалахъ «новаго счастья», не думая о будущемъ, не скучая жизнью въ своей средѣ!

Эта часть поколѣній, *толпа*, *большинство*, будетъ жить, плодиться и множиться, и населять Русь, посмѣнно работая веселясь, подчасъ горюнясь и никогда не терзаясь невѣдомыми ей мучительными вопросами!

И бабушка награждаетъ послушныхъ и добрыхъ дѣтей материнскою заботою о нихъ, наблюдая, чтобъ имъ было вдоволь кушать, мирно спать, весело проводить время, слегка отбывать свой дневной привычный трудъ, получать мѣста, дѣлать карьеру и незамѣтно исчезать, смѣняясь новыми Марѳиньками и Викентьевыми!

Бабушка безъ опасенія даетъ имъ свободу, отпуститъ за Волгу (или за границу), зная, что они придутъ опять подъ ея крыло такими же, и не уйдутъ никогда.

Она, давая свободу, похвасталась, что она будто только, *какъ полицеймейстеръ*, смотритъ, чтобы *снаружи все шло своимъ порядкомъ, а въ дома не входитъ*, пока не позовутъ! (стр. 119, ч. 3-я, гл. X).

Даже Райскій рукоплещетъ ей за эту свободу!

Неправда! преувеличила, похвасталась она: какъ она ни противилась, но время уже повѣяло и на нее, и она наружно отступилась отъ правъ на *слѣпое послушаніе* и дала свободу, но вмѣстѣ съ этимъ усилила невидимый надзоръ, замѣчая каждый взглядъ, слово, шагъ, прибирая свои *ключи* ко всему. Какъ она тоскуетъ и мечется, какъ допрашиваетъ Райскаго о «новой бѣдѣ», потому что не знала о ней! Если бъ въ Вѣрѣ повторился просто только старый женскій «грѣхъ» Бабушки, и особенно если бы героемъ былъ кто-нибудь ей знакомый— старуха догадалась бы. Она вѣрила Вѣрѣ, потому что знала ее, и не боялась за нее; но она не знала, что̀ такое Волоховъ. Она готовила ее противъ извѣстныхъ соблазновъ, но не могла уберечь противъ невѣдомаго, и научить остеречься! --«Мой грѣхъ, мой грѣхъ!»—стонетъ она.

Вотъ гдѣ смыслъ ошибки обѣихъ женщинъ: въ гордости и невѣдѣніи! Бабушка знала только старую правду и старую ложь, но новой правды боялась и, боясь, не узнала и новой лжи, и не приготовила къ тому и другому и Вѣру. Она хотѣла отдѣлаться невѣдѣніемъ, умышленною слѣпотою, желала бы, чтобы около нея были все Марѳиньки и Викентьевы: но такъ на свѣтѣ не бываетъ. Рядомъ съ Марѳиньками родятся Вѣры; объ руку съ Райскими, Викентьевыми, являются и Волоховы. А она, не только Волохова, она не хотѣла слушать и любившаго ее внука---Райскаго, когда онъ заговаривалъ о новомъ.

Будущій художникъ когда-нибудь скажетъ, какъ встали послѣ горькихъ опытовъ, и до чего возросли русскія Вѣры на пути разумной, сознательной жизни!

Райскій, въ посвященіи къ своему роману (въ концѣ второго тома, пятой части, стр. 650 и 651), дѣлаетъ легкій очеркъ отдаленной будущности русскихъ женщинъ. Это его идеалъ женщины.

«Восхищаясь вашей красотою, вашею исполинскою си-

лою — *женскою любовью*, — пишетъ онъ: — я слабою рукою писалъ женщину; я надѣялся, что вы увидите въ ней отраженіе не одной красоты формъ, но и всей прелести вашихъ лучшихъ силъ.»

«Мы не равны: вы выше насъ, вы — сила; мы — ваше орудіе, мы сдѣлаемъ всю черновую работу; а вы, рождая насъ, берегите насъ, какъ провидѣніе, воспитывайте, учите труду, человѣчности, добру и той любви, которую Творецъ вложилъ въ наши сердца,—и мы пойдемъ за вами туда, гдѣ все совершенно, гдѣ вѣчная красота!»

«То-есть: *создайте насъ вновь для жизни духа, какъ вы создали насъ по плоти*, вотъ гдѣ ваша задача!»

«Мы—творцы въ черной работѣ: въ наукѣ, въ искусствѣ, въ воздѣланіи внѣшней природы: мы — внѣшніе дѣятели. Вы—создательницы и воспитательницы людей, вы—прямое, лучшее орудіе Бога» и т. д.

Райскій вѣритъ этому великому будущему русской женщины, видя какая сила, въ роковой моментъ, встала изъ души сокрушенной старухи.

Если она была сильна своею гордою властью, то, подъ грозою, она нашла еще болѣе силы «нести удары» и страдать съ величіемъ, «не падая во прахъ?»

За эти страницы (502, 503, II тома), гдѣ Бабушка, со стономъ, ходитъ по крутому поволжью, по обрыву, по полямъ, въ какомъ-то забытьи, въ терзаніяхъ за свой «грѣхъ», погубившій, по ея мнѣнію, Вѣру, меня упрекали, какъ за какія-то, будто бы чуждыя русской женщинѣ черты.

Черты величія души, чуждыя русской женщинѣ?!

У меня проведенъ цѣлый рядъ «женскихъ тѣней» въ параллель этой старухѣ, великихъ страдалицъ, жившихъ въ мирной, счастливой средѣ, прежде ничѣмъ особеннымъ не замѣтныхъ, какъ и бабушка, и вдругъ проявлявшихъ великія силы—въ рѣшительныя и грозныя минуты жизни. Новгородская Мароа, ссыльныя русскія царицы, жены дека-

бристовъ, и другія жертвы рока, которыми не бѣдна и старая, и новая лѣтопись русской жизни.

«Не похоже на деревенскую старуху!»—говорили мнѣ, т.-е. не реально, натянуто, ходульно!

Можетъ-быть, отчасти я это и самъ чувствовалъ, когда писалъ, и оттого вложилъ этотъ очеркъ въ пеструю фантазію Райскаго. Впрочемъ, я не такой поклонникъ реализма, чтобы не допускать отступленій отъ него. Въ угоду реализма пришлось бы слишкомъ ограничивать, и даже совсѣмъ устранять фантазію, впадать, значитъ, въ сухость, иногда въ безцвѣтность, вмѣсто живыхъ образовъ писать силуэты, иногда вовсе отказываться отъ поэзіи, и все во имя мнимой правды! Но вѣдь фантазія, а съ нею и поэзія, даны природой человѣку и входятъ въ его натуру, слѣдовательно, и въ жизнь: будетъ ли правдиво и реально миновать ихъ?

Бабушка перемогла себя, видя страданія слабой Вѣры, спасла ее самоотверженнымъ сознаніемъ стараго «грѣха», но, къ горю своему, увидѣла, что и это не совсѣмъ извлекло ее изъ обрыва.

Она позвала на помощь Тушина, или, лучше сказать, онъ явился самъ, безъ зова, окончательно спасти Вѣру.

Фигура Тушина обрисована у меня въ двухъ-трехъ мѣстахъ (II тома, V глава, стр. 466, 479, далѣе въ гл. XVI и XVIII того же тома).

Это безсознательный новый человѣкъ, какъ его выкроила сама жизнь. Онъ простъ, потому что созданъ такимъ, онъ работаетъ, потому что иначе жизни не понимаетъ, какъ не понимаетъ и того, какъ можно, узнавъ Вѣру, не любить ее. Онъ мудро, т.-е. просто, здравымъ смысломъ, рѣшаетъ вопросы и своей, и чужой жизни, между прочимъ, Бабушки и Вѣры, когда онѣ обратились къ нему, и идетъ по своему пути твердымъ, сознательнымъ шагомъ.

Онъ весь сложился изъ природныхъ своихъ здоровыхъ элементовъ, и изъ обстоятельствъ своей жизни и своего дѣла,

т.-е. долга и труда. Онъ простой, честный, нормальный человѣкъ, понимаетъ и любитъ свое дѣло, къ которому поставила его жизнь. Природа дала ему талантъ быть человѣкомъ и ему оставалось не портить этого, оставаться на своемъ мѣстѣ. «Почувствовать и удержать въ себѣ красоту природной простоты» — по словамъ Райскаго, въ этомъ и вся его заслуга. Вѣрить въ эту простоту, быть искреннимъ, понимать прелесть правды и жить ею, т.-е. имѣть сердце и дорожить имъ «если не выше, то наравнѣ съ умомъ». Тутъ весь очеркъ его.

Тушинъ давно уже хозяйничаетъ у себя въ имѣніи на раціональныхъ началахъ хозяйства и строгой справедливости, и онъ любитъ свое дѣло, и всѣ новыя идеи и преобразованія застали его готовымъ.

На этомъ сильномъ, простомъ человѣкѣ основались надежды Бабушки окончательно извлечь Вѣру изъ бездны ея горя и подать ей руку на остальной путь!

И онъ сталъ, «какъ каменная стѣна», и оградилъ ее отъ всякихъ обрывовъ.

«Дайте мнѣ Вѣру, — говоритъ онъ въ слезахъ отчаянія (II томъ, стр. 626 и 627): я перенесу ее черезъ обрывъ. Онъ укроется подъ моей защитой отъ всякихъ грозъ и заградитъ обрывы. Вѣдь если лѣсъ мѣшаетъ идти впередъ, его вырубаютъ, моря переплываютъ и прорываютъ горы, и все идутъ смѣлые люди впередъ!»

Да, впередъ, на настоящее новое дѣло: это не обломовскій сонъ и не [illegible] безцѣльное блужданіе!

[illegible] Разсвѣтъ, [illegible] всего, рѣшилъ, что *Тушины* [illegible] настоящая [illegible], наше прочное *будущее*: [illegible] ищутся, вмѣсто утопистовъ, [illegible] — *Тушины* [illegible] русскаго общества [illegible]

[illegible] Тушина [illegible] и могъ наблюсти [illegible] и не докончилъ.

какъ художникъ, этотъ образъ — и остальное (именно въ XVIII главѣ II тома) договорилъ о немъ въ намекахъ, какъ о представителѣ настоящей *новой силы* и *новаго* дѣла — уже обновленной тогда (въ 1867 и 1868 г., когда дописывались послѣднія главы) Россіи.

Рисовать, сказалъ я выше, трудно и, по-моему, просто нельзя, съ жизни, еще не сложившейся, гдѣ формы ея не устоялись, лица не наслоились въ типы. Никто не знаетъ, въ какія формы дѣятельности и жизни отольются молодыя силы юныхъ поколѣній, такъ какъ сама новая жизнь окончательно не выработала новыхъ окрѣпшихъ направленій и формъ. Можно въ общихъ чертахъ намекать на идею, на будущій характеръ новыхъ людей, что я и сдѣлалъ въ Тушинѣ. Но писать самый процессъ броженія нельзя: въ немъ личности видоизмѣняются почти каждый день — и будутъ неуловимы для пера.

Меня упрекали, зачѣмъ я написалъ отрицательный образъ Волохова — и не далъ противоположнаго образца въ новомъ поколѣніи. На это можно сказать многое. Скажу, прежде всего, что послѣ Гоголя мы въ искусствѣ не сошли съ пути отрицанія, между прочимъ и потому, что художнику легче даются отрицательные образы. Самъ Гоголь пробовалъ, во 2-й части «Мертвыхъ душъ», написать положительный образъ и потерпѣлъ неудачу. А другіе и подавно: въ послѣднее время ни у кого не вышло въ этомъ родѣ ничего художественнаго. Притомъ, это старый упрекъ, который дѣлали тому же Гоголю: «зачѣмъ въ «Ревизорѣ» или «Мертвыхъ душахъ» не вывелъ онъ ни одного хорошаго человѣка?» На такіе вопросы нечего сказать!

Если я отрицательно отнесся къ Райскому, къ Бабушкѣ, даже къ Марѳинькѣ и Вѣрѣ — то почему же я терялъ право на отрицательный пріемъ въ отношеіи Волохова! Но я и въ немъ нашелъ положительную черту — искренность, за что мнѣ и досталось отъ старыхъ поколѣній!

Этого Тушина, говорю я, позвала Бабушка на помощь— и онъ сослужитъ ей службу, какъ и всѣ честные, здоровые члены новыхъ поколѣній, всѣ Тушины, сослужатъ службу Россіи, разработавъ, довершивъ и упрочивъ ея преобразованіе и обновленіе.

Нужно ли въ заключеніе объяснять значеніе второстепенныхъ лицъ романа: Козлова съ женой, мимоходомъ выглянувшаго чиновника изъ семинаристовъ Опенкина, типъ стараго русскаго маркиза, остатокъ прошлаго вѣка, Тита Никоныча, друга Бабушки, наконецъ, пеструю толпу русской крѣпостной дворни?

Въ учителѣ Козловѣ мелькнуло мнѣ лицо русскаго ученаго—труженика, съ намекомъ на участь русской науки въ обломовскомъ обществѣ. Не имѣя подъ ногами и вокругъ никакой почвы, около — никакой сферы, никакого кружка для плодотворнаго развитія науки—онъ, забытый, загнанный въ глушь, безъ книгъ, безъ денегъ, бьется и влачитъ жалкое, скудное существованіе—среди равнодушныхъ къ наукѣ людей. Въ немъ теплится искра любви къ знанію, но—какъ въ степи—нѣтъ ей пищи, ни посѣва, ни полива, некуда бросить сѣмянъ—и они глохнуть въ немъ самомъ; а любящее сердце избрало кумиромъ ничтожество, идола, созданнаго безхарактерностью среды, безъ образа. Это его жена. Весь умъ его просился въ науку, все любящее сердце отдалось этой жалкой подругѣ. Ни тамъ, ни сямъ—онъ не нашелъ отвѣта, сгорѣлъ и угасъ одиноко, въ чистомъ пламени своей любви!

Въ лицѣ стараго чиновника изъ семинаристовъ, Опенкина, подвернулся мнѣ подъ руку одинъ изъ безчисленныхъ образчиковъ пьянства, типъ русскаго человѣка, утопившаго въ винѣ все свое, и прошлое, и будущее, всю жизнь, большею частію тирана своей семьи и бремя для цѣлаго круга, гдѣ онъ живетъ. А гдѣ онъ не живетъ! Этотъ штрихъ русской жизни почти неизбѣженъ во всякой картинѣ нравовъ. Легкою тѣнью прошелъ онъ и у меня въ романѣ.

Въ дворнѣ меня самого особенно занимала крѣпостная Мессалина Марина и угрюмый, сосредоточенный ея мужъ. Это, какъ я припоминаю самъ и другіе, бывшіе въ 1849 г. на Волгѣ и близко знакомые съ домомъ моихъ родныхъ — живые, дѣйствительные портреты тогдашней дворни, какъ и лакей Егоръ. Еще болѣе въ самой Бабушкѣ, и во внучкахъ ея, какъ я увидѣлъ послѣ, вкрались нѣкоторыя свѣтлыя, лучшія черты близкихъ мнѣ лицъ, конечно, не цѣликомъ, а типично, при совершенномъ различіи въ событіяхъ и смыслѣ романа.

При обзорѣ отношеній мужскихъ характеровъ къ женскимъ—во всемъ романѣ, я не могу не видѣть, въ каждомъ изъ нихъ, особеннаго вида или рода, словомъ характеристики привязанностей. Напримѣръ, преобладаніе фантазіи, артистическаго и нервнаго влеченія въ склонностяхъ Райскаго ко всѣмъ его идоламъ. Въ противоположность ему — въ Тушинѣ—отношеніе къ Вѣрѣ носитъ чистый и глубокій, осмысленный и сознательный характеръ человѣческой привязанности, не подавляемой ни чувственностью, ни мелкимъ самолюбіемъ; эта привязанность возникаетъ въ немъ изъ самыхъ капитальныхъ свойствъ его личности и личности Вѣры. Она сильна, несокрушима: онъ мужественно выноситъ «ошибку», «несчастіе» Вѣры, какъ онъ называетъ ея паденіе, передъ которымъ не устояла бы другая, менѣе глубокая и сознательная страсть.

Затѣмъ глубокая же, сосредоточенная, но чисто животная до жестокости, также неразрушимая страсть, въ грубой, невоздѣланной натурѣ серьезнаго и тупого Савелья, къ его желтоглазой, невѣрной женѣ.

Далѣе, взаимная, веселая и ясная, какъ весна, любовь Викентьева и Марѳиньки, внушенная и лелѣемая самою природою, какъ любовь птицъ, осмысленная ихъ свѣтлымъ, естественнымъ взглядомъ на жизнь и другъ на друга.

Наконецъ, кроткая, безусловная нѣжность болѣзненной,

хрупкой Наташи, которую надломила и свела въ могилу не одна обманутая любовь, но вообще суровое дыханіе жизни. Это райская птица, которая и могла только жить въ своемъ раю, подъ тропическимъ небомъ, подъ солнцемъ, безъ зимъ, безъ вѣтровъ, безъ хищныхъ когтей.

Все то, что пишу теперь — повторяю я — не представлялось мнѣ такъ ясно и отчетливо, какъ я увидѣлъ послѣ, закончивъ послѣдній свой романъ. Бѣлинскій справедливо придавалъ огромное значеніе художественному инстинкту. Образы, а вмѣстѣ съ ними и намеки на ихъ значеніе, въ зародышѣ, присутствовали во мнѣ и инстинктивно руководили моимъ перомъ.

Такимъ образомъ, какъ ни скромна степень художественности моего дарованія, но и во мнѣ сказался необъяснимый процессъ творчества, т.-е. невидимое для самого художника, инстинктивное воплощеніе перомъ-кистью тѣхъ или другихъ эпохъ жизни, которыхъ судьба поставила его участникомъ или свидѣтелемъ. Всего страннѣе, необъяснимѣе кажется въ этомъ процессѣ то, что иногда мелкія, аксессуарныя явленія и детали, представляющіяся въ дальней перспективѣ общаго плана отрывочно и отдѣльно, въ лицахъ, сценахъ, повидимому не вяжущихся другъ съ другомъ, потомъ какъ будто сами собою группируются около главнаго событія и сливаются въ общемъ строѣ жизни! Точно какъ будто дѣйствуютъ тутъ, еще неуловленныя наблюденіемъ, тонкія, невидимыя нити или, пожалуй, магнетическіе токи, образующіе морально-химическое соединеніе невещественныхъ силъ (какое происходитъ съ вещественными силами).

Къ этому загадочному, пока еще не разъясненному, но любопытному явленію въ области творчества, можно отнести и духовное, наслѣдственное сродство, какое замѣчается между творческими типами художниковъ, начиная съ Гомеровскихъ, Эзоповскихъ, потомъ Сервантесовскаго героя,

Шекспировскихъ, Мольеровскихъ, Гётевскихъ и проч., и проч. до типовъ нашего Пушкина, Грибоѣдова и Гоголя включительно.

Этотъ міръ творческихъ типовъ имѣетъ какъ будто свою особую жизнь, свою исторію, свою географію и этнографію, и когда-нибудь, вѣроятно, сдѣлается предметомъ любопытныхъ историко-философскихъ критическихъ изслѣдованій. Донъ-Кихотъ, Лиръ, Гамлетъ, леди Макбетъ, Фальстафъ, Донъ-Жуанъ, Тартюфъ и другіе, уже породили, въ созданіяхъ позднѣйшихъ талантовъ, цѣлыя родственныя поколѣнія подобій, раздробившихся на множество брызгъ или капель. И въ новое время обнаружится, напримѣръ, что множество современныхъ типовъ въ родѣ Чичикова, Хлестакова, Собакевича, Ноздрева, и т. д. окажутся разнородностями развѣтвившагося генеалогическаго дерева Митрофановъ, Скотининыхъ, и, въ свою очередь, расплодятся на множество другихъ и т. д. И мало ли что̀ открылось бы въ этихъ богатыхъ и не тронутыхъ рудникахъ!

Но оставимъ это духовное сродство типовъ: я, съ своими героями, не прошусь на Олимпъ. Я просто объясняю свой взглядъ на собственныя мои сочиненія и жалѣю, если мнѣ не удалось выразить того въ нихъ и другихъ, что̀ вижу самъ.

Можетъ-быть и оттого, между прочимъ, мои лица не кажутся другимъ такими, какими я разумѣлъ ихъ, что всѣ эти портреты, типы—слишкомъ мѣстные, вышедшіе изъ небольшого приволжскаго угла, и потому не всѣмъ, живущимъ на разбросанныхъ пространствахъ Россіи, близко извѣстны, и, наконецъ, развѣ и потому еще, что въ нихъ сквозитъ много близкаго и родного автору, и замѣтно пробивается кровная его любовь къ нимъ.

Да, можетъ-быть, и такъ: дѣйствительно много личнаго, интимнаго, т.-е. своего, и себя самого, вложено авторомъ туда!

Недаромъ въ одной, писанной за границею, на французскомъ языкѣ, исторіи новой русской литературы, сказано (сколько я помню, не имѣя книги подъ рукою), между прочимъ, обо мнѣ, что я писалъ сердцемъ, а сознательный умъ, идею авторъ приписываетъ другимъ, и ставитъ это въ искусствѣ выше образа, живописи и прочее. Словомъ, авторъ клонитъ свою критику въ сторону реализма.

Конечно, реализмъ есть одна изъ капитальныхъ основъ искусства, но только не тотъ реализмъ, который проповѣдуетъ новѣйшая школа за границею, и отчасти у насъ!

Кто же отвергаетъ рекомендуемое ею стремленіе къ правдѣ — и въ искусствѣ, и въ жизни? Сами же эти реалисты сознаютъ, что Гомеръ, Сервантесъ, Шекспиръ, Гёте и другіе, а у насъ, прибавимъ отъ себя, Фонвизинъ, Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, стремились къ правдѣ, находили ее въ природѣ, въ жизни, и вносили въ свои произведенія. Стало-быть это далеко не новое.

Надо слѣдовать одной природѣ, не нужно вымысловъ, небывалаго, преувеличеній, ходуль, натяжекъ, словомъ, никакой лжи! провозглашаютъ нео-реалисты. И, конечно, они правы, если подъ вымысломъ разумѣютъ выдумки небывалаго или невозможнаго въ природѣ и въ жизни. Но то же самое говорили и дѣлали и до нихъ, хотя бы въ русской натуральной школѣ, опередившей появленіемъ французскую.

Чего же еще хотятъ новые реалисты, присвоивая себѣ господство въ искусствѣ, и въ этомъ, и чуть ли не во всѣ послѣдующіе вѣка?

Они, сколько можно понять, кажется, претендуютъ на тѣ же пріемы и пути, какими изслѣдуетъ природу и идетъ къ истинѣ наука, и отрицаютъ въ художественныхъ поискахъ правды такія пособія, какъ типичность, юморъ, отрицаютъ всякіе идеалы, не признаютъ нужною фантазію и т. д.

Вотъ до чего договорились!

Пишу одну природу и жизнь, какъ онѣ есть! говорятъ

они! Но вѣдь стремленіе къ идеаламъ, фантазія—это тоже органическія свойства человѣческой природы. Вѣдь правда въ природѣ дается художнику только путемъ фантазіи!

Ученый ничего не создаетъ, а открываетъ готовую и скрытую въ природѣ правду, а художникъ создаетъ подобія правды, т.-е. наблюдаемая имъ правда отражается въ его фантазіи, и онъ переноситъ эти отраженія въ свое произведеніе. Это и будетъ художественная правда.

Слѣдовательно, художественная правда и правда дѣйствительности — не одно и то же. Явленіе, перенесенное цѣликомъ изъ жизни въ произведеніе искусства, потеряетъ истинность дѣйствительности и не станетъ художественною правдою. Поставьте рядомъ два-три факта изъ жизни, какъ они случились, выйдетъ невѣрно, даже неправдоподобно.

Отчего же это? Именно оттого, что художникъ пишетъ не прямо съ природы и съ жизни, а создаетъ правдоподобія ихъ. Въ этомъ и заключается процессъ творчества!

Вѣдь это все азбука эстетики, но передѣлать этой азбуки, какъ и самаго искусства, нельзя.

Пособіемъ художника всегда будетъ фантазія, а цѣлью его, хотя и несознательною, пассивною, или замаскированною, стремленіе къ тѣмъ или другимъ идеаламъ, хоть бы, напримѣръ, къ усовершенствованію наблюдаемыхъ имъ явленій, къ замѣнѣ худшаго лучшимъ.

И это лучшее и будетъ идеаломъ, отъ котораго не отдѣлаться художнику, особенно когда у него, кромѣ ума, есть и сердце.

Нео-реалисты пробуютъ приложить свою теорію къ искусству и даютъ намъ, иногда, и въ живописи, и въ искусствѣ слова, свои снимки будто бы съ природы и съ жизни, сдѣланные «умомъ»: но эти попытки пока ограничились сухими, блѣдными и... скучными произведеніями, пожалуй, ума, но никакъ не искусства, если не разумѣть подъ искусствомъ одну технику.

Эти снимки никогда не замѣнятъ картинъ, освѣщенныхъ лучами фантазіи, полныхъ огня, трепета и горячаго дыханія жизни. Писать художественныя произведенія только умомъ—все равно, что требовать отъ солнца, чтобы оно давало лишь свѣтъ, но не играло лучами—въ воздухѣ, на деревьяхъ, на водахъ, не давало бы тѣхъ красокъ, тоновъ и переливовъ свѣта, которые сообщаютъ красоту и блескъ природѣ! Развѣ это реально?

И что такое умъ въ искусствѣ? Это умѣнье создать образъ. Слѣдовательно, въ художественномъ произведеніи одинъ образъ уменъ—и чѣмъ онъ строже, тѣмъ умнѣе. Однимъ умомъ въ десяти томахъ не скажешь того, что сказано десяткомъ лицъ въ какомъ-нибудь «Ревизорѣ»!

Это правда, что романъ захватываетъ все: въ него прячется памфлетъ, иногда цѣлый нравственный или научный трактатъ, простое наблюденіе надъ жизнью или философское воззрѣніе, но такіе романы (или просто книги) ничего не имѣютъ общаго съ искусствомъ. Романъ—какъ картина жизни—возможенъ только при вышеизложенныхъ условіяхъ, не во гнѣвъ будь сказано новѣйшимъ реалистамъ!

Гоголь, безспорно, — реалистъ: у кого найдешь больше правды въ образахъ? Но онъ, смѣша и «смѣясь, невидимо плакалъ»: оттого въ его сатиры и улеглась вся безконечная Русь своею отрицательною стороною, со своею плотью, кровью и дыханіемъ.

Какой отрадной теплотой дышатъ его созданія отъ этого юмора, подъ которымъ прячутся его «невидимыя слезы» и котораго нѣтъ у псевдо-реалистовъ, а есть холодная иронія, продуктъ, пожалуй, ума: они, кажется, ее только одну и допускаютъ въ искусствѣ! Но она никогда не замѣнитъ юмора.

Природа слишкомъ сильна и своеобразна, чтобы взять ее, такъ сказать, цѣликомъ, помѣряться съ нею ея же силами и, непосредственно стать рядомъ; она не дастся. У

нея свои слишкомъ могучія средства. Изъ непосредственнаго снимка съ нея выйдетъ жалкая, безсильная копія. Она позволяетъ приблизиться къ ней только путемъ творческой фантазіи.

Иначе было бы слишкомъ просто быть художникомъ. Стоило бы только, по совѣту одного лица, въ «Разъѣздѣ» Гоголя, сѣсть у окна, да записывать, что̀ дѣлается на улицѣ, и вышла бы комедія или повѣсть.

Замѣчательно, что нѣкоторые изъ героевъ дня, ставшихъ во главѣ новѣйшаго реализма въ искусствѣ, обязаны были лучшими своими произведеніями именно тѣмъ могучимъ орудіямъ искусства: фантазіи, юмору, типичности, словомъ— поэзіи, отъ которыхъ отрекаются теперь.

Кстати о типичности. Новая реальная школа, сколько можно понять, кажется, отвергаетъ и ее. Это уже значитъ— замахиваться не на одну, такъ-называемую «романтическую школу», а на Шекспира, Сервантеса, Мольера! Кому какое дѣло было бы, напримѣръ, до полоумныхъ Лира и Донъ-Кихота, если бъ это были портреты какихъ-то чудаковъ, а не типы, т.-е. зеркала, отражающія въ себѣ безчисленныя подобія— въ старомъ, новомъ и будущемъ человѣческомъ обществѣ?

Нѣтъ, напрасно будетъ пророчить себѣ этотъ новый родъ реализма долгій вѣкъ, если онъ откажется отъ пособія фантазіи, юмора, типичности, живописи, вообще поэзіи, и будетъ пробавляться однимъ умомъ, безъ участія сердца!

Написалъ ли бы, безъ всего этого, и между прочимъ безъ сердца, Грибоѣдовъ свою, горячо любимую имъ Москву, въ «Горѣ отъ ума», Пушкинъ—своего «Онѣгина»? Гоголь, не говоря уже о его картинахъ малороссійской природы и жизни, даже въ своихъ реальныхъ «Мертвыхъ Душахъ», не создалъ бы этихъ дышащихъ жизнью Коробочекъ, Маниловыхъ, Собакевичей? Не могъ бы равнодушный человѣкъ писать такими живыми красками, говорить этими образами, такъ близко намъ, какъ будто мы живемъ среди ихъ!

Другой огромный талантъ — Островскій, безъ любви къ каждому камню Москвы, къ каждому горбатому переулку, къ каждому москвичу, шевелящемуся въ своей кучѣ сора и хлама, создалъ ли бы весь этотъ чудный міръ, съ его духомъ, обычаемъ, дѣлами, страстями, — безъ этой любви, которая сквозитъ въ его изображеніяхъ царей, Мининыхъ, Брусковыхъ, ихъ женъ, дѣтей, свахъ и проч.? Отъ этого, въ его безконечныхъ галлереяхъ, и является вся Великая Россія «во-очью», что она писалась фантазіею, юморомъ и любовью, разсыпалась на безчисленныя разновидности типовъ, характерныхъ, всѣмъ знакомыхъ сценъ, именно потому всѣмъ знакомыхъ, что они воздавались художническою поэтическою кистью, а не просто копировались съ жизни.

И Тургеневъ, создавшій, въ «Запискахъ Охотника», рядъ живыхъ миніатюръ крѣпостного быта, конечно, не далъ бы литературѣ тонкихъ, мягкихъ, полныхъ классической простоты и истинно-реальной правды, очерковъ мелкаго барства, крестьянскаго люда и неподражаемыхъ пейзажей русской природы, если бъ съ дѣтства не пропитался любовью къ родной почвѣ своихъ полей, лѣсовъ, и не сохранилъ въ душѣ образа страданій населяющаго ихъ люда!

Графъ Левъ Толстой — безспорно великій реалистъ, въ лучшемъ смыслѣ слова, пишетъ конечно съ натуры, особенно въ послѣднемъ своемъ произведеніи. Онъ по-своему понялъ, о чемъ хлопочутъ новые реалисты, и, обладая тѣмъ, чего имъ недостаетъ, преподалъ манеру, какъ можно, творчески, силою фантазіи, стать очень близко къ природѣ и правдѣ. Какою нѣжною теплотой окружаетъ онъ нѣкоторыя свои лица, напримѣръ, своего героя Левина съ женой, или эту мягкую, развалившуюся отъ заботъ житейскихъ, добрую Облонскую, бѣдную грѣшницу Каренину, дѣтей, потомъ деревню, поля, охоты и все, что онъ любитъ, съ чѣмъ сжился и чѣмъ пропитался! Все это не мѣшаетъ строгой объективности въ немъ, какъ, напримѣръ, теплый

воздухъ и игра солнечныхъ лучей не мѣшаютъ вѣрности рисунка въ пейзажѣ.

Даже такіе, особые, не входящіе въ этотъ кругъ, своеобразные таланты, какъ Достоевскій и Щедринъ — не могли бы, силою одного холоднаго анализа, находить правды жизни—одинъ въ глубокой, никому, кромѣ его, не достигаемой пучинѣ людскихъ золъ, другой въ мутномъ потокѣ мелькающихъ передъ нимъ безобразій. Одинъ содрогается и стонетъ самъ — содрогается отъ ужаса и боли его читатель, точно такъ же, какъ этотъ читатель злобно хохочетъ съ авторомъ надъ какой-нибудь «современной идилліей», или внезапно поблѣднѣетъ передъ образомъ «Іудушки».

Подъ этой мрачной скорбью одного и горячей злобой другого—кипятъ свои «невидимыя слезы», прячется своя любовь, которая, вмѣстѣ съ другими силами творчества, лежитъ въ основѣ талантовъ всѣхъ этихъ звѣздъ первой величины.

Не было бы ничего этого у нихъ, если бъ они были только покойные, объективные наблюдатели правды! Всѣ эти, вмѣстѣ взятыя силы, только и ведутъ къ истинной «правдѣ» въ искусствѣ!

Да, много хочетъ и далеко зашелъ новѣйшій реализмъ! Тамъ, куда онъ мѣтитъ, одного ума мало: въ искусствѣ умъ долженъ быть въ союзѣ съ фантазіей.

А безъ этого пусть разгораются негодованіемъ на зло, пусть стремятся служить «злобамъ дня» — ничего, кромѣ претензіи, т. е. тенденцій, не будетъ.

Поэтому пора бы оставить въ покоѣ ничего не выражающую фразу «искусство для искусства». Этимъ грѣхомъ, между прочимъ, еще не такъ давно упрекали почти всѣхъ нашихъ писателей, даже, кажется, и Пушкина!

Что-нибудь одно: или у писателя нѣтъ таланта — и онъ пишетъ только для искусства писать: но тогда не было бы никакой живописи, никакихъ живыхъ лицъ и ничего бы не выходило.

А если признаютъ талантъ, а съ нимъ и живопись, тогда послѣдняя что-нибудь да выражаетъ. Живой, т. е. правдивый образъ всегда говоритъ о жизни, все равно о какой.

«Намъ до той или другой жизни дѣла нѣтъ: — все въ искусствѣ должно служить дѣлу, моменту, «злобѣ дня»,— проповѣдуютъ ультро-реалисты.

Но вѣдь этакъ пришлось бы ограничить жизнь суетливымъ перебѣганьемъ отъ одной дневной заботы къ другой. Куда же дѣвать всѣ другія, безчисленныя, и мрачныя, и свѣтлыя стороны жизни, картины не однихъ политическихъ, соціальныхъ, но и общечеловѣческихъ, разнороднѣйшихъ страстей, интересовъ, суетъ, волненій и горячекъ, скорбей и радостей? Вѣдь жизнь — это безпредѣльное и глубокое море: его не исчерпаешь и не направишь въ одно какое-нибудь узкое русло, а съ нимъ и искусство, ея вѣрное отраженіе!

Лучше бы ужъ называть — «искусство безъ искусства», какъ остроумно, и совершенно основательно, выразился однажды, кажется, «Вѣстникъ Европы», говоря по какому-то поводу о тенденціозныхъ произведеніяхъ.

На скользкой почвѣ крайняго реализма пробовали свои силы и серьезные таланты, но эти попытки оказались безплодны и не прибавили (если только не убавили) ни одного листка къ ихъ лавровому вѣнку.

Нѣтъ—будемъ держаться школы старыхъ учителей и идти проложеннымъ ими путемъ, не отказываясь, конечно, отъ истинныхъ, законныхъ развитій, новыхъ шаговъ въ искусствѣ, хоть бы отъ того же самаго реализма, когда эти шаги не будутъ pas de géants, и когда онъ откажется отъ претензіи колебать основные законы искусства!

Въ нашемъ вѣкѣ намъ далъ образецъ художественнаго романа общій учитель романистовъ — это Диккенсъ. Не одинъ наблюдательный умъ, а фантазія, юморъ, поэзія, любовь, которой онъ, по его выраженію, «носилъ цѣлый

океанъ» въ себѣ — помогли ему написать всю Англію, въ живыхъ, безсмертныхъ типахъ и сценахъ.

Отъ всѣхъ громкихъ этихъ именъ перехожу опять къ себѣ и доскажу послѣднія слова о своихъ сочиненіяхъ.

Нѣкоторые старались доказывать, и въ печати, и даже мнѣ самому лично, что романъ «Обрывъ» вообще будто бы слабѣе другихъ моихъ сочиненій, а послѣднія его, 4 и 5-я части слабѣе первыхъ трехъ.

Если бъ мнѣ сказали просто — «романъ слабъ», я тотчасъ согласился бы съ этимъ: я самъ болѣе, нежели кто-нибудь, питаю недовѣріе къ своимъ силамъ. Притомъ и нельзя же самому доказать о себѣ, что то или другое сдѣлано хорошо. Но всякому автору позволительно, не нарушая приличій скромности, выражать свое мнѣніе о томъ, что̀ онъ сдѣлалъ *лучше* и что̀ *хуже*. И я, на основаніи этого права, нахожу, что послѣднія двѣ части безспорно лучше первыхъ трехъ. Онѣ писаны болѣе созрѣвшею и опытною въ работѣ рукою, онѣ сжатѣе, опредѣлительнѣе и яснѣе первыхъ.

Притомъ онѣ такъ органически связаны съ цѣлымъ романомъ, что безъ нихъ первыя три части не имѣли бы никакого значенія — и я, долго отвлекаемый разными посторонними литературѣ дѣлами отъ доведенія «Обрыва» до конца, хотѣлъ уже бросить всю первую половину романа. Весь смыслъ его, вся его «причина» и «суть» только и объясняются и доказываются двумя послѣдними частями, въ которыхъ, между прочимъ, окончательно разыгрывается и драма Вѣры. Тамъ закончилась и ея фигура—и портреты Бабушки, Райскаго, Козлова съ женой, Марѳиньки и всѣхъ остальныхъ.

Безъ этихъ двухъ частей была бы треть романа, разрубленное тѣло, безъ смысла, безъ значенія, словомъ—уродъ.

Можетъ-быть завершеніе этого огромнаго полотна, повторяю, сдѣлано слабо и неудовлетворительно (не мнѣ объ

этомъ судить), но отнюдь не слабѣе и хуже, а напротивъ положительно лучше всего, написаннаго мною прежде.

За это *«лучше»* я только и въ правѣ стоять и стою на своемъ.

Въ заключеніе мнѣ остается еще отвѣтить на послѣдніе, обращаемые ко мнѣ съ разныхъ сторонъ и до сихъ поръ, вопросы. Именно: зачѣмъ я такъ долго, лѣтъ по десяти, писалъ свои романы? Потомъ — зачѣмъ я не пишу ничего другого?

Отвѣтъ на первый вопросъ или упрекъ заключается отчасти въ сказанномъ выше.

Прибавлю только, что если потрудятся вникнуть въ смыслъ моихъ романовъ и найдутъ хотя малую долю того значенія, которое я самъ въ нихъ вижу, то и полагаю, не понадобится быть самому авторомъ, чтобы разсудить и рѣшить о томъ невидимомъ, но громадномъ трудѣ, какого требуетъ построеніе цѣлаго зданія романа! Одной архитектоники, т.-е. постройки зданія, довольно, чтобы поглотить всю умственную дѣятельность автора: соображать, обдумывать участіе лицъ въ главной задачѣ, отношеніе ихъ другъ къ другу, постановку и ходъ событій, роль лицъ, съ неусыпнымъ контролемъ и критикою относительно вѣрности или невѣрности, недостатковъ, излишества и т. д. Словомъ— c'est une mer à boire!

Я не говорю о самыхъ лицахъ, типахъ: они даются художнику даромъ, почти независимо отъ него, растутъ на почвѣ его фантазіи. Трудъ его — только обработка, отдѣлка ихъ, группировка, участіе въ дѣйствіи. Нельзя одолѣть всего этого однимъ умомъ: приходитъ на помощь независящая отъ автора сила — художественный инстинктъ. Умъ разбиваетъ, какъ паркъ или садъ, главныя линіи, положенія, придумываетъ необходимости, а приводитъ это въ исполненіе и помогаетъ сказанный инстинктъ.

Разумѣется, онъ является при любви, при жаждѣ автора

къ своей работѣ, т.-е. при извѣстной степени нервнаго раздраженія, называемаго, на языкѣ идеалистовъ, «вдохновеніемъ».

Тогда, среди намѣченнаго умомъ главнаго хода или дѣйствія, при созданныхъ фантазіею лица — подъ рукою, какъ будто сами собою, родятся и сцены и детали, перо, кисть едва успѣваетъ писать.

Сколько же времени уходитъ на всю эту, невидимую читателю, работу!

И всегда ли оно въ распоряженіи автора? Всегда ли онъ можетъ сосредоточиться, особенно здѣсь, въ Петербургѣ, гдѣ, по обстоятельствамъ, живетъ весь вѣкъ, служа и участвуя, волей и неволей, въ свѣтской жизни и платя дань ея требованіямъ?

Объ этомъ никто не подумаетъ, читая легкія страницы романа, и не зная, какъ не легко достаются онѣ автору!

Бѣлинскій сказалъ мнѣ однажды, какъ упомянуто выше: «что другому стало бы на десять повѣстей, у него укладывается въ одномъ романѣ»!

Это сказалъ онъ про самую краткую изъ моихъ книгъ— «Обыкновенную исторію»!

Что сказалъ бы онъ объ *Обломовѣ*, объ *Обрывѣ*, куда уложилась и вся моя, такъ сказать, собственная—и много другихъ жизней?

Худо ли, хорошо ли — это другой вопросъ (не мнѣ рѣшать его!): но если въ рамки моихъ романовъ укладывались продолжительные періоды, съ 40-хъ до 70-хъ годовъ, то спрашивается, возможно ли писаніе такихъ картинъ, развивавшихся и писавшихся параллельно теченію самой жизни, хотя бы въ годъ—два? Конечно нѣтъ!

Послѣдній вопросъ: зачѣмъ я не писалъ и не пишу ничего другого?

Не могу, не умѣю! То-есть, не могу и не умѣю ничего писать иначе, какъ образами, картинами, и притомъ большими, слѣдовательно писать долго, медленно и трудно.

Для образовъ и картинъ требуется извѣстная свѣжесть силъ и охоты: всему есть своя пора. Къ концу поприща человѣкъ устаетъ отъ борьбы со всѣми и со всѣмъ, что̀ ему мѣшало, что̀ не понимало его, что̀ враждовало съ нимъ.

Я не публицистъ, не присяжный критикъ, я жилъ и писалъ больше всего подъ вліяніемъ фантазіи—и внѣ послѣдней перо мое мало имѣетъ силы, не производитъ дѣйствія!

Напрасно просили моего сотрудничества въ журналахъ, въ качествѣ рецензента или публициста; пробовалъ — и ничего не выходило, кромѣ блѣдныхъ статей, уступавшихъ всякому бойкому перу привычныхъ журнальныхъ сотрудниковъ.

Напрасно тоже нѣкоторые предлагали мнѣ задачи для романа. «Опишите такое-то событіе, такую-то жизнь, возьмите тотъ или другой вопросъ, такого-то героя или героиню!»

Не могу, не умѣю! *То, что не выросло и не созрѣло во мнѣ самомъ*, чего я не видѣлъ, не наблюдалъ, чѣмъ не жилъ,—то недоступно моему перу! У меня есть (или была) своя нива, свой грунтъ, какъ есть своя родина, свой родной воздухъ, друзья и недруги, свой міръ наблюденій, впечатлѣній и воспоминаній, — и я писалъ только то, *что переживалъ, что мыслилъ, чувствовалъ, что любилъ, что близко видѣлъ и зналъ* — словомъ писалъ и *свою жизнь, и то, что къ ней прирастало.*

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРІЯ.

РОМАНЪ

въ двухъ частяхъ.

Часть первая.

I.

Однажды, лѣтомъ, въ деревнѣ Грачахъ, у небогатой помѣщицы Анны Павловны Адуевой, всѣ въ домѣ поднялись съ разсвѣтомъ, начиная съ хозяйки до цѣпной собаки Барбоса.

Только единственный сынъ Анны Павловны, Александръ Ѳедорычъ, спалъ, какъ слѣдуетъ спать двадцатилѣтнему юношѣ, богатырскимъ сномъ; а въ домѣ всѣ суетились и хлопотали. Люди ходили однакожъ на цыпочкахъ и говорили шопотомъ, чтобъ не разбудить молодого барина. Чуть кто-нибудь стукнетъ, громко заговоритъ, сейчасъ, какъ раздраженная львица, являлась Анна Павловна и наказывала неосторожнаго строгимъ выговоромъ, обиднымъ прозвищемъ, а иногда, по мѣрѣ гнѣва и силъ своихъ, и толчкомъ.

На кухнѣ стряпали въ трое рукъ, какъ будто на десятерыхъ, хотя все господское семейство только и состояло, что изъ Анны Павловны да Александра Ѳедорыча. Въ сараѣ вытирали и подмазывали повозку. Всѣ были заняты и работали до-поту лица. Барбосъ только ничего не дѣлалъ, но и тотъ по-своему принималъ участіе въ общемъ движеніи. Когда мимо его проходилъ лакей, кучеръ, или шмыгала дѣвка, онъ махалъ хвостомъ и тщательно обнюхивалъ проходящаго, а самъ глазами, кажется, спрашивалъ: скажутъ ли мнѣ наконецъ, что у насъ сегодня за суматоха?

А суматоха была оттого, что Анна Павловна отпускала

сына въ Петербургъ на службу, или, какъ она говорила, людей посмотрѣть и себя показать. Убійственный для нея день! Отъ этого она такая грустная и разстроенная. Часто, въ хлопотахъ, она откроетъ ротъ, чтобъ приказать что-нибудь, и вдругъ остановится на полусловѣ, голосъ ей измѣнитъ, она отвернется въ сторону и оботретъ, если успѣетъ, слезу, а не успѣетъ, такъ уронитъ ее въ чемоданъ, въ который сама укладывала Сашенькино бѣлье. Слезы давно кипятъ у ней въ сердцѣ; онѣ подступили къ горлу, давятъ грудь и готовы брызнуть въ три ручья; но она какъ будто берегла ихъ на прощанье и изрѣдка тратила по капелькѣ.

Не одна она оплакивала разлуку: сильно горевалъ тоже камердинеръ Сашеньки, Евсей. Онъ отправлялся съ бариномъ въ Петербургъ, покидалъ самый теплый уголъ въ домѣ, за лежанкой, въ комнатѣ Аграфены, перваго министра въ хозяйствѣ Анны Павловны и—что всего важнѣе для Евсея, первой ея ключницы.

За лежанкой только и было мѣста, чтобъ поставить два стула и столъ, на которомъ готовился чай, кофе, закуска. Евсей прочно занималъ мѣсто и за печкой, и въ сердцѣ Аграфены. На другомъ стулѣ засѣдала она сама.

Исторія объ Аграфенѣ и Евсеѣ была ужъ старая исторія въ домѣ. О ней, какъ обо всемъ на свѣтѣ, поговорили, позлословили ихъ обоихъ, а потомъ, такъ же, какъ и обо всемъ, замолчали. Сама барыня привыкла видѣть ихъ вмѣстѣ, и они блаженствовали цѣлыя десять лѣтъ. Многіе ли въ итогѣ годовъ своей жизни начтутъ десять счастливыхъ? Зато вотъ насталъ и мигъ утраты! Прощай теплый уголъ, прощай Аграфена Ивановна, прощай игра въ дураки, и кофе, и водка, и наливка—все прощай!

Евсей сидѣлъ молча и сильно вздыхалъ. Аграфена, насупясь, суетилась по хозяйству. У ней горе выражалось по-своему. Она въ тотъ день съ ожесточеніемъ разлила чай, и вмѣсто того, чтобъ первую чашку крѣпкаго чая подать, по

обыкновенію, барынѣ, выплеснула его вонъ: «никому» дескать «не доставайся», и твердо перенесла выговоръ. Кофе у ней перекипѣлъ, сливки подгорѣли, чашки валились изъ рукъ. Она не поставитъ подноса на столъ, а брякнетъ; не отворитъ шкапа и двери, а хлопнетъ. Но она не плакала, а сердилась на все и на всѣхъ. Впрочемъ, это вообще было главною чертою въ ея характерѣ. Она никогда не была довольна; все не по ней; всегда ворчала, жаловалась. Но въ эту роковую для нея минуту характеръ ея обнаруживался во всемъ своемъ паѳосѣ. Пуще всего, кажется, она сердилась на Евсея.

— Аграфена Ивановна!..—сказалъ онъ жалобно и нѣжно, что́ не совсѣмъ шло къ его длинной и плотной фигурѣ.

— Ну, что ты, разиня, тутъ разсѣлся? — отвѣчала она, какъ будто онъ въ первый разъ тутъ сидѣлъ.—Пусти прочь: надо полотенце достать.

— Эхъ, Аграфена Ивановна!.. — повторилъ онъ лѣниво, вздыхая и поднимаясь со стула и тотчасъ опять опускаясь, когда она взяла полотенце.

— Только хнычетъ! Вотъ пострѣлъ навязался! Что это за наказаніе, Господи! и не отвяжется!

И она со звономъ уронила ложку въ полоскательную чашку.

— Аграфена!—раздалось вдругъ изъ другой комнаты:— ты никакъ съ ума сошла! развѣ не знаешь, что Сашенька почиваетъ? Подралась, что ли, со своимъ возлюбленнымъ на прощаньи?

— Не пошевелись для тебя, сиди, какъ мертвая! — прошипѣла по-змѣиному Аграфена, вытирая чашку обѣими руками, какъ будто хотѣла изломать ее въ куски.

— Прощайте, прощайте! — съ громаднѣйшимъ вздохомъ сказалъ Евсей:—послѣдній денекъ, Аграфена Ивановна!

— И слава Богу! пусть унесутъ васъ черти отсюда: просторнѣе будетъ. Да пусти прочь, негдѣ ступить: протянулъ ноги-то!

Онъ тронулъ-было ее за плечо — какъ она ему отвѣтила! Онъ опять вздохнулъ, но съ мѣста не двигался; да напрасно и двинулся бы: Аграфенѣ этого не хотѣлось. Евсей зналъ это и не смущался.

— Кто-то сядетъ на мое мѣсто? — промолвилъ онъ, все со вздохомъ.

— Лѣшій!—отрывисто отвѣчала она.

— Дай-то Богъ! лишь бы не Прошка. А кто-то въ дураки съ вами станетъ играть?

— Ну, хоть бы и Прошка, такъ что̀ жъ за бѣда? — со злостью замѣтила она.

Евсей всталъ.

— Вы не играйте съ Прошкой, ей-Богу, не играйте! — сказалъ онъ съ безпокойствомъ и почти съ угрозой.

— А кто мнѣ запретитъ? ты, что ли, образина этакая?

— Матушка, Аграфена Ивановна!—началъ онъ умоляющимъ голосомъ, обнявъ ее—за талію, сказалъ бы я, если бъ у ней былъ хоть малѣйшій намекъ на талію.

Она отвѣчала на объятіе локтемъ въ грудь.

— Матушка, Аграфена Ивановна!—повторилъ онъ:—будетъ ли Прошка любить васъ такъ, какъ я? Поглядите? какой онъ озорникъ: ни одной женщинѣ проходу не дастъ. А я-то! э-эхъ! Вы у меня, что̀ синь-порохъ въ глазу! Если бъ не барская воля, такъ... эхъ!..

Онъ при этомъ крякнулъ и махнулъ рукой. Аграфена не выдержала: и у ней, наконецъ, горе обнаружилось въ слезахъ.

— Да отстанешь ли ты отъ меня, окаянный?—говорила она плача:—что мелешь, дуралей! Свяжусь я съ Прошкой! развѣ не видишь самъ, что отъ него путнаго слова не добьешься? только и знаетъ, что лѣзетъ съ ручищами...

— И къ вамъ лѣзъ? Ахъ мерзавецъ! А вы, небось, не скажете! Я бы его...

— Полѣзь-ка, такъ узнаетъ! Развѣ нѣтъ въ дворнѣ жен-

скаго пола, кромѣ меня? Съ Прошкой свяжусь! вишь что̀ выдумалъ! Подлѣ него и сидѣть-то тошно—свинья-свиньей! Онъ, того и гляди, норовитъ ударить человѣка, или сожрать что-нибудь барское изъ-подъ рукъ—и не увидишь.

— Ужъ если, Аграфена Ивановна, случай такой придетъ—лукавый вѣдь силенъ—такъ лучше Гришку посадите тутъ: по-крайности, малый смирный, работящій, не зубоскалъ...

— Вотъ еще выдумалъ!—накинулась на него Аграфена:— что ты меня всякому навязываешь, развѣ я какая-нибудь... Пошелъ вонъ отсюда! Много вашего брата, всякому стану вѣшаться на шею: не таковская! Съ тобой только, этакимъ лѣшимъ, попуталъ видно лукавый за грѣхи мои связаться. да и то каюсь... а то выдумалъ!

— Богъ васъ награди за вашу добродѣтель! какъ камень съ плечъ!—воскликнулъ Евсей.

— Обрадовался! — звѣрски закричала она опять: — есть чему радоваться—радуйся!

И губы у ней побѣлѣли отъ злости. Оба замолчали.

— Аграфена Ивановна! — робко сказалъ Евсей, немного погодя.

— Ну, что̀ еще?

— Я вѣдь и забылъ: у меня нынче съ утра во рту маковой росинки не было.

— Только и дѣла!

— Съ горя, матушка.

Она достала съ нижней полки шкапа, изъ-за головы сахару, стаканъ водки и два огромные ломтя хлѣба съ ветчиной. Все это давно было приготовлено для него ея заботливой рукой. Она сунула ему ихъ, какъ не суютъ и собакамъ. Одинъ ломоть упалъ на полъ.

— На̀ вотъ, подавись! О, чтобъ тебя... да тише, не чавкай на весь домъ.

Она отвернулась отъ него съ выраженіемъ будто нена-

висти, а онъ медленно началъ ѣсть, глядя исподлобья на Аграфену и прикрывая одною рукою ротъ.

Между тѣмъ въ воротахъ показался ямщикъ, съ тройкой лошадей. Черезъ шею коренной переброшена была дуга. Колокольчикъ, привязанный къ сѣделкѣ, глухо и несвободно ворочалъ языкомъ, какъ пьяный, связанный и брошенный въ караульню. Ямщикъ привязалъ лошадей подъ навѣсомъ сарая, снялъ шапку, досталъ оттуда грязное полотенце и отеръ потъ съ лица. Анна Павловна, увидѣвъ его изъ окна, поблѣднѣла. У ней подкосились ноги и опустились руки, хотя она ожидала этого. Оправившись, она позвала Аграфену.

— Поди-ка на цыпочкахъ, тихохонько, посмотри, спитъ ли Сашенька?—сказала она.—Онъ, мой голубчикъ, проспитъ пожалуй, и послѣдній денекъ: такъ и не нагляжусь на него. Да нѣтъ, куда тебѣ! ты, того гляди, влѣзешь какъ корова! я лучше сама...

И пошла.

— Поди-ка ты, не-корова!—ворчала Аграфена, воротясь къ себѣ. — Вишь, корову нашла! много ли у тебя этакихъ коровъ-то?

Навстрѣчу Аннѣ Павловнѣ шелъ и самъ Александръ Ѳедорычъ, бѣлокурый молодой человѣкъ, въ цвѣтѣ лѣтъ, здоровья и силъ. Онъ весело поздоровался съ матерью, но, увидѣвъ вдругъ чемоданъ и узлы, смутился, молча отошелъ къ окну и сталъ чертить пальцемъ по стеклу. Черезъ минуту онъ уже опять говорилъ съ матерью и безпечно, даже съ радостью смотрѣлъ на дорожные сборы.

— Что это ты, мой дружокъ, какъ заспался, — сказала Анна Павловна: — даже личико отекло? Дай-ка вытру тебѣ глаза и щеки розовой водой.

— Нѣтъ, маменька, не надо.

— Чего ты хочешь позавтракать: чайку прежде, или кофейку? Я велѣла сдѣлать и битое мясо со сметаной на сковородѣ—чего хочешь?

— Все равно, маменька.

Анна Павловна продолжала укладывать бѣлье, потомъ остановилась и посмотрѣла на сына съ тоской.

— Саша!..—сказала она черезъ нѣсколько времени.

— Чего изволите, маменька?

Она медлила говорить, какъ будто чего-то боялась.

— Куда ты ѣдешь, мой другъ, зачѣмъ? — спросила она, наконецъ, тихимъ голосомъ.

— Какъ куда, маменька? въ Петербургъ, затѣмъ... затѣмъ... чтобъ...

— Послушай, Саша,—сказала она въ волненіи, положивъ ему руку на плечо, повидимому съ намѣреніемъ сдѣлать послѣднюю попытку:—еще время не ушло: подумай, останься!

— Остаться! какъ можно! да вѣдь и... бѣлье уложено,— сказалъ онъ, не зная, что выдумать.

— Уложено бѣлье! да вотъ... вотъ... вотъ... гляди—и не уложено.

Она въ три пріема вынула все изъ чемодана.

— Какъ же это такъ, маменька? собрался — и вдругъ опять!—Что скажутъ...

Онъ опечалился.

— Я не столько для себя самой, сколько для тебя же отговариваю. Зачѣмъ ты ѣдешь? Искать счастья? Да развѣ тебѣ здѣсь не хорошо? развѣ мать день-деньской не думаетъ о томъ, какъ бы угодить всѣмъ твоимъ прихотямъ? Конечно, ты въ такихъ лѣтахъ, что одни материнскія угожденія не составляютъ счастья; да я и не требую этого. Ну, погляди вокругъ себя: всѣ смотрятъ тебѣ въ глаза. А дочка Марьи Васильевны, Сонюшка? Что... покраснѣлъ? Какъ она, моя голубушка — дай Богъ ей здоровья — любитъ тебя: слышь, третью ночь не спитъ!

— Вотъ, маменька, что вы! она такъ...

— Да, да, будто я не вижу... Ахъ! чтобъ не забыть: она взяла обрубить твои платки—«я, говоритъ, сама, сама, ни-

кому не дамъ, и мѣтку сдѣлаю»—видишь, чего же еще тебѣ? Останься!

Онъ слушалъ молча, поникнувъ головой, и игралъ кистью своего шлафрока.

— Что̀ ты найдешь въ Петербургѣ?—продолжала она.— Ты думаешь, тамъ тебѣ такое же житье будетъ, какъ здѣсь? Э, мой другъ! Богъ знаетъ, чего насмотришься и натерпишься: и холодъ, и голодъ, и нужду — все перенесешь. Злыхъ людей вездѣ много, а добрыхъ не скоро найдешь. А почетъ—что̀ въ деревнѣ, что̀ въ столицѣ—все тотъ же почетъ. Какъ не увидишь петербургскаго житья, такъ и покажется тебѣ, живучи здѣсь, что ты первый въ мірѣ; и во всемъ такъ, мой милый! Ты же воспитанъ, и ловокъ, и хорошъ. Мнѣ бы, старухѣ, только оставалось радоваться, глядя на тебя. Женился бы, послалъ бы Богъ тебѣ дѣточекъ, а я бы няньчила ихъ—и жилъ бы безъ горя, безъ заботъ, и прожилъ бы вѣкъ свой мирно, тихо, никому бы не позавидовалъ; а тамъ, можетъ, и не будетъ хорошо, можетъ, и помянешь слова мои... Останься, Сашенька—а?

Онъ кашлянулъ и вздохнулъ, но не сказалъ ни слова.

— А посмотри-ка сюда,—продолжала она, отворяя дверь на балконъ:—и тебѣ не жаль покинуть такой уголокъ?

Съ балкона въ комнату пахнуло свѣжестью. Отъ дома на далекое пространство раскидывался садъ изъ старыхъ липъ, густого шиповника, черемухи и кустовъ сирени. Между деревьями пестрѣли цвѣты, бѣжали въ разныя стороны дорожки, далѣе, тихо плескалось въ берега озеро, облитое съ одной стороны золотыми лучами утренняго солнца и гладкое, какъ зеркало; съ другой—темно-синее, какъ небо, которое отражалось въ немъ, и едва подернутое зыбью. А тамъ нивы съ волнующимися, разноцвѣтными хлѣбами шли амфитеатромъ и примыкали къ темному лѣсу.

Анна Павловна, прикрывъ одной рукой глаза отъ солнца, другой указывала сыну попеременно на каждый предметъ.

— Погляди-ка, — говорила она: — какой красотой Богъ одѣлъ поля наши! Вонъ съ тѣхъ полей одной ржи до 500 четвертей сберемъ; а вонъ и пшеничка есть, и гречиха; только гречиха нынче не то, что̀ прошлый годъ: кажется, плоха будетъ. А лѣсъ-то, лѣсъ-то какъ разросся! Подумаешь, какъ велика премудрость Божія! Дровецъ съ своего участка мало-мало на тысячу продадимъ. А дичи, дичи что̀! и вѣдь все это твое, милый сынокъ: я только твоя приказчица. Погляди-ка, озеро: что̀ за великолѣпіе! истинно небесное! рыба такъ и ходитъ; одну осетрину покупаемъ, а то ерши, окуни, караси кишмя-кишатъ: и на себя, и на людей идетъ. Вонъ твои коровки и лошадки пасутся. Здѣсь ты одинъ всему господинъ, а тамъ, можетъ-быть, всякій станетъ помыкать тобой. И ты хочешь бѣжать отъ такой благодати, еще не знаешь куда, въ омутъ, можетъ-быть, прости Господи... Останься!

Онъ молчалъ.

— Да ты не слушаешь,—сказала она.—Куда это ты такъ пристально заглядѣлся?

Онъ молча и задумчиво указалъ рукой въ даль. Анна Павловна взглянула и измѣнилась въ лицѣ. Тамъ, между полей, змѣей вилась дорога и убѣгала за лѣсъ, дорога въ обѣтованную землю, въ Петербургъ. Анна Павловна молчала нѣсколько минутъ, чтобъ собраться съ силами.

— Такъ вотъ что!—проговорила она, наконецъ, уныло.— Ну, мой другъ, Богъ съ тобой! поѣзжай, ужъ если тебя такъ тянетъ отсюда: я не удерживаю! По крайней мѣрѣ, не скажешь, что мать заѣдаетъ твою молодость и жизнь.

Бѣдная мать! вотъ тебѣ и награда за твою любовь! Того ли ожидала ты? Въ томъ-то и дѣло, что матери не ожидаютъ наградъ. Мать любитъ безъ толку и безъ разбору. Велики вы, славны, красивы, горды, переходитъ имя ваше изъ устъ въ уста, гремятъ ваши дѣла по свѣту — голова старушки трясется отъ радости, она плачетъ, смѣется и

молится долго и жарко. А сынокъ, большею частью, и не думаетъ подѣлиться славой съ родительницею. Нищи ли вы духомъ и умомъ, отмѣтила ли васъ природа клеймомъ безобразія, точитъ ли жало недуга ваше сердце или тѣло, наконецъ, отталкиваютъ васъ отъ себя люди и нѣтъ вамъ мѣста между ними—тѣмъ болѣе мѣста въ сердцѣ матери. Она сильнѣе прижимаетъ къ груди уродливое, неудавшееся чадо и молится еще долѣе и жарче.

Какъ назвать Александра безчувственнымъ за то, что онъ рѣшился на разлуку? Ему было двадцать лѣтъ. Жизнь отъ пеленъ ему улыбалась; мать лелѣяла и баловала его, какъ балуютъ единственное чадо; нянька все пѣла ему надъ колыбелью, что онъ будетъ ходить въ золотѣ и не знать горя; профессоры твердили, что онъ пойдетъ далеко, а по возвращеніи его домой, ему улыбнулась дочь сосѣдки. И старый котъ, Васька, былъ къ нему, кажется, ласковѣе, нежели къ кому-нибудь въ домѣ.

О горѣ, слезахъ, бѣдствіяхъ онъ зналъ только по слуху, какъ знаютъ о какой-нибудь заразѣ, которая не обнаружилась, но глухо гдѣ-то таится въ народѣ. Отъ этого будущее представлялось ему въ радужномъ свѣтѣ. Его что-то манило въ даль, но что̀ именно—онъ не зналъ. Тамъ мелькали обольстительные призраки, но онъ не могъ разглядѣть ихъ; слышались смѣшанные звуки — то голосъ славы, то любви: все это приводило его въ сладкій трепетъ.

Ему скоро тѣсенъ сталъ домашній міръ. Природу, ласки матери, благоговѣніе няньки и всей дворни, мягкую постель, вкусныя яства и мурлыканье Васьки—всѣ эти блага, которыя такъ дорого цѣнятся на склонѣ жизни, онъ весело мѣнялъ на неизвѣстное, полное увлекательной и таинственной прелести. Даже любовь Софьи, первая, нѣжная и розовая любовь, не удерживала его. Что̀ ему эта любовь? Онъ мечталъ о колоссальной страсти, которая не знаетъ никакихъ преградъ и свершаетъ громкіе подвиги. Онъ любилъ Софью

пока маленькою любовью, въ ожиданіи большой. Мечталъ онъ и о пользѣ, которую принесетъ отечеству. Онъ прилежно и многому учился. Въ аттестатѣ его сказано было, что онъ знаетъ съ дюжину наукъ, да съ полдюжины древнихъ и новыхъ языковъ. Всего же болѣе мечталъ онъ о славѣ писателя. Стихи его удивляли товарищей. Передъ нимъ разстилалось множество путей, и одинъ казался лучше другого. Онъ не зналъ, на который броситься. Скрывался отъ глазъ только прямой путь; замѣть онъ его, такъ тогда, можетъ-быть, и не поѣхалъ бы.

Какъ же ему было остаться? Мать желала — это опять другое и очень естественное дѣло. Въ сердцѣ ея отжили всѣ чувства, кромѣ одного — любви къ сыну, и оно жарко ухватилось за этотъ послѣдній предметъ. Не будь его, что же ей дѣлать? Хоть умирать. Ужъ давно доказано, что женское сердце не живетъ безъ любви.

Александръ былъ избалованъ, но не испорченъ домашнею жизнью. Природа такъ хорошо создала его, что любовь матери и поклоненіе окружающихъ подѣйствовали только на добрыя его стороны, развили, напримѣръ, въ немъ преждевременно сердечныя склонности, поселили ко всему довѣрчивость до излишества. Это же самое, можетъ-быть, расшевелило въ немъ и самолюбіе; но вѣдь самолюбіе само по себѣ только форма; все будетъ зависѣть отъ матеріала, который вольешь въ нее.

Гораздо болѣе бѣды для него было въ томъ, что мать его, при всей своей нѣжности, не могла дать ему настоящаго взгляда на жизнь и не приготовила его на борьбу съ тѣмъ, что ожидало его и ожидаетъ всякаго впереди. Но для этого нужно было искусную руку, тонкій умъ и запасъ большой опытности, неограниченной тѣснымъ деревенскимъ горизонтомъ. Нужно было даже поменьше любить его, не думать за него ежеминутно, не отводить отъ него каждую заботу и непріятность, не плакать и не страдать вмѣсто

его и въ дѣтствѣ, чтобъ дать ему самому почувствовать приближеніе грозы, справиться съ своими силами и подумать о своей судьбѣ—словомъ, узнать, что онъ мужчина. Гдѣ же было Аннѣ Павловнѣ понять все это и, особенно, выполнить? Читатель видѣлъ, какова она. Не угодно ли посмотрѣть еще?

Она уже забыла сыновній эгоизмъ. Александръ Ѳедорычъ засталъ ее за вторичнымъ укладываньемъ бѣлья и платья. Въ хлопотахъ и дорожныхъ сборахъ, она какъ будто совсѣмъ не помнила горя.

— Вотъ, Сашенька, замѣть хорошенько, куда я что̀ кладу,— говорила она.— Въ самый низъ, на дно чемодана, простыни: дюжина. Посмотри-ка, такъ ли записано?

— Такъ, маменька.

— Всѣ съ твоими мѣтками, видишь — А. А. А. все голубушка Сонюшка! Безъ нея наши дурищи не скоро бы поворотились. Теперь что? да̀, наволочки. Разъ, двѣ, три, четыре—такъ, вся дюжина тутъ. Вотъ рубашки—три дюжины. Что̀ за полотно—заглядѣнье! это голландское; сама ѣздила на фабрику къ Василью Васильевичу; онъ выбралъ что̀ ни есть наилучшіе три куска. Повѣряй же, милый, по реестру всякій разъ, какъ будешь принимать отъ прачки; всѣ повѣшенькія. Тамъ немного такихъ рубашекъ увидишь; пожалуй и подмѣнятъ; есть вѣдь этакія мерзавки, что̀ Бога не боятся. Носковъ двадцать-двѣ пары... Знаешь, что̀ я придумала? положить въ одинъ носокъ твой бумажникъ съ деньгами. Ихъ тебѣ до Петербурга не понадобится, такъ, сохрани Боже! случай какой, чтобъ и рыли, да не нашли. И письма къ дядѣ туда же положу: то-то, чай, обрадуется! вѣдь семнадцать лѣтъ и словомъ не перекинулись, шутка ли! Вотъ косыночки, вотъ платки; еще полдюжины у Сонюшки осталось. Не теряй, душенька, платковъ: славный полубатистъ! У Михеева брала по два съ четвертью. Ну, бѣлье все. Теперь платье... Да гдѣ Евсей? что онъ не смотритъ? Евсей!

Евсей лѣниво вошелъ въ комнату.

— Чего изволите?—спросилъ онъ еще лѣнивѣе.

— Чего изволите?—заговорила Адуева гнѣвно.—Что не смотришь, ка́къ я укладываю? А тамъ, какъ надо что̀ достать въ дорогѣ, и пойдешь все перерывать вверхъ дномъ! Не можетъ отвязаться отъ своей возлюбленной — экое сокровище! День-то великъ: успѣешь! Ты этакъ тамъ и за бариномъ станешь ходить? Смотри у меня! Вотъ гляди: это хорошій фракъ — видишь, куда кладу? А ты, Сашенька, береги его, не всякій день таскай; сукно-то по 16 рублей брали. Куда въ хорошіе люди пойдешь, и надѣнь, да не садись зря, ка̀къ ни попало, вонъ какъ твоя тетка, словно нарочно, не сядетъ на пустой стулъ или диванъ, а такъ и норовитъ плюхнуть туда, гдѣ стоитъ шляпа или что-нибудь такое; намедни на тарелку съ вареньемъ сѣла — такого сраму надѣлала! Куда попроще въ люди, вотъ этотъ фракъ-масака надѣвай. Теперь жилеты — разъ, два, три, четыре. Двое брюкъ. Э! да платья-то года на три станетъ. Ухъ! устала! шутка ли: цѣлое утро возилась! Поди, Евсей. Поговоримъ, Сашенька, о чемъ-нибудь другомъ. Ужо́ гости пріѣдутъ, не до того будетъ.

Она сѣла на диванъ и посадила его подлѣ себя.

— Ну, Саша, — сказала она, помолчавъ немного: — ты теперь ѣдешь на чужую сторону...

— Какая «чужая» сторона, Петербургъ: что̀ вы, маменька!

— Погоди, погоди—выслушай, что̀ я хочу сказать! Богъ одинъ знаетъ, что̀ тамъ тебя встрѣтитъ, чего ты наглядишься, и хорошаго, и худого. Надѣюсь, Онъ, Отецъ мой небесный, подкрѣпитъ тебя; а ты, мой другъ, пуще всего не забывай Его, помни, что безъ вѣры нѣтъ спасенія нигдѣ и ни въ чемъ. Достигнешь тамъ большихъ чиновъ, въ знать войдешь—вѣдь мы не хуже другихъ: отецъ былъ дворянинъ, майоръ — все-таки смиряйся передъ Господомъ Богомъ: молись и въ счастіи и въ несчастіи, а не по по-

словицѣ: «громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится». Иной, пока везетъ ему, и въ церковь не заглянетъ, а какъ придетъ не въ мочь — и пойдетъ рублевыя свѣчи ставить, да нищихъ одѣлять: это большой грѣхъ. Къ слову пришлось о нищихъ. Не трать на нихъ денегъ попустому, по многу не давай. На что баловать? ихъ не удивишь. Они пропьютъ, да надъ тобой же насмѣются. У тебя, я знаю, мягкая душа: ты, пожалуй, и по гривеннику станешь отваливать. Нѣтъ, это не нужно; Богъ подастъ! Будешь ли ты посѣщать храмъ Божій? будешь ли ходить по воскресеньямъ къ обѣднѣ?

Она вздохнула.

Александръ молчалъ. Онъ вспомнилъ, что, учась въ университетѣ и живучи въ губернскомъ городѣ, онъ не очень усердно посѣщалъ церковь; а въ деревнѣ, только изъ угожденія матери, сопровождалъ ее къ обѣднѣ. Ему совѣстно было солгать. Онъ молчалъ. Мать поняла его молчаніе и опять вздохнула.

— Ну, я тебя не неволю, — продолжала она: — ты человѣкъ молодой: гдѣ тебѣ быть такъ усердну къ церкви Божіей, какъ намъ, старикамъ? Еще, пожалуй, служба помѣшаетъ, или засидишься поздно въ хорошихъ людяхъ и проспишь. Богъ пожалѣетъ твоей молодости. Не тужи: у тебя есть мать. Она не проспитъ. Пока во мнѣ останется хоть капелька крови, пока не высохли слезы въ глазахъ и Богъ терпитъ грѣхамъ моимъ, я ползкомъ дотащусь, если не хватитъ силъ дойти до церковнаго порога; послѣдній вздохъ отдамъ, послѣднюю слезу выплачу за тебя, моего друга. Вымолю тебѣ и здоровье, и чиновъ, и крестовъ, и небесныхъ и земныхъ благъ. Неужели-то Онъ, милосердый Отецъ, презритъ молитвой бѣдной старухи? Мнѣ самой ничего не надо. Отними Онъ у меня все: здоровье, жизнь, пошли слѣпоту — тебѣ лишь подай всякую радость, всякое счастье и добро...

Она не договорила, слезы закапали у ней изъ глазъ.

Александръ вскочилъ съ мѣста.

— Маменька...—сказалъ онъ.

— Ну, сядь, сядь! — отвѣчала она, наскоро утирая слезы: — мнѣ еще много осталось поговорить... Что́, бишь, я хотѣла сказать? изъ ума вонъ... Вишь нынче какая память у меня... да̀! блюди посты, мой другъ: это великое дѣло! Въ среду и пятницу — Богъ проститъ; а въ Великій постъ—Боже оборони! Вотъ Михайло Михайлычъ и умнымъ человѣкомъ считается, а что̀ въ немъ? Что̀ мясоѣдъ, что̀ Страстная недѣля — все одно жретъ. Даже волосъ дыбомъ становится! Онъ вонъ и бѣднымъ помогаетъ, да будто его милостыня принята Господомъ? Слышь, подалъ разъ старику красненькую, тотъ взялъ ее, а самъ отвернулся да плюнулъ. Всѣ кланяются ему и въ глаза-то Богъ знаетъ что̀ наговорятъ, а за глаза крестятся, какъ поминаютъ его, словно шайтана какого.

Александръ слушалъ съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ и взглядывалъ по временамъ въ окно, на дальнюю дорогу.

Она замолчала на минуту.

— Береги пуще всего здоровье,—продолжала она.—Какъ заболѣешь — чего Боже оборони! — опасно, напиши... я соберу всѣ силы и пріѣду. Кому тамъ ходить за тобой? Норовятъ еще обобрать больного. Не ходи ночью по улицамъ; отъ людей звѣрскаго вида удаляйся. Береги деньги... охъ, береги на черный день! Трать съ толкомъ. Отъ нихъ, проклятыхъ, всякое добро и всякое зло. Не мотай, не заводи лишнихъ прихотей. Ты будешь аккуратно получать отъ меня двѣ тысячи пятьсотъ рублей въ годъ. Двѣ тысячи пятьсотъ рублей не шутка! Не заводи роскоши никакой, ничего такого, но и не отказывай себѣ въ чемъ можно; захочется полакомиться — не скупись. — Не предавайся вину — охъ, оно первый врагъ человѣка! — Да еще (тутъ она понизила голосъ) берегись женщинъ! Знаю я ихъ! Есть такія без-

стыдницы, что сами на шею будутъ вѣшаться, какъ увидятъ этакого-то...

Она съ любовью посмотрѣла на сына.

— Довольно, маменька; я бы позавтракалъ?—сказалъ онъ почти съ досадой.

— Сейчасъ, сейчасъ... еще одно слово.... На мужнихъ женъ не зарься, — спѣшила она досказать: — это великій грѣхъ! «Не пожелай жены ближняго твоего», сказано въ Писаніи. Если же тамъ какая-нибудь станетъ до свадьбы добираться—Боже сохрани! не моги и подумать! Онѣ готовы подцѣпить, какъ увидятъ, что съ денежками да хорошенькій. Развѣ что у начальника твоего или у какого-нибудь знатнаго да богатаго вельможи разгорятся на тебя зубы и онъ захочетъ выдать за тебя дочь—ну, тогда можно, только отпиши: я кое-какъ дотащусь, посмотрю, чтобъ не подсунули, такъ какую-нибудь, лишь бы съ рукъ сбыть: старую дѣвку или дрянь. Этакого женишка всякому лестно залучить. Ну, а коли ты самъ полюбишь, да выдастся хорошая дѣвушка—такъ того...—тутъ она еще тише заговорила...—Сонюшку-то можно и въ сторону. (Старушка, изъ любви къ сыну, готова была покривить душой.) Что̀ въ самомъ дѣлѣ Марья Карповна замечтала: ты дочкѣ ея не пара. Деревенская дѣвушка! на тебя и не такія польстятся.

— Софью! нѣтъ, маменька, я ее никогда не забуду!—сказалъ Александръ.

— Ну, ну, другъ мой, успокойся! вѣдь я такъ только. Послужи, воротись сюда и тогда что̀ Богъ дастъ; невѣсты не уйдутъ! Коли не забудешь, такъ и того... Ну, а...

Она что-то хотѣла сказать, но не рѣшалась, потомъ наклонилась къ уху его и тихо спросила:

— А будешь ли помнить... мать?

— Вотъ до чего договорились, — прервалъ онъ: — велите скорѣй подавать что̀ тамъ у васъ есть: яичница, что̀ ли? Забыть васъ! Какъ могли вы подумать? Богъ накажетъ меня...

— Перестань, перестань, Саша, — заговорила она торопливо: — что ты это накликаешь на свою голову! Нѣтъ, нѣтъ! что бы ни было, если случится этакой грѣхъ, пусть я одна страдаю. Ты молодъ, только-что начинаешь жить, будутъ у тебя и друзья, женишься—молодая жена замѣнитъ тебѣ и мать, и все... Нѣтъ! пусть благословитъ тебя Богъ, какъ я тебя благословляю.

Она поцѣловала его въ лобъ и тѣмъ заключила свои наставленія.

— Да что̀ это не ѣдетъ никто? — сказала она: — ни Марья Карповна, ни Антонъ Иванычъ, ни священникъ нейдетъ? ужъ, чай, обѣдня кончилась! Ахъ, вонъ кто-то и ѣдетъ! кажется, Антонъ Иванычъ... такъ и есть: легокъ на поминѣ.

Кто не знаетъ Антона Иваныча? Это вѣчный жидъ. Онъ существовалъ всегда и всюду, съ самыхъ древнѣйшихъ временъ, и не переводился никогда. Онъ присутствовалъ и на греческихъ, и на римскихъ пирахъ, ѣлъ, конечно, и упитаннаго тельца, закланнаго счастливымъ отцомъ по случаю возвращенія блуднаго сына.

У насъ, на Руси, онъ бываетъ разнообразенъ. Тотъ, про котораго говорится, былъ таковъ: у него душъ двадцать заложенныхъ и перезаложенныхъ; живетъ онъ почти въ избѣ, или въ какомъ-то странномъ зданіи, похожемъ съ виду на амбаръ, — ходъ гдѣ-то сзади, черезъ бревна, подлѣ самаго плетня; но онъ лѣтъ двадцать постоянно твердитъ, что съ будущей весной приступитъ къ стройкѣ новаго дома. Хозяйства онъ дома не держитъ. Нѣтъ человѣка изъ его знакомыхъ, который бы у него отобѣдалъ, отужиналъ или выпилъ чашку чаю, но нѣтъ также человѣка, у котораго бы онъ самъ не дѣлалъ этого по пятидесяти разъ въ годъ.

Прежде Антонъ Иванычъ ходилъ въ широкихъ шароварахъ и казакинѣ, теперь ходитъ, въ будни, въ сюртукѣ и въ панталонахъ, въ праздники—во фракѣ, Богъ знаетъ какого покроя. Съ виду онъ полный, потому что у него нѣтъ

ни горя, ни заботъ, ни волненій, хотя онъ прикидывается, что весь вѣкъ живетъ чужими горестями и заботами; но вѣдь извѣстно, что чужія горести и заботы не сушатъ насъ: это такъ заведено у людей.

Въ сущности, Антона Иваныча никому не нужно, но безъ него не совершается ни одинъ обрядъ: ни свадьба, ни похороны. Онъ на всѣхъ званыхъ обѣдахъ и вечерахъ, на всѣхъ домашнихъ совѣтахъ; безъ него никто ни шагу. Подумаютъ, можетъ-быть, что онъ очень полезенъ, что тамъ исполнитъ какое-нибудь важное порученіе, тутъ дастъ хорошій совѣтъ, обработаетъ дѣльце, — вовсе нѣтъ! Ему никто ничего подобнаго не поручаетъ; онъ ничего не умѣетъ, ничего не знаетъ: ни въ судахъ хлопотать, ни быть посредникомъ, ни примирителемъ,—ровно ничего.

Но зато ему поручаютъ, напримѣръ, завезти мимоѣздомъ поклонъ отъ такой-то къ такому-то, и онъ непремѣнно завезетъ и тутъ же кстати позавтракаетъ,—увѣдомитъ такого-то, что извѣстная-де бумага получена, а какая именно, этого ему не говорятъ,—передать туда-то кадочку съ медомъ или горсточку сѣмянъ съ наказомъ не разлить и не разсыпать,—напомнить, когда кто именинникъ. Еще Антона Иваныча употребляютъ въ такихъ дѣлахъ, которыя считаютъ неудобнымъ поручить человѣку. «Нельзя Петрушку послать»,—говорятъ:—«того и гляди, перевретъ. Нѣтъ, ужъ пусть лучше Антонъ Иванычъ съѣздитъ!» Или: «Неловко послать человѣка: такой-то или такая-то обидится, а вотъ лучше Антона Иваныча отправить».

Какъ бы удивило всѣхъ, если бъ его вдругъ не было гдѣ-нибудь на обѣдѣ или вечерѣ!

— А гдѣ же Антонъ Иванычъ? — спросилъ бы всякій непремѣнно съ изумленіемъ. — Что́ съ нимъ? да почему его нѣтъ?

И обѣдъ не въ обѣдъ. Тогда ужъ къ нему даже кого-нибудь и отправятъ депутатомъ провѣдать, что̀ съ нимъ, не

заболѣлъ ли, не уѣхалъ ли? И если онъ боленъ, то и родного не порадуютъ такимъ участіемъ.

Антонъ Иванычъ подошелъ къ рукѣ Анны Павловны.

— Здравствуйте, матушка, Анна Павловна! съ обновкой честь имѣю поздравить.

— Съ какой это, Антонъ Иванычъ?—спросила Анна Павловна, осматривая себя съ ногъ до головы.

— А мостикъ-то у воротъ! видно, только-что сколотили? что̀, слышу, не пляшутъ доски подъ колесами? смотрю, анъ новый!

Онъ, при встрѣчахъ съ знакомыми, всегда обыкновенно поздравляетъ ихъ съ чѣмъ-нибудь, или съ постомъ, или съ весной, или съ осенью; если послѣ оттепели морозъ наступитъ, такъ съ морозомъ, наступитъ послѣ морозу оттепель—съ оттепелью.

На этотъ разъ ничего подобнаго не было, но онъ что-нибудь да выдумаетъ.

— Вамъ кланяются Александра Васильевна, Матрена Михайловна, Петръ Сергѣичъ,—сказалъ онъ.

— Покорно благодарю, Антонъ Иванычъ! Дѣтки здоровы ли у нихъ?

— Славу Богу.

— Я къ вамъ веду благословеніе Божіе: за мной слѣдомъ идетъ батюшка. А слышали ли, сударыня: нашъ-то Семенъ Архипычъ?

— Что̀ такое?—съ испугомъ спросила Анна Павловна.

— Вѣдь приказалъ долго жить!

— Что̀ вы! когда?

— Вчера утромъ. Мнѣ къ вечеру же дали знать: прискакалъ парнишка; я и отправился, да всю ночь не спалъ. Всѣ въ слезахъ: и утѣшать-то надо, и распорядиться: тамъ у всѣхъ руки опустились: слезы да слезы,—я одинъ.

— Господи, Господи Боже мой!—говорила Анна Павловна, качая головой:—жизнь-то наша! Да какъ же это

могло случиться? онъ еще на той недѣлѣ съ вами же поклонъ прислалъ!

— Да, матушка! ну, да онъ давненько прихварывалъ, старикъ старый: диво, какъ до сихъ поръ еще не свалился!

— Что̀ за старый! онъ годомъ только постарше моего покойника. Ну, царство ему небесное! — сказала, крестясь, Анна Павловна.—Жаль бѣдной Ѳедосьи Петровны: осталась съ дѣточками на рукахъ. Шутка ли: пятеро, и все почти дѣвочки! А когда похороны?

— Завтра.

— Видно у всякаго свое горе, Антонъ Иванычъ; вотъ, я такъ сына провожаю.

— Что̀ дѣлать, Анна Павловна, всѣ мы человѣки! «терпи», сказано въ св. писаніи.

— Ужъ не прогнѣвайтесь, что потревожила васъ—вмѣстѣ размыкать горе; вы насъ такъ любите, какъ родной.

— Эхъ, матушка, Анна Павловна! да кого же мнѣ и любить-то, какъ не васъ? Много ли у насъ такихъ, какъ вы? Вы цѣны себѣ не знаете. Хлопотъ полонъ ротъ: тутъ и своя стройка вертится на умѣ. Вчера еще бился цѣлое утро съ подрядчикомъ, да все какъ-то не сходимся... а какъ, думаю, не поѣхать?.. что̀ она тамъ, думаю, одна-то, безъ меня станетъ дѣлать? человѣкъ не молодой: чай, голову растеряетъ.

— Дай Богъ вамъ здоровья, Антонъ Иванычъ, что не забываете насъ! И подлинно, сама не своя: такая пустота въ головѣ, ничего не вижу! въ горлѣ совсѣмъ отъ слезъ перегорѣло. Прошу закусить: вы и устали и, чай, проголодались.

— Покорно благодарю-съ. Признаться, мимоѣздомъ пропустилъ маленькую у Петра Сергѣича, да перехватилъ кусочекъ. Ну, да это не помѣшаетъ. Батюшка подойдетъ, пусть благословитъ! Да вотъ онъ и на крыльцѣ!

Пришелъ священникъ. Пріѣхала и Марья Карповна съ

дочерью, полной и румяной дѣвушкой, съ улыбкой и заплаканными глазами. Глаза и все выраженіе лица Софьи явно говорили: буду любить просто, безъ затѣй, буду ходить за мужемъ, какъ нянька, слушаться его во всемъ и никогда не казаться умнѣе его; да и какъ можно быть умнѣе мужа? это грѣхъ! Стану прилежно заниматься хозяйствомъ, шить; рожу ему полдюжины дѣтей, буду ихъ сама кормить, няньчить, одѣвать и обшивать. — Полнота и свѣжесть щекъ ея и пышность груди подтверждали обѣщаніе насчетъ дѣтей. Но слезы на глазахъ и грустная улыбка придавали ей въ эту минуту не такой прозаическій интересъ.

Прежде всего отслужили молебенъ, при чемъ Антонъ Иванычъ созвалъ дворню, зажегъ свѣчу и принялъ отъ священника книгу, когда тотъ пересталъ читать, и передалъ ее дьячку, а потомъ отлилъ въ скляночку святой воды, спряталъ въ карманъ и сказалъ: «это Агаѳьѣ Никитичнѣ». Сѣли за столъ. Кромѣ Антона Иваныча и священника, никто, по обыкновенію, не дотронулся ни до чего, но зато Антонъ Иванычъ сдѣлалъ полную честь этому гомерическому завтраку. Анна Павловна все плакала и украдкой утирала слезы.

— Полно вамъ, матушка, Анна Павловна, слезы-то тратить! — сказалъ Антонъ Иванычъ съ притворной досадой, наполнивъ рюмку наливкой.—Что̀ вы его, на убой, что̀ ли, отправляете?—Потомъ, выпивъ до половины рюмку, почавкалъ губами.

— Что̀ за наливка! какой ароматъ пошелъ! Этакой, матушка, у насъ и по губерніи-то не найдешь!—сказалъ онъ съ выраженіемъ большого удовольствія.

— Это тре... те... годнич... ная!—проговорила, всхлипывая, Анна Павловна:—нынче для васъ... только... откупорила.

— Эхъ, Анна Павловна, и смотрѣть-то на васъ тошно,— началъ опять Антонъ Иванычъ:—вотъ некому бить-то васъ: билъ бы да билъ!

— Сами посудите, Антонъ Иванычъ, одинъ сынъ, и тотъ съ глазъ долой: умру—нѐкому и похоронить.

— А мы-то на что? что̀ я вамъ чужой, что ли? Да куда еще торопитесь умирать? того гляди, замужъ бы не вышли! вотъ бы поплясалъ на свадьбѣ! Да полно-те плакать-то!

— Не могу, Антонъ Иванычъ, право, не могу; не знаю сама, откуда слезы берутся.

— Этакого молодца взаперти держать! Дайте-ка ему волю, онъ расправитъ крылышки, да вотъ какихъ чудесъ надѣлаетъ: нахватаетъ тамъ чиновъ!

— Вашими бы устами да медъ пить! Да что вы мало взяли пирожка? возьмите еще!

— Возьму-съ: вотъ только этотъ кусокъ съѣмъ.

— За ваше здоровье, Александръ Ѳедорычъ! счастливаго пути! да возвращайтесь скорѣе; да женитесь-ка! Что вы, Софья Васильевна, вспыхнули?

— Я ничего... я такъ...

Охъ, молодежь, молодежь! хе-хе-хе!

— Съ вами горя не чувствуешь, Антонъ Иванычъ,—сказала Анна Павловна:—такъ умѣете утѣшить; дай Богъ вамъ здоровья! Да выкушайте еще наливочки.

— Выпью, матушка, выпью, какъ не выпить на прощаньи!

Кончился завтракъ. Ямщикъ уже давно заложилъ повозку. Ее подвезли къ крыльцу. Люди выбѣгали одинъ за другимъ. Тотъ несъ чемоданъ, другой узелъ, третій—мѣшокъ, и опять уходилъ за чѣмъ-нибудь. Какъ мухи сладкую каплю, люди облѣпили повозку, и всякій [illegible] туда съ руками.

— Вотъ такъ лучше [illegible] чемоданъ [illegible] одинъ:—а тутъ бы коробки съ [illegible]

— А куда же они [illegible]—лучше чемоданъ вдоль, а коробки [illegible]

— Такъ тогда перина будетъ [illegible] вдоль: лучше поперекъ. Что [illegible]

— Я не знаю. Кто укладывалъ?

— Я не укладывалъ. Поди-ка погляди — нѣтъ ли тамъ, наверху?

— Да поди ты.

— А ты что? мнѣ, видишь, некогда!

— Вотъ еще, вотъ это не забудьте!—кричала дѣвка, просовывая мимо головъ руку съ узелкомъ.

— Давай сюда!

— Суньте и это какъ-нибудь въ чемоданъ; давеча забыли, — говорила другая, привставая на подножку и подавая щеточку и гребенку.

— Куда теперь совать? — сердито закричалъ на нее дородный лакей: — пошла ты прочь! видишь, чемоданъ подъ самымъ низомъ!

— Барыня велѣла; мнѣ что за дѣло, хоть брось! вишь, черти какіе!

— Ну, давай, что ли, сюда скорѣе; это можно вотъ тутъ сбоку въ карманъ положить.

Коренная безпрестанно поднимала и трясла голову. Колокольчикъ издавалъ всякій разъ при этомъ рѣзкій звукъ, напоминавшій о разлукѣ, а пристяжныя стояли задумчиво, опустивъ головы, какъ будто понимая всю прелесть предстоящаго имъ путешествія, и изрѣдка обмахивались хвостами, или протягивали нижнюю губу къ коренной лошади. Наконецъ, настала роковая минута. Помолились еще.

— Сядьте, сядьте всѣ!—повелѣвалъ Антонъ Иванычъ:— извольте сѣсть, Александръ Ѳедорычъ! и ты, Евсей, сядь. Сядь же, сядь!—И самъ бокомъ, на секунду, едва присѣлъ на стулъ.—Ну, теперь съ Богомъ!

Вотъ тутъ-то Анна Павловна заревѣла и повисла на шею Александру.

— Прощай, прощай, мой другъ! — слышалось среди рыданій:—увижу ли я тебя?..

Дальше ничего нельзя было разобрать. Въ эту минуту

послышался звукъ другого колокольчика: на дворъ влетѣла телѣга, запряженная тройкой. Съ телѣги соскочилъ, весь въ пыли, какой-то молодой человѣкъ, вбѣжалъ въ комнату и бросился на шею Александру.

— Поспѣловъ!.. Адуевъ!.. — воскликнули они въ-разъ, тиская другъ друга въ объятіяхъ.

— Откуда ты, какъ?

— Изъ дому, нарочно скакалъ цѣлыя сутки, чтобъ проститься съ тобой.

— Другъ! другъ! истинный другъ! — говорилъ Адуевъ со слезами на глазахъ. — За 160 верстъ прискакать, чтобъ сказать «прости!» О, есть дружба въ мірѣ! Навѣкъ, не правда ли? — говорилъ пылко Александръ, стискивая руку друга и наскакивая на него.

— До гробовой доски!—отвѣчалъ тотъ, тиская руку еще сильнѣе и наскакивая на Александра.

— Пиши ко мнѣ!

— Да, да, и ты пиши!

Анна Павловна не знала, какъ и обласкать Поспѣлова. Отъѣздъ замедлился на полчаса. Наконецъ собрались.

Всѣ пошли до рощи пѣшкомъ. Софья и Александръ, въ то время, когда переходили темныя сѣни, бросились другъ къ другу.

— Саша! Милый Саша!.. Сонечка!.. — шептали они, и слова замерли въ поцѣлуѣ.

— Вы забудете меня тамъ?—сказала она слезливо.

— О, какъ вы меня мало знаете! я ворочусь, повѣрьте, и никогда другая...

— Вотъ возьмите скорѣй: это мои волосы и колечко.

Онъ проворно спряталъ и то и другое въ карманъ.

Впереди пошли Анна Павловна съ сыномъ и съ Поспѣловымъ, потомъ Марья Карповна съ дочерью, наконецъ, священникъ съ Антономъ Иванычемъ. Въ нѣкоторомъ отдаленіи ѣхала повозка. Ямщикъ едва сдерживалъ лошадей. Дворня окружила въ воротахъ Евсея.

— Прощай, Евсей Иванычъ, прощай, голубчикъ, не забывай насъ!—слышалось со всѣхъ сторонъ.

— Прощайте, братцы, прощайте, не поминайте лихомъ!

— Прощай, Евсеюшка, прощай, мой ненаглядный! — говорила мать, обнимая его: — вотъ тебѣ образокъ; это мое благословеніе. Помни вѣру, Евсей, не уйди тамъ у меня въ басурманы! а не то прокляну! Не пьянствуй, не воруй; служи барину вѣрой и правдой. Прощай, прощай!..

Она закрыла лицо фартукомъ и отошла.

— Прощай, матушка!—лѣниво проворчалъ Евсей.

Къ нему бросилась дѣвчонка лѣтъ двѣнадцати.

— Простись съ сестренкой-то!—сказала одна баба.

— И ты туда же!—говорилъ Евсей, цѣлуя ее:—ну, прощай, прощай! пошла теперь, босоногая, въ избу!

Отдѣльно отъ всѣхъ, послѣдняя стояла Аграфена. Лицо у нея позеленѣло.

— Прощайте, Аграфена Ивановна! — сказалъ протяжно, возвысивъ голосъ, Евсей, и протянулъ къ ней руки.

Она дала себя обнять, но не отвѣчала на объятіе; только лицо ея искривилось.

— На̀, вотъ тебѣ!—сказала она, вынувъ изъ-подъ передника и сунувъ ему мѣшокъ съ чѣмъ-то.—То-то, чай, тамъ съ петербургскими-то загуляешь!—прибавила она, поглядѣвъ на него искоса. И въ этомъ взглядѣ выразилась вся тоска ея и вся ревность.

— Я загуляю, я?—началъ Евсей.—Да разрази меня на этомъ мѣстѣ Господь, лопни мои глаза! чтобъ мнѣ сквозь землю провалиться, коли я тамъ что-нибудь этакое...

— Ладно! ладно! — недовѣрчиво бормотала Аграфена:— а самъ-то—у!

— Ахъ, чуть не забылъ!—сказалъ Евсей и досталъ изъ кармана засаленную колоду картъ.—На́-те, Аграфена Ивановна, вамъ на память; вѣдь вамъ здѣсь негдѣ взять.

Она протянула руку.

Подари мне, Ёлкой Иванычъ! закричалъ изъ толпы [illegible]

Гоф! да лучше скажу, чтобъ гоф подарил — и онъ [illegible] карты въ карманъ.

Да мнѣ то отдай, дурачина! сказала Агафочка.

Нѣтъ, Агафочка Ивановна, что хотите говорите, а не [illegible] съ нимъ [illegible] Пошлинъ!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

— Смотри же, Евсей, помни: будешь хорошо служить, женю на Аграфенѣ, а не то...

Она не могла говорить дальше. Евсей взобрался на козлы. Ямщикъ, наскучившій долгимъ ожиданіемъ, какъ будто ожилъ; онъ прижалъ шапку, поправился на мѣстѣ и поднялъ вожжи; лошади тронулись сначала легкой рысью. Онъ хлеснулъ пристяжныхъ разомъ одну за другой, онѣ скакнули, вытянулись, и тройка ринулась по дорогѣ въ лѣсъ. Толпа провожавшихъ осталась въ облакѣ пыли безмолвна и неподвижна, пока повозка не скрылась совсѣмъ изъ глазъ. Антонъ Иванычъ опомнился первый.

— Ну, теперь по домамъ!—сказалъ онъ.

Александръ смотрѣлъ, пока можно было, изъ повозки назадъ, потомъ упалъ на подушки лицомъ внизъ.

— Не оставьте вы меня, горемычную, Антонъ Иванычъ!— сказала Анна Павловна:—отобѣдайте здѣсь!

— Хорошо, матушка, я готовъ, пожалуй, и отужинаю.

— Да вы бы ужъ и ночевали.

— Какъ же: завтра похороны!

— Ахъ, да! Ну, я васъ не неволю. Кланяйтесь Ѳедосьѣ Петровнѣ отъ меня, скажите, что я душевно огорчена ея печалью и сама бы навѣстила, да вотъ Богъ, дескать, и мнѣ послалъ горе—сына проводила.

— Скажу-съ, скажу, не забуду.

— Голубчикъ ты мой, Сашенька!—шептала она, оглядываясь:—и нѣтъ ужъ его, скрылся изъ глазъ!

Адуева просидѣла цѣлый день молча, не обѣдала и не ужинала. Зато говорилъ, обѣдалъ и ужиналъ Антонъ Иванычъ.

— Гдѣ-то онъ теперь, мой голубчикъ? — скажетъ только она иногда.

— Ужъ теперь долженъ быть въ Неплюевѣ. Нѣтъ, что я вру? еще не въ Неплюевѣ, а подъѣзжаетъ; тамъ чай будетъ пить,—отвѣчаетъ Антонъ Иванычъ.

— Нѣтъ, онъ въ это время никогда не пьетъ.

И такъ Анна Павловна мысленно ѣхала съ нимъ. Потомъ, когда онъ, по расчетамъ ея, долженъ былъ уже пріѣхать въ Петербургъ, она, то молилась, то гадала въ карты, то разговаривала о немъ съ Марьей Карповной.

А онъ?

Съ нимъ мы встрѣтимся въ Петербургѣ.

II.

Петръ Ивановичъ Адуевъ, дядя нашего героя, такъ же, какъ и этотъ, двадцати лѣтъ былъ отправленъ въ Петербургъ старшимъ своимъ братомъ, отцомъ Александра, и жилъ тамъ безвыѣздно семнадцать лѣтъ. Онъ не переписывался съ родными послѣ смерти брата, и Анна Павловна ничего не знала о немъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ продалъ свое небольшое имѣніе, бывшее недалеко отъ ея деревни.

Въ Петербургѣ онъ слылъ за человѣка съ деньгами, и, можетъ-быть, не безъ причины; служилъ при какомъ-то важномъ лицѣ чиновникомъ особыхъ порученій и носилъ нѣсколько ленточекъ въ петлицѣ фрака; жилъ на большой улицѣ, занималъ хорошую квартиру, держалъ троихъ людей и столько же лошадей. Онъ былъ не старъ, а что называется «мужчина въ самой порѣ»—между тридцатью пятью и сорока годами. Впрочемъ, онъ не любилъ распространяться о своихъ лѣтахъ, не по мелкому самолюбію, а вслѣдствіе какого-то обдуманнаго расчета, какъ будто онъ намѣревался застраховать свою жизнь подороже. По крайней мѣрѣ, въ его манерѣ скрывать настоящія лѣта не видно было суетной претензіи нравиться прекрасному полу.

Онъ былъ высокій, пропорціонально сложенный мужчина, съ крупными, правильными чертами смугло-матоваго лица, съ ровной, красивой походкой, съ сдержанными, но пріятными манерами. Такихъ мужчинъ обыкновенно называютъ bel homme.

Въ лицѣ замѣчалась — также сдержанность, т. е. умѣнье

владѣть собою, не давать лицу быть зеркаломъ души. Онъ былъ того мнѣнія, что это неудобно — и для себя, и для другихъ. Таковъ онъ былъ въ свѣтѣ. Нельзя однакожъ было назвать лица его деревяннымъ: нѣтъ, оно было только покойно. Иногда лишь видны были на немъ слѣды усталости — должно-быть отъ усиленныхъ занятій. Онъ слылъ за дѣятельнаго и дѣлового человѣка. Одѣвался онъ всегда тщательно, даже щеголевато, но не черезчуръ, а только со вкусомъ; бѣлье носилъ отличное; руки у него были полны и бѣлы, ногти длинные и прозрачные.

Однажды утромъ, когда онъ проснулся и позвонилъ, человѣкъ, вмѣстѣ съ чаемъ, принесъ ему три письма и доложилъ, что приходилъ какой-то молодой баринъ, который называлъ себя Александромъ Ѳедорычемъ Адуевымъ, а его — Петра Иваныча — дядей, и обѣщался зайти часу въ двѣнадцатомъ.

Петръ Иванычъ, по обыкновенію, выслушалъ это извѣстіе покойно, только немного навострилъ уши и поднялъ брови.

— Хорошо, поди,—сказалъ онъ слугѣ.

Потомъ взялъ одно письмо, хотѣлъ распечатать, но остановился и задумался.

— Племянникъ изъ провинціи—вотъ сюрпризъ!—ворчалъ онъ:—а я надѣялся, что меня забыли въ томъ краю! Впрочемъ, что съ ними церемониться! отдѣлаюсь...

Онъ опять позвонилъ.

— Скажи этому господину, какъ придетъ, что я, вставши, тотчасъ уѣхалъ на заводъ и ворочусь черезъ три мѣсяца.

— Слушаю-съ, — отвѣчалъ слуга: — а съ гостинцами что̀ прикажете дѣлать?

— Съ какими гостинцами?

— Привезъ ихъ человѣкъ: — барыня, говоритъ, деревенскихъ гостинцевъ прислала.

— Гостинцевъ?

— Да-съ: кадочка меду, мѣшокъ сушеной малины...

Петръ Иванычъ пожалъ плечами.

— Еще два куска полотна, да варенье...

— Воображаю, хорошо должно-быть полотно...

— Полотно хорошее и варенье сахарное.

— Ну, поди, я посмотрю сейчасъ.

Онъ взялъ одно письмо, распечаталъ и окинулъ взглядомъ страницу. Точно крупная славянская грамота: букву *в* замѣняли двѣ перечеркнутыя сверху и снизу палочки, а букву *к* просто двѣ палочки; писано безъ знаковъ препинанія.

Адуевъ сталъ читать вполголоса:

«М. Г. Петръ Иванычъ!

«Будучи съ покойнымъ вашимъ родителемъ коротко знакомы и пріятели, да и васъ самихъ въ дѣтствѣ тѣшилъ не мало и въ домѣ вашемъ частенько хлѣба и соли отвѣдывалъ, потому и питаю усердіе и благорасположеніе, что не забыли старика, Василья Тихоныча, а мы васъ здѣсь и родителей вашихъ всячески добромъ поминаемъ и Бога молимъ...»

— Что за дичь? Отъ кого это?—сказалъ Петръ Иванычъ, поглядѣвъ на подпись.—Василій Заѣзжаловъ! Заѣзжаловъ—хоть убей—не помню. Чего онъ хочетъ отъ меня?

И сталъ читать дальше:

«А моя покорнѣйшая просьба и докука къ вамъ — не откажите батюшка... вамъ въ Петербургѣ не то, что намъ здѣшнимъ, чай все извѣстно и все свое да родное. Навязалось на меня проклятое тяжебное дѣло, да вотъ седьмой годъ и съ шеи не могу спихнуть: изволите помнить лѣсишко, что́ въ двухъ верстахъ отъ моей деревушки? Палата сдѣлала ошибку въ купчей, а противникъ мой, Медвѣдевъ, и уперся на нее: пунктъ, говоритъ, фальшивый, да и только. Медвѣдевъ тотъ самый, что въ вашихъ дачахъ все безъ спросу рыбу ловилъ; покойникъ батюшка вашъ гонялъ его и срамилъ, хотѣлъ на своеволіе и губернатору жаловаться, да по добротѣ, дай Богъ ему царствіе небесное, спускалъ, а не надо бы щадить этакого злодѣя. Помогите, батюшка, Петръ Иванычъ; дѣло теперь въ Правительствующемъ Сенатѣ; не знаю тамъ, въ какомъ департаментѣ и у кого, да вамъ, чай, сейчасъ покажутъ. Съѣздите къ секретарямъ и сенаторамъ, склоните ихъ въ мою пользу, скажите, что отъ ошибки, истинно отъ ошибки въ купчей

страдаю: для васъ все сдѣлаютъ. Тамъ же ужъ кстати выхлопочите мнѣ патенты на три чина, да пришлите ко мнѣ. Еще, батюшка, Петръ Иванычъ, есть дѣльцо до васъ крайней потребности: взойдите въ сердечное участіе къ безвинно-угнетенному страдальцу и помогите совѣтомъ и дѣломъ. Есть у васъ въ губернскомъ правленіи совѣтникъ Дрожжовъ, золото, а не человѣкъ; умретъ, а своего не выдастъ; въ городѣ другой квартиры не знаю какъ у него, — какъ пріѣду, прямо къ нему, живу по недѣлямъ—и Боже сохрани—и подумать у другого остановиться, закормитъ, запоитъ; а бостончикъ отъ обѣда до глубокой ночи. И этакого-то человѣка обнесли и нынѣ нудятъ подать просьбу объ отставкѣ. Побывайте, отецъ родной, у всѣхъ вельможъ тамъ, внушите имъ, какой человѣкъ Аѳанасій Иванычъ: дѣло ли дѣлать — такъ и кипитъ въ рукахъ; скажите, что доносъ, дескать, на него сдѣланъ фальшиво, по проискамъ губернаторскаго секретаря, — васъ послушаютъ, и отпишите съ первой почтой ко мнѣ. Да повидайтесь со стариннымъ моимъ сослуживцемъ, Костяковымъ. Я слышалъ отъ одного пріѣзжаго, Студеницына, вашего же петербургскаго — чай, изволите знать, — что онъ живетъ на Пескахъ; тамъ ребятишки укажутъ домъ; отпишите съ той же почтой, не полѣнитесь, живъ ли онъ, здоровъ ли, что́ дѣлаетъ, помнитъ ли меня? Познакомьтесь и подружитесь съ нимъ: прекрасный человѣкъ—душа на распашку, и балагуръ такой. Кончаю письмецо еще просьбицей...»

Адуевъ пересталъ читать, медленно разорвалъ письмо на четыре части и бросилъ подъ столъ въ корзинку, потомъ потянулся и зѣвнулъ.

Онъ взялъ другое письмо и началъ читать также вполголоса.

«Любезный братецъ, милостивый государь, Петръ Иванычъ!»

— Это что за сестрица!—сказалъ Адуевъ, глядя на подпись: —Марья Горбатова... Онъ обратилъ лицо къ потолку, припоминая что-то...

— Что бишь это такое? что-то знакомое... ба, вотъ прекрасно — вѣдь братъ женатъ былъ на Горбатовой; это ея сестра, это та... А! помню...

Онъ нахмурился и сталъ читать:

«Хотя рокъ разлучилъ насъ, можетъ-быть, навѣки и бездна лежитъ между нами; прошли года...»

Онъ пропустилъ нѣсколько строчекъ и читалъ далѣе:

«Но гробъ жизни буду помнить, какъ мы вмѣстѣ, гуляючи около нашего озера, вы, съ опасностію жизни и здоровья, влѣзли по колѣно въ воду и достали для меня въ тростникѣ большой жёлтый цвѣтокъ, какъ изъ стебелька онаго текъ какой-то сокъ и перемаралъ намъ руки, а вы почерпнули картузомъ воды, дабы мы могли ихъ вымыть; мы очень много тогда этому смѣялись. Какъ я была тогда счастлива! Сей цвѣтокъ и нынѣ хранится въ книжкѣ...»

Адуевъ остановился. Видно было, что это обстоятельство ему очень не нравилось; онъ даже недовѣрчиво покачалъ головой.

«А [illegible] (продолжалъ онъ читать), что вы [illegible] на всѣ мои [illegible] и мнѣнія...»

«Я [illegible]» — сказалъ онъ вслухъ, сильно [illegible]. Помолчавъ, пропустилъ еще нѣсколько строкъ [illegible]

«А [illegible] тебя [illegible]»

«[illegible] «Е[illegible]»

[illegible]

[illegible]

на сей узоръ: что можетъ-быть святѣе дружбы и вѣрности?... Теперь меня занимаетъ сія одна мысль; ей посвящу дни свои, но не имѣю здѣсь хорошей шерсти, и потому покорнѣйше прошу, любезнѣйшій братецъ, выслать, вотъ по этимъ образчикамъ, что я тутъ вложила, что ни есть наилучшей англійской шерсти, въ самомъ скоромъ времени, изъ перваго магазина. Но что я говорю? какая ужасная мысль останавливаетъ перо мое! можетъ-быть, уже вы забыли насъ, и гдѣ вамъ помнить бѣдную страдалицу, которая удалилась отъ свѣта и льётъ слезы? Но нѣтъ! я не могу подумать, чтобъ вы могли быть извергомъ, какъ всѣ мужчины: нѣтъ! мнѣ сердце говоритъ, что вы сохранили къ намъ ко всѣмъ прежнія чувствованія среди роскоши и удовольствій великолѣпной столицы. Сія мысль служитъ бальзамомъ для моего страждущаго сердца. Простите: не могу болѣе продолжать, рука моя дрожитъ...»

Остаюсь по гробъ ваша

Марья Горбатова.

P. S. Нѣтъ ли, братецъ, у васъ хорошенькихъ книжекъ? пришлите, если вамъ не нужно: я бы на каждой страницѣ вспоминала васъ, плакала бы, или возьмите въ лавкѣ новыхъ, коли недорого. Говорятъ, очень хороши сочиненія господина Загоскина и господина Марлинскаго,—хоть ихъ; а то я еще видѣла въ газетахъ заглавіе — О Предразсудкахъ, соч. г-на Пузины — пришлите, — я терпѣть не могу предразсудковъ».

Прочитавъ, Адуевъ хотѣлъ отправить туда же и это письмо, но остановился.

«Нѣтъ», подумалъ онъ: «сберегу: есть охотники до такихъ писемъ; иные собираютъ цѣлыя коллекціи, — можетъ-быть, случится одолжить кого-нибудь».

Онъ бросилъ письмо въ бисерную корзинку, висѣвшую на стѣнѣ, потомъ взялъ третье письмо и началъ читать:

Любезнѣйшій мой деверекъ, Петръ Иванычъ!

«Помните ли, какъ семнадцать годковъ тому назадъ, мы справляли вашъ отъѣздъ? Вотъ привелъ Богъ благословить на дальній путь и собственное чадо. Полюбуйтесь, батюшка, на него, да вспомните покойника, нашего голубчика, Ѳедора Иваныча: вѣдь Сашенька весь въ него. Богъ одинъ знаетъ, что̀ вытерпѣло мое материнское сердце, отпускаючи его на чужую сторону. Отправляю его, моего друга, прямо къ вамъ: не велѣла нигдѣ приставать, окромѣ васъ...»

Адуевъ опять покачалъ головой.

— Глупая старуха!—проворчалъ онъ, и читалъ:

«Онъ, пожалуй, по неопытности, остановился бы на постояломъ дворѣ, но я знаю, какъ это можетъ огорчить родного дядю, и внушила взъѣхать прямо къ вамъ. То-то будетъ у васъ радости при свиданіи! Не оставьте его, любезный деверекъ, вашими совѣтами и возьмите на свое попеченіе; передаю его вамъ съ рукъ на руки».

Петръ Иванычъ опять остановился.

«Вѣдь вы тамъ одинъ у него (читалъ онъ потомъ). — Присмотрите за нимъ, не балуйте ужъ слишкомъ-то, да и не взыскивайте очень строго, взыскать-то будетъ кому, взыщутъ и чужіе, а приласкать некому, кромѣ своего; онъ же самъ такой ласковый: вы только увидите его, такъ и не отойдете. И начальнику-то, у котораго онъ будетъ служить, скажите, чтобъ берегъ моего Сашеньку и обращался бы съ нимъ понѣжнѣе пуще всего: онъ у меня былъ нѣженькій. Остерегайте его отъ вина и отъ картъ. Ночью,—вѣдь вы, я чай, въ одной комнатѣ будете спать, — Сашенька привыкъ лежать на спинѣ: отъ этого, сердечный, больно стонетъ и мечется;— вы тихонько разбудите его да перекрестите: сейчасъ и пройдетъ, а лѣтомъ покрывайте ему ротъ платочкомъ: онъ его разѣваетъ во снѣ, а проклятыя мухи такъ туда и лѣзутъ подъ утро. Не оставьте его также въ случаѣ нужды и деньгами...»

Адуевъ нахмурился, но вскорѣ лицо его опять прояснилось, когда онъ прочелъ далѣе.

«А я вышлю, что́ понадобится, да и ему въ руки дала теперь тысячу рублей, только чтобъ онъ не тратилъ ихъ на пустяки, да чтобъ у него подлипалы не выманили, вѣдь тамъ у васъ, въ столицѣ, слышь, много мошенниковъ и всякихъ безсовѣстныхъ людей. А затѣмъ, простите, дорогой деверь—совсѣмъ отвыкла писать. Остаюсь душевно

почитающая васъ невѣстка

А. Адуева.

P. S. Посылаю при этомъ нашихъ деревенскихъ гостинцевъ — малинки изъ своего сада, бѣлаго медку — чистый, какъ слеза, — полотна голландскаго на двѣ дюжины рубашекъ, да домашняго вареньица. Кушайте и носите на здоровье, а выйдутъ — еще пришлю. Присмотрите и за Евсеемъ: онъ смирный и непьющій, да пожалуй тамъ, въ столицѣ, избалуется,—тогда можно и посѣчь».

Петръ Иванычъ медленно положилъ письмо на столъ, еще медленнѣе досталъ сигару и, покатавъ ее въ рукахъ, началъ курить. Долго обдумывалъ онъ эту штуку, какъ онъ

называлъ ее мысленно, которую сыграла съ нимъ его невѣстка. Онъ строго разобралъ въ умѣ и то, что̀ сдѣлали съ нимъ, и то, что̀ надо было дѣлать ему самому.

Вотъ на какія посылки разложилъ онъ весь этой случай. Племянника своего онъ не знаетъ, слѣдовательно, и не любитъ, а поэтому сердце его не возлагаетъ на него никакихъ обязанностей: надо рѣшать дѣло по законамъ разсудка и справедливости. Братъ его женился, наслаждался супружеской жизнію, — за что же онъ, Петръ Иванычъ, обременитъ себя заботливостію о братнемъ сынѣ, онъ, не наслаждавшійся выгодами супружества? Конечно не за что.

Но съ другой стороны представлялось вотъ что: мать отправила сына прямо къ нему, на его руки, не зная, захочетъ ли онъ взять на себя эту обузу, даже не зная, живъ ли онъ и въ состояніи ли сдѣлать что-нибудь для племянника. Конечно это глупо; но если дѣло уже сдѣлано и племянникъ въ Петербургѣ, безъ помощи, безъ знакомыхъ, даже безъ рекомендательныхъ писемъ, молодой, безъ всякой опытности... въ правѣ ли онъ оставить его на произволъ судьбы, бросить въ толпѣ, безъ наставленій, безъ совѣта, и если съ нимъ случится что-нибудь недоброе — не будетъ ли онъ отвѣчать передъ совѣстью?..

Тутъ кстати Адуевъ вспомнилъ, какъ, семнадцать лѣтъ назадъ, покойный братъ и та же Анна Павловна отправляли его самого. Они, конечно, не могли ничего сдѣлать для него въ Петербургѣ, онъ самъ нашелъ себѣ дорогу... но онъ вспомнилъ ея слезы при прощаньи, ея благословенія, какъ матери, ея ласки, ея пироги, и наконецъ, ея послѣднія слова: «вотъ, когда вырастетъ Сашенька—тогда еще трехлѣтній ребенокъ,—можетъ-быть, и вы, братецъ, приласкаете его»... Тутъ Петръ Иванычъ всталъ и скорыми шагами пошелъ въ переднюю...

— Василій!—сказалъ онъ:—когда придетъ мой племянникъ, то не отказывай. Да поди узнай, занята ли здѣсь

вверху комната, что отдавалась недавно, и если не занята, такъ скажи, что я оставляю ее за собой. А! это гостинцы! Ну, что̀ мы станемъ съ ними дѣлать?

— Давеча нашъ лавочникъ видѣлъ, какъ несли ихъ вверхъ, онъ спрашивалъ, не уступимъ ли ему медъ:—«я, говоритъ, хорошую цѣну дамъ», и малину беретъ..?

— Прекрасно! отдай ему. Ну, а полотно куда дѣвать? развѣ не годится ли на чехлы?.. Такъ спрячь полотно и варенье спрячь,—его можно ѣсть: кажется порядочное.

Только-что Петръ Иванычъ расположился бриться, какъ явился Александръ Ѳедорычъ. Онъ-было бросился на шею къ дядѣ, но тотъ, пожимая мощной рукой его нѣжную, юношескую руку, держалъ его въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ себя, какъ будто для того, чтобы наглядѣться на него, а болѣе, кажется, за тѣмъ, чтобы остановить этотъ порывъ и ограничиться пожатіемъ.

— Мать твоя правду пишетъ,—сказалъ онъ:—ты живой портретъ покойнаго брата: я бы узналъ тебя на улицѣ. Но ты лучше его. Ну, я безъ церемоніи буду продолжать бриться, а ты садись вотъ сюда—напротивъ, чтобы я могъ видѣть тебя, и давай бесѣдовать.

За этимъ Петръ Иванычъ началъ дѣлать свое дѣло, какъ будто тутъ никого не было, и намыливалъ щеки, натягивая языкомъ то ту, то другую. Александръ былъ сконфуженъ этимъ пріемомъ и не зналъ, какъ начать разговоръ. Онъ приписалъ холодность дяди тому, что не остановился прямо у него.

— Ну, что твоя матушка? здорова ли? Я думаю постарѣла?—спросилъ дядя, дѣлая разныя гримасы передъ зеркаломъ.

— Маменька, слава Богу, здорова, кланяется вамъ, и тетушка, Марья Павловна, тоже,—сказалъ робко Александръ Ѳедорычъ.—Тетушка поручила мнѣ обнять васъ...

Онъ всталъ и подошелъ къ дядѣ, чтобъ поцѣловать его

въ щеку, или въ голову, или въ плечо, или, наконецъ, во что удастся.

— Тетушкѣ твоей пора бы съ лѣтами быть умнѣе, а она, я вижу, все такая же дура, какъ была двадцать лѣтъ тому назадъ...

Озадаченный Александръ задомъ воротился на свое мѣсто.

— Вы получили, дядюшка, письмо?..—сказалъ онъ.

— Да, получилъ.

— Василій Тихонычъ Заѣзжаловъ, — началъ Александръ Ѳедорычъ:—убѣдительно проситъ васъ справиться и похлопотать о его дѣлѣ...

— Да, онъ пишетъ ко мнѣ... У васъ еще не перевелись такіе ослы?

Александръ не зналъ, что̀ и подумать—такъ его сразили эти отзывы.

— Извините, дядюшка... — началъ онъ почти съ трепетомъ.

— Что?

— Извините, что я не пріѣхалъ прямо къ вамъ, а остановился въ конторѣ дилижансовъ... Я не зналъ вашей квартиры...

— Въ чемъ тутъ извиняться? Ты очень хорошо сдѣлалъ. Матушка твоя, Богъ знаетъ, что̀ выдумала. Какъ бы ты ко мнѣ пріѣхалъ, не знавши, можно ли у меня остановиться, или нѣтъ? Квартира у меня, какъ видишь, холостая, для одного: зала, гостиная, столовая, кабинетъ, еще рабочій кабинетъ, гардеробная да туалетная—лишней комнаты нѣтъ. Я бы стѣснилъ тебя, а ты меня... А я нашелъ для тебя здѣсь же въ домѣ квартиру...

— Ахъ, дядюшка!—сказалъ Александръ:—какъ мнѣ благодарить васъ за эту заботливость?

И онъ опять вскочилъ съ мѣста, съ намѣреніемъ словомъ и дѣломъ доказать свою признательность.

— Тише, тише, не трогай! — заговорилъ дядя: — бритвы

преострыя, того и гляди обрѣжешься самъ и меня обрѣжешь.

Александръ увидѣлъ, что ему, несмотря на всѣ усилія, не удастся въ тотъ день ни разу обнять и прижать къ груди обожаемаго дядю, и отложилъ это намѣреніе до другого раза.

— Комната превеселенькая,—началъ Петръ Иванычъ:— окнами немного въ стѣну приходится, да вѣдь ты не станешь все у окна сидѣть; если дома, такъ займешься чѣмъ-нибудь, а въ окна зѣвать некогда. И не дорога—сорокъ рублей въ мѣсяцъ. Для человѣка есть передняя. Надо пріучаться тебѣ съ самаго начала жить одному, безъ няньки; завести свое маленькое хозяйство, т.-е. имѣть дома свой столъ, чай, словомъ, свой уголъ—un chez soi, какъ говорятъ французы. Тамъ ты можешь свободно принимать кого хочешь... Впрочемъ, когда я дома обѣдаю, то милости прошу и тебя, а въ другіе дни—здѣсь молодые люди обыкновенно обѣдаютъ въ трактирѣ, — но я совѣтую тебѣ посылать за своимъ обѣдомъ: дома и покойнѣе, и не рискуешь столкнуться Богъ знаетъ съ кѣмъ. Такъ ли?

— Я, дядюшка, очень благодаренъ...

— Что за благодарность? вѣдь ты мнѣ родня? Я исполняю свой долгъ. Ну, я теперь одѣнусь и поѣду: у меня и служба, и заводъ...

— Я не зналъ, дядюшка, что у васъ есть заводъ.

— Стеклянный и фарфоровый; впрочемъ, я не одинъ: насъ трое компаніоновъ.

— Хорошо идетъ?

— Да, порядочно; сбываемъ больше во внутреннія губерніи на ярмарки. Послѣдніе два года—хоть куда? Если бъ еще этакъ лѣтъ пять, такъ и того... Одинъ компаніонъ, правда, не очень надеженъ—все мотаетъ, да я умѣю держать его въ рукахъ. Ну, до свиданія. Ты теперь посмотри городъ, пофлянируй, пообѣдай гдѣ-нибудь, а вечеромъ при-

ходи ко мнѣ пить чай, я дома буду,—тогда поговоримъ. Эй, Василій! ты покажешь имъ комнату и поможешь тамъ устроиться.

«Такъ вотъ какъ здѣсь, въ Петербургѣ...» думалъ Александръ, сидя въ новомъ своемъ жилищѣ: «если родной дядя такъ, что̀ жъ прочіе?..»

Молодой Адуевъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ въ сильной задумчивости, а Евсей говорилъ самъ съ собою, убирая комнату:

«Что это за житье здѣсь,—ворчалъ онъ:—у Петра Иваныча кухня-то, слышь, разъ въ мѣсяцъ топится, люди-то у чужихъ обѣдаютъ... Эко, Господи! ну, народецъ! нечего сказать, а еще петербургскіе называются! У насъ и собака каждая изъ своей плошки лакаетъ».

Александръ, кажется, раздѣлялъ мнѣніе Евсея, хотя и молчалъ. Онъ подошелъ къ окну и увидѣлъ однѣ трубы, да крыши, да черные, грязные, кирпичные бока домовъ... и сравнилъ съ тѣмъ, что видѣлъ, назадъ тому двѣ недѣли, изъ окна своего деревенскаго дома. Ему стало грустно.

Онъ вышелъ на улицу — суматоха, всѣ бѣгутъ куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящихъ, и то развѣ для того, чтобъ не наткнуться другъ на друга. Онъ вспомнилъ про свой губернскій городъ, гдѣ каждая встрѣча, съ кѣмъ бы то ни было, почему-нибудь интересна. То вотъ Иванъ Иванычъ идетъ къ Петру Петровичу—и всѣ въ городѣ знаютъ, зачѣмъ. То Марья Мартыновна ѣдетъ отъ вечерни, то Аѳанасій Савичъ на рыбную ловлю. Тамъ проскакалъ, сломя голову, жандармъ отъ губернатора къ доктору, и всякій знаетъ, что ея превосходительство изволитъ родить, хотя по мнѣнію разныхъ кумушекъ и бабушекъ, объ этомъ заранѣе знать не слѣдовало бы. Всѣ спрашиваютъ что: дочку или сына? Барыни готовятъ парадные чепцы. Вонъ Матвѣй Матвѣичъ вышелъ изъ дому, съ толстой палкой, въ шестомъ часу вечера, и всякому извѣстно,

что онъ идетъ дѣлать вечерній моціонъ, что у него безъ того желудокъ не варитъ, и что онъ остановится непремѣнно у окна стараго совѣтника, который, также извѣстно, пьетъ въ это время чай. Съ кѣмъ ни встрѣтишься—поклонъ да пару словъ, а съ кѣмъ и не кланяешься, такъ знаешь, кто онъ, куда и зачѣмъ идетъ, и у того въ глазахъ написано: и я знаю, кто вы, куда и зачѣмъ идете. Если, наконецъ, встрѣтятся незнакомые, еще не видавшіе другъ друга, то вдругъ лица обоихъ превращаются въ знаки вопроса; они остановятся и оборотятся назадъ раза два, а пришедши домой, опишутъ и костюмъ, и походку новаго лица, и пойдутъ толки и догадки, и кто, и откуда, и зачѣмъ? А здѣсь такъ взглядомъ и сталкиваютъ прочь съ дороги, какъ будто всѣ враги между собою.

Александръ сначала съ провинціальнымъ любопытствомъ вглядывался въ каждаго встрѣчнаго и каждаго порядочно одѣтаго человѣка, принимая ихъ, то за какого-нибудь министра или посланника, то за писателя: «не онъ ли?» думалъ онъ: «не этотъ ли?» Но вскорѣ это надоѣло ему—министры, писатели, посланники встрѣчались на каждомъ шагу.

Онъ посмотрѣлъ на домы—и ему стало еще скучнѣе: на него наводили тоску эти однообразныя каменныя громады, которыя, какъ колоссальныя гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою. «Вотъ кончается улица, сейчасъ будетъ приволье глазамъ», думалъ онъ: «или горка, или зелень, или развалившійся заборъ»,—нѣтъ, опять начинается та же каменная ограда одинакихъ домовъ, съ четырьмя рядами оконъ. И эта улица кончилась, ее преграждаетъ опять то же, а тамъ новый порядокъ такихъ же домовъ. Заглянешь направо, налѣво — всюду обступили васъ, какъ рать исполиновъ, домà, домà и домà, камень и камень, все одно да одно... нѣтъ простора и выхода взгляду: заперты со всѣхъ сторонъ,—кажется, и мысли, и чувства людскія также заперты.

Тяжелы первыя впечатлѣнія провинціала въ Петербургѣ. Ему дико, грустно; его никто не замѣчаетъ; онъ потерялся здѣсь; ни новости, ни разнообразіе, ни толпа не развлекаютъ его. Провинціальный эгоизмъ его объявляетъ войну всему, что онъ видитъ здѣсь и чего не видѣлъ у себя. Онъ задумывается и мысленно переносится въ свой городъ. Какой отрадный видъ! Одинъ домъ съ остроконечной крышей и съ палисадничкомъ изъ акацій. На крышѣ надстройка, пріютъ голубей, — купецъ Изюминъ охотникъ гонять ихъ: для этого онъ взялъ да и выстроилъ голубятню на крышѣ; и по утрамъ и по вечерамъ, въ колпакѣ, въ халатѣ, съ палкой, къ концу которой привязана тряпица, стоитъ на крышѣ и посвистываетъ, размахивая палкой. Другой домъ— точно фонарь: со всѣхъ четырехъ сторонъ весь въ окнахъ и съ плоской крышей, домъ давней постройки; кажется, того и гляди, развалится или сгоритъ отъ самовозгорѣнія; тесъ принялъ какой-то свѣтло-сѣрый цвѣтъ. Страшно жить въ такомъ домѣ, но тамъ живутъ. Хозяинъ иногда, правда, посмотритъ на скосившійся потолокъ и покачаетъ головой, примолвивъ: простоитъ ли до весны? Авось! скажетъ потомъ и продолжаетъ жить, опасаясь не за себя, а за карманъ. Подлѣ него кокетливо красуется диконькій домъ лѣкаря, раскинувшійся полукружіемъ, съ двумя похожими на будки флигелями, а этотъ весь спрятался въ зелени; тотъ обернулся на улицу задомъ, а тутъ на двѣ версты тянется заборъ, изъ-за котораго выглядываютъ съ деревьевъ румяныя яблоки, искушеніе мальчишекъ. Отъ церквей домы отступили на почтительное разстояніе. Кругомъ ихъ растетъ густая трава, лежатъ надгробныя плиты. Присутственныя мѣста—такъ и видно, что присутственныя мѣста: близко безъ надобности никто не подходитъ. А тутъ, въ столицѣ, ихъ и не отличишь отъ простыхъ домовъ, да еще, срамъ сказать, и лавочка тутъ же въ домѣ. А пройдешь тамъ, въ городѣ. двѣ, три улицы, ужъ и чуешь вольный воздухъ, начинаются

плетни, за ними огороды, а тамъ и чистое поле съ яровымъ. А тишина, а неподвижность, а скука — и на улицѣ, и въ людяхъ тотъ же благодатный застой! И всѣ живутъ вольно, нараспашку, никому не тѣсно; даже куры и пѣтухи свободно расхаживаютъ по улицамъ, козы и коровы щиплютъ траву, ребятишки пускаютъ змѣй.

А здѣсь... какая тоска! И провинціалъ вздыхаетъ, и по заборѣ, который напротивъ его оконъ, и по пыльной и грязной улицѣ, и по трясскому мосту, и по вывѣскѣ на питейной конторѣ. Ему противно сознаться, что Исаакіевскій соборъ лучше и выше собора въ его городѣ, что зала Дворянскаго Собранія больше залы тамошней. Онъ сердито молчитъ при подобныхъ сравненіяхъ, а иногда рискнетъ сказать, что такую-то матерію или такое-то вино можно у нихъ достать и лучше, и дешевле, а что на заморскія рѣдкости, этихъ большихъ раковъ и раковинъ, да красныхъ рыбокъ, тамъ и смотрѣть не станутъ, и что вольно, дескать, вамъ покупать у иностранцевъ разныя матеріи да бездѣлушки; они обдираютъ васъ, а вы и рады быть олухами! Зато, какъ онъ вдругъ обрадуется, какъ посравнитъ да увидитъ, что у него въ городѣ лучше икра, груши или калачи. — «Такъ это-то называется груша у васъ?—скажетъ онъ: -да у насъ это *и люди* не станутъ ѣсть!..»

Еще болѣе взгрустнется провинціалу, какъ онъ войдетъ въ одинъ изъ этихъ домовъ, съ письмомъ издалека. Онъ думаетъ, вотъ отворятся ему широкія объятія, не будутъ знать какъ принять его, гдѣ посадить, какъ угостить; станутъ искусно вывѣдывать, какое его любимое блюдо, какъ ему станетъ совѣстно отъ этихъ ласкъ, какъ онъ, подъ конецъ, броситъ всѣ церемоніи, расцѣлуетъ хозяина и хозяйку, станетъ говорить имъ *ты*, какъ будто двадцать лѣтъ знакомы: всѣ подопьютъ наливочки, можетъ-быть, запоютъ хоромъ пѣсню...

Куда! на него едва глядятъ, морщатся, извиняются за-

нятіями; если есть дѣло, такъ назначаютъ такой часъ, когда не обѣдаютъ и не ужинаютъ, а адмиральскаго часу вовсе не знаютъ — ни водки, ни закуски. Хозяинъ пятится отъ объятій, смотритъ на гостя какъ-то странно. Въ сосѣдней комнатѣ звенятъ ложками, стаканами: тутъ-то бы и пригласить, а его искусными намеками стараются выпроводить... Все на заперти, вездѣ колокольчики: не мизерно ли это? да какія-то холодныя нелюдимыя лица. А тамъ, у насъ, входи смѣло; если отобѣдали, такъ опять для гостя станутъ обѣдать; самоваръ утромъ и вечеромъ не сходитъ со стола, а колокольчиковъ и въ магазинахъ нѣтъ. Обнимаются, цѣлуются всѣ, и встрѣчный, и поперечный. Сосѣдъ тамъ — такъ настоящій сосѣдъ, живутъ рука въ руку, душа въ душу; родственникъ—такъ родственникъ: умретъ за своего.. эхъ, грустно!

Александръ добрался до Адмиралтейской площади и остолбенѣлъ. Онъ съ часъ простоялъ передъ *Мѣднымъ Всадникомъ*, но не съ горькимъ упрекомъ въ душѣ, какъ бѣдный *Евгеній*, а съ восторженной думой. Взглянулъ на Неву, окружающія ее зданія—и глаза его засверкали. Онъ вдругъ застыдился своего пристрастія къ тряскимъ мостамъ, палисадникамъ, разрушеннымъ заборамъ. Ему стало весело и легко. И суматоха, и толпа — все въ глазахъ его получило другое значеніе. Замелькали опять надежды, подавленныя на время грустнымъ впечатлѣніемъ; новая жизнь отверзала ему объятія и манила къ чему-то неизвѣстному. Сердце его сильно билось. Онъ мечталъ о благородномъ трудѣ, о высокихъ стремленіяхъ, и преважно выступалъ по Невскому проспекту, считая себя гражданиномъ новаго міра... Въ этихъ мечтахъ воротился онъ домой.

Вечеромъ, въ 11 часовъ, дядя прислалъ звать его пить чай.

— Я только-что изъ театра,—сказалъ дядя, лежа на диванѣ.

— Какъ жаль, что вы не сказали мнѣ давеча, дядюшка: я бы пошелъ вмѣстѣ съ вами.

— Я былъ въ креслахъ, куда жъ ты, на колѣни бы ко мнѣ сѣлъ? — сказалъ Петръ Иванычъ: — вотъ завтра поди себѣ одинъ.

— Одному грустно въ толпѣ, дядюшка; не съ кѣмъ подѣлиться впечатлѣніемъ...

. — И не зачѣмъ! надо умѣть и чувствовать, и думать. словомъ, жить одному; со временемъ понадобится. Да еще тебѣ до театра надо одѣться прилично.

Александръ посмотрѣлъ на свое платье и удивился словамъ дяди. «Чѣмъ же я неприлично одѣтъ?—думалъ онъ:— синій сюртукъ, синіе панталоны»...

— У меня, дядюшка, много платья, — сказалъ онъ: — шилъ Кенигштейнъ; онъ у насъ на губернатора работаетъ.

— Нужды нѣтъ, все-таки оно не годится; на-дняхъ я завезу тебя къ своему портному; но это пустяки. Есть о чемъ важнѣе поговорить. Скажи-ка, зачѣмъ ты сюда пріѣхалъ?

— Я пріѣхалъ... жить...

— Жить? т.-е. если ты разумѣешь подъ этимъ ѣсть, пить и спать, такъ не стоило труда ѣздить такъ далеко: тебѣ такъ не удастся ни поѣсть, ни поспать здѣсь, какъ тамъ, у себя; а если ты думалъ что-нибудь другое, такъ объяснись...

— Пользоваться жизнію, хотѣлъ я сказать, — прибавилъ Александръ, весь покраснѣвъ: — мнѣ въ деревнѣ надоѣло— все одно и то же...

— А! вотъ что! Что жъ, ты наймешь бельэтажъ на Невскомъ проспектѣ, заведешь карету, составишь большой кругъ знакомства, откроешь у себя дни?

— Вѣдь это очень дорого,—замѣтилъ наивно Александръ.

— Мать пишетъ, что она дала тебѣ тысячу рублей: этого мало,—сказалъ Петръ Иванычъ. — Вотъ одинъ мой знакомый недавно пріѣхалъ сюда, ему тоже надоѣло въ деревнѣ; онъ хочетъ пользоваться жизнію, такъ тотъ привезъ пять-

десятъ тысячъ и ежегодно будетъ получать по стольку же. Онъ точно будетъ пользоваться жизнію въ Петербургѣ, а ты—нѣтъ! ты не за тѣмъ пріѣхалъ.

— По словамъ вашимъ, дядюшка, выходитъ, что я какъ будто самъ не знаю, зачѣмъ я пріѣхалъ.

— Почти такъ; это лучше сказано: тутъ есть правда; только все еще нехорошо. Неужели ты, какъ сбирался сюда, не задалъ себѣ этого вопроса: зачѣмъ я ѣду? Это было бы не лишнее.

— Прежде, нежели я задалъ себѣ этотъ вопросъ, у меня уже былъ готовъ отвѣтъ!—съ гордостью отвѣчалъ Александръ.

— Такъ что же ты не говоришь? ну, зачѣмъ?

— Меня влекло какое-то неодолимое стремленіе, жажда благородной дѣятельности; во мнѣ кипѣло желаніе уяснить и осуществить...

Петръ Иванычъ приподнялся немного съ дивана, вынулъ изо рта сигару и навострилъ уши.

— Осуществить тѣ надежды, которыя толпились...

— Не пишешь ли ты стиховъ?—вдругъ спросилъ Петръ Иванычъ.

— И прозой, дядюшка; прикажете принести?

— Нѣтъ, нѣтъ!.. послѣ когда-нибудь; я такъ только спросилъ.

— А что?

— Да ты такъ говоришь...

— Развѣ нехорошо?

— Нѣтъ,—можетъ-быть, очень хорошо, да дико.

— У насъ профессоръ эстетики такъ говорилъ и считался самымъ краснорѣчивымъ профессоромъ,—сказалъ смутившійся Александръ.

— О чемъ же онъ такъ говорилъ?

— О своемъ предметѣ.

— А!

— Какъ же, дядюшка, мнѣ говорить?

— Попроще, какъ всѣ, а не какъ профессоръ эстетики. Впрочемъ, этого вдругъ растолковать нельзя; ты послѣ самъ увидишь. Ты, кажется, хочешь сказать, сколько я могу припомнить университетскія лекціи и перевести твои слова, что ты пріѣхалъ сюда дѣлать карьеру и фортуну—такъ ли?

— Да, дядюшка, карьеру...

— И фортуну, — прибавилъ Петръ Иванычъ: — что за карьера безъ фортуны? Мысль хороша—только... напрасно ты пріѣзжалъ.

— Отчего же? Надѣюсь, вы не по собственному опыту говорите это?—сказалъ Александръ, глядя вокругъ себя.

— Дѣльно замѣчено. Точно, я хорошо обставленъ и дѣла мои недурны. Но, сколько я посмотрю, ты и я — большая разница.

— Я никакъ не смѣю сравнивать себя съ вами...

— Не въ томъ дѣло; ты, можетъ-быть, вдесятеро умнѣе и лучше меня... да у тебя, кажется, натура не такая, чтобъ поддалась новому порядку; а тамошній порядокъ — ой, ой! Ты, вонъ, изнѣженъ и избалованъ матерью; гдѣ тебѣ выдержать все, что я выдержалъ? Ты, должно-быть, мечтатель, а мечтать здѣсь некогда; подобные намъ ѣздятъ сюда дѣло дѣлать.

— Можетъ-быть, я въ состояніи что-нибудь сдѣлать, если вы не оставите меня вашими совѣтами и опытностью...

— Совѣтовать — боюсь. Я не ручаюсь за твою деревенскую натуру: выйдетъ вздоръ—станешь пенять на меня; а мнѣніе свое сказать, изволь — не отказываюсь, ты слушай или не слушай, какъ хочешь. Да нѣтъ! я не надѣюсь на удачу. У васъ тамъ свой взглядъ на жизнь: какъ переработаешь его? Вы помѣшались на любви, на дружбѣ, да на прелестяхъ жизни, на счастьи; думаютъ, что жизнь только въ этомъ и состоитъ: ахъ да охъ! плачутъ, хнычутъ да любезничаютъ, а дѣла не дѣлаютъ... какъ я отучу тебя отъ всего этого? — мудрено!

— Я постараюсь, дядюшка, приноровиться къ современнымъ понятіямъ. Уже сегодня, глядя на эти огромныя зданія, на корабли, принесшіе намъ дары дальнихъ странъ, я подумалъ объ успѣхахъ современнаго человѣчества, я понялъ волненіе этой разумно-дѣятельной толпы, готовъ слиться съ нею...

Петръ Иванычъ, при этомъ монологѣ, значительно поднялъ брови и пристально посмотрѣлъ на племянника. Тотъ остановился.

— Дѣло, кажется, простое,—сказалъ дядя:—а они, Богъ знаетъ, что̀ заберутъ въ голову... «разумно-дѣятельная толпа!!» Право, лучше бы тебѣ остаться тамъ. Прожилъ бы ты вѣкъ свой славно: былъ бы тамъ умнѣе всѣхъ, прослылъ бы сочинителемъ и краснорѣчивымъ человѣкомъ, вѣрилъ бы въ вѣчную и неизмѣнную дружбу и любовь, въ родство, счастье, женился бы и незамѣтно дожилъ бы до старости и въ самомъ дѣлѣ былъ бы по-своему счастливъ; а по здѣшнему ты счастливъ не будешь: здѣсь всѣ эти понятія надо перевернуть вверхъ дномъ.

— Какъ, дядюшка, развѣ дружба и любовь—эти священныя и высокія чувства, упавшія какъ-будто ненарочно съ неба въ земную грязь...

— Что?

Александръ замолчалъ.

— «Любовь и дружба въ грязь упали!» Ну, какъ ты этакъ здѣсь брякнешь?

— Развѣ онѣ не тѣ же и здѣсь, какъ тамъ? хочу я сказать.

— Есть и здѣсь любовь и дружба, — гдѣ нѣтъ этого добра? только не такая, какъ тамъ, у васъ; со временемъ увидишь самъ... Ты прежде всего забудь эти *священныя* да *небесныя* чувства, а приглядывайся къ дѣлу такъ, проще, какъ оно есть, право лучше, будешь и говорить проще. Впрочемъ, это не мое дѣло. Ты пріѣхалъ сюда, не воро-

чаться же назадъ: если не найдешь чего искалъ, пеняй на себя. Я предупрежу тебя, что̀ хорошо, по моему мнѣнію, что̀ дурно, а тамъ какъ хочешь... Попробуемъ, можетъ-быть, удастся что-нибудь изъ тебя сдѣлать. Да! матушка просила снабжать тебя деньгами... Знаешь, что я тебѣ скажу: не проси у меня ихъ: это всегда нарушаетъ доброе согласіе между порядочными людьми. Впрочемъ, не думай, чтобъ я тебѣ отказывалъ: нѣтъ, если придется такъ, что другого средства не будетъ, такъ ты, нечего дѣлать, обратись ко мнѣ... Все у дяди лучше взять, чѣмъ у чужого, по крайней мѣрѣ, безъ процентовъ. Да чтобъ не прибѣгать къ этой крайности, я тебѣ поскорѣй найду мѣсто, чтобъ ты могъ доставать деньги, Ну, до свиданія. Заходи поутру, мы переговоримъ, что̀ и какъ начать.

Александръ Ѳедорычъ пошелъ домой.

— Послушай, не хочешь ли ты поужинать? — сказалъ Петръ Иванычъ ему вслѣдъ.

— Да, дядюшка... я бы, пожалуй...

— У меня ничего нѣтъ.

Александръ молчалъ. «Зачѣмъ же это обязательное предложеніе?» думалъ онъ.

— Стола я дома не держу, а трактиры теперь заперты,— продолжалъ дядя.—Вотъ тебѣ и урокъ на первый случай— привыкай. У васъ встаютъ и ложатся по солнцу, ѣдятъ, пьютъ, когда велитъ природа; холодно, такъ надѣнутъ себѣ шапку съ наушниками, да и знать ничего не хотятъ; свѣтло—такъ день, темно—такъ ночь. У тебя, вонъ, слипаются глаза, а я еще за работу сяду: къ концу мѣсяца надо счеты свести. Дышите вы тамъ круглый годъ свѣжимъ воздухомъ, а здѣсь и это удовольствіе стоитъ денегъ—и все такъ! совершенные антиподы! Здѣсь вотъ и не ужинаютъ, особенно на свой счетъ, и на мой тоже. Это тебѣ даже полезно: не станешь стонать и метаться по ночамъ, а крестить мнѣ тебя некогда.

— Къ этому, дядюшка, легко привыкнуть...

— Хорошо, если такъ. А у васъ все еще по старому: можно придти въ гости ночью и сейчасъ ужинъ состряпаютъ?

— Что жъ, дядюшка, надѣюсь, этой черты порицать нельзя. Добродѣтель русскихъ...

— Полно! какая тутъ добродѣтель. Отъ скуки тамъ всякому мерзавцу рады: — «милости просимъ, кушай, сколько хочешь, только займи какъ-нибудь нашу праздность, помоги убить время, да дай взглянуть на тебя: все-таки что-нибудь новое; а кушанья не пожалѣемъ: это намъ здѣсь ровно ничего не стоитъ...» Препротивная добродѣтель!

Такъ Александръ легъ спать и старался разгадать, что за человѣкъ его дядя. Онъ припомнилъ весь разговоръ; многаго не понялъ, другому не совсѣмъ вѣрилъ.

«Не хорошо говорю!» идумалъ онъ: «любовь и дружба не вѣчны?» не смѣется ли надо мною дядюшка? Неужели здѣсь такой порядокъ? Что же Софьѣ и нравилось во мнѣ особенно, какъ не даръ слова? А любовь ея неужели не вѣчна?.. И неужели здѣсь, въ самомъ дѣлѣ, не ужинаютъ?»

Онъ еще долго ворочался въ постели: голова, полная тревожныхъ мыслей, и пустой желудокъ не давали ему спать.

Прошло недѣли двѣ.

Петръ Иванычъ день ото дня становился довольнѣе своимъ племянникомъ.

— У него есть тактъ,—говорилъ онъ одному своему компаніону по заводу:—чего бы я никакъ не ожидалъ отъ деревенскаго мальчика. Онъ не навязывается, не ходитъ ко мнѣ безъ зову; и когда замѣтитъ, что онъ лишній, тотчасъ уйдетъ; и денегъ не проситъ: онъ малый покойный. Есть странности... лѣзетъ цѣловаться, говоритъ, какъ семинаристъ... ну, да отъ этого отвыкнетъ; и то хорошо, что онъ не сѣлъ мнѣ на шею.

— Есть состояніе?—спросилъ тотъ.

— Нѣтъ; какихъ-нибудь сто душонокъ.

— Что жъ! если есть способности, такъ онъ пойдетъ здѣсь... вѣдь и вы не съ большого начали, а вотъ, слава Богу...

— Нѣтъ! куда! ничего не сдѣлаетъ. Эта глупая восторженность никуда не годится, ахъ да охъ! не привыкнетъ онъ къ здѣшнему порядку; гдѣ ему сдѣлать карьеру! напрасно пріѣзжалъ... ну, это ужъ его дѣло.

Александръ долгомъ считалъ любить дядю, но никакъ не могъ привыкнуть къ его характеру и образу мыслей.

«Дядюшка у меня, кажется, добрый человѣкъ», — писалъ онъ въ одно утро къ Поспѣеву: — «очень уменъ, только человѣкъ весьма прозаическій, вѣчно въ дѣлахъ, въ расчетахъ... Духъ его будто прикованъ къ землѣ и никогда не возвысится до чистаго, изолированнаго отъ земныхъ призраковъ сознанія явленій духовной природы человѣка. Небо у него неразрывно связано съ землей, и мы съ нимъ, кажется, никогда совершенно не сольемся душами. Будучи сюда, я думалъ, что онъ, какъ дядя, дастъ мнѣ мѣсто въ сердцѣ, согрѣетъ меня въ этой холодной толпѣ горячими объятіями дружбы; а дружба, ты знаешь, *второе я, невѣдомое!* Но и онъ есть нечто иное, какъ выраженіе этой толпы. Я думалъ дѣлить съ нимъ вмѣстѣ время, не разставаться ни на минуту, но что вышло? — умные совѣты, которые онъ называетъ тѣмъ, что будутъ обѣ лучше будутъ недѣлькы, не полны только сострадательнаго участія. Онъ гордъ не гордостью, но врожденнымъ высокомѣріемъ; мы не обѣдаемъ, не ужинаемъ вмѣстѣ, никуда не ѣздимъ. Пріѣхавъ, онъ никогда не разспросилъ, что дѣлалъ и никогда также не говорилъ, гдѣ бывалъ и зачѣмъ, кто у него знакомые, кромѣ ея, кому что, какъ мы, какъ онъ проводитъ время. Никогда не сознавалъ огорченія, не ласкою, ни печалью, ни радостью [illegible] его чужды всѣ порывы любви, дружбы, всѣ стремленія къ [illegible]. Часто го-

воришь, и говоришь, какъ вдохновенный пророкъ, почти какъ нашъ великій, незабвенный Иванъ Семенычъ, когда онъ, помнишь, гремѣлъ съ каѳедры, а мы трепетали въ восторгѣ отъ его огненнаго взора и слова; а дядюшка? слушаетъ, поднявъ брови, и смотритъ престранно, или засмѣется какъ-то по-своему, такимъ смѣхомъ, который леденитъ у меня кровь—и прощай вдохновеніе! Я иногда вижу въ немъ, какъ-будто пушкинскаго демона... Не вѣритъ онъ *любви*, и проч., говоритъ, что счастья нѣтъ, что его никто не обѣщалъ, а что есть просто жизнь, раздѣляющаяся пòровну на добро и зло, на удовольствіе, удачу, здоровье, покой, потомъ на неудовольствіе, неудачу, безпокойство, болѣзни и проч., что на все на это надо смотрѣть просто, не забирать себѣ въ голову безполезныхъ—каково? безполезныхъ!—вопросовъ о томъ, зачѣмъ мы созданы, да къ чему стремимся,—что это не наша забота, и что отъ этого мы не видимъ, чтò у насъ подъ носомъ, и не дѣлаемъ своего дѣла... только и слышишь о дѣлѣ! Въ немъ не отличишь, находится ли онъ подъ вліяніемъ какого-нибудь наслажденія, или прозаическаго дѣла: и за счетами, и въ театрѣ, все одинаковъ; сильныхъ впечатлѣній не знаетъ и, кажется, не любитъ изящнаго: оно чуждо душѣ его; я думаю, онъ не читалъ даже Пушкина...»

Петръ Иванычъ неожиданно явился въ комнату племянника и засталъ его за письмомъ.

— Я пришелъ посмотрѣть, какъ ты тутъ устроился,—сказалъ дядя:—и поговорить о дѣлѣ.

Александръ вскочилъ и проворно что-то прикрылъ рукой.

— Спрячь, спрячь свой секретъ, — сказалъ Петръ Иванычъ:—я отвернусь. Ну, спряталъ? А это чтò выпало? чтò это такое?

— Это, дядюшка, ничего...—началъ-было Александръ, но смѣшался и замолчалъ.

— Кажется, волосы! Подлинно, ничего! ужъ я видѣлъ одно, такъ покажи и то, чтò спряталъ въ рукѣ.

Александръ, точно уличенный школьникъ, невольно разжалъ руку и показалъ кольцо.

— Что̀ это? откуда?—спросилъ Петръ Иванычъ.

— Это, дядюшка, вещественные знаки... невещественныхъ отношеній...

— Что? что? дай-ка сюда эти знаки.

— Это залоги...

— Вѣрно изъ деревни привезъ?

— Отъ Софьи, дядюшка, на память... при прощаньи...

— Такъ и есть. И это ты везъ за тысячу пятьсотъ верстъ?

Дядя покачалъ головой.

— Лучше бы ты привезъ еще мѣшокъ сушеной малины: ту, по крайней мѣрѣ, въ лавочку сбыли, а эти залоги...

Онъ разсматривалъ то волосы, то колечко: волосы понюхалъ, а колечко взвѣсилъ на рукѣ. Потомъ взялъ бумажку со стола, завернулъ въ нее оба знака, сжалъ все это въ компактный комокъ и—бацъ въ окно.

— Дядюшка!—неистово закричалъ Александръ, схвативъ его за руку, но поздно: комокъ перелетѣлъ черезъ уголъ сосѣдней крыши, упалъ въ каналъ, на край барки съ кирпичами, отскочилъ, и прыгнулъ въ воду.

Александръ молча, съ выраженіемъ горькаго упрека, смотрѣлъ на дядю.

— Дядюшка!—повторилъ онъ.

— Что?

— Какъ назвать вашъ поступокъ?

— Бросаніемъ изъ окна въ каналъ невещественныхъ знаковъ и всякой дряни и пустяковъ, чего не нужно держать въ комнатѣ...

— Пустяковъ, это пустяки!

— А ты думалъ что̀?—половина твоего сердца... Я пришелъ къ нему за дѣломъ, а онъ вонъ чѣмъ занимается — сидитъ да думаетъ надъ дрянью!

— Развѣ это мѣшаетъ дѣлу, дядюшка?

— Очень. Время проходитъ, а ты до сихъ поръ мнѣ еще и не упомянулъ о своихъ намѣреніяхъ: хочешь ли ты служить, избралъ ли другое занятіе—ни слова! а все оттого, что у тебя Софья да знаки на умѣ. Вонъ, ты, кажется, къ ней письмо пишешь? Такъ?

— Да... я началъ-было...

— А къ матери писалъ?

— Нѣтъ еще, я хотѣлъ завтра.

— Отчего же завтра? Къ матери завтра, къ Софьѣ, которую черезъ мѣсяцъ надо забыть, сегодня...

— Софью? можно ли ее забыть?

— Должно. Не брось я твоихъ залоговъ, такъ, пожалуй, чего добраго, ты помнилъ бы ее лишній мѣсяцъ. Я оказалъ тебѣ вдвойнѣ услугу. Черезъ нѣсколько лѣтъ эти знаки напомнили бы тебѣ глупость, отъ которой бы ты краснѣлъ.

— Краснѣть отъ такого чистаго, святого воспоминанія? это значитъ не признавать поэзіи...

— Какая поэзія въ томъ, что̀ глупо? поэзія, напримѣръ, въ письмѣ твоей тетки! жёлтый цвѣтокъ, озеро, какая-то тайна... какъ я сталъ читать — мнѣ такъ стало нехорошо, что и сказать нельзя! чуть не покраснѣлъ, а ужъ я ли не отвыкъ краснѣть!

— Это ужасно, ужасно, дядюшка! стало-быть вы никогда не любили?

— Знаковъ терпѣть не могъ.

— Это какая-то деревянная жизнь! — сказалъ въ сильномъ волненіи Александръ: — прозябаніе, а не жизнь! прозябать *безъ вдохновенья, безъ слезъ, безъ жизни, безъ любви...*

— И безъ волосъ!—прибавилъ дядя.

— Какъ вы, дядюшка, можете такъ холодно издѣваться надъ тѣмъ, что̀ есть лучшаго на землѣ? вѣдь это преступленіе... Любовь... святыя волненія!

— Знаю я эту святую любовь: въ твои лѣта только уви-

дятъ локонъ, башмакъ, подвязку, дотронутся до руки—такъ по всему тѣлу и побѣжитъ святая, возвышенная любовь, а дай-ка волю, такъ и того... Твоя любовь, къ сожалѣнію, впереди; отъ этого никакъ не уйдешь, а дѣло уйдетъ отъ тебя, если не станешь имъ заниматься.

— Да развѣ любовь не дѣло?

— Нѣтъ: пріятное развлеченіе, только не нужно слишкомъ предаваться ему, а то выйдетъ вздоръ. Отъ этого я и боюсь за тебя.

Дядя покачалъ головой.

— Я почти нашелъ тебѣ мѣсто; ты вѣдь хочешь служить?—сказалъ онъ.

— Ахъ, дядюшка, какъ я радъ!

Александръ бросился и поцѣловалъ дядю въ щеку.

— Нашелъ-таки случай!—сказалъ дядя, вытирая щеку:— какъ это я не остерегся! Ну, такъ слушай же. Скажи, что̀ ты знаешь, къ чему чувствуешь себя способнымъ?

— Я знаю богословіе, гражданское, уголовное, естественное и народное права, дипломацію, политическую экономію, философію, эстетику, археологію...

— Постой, постой! а умѣешь ли ты порядочно писать по-русски? Теперь пока это нужнѣе всего.

— Какой вопросъ, дядюшка: умѣю ли писать по-русски!— сказалъ Александръ и побѣжалъ къ комоду, изъ котораго началъ вынимать разныя бумаги, а дядя, между тѣмъ, взялъ со стола какое-то письмо и сталъ читать.

Александръ подошелъ съ бумагами къ столу и увидѣлъ, что дядя читаетъ письмо. Бумаги у него выпали изъ рукъ.

— Что это вы читаете, дядюшка? — сказалъ онъ въ испугѣ.

— А вотъ тутъ лежало письмо, къ другу, должно-быть. Извини, мнѣ хотѣлось взглянуть, какъ ты пишешь.

— И вы прочитали его?

— Да, почти—вотъ только двѣ строки осталось,—сейчасъ

дочитаю; а что? вѣдь тутъ секретовъ нѣтъ, иначе бы оно не валялось такъ...

— Что же вы теперь думаете обо мнѣ?..

— Думаю, что ты порядочно пишешь, правильно, гладко...

— Стало-быть вы не прочли, что тутъ написано? — съ живостью спросилъ Александръ.

— Нѣтъ, кажется, все,—сказалъ Петръ Иванычъ, поглядѣвъ на обѣ страницы: — сначала описываешь Петербургъ. свои впечатлѣнія, а потомъ меня.

— Боже мой? — воскликнулъ Александръ и закрылъ руками лицо.

— Да что ты? что съ тобой?

— И вы говорите это покойно? вы не сердитесь, не ненавидите меня?

— Нѣтъ! изъ чего мнѣ бѣсноваться?

— Повторите, успокойте меня.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ.

— Мнѣ все не вѣрится; докажите, дядюшка...

— Чѣмъ прикажешь?

— Обнимите меня.

— Извини, не могу.

— Почему же?

— Потому что въ этомъ поступкѣ разума, то-есть смысла нѣтъ, или, говоря словами твоего профессора, сознаніе не побуждаетъ меня къ этому; вотъ, если бъ ты былъ женщина—такъ другое дѣло: тамъ это дѣлается безъ смысла, по другому побужденію.

— Чувство, дядюшка, просится наружу, требуетъ порыва, изліянія...

— У меня не просится и не требуетъ, да если бъ и просилось, такъ я бы воздержался—и тебѣ тоже совѣтую.

— Зачѣмъ же?

— А затѣмъ, чтобъ послѣ, когда разсмотришь поближе человѣка, котораго обнялъ, не краснѣть за свои объятія.

— Развѣ не случается, дядюшка, что оттолкнешь человѣка и послѣ раскаешься.

— Случается; оттого я никогда никого и не отталкиваю.

— Вы и меня не оттолкнете за мой поступокъ, не назовете чудовищемъ?

— У тебя кто напишетъ вздоръ, тотъ и чудовище. Этакъ бы ихъ развелось несмѣтное множество.

— Но читать про себя такія горькія истины — и отъ кого же? отъ родного племянника!

— Ты воображаешь, что написалъ истину?..

— О, дядюшка!.. конечно, я ошибся... я переправлю... простите...

— Хочешь, я тебѣ продиктую истину?

— Сдѣлайте милость.

— Садись и пиши.

Александръ вынулъ листъ бумаги и взялъ перо, а Петръ Иванычъ, глядя на прочтенное имъ письмо, диктовалъ:

«Любезный другъ.

— Написалъ?

— Написалъ.

«Петербурга и впечатлѣній своихъ описывать тебѣ не стану:

— «Не стану»,—сказалъ Александръ, написавъ.

«Петербургъ уже давно описанъ, а что не описано, то надо видѣть самому; впечатлѣнія мои тебѣ ни на что не годятся. Нечего попустому тратить время и бумагу. Лучше опишу моего дядю, потому что это относится лично до меня.

— «Дядю»,—сказалъ Александръ.

— Ну, вотъ ты пишешь, что я очень добръ и уменъ— можетъ быть это и правда, можетъ быть и нѣтъ; возьмемъ лучше середину, пиши:

«Дядя мой не глупъ и не золъ, мнѣ желаетъ добра...

— Дядюшка! я умѣю цѣнить и чувствовать... — сказалъ Александръ и потянулся поцѣловать его.

«Хотя и не вѣшается мнѣ на шею»,—продолжалъ диктовать Петръ Иванычъ. Александръ, не дотянувшись до него, поскорѣй сѣлъ на свое мѣсто.

«А желаетъ добра потому, что не имѣетъ причины и побужденія желать зла, и потому, что его просила обо мнѣ моя матушка, которая дѣлала нѣкогда для него добро. Онъ говоритъ, что меня не любитъ — и весьма основательно: въ двѣ недѣли нельзя полюбить, и я еще не люблю его, хотя и увѣряю въ противномъ.

— Какъ это можно?—сказалъ Александръ.

— Пиши, пиши:

«Но мы начинаемъ привыкать другъ къ другу. Онъ даже говоритъ, что можно и совсѣмъ обойтись безъ любви. Онъ не сидитъ со мной, обнявшись, съ утра до вечера, потому, что это вовсе не нужно, да ему и некогда.

— «Врагъ искреннихъ изліяній» — это можно оставить: это хорошо.—Написалъ?

— Написалъ.

— Ну, что у тебя тутъ еще? «Прозаическій духъ, демонъ...» Пиши.

Пока Александръ писалъ, Петръ Иванычъ взялъ со стола какую-то бумагу, свернулъ ее, досталъ огня и закурилъ сигару, а бумагу бросилъ и затопталъ.

«Дядя мой ни демонъ, ни ангелъ, а такой же человѣкъ, какъ и всѣ,—диктовалъ онъ,—только не совсѣмъ похожъ на насъ съ тобой. Онъ думаетъ и чувствуетъ по-земному, полагаетъ, что если мы живемъ на землѣ, такъ и не надо улетать съ нея на небо, гдѣ насъ теперь пока не спрашиваютъ, а заниматься человѣческими дѣлами, къ которымъ мы призваны. Оттого онъ вникаетъ во всѣ земныя дѣла и, между прочимъ, въ жизнь, какъ она есть, а не какъ бы намъ ея хотѣлось. Вѣритъ въ добро и вмѣстѣ въ зло, въ прекрасное и прескверное. Любви и дружбѣ тоже вѣритъ, только не думаетъ, что онѣ упали съ неба въ грязь, а полагаетъ,

что онѣ созданы вмѣстѣ съ людьми и для людей, что ихъ такъ и надобно понимать и вообще разсматривать вещи пристально, съ ихъ настоящей стороны, а не заноситься, Богъ знаетъ куда. Между честными людьми онъ допускаетъ возможность пріязни, которая, отъ частыхъ сношеній и привычки, обращается въ дружбу. Но онъ полагаетъ также, что въ разлукѣ привычка теряетъ силу и люди забываютъ другъ друга и что это вовсе не преступленіе. Поэтому онъ увѣряетъ, что я тебя забуду, а ты меня. Это мнѣ, да и тебѣ вѣроятно, кажется дико, но онъ совѣтуетъ привыкнуть къ этой мысли, отчего мы оба не будемъ въ дуракахъ. О любви онъ того же мнѣнія, съ небольшими оттѣнками: не вѣритъ въ неизмѣнную и вѣчную любовь, какъ не вѣритъ въ домовыхъ—и намъ не совѣтуетъ вѣрить. Впрочемъ, объ этомъ онъ совѣтуетъ мнѣ думать, какъ можно меньше, а я тебѣ совѣтую. Это, говоритъ онъ, придетъ само собою—безъ зову; говоритъ, что жизнь не въ одномъ только этомъ состоитъ, что для этого, какъ для всего прочаго, бываетъ свое время, а цѣлый вѣкъ мечтать объ одной любви—глупо. Тѣ, которые ищутъ ее и не могутъ ни минуты обойтись безъ нея — живутъ сердцемъ, и еще чѣмъ-то хуже, на счетъ головы. Дядя любитъ заниматься дѣломъ, что совѣтуетъ и мнѣ, а я тебѣ:—мы принадлежимъ къ обществу, говоритъ онъ, которое нуждается въ насъ; занимаясь, онъ не забываетъ и себя: дѣло доставляетъ деньги, а деньги комфортъ, который онъ очень любитъ. Притомъ у него, можетъ-быть, есть намѣренія, послѣдствіе которыхъ, вѣроятно, не я буду его наслѣдникомъ. Дядя не всегда думаетъ о службѣ да о заводѣ, онъ знаетъ наизусть не одного Пушкина...»

— Вы, дядюшка?— сказалъ изумленный Александръ.

— Да, когда-нибудь увидишь. Пиши.

«Онъ читаетъ на двухъ языкахъ все, что выходитъ замѣчательнаго по всѣмъ отраслямъ человѣческихъ знаній, любитъ искусства, имѣетъ прекрасную коллекцію картинъ

фламандской школы — это его вкусъ, — часто бываетъ въ театрѣ, но не суетится, не мечется, не ахаетъ, не охаетъ, думая, что это ребячество, что надо воздерживать себя, не навязывать никому своихъ впечатлѣній, потому, что до нихъ никому нѣтъ надобности. Онъ также не говоритъ дикимъ языкомъ, что совѣтуетъ и мнѣ, а я тебѣ. Прощай, пиши ко мнѣ порѣже и не теряй попустому времени. Другъ твой такой-то. Ну, мѣсяцъ и число».

— Какъ можно послать такое письмо? — сказалъ Александръ: — «пиши порѣже» — написать это человѣку, который нарочно за сто шестьдесятъ верстъ пріѣхалъ, чтобы сказать послѣднее прости! «Совѣтую то, другое, третье»... онъ не глупѣе меня: онъ вышелъ вторымъ кандидатомъ.

— Нужды нѣтъ, ты все-таки пошли: можетъ-быть, онъ поумнѣе станетъ: это наведетъ его на разныя новыя мысли; хоть вы кончили курсъ, а школа ваша только-что начинается.

— Я не могу рѣшиться, дядюшка...

— Я никогда не вмѣшиваюсь въ чужія дѣла, но ты самъ просилъ что-нибудь для тебя сдѣлать; я стараюсь навести тебя на настоящую дорогу и облегчить первый шагъ, а ты упрямишься; ну, какъ хочешь; я говорю только свое мнѣніе, а принуждать не стану; я тебѣ не нянька.

— Извините, дядюшка: я готовъ повиноваться, — сказалъ Александръ и тотчасъ запечаталъ письмо.

Запечатавъ одно, онъ сталъ искать другое, къ Софьѣ. Онъ поглядѣлъ на столъ — нѣтъ, подъ столомъ — тоже нѣтъ, въ ящикѣ — не бывало.

— Ты чего-то ищешь? — сказалъ дядя.

— Я ищу другого письма... къ Софьѣ.

И дядя сталъ искать.

— Гдѣ же оно? — говорилъ Петръ Иванычъ: — я, право, не бросалъ его за окно...

— Дядюшка! что вы надѣлали? вѣдь вы имъ закурили

сигару! — горестно сказалъ Александръ и поднялъ обгорѣлые остатки письма.

— Не-уже-ли?—воскликнулъ дядя:—да какъ это я? и не замѣтилъ; смотри, пожалуй, сжегъ такую драгоцѣнность... А, впрочемъ, знаешь что? оно даже съ одной стороны хорошо...

— Ахъ, дядюшка, ей-Богу, ни съ какой стороны не хорошо...—замѣтилъ Александръ въ отчаяніи.

— Право, хорошо: съ нынѣшней почтой ты не успѣешь написать къ ней, а къ будущей ужъ вѣрно одумаешься, займешься службой: тебѣ будетъ не до того и, такимъ образомъ, сдѣлаешь одной глупостью меньше.

— Что̀ жъ она подумаетъ обо мнѣ?

— А что хочетъ. Да я думаю, это полезно и ей. Вѣдь ты не женишься на ней? Она подумаетъ, что ты ее забылъ, забудетъ тебя сама и меньше будетъ краснѣть передъ будущимъ своимъ женихомъ, когда станетъ увѣрять его, что никого, кромѣ его, не любила.

— Вы, дядюшка, удивительный человѣкъ! для васъ не существуетъ постоянства, нѣтъ святости обѣщаній... Жизнь такъ хороша, такъ полна прелести, нѣги: она, какъ гладкое, прекрасное озеро...

— На которомъ растутъ жёлтые цвѣты, что ли?—перебилъ дядя.

— Какъ озеро, — продолжалъ Александръ: — она полна чего-то таинственнаго, заманчиваго, скрывающаго въ себѣ такъ много...

— Тины, любезный.

— Зачѣмъ же вы, дядюшка, черпаете тину, зачѣмъ такъ разрушаете и уничтожаете всѣ радости, надежды, блага... смо̀трите съ черной стороны?

— Я смотрю съ настоящей — и тебѣ то же совѣтую: въ дуракахъ не будешь. Съ твоими понятіями жизнь хороша тамъ, въ провинціи, гдѣ ея не вѣдаютъ, тамъ и не люди

живутъ, а ангелы: вотъ Заѣзжаловъ — святой человѣкъ, тетушка твоя—возвышенная, чувствительная душа, Софья, я думаю, такая же дура, какъ и тетушка, да еще...

— Оканчивайте, дядюшка! — сказалъ взбѣшенный Александръ.

— Да еще такіе мечтатели, какъ ты:—водятъ носомъ по вѣтру, не пахнетъ ли откуда-нибудь неизмѣнной дружбой да любовью... Въ сотый разъ скажу: напрасно пріѣзжалъ!

— Станетъ она увѣрять жениха, что никого не любила! — говорилъ почти самъ съ собою Александръ.

— А ты все свое!

— Нѣтъ, я увѣренъ, что она прямо, съ благородной откровенностью отдастъ ему мои письма и...

— И знаки,—сказалъ Петръ Иванычъ.

— Да, и залоги нашихъ отношеній... и скажетъ: «вотъ, вотъ кто первый пробудилъ струны моего сердца; вотъ при чьемъ имени заиграли онѣ впервые»...

У дяди начали подниматься брови и расширяться глаза. Александръ замолчалъ.

— Что жъ ты пересталъ играть на своихъ струнахъ? Ну, милый, и подлинно глупа твоя Софья, если сдѣлаетъ такую штуку; надѣюсь, у нея есть мать, или кто-нибудь, кто бы могъ остановить ее?

— Вы, дядюшка, рѣшаетесь назвать глупостью этотъ святѣйшій порывъ души, это благородное изліяніе сердца; какъ прикажете думать о васъ?

— Какъ тебѣ заблагоразсудится. Жениха своего она заставитъ подозрѣвать Богъ знаетъ что; пожалуй, еще и свадьба разойдется, а отчего? оттого, что вы тамъ рвали вмѣстѣ жёлтые цвѣты... Нѣтъ, такъ дѣла не дѣлаются. Ну, такъ ты по-русски писать можешь,—завтра поѣдемъ въ департаментъ: я ужъ говорилъ о тебѣ прежнему своему сослуживцу, начальнику отдѣленія; онъ сказалъ, что есть вакансія; терять времени нечего... Это что за кипу ты вытащилъ?

— А это мои университетскія записки. Вотъ, позвольте прочесть нѣсколько страницъ изъ лекцій Ивана Семеныча, объ искусствѣ въ Греціи...

Онъ ужъ началъ-было проворно переворачивать страницы.

— Охъ, сдѣлай милость, уволь! — сказалъ, сморщившись, Петръ Иванычъ.—А это что?

— А это мои диссертаціи. Я желалъ бы показать ихъ своему начальнику; особенно тутъ есть одинъ проектъ, который я обработалъ...

— А! одинъ изъ тѣхъ проектовъ, которые тысячу лѣтъ ужъ какъ исполнены, или которыхъ нельзя и не нужно исполнять.

— Что вы, дядюшка! да этотъ проектъ былъ представленъ одному значительному лицу, любителю просвѣщенія; за это однажды онъ пригласилъ меня съ ректоромъ обѣдать. Вотъ начало другого проекта.

— Отобѣдай у меня дважды, да только не дописывай другого проекта.

— Почему же?

— Да такъ. ты теперь хорошаго ничего не напишешь, а время уйдетъ.

— Какъ! слушавши лекціи?..

— Онѣ пригодятся тебѣ со временемъ, а теперь смотри, читай, учись, да дѣлай, что заставятъ?

— Какъ же узнаетъ начальникъ о моихъ способностяхъ?

— Мигомъ узнаетъ: онъ мастеръ узнавать. Да ты какое же мѣсто хотѣлъ бы занять?

— Я не знаю, дядюшка, какое бы...

— Есть мѣста министровъ,—говорилъ Петръ Иванычъ:— товарищей ихъ, директоровъ, вице-директоровъ, начальниковъ отдѣленій, столоначальниковъ, ихъ помощниковъ, чиновниковъ особыхъ порученій, мало ли?

Александръ задумался. Онъ растерялся и не зналъ, какое выбрать.

— Вотъ бы на первый разъ мѣсто столоначальника хорошо,—сказалъ онъ.

— Да, хорошо!—повторилъ Петръ Иванычъ.

— Я бы присмотрѣлся къ дѣлу, дядюшка, а тамъ мѣсяца черезъ два можно бы и въ начальники отдѣленія...

Дядя навострилъ уши.

— Конечно, конечно!—сказалъ онъ:—потомъ черезъ три мѣсяца въ директоры: ну, а тамъ черезъ годъ и въ министры: такъ, что ли?

Александръ покраснѣлъ и молчалъ.

— Начальникъ отдѣленія, вѣроятно, сказалъ вамъ, какая есть вакансія?—спросилъ онъ потомъ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ дядя:—онъ не говорилъ, да мы лучше положимся на него; сами-то, видишь, затрудняемся въ выборѣ, а онъ ужъ знаетъ, куда опредѣлить. Ты ему не говори о своемъ затрудненіи насчетъ выбора, да и о проектахъ тоже ни слова: пожалуй, еще обидится, что не довѣряемъ ему, да пугнетъ порядкомъ; онъ крутенекъ. Я бы тебѣ не совѣтовалъ говорить и о *вещественныхъ знакахъ* здѣшнимъ красавицамъ: онѣ не поймутъ этого, гдѣ имъ понять! это для нихъ слишкомъ высоко: и я насилу вникнулъ, а онѣ будутъ гримасничать.

Пока дядя говорилъ, Александръ ворочалъ въ рукѣ какой-то свертокъ.

— Что это еще у тебя?

Александръ съ нетерпѣніемъ ждалъ этого вопроса.

— Это... я давно хотѣлъ вамъ показать... стихи: вы однажды интересовались...

— Что-то не помню; кажется, я не интересовался...

— Вотъ, видите, дядюшка, я думаю, что служба—занятіе сухое, въ которомъ не участвуетъ душа, а душа жаждетъ выразиться, подѣлиться съ ближними избыткомъ чувствъ и мыслей, переполняющихъ ее...

— Ну, такъ что же?—съ нетерпѣніемъ спросилъ дядя.

— Я чувствую призваніе къ творчеству...

— То-есть, ты хочешь заняться, кромѣ службы, еще чѣмъ-нибудь — такъ, что ли, въ переводѣ? Что̀ жъ, очень похвально: чѣмъ же? литературой?

— Да, дядюшка, я хотѣлъ просить васъ, нѣтъ ли у васъ случая помѣстить кое-что...

— Увѣренъ ли ты, что у тебя есть талантъ? безъ этого вѣдь ты будешь чернорабочій въ искусствѣ — что̀ жъ хорошаго? Талантъ — другое дѣло: можно работать; много хорошаго сдѣлаешь и притомъ это капиталъ — сто̀итъ твоихъ ста душъ.

— Вы и это измѣряете деньгами?

— А чѣмъ же прикажешь? чѣмъ больше тебя читаютъ, тѣмъ больше платятъ денегъ.

— А слава, слава? вотъ истинная награда пѣвца...

— Она устала няньчиться съ пѣвцами: слишкомъ много претендентовъ. Это прежде, бывало, слава, какъ женщина, ухаживала за всякимъ, а теперь, замѣчаешь ли? ея какъ-будто нѣтъ совсѣмъ, или она спряталась—да! Есть извѣстность, а славы что-то не слыхать, или она придумала другой способъ проявляться: кто лучше пишетъ, тому больше денегъ, кто хуже — не прогнѣвайся. Зато нынче порядочный писатель и живетъ порядочно, не мерзнетъ и не умираетъ съ голода на чердакѣ, хоть за нимъ и не бѣгаютъ по улицамъ и не указываютъ на него пальцами, какъ на шута; поняли, что поэтъ не небожитель, а человѣкъ: такъ же глядитъ, ходитъ, думаетъ и дѣлаетъ глупости, какъ другіе: чего жъ тутъ смотрѣть?..

— Какъ другіе — что вы, дядюшка! какъ это можно говорить! Поэтъ заклейменъ особенною печатью: въ немъ таится присутствіе высшей силы...

— Какъ иногда въ другихъ—и въ математикѣ, и въ часовщикѣ, и въ нашемъ братѣ, заводчикѣ. Ньютонъ, Гутенбергъ, Ваттъ такъ же были одарены высшей силой, какъ

и Шекспиръ, Дантъ и проч. Доведи-ка я какимъ-нибудь процессомъ нашу парголовскую глину до того, чтобы изъ нея выходилъ фарфоръ лучше саксонскаго или севрскаго, такъ ты думаешь, что тутъ не было бы присутствія высшей силы?

— Вы смѣшиваете искусство съ ремесломъ, дядюшка.

— Боже сохрани! Искусство само-по-себѣ, ремесло само-по-себѣ, а творчество можетъ быть и въ томъ, и въ другомъ, такъ же точно, какъ и не быть. Если нѣтъ его, такъ ремесленникъ такъ и называется ремесленникъ, а не творецъ, и поэтъ безъ творчества ужъ не поэтъ, а сочинитель... Да развѣ вамъ объ этомъ не читали въ университетѣ? Чему же вы тамъ учились?..

Дядѣ ужъ самому стало досадно, что онъ пустился въ такія объясненія о томъ, что̀ считалъ общеизвѣстной истиной.

«Это похоже на искреннія изліянія», подумалъ онъ.

— Покажи-ка, что̀ тамъ у тебя?—спросилъ онъ:—стихотворенія!

Дядя взялъ свертокъ и началъ читать первую страницу.

«Отколь порой тоска и горе
Внезапной тучей налетитъ
И сердце съ жизнію поссоря...

— Дай-ка, Александръ, огня.

Онъ закурилъ сигару и продолжалъ:

«Въ немъ рой желаній замѣнятъ?
Зачѣмъ вдругъ сумрачнымъ ненастьемъ
Падетъ на душу тяжкій сонъ,
Какимъ невѣдомымъ несчастьемъ
Ее смутитъ внезапно онъ...

— Одно и то же въ первыхъ четырехъ стихахъ сказано, и вышла вода,—замѣтилъ Петръ Иванычъ, и читалъ:

«Кто отгадаетъ отчего
Проступитъ хладными слезами
Вдругъ поблѣднѣвшее чело...

— Какъ же это такъ? Чело пòтомъ проступаетъ, а слезами —не видывалъ.

«И что тогда творится съ нами?
Небесъ далекихъ тишина
Въ тотъ мигъ ужасна и страшна...

— Ужасна и страшна—одно и то же.

«Гляжу на небо: тамъ луна...

— Луна непремѣнно: безъ нея никакъ нельзя! Если у тебя тутъ есть *мечта* и *дѣва* — ты погибъ: я отступаюсь отъ тебя.

«Гляжу на небо: тамъ луна
Безмолвно плаваетъ, сіяя,
И мнится, въ ней погребена
Отъ вѣка тайна роковая.

— Недурно! Дай-ка еще огня... сигара погасла. Гдѣ—бишь, —да!

«Въ эѳирѣ звѣзды притаясь,
Дрожатъ въ измѣнчивомъ сіяньѣ,
И будто дружно согласясь,
Хранятъ коварное молчанье.
Такъ въ мірѣ все грозитъ бѣдой,
Все зло намъ дико предвѣщаетъ,
Безпечно будто бы качаетъ
Насъ въ немъ обманчивый покой:
И грусти той назва...нья нѣтъ...

Дядя сильно зѣвнулъ и продолжалъ:

«Она пройдетъ, умчитъ и слѣдъ,
Какъ перелетный вѣтръ степей
Съ песковъ сдуваетъ слѣдъ звѣрей.

— Ну, ужъ звѣрей-то тутъ куда не хорошо! Зачѣмъ же тутъ черта? А! это было о грусти, а теперь о радости...

И онъ началъ скороговоркой читать, почти про себя:

«Зато случается порой
Иной въ насъ демонъ поселится,
Тогда восторгъ живой струей
Насильно въ душу протѣснится...
И затрепещетъ сладко грудь...» и т. д.

— Ни худо, ни хорошо!—сказалъ онъ, окончивъ.—Впрочемъ, другіе начинали и хуже; попробуй, пиши, занимайся, если есть охота; можетъ-быть, и обнаружится талантъ; тогда другое дѣло.

Александръ опечалился. Онъ ожидалъ совсѣмъ не такого отзыва. Его немного утѣшало то, что онъ считалъ дядю человѣкомъ холоднымъ, почти безъ души.

— Вотъ переводъ изъ Шиллера,—сказалъ онъ.

— Довольно; я вижу; а ты знаешь и языки?

— Я знаю по-французски, по-нѣмецки и немного по-англійски.

— Поздравляю тебя, давно бы ты сказалъ: изъ тебя можно многое сдѣлать. Давеча насказалъ мнѣ про политическую экономію, философію, археологію, Богъ знаетъ про что еще, а о главномъ ни слова — скромность некстати. Я тебѣ тотчасъ найду и литературное занятіе.

— Неужели, дядюшка? вотъ обяжете! — позвольте васъ обнять.

— Погоди, вотъ какъ найду.

— Не покажете ли вы чего-нибудь изъ моихъ сочиненій будущему моему начальнику, чтобъ дать понятіе?

— Нѣтъ, не нужно; если понадобится, ты и самъ покажешь, а можетъ-быть, и не понадобится. Подари-ка ты мнѣ свои проекты и сочиненія?..

— Подарить?—извольте, дядюшка,—сказалъ Александръ, которому польстило это требованіе дяди.—Не угодно ли, я вамъ сдѣлаю оглавленіе всѣхъ статей въ хронологическомъ порядкѣ?

— Нѣтъ, не нужно... Спасибо за подарокъ. Евсей! отнеси эти бумаги къ Василью.

— Зачѣмъ же къ Василью? въ вашъ кабинетъ.

— Онъ просилъ у меня бумаги обклеить что-то...

— Какъ, дядюшка?..—въ ужасѣ спросилъ Александръ и схватилъ кипу назадъ.

— Вѣдь ты подарилъ, а тебѣ что̀ за дѣло, какое употребленіе я сдѣлаю изъ твоего подарка?..

— Вы не щадите ничего... ничего!..—съ отчаяніемъ стоналъ онъ, прижимая бумаги обѣими руками къ груди.

— Александръ, послушайся меня,—сказалъ дядя, вырывая у него бумаги:—не будешь краснѣть послѣ и скажешь мнѣ спасибо.

Александръ выпустилъ бумаги изъ рукъ.

— На, отнеси, Евсей, — сказалъ Петръ Иванычъ. — Ну вотъ теперь у тебя въ комнатѣ чисто и хорошо: пустяковъ нѣтъ; отъ тебя будетъ зависѣть наполнить ее соромъ, или чѣмъ-нибудь дѣльнымъ. Поѣдемъ на заводъ прогуляться, разсѣяться, подышать свѣжимъ воздухомъ и посмотрѣть, какъ работаютъ.

Утромъ Петръ Иванычъ привезъ племянника въ департаментъ, и пока самъ онъ говорилъ съ своимъ пріятелемъ—начальникомъ отдѣленія, Александръ знакомился съ этимъ новымъ для него міромъ. Онъ еще мечталъ все о проектахъ и ломалъ себѣ голову надъ тѣмъ, какой государственный вопросъ предложатъ ему рѣшить, между тѣмъ все стоялъ и смотрѣлъ.

«Точно заводъ моего дядюшки рѣшилъ онъ наконецъ. «Какъ тамъ одинъ мастеръ возьметъ кусокъ массы, броситъ ее въ машину, повернетъ разъ, два, три, — смотришь, выйдетъ конусъ, оваль или полукругъ; потомъ передаетъ другому, тотъ сушитъ на огнѣ, третій золотитъ, четвертый расписываетъ, и выйдетъ чашка, или ваза, или блюдечко. И тутъ: придетъ посторонній проситель, подастъ, полусогнувшись, съ жалкой улыбкой, бумагу- -мастеръ возьметъ, едва дотронется до нея перомъ и передастъ другому, тотъ броситъ ее въ массу тысячи другихъ бумагъ,—но она не затеряется: заклейменная номеромъ и числомъ, она пройдетъ невредимо чрезъ двадцать рукъ, плодясь и производя себѣ подобныхъ. Третій возьметъ ее и полѣзетъ зачѣмъ-то въ шкапъ,

заглянетъ, или въ книгу, или въ другую бумагу, скажетъ нѣсколько магическихъ словъ четвертому — и тотъ пошелъ скрипѣть перомъ. Поскрипѣвъ, передаетъ родительницу съ новымъ чадомъ пятому, — тотъ скрипитъ въ свою очередь перомъ и рождается еще плодъ, пятый охорашиваетъ его и сдаетъ дальше, и такъ бумага идетъ, идетъ—никогда не пропадаетъ: умрутъ ея производители, а она все существуетъ цѣлые вѣка. Когда, наконецъ, ее покроетъ вѣковая пыль, и тогда еще тревожатъ ее и совѣтуются съ нею. И каждый день, каждый часъ, и сегодня, и завтра, и цѣлый вѣкъ, бюрократическая машина работаетъ стройно, непрерывно, безъ отдыха, какъ будто нѣтъ людей,—одни колеса да пружины...»

«Гдѣ же разумъ, оживляющій и двигающій эту фабрику бумагъ?» думалъ Александръ: «въ книгахъ ли, въ самыхъ ли бумагахъ, или въ головахъ этихъ людей?»

И какія лица увидѣлъ онъ тутъ! На улицѣ какъ будто этакія и не встрѣчаются, и не выходятъ на Божій свѣтъ: тутъ, кажется, они родились, выросли, срослись съ своими мѣстами, тутъ и умрутъ. Поглядѣлъ Адуевъ пристально на начальника отдѣленія: точно Юпитеръ - громовержецъ; откроетъ ротъ — и бѣжитъ Меркурій съ мѣдной бляхой на груди; протянетъ руку съ бумагой—и десять рукъ тянутся принять ее.

— Иванъ Иванычъ!—сказалъ онъ.

Иванъ Иванычъ выскочилъ изъ-за стола, побѣжалъ къ Юпитеру и сталъ передъ нимъ, какъ листъ передъ травой. И Александръ оробѣлъ, самъ не зная отчего.

— Дайте табачку!

Тотъ съ подобострастіемъ поднесъ обѣими руками открытую табакерку.

— Да испытайте вотъ ихъ!—сказалъ начальникъ, указывая на Адуева.

«Такъ вотъ кто будетъ меня испытывать!» думалъ Адуевъ,

глядя на жолтую фигуру Ивана Иваныча съ обтертыми локтями.—«Неужели и этотъ человѣкъ рѣшаетъ государственные вопросы!»

— Хороша ли у васъ рука?—спросилъ Иванъ Иванычъ.

— Рука?

— Да-съ; почеркъ. Вотъ потрудитесь переписать эту бумажку.

Александръ удивился этому требованію, но исполнилъ его. Иванъ Иванычъ сморщился, поглядѣлъ на его трудъ.

— Плохо пишутъ-съ,—сказалъ онъ начальнику отдѣленія.

Тотъ поглядѣлъ.

— Да, не хорошо: на-бѣло не можетъ писать. Ну, пусть пока переписываетъ отпуски, а тамъ, какъ привыкнетъ немного, займите его исполненіемъ бумагъ; можетъ-быть, онъ годится: онъ учился въ университетѣ.

Вскорѣ и Адуевъ сталъ одною изъ пружинъ машины. Онъ писалъ, писалъ, писалъ безъ конца, и удивлялся уже, что по утрамъ можно дѣлать что-нибудь другое; а когда вспоминалъ о своихъ проектахъ, краска бросалась ему въ лицо.

«Дядюшка!» думалъ онъ: «въ одномъ ужъ ты правъ, немилосердно правъ; неужели и во всемъ такъ? ужели я ошибался и въ завѣтныхъ, вдохновенныхъ думахъ, и въ теплыхъ вѣрованіяхъ въ любовь, въ дружбу... и въ людей... и въ самого себя?.. Что же жизнь?»

Онъ наклонился надъ бумагой и сильнѣе скрипѣлъ перомъ, а у самого подъ рѣсницами сверкали слезы.

— Тебѣ рѣшительно улыбается фортуна,—говорилъ Петръ Иванычъ племяннику.—Я сначала цѣлый годъ безъ жалованья служилъ, а ты вдругъ поступилъ на старшій окладъ; вѣдь это 750 рублей, а съ наградой 1000 будетъ. Прекрасно на первый случай! Начальникъ отдѣленія хвалитъ тебя; только говоритъ, что ты разсѣянъ; то запятыхъ не поставишь, то забудешь написать содержаніе бумаги. Пожалуйста,

отвыкни: главное дѣло—обращай вниманіе на то, что у тебя передъ глазами, а не заносись вонъ куда.

Дядя указалъ рукой кверху. Съ тѣхъ поръ онъ сдѣлался еще ласковѣе къ племяннику.

— Какой прекрасный человѣкъ мой столоначальникъ, дядюшка!—сказалъ однажды Александръ.

— А ты почемъ знаешь?

— Мы сблизились съ нимъ. Такая возвышенная душа, такое честное, благородное направленіе мыслей! и съ помощникомъ также: это, кажется, человѣкъ съ твердой волей, съ желѣзнымъ характеромъ...

— Ужъ ты успѣлъ сблизиться съ ними?

— Да, какъ же!...

— Не звалъ ли тебя столоначальникъ къ себѣ по четвергамъ?

— Ахъ, очень: каждый четвергъ. Онъ, кажется, чувствуетъ ко мнѣ особое влеченье...

— А помощникъ просилъ денегъ взаймы?

— Да, дядюшка, бездѣлицу... я ему далъ 25 рублей, что со мной было; онъ просилъ еще 50.

— Ужъ далъ! А!—сказалъ съ досадой дядя:—тутъ отчасти я виноватъ, что не предупредилъ тебя; да я думалъ, что ты не до такой степени простъ, чтобъ черезъ двѣ недѣли знакомства давать деньги взаймы. Нечего дѣлать, грѣхъ пополамъ: двѣнадцать съ полтиной считай за мной.

— Какъ, дядюшка, вѣдь онъ отдастъ?

— Держи карманъ! Я его знаю: за нимъ пропадаетъ моихъ 100 рублей съ тѣхъ поръ, какъ я тамъ служилъ. Онъ у всѣхъ беретъ. Теперь, если попроситъ, ты скажи ему, что я прошу его вспомнить мой должокъ—отстанетъ! а къ столоначальнику не ходи.

— Отчего же, дядюшка?

— Онъ картежникъ. Посадитъ тебя съ двумя такими же молодцами, какъ самъ, а тѣ стакнутся и оставятъ тебя безъ гроша.

— Картежникъ! — говорилъ въ изумленіи Александръ: — возможно ли? Кажется, такъ склоненъ къ искреннимъ изліяніямъ...

— А ты скажи ему, такъ, между прочимъ, въ разговорѣ, что я у тебя взялъ всѣ деньги на сохраненіе, такъ и увидишь, склоненъ ли онъ къ искреннимъ изліяніямъ и позоветъ ли когда-нибудь къ себѣ въ четвергъ.

Александръ задумался. Дядя покачалъ головой.

— А ты думалъ, что тамъ около тебя ангелы сидятъ! *Искреннія изліянія, особенное влеченіе!* Какъ, кажется, не подумать о томъ прежде: не мерзавцы ли какіе-нибудь около? Напрасно ты пріѣзжалъ!—сказалъ онъ:—право, напрасно!

Однажды Александръ только-что проснулся, Евсей подалъ ему большой пакетъ съ запиской отъ дяди.

«Наконецъ вотъ тебѣ и литературное занятіе», написано было въ запискѣ: «я вчера витѣлся съ знакомымъ мнѣ журналистомъ: онъ прислалъ тебѣ для опыта работу».

Отъ радости у Александра дрожали руки, когда онъ разпечатывалъ пакетъ. Тамъ была нѣмецкая рукопись.

— Что это—проза?—сказалъ онъ:—о чемъ же?

И прочиталъ написанное наверху карандашомъ:

«*О навозѣ*, статья для отдѣла о сельскомъ хозяйствѣ. Просятъ перевести поскорѣе».

Долго, задумчивый, сидѣлъ онъ надъ статьею, потомъ медленно, со вздохомъ, принялся за перо и началъ переводить. Черезъ два дня статья была готова и отослана.

— Прекрасно, прекрасно!—сказалъ ему черезъ нѣсколько дней Петръ Иванычъ.—Редакторъ преоволенъ, только находитъ, что стиль не довольно строгъ: ну, да съ перваго раза нельзя же всего требовать. Онъ хочетъ познакомиться съ тобой. Ступай къ нему завтра, часовъ въ 7 вечера: тамъ онъ ужъ приготовилъ еще статью.

— Опять о томъ же, дядюшка?

— Нѣтъ, о чемъ-то другомъ; онъ мнѣ сказывалъ, да я забылъ... ахъ, да: *о картофельной патокѣ*. Ты, Александръ, должно быть, въ сорочкѣ родился. Я, наконецъ, начинаю надѣяться, что изъ тебя что-нибудь и выйдетъ: скоро, можетъ-быть, не стану говорить тебѣ, зачѣмъ ты пріѣзжалъ. Не прошло мѣсяца, а ужъ со всѣхъ сторонъ такъ на тебя и льется. Тамъ 1000 рублей, да редакторъ обѣщалъ 100 рублей въ мѣсяцъ за четыре печатныхъ листа: это вѣдь 2200 рублей! Нѣтъ! я не такъ началъ!—сказалъ онъ, сдвинувъ немного брови.—Напиши же къ матери, что ты пристроенъ и какимъ образомъ. Я тоже стану отвѣчать ей, напишу, что я, за ея добро ко мнѣ, сдѣлалъ для тебя все, что̀ могъ.

— Маменька будетъ вамъ... очень благодарна, дядюшка, и я также...—сказалъ Александръ со вздохомъ, но ужъ не бросился обнимать дядю.

III.

Прошло болѣе двухъ лѣтъ. Кто бы узналъ нашего провинціала въ этомъ молодомъ человѣкѣ съ изящными манерами, въ щегольскомъ костюмѣ? Онъ очень измѣнился, возмужалъ. Мягкость линій юношескаго лица, прозрачность и нѣжность кожи, пушокъ на подбородкѣ—все исчезло. Не стало и робкой застѣнчивости, и граціозной неловкости движеній. Черты лица созрѣли и образовали физіономію, а физіономія обозначила характеръ. Лиліи и розы исчезли, какъ будто подъ легкимъ загаромъ. Пушокъ замѣнился небольшими бакенбардами. Легкая и шаткая поступь стала ровною и твердою походкою. Въ голосѣ прибавилось нѣсколько басовыхъ нотъ. Изъ подмалеванной картины вышелъ оконченный портретъ. Юноша превратился въ мужчину. Въ глазахъ блистали самоувѣренность и отвага—не та отвага, что̀ слышно за версту, что̀ глядитъ на все нагло, и ухватками и взглядами говоритъ встрѣчному и попереч-

ному: «смотри, берегись, не задѣнь, не наступи на ногу, а не то—понимаешь? съ нами расправа коротка!» Нѣтъ, выраженіе той отваги, о которой говорю, не отталкиваетъ, а влечетъ къ себѣ. Она узнается по стремленію къ добру, къ успѣху, по желанію уничтожить заграждающія ихъ препятствія... Прежняя восторженность на лицѣ Александра умѣрялась легкимъ оттѣнкомъ задумчивости, первымъ признакомъ закравшейся въ душу недовѣрчивости и, можетъ-быть, единственнымъ слѣдствіемъ уроковъ дяди и безпощаднаго анализа, которому тотъ подвергалъ все, что проносилось въ глазахъ и въ сердцѣ Александра. Александръ усвоилъ, наконецъ, и тактъ, то-есть умѣнье обращаться съ людьми. Онъ не бросался всѣмъ на шею, особенно съ тѣхъ поръ, какъ человѣкъ, склонный къ *искреннимъ изліяніямъ*, несмотря на предостереженіе дяди, обыгралъ его два раза, а человѣкъ, съ твердымъ характеромъ и желѣзной волей, перебралъ у него не мало денегъ взаймы. И другіе люди и случаи много помогли этому. Въ одномъ мѣстѣ онъ замѣчалъ, какъ исподтишка смѣялись надъ его юношескою восторженностью и прозвали романтикомъ. Въ другомъ—едва обращали на него вниманіе, потому что отъ него никому не было ni chaud ni froid. Онъ не давалъ обѣдовъ, не держалъ экипажа, не игралъ въ большую игру. Прежде у Александра болѣло и ныло сердце отъ этихъ стычекъ розовыхъ его мечтаній съ дѣйствительностью. Ему не приходило въ голову спросить себя: да что же я сдѣлалъ отличнаго, чѣмъ отличился отъ толпы? Гдѣ мои заслуги и за что должны замѣчать меня? А между тѣмъ самолюбіе его страдало.

Потомъ онъ сталъ понемногу допускать мысль, что въ жизни видно не все однѣ розы, а есть и шипы, которые иногда покалываютъ, но слегка только, а не такъ, какъ разсказываетъ дядюшка. И вотъ онъ началъ учиться владѣть собою, не такъ часто обнаруживалъ порывы и волненія

и рѣже говорилъ дикимъ языкомъ, по крайней мѣрѣ, при посторонних.

Но все еще, къ немалому горю Петра Иваныча, онъ далеко былъ отъ холоднаго разложенія на простыя начала всего, что волнуетъ и потрясаетъ душу человѣка. О приведеніи же въ ясность всѣхъ тайнъ и загадокъ сердца онъ не хотѣлъ и слушать.

Петръ Иванычъ дастъ ему утромъ порядочный урокъ. Александръ выслушаетъ, смутится или глубоко задумается, а тамъ поѣдетъ куда-нибудь на вечеръ и воротится самъ не свой; дня три ходитъ, какъ шальной—и дядина теорія пойдетъ вся къ чорту. Обаяніе и чадъ бальной сферы, громъ музыки, обнаженныя плечи, огонь взоровъ, улыбка розовыхъ устъ, не дадутъ ему уснуть цѣлую ночь. Ему мерещится то талія, которой онъ касался руками, то томный, продолжительный взоръ, который бросили ему, уѣзжая, то горячее дыханіе, отъ котораго онъ таялъ въ вальсѣ, или разговоръ вполголоса у окна, подъ ревъ мазурки, когда взоры такъ искрились, языкъ говорилъ Богъ знаетъ что. И сердце его билось; онъ съ судорожнымъ трепетомъ обнималъ подушку и долго ворочался съ боку на бокъ.

«Гдѣ же любовь? О, любви, любви жажду!» говорилъ онъ:—«и скоро ли придетъ она? когда настанутъ эти дивныя минуты, эти сладостныя страданія, трепетъ блаженства, слезы...» и проч.

На другой день онъ являлся къ дядѣ.

— Какой, дядюшка, вчера былъ вечеръ у Зарайскихъ! — говорилъ онъ, погружаясь въ воспоминанія о балѣ.

— Хорошъ!

— О, дивный!

— Порядочный ужинъ былъ?

— Я не ужиналъ.

— Какъ такъ? Въ твои лѣта не ужинать, когда можно! Да ты, я вижу, не шутя привыкаешь къ здѣшнему порядку,

даже ужъ слишкомъ. Что жъ тамъ все прилично было? туалетъ, освѣщеніе...

— Да-съ.

— И народъ порядочный?

— О, да! очень порядочный. Какіе глаза, плечи!

— Плечи? у кого?

— Вѣдь про нихъ спрашиваете?

— Про кого?

— Да про дѣвицъ.

— Нѣтъ, я не спрашивалъ про нихъ; но все равно — много было хорошенькихъ?

— О, очень... но жаль, что всѣ онѣ очень однообразны. Что̀ одна скажетъ и сдѣлаетъ въ такомъ-то случаѣ, смотришь—то же повторитъ и другая, какъ будто затверженный урокъ... Была одна... не совсѣмъ похожа на другихъ... а то не видно ни самостоятельности, ни характера. И движенія, и взгляды—все одинаково: не услышишь самородной мысли, ни проблеска чувства... все покрылъ и закрасилъ одинакій лоскъ. Ничто, кажется, не вызоветъ ихъ наружу. И неужели это вѣкъ будетъ заперто и не обнаружится ни передъ кѣмъ? Ужели корсетъ вѣчно будетъ подавлять и вздохъ любви, и вопль растерзаннаго сердца? неужели не дастъ простора чувству?..

— Передъ мужемъ все обнаружится, а то, если разсуждать, по-твоему, вслухъ, такъ, пожалуй, многія и вѣкъ въ дѣвкахъ просидятъ. Есть дуры, что прежде времени обнаруживаютъ то, что̀ слѣдовало бы прятать да подавлять, ну, зато послѣ слезы да слезы: не расчетъ!

— И тутъ расчетъ, дядюшка?..

— Какъ и вездѣ, мой милый; а кто не разсчитываетъ, того называютъ по-русски безрасчетнымъ дуракомъ. Коротко и ясно.

— Удерживать въ груди своей благородный порывъ чувства!..

— О, я знаю, ты не станешь удерживать; ты готовъ на улицѣ, въ театрѣ, броситься на шею пріятелю и зарыдать.

— Такъ что же, дядюшка? Сказали бы только, что это человѣкъ съ сильными чувствами, что кто чувствуетъ такъ, тотъ способенъ ко всему прекрасному и благородному и неспособенъ...

— Неспособенъ разсчитывать, т.-е. размышлять. Велика фигура — человѣкъ съ сильными чувствами, съ огромными страстями! Мало ли какіе есть темпераменты? Восторги, экзальтація: тутъ человѣкъ всего менѣе похожъ на человѣка и хвастаться нечѣмъ. Надо спросить, умѣетъ ли онъ управлять чувствами; если умѣетъ, то и человѣкъ...

— По-вашему, и чувствомъ надо управлять, какъ паромъ, — замѣтилъ Александръ: — то выпустить немного, то вдругъ остановить, открыть клапанъ, или закрыть...

— Да, этотъ клапанъ не даромъ природа дала человѣку — это разсудокъ, а ты вотъ не всегда имъ пользуешься — жаль! а малый порядочный!

— Нѣтъ, дядюшка, грустно слушать васъ! лучше познакомьте меня съ этой пріѣзжей барыней...

— Съ которой? съ Любецкой? Она была вчера?

— Была, долго говорила со мной о васъ, спрашивала о своемъ дѣлѣ.

— Ахъ, да! кстати...

Дядя вынулъ изъ ящика бумагу.

— Отвези ей эту бумагу, скажи, что вчера только, и то насилу, выдали изъ палаты; объясни ей хорошенько дѣло: вѣдь ты слышалъ, какъ мы съ чиновникомъ говорили?

— Да, знаю, знаю; я ужъ объясню.

Александръ обѣими руками схватилъ бумагу и спряталъ въ карманъ. Петръ Иванычъ посмотрѣлъ на него.

— Да что жъ тебѣ вздумалось познакомиться съ нею? Она, кажется, не интересна: съ бородавкой у носа.

— Съ бородавкой? Не помню. Какъ это вы замѣтили, дядюшка?

— У носа, да не замѣтить! Что жъ тебѣ хочется къ ней?

— Она такая добрая и почтенная...

— Какъ же это ты бородавки у носа не замѣтилъ, а ужъ узналъ, что она добрая и почтенная? это странно. Да, позволь... у ней вѣдь есть дочь — эта маленькая брюнетка. А! теперь не удивляюсь. Такъ вотъ отчего ты не замѣтилъ бородавки на носу!

Оба засмѣялись.

— А я такъ удивляюсь, дядюшка,—сказалъ Александръ:— что вы прежде замѣтили бородавку на носу, чѣмъ дочь.

— Подай-ка назадъ бумагу. Ты тамъ, пожалуй, выпустишь все чувство и совсѣмъ забудешь закрыть клапанъ, надѣлаешь вздору, и чортъ знаетъ что объяснишь...

— Нѣтъ, дядюшка, не надѣлаю. И бумаги, какъ хотите, не подамъ, я сейчасъ же...

И онъ скрылся изъ комнаты.

А дѣло до сихъ поръ шло да шло своимъ чередомъ. Въ службѣ замѣтили способности Александра и дали ему порядочное мѣсто. Иванъ Иванычъ и ему съ почтеніемъ началъ подносить свою табакерку, предчувствуя, что онъ, подобно множеству другихъ, послуживъ, какъ онъ говаривалъ, безъ году недѣлю, обгонитъ его, сядетъ ему на шею и махнетъ въ начальники отдѣленія, а тамъ, чего добраго, и въ вице-директоры, какъ вонъ тотъ, или въ директоры, какъ этотъ, а начинали свою служебную школу и тотъ и этотъ подъ его руководствомъ. «А я работай за нихъ!» прибавилъ онъ.—Въ редакціи журнала Александръ тоже сдѣлался важнымъ лицомъ. Онъ занимался и выборомъ, и переводомъ, и поправкою чужихъ статей, писалъ и самъ разные теоретическіе взгляды о сельскомъ хозяйствѣ. Денегъ у него, по его мнѣнію, было больше, нежели сколько нужно, а по мнѣнію дяди—еще недовольно. Но не всегда онъ работалъ

для денегъ. Онъ не отказывался отъ отрадной мысли о другомъ высшемъ призваніи. Юношескихъ его силъ ставало на все. Онъ кралъ время у сна, у службы, и писалъ и стихи, и повѣсти, и историческіе очерки, и біографіи. Дядя ужъ не обклеивалъ перегородокъ его сочиненіями, а читалъ ихъ молча, потомъ посвистывалъ или говорилъ: «да! это лучше прежняго». Нѣсколько статей явилось подъ чужимъ именемъ. Александръ съ радостнымъ трепетомъ прислушивался къ одобрительному суду друзей, которыхъ у него было множество и на службѣ, и по кондитерскимъ, и въ частныхъ домахъ. Исполнялась его лучшая, послѣ любви, мечта. Будущность обѣщала ему много блеску, торжества; его, казалось, ожидалъ не совсѣмъ обыкновенный жребій, какъ вдругъ...

Мелькнуло нѣсколько мѣсяцевъ. Александра стало почти нигдѣ не видно, какъ будто онъ пропалъ. Дядю онъ посѣщалъ рѣже. Тотъ приписывалъ это его занятіямъ и не мѣшалъ ему. Но редакторъ журнала, однажды при встрѣчѣ съ Петромъ Иванычемъ, жаловался, что Александръ задерживаетъ статьи. Дядя обѣщалъ, при первомъ случаѣ, объясниться съ племянникомъ. Случай представился дня черезъ три. Александръ вбѣжалъ утромъ къ дядѣ, какъ сумасшедшій. Въ его походкѣ и движеніяхъ видна была радостная суетливость.

— Здравствуйте, дядюшка; ахъ, какъ я радъ, что васъ вижу!—сказалъ онъ и хотѣлъ обнять его, но тотъ успѣлъ уйти за столъ.

— Здравствуй, Александръ! Что это тебя давно не видно?

— Я... я занятъ былъ, дядюшка: дѣлалъ извлеченія изъ нѣмецкихъ экономистовъ...

— А! что жъ редакторъ лжетъ? Онъ третьяго дня сказалъ мнѣ, что ты ничего не дѣлаешь—прямой журналистъ! Я жъ его, при встрѣчѣ, отдѣлаю...

— Нѣтъ, вы ему ничего не говорите, — перебилъ Але-

ксандръ:—я ему еще не посылалъ своей работы, оттого онъ такъ и сказалъ...

— Да что съ тобой? у тебя такое праздничное лицо! Асессора, что ли, тебѣ дали, или крестъ?

Александръ моталъ головой.

— Ну, деньги?

— Нѣтъ.

— Такъ что жъ ты такимъ полководцемъ смотришь? Если нѣтъ, такъ не мѣшай мнѣ, а вотъ лучше сядь да напиши въ Москву, къ купцу Дубасову, о скорѣйшей высылкѣ остальныхъ денегъ. Прочти его письмо: гдѣ оно? вотъ.

Оба замолчали и начали писать.

Кончилъ!—сказалъ Александръ черезъ нѣсколько минутъ.

— Проворно: молодецъ! Покажи-ка. Что это? Ты ко мнѣ пишешь. «М. Г. Петръ Иванычъ!» Его зовутъ Тимоѳей Никонычъ. Какъ 520 рублей! 5200! Что съ тобой, Александръ?

Петръ Иванычъ положилъ перо и поглядѣлъ на племянника. Тотъ покраснѣлъ.

— Вы ничего не замѣчаете въ моемъ лицѣ? —спросилъ онъ.

— Что-то глуповато... Постой-ка... Ты влюбленъ? — сказалъ Петръ Иванычъ.

Александръ молчалъ.

Такъ, что ли? угадалъ?

Александръ, съ торжественной улыбкой, съ сіяющимъ взоромъ, кивнулъ утвердительно головой.

— Такъ и есть! Какъ это я сразу не догадался? Такъ вотъ отчего ты сталъ лѣниться, отъ этого и не видать тебя нигдѣ. А Зарайскіе и Скачины пристаютъ ко мнѣ: гдѣ да гдѣ Александръ Ѳедорычъ? онъ вонъ гдѣ — на седьмомъ небѣ!

Петръ Иванычъ сталъ опять писать.

Въ Наденьку Любецкую! — сказалъ Александръ.

— Я не спрашивалъ,—отвѣчалъ дядя:—въ кого бы ни было—все одна дурь. Въ какую Любецкую? это что съ бородавкой?

— Э! дядюшка!—съ досадой перебилъ Александръ: какая бородавка?

— У самаго носа. Ты все еще не разглядѣлъ?

— Вы все смѣшиваете. Это, кажется, у матери есть бородавка около носа?

— Ну, все равно.

— Все равно! Наденька! этотъ ангелъ! неужели вы не замѣтили ее? Видѣть однажды—и не замѣтить!

— Да что жъ въ ней особеннаго? Чего жъ тутъ замѣчать? вѣдь бородавки, ты говоришь, у ней нѣтъ?..

— Далась вамъ эта бородавка? Не грѣшите, дядюшка: можно ли сказать, что она похожа на этихъ свѣтскихъ, чопорныхъ маріонетокъ? Вы разсмотрите ея лицо: какая тихая, глубокая дума покоится на немъ! Это—не только чувствующая, это мыслящая дѣвушка... глубокая натура...

Дядя принялся скрипѣть перомъ по бумагѣ, а Александръ продолжалъ:

— Въ разговорѣ у ней вы не услышите пошлыхъ, общихъ мѣстъ. Какимъ свѣтлымъ умомъ блестятъ ея сужденія! что̀ за огонь въ чувствахъ! какъ глубоко понимаетъ она жизнь! Вы своимъ взглядомъ отравляете ее, а Наденька миритъ меня съ нею.

Александръ замолчалъ на минуту и погрузился совсѣмъ въ мечту о Наденькѣ. Потомъ началъ опять.

— А когда она подниметъ глаза, вы сейчасъ увидите, какому пылкому и нѣжному сердцу служатъ они проводникомъ! а голосъ, голосъ! что̀ за мелодія, что̀ за нѣга въ немъ! Но когда этотъ голосъ прозвучитъ признаніемъ... нѣтъ выше блаженства на землѣ! Дядюшка! какъ прекрасна жизнь! какъ я счастливъ!

У него выступили слезы; онъ бросился и съ розмаху обнялъ дядю.

— Александръ! — вскричалъ, вскочивъ съ мѣста, Петръ Иванычъ: закрой скорѣй свой клапанъ, — весь паръ выпустилъ! Ты сумасшедшій! смотри, что ты надѣлалъ! въ одну секунду ровно двѣ глупости: перемялъ прическу и закапалъ письмо. Я думалъ, ты совсѣмъ отсталъ отъ своихъ привычекъ. Давно ты не былъ такимъ. Посмотри, посмотри, ради Бога, на себя въ зеркало: ну, можетъ ли быть глупѣе физіономія? а неглупъ!

— Ха-ха-ха! я счастливъ, дядюшка!

— Это замѣтно!

— Не правда ли? въ моемъ взорѣ, я знаю, блещетъ гордость. Я гляжу на толпу, какъ могутъ глядѣть только герой, поэтъ и влюбленный, счастливый взаимною любовью...

— И какъ сумасшедшіе смотрятъ, или еще хуже... Ну, что я теперь стану дѣлать съ письмомъ?

— Позвольте, я соскоблю—и незамѣтно будетъ,—сказалъ Александръ.

Онъ бросился къ столу съ тѣмъ же судорожнымъ трепетомъ, началъ скоблить, чистить, тереть, и протеръ на письмѣ скважину. Столъ отъ тренія зашатался и толкнулъ этажерку. На этажеркѣ стоялъ бюстикъ, изъ итальянскаго алебастра, Софокла или Эсхила. Почтенный трагикъ отъ сотрясенія сначала раза три качнулся на зыбкомъ пьедесталѣ взадъ и впередъ, потомъ свергнулся съ этажерки и разбился вдребезги.

— Третья глупость, Александръ! — сказалъ Петръ Иванычъ, поднимая черепки:—а это пятьдесятъ рублей стоитъ.

— Я заплачу, дядюшка, о! я заплачу, но не проклинайте моего порыва: онъ чистъ и благороденъ: я счастливъ, счастливъ! Боже! какъ хороша жизнь!

Дядя сморщился и покачалъ головой.

— Когда ты умнѣе будешь, Александръ? Богъ знаетъ, что говоритъ!

Онъ, между тѣмъ, съ сокрушеніемъ смотрѣлъ на разбитый бюстъ.

— Заплачу!—сказалъ онъ:—заплачу. Это будетъ четвертая глупость. Тебѣ, я вижу, хочется разсказать о своемъ счастіи. Ну, нѐчего дѣлать. Если ужъ дяди обречены принимать участіе во всякомъ вздорѣ своихъ племянниковъ, такъ и быть, я даю тебѣ четверть часа: сиди смирно, не сдѣлай какой-нибудь пятой глупости и разсказывай, а потомъ, послѣ этой новой глупости, уходи: мнѣ нѐкогда. Ну... ты счастливъ... такъ что же? разсказывай же поскорѣе.

— Если и такъ, дядюшка, то эти вещи не разсказываются,—съ скромной улыбкой замѣтилъ Александръ.

— Я-было приготовилъ тебя, а ты, я вижу, все-таки хочешь начать съ обыкновенныхъ прелюдій. Это значитъ, что разсказъ продолжится цѣлый часъ; мнѣ нѐкогда: почта не будетъ ждать. Постой, ужъ я лучше самъ разскажу.

— Вы? вотъ забавно!

— Ну, слушай же, очень забавно! Ты вчера видѣлся съ своей красавицей наединѣ...

— А вы почемъ знаете?—съ жаромъ началъ Александръ: — вы подсылаете смотрѣть за мной?

— Какъ же, я содержу для тебя шпіоновъ на жалованьи. Съ чего ты взялъ, что я такъ забочусь о тебѣ? мнѣ что за дѣло?

Эти слова сопровождались ледянымъ взглядомъ.

— Такъ почему же вы знаете? — спросилъ Александръ, подходя къ дядѣ.

— Сиди, сиди, ради Бога, и не подходи къ столу, что-нибудь разобьешь. У тебя на лицѣ все написано, я отсюда буду читать. Ну, у васъ было объясненіе,—сказалъ онъ.

Александръ покраснѣлъ и молчалъ. Видно, что дядя опять попалъ.

— Вы оба, какъ водится, были очень глупы, — говорилъ Петръ Иванычъ.

Племянникъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе.

— Дѣло началось съ пустяковъ, когда вы остались одни, съ какого-нибудь узора,—продолжалъ дядя: — ты спросилъ, кому она вышиваетъ? она отвѣчала «маменькѣ или тетенькѣ», или что-нибудь подобное, а сами вы дрожали, какъ въ лихорадкѣ...

— А вотъ нѣтъ, дядюшка, не угадали: не съ узора; мы были въ саду...—проговорился Александръ и замолчалъ.

— Ну, съ цвѣтка, что ли,— сказалъ Петръ Иванычъ: — можетъ-быть, еще съ желтаго, все равно; тутъ что̀ попадется въ глаза, лишь бы начать разговоръ; такъ-то слова съ языка нейдутъ. Ты спросилъ, нравится ли ей цвѣтокъ; она отвѣчала *да* — почему, дескать? «Такъ», сказала она, и замолчали оба, потому что хотѣли сказать совсѣмъ другое, и разговоръ не вязался. Потомъ взглянули другъ на друга, улыбнулись и покраснѣли.

— Ахъ, дядюшка, дядюшка, что вы!.. — говорилъ Александръ въ сильномъ смущеніи.

— Потомъ,—продолжалъ неумолимый дядя: — ты началъ стороной говорить о томъ, что вотъ-де передъ тобой открылся новый міръ. Она вдругъ взглянула на тебя, какъ будто слушаетъ неожиданную новость; ты, я думаю, сталъ втупикъ, растерялся, потомъ опять чуть внятно сказалъ, что только теперь ты узналъ цѣну жизни, что и прежде ты видалъ ее... какъ ее? Марья, что ли?

— Наденька.

— Но видалъ какъ будто во снѣ, предчувствовалъ встрѣчу съ ней, что васъ свела симпатія, и что, дескать, теперь, ты посвятишь ей одной всѣ стихи и прозу... А руками-то, я думаю, какъ работалъ! вѣрно опрокинулъ или разбилъ что-нибудь.

— Дядюшка! вы подслушали насъ!—вскричалъ внѣ себя Александръ.

— Да, я тамъ за кустомъ сидѣлъ. Мнѣ вѣдь только и дѣла, что бѣгать за тобой, да подслушивать всякій вздоръ.

— Почему же вы все это знаете?—спросилъ съ недоумѣніемъ Александръ.

— Мудрено! съ Адама и Евы одна и та же исторія у всѣхъ, съ маленькими варіантами. Узнай характеръ дѣйствующихъ лицъ, узнаешь и варіанты. Это удивляетъ тебя, а еще писатель! Вотъ теперь и будешь прыгать и скакать дня три, какъ помѣшанный, вѣшаться всѣмъ на шею — только, ради Бога, не мнѣ. Я тебѣ совѣтовалъ бы запереться на это время въ своей комнатѣ, выпустить тамъ весь этотъ паръ и продѣлать всѣ продѣлки съ Евсеемъ, чтобы никто не видалъ. Потомъ немного одумаешься, будешь добиваться ужъ другого, поцѣлуя, напримѣръ...

— Поцѣлуй Наденьки! о, какая высокая, небесная награда!—почти заревѣлъ Александръ.

— Небесная!

— Что же—матеріальная, земная, по-вашему?

— Безъ сомнѣнія, дѣйствіе электричества; влюбленные—все равно, что двѣ лейденскія банки: оба сильно заряжены;—поцѣлуями электричество разрѣшается, и когда разрѣшится совсѣмъ—прости любовь, слѣдуетъ охлажденіе...

— Дядюшка...

— Да! а ты думалъ какъ?

— Какой взглядъ! какія понятія!

— Да, я забылъ: у тебя еще будутъ фигурировать «вещественные знаки». Опять нанесешь всякой дряни и будешь задумываться да разглядывать, а дѣло въ сторону.

Александръ вдругъ схватился за карманъ.

— Что̀, ужъ есть? будешь дѣлать все то же, что̀ люди дѣлаютъ съ сотворенія міра.

— Стало-быть, то же, что̀ и вы дѣлали, дядюшка?

— Да, только поглупѣе.

— Поглупѣе! Не называете ли вы глупостью то, что̀ я буду любить глубже, сильнѣе васъ, не издѣваться надъ чувствомъ, не шутить и не играть имъ холодно, какъ вы... и не сдергивать покрывала съ священныхъ тайнъ...

— Ты будешь любить, какъ и другіе, ни глубже, ни сильнѣе; будешь также сдергивать и покрывало съ тайнъ... но только ты будешь вѣрить въ вѣчность и неизмѣнность любви, да объ одномъ этомъ и думать, а вотъ это-то и глупо: самъ себѣ готовишь горя болѣе, нежели сколько бы его должно быть.

— О, это ужасно, ужасно, что̀ вы говорите, дядюшка, Сколько разъ я давалъ себѣ слово таить передъ вами то! что̀ происходитъ въ сердцѣ.

— Зачѣмъ же не сдержалъ? Вотъ пришелъ — помѣшалъ мнѣ...

— Но вѣдь вы одни у меня, дядюшка, близкіе: съ кѣмъ же мнѣ раздѣлить этотъ избытокъ чувствъ? а вы безъ милосердія вонзаете свой анатомическій ножъ въ самые тайные изгибы моего сердца.

— Я это не для своего удовольствія дѣлаю: ты самъ просилъ моихъ совѣтовъ. Отъ сколькихъ глупостей я остерегъ тебя...

— Нѣтъ, дядюшка, пусть же я буду вѣчно глупъ въ вашихъ глазахъ, но я не могу существовать съ такими понятіями о жизни, о людяхъ. Это больно, грустно! тогда мнѣ не надо жизни, я не хочу ея при такихъ условіяхъ—слышите ли? я не хочу.

— Слышу; да что жъ мнѣ дѣлать? вѣдь не могу же я тебя лишить ея.

— Да!—говорилъ Александръ:—вопреки вашимъ предсказаніямъ, я буду счастливъ, буду любить вѣчно и однажды.

— Охъ, нѣтъ! Я предчувствую, что ты еще много коечего перебьешь у меня. Но это бы все ничего: любовь лю-

бовью; никто не мѣшаетъ тебѣ; не нами заведено заниматься особенно прилежно любовью въ твои лѣта, но однакожъ, не до такой степени, чтобы бросать дѣло; любовь любовью, а дѣло дѣломъ...

— Да я дѣлаю извлеченія изъ нѣмецкихъ...

— Полно, никакихъ ты извлеченій не дѣлаешь, предаешься только *сладостной нѣгѣ*, а редакторъ откажетъ тебѣ...

— Пусть его! я не нуждаюсь. Могу ли я думать теперь о презрѣнной пользѣ, когда...

— О *презрѣнной пользѣ!* презрѣнная! Ты ужъ лучше построй въ горахъ хижину, ѣшь хлѣбъ съ водой и пой:

Мнѣ хижина убога
Съ тобою будетъ рай...

но только какъ не станетъ у тебя «презрѣннаго металла», у меня не проси—не дамъ...

— Я, кажется, не часто безпокоилъ васъ.

— До сихъ поръ, слава Богу, нѣтъ, а можетъ случиться, если бросишь дѣло; любовь тоже требуетъ денегъ: тутъ и лишнее щегольство, и разныя другія траты... Охъ, эта мнѣ любовь въ двадцать лѣтъ! вотъ ужъ презрѣнная, такъ презрѣнная, никуда не годится!

— Какая же, дядюшка, годится? въ сорокъ?

— Я не знаю, какова любовь въ сорокъ лѣтъ, а въ тридцать девять...

— Какъ ваша?

— Пожалуй, какъ моя.

— То-есть, никакая.

— Ты почему знаешь?

— Будто вы можете любить?

— Почему же нѣтъ? развѣ я не человѣкъ или развѣ мнѣ восемьдесять лѣтъ? Только если я люблю, то люблю разумно, помню себя, не бью и не опрокидываю ничего.

— Разумная любовь! хороша любовь, которая помнитъ

себя!—насмѣшливо замѣтилъ Александръ:—которая ни на минуту не забудется...

— Дикая, животная, — перебилъ Петръ Иванычъ: — не помнитъ, а разумная должна помнить; въ противномъ случаѣ это не любовь...

— А что же?..

— Такъ, гнусность, какъ ты говоришь.

— Вы... любите! — говорилъ Александръ, глядя недовѣрчиво на дядю:—ха-ха-ха!

Петръ Иванычъ молча писалъ.

— Кого же, дядюшка?—спросилъ Александръ.

— Тебѣ хочется знать?

— Хотѣлось бы.

— Свою невѣсту.

— Не... невѣсту! — едва выговорилъ Александръ, вскочивъ съ мѣста и подходя къ дядѣ.

— Не близко, не близко, Александръ, закрой клапанъ!— заговорилъ Петръ Иванычъ, увидя, какіе большіе глаза сдѣлалъ племянникъ, и проворно придвинулъ къ себѣ разныя мелкія вещицы, бюстики, фигурки, часы и чернилицу.

— Стало-быть, вы женитесь? — спросилъ Александръ съ тѣмъ же изумленіемъ.

— Стало-быть.

— И вы такъ покойны! пишете въ Москву письма, разговариваете о постороннихъ предметахъ, ѣздите на заводъ и еще такъ адски холодно разсуждаете о любви!

— Адски холодно — это ново! въ аду, говорятъ жарко. Да что ты на меня смотришь такъ дико?

— Вы—женитесь!

— Что жъ тутъ удивительнаго? — спросилъ Петръ Иванычъ, положивъ перо.

— Какъ что? женитесь и ни слова мнѣ!

— Извини, я забылъ попросить у тебя позволенія.

— Не просить позволенія, дядюшка, а надо же мнѣ

знать. Родной дядя женится, а я ничего не знаю, мнѣ и не сказали!..

— Вотъ вѣдь сказалъ.

— Сказали, потому что кстати пришлось.

— Я стараюсь, по возможности, все дѣлать кстати.

— Нѣтъ, чтобъ первому мнѣ сообщить вашу радость: вы знаете, какъ я люблю васъ и какъ раздѣлю...

— Я вообще избѣгаю дѣлежа, а въ женитьбѣ и подавно.

— Знаете что̀, дядюшка? — сказалъ Александръ съ живостью: — можетъ-быть... нѣтъ, не могу таиться передъ вами... Я не таковъ, все выскажу...

— Охъ, Александръ, некогда мнѣ; если новая исторія, такъ нельзя ли завтра?

— Я хочу только сказать, что, можетъ-быть... и я близокъ къ тому же счастью...

— Что̀, — спросилъ Петръ Иванычъ, слегка навостривъ уши:—это что-то любопытно...

— А! любопытно? такъ и я помучаю васъ: не скажу.

Петръ Иванычъ равнодушно взялъ пакетъ, вложилъ туда письмо и началъ запечатывать.

— И я, можетъ-быть, женюсь! — сказалъ Александръ на ухо дядѣ.

Петръ Иванычъ не допечаталъ письма и поглядѣлъ на него очень серьёзно.

— Закрой клапанъ, Александръ!—сказалъ онъ.

— Шутите, шутите, дядюшка, а я говорю не шутя. Попрошу у маменьки позволенія.

— Тебѣ жениться!

— А что же?

— Въ твои лѣта!

— Мнѣ двадцать три года.

— Пора! Въ эти лѣта женятся только мужики, когда имъ нужна работница въ домѣ.

— Но если я влюбленъ въ дѣвушку и есть возможность жениться, такъ, по-вашему, не нужно...

— Я тебѣ никакъ не совѣтую жениться на женщинѣ, въ которую ты влюбленъ.

— Какъ, дядюшка? это новое; я никогда не слыхалъ.

— Мало ли ты чего не слыхалъ!

— Я думалъ все, что супружества безъ любви не должно быть.

— Супружество супружествомъ, а любовь любовью,—сказалъ Петръ Иванычъ.

— Какъ же жениться... по расчету?

— Съ расчетомъ, а не по расчету. Только расчетъ этотъ долженъ состоять не въ однѣхъ деньгахъ. Мужчина такъ созданъ, чтобъ жить въ обществѣ женщины; ты и станешь разсчитывать, какъ бы жениться, станешь искать, выбирать между женщинами...

— Искать, выбирать! — съ изумленіемъ сказалъ Александръ.

— Да, выбирать. Поэтому-то и не совѣтую жениться, когда влюбишься. Вѣдь любовь пройдетъ—это ужъ пошлая истина.

— Это самая грубая ложь и клевета.

— Ну, теперь тебя не убѣдишь; увидишь самъ современемъ, а теперь запомни мои слова только: любовь пройдетъ, повторяю я, и тогда женщина, которая казалась тебѣ идеаломъ совершенства, можетъ-быть, покажется очень несовершенною, а дѣлать будетъ нечего. Любовь заслонитъ отъ тебя недостатокъ качествъ, нужныхъ для жены. Тогда какъ выбирая, ты хладнокровно разсудишь, имѣетъ ли такая-то или такая женщина качества, какія хочешь видѣть въ женѣ! вотъ въ чемъ главный расчетъ. И если отыщешь такую женщину, она непремѣнно должна нравиться тебѣ постоянно, потому что отвѣчаетъ твоимъ желаніямъ. Изъ этого воз-

никнутъ между ею и тобою близкія отношенія, которыя потомъ образуютъ...

— Любовь?—спросилъ Александръ.

— Да... привычку.

— Жениться безъ увлеченія, безъ поэзіи любви, безъ страсти, разсуждать, какъ и зачѣмъ!!

— А ты женился бы, не разсуждая и не спрашивая себя: зачѣмъ? такъ точно, какъ, поѣхавши сюда, тоже не спросилъ себя: зачѣмъ?

— Такъ вы женитесь по расчету?—спросилъ Александръ.

— Съ расчетомъ,—замѣтилъ Петръ Иванычъ.

— Это все равно.

— Нѣтъ, по расчету значитъ жениться для денегъ—это низко; но жениться безъ расчета—это глупо!.. а тебѣ теперь вовсе не слѣдуетъ жениться.

— Когда же жениться? Когда состарѣюсь? Зачѣмъ я буду слѣдовать нелѣпымъ примѣрамъ.

— Въ томъ числѣ и моему? спасибо!

— Я не про васъ говорю, дядюшка, а про всѣхъ вообще. Услышишь о свадьбѣ, пойдешь посмотрѣть—и что же? видишь прекрасное, нѣжное существо, почти ребенка, которое ожидало только волшебнаго прикосновенія любви, чтобы развернуться въ пышный цвѣтокъ, и вдругъ ее отрываютъ отъ куколъ, отъ няни, отъ дѣтскихъ игръ, отъ танцевъ, и слава Богу, если только отъ этого; а часто не заглянутъ въ ея сердце, которое, можетъ-быть, не принадлежитъ уже ей. Ее одѣваютъ въ газъ, въ блонды, убираютъ цвѣтами и, несмотря на слезы, на блѣдность, влекутъ, какъ жертву, и ставятъ — подлѣ кого же? подлѣ пожилого человѣка, по большей части некрасиваго, который ужъ утратилъ блескъ молодости. Онъ, или бросаетъ на нее взоры оскорбительныхъ желаній, или холодно осматриваетъ ее съ головы до ногъ, а самъ думаетъ, кажется: «хороша ты, да, чай, съ блажью въ головѣ: любовь да розы,—я уйму эту дурь, это —

глупости! у меня полно вздыхать да мечтать, а веди себя пристойно», или еще хуже—мечтаетъ объ ея имѣніи. Самому молодому мало-мало тридцать лѣтъ. Онъ часто съ лысиною, правда, съ крестомъ, или иногда со звѣздой. И говорятъ ей: «вотъ кому обречены всѣ сокровища твоей юности, ему и первое біеніе сердца, и признаніе, и взгляды, и рѣчи, и дѣвственныя ласки, и вся жизнь». А кругомъ толпой тѣснятся тѣ, кто, по молодости и красотѣ, подъ пару ей, и кому бы надо было стать рядомъ съ невѣстой. Они пожираютъ взглядами бѣдную жертву и какъ-будто говорятъ: «вотъ, когда мы истощимъ свѣжесть, здоровье, оплѣшивѣемъ, и мы женимся, и намъ достанется такой же пышный цвѣтокъ...» Ужасно!..

— Дико, не хорошо, Александръ! пишешь ты ужъ два года, — сказалъ Петръ Иванычъ: — и о наземѣ, и о картофелѣ, и о другихъ серьезныхъ предметахъ, гдѣ стиль строгій, сжатый, а все еще дико говоришь. Ради Бога, не предавайся экстазу, или, по крайней мѣрѣ, какъ эта дурь найдетъ на тебя, такъ ужъ молчи, дай ей пройти, путнаго ничего не скажешь и не сдѣлаешь: выйдетъ непремѣнно нелѣпость.

— Какъ, дядюшка, а развѣ не въ экстазѣ родится мысль поэта?

— Я не знаю, какъ она родится, а знаю, что выходитъ совсѣмъ готовая изъ головы, то-есть когда обработается размышленіемъ: тогда только она и хороша. Ну, а потвоему,—началъ, помолчавъ, Петръ Иванычъ:—за кого же бы выдавать эти прекрасныя существа?

— За тѣхъ, кого они любятъ, кто еще не утратилъ блеска юношеской красоты, въ комъ и въ головѣ и въ сердцѣ—всюду замѣтно присутствіе жизни, въ глазахъ не угасъ еще блескъ, на щекахъ не остылъ румянецъ, не пропала свѣжесть — признаки здоровья; кто бы не истощенной рукой повелъ по пути жизни прекрасную подругу, а принесъ бы

ей въ даръ сердце, полное любви къ ней, способное понять и раздѣлить ея чувства, когда права природы...

— Довольно! то-есть, за такихъ молодцовъ, какъ ты. Если бъ мы жили *среди полей и лѣсовъ дремучихъ* — такъ, а то жени вотъ этакого молодца, какъ ты—много будетъ проку! въ первый годъ съ ума сойдетъ, а тамъ и пойдетъ заглядывать за кулисы, или дастъ въ соперницы женѣ ея же горничную, потому что права-то природы, о которыхъ ты толкуешь, требуютъ перемѣны, новостей — славный порядокъ! а тамъ и жена, замѣтивъ мужнины проказы, полюбитъ вдругъ каски, наряды, да маскарады, и сдѣлаетъ тебѣ того... а безъ состоянія такъ еще хуже! ѣсть, говоритъ, нечего!

Петръ Иванычъ сдѣлалъ кислую мину.

— «Я, говоритъ, женатъ,—продолжалъ онъ:—у меня, говоритъ, ужъ трое дѣтей, помогите, не могу прокормиться, я бѣденъ...» бѣденъ! какая мерзость! нѣтъ, я надѣюсь, что ты не попадешь ни въ ту, ни въ другую категорію.

— Я попаду въ категорію счастливыхъ мужей, дядюшка, а Наденька—счастливыхъ женъ. Не хочу жениться, какъ женится бо̀льшая часть: наладили одну пѣсню: «молодость прошла, одиночество наскучило, такъ надо жениться!» Я не таковъ!

— Бредишь, милый.

— Да почему вы знаете?

— Потому что ты такой же человѣкъ, какъ другіе, а другихъ я давно знаю. Ну, скажи-ка ты, зачѣмъ женишься?

— Какъ зачѣмъ? Наденька—жена моя! — воскликнулъ Александръ, закрывъ лицо руками.

— Ну, что? видишь—и самъ не знаешь.

— У! духъ замираетъ отъ одной мысли. Вы не знаете, какъ я люблю ее, дядюшка! я люблю, какъ никогда никто не любилъ: всѣми силами души—ей все...

— Лучше бы ты, Александръ, выбранилъ или, ужъ, такъ

и быть, обнялъ меня, чѣмъ повторять эту глупѣйшую фразу! Какъ это у тебя языкъ поворотился? «какъ никогда никто не любилъ!»

Петръ Иванычъ пожалъ плечами.

— Что жъ, развѣ это не можетъ быть?

— Впрочемъ, точно, глядя на твою любовь, я думаю, что это даже возможно: глупѣе любить нельзя!

— Но она говоритъ, что надо ждать годъ, что мы молоды, должны испытать себя... цѣлый годъ... и тогда...

— Годъ! а! давно бы ты сказалъ! — перебилъ Петръ Иванычъ: — это она предложила? Какая же она умница! Сколько ей лѣтъ?

— Восьмнадцать.

— А тебѣ—двадцать три: ну, братъ, она въ двадцать три раза умнѣе тебя. Она, какъ я вижу, понимаетъ дѣло: съ тобою она пошалитъ, пококетничаетъ, время проведетъ весело, а тамъ... есть между этими дѣвчонками преумныя! Ну, такъ ты не женишься. Я думалъ, ты хочешь это какъ-нибудь поскорѣе повернуть, да тайкомъ. Въ твои лѣта эти глупости такъ проворно дѣлаются, что не успѣешь и помѣшать; а то черезъ годъ! до тѣхъ поръ она еще надуетъ тебя...

— Она—надуетъ, кокетничаетъ! дѣвчонка! она, Надежка! фи, дядюшка! Съ кѣмъ вы жили всю жизнь, съ кѣмъ имѣли дѣла, кого любили, если у васъ такія черныя подозрѣнія?..

— Жилъ съ людьми, любилъ женщину.

— Она обманетъ! Этотъ ангелъ, эта олицетворенная искренность, женщина, какую, кажется, Богъ впервые создалъ во всей чистотѣ и блескѣ...

— А все-таки женщина, и вѣроятно обманетъ.

— Вы послѣ этого скажете, что и я надуй?

— Современемъ— да, и ты.

— Я! про тѣхъ, кого вы не знаете, вы можете заключать,

что угодно; но меня—не грѣхъ ли вамъ подозрѣвать въ такой гнусности? Кто же я въ вашихъ глазахъ?

— Человѣкъ.

— Не всѣ одинаковы. Знайте же, что я, не шутя, искренно далъ ей обѣщаніе любить всю жизнь; я готовъ подтвердить это клятвой...

— Знаю, знаю! Порядочный человѣкъ не сомнѣвается въ искренности клятвы, когда даетъ ее женщинѣ, а потомъ измѣнитъ или охладѣетъ, и самъ не знаетъ какъ. Это дѣлается не съ намѣреніемъ, и тутъ никакой гнусности нѣтъ, некого винить: природа вѣчно любить не позволила. И вѣрующіе въ вѣчную и неизмѣнную любовь дѣлаютъ то же самое, что и невѣрующіе, только не замѣчаютъ или не хотятъ сознаться; мы, дескать, выше этого, не люди, а ангелы—глупость!

— Какъ же есть любовники, супруги, которые вѣчно любятъ другъ друга и всю жизнь живутъ?..

— Вѣчно! кто двѣ недѣли любитъ, того называютъ вѣтреникомъ, а два, три года—такъ ужъ и вѣчно! Разбери-ка, какъ любовь создана, и самъ увидишь, что она не вѣчна! Живость, пылкость и лихорадочность этого чувства не даютъ ему быть продолжительнымъ. Любовники, супруги живутъ всю жизнь вмѣстѣ—правда! да развѣ любятъ всю жизнь другъ друга! будто ихъ всегда связываетъ первоначальная любовь? будто они ежеминутно ищутъ другъ друга, глядятъ и не наглядятся? Куда подъ конецъ дѣнутся мелочныя угожденія, безпрестанная внимательность, жажда быть вмѣстѣ, слезы, восторги—всѣ эти вздоры? Холодность и неповоротливость мужей вошла въ пословицу. «Ихъ любовь обращается въ дружбу!» говорятъ всѣ важно: такъ вотъ ужъ и не любовь! Дружбу! А что это за дружба? Мужа съ женой связываютъ общіе интересы, обстоятельства, одна судьба,—вотъ и живутъ вмѣстѣ; а нѣтъ этого, такъ и расходятся, любятъ другихъ,—иной прежде, другой

послѣ: это называется измѣной!.. А живучи вмѣстѣ, живутъ потомъ привычкой, которая, скажу тебѣ на ухо, сильнѣе всякой любви: недаромъ называютъ ее второй натурой; иначе бы люди не перестали терзаться всю жизнь въ разлукѣ или по смерти любимаго предмета, а вѣдь утѣшаются. А то наладили: вѣчно, вѣчно!.. не разберутъ, да и кричатъ.

— Какъ же вы, дядюшка, не опасаетесь за себя? Стало быть, и ваша невѣста... извините... надуетъ васъ?..

— Не думаю.

— Какое самолюбіе!

— Это не самолюбіе, а расчетъ.

— Опять расчетъ?

— Ну; размышленіе, если хочешь.

— А если она влюблена въ кого-нибудь?

— До этого не надо допускать; а если бъ и случился такой грѣхъ, такъ можно поискуснѣе расхолодить.

— Будто это можно? развѣ въ вашей власти...

— Весьма.

— Этакъ бы дѣлали всѣ обманутые мужья. — сказалъ Александръ:—если бъ былъ способъ...

— Не всѣ мужья одинаковы, мой милый: одни очень равнодушны къ своимъ женамъ, не обращаютъ вниманія на то, что дѣлается вокругъ нихъ, и не хотятъ замѣтить; другіе изъ самолюбія и хотѣли бы, да плохи: не умѣютъ взяться за дѣло.

— Какъ же вы сдѣлаете?

— Это мой секретъ; тебѣ не втолкуешь: ты въ горячкѣ.

— Я счастливъ теперь и благодарю Бога; а о томъ, что̀ будетъ впереди, и знать не хочу.

— Первая половина твоей фразы такъ умна, что хоть бы не влюбленному ее сказать: она показываетъ умѣнье пользоваться настоящимъ; а вторая, извини, никуда не годится. «Не хочу знать, что̀ будетъ впереди», т.-е. не хочу думать

о томъ, что̀ было вчера и что̀ есть сегодня; не стану ни соображать, ни размышлять, не приготовлюсь къ тому, не остерегусь этого, такъ, куда вѣтеръ подуетъ! Помилуй, на что это похоже?

— А по-вашему, какъ же, дядюшка? Настанетъ мигъ блаженства, надо взять увеличительное стекло да и разсматривать...

— Нѣтъ, уменьшительное, чтобъ съ радости не одурѣть вдругъ, не вѣшаться всѣмъ на шею.

— Или придетъ минута грусти,—продолжалъ Александръ:— такъ ее разсматривать въ ваше уменьшительное стекло?

— Нѣтъ, грусть въ увеличительное: легче перенесть, когда вообразишь непріятность вдвое больше, нежели она есть.

— Зачѣмъ же, — продолжалъ Александръ съ досадой: — я буду убивать вначалѣ всякую радость холоднымъ размышленіемъ, не упившись ею, думать: вотъ она измѣнитъ, пройдетъ? зачѣмъ буду терзаться заранѣе горемъ, когда оно не настало?

— А за то, когда настанетъ, — перебилъ дядя: — такъ подумаешь—и горе пройдетъ, какъ проходило тогда-то и тогда-то, и со мной, и съ тѣмъ, и съ другимъ. Надѣюсь, это не дурно и сто̀итъ обратить на это вниманіе; тогда и терзаться не станешь, когда разглядишь перемѣнчивость всѣхъ шансовъ въ жизни; будешь хладнокровенъ и покоенъ, сколько можетъ быть покоенъ человѣкъ.

— Такъ вотъ гдѣ тайна вашего спокойствія!—задумчиво сказалъ Александръ.

Петръ Иванычъ молчалъ и писалъ.

— Но что жъ за жизнь? — началъ Александръ: — не забыться, а все думать, думать... нѣтъ, я чувствую, что это не такъ. Я хочу жить безъ вашего холоднаго анализа, не думая о томъ, ожидаетъ ли меня впереди бѣда, опасность, или нѣтъ—все равно!.. Зачѣмъ я буду думать заранѣе и отравлять...

— Вѣдь я говорю зачѣмъ, а онъ все свое! Не заставь меня сдѣлать на твой счетъ какого-нибудь обиднаго сравненія. Затѣмъ, что когда предвидишь опасность, препятствіе, бѣду, такъ легче бороться съ ней или перенести ее: ни съ ума не сойдешь, ни умрешь; а когда придетъ радость, такъ не будешь скакать и опрокидывать бюстовъ—ясно ли? Ему говорятъ: вотъ начало, смотри же, соображай по этому конецъ, а онъ закрываетъ глаза, мотаетъ головой, какъ при видѣ пугала какого-нибудь, и живетъ по-дѣтски. Потвоему, живи день за днемъ, какъ живется, сиди у порога своей хижины, измѣряй жизнь обѣдами, танцами, любовью да неизмѣнной дружбой. Все хотятъ золотого вѣка! Ужъ я сказалъ тебѣ, что съ твоими идеями хорошо сидѣть въ деревнѣ, съ бабой да полдюжиной ребятъ, а здѣсь надо дѣло дѣлать; для этого безпрестанно надо думать и помнить, что̀ дѣлалъ вчера, что̀ дѣлаешь сегодня, чтобы знать, что̀ нужно дѣлать завтра, т.-е. жить съ безпрерывной повѣркой себя и своихъ занятій. Съ этимъ дойдемъ до чего-нибудь дѣльнаго; а такъ... Да что съ тобою толковать: ты теперь въ бреду. Ай! скоро часъ. Ни слова больше, Александръ; уходи... и слушать не стану; завтра обѣдай у меня, кое-кто будетъ.

— Не друзья ли ваши?

— Да... Коневъ, Смирновъ, Ѳедоровъ,—ты ихъ знаешь, и еще кое-кто...

— Коневъ, Смирновъ, Ѳедоровъ! да это тѣ самые люди, съ которыми вы имѣете дѣла.

— Ну, да; все нужные люди.

— Такъ это у васъ друзья? Въ самомъ дѣлѣ, не видывалъ, чтобъ вы кого-нибудь принимали съ особенною горячностью.

— Я ужъ тебѣ сказывалъ, что друзьями я называю тѣхъ, съ кѣмъ чаще вижусь, которые доставляютъ мнѣ или пользу, или удовольствіе. Помилуй! что жъ даромъ-то кормить?

— А я думалъ, вы прощаетесь передъ свадьбой съ истинными друзьями, которыхъ душевно любите, съ которыми за чашей помянете въ послѣдній разъ веселую юность и, можетъ-быть, при разлукѣ крѣпко прижмете ихъ къ сердцу.

— Ну, въ твоихъ пяти словахъ все есть, чего въ жизни не бываетъ или не должно быть. Съ какимъ восторгомъ твоя тетка бросилась бы тебѣ на шею! Въ самомъ дѣлѣ, тутъ и *истинные друзья*, тогда какъ есть просто друзья, и *чаша*, тогда какъ пьютъ изъ бокаловъ или стакановъ, и объятія *при разлукѣ*, когда нѣтъ разлуки. Охъ, Александръ!

— И вамъ не жаль разставаться, или, по крайней мѣрѣ, рѣже видѣться съ этими друзьями? — сказалъ Александръ.

— Нѣтъ! я никогда не сближался ни съ кѣмъ до такой степени, чтобъ жалѣть, и тебѣ то же совѣтую.

— Но, можетъ-быть, они не таковы: имъ, можетъ-быть, жаль потерять въ васъ добраго товарища, собесѣдника?

— Это ужъ не мое, а ихъ дѣло. Я тоже не разъ терялъ такихъ товарищей, да вотъ не умеръ отъ того. Такъ ты будешь завтра?

— Завтра, дядюшка, я...

— Что?

— Отозванъ на дачу.

— Вѣрно, къ Любецкимъ?

— Да.

— Такъ! Ну, какъ хочешь. Помни о дѣлѣ, Александръ: я скажу редактору, чѣмъ ты занимаешься...

— Ахъ, дядюшка, какъ можно! Я непремѣнно докончу извлеченія изъ нѣмецкихъ экономистовъ...

— Да ты прежде начни ихъ. Смотри же, помни, *презрѣннаго металла* не проси, какъ скоро совсѣмъ предашься *сладостной лѣнѣ*.

IV.

Жизнь Александра раздѣлялась на двѣ половины. Утро поглощала служба. Онъ рылся въ запыленныхъ дѣлахъ, со-

ображалъ вовсе не касавшіяся до него обстоятельства, считалъ на бумагѣ милліонами непринадлежавшія ему деньги. Но порой голова отказывалась думать за другихъ, перо выпадало изъ рукъ и имъ овладѣвала та *сладостная нѣга*, на которую сердился Петръ Иванычъ.

Тогда Александръ опрокидывался на спинку стула и уносился мысленно въ мѣсто злачно, въ мѣсто покойно, гдѣ нѣтъ ни бумагъ, ни чернилъ, ни странныхъ лицъ, ни вицмундировъ, гдѣ царствуютъ спокойствіе, нѣга и прохлада, гдѣ въ изящно убранной залѣ благоухаютъ цвѣты, раздаются звуки фортепіано, въ клѣткѣ прыгаетъ попугай, а въ саду качаютъ вѣтвями березы и кусты сирени. И царицей всего этого—она...

Александръ, утромъ, сидя въ департаментѣ, невидимо присутствовалъ на одномъ изъ острововъ, на дачѣ Любецкихъ, а вечеромъ присутствовалъ тамъ видимо, всей своей особой. Бросимъ нескромный взглядъ на его блаженство.

Былъ жаркій день, одинъ изъ рѣдкихъ дней въ Петербургѣ: солнце животворило поля, но морило петербургскія улицы, накаливая лучами гранитъ, а лучи, отскакивая отъ камней, пропекали людей. Люди ходили медленно, повѣсивъ головы, собаки—высунувъ языки. Городъ походилъ на одинъ изъ тѣхъ сказочныхъ городовъ, гдѣ все, по мановенію волшебника, вдругъ окаменѣло. Экипажи не гремѣли по камнямъ: маркизы, какъ опущенныя вѣки у глазъ, прикрывали окна; торцовая мостовая лоснилась, какъ паркетъ; по тротуарамъ горячо было ступать. Вездѣ было скучно, сонно.

Пѣшеходъ, отирая потъ съ лица, искалъ тѣни. Ямская карета, съ шестью пассажирами, медленно тащилась за городъ, едва подымая пыль за собою. Въ четыре часа чиновники вышли изъ должности и тихо побрели по домамъ.

Александръ выбѣжалъ, какъ-будто въ домѣ обрушился потолокъ, посмотрѣлъ на часы—поздно: къ обѣду не поспѣетъ. Онъ бросился къ ресторатору.

— Что у васъ есть? скорѣй!

— Супъ julienne и à la reine; соусъ à la provençale, à la maitre d'hôtel; жаркое индѣйка, дичь, пирожное суфле.

— Ну, супъ à la provençale, соусъ julienne и жаркое суфле, только поскорѣе!

Слуга посмотрѣлъ на него.

— Ну, что же?—сказалъ Александръ съ нетерпѣніемъ.

Тотъ бросился вонъ и подалъ, что ему вздумалось. Адуевъ остался очень доволенъ. Онъ не дожидался четвертаго блюда и побѣжалъ на набережную Невы. Тамъ ожидала его лодка и два гребца.

Черезъ часъ завидѣлъ онъ обѣтованный уголокъ, всталъ въ лодкѣ, и устремилъ взоры вдаль. Сначала глаза его отуманились страхомъ и безпокойствомъ, которое перешло въ сомнѣніе. Потомъ вдругъ лицо озарилось свѣтомъ радости, какъ солнечнымъ блескомъ. Онъ отличилъ у рѣшётки сада знакомое платье; вотъ тамъ его узнали, махнули платкомъ. Его ждутъ, можетъ-быть, давно. У него подошвы какъ-будто загорѣлись отъ нетерпѣнія.

«Ахъ, если бъ можно было ходить пѣшкомъ по водѣ!» думалъ Александръ: «изобрѣтаютъ всякій вздоръ, а вотъ этого не изобрѣтутъ!»

Гребцы машутъ веслами медленно, мѣрно, какъ машина. Потъ градомъ льетъ по загорѣлымъ лицамъ; имъ и нужды нѣтъ, что у Александра сердце заметалось въ груди, что, не спуская глазъ съ одной точки, онъ ужъ два раза, въ забытьи, заносилъ черезъ край лодки то одну, то другую ногу, а они ничего: гребутъ себѣ съ тою же флегмой, да повременамъ отираютъ рукавомъ лицо.

— Живѣе!—сказалъ онъ:—полтинникъ на водку.

Какъ они принялись работать, какъ стали привскакивать на своихъ мѣстахъ! куда дѣвалась усталость? откуда взялась сила? Весла такъ и затрепетали по водѣ. Лодка—что скользнетъ, то саженей трехъ какъ не бывало. Махнули разъ де-

сятокъ—и корма уже описала дугу, лодка граціозно подъѣхала и наклонилась у самаго берега. Александръ и Наденька издали улыбались и не сводили другъ съ друга глазъ. Адуевъ ступилъ одной ногой въ воду вмѣсто берега, Наденька засмѣялась.

— Полегче, баринъ, погодите-ка, вотъ я руку подамъ,— промолвилъ одинъ гребецъ, когда Александръ былъ уже на берегу.

— Ждите меня здѣсь,—сказалъ имъ Адуевъ и побѣжалъ къ Наденькѣ.

Она нѣжно улыбалась издали Александру. Съ каждымъ движеніемъ лодки къ берегу, грудь ея поднималась и опускалась сильнѣе.

— Надежда Александровна!..—сказалъ Адуевъ, едва переводя духъ отъ радости.

— Александръ Ѳедорычъ!..—отвѣчала она.

Они бросились невольно другъ къ другу, но остановились и глядѣли другъ на друга съ улыбкой, влажными глазами и не могли ничего сказать. Такъ прошло нѣсколько минутъ.

Нельзя винить Петра Иваныча, что онъ не замѣтилъ Наденьки съ перваго раза. Она была не красавица и не приковывала къ себѣ мгновенно вниманія.

Но если кто пристально вглядывался въ ея черты, тотъ долго не сводилъ съ нея глазъ. Ея физіономія рѣдко оставалась двѣ минуты покойною. Мысли и разнородныя ощущенія до крайности впечатлительной и раздражительной души ея безпрестанно смѣнялись однѣ другими, и оттѣнки этихъ ощущеній сливались въ удивительной игрѣ, придавая лицу ея ежеминутно новое и неожиданное выраженіе. Глаза, напримѣръ, вдругъ бросятъ будто молнію, обожгутъ и мгновенно спрячутся подъ длинными рѣсницами; лицо сдѣлается безжизненно и неподвижно — и передъ вами точно мраморная статуя. Ожидаешь вслѣдъ затѣмъ опять такого же прон-

зительнаго луча—отнюдь нѣтъ! вѣки подымаются тихо, медленно — васъ озаритъ кроткое сіяніе взоровъ, какъ-будто медленно выплывшей изъ-за облаковъ луны. Сердце непремѣнно отзовется легкимъ біеніемъ на такой взглядъ. Въ движеніяхъ то же самое. Въ нихъ много было граціи, но это не грація Сильфиды. Въ этой граціи много было дикаго, порывистаго, что даетъ природа всѣмъ, но что потомъ искусство отнимаетъ до послѣдняго слѣда, вмѣсто того, чтобъ только смягчить. Эти-то слѣды часто проявлялись въ движеніяхъ Наденьки. Она иногда сидитъ въ живописной позѣ, но вдругъ, Богъ знаетъ вслѣдствіе какого внутренняго движенія, эта картинная поза нарушится вовсе неожиданнымъ и опять обворожительнымъ жестомъ. Въ разговорахъ тѣ же неожиданные обороты: то вѣрное сужденіе, то мечтательность, рѣзкій приговоръ, потомъ ребяческая выходка, или тонкое притворство. Все показывало въ ней умъ пылкій, сердце своенравное и непостоянное. И не Александръ сошелъ бы съ ума отъ нея; одинъ только Петръ Иванычъ уцѣлѣетъ: да много ли такихъ?

— Вы меня ждали! Боже мой, какъ я счастливъ!—сказалъ Александръ.

— Я ждала? и не думала! — отвѣчала Наденька, качая головой:—вы знаете, я всегда въ саду.

— Вы сердитесь?—робко спросилъ онъ.

— За что? вотъ идея!

— Ну, дайте ручку!

Она подала ему руку, но только онъ коснулся до нея, она сейчасъ же вырвала—и вдругъ измѣнилась. Улыбка исчезла, на лицѣ обнаружилось что-то похожее на досаду.

— Что это, вы молоко кушаете?—спросилъ онъ.

У Наденьки была чашка въ рукахъ и сухарь.

— Я обѣдаю,—отвѣчала она.

— Обѣдаете, въ шесть часовъ, и молокомъ!

— Вамъ, конечно, странно смотрѣть на молоко послѣ

роскошнаго обѣда у дядюшки? а мы здѣсь въ деревнѣ: живемъ скромно.

Она передними зубами отломила нѣсколько крошекъ сухаря и запила молокомъ, сдѣлавъ губами премиленькую гримасу.

— Я не обѣдалъ у дядюшки, я еще вчера отказался,— отвѣчалъ Адуевъ.

— Какіе вы безсовѣстные! Можно ли такъ лгать? Гдѣ жъ вы были до сихъ поръ?

— Сегодня на службѣ до четырехъ часовъ просидѣлъ...

— А теперь шесть. Не лгите, признайтесь, ужъ соблазнились обѣдомъ, пріятнымъ обществомъ? тамъ вамъ очень, очень весело было.

— Честное слово, я и не заходилъ къ дядюшкѣ... — началъ съ жаромъ оправдываться Александръ.—Развѣ я тогда могъ бы поспѣть къ вамъ объ эту пору!

— А! вамъ это рано кажется? вы бы еще часа черезъ два пріѣхали! — сказала Наденька и быстрымъ пируэтомъ вдругъ отвернулась отъ него и пошла по дорожкѣ къ дому. Александръ за нею.

— Не подходите, не подходите ко мнѣ,—заговорила она, махая рукой:—я васъ видѣть не могу.

— Полноте шалить, Надежда Александровна!

— Я совсѣмъ не шалю. Скажите, гдѣ жъ вы до сихъ поръ были?

— Въ четыре часа вышелъ изъ департамента, — началъ Адуевъ:—часъ ѣхалъ сюда...

— Такъ тогда было бы пять, а теперь шесть. Гдѣ жъ вы провели еще часъ? видите, вѣдь какъ лжете!

— Отобѣдалъ у ресторатора на скорую руку...

— На скорую руку! одинъ только часъ!—сказала она:— бѣдненькіе! вы должны очень голодны. Не хотите ли молока?

— О, [illegible] чашку. — заговорилъ Александръ и [illegible] руку.

Но она вдругъ остановилась, опрокинула чашку вверхъ дномъ и, не обращая вниманія на Александра, съ любопытствомъ смотрѣла, какъ послѣднія капли сбѣгали съ чашки на песокъ.

— Вы безжалостны!—сказалъ онъ:—можно ли такъ мучить меня?

— Посмотрите, посмотрите, Александръ Ѳедорычъ, — вдругъ перебила Наденька, погруженная въ свое занятіе:— попаду ли я каплей на букашку, вотъ что̀ ползетъ по дорогѣ?.. Ахъ, попала! бѣдненькая! она умретъ!—сказала она; потомъ заботливо подняла букашку, положила себѣ на ладонь и начала дышать на нее.

— Какъ васъ занимаетъ букашка!—сказалъ онъ съ досадой.

— Бѣдненькая! посмотрите: она умретъ, — говорила Наденька съ грустью:—Что я сдѣлала?

Она несла нѣсколько времени букашку на ладони, и когда та зашевелилась и начала ползать взадъ и впередъ по рукѣ, Наденька вздрогнула, быстро сбросила ее на землю и раздавила ногой, примолвивъ: «мерзкая букашка!»

— Гдѣ же вы были?—спросила она потомъ.

— Вѣдь я сказалъ...

— Ахъ, да! у дядюшки. Много было гостей? Пили шампанское? Я даже отсюда слышу, какъ пахнетъ шампанскимъ.

— Да нѣтъ, не у дядюшки!—въ отчаяніи перебилъ Александръ.—Кто вамъ сказалъ?

— Вы же сказали.

— Да у него, я думаю, теперь за столъ садятся. Вы не знаете этихъ обѣдовъ: развѣ такой обѣдъ кончается въ одинъ часъ?

— Вы обѣдали два—пятый и шестой.

— А когда же я ѣхалъ сюда?

Она ничего не отвѣчала, прыгнула и достала вѣтку акаціи, потомъ побѣжала по дорожкѣ.

Адуевъ за ней.

— Куда же вы?—спросилъ онъ.

— Куда? какъ куда? вотъ прекрасно! къ маменькѣ.

— Зачѣмъ? Можетъ-быть, мы ее обезпокоимъ.

— Нѣтъ, ничего.

Марья Михайловна, маменька Надежды Александровны, была одна изъ тѣхъ добрыхъ и нехитрыхъ матерей, которыя находятъ прекраснымъ все, что ни дѣлаютъ дѣтки. Марья Михайловна велитъ, напримѣръ, заложить коляску.

— Куда это, маменька?—спроситъ Наденька.

— Поѣдемъ прогуляться: погода такая славная, — говорила мать.

— Какъ можно: Александръ Ѳедорычъ хотѣлъ быть.

И коляска откладывалась.

Въ другой разъ Марья Михайловна усядется за свой нескончаемый шарфъ и начнетъ вздыхать, нюхать табакъ и перебирать костяными спицами или углубится въ чтеніе французскаго романа.

— Maman, что жъ вы не одѣваетесь? — спроситъ Наденька строго.

— А куда?

— Да вѣдь мы пойдемъ гулять.

— Гулять?

— Да. Александръ Ѳедорычъ придетъ за нами. Ужъ вы и забыли!

— Да я и не знала.

— Какъ этого не знать! — скажетъ Наденька съ неудовольствіемъ.

Мать покидала и шарфъ, и книгу, и шла одѣваться. Такъ Наденька пользовалась полною свободою, распоряжалась и собою, и маменькою, и своимъ временемъ, и занятіями, какъ хотѣла. Впрочемъ, она была добрая и нѣжная дочь, нельзя сказать—послушная, потому только, что не она, а мать слушалась ея; зато можно сказать, что она имѣла послушную мать.

— Подите къ маменькѣ,—сказала Наденька, когда они подошли къ дверямъ залы.

— А вы?

— Я послѣ приду.

— Ну, такъ и я послѣ.

— Нѣтъ, идите впередъ.

Александръ вошелъ и тотчасъ же, на цыпочкахъ, воротился назадъ.

— Она дремлетъ въ креслахъ, — сказалъ онъ шопотомъ.

— Ничего, пойдемте. Maman, à maman!

— А!

— Александръ Ѳедорычъ пришелъ.

— А!

— Мг. Адуевъ хочетъ васъ видѣть.

— А!

— Видите, какъ крѣпко уснула. Не будите ее!—удерживалъ Александръ.

— Нѣтъ, разбужу. Maman!

— А!

— Да проснитесь; Александръ Ѳедорычъ здѣсь.

— Гдѣ Александръ Ѳедорычъ?—говорила Марья Михайловна, глядя прямо на него и поправляя сдвинувшійся на сторону чепецъ.—Ахъ! это вы, Александръ Ѳедорычъ? Милости просимъ! А я вотъ сѣла тутъ да и вздремнула, сама не знаю отчего, видно къ погодѣ. У меня что-то и мозоль начинаетъ побаливать—быть дождю. Дремлю, да и вижу во снѣ, что будто Игнатій докладываетъ о гостяхъ, только не поняла о комъ. Слышу, говоритъ, пріѣхали, а кто—не пойму. Тутъ Наденька кличетъ, я сейчасъ же и проснулась. У меня легкій сонъ: чуть кто скрипнетъ, я ужъ и смотрю. Садитесь-ка, Александръ Ѳедорычъ, здоровы ли вы?

— Покорно благодарю.

— Петръ Иванычъ здоровъ ли?

Слава Богу, покорно благодарю.

Что онъ не навѣститъ насъ никогда? Я вотъ еще вчера думала: хоть бы, думаю, разъ заѣхалъ когда-нибудь, а то нѣтъ—видно занятъ?

— Очень занятъ,—сказалъ Александръ.

— И васъ другой день не видать! — продолжала Марья Михайловна.—Давеча проснулась, спрашиваю, что Наденька? Спитъ еще, говорятъ. — Ну, пускай ее спитъ, говорю, цѣлый день на воздухѣ — въ саду, погода стоитъ хорошая, устанетъ. Въ ея лѣта спится крѣпко, не то, что въ мои: такая безсонница бываетъ, повѣрите ли? даже тоска сдѣлается; отъ нервъ, что ли — не знаю. Вотъ подаютъ мнѣ кофе: я вѣдь всегда въ постели его пью — пью да думаю: «что это значитъ, Александра Ѳедорыча не видать? ужъ здоровъ ли?» Потомъ встала, смотрю 11-й часъ — прошу покорнѣйше! людишки и не скажутъ! Прихожу къ Наденькѣ—она еще и не просыпалась. Я разбудила ее. «Пора, молъ, мать моя: скоро 12 часовъ, что это съ тобой?» Я вѣдь цѣлый день за ней, какъ нянька. Я и гувернантку отпустила нарочно, чтобъ не было чужихъ. Ввѣрь, пожалуй, чужимъ, такъ Богъ знаетъ что сдѣлаютъ. Нѣтъ! я сама занимаюсь ея воспитаніемъ, строго смотрю, отъ себя ни на шагъ, и могу сказать, что Наденька чувствуетъ это: отъ меня тайкомъ и мысли никакой не допуститъ. Я ее какъ будто насквозь вижу... Тутъ поваръ пришелъ: съ нимъ съ часъ толковала; тамъ почитала «Mémoires du diable»... ахъ, какой пріятный авторъ Сулье! какъ мило описываетъ! Тамъ сосѣдка Марья Ивановна зашла съ мужемъ: такъ я и не видала, какъ прошло утро, гляжу, ужъ и четвертый часъ и обѣдать пора!.. Ахъ, да: что жъ вы къ обѣду не пришли? мы васъ ждали до 5 часовъ.

— До 5 часовъ? — сказалъ Александръ: — я никакъ не могъ, Марья Михайловна: служба задержала. Я васъ прошу никогда не ждать меня долѣе четырехъ часовъ.

— И я то же говорила, да вотъ Наденька: «подождемъ да подождемъ».

— Я! ахъ, ахъ, maman, что вы! Не я ли говорю: «пора, maman, обѣдать», а вы сказали: «нѣтъ, надо подождать; Александръ Ѳедорычъ давно не былъ: вѣрно придетъ къ обѣду».

— Смотрите, смотрите! — заговорила Марья Михайловна, качая головой:—ахъ, какая безсовѣстная! свои слова да на меня же!

Наденька отвернулась, ушла въ цвѣты и начала дразнить попугая.

— Я говорю: «ну, гдѣ теперь Александру Ѳедорычу быть?» — продолжала Марья Михайловна: — «ужъ половина пятаго». «Нѣтъ, говоритъ, maman, надо подождать — онъ будетъ». — Смотрю, три четверти: «Воля твоя, говорю я, Наденька: Александръ Ѳедорычъ вѣрно въ гостяхъ, не будетъ; я проголодалась». — «Нѣтъ, говоритъ, еще подождать надо, до пяти часовъ». Такъ и проморила меня. Что, не правда, сударыня?

«Попка, попка!» слышалось изъ-за цвѣтовъ: «гдѣ ты обѣдалъ сегодня, у дядюшки?»

— Что? спряталась!—промолвила мать:— видно совѣстно на свѣтъ Божій смотрѣть!

— Вовсе нѣтъ,—отвѣчала Наденька, выходя изъ боскета и сѣла у окна.

— И таки не сѣла за столъ! — говорила Марья Михайловна:—спросила чашку молока и пошла въ садъ; такъ и не обѣдала. Что? посмотри-ка мнѣ прямо въ глаза, сударыня.

Александръ обомлѣлъ при этомъ разсказѣ. Онъ взглянулъ на Наденьку, но она обернулась къ нему спиной и щипала листокъ плюща.

— Надежда Александровна!—сказалъ онъ:—ужели я такъ счастливъ, что вы думали обо мнѣ?

— Не подходите ко мнѣ!—закричала она съ досады, что ея плутни открылись.—Маменька шутитъ, а вы готовы вѣрить!

— А гдѣ жъ ягоды, что ты приготовила для Александра Ѳедорыча?—спросила мать.

— Ягоды?

— Да, ягоды.

— Вѣдь вы ихъ скушали за обѣдомъ... — отвѣчала Наденька.

— Я! опомнись, мать моя: ты спрятала и мнѣ не дала. «Вотъ, говоритъ, Александръ Ѳедорычъ пріѣдетъ, тогда и вамъ дамъ». Какова?

Александръ нѣжно и лукаво взглянулъ на Наденьку. Она покраснѣла.

— Сама чистила, Александръ Ѳедорычъ,—прибавила мать.

— Что это вы все сочиняете, maman? Я очистила двѣ или три ягодки и тѣ сама съѣла, а то Василиса...

— Не вѣрьте, не вѣрьте, Александръ Ѳедорычъ: Василиса съ утра въ городъ послана. Зачѣмъ же скрывать? Александру Ѳедорычу вѣрно пріятнѣе, что ты чистила, а не Василиса.

Наденька улыбнулась, потомъ скрылась опять въ цвѣты и явилась съ полной тарелкой ягодъ. Она протянула Адуеву руку съ тарелкой. Онъ поцѣловалъ руку и принялъ ягоды, какъ маршальскій жезлъ.

— Не стоите вы! заставить такъ долго ждать себя!—говорила Наденька: — я два часа у рѣшётки стояла: воображаю! идетъ кто-то: я думала — вы и махнула платкомъ, вдругъ незнакомые, какой-то военный. И онъ махнулъ, такой дерзкій!..

Вечеромъ приходили и уходили гости. Начало смеркаться. Любинька и Адуевъ остались опять втроемъ. Мало-по-малу разстроилось и это тріо. Наденька ушла въ садъ. Составился нестройный дуэтъ у Марьи Михайловны съ Адуе-

вымъ: долго пѣла она ему о томъ, что̀ дѣлала вчера, сегодня, что̀ будетъ дѣлать завтра. Имъ овладѣла томительная скука и безпокойство. Вечеръ наступаетъ быстро, а онъ еще не успѣлъ ни слова сказать Наденькѣ наединѣ. Выручилъ поваръ; благодѣтель пришелъ спросить, что̀ готовить къ ужину, а у Адуева занимался духъ отъ нетерпѣнія, сильнѣе еще, чѣмъ давеча въ лодкѣ. Едва заговорили о котлетахъ, о простоквашѣ, Александръ началъ искусно ретироваться. Сколько маневровъ употребилъ онъ, чтобъ только отойти отъ креселъ Марьи Михайловны! Подошелъ сначала къ окну и взглянулъ на дворъ, а ноги такъ и тянули его въ открытую дверь. Потомъ медленными шагами, едва удерживаясь, чтобы не ринуться опрометью вонъ, онъ перешелъ къ фортепіано, постучалъ въ разнымъ мѣстахъ по клавишамъ, взялъ съ лихорадочнымъ трепетомъ ноты съ пюпитра, взглянулъ въ нихъ и положилъ назадъ; имѣлъ даже твердость понюхать два цвѣтка и разбудить попугая. Тутъ онъ достигъ высшей степени нетерпѣнія; двери были подлѣ, но уйти какъ-то все неловко—надо было простоять минуты двѣ и выйти какъ будто нечаянно. А поваръ уже сдѣлалъ два шага назадъ, еще слово — и онъ уйдетъ, тогда Любецкая непремѣнно обратится опять къ нему. Александръ не вытерпѣлъ и, какъ змѣй, выскользнулъ въ двери и, соскочивъ съ крыльца, не считая ступеней, въ нѣсколько шаговъ очутился въ концѣ аллеи—на берегу, подлѣ Наденьки.

— Насилу вспомнили обо мнѣ! — сказала она на этотъ разъ съ кроткимъ упрекомъ.

— Ахъ, что за муку я вытерпѣлъ, — отвѣчалъ Александръ:—а вы не помогли!

Наденька показала ему книгу.

— Вотъ чѣмъ бы я вызвала васъ, если бъ вы не пришли еще минуту,—сказала она.—Садитесь, теперь maman ужъ не придетъ: она боится сырости. Мнѣ такъ много, такъ много надо сказать вамъ... ахъ!

— И мнѣ тоже... ахъ!

И ничего не сказали или почти ничего, такъ кое-что, о чемъ ужъ говорили десять разъ прежде. Обыкновенно что: [illegible] небо, звѣзды, симпатія, счастіе. Разговоръ больше [illegible] дѣлъ на языкѣ взглядовъ, улыбокъ и междометій. Лампа валялась на травѣ.

Наступила ночь... нѣтъ, какая ночь! развѣ лѣтомъ въ Петербургѣ бываютъ ночи? это не ночь, а... тутъ надо бы выдумать другое названіе—такъ, полусвѣтъ... Все тихо кругомъ. Нева точно спала: изрѣдка, будто въ просонкахъ, [illegible] плеснетъ легонько волной въ берегъ и замолчитъ. А [illegible] ни возьмется поздній вѣтерокъ, пронесется [illegible] сонными водами, но не сможетъ разбудить ихъ, а [illegible] зарябитъ поверхность и повѣетъ прохладой на Набережную Александра, или принесетъ имъ звукъ дальней [illegible] и опять Нева неподвижна, [illegible] человѣкъ, который при легкомъ шумѣ от[illegible] на минуту глаза и тотчасъ снова закроетъ; и сонъ [illegible] рѣки. Потомъ со стороны [illegible] отдаленный громъ, а вслѣдъ [illegible] ближайшей тони, и опять [illegible] деревья, [illegible] темный сводъ и чуть-чуть, [illegible] качахъ по берегамъ мель[illegible]ки.

[illegible] въ томъ тепломъ воздухѣ? [illegible] деревьямъ, по травѣ, [illegible] Зачѣмъ въ ней тогда [illegible] нежели въ шумѣ, [illegible] любви въ этомъ снѣ [illegible] молодыхъ деревьяхъ, [illegible] могущественно [illegible] въ тѣмъ рѣдкимъ [illegible] правильной и строгой [illegible] мечтательными и смѣш-

ными отступленіями... да! безполезными, а между тѣмъ, въ тѣ минуты душа только и постигаетъ смутно возможность счастья, котораго такъ усердно ищутъ въ другое время и не находятъ.

Александръ и Наденька подошли къ рѣкѣ и оперлись на рѣшётку. Наденька долго, въ раздумьи, смотрѣла на Неву, на даль, Александръ на Наденьку. Души ихъ были переполнены счастьемъ, сердца сладко и вмѣстѣ какъ-то болѣзненно ныли, но языкъ безмолвствовалъ.

Вотъ Александръ тихо коснулся ея таліи. Она тихо отвела локтемъ его руку. Онъ дотронулся опять, она отвела слабѣе, не спуская глазъ съ Невы. Въ третій разъ не отвела.

Онъ взялъ ее за руку — она не отняла и руки; онъ пожалъ руку: рука отвѣчала на пожатіе. Такъ стояли они молча, а что̀ чувствовали!

— Наденька!—сказалъ онъ тихо.

Она молчала.

Александръ съ замирающимъ сердцемъ наклонился къ ней. Она почувствовала горячее дыханіе на щекѣ, вздрогнула, обернулась и — не отступила въ благородномъ негодованіи, не вскрикнула! — она не въ силахъ была притвориться и отступить: обаяніе любви заставило молчать разсудокъ, и когда Александръ прильнулъ губами къ ея губамъ, она отвѣчала на поцѣлуй, хотя слабо, чуть внятно.

«Неприлично!» скажутъ строгія маменьки: «одна въ саду, безъ матери, цѣлуется съ молодымъ человѣкомъ!» Что̀ дѣлать! неприлично, но она отвѣчала на поцѣлуй.

«О, какъ человѣкъ можетъ быть счастливъ!» сказалъ про себя Александръ и опять наклонился къ ея губамъ и пробылъ такъ нѣсколько секундъ.

Она стояла блѣдная, неподвижная, на рѣсницахъ блистали слезы, грудь дышала сильно и прерывисто.

— Какъ сонъ! — шепталъ Александръ.

Вдругъ Наденька встрепенулась, минута забвенія прошла.

— Что это такое? вы забылись! — вдругъ сказала она и бросилась отъ него на нѣсколько шаговъ. — Я маменькѣ скажу!

Александръ упалъ съ облаковъ.

— Надежда Александровна! не разрушайте моего блаженства,—упрекомъ началъ онъ:—не будьте похожи на...

Она посмотрѣла на него, и вдругъ громко, весело засмѣялась, опять подошла къ нему, опять стала у рѣшётки и довѣрчиво оперлась рукой и головой ему на плечо.

— Такъ вы меня очень любите? — спросила она, отирая слезу, выкатившуюся на щеку.

Александръ сдѣлалъ невыразимое движеніе плечами. На лицѣ его было «преглупое выраженіе», сказалъ бы Петръ Иванычъ, что, можетъ-быть, и правда, но зато сколько счастья въ этомъ глупомъ выраженіи!

Они попрежнему молча смотрѣли и на воду, и на небо, и на даль, будто между ними ничего не было. Только боялись взглянуть другъ на друга; наконецъ взглянули, улыбнулись и тотчасъ отвернулись опять.

— Ужели есть горе на свѣтѣ? — сказала Наденька помолчавъ.

— Говорятъ, есть...—задумчиво отвѣчалъ Адуевъ:—да я не вѣрю...

— Какое же горе можетъ быть?

— Дядюшка говоритъ—бѣдность.

— Бѣдность! да развѣ бѣдные не чувствуютъ того же, что мы теперь? вотъ ужъ они и не бѣдны.

— Дядюшка говоритъ, что имъ не до того — что надо ѣсть, пить...

— Фи! ѣсть! Дядюшка вашъ неправду говоритъ: можно и безъ этого быть счастливыми: я не обѣдала сегодня, а какъ я счастлива!

Онъ засмѣялся.

— Да, за эту минуту я отдала бы бѣднымъ все, все!— продолжала Наденька: — пусть придутъ бѣдные. Ахъ, зачѣмъ я не могу утѣшить и обрадовать всѣхъ какой-нибудь радостью?

— Ангелъ! ангелъ!—восторженно произнесъ Александръ, сжавъ ея руку.

— Охъ, какъ вы больно жмете! — вдругъ перебила Наденька, сморщивъ брови и отнявъ руку.

Но онъ схватилъ руку опять и началъ цѣловать съ жаромъ.

— Какъ я буду молиться, — продолжала она: — сегодня, завтра, всегда за этотъ вечеръ! какъ я счастлива! А вы?..

Вдругъ она задумалась; въ глазахъ мелькнула тревога.

— Знаете ли,—сказала она:—говорятъ, будто что̀ было однажды, то ужъ никогда больше не повторится! Стало-быть и эта минута не повторится?

— О, нѣтъ! — отвѣчалъ Александръ: — это неправда: повторится! будутъ лучшія минуты; да, я чувствую!..

Она недовѣрчиво покачала головой. И ему пришли въ голову уроки дяди, и онъ вдругъ остановился.

«Нѣтъ», говорилъ онъ самъ съ собой: «нѣтъ, этого быть не можетъ! дядя не зналъ такого счастья, оттого онъ такъ строгъ и недовѣрчивъ къ людямъ. Бѣдный! мнѣ жаль его холоднаго, черстваго сердца: оно не знало упоенія любви, вотъ отчего это жёлчное гоненіе на жизнь. Богъ его проститъ! Если бъ онъ видѣлъ мое блаженство, и онъ не наложилъ бы на него руки, не оскорбилъ бы нечистымъ сомнѣніемъ. Мнѣ жаль его...»

— Нѣтъ, Наденька, нѣтъ, мы будемъ счастливы! — продолжалъ онъ вслухъ. — Посмотри вокругъ: не радуется ли все здѣсь, глядя на нашу любовь? Самъ Богъ благословитъ ее. Какъ весело пройдемъ мы жизнь рука объ руку! какъ будемъ *горды, велики взаимной любовью!*

— Ахъ, перестаньте, перестаньте загадывать!—перебила

она: — не пророчьте: мнѣ что-то страшно дѣлается, когда вы говорите такъ. Мнѣ и теперь грустно...

— Чего же бояться? Неужели нельзя вѣрить самимъ себѣ?

— Нельзя, нельзя!—говорила она, качая головой.

Онъ посмотрѣлъ на нее и задумался.

— Отчего? Что же,—началъ онъ потомъ: — можетъ разрушить этотъ міръ нашего счастья? кому нужда до насъ? Мы всегда будемъ одни, станемъ удаляться отъ другихъ; что̀ намъ до нихъ за дѣло? и что̀ за дѣло имъ до насъ? насъ не вспомнятъ, забудутъ, и тогда насъ не потревожатъ и слухи о горѣ и бѣдахъ, точно такъ, какъ и теперь, здѣсь, въ саду, никакой звукъ не тревожитъ этой торжественной тишины...

— Наденька! Александръ Ѳедорычъ! — раздалось вдругъ съ крыльца:—гдѣ вы?

— Слышите!—сказала Наденька пророческимъ тономъ:— вотъ намекъ судьбы: эта минута не повторится больше — я чувствую...

Она схватила его за руку, сжала ее, поглядѣла на него какъ-то странно, печально, и вдругъ бросилась въ темную аллею.

Онъ остался одинъ въ раздумьи.

— Александръ Ѳедорычъ!—раздалось опять съ крыльца:— простокваша давно на столѣ.

Онъ пожалъ плечами и пошелъ въ комнату.

— За мигомъ невыразимаго блаженства — вдругъ простокваша!! — сказалъ онъ Наденькѣ. — Ужели все такъ въ жизни.

— Лишь бы не было хуже, — весело отвѣчала она: — а простокваша очень хороша, особенно для того, кто не обѣдалъ.

Счастье одушевило ее. Щеки ея пылали, глаза горѣли необыкновеннымъ блескомъ. Какъ заботливо хозяйничала она, какъ весело болтала! не было и тѣни мелькнувшей мгновенно печали: радость поглотила ее.

Заря охватила уже полнеба, когда Адуевъ сѣлъ въ лодку. Гребцы, въ ожиданіи обѣщанной награды, поплевали на руки и начали-было по-давешнему привскакивать на мѣстахъ, изо всей мочи работая веслами.

— Тише ѣхать!—сказалъ Александръ:—еще полтинникъ на водку!

Они поглядѣли на него, потомъ другъ на друга. Одинъ почесалъ грудь, другой спину, и стали чуть шевелить веслами, едва дотрогиваясь до воды. Лодка поплыла, какъ лебедь.

«И дядюшка хочетъ увѣрить меня, что счастье химера, что нельзя безусловно вѣрить ничему, что жизнь... безсовѣстный! зачѣмъ онъ хотѣлъ такъ жестоко обмануть меня? Нѣтъ, вотъ жизнь! такъ я воображалъ ее себѣ, такова она должна-быть, такова есть и такова будетъ! Иначе нѣтъ жизни!»

Свѣжій, утренній вѣтерокъ чуть-чуть подулъ съ сѣвера. Александръ слегка вздрогнулъ, и отъ вѣтерка и отъ воспоминанія, потомъ зѣвнулъ и, закутавшись въ плащъ, погрузился въ мечты.

V.

Адуевъ достигъ апогея своего счастія. Ему нечего было болѣе желать. Служба, журнальные труды—все забыто, заброшено. Его ужъ обошли мѣстомъ: онъ едва примѣтилъ это, и то потому, что напомнилъ дядя. Петръ Иванычъ совѣтовалъ бросить пустяки, но Александръ, при словѣ «пустяки», пожималъ плечами, съ сожалѣніемъ улыбался и молчалъ. Дядя, увидя безполезность своихъ представленій, тоже пожалъ плечами, улыбнулся съ сожалѣніемъ и замолчалъ, промолвивъ только:

— Какъ хочешь, это твое дѣло, только, смотри, презрѣннаго металла не проси.

— Не бойтесь, дядюшка,—говорилъ на это Александръ:—худо, когда мало денегъ, много мнѣ не нужно, а довольно—у меня есть.

— Ну, и поздравляю тебя,—прибавилъ Петръ Иванычъ.

Александръ видимо избѣгалъ его. Онъ потерялъ всякую довѣренность къ его печальнымъ предсказаніямъ и боялся холоднаго взгляда на любовь вообще и оскорбительныхъ намековъ на отношенія его къ Наденькѣ въ особенности.

Ему противно было слушать, какъ дядя, разбирая любовь его, просто, по общимъ и одинакимъ будто бы для всѣхъ законамъ, профанировалъ это высокое, святое, по его мнѣнію, дѣло. Онъ таилъ свои радости, всю эту перспективу розоваго счастья, предчувствуя, что чуть коснется его анализъ дяди, то, того и гляди, розы разсыплются въ прахъ или превратятся въ навёмъ. А дядя сначала избѣгалъ его оттого, что вотъ, думалъ, малый залѣнится, замотается, придетъ къ нему за деньгами, сядетъ на шею.

Въ походкѣ, взглядѣ, во всемъ обращеніи Александра было что-то торжественное, таинственное. Онъ велъ себя съ другими, какъ богатый капиталистъ на биржѣ съ мелкими купцами, скромно и съ достоинствомъ, думая про себя: «жалкіе! кто изъ васъ обладаетъ такимъ сокровищемъ, какъ я? кто такъ умѣетъ чувствовать? чья могучая душа...» и проч.

Онъ былъ увѣренъ, что онъ одинъ на свѣтѣ такъ любитъ и любимъ.

Впрочемъ, онъ избѣгалъ не только дяди, но и *толпы*, какъ онъ говорилъ. Онъ, или поклонялся своему божеству, или сидѣлъ дома, въ кабинетѣ, одинъ, упиваясь блаженствомъ, анализируя, разлагая его на безконечно-малые атомы. Онъ называлъ это *творить особый міръ*, и, сидя въ своемъ уединеніи, точно сотворилъ себѣ изъ ничего какой-то міръ и обрѣлся больше въ немъ, а на службу ходилъ рѣдко и неохотно, называя ее *горькою необходимостью, необходимымъ зломъ* или *печальной прозой*. Вообще у него много было варіантовъ на этотъ предметъ. Къ редактору и къ знакомымъ вовсе не ходилъ.

Бесѣдовать съ своимъ *я* было для него высшею отрадою. «Наединѣ съ собою только — писалъ онъ въ какой-то повѣсти—человѣкъ видитъ себя, какъ въ зеркалѣ; тогда только научается онъ вѣрить въ человѣческое величіе и достоинство. Какъ прекрасенъ онъ въ этой бесѣдѣ съ своими душевными силами! какъ вождь, онъ дѣлаетъ имъ строгій обзоръ, строитъ ихъ по мудро-обдуманному плану и стремится во главѣ ихъ, и дѣйствуетъ, и зиждетъ! Какъ жалокъ, напротивъ, кто не умѣетъ и боится быть съ собою, кто бѣжитъ отъ самого себя и всюду ищетъ общества, чуждаго ума и духа...» Подумаешь, мыслитель какой-нибудь открываетъ новые законы строенія міра или бытія человѣческаго, а то просто влюбленный!

Вотъ онъ сидитъ въ волтеровскихъ креслахъ. Передъ нимъ листъ бумаги, на которомъ набросано нѣсколько стиховъ. Онъ, то наклонится надъ листомъ и сдѣлаетъ какую-нибудь поправку, или прибавитъ два-три стиха, то опрокинется на спинку креселъ и задумается. На губахъ блуждаетъ улыбка; видно, что онъ только лишь отвелъ ихъ отъ полной *чаши* счастія. Глаза у него закроются томно, какъ у дремлющаго кота, или вдругъ сверкнутъ огнемъ внутренняго волненія.

Кругомъ тихо. Только издали, съ большой улицы, слышится гулъ отъ экипажей, да повременамъ Евсей, уставъ чистить сапогъ, заговоритъ вслухъ:

— Какъ бы не забыть: давеча въ лавочкѣ на грошъ уксусу взялъ, да на гривну капусты, завтра надо отдать, а то лавочникъ, пожалуй, въ другой разъ и не повѣритъ— такая собака! Фунтами хлѣбъ вѣшаютъ, словно въ голодный годъ — срамъ! Ухъ, Господи, умаялся. Вотъ только дочищу этотъ сапогъ—и спать. Въ Грачахъ, чай, давно спятъ: не по-здѣшнему! Когда-то Господь Богъ приведетъ увидѣть...

Тутъ онъ громко вздохнулъ, подышалъ на сапогъ и опять началъ шмыгать щеткой. Онъ считалъ это занятіе

главною и чуть ли не единственною своею обязанностью, и вообще способностью чистить сапоги измѣрялъ достоинство слуги и даже человѣка; самъ онъ чистилъ съ какою-то страстью.

— Перестань, Евсей! ты мнѣ мѣшаешь дѣло дѣлать своими пустяками!—кричалъ Адуевъ.

«Пустяки,—ворчалъ про себя Евсей:—какъ не пустяки: у тебя такъ вотъ пустяки, а я дѣло дѣлаю. Вишь вѣдь какъ загрязнилъ сапоги, насилу отчистишь».

Онъ поставилъ сапогъ на столъ и глядѣлся съ любовью въ зеркальный лоскъ кожи.

«Поди-ка, вычисти кто этакъ, — примолвилъ онъ: — пустяки!»

Александръ все глубже и глубже погружался въ свои мечты о Наденькѣ, потомъ въ творческія мечты.

На столѣ было пусто. Все, что напоминало о прежнихъ его занятіяхъ, о службѣ, о журнальной работѣ, лежало подъ столомъ, или на шкапѣ, или подъ кроватью.

«Одинъ видъ *этой грязи*,—говорилъ онъ:—пугаетъ творческую думу и она улетаетъ, какъ соловей изъ рощи, при внезапномъ скрипѣ не мазанныхъ колесъ, раздавшемся съ дороги.»

Часто заря заставала его надъ какой-нибудь элегіей. Всѣ часы, проводимые не у Любецкихъ, посвящались творчеству. Онъ напишетъ стихотвореніе и прочтетъ его Наденькѣ; та перепишетъ на хорошенькой бумажкѣ и выучитъ, и онъ «позналъ *высшее блаженство поэта—слышать свое произведеніе изъ милыхъ устъ*».—

«Ты моя муза, — говорилъ онъ ей: — будь Вестою этого священнаго огня, который горитъ въ моей груди; ты оставишь его —и онъ заглохнетъ навсегда».

Потомъ онъ посылалъ стихи подъ чужимъ именемъ въ журналъ. Ихъ печатали, потому что они были недурны,

мѣстами не безъ энергіи и всѣ проникнуты пылкимъ чувствомъ; написаны гладко.

Наденька гордилась его любовью и звала его «мой поэтъ».—

«Да, твой, вѣчно твой»,—прибавлялъ онъ. Впереди улыбалась слава, и вѣнокъ, думалъ онъ, сплететъ ему Наденька и перевьетъ лавръ миртами, а тамъ... «Жизнь, жизнь, какъ ты прекрасна!» восклицалъ онъ. «А дядя? Зачѣмъ смущаетъ онъ миръ души моей? Не демонъ ли это, посланный мнѣ судьбою? Зачѣмъ отравляетъ онъ желчью все мое благо? не изъ зависти ли, что сердце его чуждо этимъ чистымъ радостямъ, или, можетъ-быть, изъ мрачнаго желанія вредить... о, дальше, дальше отъ него!.. Онъ убьетъ, заразитъ своею ненавистью мою любящую душу, развратитъ ее...»

И онъ бѣжалъ отъ дяди, не видался съ нимъ по цѣлымъ недѣлямъ, по мѣсяцамъ. А если, при встрѣчѣ, разговоръ заходилъ о чувствѣ, онъ насмѣшливо молчалъ, или слушалъ, какъ человѣкъ, котораго убѣжденія нельзя поколебать никакими доводами. Онъ свои сужденія считалъ непогрѣшительными, мнѣнія и чувства непреложными, и рѣшился впередъ руководствоваться только ими, говоря, что онъ уже не мальчикъ, и что *зачѣмъ же мнѣнія чужія только святы?* и проч.

А дядя былъ все тотъ же: онъ ни о чемъ не разспрашивалъ племянника, не замѣчалъ, или не хотѣлъ замѣтить его продѣлокъ. Видя, что положеніе Александра не измѣняется, что онъ ведетъ прежній образъ жизни, не проситъ у него денегъ, онъ сталъ съ нимъ [illegible] попрежнему и слегка упрекалъ, что рѣдко бываетъ у него.

— Жена сердится на тебя, — говорилъ онъ: [illegible] она привыкла считать тебя роднымъ: мы обѣдаемъ каждый [illegible] дома: заходи.

И только. И [illegible] заходилъ [illegible] было: утро на службѣ, послѣ обѣда до ночи у [illegible]

оставалась ночь, а ночью онъ уходилъ въ свой особенный, сотворенный имъ *міръ* и продолжалъ творить. Да притомъ, не мѣшаетъ же вѣдь соснуть немножко.

Въ изящной прозѣ онъ былъ менѣе счастливъ. Онъ написалъ комедію, двѣ повѣсти, какой-то очеркъ и путешествіе куда-то. Дѣятельность его была изумительна, бумага такъ и горѣла подъ перомъ. Комедію и одну повѣсть сначала показалъ дядѣ и просилъ сказать, годится ли? Дядя прочиталъ на выдержку нѣсколько страницъ и отослалъ назадъ, написавъ сверху: «годится для... перегородки!»

Александръ взбѣсился и отослалъ въ журналъ, но ему возвратили и то, и другое. Въ двухъ мѣстахъ на поляхъ комедіи отмѣчено было карандашомъ: «не дурно»—и только. Въ повѣсти часто встрѣчались слѣдующія отмѣтки: «слабо, невѣрно, незрѣло, вяло, неразвито» и проч., а въ концѣ сказано было: «вообще замѣтно незнаніе сердца, излишняя пылкость, неестественность, все на ходуляхъ, нигдѣ не видно человѣка... герой уродливъ... такихъ людей не бываетъ... къ напечатанію неудобно! Впрочемъ, авторъ, кажется, не безъ дарованія, надо трудиться!..»

«Такихъ людей не бываетъ!» подумалъ огорченный и изумленный Александръ: «какъ не бываетъ? да вѣдь герой-то я самъ. Неужели мнѣ изображать этихъ пошлыхъ героевъ, которые встрѣчаются на каждомъ шагу, мыслятъ и чувствуютъ, какъ толпа, дѣлаютъ, что всѣ дѣлаютъ.—эти жалкія лица вседневныхъ мелкихъ трагедій и комедій, не отмѣченныя особой печатью... унизится ли искусство до того?..»

Онъ, въ подтвержденіе чистоты исповѣдуемаго имъ ученія объ изящномъ, призывалъ тѣнь Байрона, ссылался на Гёте и на Шиллера. Героемъ, возможнымъ въ драмѣ или въ повѣсти, онъ воображалъ не иначе, какъ какого-нибудь корсара, или великаго поэта, артиста, и заставлялъ ихъ дѣйствовать и чувствовать по-своему.

Въ одной повѣсти мѣстомъ дѣйствія избралъ онъ Америку; обстановка была роскошная; американская природа, горы, и среди всего этого изгнанникъ, похитившій свою возлюбленную. Цѣлый міръ забылъ ихъ; они любовались собой да природой, и когда пришла вѣсть о прощеніи и возможность возвратиться на родину, они отказались. Потомъ, лѣтъ черезъ двадцать, какой-то европеецъ пріѣхалъ туда, пошелъ въ сопровожденіи индѣйцевъ на охоту и нашелъ на одной горѣ хижину и въ ней скелетъ. — Европеецъ былъ соперникъ героя. Какъ казалась ему хороша эта повѣсть! съ какимъ восторгомъ читалъ онъ ее въ зимніе вечера Наденькѣ! какъ жадно она внимала ему! — и не принять этой повѣсти!

Объ этой неудачѣ онъ ни полслова Наденькѣ; проглотилъ обиду молча — и концы въ воду. — Что же повѣсть, — спрашивала она: — напечатали? — Нѣтъ! — говорилъ онъ: — нельзя; тамъ много такого, что у насъ покажется дико и странно...

Если бъ онъ зналъ, какую правду сказалъ онъ, думая сказать ее совсѣмъ въ другомъ смыслѣ!

Трудиться казалось ему тоже страннымъ. «Зачѣмъ же талантъ? — говорилъ онъ. — Трудится бездарный труженикъ; талантъ творитъ легко и свободно...» Но, вспомнивъ, что статьи его о сельскомъ хозяйствѣ, да и стихи тоже, были сначала такъ, ни то, ни сё, а потомъ постепенно совершенствовались и обратили на себя особенное вниманіе публики, онъ задумался, понялъ нелѣпость своего заключенія и со вздохомъ отложилъ изящную прозу до другого времени: когда сердце будетъ биться ровнѣе, мысли придутъ въ порядокъ, тогда онъ далъ себѣ слово заняться, какъ слѣдуетъ.

Дни шли за днями, дни безпрерывныхъ наслажденій для Александра. Онъ счастливъ былъ, когда поцѣлуетъ кончикъ пальца Наденьки, просидитъ противъ нея въ картинной позѣ

часа два, не спуская съ нея глазъ, млѣя и вздыхая, или декламируя приличные случаю стихи.

Справедливость требуетъ сказать, что она иногда на вздохи и стихи отвѣчала зѣвотой. И не мудрено: сердце ея было занято, но умъ оставался празденъ. Александръ не позаботился дать ему пищи. Годъ, назначенный Наденькою для испытанія, проходилъ. Она жила съ матерью опять на той же дачѣ. Александръ заговаривалъ объ ея обѣщаніи, просилъ позволенія поговорить съ матерью. Наденька отложила-было до переѣзда въ городъ, но Александръ настаивалъ.

Наконецъ, однажды вечеромъ, при прощаньи, она позволила Александру переговорить на другой день съ матерью.

Александръ не уснулъ цѣлую ночь, не ходилъ въ должность. Въ головѣ у него вертѣлся завтрашній день; онъ все придумывалъ, какъ говорить съ Марьей Михайловной, сочинилъ-было рѣчь, приготовился, но едва вспомнилъ, что дѣло идетъ о Наденькиной рукѣ, растерялся въ мечтахъ и опять все забылъ. Такъ онъ пріѣхалъ вечеромъ на дачу, не приготовившись ни въ чемъ; да и не нужно было: Наденька встрѣтила его, по обыкновенію, въ саду, но съ оттѣнкомъ легкой задумчивости въ глазахъ и безъ улыбки, а какъ-то разсѣянно.

— Нынче нельзя говорить съ маменькой,—сказала она:— у насъ этотъ гадкій графъ сидитъ!

— Графъ! какой графъ?

— Вотъ не знаете, какой графъ! графъ Новинскій, извѣстно, нашъ сосѣдъ; вотъ его дача; сколько разъ сами хвалили садъ!

— Графъ Новинскій! у васъ!—сказалъ изумленный Александръ:—по какому случаю?

— Я еще и сама не знаю хорошенько, — отвѣчала Наденька: — я сидѣла здѣсь и читала вашу книжку, а маменьки дома не было; она пошла къ Марьѣ Ивановнѣ.

Только сталъ накрапывать дождь, я иду въ комнату, вдругъ къ крыльцу подъѣзжаетъ коляска, голубая съ бѣлой обивкой, та самая, что все мимо насъ ѣздила: — еще вы хвалили. Смотрю, выходитъ маменька съ какимъ-то мужчиной. Вошли; маменька и говоритъ: «Вотъ, графъ, это моя дочь; прошу любить да жаловать». Онъ поклонился и я тоже. Мнѣ стыдно стало, я покраснѣла и убѣжала въ свою комнату. А маменька — такая несносная — слышу, говоритъ: «Извините, графъ, она у меня такая дикарка»... Тутъ я и догадалась, что это долженъ быть нашъ сосѣдъ, графъ Новинскій. Вѣрно онъ завезъ маменьку въ экипажѣ отъ Марьи Ивановны, отъ дождя.

— Онъ... старикъ?—спросилъ Александръ.

— Какой старикъ, фи! что вы: молодой, хорошенькій!..

— Ужъ вы успѣли разсмотрѣть, что хорошенькій! — съ досадой сказалъ Александръ.

— Вотъ прекрасно! долго ли разсмотрѣть? Я съ нимъ ужъ говорила. Ахъ! онъ прелюбезный: разспрашивалъ что̀ я дѣлаю; о музыкѣ говорилъ; просилъ спѣть что-нибудь, да я не стала, я почти не умѣю. Нынѣшней зимой непремѣнно попрошу maman взять мнѣ хорошаго учителя пѣнія. Графъ говоритъ, что это нынче очень въ модѣ—пѣть.

Все это было сказано съ необыкновенной живостью.

— Я думалъ, Надежда Александровна, — замѣтилъ Адуевъ: — что нынѣшней зимой у васъ, кромѣ пѣнія, будетъ занятіе...

— Какое же?

— Какое!—съ упрекомъ сказалъ Александръ.

— Ахъ! да... что вы на лодкѣ сюда пріѣхали?

Онъ молча смотрѣлъ на нее. Она повернулась и пошла къ дому.

Адуевъ не совсѣмъ покойно вошелъ въ залу. Что за графъ! Какъ съ нимъ вести себя? каковъ онъ въ обращеніи? гордъ? небреженъ? Вошелъ. Графъ первый всталъ и

вѣжливо поклонился. Александръ отвѣчалъ принужденнымъ и неловкимъ поклономъ. Хозяйка представила ихъ другъ другу. Графъ почему-то не нравился ему; а онъ былъ прекрасный мужчина: высокій, стройный блондинъ, съ большими выразительными глазами, съ пріятной улыбкой. Въ манерахъ простота, изящество, какая-то мягкость. Онъ, кажется, расположилъ бы къ себѣ всякаго, но Адуева не расположилъ.

Александръ, несмотря на приглашеніе Марьи Михайловны - сѣсть поближе, сѣлъ въ уголъ и сталъ смотрѣть въ книгу, что было очень не свѣтски, неловко, неумѣстно. Наденька стала за кресломъ матери, съ любопытствомъ смотрѣла на графа и слушала, что̀ и какъ онъ говоритъ: онъ былъ для нея новостью.

Адуевъ не умѣлъ скрыть, что графъ не нравился ему. Графъ, казалось, не замѣчалъ его грубости: онъ былъ внимателенъ и обращался къ Адуеву, стараясь сдѣлать разговоръ общимъ. Все напрасно: тотъ молчалъ, или отвѣчалъ: да и нѣтъ.

Когда Любецкая случайно повторила его фамилію, графъ спросилъ, не родня ли ему Петръ Иванычъ.

— Дядя!—отвѣчалъ отрывисто Александръ.

— Я съ нимъ часто встрѣчаюсь въ свѣтѣ, — сказалъ графъ.

— Можетъ-быть. Что жъ тутъ мудренаго? — отвѣчалъ Адуевъ и пожалъ плечами.

Графъ скрылъ улыбку, закусивъ немного нижнюю губу. Наденька переглянулась съ матерью, покраснѣла и потупила глаза.

— Вашъ дядюшка умный и пріятный человѣкъ! — замѣтилъ графъ тономъ легкой ироніи.

Адуевъ молчалъ.

Наденька не вытерпѣла, подошла къ Александру, и пока

графъ говорилъ съ ея матерью, шепнула ему: — какъ вамъ не стыдно! графъ такъ ласковъ съ вами, а вы?...

— Ласковъ! — съ досадой, почти вслухъ отвѣчалъ Александръ: — я не нуждаюсь въ его ласкахъ, не повторяйте этого слова...

Наденька отскочила отъ него прочь и издали долго глядѣла на него неподвижно, сдѣлавъ большіе глаза, потомъ стала опять за стуломъ матери и не обращала уже вниманія на Александра.

А Адуевъ все ждалъ, вотъ графъ уйдетъ, и онъ, наконецъ, успѣетъ переговорить съ матерью. Но пробило десять, одиннадцать часовъ, графъ не уходитъ и все говоритъ.

Всѣ предметы, около которыхъ обыкновенно вертится разговоръ въ началѣ знакомства, истощились. Графъ началъ шутить. Онъ шутилъ умно: въ его шуткахъ — ни малѣйшей принужденности, ни претензіи на остроуміе, а такъ что-то занимательное, какая-то особенная способность забавно разсказать, даже не анекдотъ, а просто новость, случай, или однимъ неожиданнымъ словомъ серьезную вещь превратить въ смѣшную.

И мать, и дочь совершенно поддались вліянію его шутокъ, и самъ Александръ не разъ прикрывалъ книгой невольную улыбку. Но онъ бѣсился въ душѣ.

Графъ говорилъ обо всемъ одинаково хорошо, съ тактомъ, и о музыкѣ, и о людяхъ, и о чужихъ краяхъ. Зашелъ разговоръ о мужчинахъ, о женщинахъ: онъ побранилъ мужчинъ, въ томъ числѣ и себя, ловко похвалилъ женщинъ вообще, и сдѣлалъ нѣсколько комплиментовъ хозяйкамъ въ особенности.

Адуевъ подумалъ о своихъ литературныхъ занятіяхъ, о стихахъ. «Вотъ тутъ бы я его срѣзалъ», подумалъ онъ. Заговорили и о литературѣ; мать и дочь рекомендовали Александра, какъ писателя.

«Вотъ сконфузится-то!» подумалъ Адуевъ.

Вовсе нѣтъ. Графъ говорилъ о литературѣ, какъ будто никогда ничѣмъ другимъ не занимался; сдѣлалъ нѣсколько бѣглыхъ и вѣрныхъ замѣчаній о современныхъ русскихъ и французскихъ знаменитостяхъ. Вдобавокъ ко всему оказалось, что онъ находился въ дружескихъ отношеніяхъ съ первоклассными русскими литераторами, а въ Парижѣ познакомился съ нѣкоторыми и изъ французскихъ. О немногихъ отозвался онъ съ уваженіемъ, другихъ слегка очертилъ въ карикатурѣ.

О стихахъ Александра онъ сказалъ, что не знаетъ ихъ и не слыхалъ...

Наденька какъ-то странно посмотрѣла на Адуева, какъ будто спрашивая: «что жъ, братъ, ты? не далеко уѣхалъ...»

Александръ оробѣлъ. Дерзкая и грубая мина уступила мѣсто унынію. Онъ походилъ на пѣтуха съ мокрымъ хвостомъ, прячущагося отъ непогоды подъ навѣсъ.

Вотъ въ буфетѣ зазвенѣли стаканами, ложками, накрываютъ столъ, а графъ не уходитъ. Исчезла всякая надежда. Онъ даже согласился на приглашеніе Любецкой остаться и поужинать простокваши.

«Графъ, а ѣстъ простоквашу!» шепталъ Адуевъ, съ ненавистью глядя на графа.

Графъ ужиналъ съ аппетитомъ, продолжая шутить, какъ будто онъ былъ у себя.

— Въ первый разъ въ домѣ, безсовѣстный, а ѣстъ за троихъ!—шепнулъ Александръ Наденькѣ.

— Что жъ! онъ *кушать* хочетъ! — отвѣчала она простодушно.

Графъ, наконецъ, ушелъ, но говорить о дѣлѣ было поздно. Адуевъ взялъ шляпу и побѣжалъ вонъ. Наденька нагнала его и успѣла успокоить.

— Такъ завтра?—спросилъ Александръ.

— Завтра насъ дома не будетъ.

— Ну, послѣзавтра.

Они разстались.

Послѣзавтра Александръ пріѣхалъ пораньше. Еще въ саду до него изъ комнаты доносились незнакомые звуки... віолончель не віолончель... Онъ ближе... поетъ мужской голосъ, и какой голосъ! звучный, свѣжій, который такъ, кажется, и просится въ сердце женщины. Онъ дошелъ до сердца и Адуева, но иначе: оно замерло, заныло отъ тоски, зависти, ненависти, отъ неяснаго и тяжелаго предчувствія. Александръ вошелъ въ переднюю со двора.

— Кто у васъ?—спросилъ онъ у человѣка.

— Графъ Новинскій.

— Давно?

— Съ шести часовъ.

— Скажи тихонько барышнѣ, что я былъ и зайду опять.

— Слушаю-съ.

Александръ вышелъ вонъ и пошелъ бродить по дачамъ, едва замѣчая куда идетъ. Часа черезъ два онъ воротился.

— Что, все еще у васъ?—спросилъ онъ.

— У насъ; да, кажется, кушать останутся. Барыня приказала жарить рябчиковъ къ ужину.

— А ты говорилъ барышнѣ обо мнѣ?

— Говорилъ-съ.

— Ну, что жъ она?

— Ничего не изволила приказывать.

Александръ уѣхалъ домой и не являлся два дня. Богъ знаетъ, что онъ передумалъ и перечувствовалъ; наконецъ, поѣхалъ.

Вотъ онъ завидѣлъ дачу, всталъ въ лодкѣ и, прикрывъ глаза рукой отъ солнца, смотрѣлъ впередъ. Вонъ между деревьями мелькаетъ синее платье, которое такъ ловко сидитъ на Наденькѣ; синій цвѣтъ такъ къ лицу ей. Она всегда надѣвала это платье, когда хотѣла особенно нравиться Александру. У него отлегло отъ сердца.

«А! она хочетъ вознаградить меня за временную, неволь-

ную небрежность», думалъ онъ: «не она, а я виноватъ: какъ можно было такъ непростительно вести себя? этимъ только вооружишь противъ себя; чужой человѣкъ, новое знакомство... очень натурально, что она, какъ хозяйка... А! вонъ выходитъ изъ-за куста съ узенькой тропинки, идетъ къ рѣшёткѣ, тутъ остановится и будетъ ждать...»

Она, точно, вышла на большую аллею... но кто жъ еще съ ней поворачиваетъ съ дорожки?...

— Графъ! — горестно, вслухъ воскликнулъ Александръ и не вѣрилъ своимъ глазамъ.

— Ась? — откликнулся одинъ гребецъ.

— Одна съ нимъ въ саду...,—шепнулъ Александръ:—какъ со мной.

Графъ съ Наденькой подошли къ рѣшёткѣ и, не взглянувъ на рѣку, повернулись и медленно пошли по аллеѣ назадъ. Онъ наклонился къ ней и говорилъ что-то тихо. Она шла, потупя голову.

Адуевъ все стоялъ въ лодкѣ, съ раскрытымъ ртомъ, не шевелясь, протянувъ руки къ берегу, потомъ опустилъ ихъ и сѣлъ. Гребцы продолжали грести.

— Куда вы? — бѣшено закричалъ на нихъ Александръ, опомнившись. — Назадъ!

— Назадъ ѣхать? — повторилъ одинъ, глядя на него, разинувъ ротъ.

— Назадъ! глухъ, что ли, ты?

— А туда не понадобится?

Другой гребецъ, молча, проворно сталъ забирать весломъ слѣва, потомъ ударили въ два весла, и лодка быстро помчалась обратно. Александръ нахлобучилъ шляпу чуть не до плечъ и погрузился въ мучительную думу.

Послѣ того онъ не ѣздилъ къ Любецкимъ двѣ недѣли.

Двѣ недѣли: какой срокъ для влюбленнаго! Но онъ все ждалъ: вотъ пришлютъ человѣка узнать, что съ нимъ? не боленъ ли? какъ это всегда дѣлалось, когда онъ захвораетъ,

или такъ, закапризничаетъ. Наденька сначала, бывало, отъ имени матери сдѣлаетъ вопросъ по формѣ и потомъ чего не напишетъ отъ себя? Какіе милые упреки, какое нѣжное безпокойство! что за нетерпѣніе!

«Нѣтъ, теперь я не сдамся скоро», думалъ Александръ: «я ее помучаю. Я научу ее, какъ должно обходиться съ постороннимъ мужчиной; примиреніе будетъ не легко!»

И онъ задумалъ жестокій планъ мщенія, мечталъ о раскаяніи, о томъ, какъ онъ великодушно проститъ и дастъ наставленіе. Но къ нему не шлютъ человѣка и не несутъ повинной; онъ какъ будто не существовалъ для нихъ.

Онъ похудѣлъ, сдѣлался блѣденъ. Ревность мучительнѣе всякой болѣзни, особенно ревность по подозрѣніямъ, безъ доказательствъ. Когда является доказательство, тогда конецъ и ревности, большею частію и самой любви, тогда знаютъ, по крайней мѣрѣ, что̀ дѣлать, а до тѣхъ поръ—мука! и Александръ испытывалъ ее вполнѣ.

Наконецъ, онъ рѣшился поѣхать утромъ, думая застать Наденьку одну и объясниться съ ней.

Пріѣхалъ. Въ саду никого не было, въ залѣ и гостиной тоже. Онъ вышелъ въ переднюю, отворилъ дверь на дворъ...

Какая сцена представилась ему! Два жокея, въ графской ливреѣ, держали верховыхъ лошадей. На одну изъ нихъ графъ и человѣкъ сажали Наденьку; другая приготовлена была для самого графа. На крыльцѣ стояла Марья Михайловна. Она, наморщившись, съ безпокойствомъ смотрѣла на эту сцену.

— Крѣпче сиди, Наденька,—говорила она.—Посмотрите, графъ, за ней, ради Христа! Ахъ! я боюсь, ей-Богу, боюсь. Придерживайся за ухо лошади, Наденька: видишь, она точно бѣсъ—такъ и юлитъ.

— Ничего, maman,—весело сказала Наденька:—я вѣдь ужъ умѣю ѣздить: посмотрите.

Она хлеснула лошадь, та бросилась впередъ и начала прыгать и рваться на мѣстѣ.

— Ахъ, ахъ! держите! — закричала Марья Михайловна, махая рукой: — перестань, убьетъ!

Но Наденька потянула поводья, и лошадь стала.

— Видите, какъ она меня слушается!—сказала Наденька и погладила лошадь по шеѣ.

Адуева никто и не замѣтилъ. Онъ, блѣдный, молча смотрѣлъ на Наденьку, а она, какъ на смѣхъ, никогда не казалась такъ хороша, какъ теперь. Какъ шла къ ней амазонка и эта шляпка съ зеленой вуалью! какъ обрисовывалась ея талія! Лицо одушевлено было стыдливою гордостью и роскошью новаго ощущенія. Румянецъ то пропадалъ, то выступалъ, отъ удовольствія, на щекахъ. Лошадь слегка прыгала и заставляла стройную наѣздницу граціозно наклоняться и откидываться назадъ. Станъ ея покачивался на сѣдлѣ, какъ стебель цвѣтка, колеблемый вѣтеркомъ. Потомъ жокей подвелъ лошадь графу.

— Графъ! мы опять черезъ рощу поѣдемъ? — спросила Наденька.

«Опять!» подумалъ Адуевъ.

— Очень хорошо,—отвѣчалъ графъ.

Лошади тронулись съ мѣста.

— Надежда Александровна! — вдругъ закричалъ Адуевъ какимъ-то дикимъ голосомъ.

Всѣ остановились, какъ вкопанные, какъ будто окаменѣли, и смотрѣли въ недоумѣніи на Александра. Это продолжалось съ минуту.

— Ахъ, это Александръ Ѳедорычъ!—первая сказала мать, опомнившись. Графъ привѣтливо поклонился. Наденька проворно откинула вуаль отъ лица, обернулась и посмотрѣла на него съ испугомъ, открывъ немного ротикъ, потомъ быстро отвернулась, стегнула лошадь, та рванулась впередъ и въ два прыжка исчезла за воротами; за нею пустился графъ.

— Тише, тише, ради Бога, тише!—кричала мать вслѣдъ:— за ухо держи. А! Господи, Боже мой, того и гляди упадетъ: что́ это за страсти такія!

И все пропало; слышенъ былъ только лошадиный топотъ, да пыль облакомъ поднялась съ дороги. Александръ остался съ Любецкой. Онъ молча смотрѣлъ на нее, какъ-будто спрашивалъ глазами: «что̀ это значитъ?» Та не заставила долго ждать отвѣта.

— Уѣхали,—сказала она:—и слѣдъ простылъ! Ну, пусть молодежь порѣзвится, а мы съ вами побесѣдуемъ, Александръ Ѳедорычъ. Да что̀ это двѣ недѣли о васъ ни слуху, ни духу: разлюбили что ли насъ?

— Я былъ боленъ, Марья Михайловна, — угрюмо отвѣчалъ онъ.

— Да, это видно: вы похудѣли и блѣдные такіе! Сядьте-ка поскорѣй, отдохните; да не хотите ли, я прикажу сварить яичекъ въ смятку? до обѣда еще долго.

— Благодарю васъ; я не хочу.

— Отчего? вѣдь сейчасъ будутъ готовы, а яйца славныя: чухонецъ только сегодня принесъ.

— Нѣтъ-съ, нѣтъ.

— Что жъ это съ вами? А я все жду да жду, думаю: что жъ это значитъ, и самъ не ѣдетъ и книжекъ французскихъ не везетъ? Помните, вы обѣщали что-то: «Peau de chagrin», что ли? Жду, жду—нѣтъ! разлюбилъ, думаю, Александръ Ѳедорычъ, насъ, право, разлюбилъ.

— Я боюсь, Марья Михайловна, не разлюбили ли вы меня?

— Грѣхъ вамъ бояться этого, Александръ Ѳедорычъ! Я люблю васъ, какъ родного; вотъ не знаю, какъ Наденька; да она еще ребенокъ: что̀ смыслитъ? гдѣ ей цѣнить людей! Я каждый день твержу ей: что это, молъ, Александра Ѳедорыча не видать, что не ѣдетъ? и все поджидаю. Повѣрите ли, каждый день до пяти часовъ обѣдать не садилась, все думала: вотъ подъѣдетъ. Ужъ и Наденька говоритъ

иногда: «что это, maman, кого вы ждете? мнѣ кушать хочется, и графу, я думаю, тоже...»

— А графъ... часто бываетъ?..—спросилъ Александръ.

— Да почти каждый день, а иногда по два раза въ одинъ день; такой добрый, такъ полюбилъ насъ... Ну, вотъ, говоритъ Наденька: «ѣсть хочу, да и только! пора за столъ».— «А какъ Александръ Ѳедорычъ, говорю я, будетъ?..»—«Не будетъ, говоритъ она, хотите пари, что не будетъ? нечего ждать...» — Любецкая рѣзала Александра этими словами, какъ ножомъ.

— Она... такъ и говорила? — спросилъ онъ, стараясь улыбнуться.

— Да, такъ-таки и говоритъ и торопитъ. Я вѣдь строга, даромъ что смотрю такой доброй. Я ужъ бранила ее: «то ждешь, молъ, его до пяти часовъ, не обѣдаешь, то вовсе не хочешь подождать—безтолковая! нехорошо! Александръ Ѳедорычъ старый нашъ знакомый, любитъ насъ, и дяденька его, Петръ Иванычъ, много намъ расположенія своего показалъ... нехорошо такъ небрежничать! онъ, пожалуй, разсердится да не станетъ ходить...»

— Что жъ она?—спросилъ Александръ.

— А ничего. Вѣдь вы знаете, она у меня такая живая— вскочитъ, запоетъ, да побѣжитъ, или скажетъ: «пріѣдетъ, если захочетъ!» такая рѣзвушка! и я думаю — пріѣдетъ! Смотришь еще день пройдетъ — нѣтъ! Я опять: «что это, Наденька, здоровъ ли Александръ Ѳедорычъ!»—«Не знаю, говоритъ, maman, мнѣ почемъ знать?»—«Пошлемъ-ка узнать, что съ нимъ?» Пошлемъ да пошлемъ, да такъ вотъ и послали: я-то забыла, понадѣялась на нее, а она у меня вѣтеръ. Вотъ теперь далась ей эта ѣзда! увидала разъ графа верхомъ изъ окна и пристала ко мнѣ: «хочу ѣздить» да и только! Я туда, сюда, нѣтъ—«хочу!» Сумасшедшая! Нѣтъ, въ мое время какая верховая ѣзда! насъ совсѣмъ не такъ воспитывали. А нынче, ужасъ сказать, дамы стали

ужъ покуривать: вонъ, напротивъ насъ молодая вдова живетъ: сидитъ на балконѣ да соломинку цѣлый день и куритъ; мимо ходятъ, ѣздятъ—ей и нужды нѣтъ! Бывало, у насъ, если и отъ мужчины въ гостиной пахнетъ табакомъ...

— Давно это началось?—спросилъ Александръ.

— Да не знаю, говорятъ, лѣтъ съ пять въ моду вошло: вѣдь все отъ французовъ...

— Нѣтъ-съ, я спрашиваю: давно ли Надежда Александровна ѣздитъ верхомъ?

— Недѣли съ полторы. Графъ такой добрый, такой обходительный: чего, чего не дѣлаетъ для насъ; какъ ее балуетъ! Смотрите, сколько цвѣтовъ! все изъ его саду. Иной разъ совѣстно станетъ. «Что это, говорю, графъ, вы ее балуете? она совсѣмъ ни на что не похожа будетъ!..» и ее побраню. Мы съ Марьей Ивановной да съ Наденькой были у него въ манежѣ: я вѣдь, вы знаете, сама за ней наблюдаю: ужъ кто лучше матери усмотритъ за дочерью? я сама занималась воспитаніемъ и не хвастаясь скажу: дай Богъ всякому такую дочь! Тамъ при насъ Наденька и училась. Потомъ завтракали у него въ саду, да вотъ теперь каждый день и ѣздятъ. Что это, какой богатый у него домъ! мы смотрѣли: все такъ со вкусомъ, роскошно!

— Каждый день!—сказалъ Александръ, почти про себя.

— Да что жъ не потѣшить! сама тоже молода была... бывало...

— И долго они ѣздятъ?

— Часа по три. Ну, а вы чѣмъ это заболѣли?

— Я не знаю... у меня что-то грудь болитъ... — сказалъ онъ, прижавъ руку къ сердцу.

— Вы ничего не принимаете?

— Нѣтъ.

— Вотъ то-то молодые люди! все ничего, все до поры до времени, а тамъ и спохватятся, какъ время уйдетъ! Что жъ вамъ, ломитъ что ли, ноетъ, или рѣжетъ?

— И ломитъ, и ноетъ, и рѣжетъ! — разсѣянно сказалъ Александръ.

— Это простуда; сохрани Боже! не надо запускать, вы такъ уходите себя... можетъ воспаленіе сдѣлаться; и никакихъ лѣкарствъ! Знаете что? возьмите-ка оподельдоку да и трите на ночь грудь крѣпче, втирайте дò-красна, а вмѣсто чаю пейте траву, я вамъ рецептъ дамъ.

Наденька воротилась блѣдная отъ усталости. Она бросилась на диванъ, едва переводя духъ.

— Смотри-ка! — говорила, приложивъ ей руку къ головѣ, Марья Михайловна:—какъ уходилась, насилу дышишь. Выпей воды, да поди переодѣнься, распусти шнуровку. Ужъ не доведетъ тебя эта ѣзда до добра!

Александръ и графъ пробыли цѣлый день. Графъ былъ неизмѣнно вѣжливъ и внимателенъ къ Александру, звалъ его къ себѣ взглянуть на садъ, приглашалъ раздѣлить прогулку верхомъ, предлагалъ ему лошадь.

— Я не умѣю ѣздить,—холодно сказалъ Адуевъ.

— Вы не умѣете?—спросила Наденька:—а какъ это весело! Мы опять завтра поѣдемъ, графъ?

Графъ поклонился.

— Полно тебѣ, Наденька, — замѣтила мать: — ты безпокоишь графа.

Ничто, однакожъ, не показывало, чтобы между графомъ и Наденькою существовали особенныя отношенія. Онъ былъ одинаково любезенъ и съ матерью, и съ дочерью, не искалъ случая говорить съ одной Наденькой, не бѣжалъ за нее въ садъ, глядѣлъ на нее точно такъ же, какъ и на мать. Ея свободное обращеніе съ нимъ и прогулки верхомъ объяснялись, съ ея стороны дикостью и неровностью характера, наивностью, можетъ-быть, еще недостаткомъ воспитанія, незнаніемъ условій свѣта, со стороны матери — слабостью и недальновидностью. Внимательность и услужливость графа и его ежедневныя посѣщенія можно было приписать сосѣд-

ству дачъ и радушному пріему, который онъ всегда находилъ у Любецкихъ.

Дѣло, кажется, естественное, если глядѣть на него простымъ глазомъ; но Александръ смотрѣлъ въ увеличительное стекло и видѣлъ многое... многое... что простымъ глазомъ не усмотришь.

«Отчего», спрашивалъ онъ себя: «перемѣнилась къ нему Наденька?»

Она ужъ не ждетъ его въ саду, встрѣчаетъ не съ улыбкой, а съ испугомъ, одѣвается съ нѣкоторыхъ поръ гораздо тщательнѣе. Нѣтъ небрежности въ обращеніи. Она осмотрительнѣе въ поступкахъ, какъ будто стала разсудительнѣе. Иногда у ней кроется въ глазахъ и въ словахъ что-то такое, что̀ похоже на секретъ... Гдѣ милые капризы, дикость, шалости, рѣзвость? Все пропало. Она стала серьезна, задумчива, молчалива. Ее какъ будто что-то мучитъ. Она теперь похожа на всѣхъ дѣвицъ: такая же притворщица, такъ же лжетъ, такъ заботливо разспрашиваетъ о здоровьѣ... такъ постоянно внимательна, любезна по формѣ... къ нему... къ Александру! съ кѣмъ... о Боже! И сердце его замирало.

«Это не даромъ, не даромъ», твердилъ онъ самъ съ собою: «тутъ что-то кроется! Но я узнаю, во что бы то ни стало, и тогда горе...

Не попущу, чтобъ развратитель,
Огнемъ и вздоховъ и похвалъ,
Младое сердце искушалъ...
Чтобъ червь презрѣнный, ядовитый
Точилъ лилеи стебелекъ,
Чтобы двухъ-утренній цвѣтокъ
Увялъ, едва полураскрытый...»

И въ этотъ день, когда графъ уже ушелъ, Александръ старался улучить минуту, чтобы поговорить съ Наденькой наединѣ. Чего онъ ни дѣлалъ? Взялъ книгу, которою она,

бывало, вызывала его въ садъ отъ матери, показалъ ей и пошелъ къ берегу, думая, вотъ сейчасъ прибѣжитъ. Ждалъ, ждалъ—нейдетъ. Онъ воротился въ комнату. Она сама читала книгу и не взглянула на него. Онъ сѣлъ подлѣ нея. Она не поднимала глазъ, потомъ спросила бѣгло, мимоходомъ, занимается ли онъ литературой, не вышло ли чего-нибудь новаго? О прошломъ ни слова.

Онъ заговорилъ съ матерью. Наденька ушла въ садъ. Мать вышла изъ комнаты и Адуевъ бросился также въ садъ. Наденька, завидѣвъ его, встала со скамьи и пошла не навстрѣчу ему, а по круговой аллеѣ, тихонько къ дому, какъ будто отъ него. Онъ ускорилъ шаги, и она тоже.

— Надежда Александровна! — закричалъ онъ издали: — мнѣ хотѣлось бы сказать вамъ два слова.

— Пойдемте въ комнату: здѣсь сыро,—отвѣчала она.

Воротясь, она опять сѣла подлѣ матери. Александру чуть не сдѣлалось дурно.

И вы нынче боитесь сырости?—сказалъ онъ съ колкостью.

— Да, теперь такіе темные вечера, и холодные, — отвѣчала она, зѣвая.

Скоро и переѣдемъ, — замѣтила мать. — Потрудитесь, Александръ Ѳедорычъ, зайти на квартиру и напомнить хозяину, чтобъ онъ передѣлалъ два замка́ у дверей, да ставню въ Наденькиной спальнѣ. Онъ обѣщалъ — забудетъ, того гляди. Они всѣ таковы: имъ лишь бы денежки взять.

Адуевъ сталъ прощаться.

Смотрите же, не надолго! — сказала Марья Михайловна.

Наденька молчала.

Онъ ужъ подошелъ къ дверямъ и обернулся къ ней. Она сдѣлала три шага къ нему. Сердце у него встрепенулось. «Наконецъ!» подумалъ онъ.

— Вы будете къ намъ завтра? — спросила она холодно,

но глаза ея устремились на него съ жаднымъ любопытствомъ.

— Не знаю; а что?

— Такъ, спрашиваю; будете ли?

— А вамъ бы хотѣлось?

— Будете вы завтра къ намъ?—повторила она тѣмъ же холоднымъ тономъ, но съ бо́льшимъ нетерпѣніемъ.

— Нѣтъ!—отвѣчалъ онъ съ досадой.

— А послѣзавтра?

— Нѣтъ; я не буду цѣлую недѣлю, можетъ-быть, двѣ... долго!..—И онъ устремилъ на нее испытующій взглядъ, стараясь прочесть въ ея глазахъ, какое впечатлѣніе произведетъ этотъ отвѣтъ.

Она молчала, но глаза ея въ одно мгновеніе съ его отвѣтомъ опустились внизъ, и что̀ было въ нихъ? отуманила ли ихъ грусть, или блеснула въ нихъ молнія радости—ничего нельзя было прочесть на этомъ мраморномъ, прекрасномъ лицѣ.

Александръ стиснулъ шляпу въ рукѣ и пошелъ вонъ.

— Не забудьте потереть грудь оподельдокомъ!—кричала вслѣдъ Марья Михайловна.

И вотъ Александру опять задача — разбирать, къ чему былъ сдѣланъ Наденькою вопросъ? что въ немъ заключалось: желаніе или боязнь видѣть его?

— О, какая му́ка! какая му́ка! — говорилъ онъ въ отчаяніи.

Не выдержалъ бѣдный Александръ: пріѣхалъ на третій день. Наденька была у рѣшётки сада, когда онъ подъѣзжалъ. Онъ уже было обрадовался, но только-что онъ сталъ приближаться къ берегу, она, какъ будто не видя его, повернулась и, сдѣлавъ нѣсколько косвенныхъ шаговъ по дорожкѣ, точно гуляетъ безъ цѣли, пошла домой.

Онъ засталъ ее съ матерью. Тамъ было человѣка два изъ города, сосѣдка Марья Ивановна и неизбѣжный графъ.

Мученія Александра были невыносимы. Опять прошелъ цѣлый день въ пустыхъ ничтожныхъ разговорахъ. Какъ надоѣли ему гости! Они говорили покойно о всякомъ вздорѣ, разсуждали, шутили, смѣялись.

«Смѣются!» говорилъ Александръ: «они могутъ смѣяться, когда... Наденька... перемѣнилась ко мнѣ! Имъ это ничего! Жалкіе, пустые люди: всему радуются!»

Наденька ушла въ садъ; графъ не пошелъ съ ней. Съ нѣкотораго времени и онъ, и Наденька какъ будто избѣгали другъ друга при Александрѣ. Онъ иногда застанетъ ихъ въ саду или въ комнатѣ однихъ, но потомъ они разойдутся и при немъ уже не сходятся болѣе. Новое, страшное открытіе для Александра: знакъ, что они въ заговорѣ.

Гости разошлись. Ушелъ и графъ. Наденька этого не знала и не спѣшила домой. Адуевъ безъ церемоніи ушелъ отъ Марьи Михайловны въ садъ. Наденька стояла спиной къ Александру, держась рукой за рѣшётку и опершись головой на руку, какъ въ тотъ незабвенный вечеръ... Она не видала и не слыхала его прихода.

Какъ билось у него сердце, когда онъ крался къ ней на цыпочкахъ. Дыханіе у него замерло.

— Надежда Александровна! — едва слышно проговорилъ онъ въ волненіи.

Она вздрогнула, какъ будто подлѣ нея выстрѣлили, обернулась и отступила отъ него на шагъ.

— Скажите, пожалуйста, что̀ это тамъ за дымъ? — заговорила она въ смущеніи, съ живостью указывая на противоположную сторону рѣки: — пожаръ что ли, или печка такая... на заводѣ?..

Онъ молча глядѣлъ на нее.

— Право, я думала пожаръ... Что вы такъ смотрите на меня, не вѣрите?..

Она замолчала.

— И вы, — началъ онъ, качая головой: — и вы, какъ

другія, какъ всѣ!.. Кто бы ожидалъ этого... мѣсяца два назадъ?..

— Что вы? я васъ не понимаю, —сказала она и хотѣла идти.

— Постойте, Надежда Александровна, я не въ силахъ долѣе сносить этой пытки.

— Какой пытки? я, право, не знаю...

— Не притворяйтесь, скажите, вы ли это? тѣ же ли вы, какія были?

— Я все та же!—сказала она рѣшительно.

— Какъ? вы не перемѣнились ко мнѣ?

— Нѣтъ: я, кажется, такъ же ласкова съ вами, такъ же весело встрѣчаю васъ...

— Такъ же весело! а зачѣмъ бѣжите отъ рѣшётки?..

— Я бѣгу? смотрите что выдумали: я стою у рѣшётки, а вы говорите—бѣгу.

Она принужденно засмѣялась.

— Надежда Александровна, оставьте лукавство!—продолжалъ Адуевъ.

— Какое лукавство? что̀ вы пристали ко мнѣ?

— Вы ли это? Боже мой! полтора мѣсяца тому назадъ, еще здѣсь...

— Что это за дымъ такой на той сторонѣ, хотѣла бы я знать?..

— Ужасно! ужасно!—говорилъ Александръ.

— Да что я вамъ сдѣлала? Вы перестали къ намъ ѣздить—какъ хотите... удерживать противъ воли...— начала Наденька.

— Притворяетесь! будто вы не знаете, зачѣмъ я пересталъ ѣздить?

Она, глядя въ сторону, покачала головой.

— А графъ?—сказалъ онъ почти грозно.

— Какой графъ?

Она сдѣлала мину, какъ будто въ первый разъ слышитъ о графѣ.

— Какой? скажите еще,—говорилъ онъ, глядя ей прямо въ глаза:—что вы равнодушны къ нему?

— Вы съ ума сошли!—отвѣчала она, отступая отъ него.

— Да, вы не ошиблись! — продолжалъ онъ: — разсудокъ мой угасаетъ съ каждымъ днемъ... Можно ли такъ коварно, неблагодарно поступить съ человѣкомъ, который любилъ васъ больше всего на свѣтѣ, который все забылъ для васъ, все.... думалъ скоро быть счастливымъ навсегда, а вы...

— Что я?—говорила она, отступивъ еще.

— Что вы? — отвѣчалъ онъ, взбѣшенный этимъ хладнокровіемъ. — Вы забыли! я напомню вамъ, что здѣсь, на этомъ самомъ мѣстѣ, вы сто разъ клялись принадлежать мнѣ: «эти клятвы слышитъ Богъ!» говорили вы. Да, Онъ слышалъ ихъ! вы должны краснѣть и передъ небомъ, и передъ этими деревьями, передъ каждой травкой... все свидѣтель нашего счастія: каждая песчинка говоритъ здѣсь о нашей любви: смотрите, оглянитесь около себя!.. вы клятвопреступница!!!

Она съ ужасомъ смотрѣла на него. Глаза его сверкали, губы побѣлѣли.

— У! какіе злые!—сказала она робко:—за что вы сердитесь? я вамъ не отказывала, вы еще не говорили съ maman... почему же вы знаете...

Говорить послѣ этихъ поступковъ?..

Какихъ поступковъ? я не знаю...

Какихъ? сейчасъ скажу: что̀ значатъ эти свиданія съ графомъ, эти прогулки верхомъ?

— Но бѣжать же мнѣ отъ него, когда maman выйдетъ изъ комнаты! а ѣзда верхомъ значитъ... что я люблю ѣздить... такъ пріятно: скачешь... ахъ, какая миленькая эта лошадка Люси! вы видѣли?.. она ужъ знаетъ меня...

— А перемѣна въ обращеніи со мной?.. — продолжалъ онъ: — зачѣмъ графъ у васъ каждый день, съ утра до вечера?

— Ахъ, Боже мой! я почемъ знаю! какіе вы смѣшные! maman такъ хочетъ.

— Неправда! maman хочетъ то, что̀ вы хотите. Кому эти всѣ подарки, ноты, альбомы, цвѣты? все maman?

— Да, maman очень любитъ цвѣты. Вчера еще она купила у садовника...

— А о чемъ вы съ нимъ говорите вполголоса?—продолжалъ Александръ, не обращая вниманія на ея слова: — посмотрите, вы блѣднѣете, вы сами чувствуете свою вину. Разрушить счастье человѣка, забыть, уничтожить все такъ скоро, легко: лицемѣріе, неблагодарность, ложь, измѣна!.. да, измѣна!.. какъ могли вы допустить себя до этого? Богатый графъ, левъ, удостоилъ кинуть на васъ благосклонный взглядъ—и вы растаяли, пали ницъ передъ этимъ мишурнымъ солнцемъ; гдѣ стыдъ!!! Чтобъ графа не было здѣсь!— говорилъ онъ задыхающимся голосомъ:—слышите ли? оставьте, прекратите съ нимъ всѣ сношенія, чтобъ онъ забылъ дорогу въ вашъ домъ!.. я не хочу...

Онъ съ бѣшенствомъ схватилъ ее за руку.

— Maman, maman! сюда!—пронзительнымъ голосомъ закричала Наденька, вырываясь отъ Александра и, вырвавшись, опрометью бросилась бѣжать домой.

Онъ сѣлъ на скамью и схватился руками за голову.

Она прибѣжала въ комнату блѣдная, испуганная и упала на стулъ.

— Что ты? что съ тобой? что ты кричишь? — спросила встревоженная мать, идя ей навстрѣчу.

— Александръ Ѳедорычъ... нездоровъ! — едва могла проговорить она.

— Такъ что жъ такъ пугаться?

— Онъ такой страшный... maman, не пускайте его, ради Бога, ко мнѣ.

— Какъ ты меня перепугала, сумасшедшая! Ну что жъ, что нездоровъ? я знаю, у него грудь болитъ. Что тутъ страшнаго? не чахотка! потретъ оподельдокомъ—все пройдетъ: видно не послушался, не потеръ.

Александръ опомнился. Горячка прошла, но мука его удвоилась. Сомнѣній онъ не прояснилъ, а перепугалъ Наденьку и теперь, конечно, не добьется отъ нея отвѣта: не такъ взялся за дѣло. Ему, какъ всякому влюбленному, вдругъ пришло въ голову и то: «ну, если она не виновата? можетъ-быть, въ самомъ дѣлѣ она равнодушна къ графу. Безтолковая мать приглашаетъ его каждый день: что же ей дѣлать? Онъ, какъ свѣтскій человѣкъ, любезенъ; Наденька—хорошенькая дѣвушка: можетъ-быть, онъ и хочетъ нравиться ей, да вѣдь это еще не значитъ, что ужъ и понравился. Ей: можетъ-быть, нравятся цвѣты, верховая ѣзда, невинныя развлеченія, а не самъ графъ? Да положимъ даже, что тутъ есть немного и кокетства: развѣ это не простительно? другія и старше, да Богъ знаетъ, что дѣлаютъ».

Онъ отдохнулъ, лучъ радости блеснулъ въ душѣ. Влюбленные всѣ таковы: то очень слѣпы, то слишкомъ прозорливы. Притомъ же такъ пріятно оправдать любимый предметъ!

«А отчего же перемѣна въ обращеніи со мной?» вдругъ спрашивалъ онъ себя и снова блѣднѣлъ. «Зачѣмъ она убѣгаетъ меня, молчитъ, будто стыдится? зачѣмъ вчера, въ простой день, одѣлась такъ нарядно? гостей, кромѣ его, не было. Зачѣмъ спросила, скоро ли начнутся балеты?» Вопросъ простой; но онъ вспомнилъ, что графъ вскользь обѣщалъ доставать всегда ложу, несмотря ни на какія трудности, слѣдовательно онъ будетъ съ ними. «Зачѣмъ вчера ушла изъ саду? зачѣмъ не пришла въ садъ? зачѣмъ спрашивала то, зачѣмъ не спрашивала...»

И снова впалъ онъ въ тяжкія сомнѣнія и снова жестоко мучился и дошелъ до заключенія, что Наденька даже никогда его и не любила.

«Боже, Боже!» говорилъ онъ въ отчаяньи: «какъ тяжело, какъ горько жить! Дай мнѣ это мертвое спокойствіе, этотъ сонъ души...»

Черезъ четверть часа онъ пришелъ въ комнату, унылый, боязливый.

— Прощайте, Надежда Александровна, — сказалъ онъ робко.

— Прощайте,—отвѣчала она отрывисто, не поднимая глазъ.

— Когда позволите мнѣ придти?

— Когда вамъ угодно. Впрочемъ... мы на той недѣлѣ переѣзжаемъ въ городъ: мы вамъ дадимъ знать тогда...

Онъ уѣхалъ. Прошло болѣе двухъ недѣль. Всѣ уже переѣхали съ дачъ. Аристократическіе салоны засіяли снова. И чиновникъ засвѣтилъ двѣ стѣнныя лампы въ гостиной, купилъ полпуда стеариновыхъ свѣчъ, разставилъ два карточные стола, въ ожиданіи Степана Иваныча и Ивана Степаныча, и объявилъ женѣ, что у нихъ будутъ вторники.

А Адуевъ все не получалъ отъ Любецкихъ приглашенія. Онъ встрѣтилъ и повара ихъ, и горничную. Горничная, завидя его, бросилась бѣжать прочь: видно было, что она дѣйствовала въ духѣ барышни. Поваръ остановился.

— Что это вы, сударь, забыли насъ?—сказалъ онъ:—а мы ужъ недѣли полторы, какъ переѣхали.

— Да можетъ быть, вы... не разобрались, не принимаете?

— Какое, сударь, не принимаемъ: ужъ всѣ перебывали, только васъ нѣтъ; барыня не надивится. Вотъ его сіятельство такъ каждый день изволитъ жаловать... такой добрый баринъ. Я намедни ходилъ къ нему съ какой-то тетрадкой отъ барышни—красненькую пожаловалъ.

— Какой же ты дуракъ! — сказалъ Адуевъ и бросился бѣжать отъ болтуна.

Онъ прошелъ вечеромъ мимо квартиры Любецкихъ. Свѣтло. У подъѣзда карета.

— Чья карета?—спросилъ онъ.

— Графа Новинскаго.

На другой, на третій день то же. Наконецъ, однажды онъ вошелъ. Мать приняла его радушно, съ упреками за отсутствіе, побранила, что не третъ грудь оподельдокомъ; Наденька—покойно, графъ—вѣжливо. Разговоръ не вязался.

Такъ былъ онъ раза два. Напрасно онъ выразительно глядѣлъ на Наденьку: она какъ будто не замѣчала его взглядовъ, а прежде какъ замѣчала! бывало, онъ говоритъ съ матерью, а она станетъ напротивъ него, сзади Марьи Михайловны, дѣлаетъ ему гримасы, шалитъ и смѣшитъ его.

Имъ овладѣла невыносимая тоска. Онъ думалъ о томъ только, какъ бы свергнуть съ себя этотъ добровольно взятый крестъ. Ему хотѣлось добиться объясненія.

«Какой бы ни былъ отвѣтъ», думалъ онъ: «все равно, лишь бы превратить сомнѣніе въ извѣстность».

Долго обдумывалъ онъ, какъ приняться за дѣло, наконецъ выдумалъ что-то и пошелъ къ Любецкимъ.

Все благопріятствовало ему. Кареты у подъѣзда не было. Тихо прошелъ онъ залу и на минуту остановился передъ дверями гостиной, чтобы перевести духъ. Тамъ Наденька играла на фортепіано. Дальше черезъ комнату сама Любецкая сидѣла на диванѣ и вязала шарфъ. Наденька, услыхавши шаги въ залѣ, продолжала играть тише и вытянула головку впередъ. Она съ улыбкой ожидала появленія гостя. Гость появился и улыбка мгновенно исчезла; мѣсто ея замѣнилъ испугъ. Она немного измѣнилась въ лицѣ и встала со стула. Не этого гостя ожидала она.

Александръ молча поклонился и, какъ тѣнь, прошелъ дальше, къ матери. Онъ шелъ тихо, безъ прежней увѣренности, съ поникшей головой. Наденька сѣла и продолжала играть, оглядываясь, по временамъ, безпокойно назадъ.

Черезъ полчаса мать зачѣмъ-то вызвали изъ комнаты. Александръ пришелъ къ Наденькѣ. Она встала и хотѣла идти.

— Надежда Александровна! — сказалъ онъ уныло: — подождите, удѣлите мнѣ пять минутъ, не болѣе.

— Я не могу слушать васъ!—сказала она, и пошла-было прочь:—въ послѣдній разъ вы были...

— Я былъ виноватъ тогда. Теперь буду говорить иначе, даю вамъ слово: вы не услышите ни одного упрека. Не отказывайте мнѣ, можетъ-быть, въ послѣдній разъ. Объясненіе необходимо: вѣдь вы мнѣ позволили просить у маменьки вашей руки. Послѣ того случилось много такого... что... словомъ—мнѣ надо повторить вопросъ. Сядьте и продолжайте играть: маменька лучше не услышитъ; вѣдь это не въ первый разъ...

Она машинально повиновалась: слегка краснѣя, начала брать аккорды и въ тревожномъ ожиданіи устремила на него взглядъ.

— Куда же вы ушли, Александръ Ѳедорычъ?—спросила мать, воротясь на свое мѣсто.

— Я хотѣлъ поговорить съ Надеждой Александровной о... литературѣ,—отвѣчалъ онъ.

— Ну, поговорите, поговорите: въ самомъ дѣлѣ, давно вы не говорили.

— Отвѣчайте мнѣ коротко и искренно на одинъ только вопросъ,—началъ онъ вполголоса:—и наше объясненіе сейчасъ кончится... Вы меня не любите болѣе?

— Quelle idée!—отвѣчала она, смутившись:—вы знаете, какъ maman и я цѣнили всегда вашу дружбу... какъ были всегда рады вамъ...

Адуевъ посмотрѣлъ на нее и подумалъ:—«ты ли это, капризное, но искреннее дитя? эта шалунья, рѣзвушка? Какъ скоро выучилась она притворяться? какъ быстро развились въ ней женскіе инстинкты! Ужели милые капризы были

зародышами лицемѣрія, хитрости?.. вотъ, и безъ дядиной методы, а какъ проворно эта дѣвушка образовалась въ женщину! и все въ школѣ графа, и въ какіе-нибудь два, три мѣсяца! О, дядя, дядя! и въ этомъ ты безпощадно правъ!»

— Послушайте,—сказалъ онъ такимъ голосомъ, что маска вдругъ слетѣла съ притворщицы: — оставимъ маменьку въ сторонѣ: сдѣлайтесь на минуту прежней Наденькой, когда вы немножко любили меня... и отвѣчайте прямо: мнѣ это нужно знать, ей-Богу, нужно.

Она молчала, только перемѣнила ноты и стала пристально разсматривать и разыгрывать какой-то трудный пассажъ.

— Ну, хорошо, я измѣню вопросъ,—продолжалъ Адуевъ:— скажите, не замѣнилъ ли—не назову даже кто—просто, не замѣнилъ ли кто-нибудь меня въ вашемъ сердцѣ?..

Она сняла со свѣчки и долго поправляла свѣтильню, но молчала.

— Отвѣчайте же, Надежда Александровна: одно слово избавитъ меня отъ муки, васъ—отъ непріятнаго объясненія.

— Ахъ, Боже мой, перестаньте! что̀ я вамъ скажу? мнѣ нечего сказать!—отвѣчала она, отворачиваясь отъ него.

Другой удовольствовался бы такимъ отвѣтомъ и увидѣлъ бы, что ему не о чемъ больше хлопотать. Онъ понялъ бы все изъ этой безмолвной, мучительной тоски, написанной и на лицѣ ея, проглядывавшей и въ движеніяхъ. Но Адуеву было недовольно. Онъ, какъ палачъ, пыталъ свою жертву и самъ былъ одушевленъ какимъ-то дикимъ, отчаяннымъ желаніемъ выпить чашу разомъ и до конца.

— Нѣтъ! — говорилъ онъ: — кончите эту пытку сегодня: сомнѣнія, одного другого чернѣе, волнуютъ мой умъ, рвутъ на части сердце. Я измучился; я думаю, у меня лопнетъ грудь отъ напряженія... мнѣ нечѣмъ увѣриться въ своихъ подозрѣніяхъ; вы должны рѣшить все сами; иначе я никогда не успокоюсь.

Онъ смотрѣлъ на нее и ждалъ отвѣта. Она молчала.

— Сжальтесь надо мной!—началъ онъ опять:—посмотрите на меня: похожъ ли я на себя? всѣ пугаются меня, не узнаютъ... всѣ жалѣютъ, вы однѣ только...

Точно: глаза его горѣли дикимъ блескомъ. Онъ былъ худъ, блѣденъ, на лбу выступилъ крупный потъ.

Она украдкой бросила на него взглядъ и во взглядѣ мелькнуло что-то похожее на сожалѣніе. Она взяла его даже за руку, но тотчасъ же оставила ее со вздохомъ и все молчала.

— Что же?—спросилъ онъ.

— Ахъ, оставьте меня въ покоѣ! — сказала она съ тоской: — вы мучите меня вопросами...

— Умоляю васъ, ради Бога! — говорилъ онъ: — кончите все однимъ словомъ... Къ чему послужитъ вамъ скрытность? У меня останется глупая надежда, я не отстану, я буду ежедневно являться къ вамъ блѣдный, разстроенный... Я наведу на васъ тоску. Откажете отъ дому — стану бродить подъ окнами, встрѣчаться съ вами въ театрѣ, на улицѣ, всюду, какъ привидѣніе, какъ memento mori. Все это глупо, можетъ-быть, смѣшно, кому до смѣху,—но мнѣ больно! Вы не знаете, что̀ такое страсть, до чего она доводитъ! дай Богъ вамъ и не узнать никогда!.. Что жъ пользы? не лучше ли сказать вдругъ?

— Да о чемъ вы меня спрашиваете?—сказала Наденька, откинувшись на спинку кресла. — Я совсѣмъ растерялась... у меня голова точно въ туманѣ...

Она судорожно прижала руку ко лбу и тотчасъ же отняла.

— Я спрашиваю: замѣнилъ ли меня кто-нибудь въ вашемъ сердцѣ? одно слово — *да* или *нѣтъ* — рѣшитъ все; долго ли сказать!

Она хотѣла что-то сказать, но не могла и, потупивъ глаза, начала ударять пальцемъ по одному клавишу. Видно было, что она сильно боролась сама съ собой. «Ахъ!»

произнесла она наконецъ съ тоской. Адуевъ отеръ платкомъ лобъ.

— Да или нѣтъ?—повторилъ онъ, притаивъ дыханіе.

Прошло нѣсколько секундъ.

— Да или нѣтъ?

— Да!—прошептала Наденька чуть слышно, потомъ совсѣмъ наклонилась къ фортепіано и, какъ-будто въ забытьи, начала брать сильные аккорды.

Это *да* раздалось едва внятно, какъ вздохъ, но оно оглушило Адуева; сердце у него будто оторвалось, ноги подкосились подъ нимъ. Онъ опустился на стулъ подлѣ фортепіано и молчалъ.

Наденька боязливо взглянула на него. Онъ смотрѣлъ на нее безсмысленно.

— Александръ Ѳедорычъ! — закричала вдругъ мать изъ своей комнаты:—въ которомъ ухѣ звенитъ?

Онъ молчалъ.

— Maman васъ спрашиваетъ,—сказала Наденька.

— А?

— Въ которомъ ухѣ звенитъ? — кричала мать: — да поскорѣе!

— Въ обоихъ!—мрачно произнесъ Адуевъ.

— Экіе какіе, въ лѣвомъ! А я загадала, будетъ ли графъ сегодня.

— Графъ!—произнесъ Адуевъ.

— Простите меня! — сказала Наденька умоляющимъ голосомъ, бросившись къ нему: — я сама себя не понимаю... Это все сдѣлалось нечаянно, противъ моей воли... не знаю какъ... я не могла васъ обманывать...

— Я сдержу свое слово, Надежда Александровна,—отвѣчалъ онъ: — не сдѣлаю вамъ ни одного упрека. Благодарю васъ за искренность... вы много, много сдѣлали... сегодня... мнѣ трудно было слышать это *да*... но вамъ еще труднѣе

[illegible] сказал [illegible] Пробыть [illegible]
[illegible] взгляд [illegible]
Он [illegible]
— Да — сказал [illegible]
[illegible]
— Не знаю — [illegible]
[illegible]
— Вы [illegible]
[illegible]
— У [illegible]
[illegible] она [illegible]
— [illegible]
[illegible] выше [illegible]
[illegible]
— Что [illegible] не [illegible]
[illegible]
[illegible]
руки.
— Сейчас [illegible] — [illegible]
[illegible] в [illegible]
[illegible] Палы у [illegible]
[illegible]
[illegible] Катя [illegible]
[illegible] случая в [illegible]
Она [illegible]
комнату. И [illegible] в этот вечер [illegible]
свѣтѣ.

Адуевъ только-что спустился съ лѣстницы, [illegible] измѣнили ему, онъ сѣлъ на послѣдней ступени, закрылъ глаза платкомъ и вдругъ началъ рыдать громко, [illegible] слезъ. Въ это время мимо сѣней проходилъ дворникъ. Онъ остановился и послушалъ.

— Мароа, а Мароа! закричалъ онъ, подошедши къ своей

засаленной двери: — подь-ка сюда, послушай, какъ тутъ кто-то реветъ, словно звѣрь. Я думалъ, не арапка ли наша сорвалась съ цѣпи, да нѣтъ, это не арапка.

— Нѣтъ, это не арапка!—повторила, вслушиваясь, Мареа.—Что за диковина?

— Поди-ка, принеси фонарикъ: тамъ, за печкой виситъ.

Мареа принесла фонарикъ.

— Все реветъ?—спросила она.

— Реветъ! Ужъ не мошенникъ ли какой забрался?

— Кто тутъ?—спросилъ дворникъ.

Нѣтъ отвѣта.

— Кто тутъ?—повторила Мареа.

Все тотъ же ревъ. Они вошли оба вдругъ. Адуевъ бросился вонъ.

— Ахъ, да это баринъ какой-то,—сказала Мареа, глядя ему вслѣдъ: — а ты выдумалъ: мошенникъ. Вишь вѣдь хватило ума сказать! Станетъ мошенникъ ревѣть въ чужихъ сѣняхъ!

— Ну, такъ видно хмеленъ!

— Еще лучше!— отвѣчала Мареа: — ты думаешь всѣ въ тебя? не всѣ же пьяные ревутъ, какъ ты.

— Такъ что жъ онъ, съ голоду что ли?—съ досадой замѣтилъ дворникъ.

— Что!—говорила Мареа, глядя на него и не зная, что сказать: — почемъ знать, можетъ, обронилъ что-нибудь — деньги...

Они оба вдругъ присѣли и начали съ фонарикомъ шарить по полу во всѣхъ углахъ.

— Обронилъ! — ворчалъ дворникъ, освѣщая полъ: — гдѣ тутъ обронить? лѣстница чистая, каменная, тутъ и иголку увидишь... обронилъ! Оно бы слышно было, кабы обронилъ: звякнетъ объ камень; чай, поднялъ бы! гдѣ тутъ обронить? негдѣ! обронилъ! какъ не обронилъ: таковскій, чтобъ обронилъ! того и гляди — обронитъ! нѣтъ: этакой, небось, самъ

норовитъ какъ бы въ карманъ положить! а то обронитъ! знаемъ мы ихъ, мазуриковъ! вотъ и обронилъ! гдѣ онъ обронилъ?

И долго еще ползали они по полу, ища потерянныхъ денегъ.

— Нѣтъ, нѣту! — сказалъ, наконецъ, дворникъ со вздохомъ, потомъ задулъ свѣчку и, сжавъ двумя пальцами свѣтильню, отеръ ихъ о тулупъ.

VI.

Въ этотъ же вечеръ, часовъ въ двѣнадцать, когда Петръ Иванычъ, со свѣчой и книгой въ одной рукѣ, а другой придерживая полу халата, шелъ изъ кабинета въ спальню ложиться спать, камердинеръ доложилъ ему, что Александръ Ѳедорычъ желаетъ съ нимъ видѣться.

Петръ Иванычъ сдвинулъ брови, подумалъ немного, потомъ покойно сказалъ:

— Проси въ кабинетъ, я сейчасъ приду.

— Здравствуй, Александръ, — привѣтствовалъ онъ, воротясь туда, племянника: — давно мы съ тобой не видались. То днемъ тебя не дождешься, а тутъ вдругъ—бацъ ночью! Что такъ поздно? Да что съ тобой? на тебѣ лица нѣтъ.

Александръ, не отвѣчая ни слова, сѣлъ въ кресла въ крайнемъ изнеможеніи. Петръ Иванычъ смотрѣлъ на него съ любопытствомъ.

Александръ вздохнулъ.

— Здоровъ ли ты?—спросилъ Петръ Иванычъ заботливо.

— Да,—отвѣчалъ Александръ слабымъ голосомъ: — двигаюсь, ѣмъ, пью, слѣдовательно здоровъ.

— Ты не шути, однако: посовѣтуйся съ докторомъ.

— Мнѣ ужъ совѣтовали и другіе, но никакіе доктора и оподельдоки не помогутъ: мой недугъ не физическій...

— Что же съ тобой? Не проигрался ли ты, или не потерялъ ли деньги?—съ живостью спросилъ Петръ Иванычъ.

— Вы никакъ не можете представить себѣ безденежнаго горя!—отвѣчалъ Александръ, стараясь улыбнуться.

— Что жъ за горе, если оно мѣднаго гроша не стоитъ, какъ иногда твое?..

— Да, вотъ какъ, напримѣръ, теперь. Вы знаете ли мое настоящее горе?

— Какое горе? Дома у тебя все обстоитъ благополучно: это я знаю изъ писемъ, которыми матушка твоя угощаетъ меня ежемѣсячно: въ службѣ ужъ ничего не можетъ быть хуже того, что было; подчиненнаго на шею посадили: это послѣднее дѣло. Ты говоришь, что ты здоровъ, денегъ не потерялъ, не проигралъ... вотъ что важно, а съ прочимъ со всѣмъ легко справиться; тамъ слѣдуетъ вздоръ, любовь, я думаю...

— Да, любовь; но знаете ли, что случилось? когда узнаете, такъ, можетъ-быть, перестанете такъ легко разсуждать, а ужаснетесь...

— Разскажи-ка; давно я не ужасался, — сказалъ дядя, садясь:—а впрочемъ, не мудрено и угадать: вѣроятно, надули...

Александръ вскочилъ, хотѣлъ что-то сказать, но ничего не сказалъ и сѣлъ на свое мѣсто.

— Что, правда? Видишь: вѣдь я говорилъ, а ты: «нѣтъ, какъ можно!»

— Можно ли было предчувствовать?.. — сказалъ Александръ:—послѣ всего...

— Надо было не предчувствовать, а предвидѣть, то-есть знать—это вѣрнѣе—да и дѣйствовать такъ.

— Вы такъ покойно можете разсуждать, дядюшка, когда я...—сказалъ Александръ.

— Да мнѣ-то что?

— Я и забылъ: вамъ хоть весь городъ сгори или провались—все равно!

— Слуга покорный! а заводъ?

— Вы шутите, а я страдаю, не шутя; мнѣ тяжело, я точно боленъ.

— Да неужли ты отъ любви такъ похудѣлъ? Какой срамъ! Нѣтъ: ты былъ боленъ, а теперь начинаешь выздоравливать, да и пора! шутка ли, года полтора тянется глупость. Еще немного, такъ, пожалуй, и я бы повѣрилъ неизмѣнной и вѣчной любви.

— Дядюшка!—сказалъ Александръ:—пощадите меня: теперь адъ въ моей душѣ...

— Да! такъ что же?

Александръ подвинулъ свои кресла къ столу, а дядя началъ отодвигать отъ племянника чернильницу, presse-papier и прочее.

«Пришелъ ночью,» подумалъ онъ: «въ душѣ адъ... непремѣнно опять разобьетъ что-нибудь».

— Утѣшенія я у васъ не найду, да и не требую,—началъ Александръ: — я прошу вашей помощи, какъ у дяди, какъ у родственника... Я кажусь вамъ глупъ—не правда ли?

— Да, если бъ ты не былъ жалокъ.

— Такъ вамъ жаль меня?

— Очень. Развѣ я дерево? Малый добрый, умный, порядочно воспитанный, а пропадаетъ ни за копейку—и отчего? отъ пустяковъ!

— Докажите же, что вамъ жаль меня.

— Чѣмъ же? Денегъ, ты говоришь, не нужно...

— Денегъ, денегъ! о, если бъ мое несчастіе было только въ безденежьи, я бы благословилъ свою судьбу!

— Не говори этого, — серьезно замѣтилъ Петръ Иванычъ:—ты молодъ—проклянешь, а не благословишь судьбу! Я, бывало, не разъ проклиналъ—я!

— Выслушайте же меня терпѣливо...

— Ты долго пробудешь, Александръ?—спросилъ дядя.

— Да, мнѣ нужно все ваше вниманіе; а что?

— Такъ вотъ видишь ли: мнѣ хочется поужинать. Я-было

собрался спать безъ ужина, а теперь, если просидимъ долго, такъ поужинаемъ, да выпьемъ бутылку вина, а между тѣмъ ты мнѣ все разскажешь.

— Вы можете ужинать? — спросилъ Александръ съ удивленіемъ.

— Да, и очень могу; а ты развѣ не станешь?

— Я — ужинать! да и вы не проглотите куска, когда узнаете, что дѣло идетъ о жизни и смерти.

— О жизни и смерти?.. — повторилъ дядя: — да, это, конечно, очень важно, а впрочемъ попробуемъ, авось проглотимъ.

Онъ позвонилъ.

— Спроси, — сказалъ онъ вошедшему камердинеру: — что тамъ есть поужинать, да вели достать бутылку лафиту, за зеленой печатью.

Камердинеръ ушелъ.

— Дядюшка! вы не въ такомъ расположеніи духа, чтобъ слушать печальную повѣсть моего горя, — сказалъ Александръ, взявши шляпу: — я лучше приду завтра...

— Нѣтъ, нѣтъ, ничего, — живо заговорилъ Петръ Иванычъ, удерживая племянника за руку: — я всегда въ одномъ расположеніи духа. Завтра, того гляди, тоже застанешь за завтракомъ, или еще хуже — за дѣломъ. Лучше ужъ кончимъ разомъ. Ужинъ не портитъ дѣла. Я еще лучше выслушаю и пойму. На голодный желудокъ, знаешь, оно неловко...

Принесли ужинъ.

— Что же, Александръ, давай... — сказалъ Петръ Иванычъ.

— Да я не хочу, дядюшка, ѣсть! — сказалъ съ нетерпѣніемъ Александръ и пожалъ плечами, глядя, какъ дядя хлопоталъ надъ ужиномъ.

— По крайней мѣрѣ хоть выпей рюмку вина: вино недурно!

Александръ потрясъ отрицательно головой.

— Ну, такъ возьми сигару да разсказывай, а я буду

слушать обоими ушами, — сказалъ Петръ Иванычъ и живо принялся ѣсть.

— Вы знаете графа Новинскаго?—спросилъ Александръ, помолчавъ.

— Графа Платона?

— Да.

— Пріятели; а что?

— Поздравляю васъ съ такимъ пріятелемъ—подлецъ!

Петръ Иванычъ вдругъ пересталъ жевать и съ удивленіемъ посмотрѣлъ на племянника.

— Вотъ тебѣ на!—сказалъ онъ:—а ты развѣ знаешь его?

— Очень хорошо.

— Давно ли?

— Мѣсяца три.

— Какъ же такъ? Я лѣтъ пять его знаю и все считалъ порядочнымъ человѣкомъ, да и отъ кого ни послышишь—всѣ хвалятъ, а ты вдругъ такъ уничтожилъ его.

— Давно ли вы стали защищать людей, дядюшка? а прежде бывало...

— Я и прежде защищалъ порядочныхъ людей. А ты давно ли сталъ бранить ихъ, пересталъ называть ангелами?

— Пока не зналъ, а теперь... о, люди, люди, *жалкій родъ, достойный слезъ и смѣха!* Сознаюсь, кругомъ виноватъ, что не слушалъ васъ, когда вы совѣтовали остерегаться всякаго...

— И теперь посовѣтую; остерегаться не мѣшаетъ: если окажется негодяй — не обманешься, а порядочный человѣкъ—пріятно ошибешься.

— Укажите, гдѣ порядочные люди?—говорилъ Александръ съ презрѣніемъ.

— Вотъ хоть мы съ тобой—чѣмъ не порядочные? Графъ, если ужъ о немъ зашла рѣчь, тоже порядочный человѣкъ; да мало ли? у всѣхъ есть что-нибудь дурное... а не все дурно и не всѣ дурны.

— Всѣ, всѣ!—рѣшительно сказалъ Александръ.

— А ты?

— Я? я, по крайней мѣрѣ, унесу изъ толпы разбитое, но чистое отъ низостей сердце, душу растерзанную, но безъ упрека во лжи, въ притворствѣ, въ измѣнѣ, не заражусь...

— Ну, хорошо, посмотримъ. Что же сдѣлалъ тебѣ графъ?

— Что сдѣлалъ? похитилъ все у меня.

— Говори опредѣлительнѣе. Подъ словомъ *все* можно разумѣть Богъ знаетъ что, пожалуй деньги: онъ этого не сдѣлаетъ...

— То, что для меня дороже всѣхъ сокровищъ въ мірѣ,— сказалъ Александръ.

— Что жъ бы это такое было?

— Все—счастье, жизнь.

— Вѣдь ты живъ!

— Къ сожалѣнію—да! Но эта жизнь хуже ста смертей.

— Скажи же прямо, что̀ случилось?

— Ужасно!—воскликнулъ Александръ.—Боже! Боже!

— Э! да не отбилъ ли онъ у тебя твою красавицу, эту... какъ ее? да! онъ мастеръ на это: тебѣ трудно тягаться съ нимъ. Повѣса! повѣса!—сказалъ Петръ Иванычъ, положивъ въ ротъ кусокъ индѣйки.

— Онъ дорого заплатитъ за свое мастерство! — сказалъ Александръ, вспыхнувъ:—я не уступлю безъ спора... Смерть рѣшитъ, кому изъ насъ владѣть Наденькой. Я истреблю этого пошлаго волокиту! не жить ему, не наслаждаться похищеннымъ сокровищемъ... Я сотру его съ лица земли!..

Петръ Иванычъ засмѣялся.

— Провинція!—сказалъ онъ:—à propos о графѣ, Александръ, онъ не говорилъ, привезли ли ему изъ-за границы фарфоръ? Онъ весной выписывалъ партію: хотѣлось бы [illegible]...

— Не о фарфорѣ рѣчь, дядюшка: вы слышали, что я [illegible] грозно перебилъ Александръ.

— Мм-мъ!—промычалъ утвердительно дядя, обгладывая косточку.

— Что же вы скажете?

— Да ничего. Я слушаю, что ты говоришь.

— Выслушайте хоть разъ въ жизни внимательно: я пришелъ за дѣломъ, я хочу успокоиться, разрѣшить милліонъ мучительныхъ вопросовъ, которые волнуютъ меня... я растерялся... не помню самъ себя, помогите мнѣ...

— Изволь, я къ твоимъ услугамъ; скажи только, что нужно... я даже готовъ деньгами... если только не на пустяки...

— Пустяки! нѣтъ, не пустяки, когда, можетъ-быть, черезъ нѣсколько часовъ меня не станетъ на свѣтѣ, или я сдѣлаюсь убійцей... а вы смѣетесь, хладнокровно ужинаете.

— Прошу покорно! самъ, я думаю, наужинался, а другой не ужинай!

— Я двое сутокъ не знаю, что такое ѣсть.

— О, это въ самомъ дѣлѣ что-нибудь важное?

— Скажите одно слово: окажете ли вы мнѣ величайшую услугу?

— Какую?

— Согласитесь ли вы быть моимъ свидѣтелемъ?..

— Котлеты совсѣмъ холодныя! — замѣтилъ Петръ Иванычъ съ неудовольствіемъ, отодвигая отъ себя блюдо.

— Вы смѣетесь, дядюшка?

— Самъ посуди, какъ слушать серьезно такой вздоръ: зоветъ въ секунданты!

— Что же вы?

— Разумѣется что: не пойду.

— Хорошо; найдется другой, посторонній, кто приметъ участіе въ моей горькой обидѣ. Вы только возьмите на себя трудъ поговорить съ графомъ, узнать условія...

— Не могу: у меня языкъ не поворотится предложить ему такую глупость.

— Такъ прощайте!—сказалъ Александръ, взявъ шляпу.

— Что! ужъ ты идешь? вина не хочешь выпить?..

Александръ пошелъ-было къ дверямъ, но у дверей сѣлъ на стулъ въ величайшемъ унынiи.

— Къ кому пойти, въ комъ искать участiя?.. — сказалъ онъ тихо.

— Послушай, Александръ! — началъ Петръ Иванычъ, отирая салфеткой ротъ и подвигая къ племяннику кресло:— я вижу, что съ тобой точно надо поговорить, не шутя. Поговоримъ же. Ты пришелъ ко мнѣ за помощью: я помогу тебѣ, только иначе, нежели какъ ты думаешь, и съ уговоромъ — слушаться. Не зови никого въ свидѣтели: проку не будетъ. Изъ пустяковъ сдѣлаешь исторiю, она разнесется вездѣ, тебя осмѣютъ или, еще хуже, сдѣлаютъ непрiятность. Никто не пойдетъ, а если, наконецъ, найдется какой-нибудь сумасшедшiй, такъ все напрасно: графъ не станетъ драться; я его знаю.

— Не станетъ! такъ въ немъ нѣтъ ни капли благородства!—со злостью замѣтилъ Александръ:—я не полагалъ, чтобъ онъ былъ низокъ до такой степени!

— Онъ не низокъ, только уменъ.

— Такъ, по вашему мнѣнiю, я глупъ?

— Н...нѣтъ, влюбленъ,—сказалъ Петръ Иванычъ съ разстановкой.

— Если вы, дядюшка, намѣрены объяснять мнѣ безсмысленность дуэли, какъ предразсудка, то я предупреждаю васъ—это напрасный трудъ: я останусь твердъ.

— Нѣтъ: это ужъ давно доказано, что драться — глупость вообще; да все дерутся; мало ли ословъ? ихъ не вразумишь. Я хочу только доказать, что тебѣ именно драться не слѣдуетъ.

— Любопытно, какъ вы убѣдите меня.

— Вотъ послушай. Скажи-ка, ты на кого особенно сердитъ, на графа или на нее... какъ ее... Анюта, что ли?

— Я его ненавижу, ее презираю,—сказалъ Александръ.

— Начнемъ съ графа: положимъ, онъ приметъ твой вызовъ, положимъ даже, что ты найдешь дурака-свидѣтеля— что жъ изъ этого? Графъ убьетъ тебя, какъ муху, а послѣ надъ тобой же всѣ будутъ смѣяться; хорошо мщеніе! А ты вѣдь не этого хочешь: тебѣ бы вонъ хотѣлось истребить графа.

— Неизвѣстно, кто кого убьетъ,—сказалъ Александръ.

— Навѣрное онъ тебя. Ты вѣдь, кажется, вовсе стрѣлять не умѣешь, а по правиламъ, первый выстрѣлъ—его.

— Тутъ рѣшитъ Божій судъ.

— Ну, такъ воля твоя — онъ рѣшитъ въ его пользу. Графъ, говорятъ, въ пятнадцати шагахъ пулю въ пулю такъ и сажаетъ, а для тебя, какъ нарочно, и промахнется! Положимъ даже, что судъ Божій и попустилъ бы такую неловкость и несправедливость: ты бы какъ-нибудь ненарочно и убилъ его — что жъ толку? развѣ ты этимъ воротилъ бы любовь красавицы? Нѣтъ, она бы тебя возненавидѣла, да притомъ тебя бы отдали въ солдаты... А главное, ты бы на другой же день сталъ рвать на себѣ волосы съ отчаянія и тотчасъ охладѣлъ бы къ своей возлюбленной...

Александръ презрительно пожалъ плечами.

— Вы такъ ловко разсуждаете объ этомъ, дядюшка,— сказалъ онъ: — разсудите же, что мнѣ дѣлать въ моемъ положеніи?

— Ничего! оставить дѣло такъ: оно ужъ испорчено.

— Оставить счастье въ его рукахъ, оставить его гордымъ обладателемъ... о! можетъ ли остановить меня какая-нибудь угроза? Вы не знаете моихъ мученій! вы не любили никогда, если думали помѣшать мнѣ этой холодной моралью... въ вашихъ жилахъ течетъ молоко, а не кровь...

— Полно дичь пороть, Александръ! мало ли на свѣтѣ такихъ, какъ твоя—Марья или Софья, что ли, какъ ее?

— Ее зовутъ Надеждой.

— Надежда? а какая же Софья?

— Софья... это въ деревнѣ,—сказалъ Александръ нехотя.

— Видишь ли? — продолжалъ дядя: — тамъ Софья, тутъ Надежда, въ другомъ мѣстѣ Марья. Сердце — преглубокій колодезь: долго не дощупаешься дна. Оно любитъ до старости...

— Нѣтъ, сердце любитъ однажды...

— И ты повторяешь слышанное отъ другихъ! Сердце любитъ до тѣхъ поръ, пока не истратитъ своихъ силъ. Оно живетъ своею жизнію и такъ же, какъ и все въ человѣкѣ, имѣетъ свою молодость и старость. Не удалась одна любовь, оно только замираетъ, молчитъ до другой; въ другой помѣшали, разлучили — способность любить опять останется неупотребленной до третьяго, до четвертаго раза, до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, сердце не положитъ всѣхъ силъ своихъ въ одной какой-нибудь счастливой встрѣчѣ, гдѣ ничто не мѣшаетъ, а потомъ медленно и постепенно охладѣетъ. Инымъ любовь удалась съ перваго раза, вотъ они и кричатъ, что можно любить только однажды. Пока человѣкъ не старъ, здоровъ...

— Вы все, дядюшка, говорите о молодости, слѣдовательно о матеріальной любви...

— О молодости говорю, потому что старческая любовь есть ошибка, уродливость. И что за матеріальная любовь? Такой любви нѣтъ, или это не любовь, такъ точно, какъ нѣтъ одной идеальной. Въ любви равно участвуютъ и душа, и тѣло; въ противномъ случаѣ любовь неполна: мы не духи и не звѣри. Самъ же говоришь «течетъ въ жилахъ молоко, а не кровь».—Ну, такъ вотъ видишь ли: съ одной стороны возьми кровь въ жилахъ—это матеріальное, съ другой—самолюбіе, привычку — это духовное; вотъ тебѣ и любовь! На чемъ я остановился... да! въ солдаты: кромѣ того, послѣ этой исторіи, красавица тебя на глаза къ себѣ не пуститъ.

Ты попустому повредилъ бы и ей, и себѣ, — видишь ли? Надѣюсь, этотъ вопросъ мы съ одной стороны обработали окончательно. Теперь...

Петръ Иванычъ налилъ себѣ вина и выпилъ.

— Экой болванъ!—сказалъ онъ:—подалъ холодный лафитъ.

Александръ смолчалъ, поникнувъ головой.

— Теперь скажи, — продолжалъ дядя, грѣя стаканъ съ виномъ въ обѣихъ рукахъ:—за что ты хотѣлъ стереть графа съ лица земли.

— Я ужъ сказалъ вамъ за что! не онъ ли уничтожилъ мое блаженство? Онъ, какъ дикій звѣрь, ворвался...

— Въ овчарню!—перебилъ дядя.

— Похитилъ все,—продолжалъ Александръ.

— Онъ не похитилъ, а пришелъ да и взялъ. Развѣ онъ обязанъ былъ справляться, занята ли твоя красавица, или нѣтъ? Я не понимаю этой глупости, которую, правду сказать, бо́льшая часть любовниковъ дѣлаютъ отъ сотворенія міра до нашихъ временъ: сердиться на соперника! можетъ ли быть что-нибудь безсмысленнѣй — *стереть его съ лица земли!* за что? за то, что онъ понравился! какъ будто онъ виноватъ и какъ будто отъ этого дѣла пойдутъ лучше, если мы его накажемъ! А твоя... какъ ее! Катенька, что ли, развѣ противилась ему? сдѣлала какое-нибудь усиліе, чтобъ избѣжать опасности? Она сама отдалась, перестала любить тебя, нечего и спорить—не воротишь!— А настаивать—это эгоизмъ! Требовать вѣрности отъ жены — тутъ есть еще смыслъ: тамъ заключено обязательство; отъ этого зависитъ часто существенное благосостояніе семейства; да и то нельзя требовать, чтобъ она никого не любила... а можно только требовать, чтобъ она... того... Да и ты самъ не отдалъ ли ее графу обѣими руками? оспаривалъ ли ты ее?

— Вотъ я и хочу оспаривать, — сказалъ Александръ, вскочивъ съ мѣста:—а вы останавливаете мой благородный порывъ...

— Оспаривать съ дубиной въ рукахъ!—перебилъ дядя:— мы не въ киргизской степи. Въ образованномъ мірѣ есть другое орудіе. За это надо было взяться во-время и иначе, вести съ графомъ дуэль другого рода, въ глазахъ твоей красавицы.

Александръ смотрѣлъ въ недоумѣніи на дядю.

— Какую же дуэль?—спросилъ онъ.

— А вотъ сейчасъ скажу. Ты какъ дѣйствовалъ до сихъ поръ?

Александръ, со множествомъ околичностей, смягченій, изворотовъ, кое-какъ, съ ужимками, разсказалъ весь ходъ дѣла.

— Видишь ли? самъ во всемъ кругомъ виноватъ,— примолвилъ Петръ Иванычъ, выслушавъ и сморщившись: — сколько глупостей надѣлано! Эхъ, Александръ, принесла тебя сюда нелегкая! стоило за этимъ ѣздить? Ты бы могъ все это продѣлать тамъ, у себя, на озерѣ, съ теткой. Ну, какъ можно такъ ребячиться, дѣлать сцены... бѣситься? фи! Кто нынче это дѣлаетъ? Что если твоя... какъ ее? Юлія... разскажетъ все графу? Да нѣтъ, этого опасаться нечего, слава Богу! Она вѣрно такъ умна, что на вопросъ его о вашихъ отношеніяхъ сказала...

— Что сказала?—поспѣшно спросилъ Александръ.

— Что дурачила тебя, что ты былъ влюбленъ, что ты противный, надоѣлъ ей... какъ это онѣ всегда дѣлаютъ...

— Вы думаете, что она... такъ и... сказала? — спросилъ Александръ, блѣднѣя.

— Безъ всякаго сомнѣнія. Неужели ты воображаешь, что она разскажетъ, какъ вы тамъ въ саду сбирали желтые цвѣты? Какая простота!

— Какая же дуэль съ графомъ?—съ нетерпѣніемъ спросилъ Александръ.

— А вотъ какая: не надо было грубіянить, избѣгать его и дѣлать ему гримасы, а, напротивъ, отвѣчать на его лю-

безность вдвое, втрое, вдесятеро, а... эту, какъ ее? Наденьку? кажется, попалъ? не раздражать упреками, снисходить къ ея капризамъ, показывать видъ, что не замѣчаешь ничего, что даже у тебя и предположенія объ измѣнѣ нѣтъ, какъ о дѣлѣ невозможномъ. Не надо было допускать ихъ сближаться до короткости, а разстраивать искусно, какъ будто ненарочно, ихъ свиданія съ-глазу-на-глазъ, быть всюду вмѣстѣ, ѣздить съ ними даже верхомъ, и между тѣмъ, тихомолкомъ вызывать, въ глазахъ ея, соперника на бой, и тутъ-то снарядить и двинуть впередъ всѣ силы своего ума, устроить главную батарею изъ остроумія, хитрости да и того... открывать и поражать слабыя стороны соперника такъ какъ-будто нечаянно, безъ умысла, съ добродушіемъ, даже нехотя, съ сожалѣніемъ, и мало-по-малу снять съ него эту драпировку, въ которой молодой человѣкъ рисуется передъ красавицей. Надо было замѣтить, что ее поражаетъ и ослѣпляетъ болѣе всего въ немъ, и тогда искусно нападать на эти стороны, объяснить ихъ просто, представлять въ обыкновенномъ видѣ, показать, что новый герой... такъ себѣ... и только для нея надѣлъ праздничный нарядъ... Но все это дѣлать съ хладнокровіемъ, съ терпѣньемъ, съ умѣньемъ—вотъ настоящая дуэль въ нашемъ вѣкѣ! Да гдѣ тебѣ!

Петръ Иванычъ выпилъ при этомъ стаканъ и тотчасъ опять налилъ вина.

— Презрѣнныя хитрости! прибѣгать къ лукавству, чтобъ овладѣть сердцемъ женщины!..—съ негодованіемъ замѣтилъ Александръ.

— А къ дубинѣ прибѣгаешь: развѣ это лучше? Хитростью можно удержать за собой чью-нибудь привязанность: а силой—не думаю. Желаніе удалить соперника мнѣ понятно: тутъ хлопочешь изъ того, чтобъ сберечь себѣ любимую женщину, предупреждаешь или отклоняешь опасность—очень натурально! но бить его за то, что онъ внушилъ любовь

къ себѣ—это все равно, что ушибиться и потомъ ударить то мѣсто, о которое ушибся, какъ дѣлаютъ дѣти. Воля твоя, а графъ не виноватъ! Ты, какъ я вижу, ничего не смыслишь въ сердечныхъ тайнахъ, оттого твои любовныя дѣла и повѣсти такъ плохи.

— Любовныя дѣла!—сказалъ Александръ, качая съ презрѣніемъ головой:—но развѣ лестна и прочна любовь, внушенная хитростью?

— Не знаю, лестна ли, это какъ кто хочетъ, по мнѣ все равно: я вообще о любви невысокаго мнѣнія—ты это знаешь; мнѣ хоть ея и не будь совсѣмъ... но что прочнѣе—такъ это правда. Съ сердцемъ напрямикъ дѣйствовать нельзя. Это мудреный инструментъ: не знай, которую пружину тронуть, такъ она заиграетъ Богъ знаетъ что. Внуши чѣмъ хочешь любовь, а поддерживай умомъ. Хитрость—это одна сторона ума; презрѣннаго тутъ ничего нѣтъ. Не нужно унижать соперника и прибѣгать къ клеветѣ: этимъ вооружишь красавицу противъ себя... надо только стряхнуть съ него тѣ блёстки, которыми онъ ослѣпляетъ глаза твоей возлюбленной, сдѣлать его передъ ней простымъ, обыкновеннымъ человѣкомъ, а не героемъ... Я думаю, простительно защищать свое добро благородной хитростью; ею и въ военномъ дѣлѣ не пренебрегаютъ. Вотъ ты жениться хотѣлъ: хорошъ былъ бы мужъ, если бъ сталъ дѣлать сцены женѣ, а соперникамъ показывать дубину—и былъ бы того...

Петръ Ивановичъ показалъ рукою на лобъ.

— Твоя Варенька была на двадцать процентовъ умнѣе тебя, когда предложила подождать годъ.

— Да могъ ли бы я хитрить, если бъ и умѣлъ? Для этого надо не такъ любить, какъ я. Иные притворяются подчасъ холодными, не являются по расчету нѣсколько дней—и это дѣйствуетъ... А я! притворяться, разсчитывать! когда, при взглядѣ на нее, у меня занимался духъ и колѣни дро-

жали и гнулись подо мной, когда я готовъ былъ на всѣ муки, лишь бы видѣть ее... Нѣтъ! что ни говорите, а для меня больше упоенія—любить всѣми силами души, хоть и страдать, нежели быть любимымъ, не любя, или любя какъ-то вполовину, для забавы, по отвратительной системѣ, и играть съ женщиной, какъ съ комнатной собачонкой, а потомъ оттолкнуть...

Петръ Иванычъ пожалъ плечами.

— Ну, такъ вотъ и страдай, если тебѣ сладко,—сказалъ онъ. — О, провинція! о, Азія! На Востокѣ бы тебѣ жить: тамъ еще приказываютъ женщинамъ, кого любить; а не слушаютъ, такъ ихъ топятъ. Нѣтъ, здѣсь,—продолжалъ онъ, какъ будто самъ съ собой: — чтобъ быть счастливымъ съ женщиной, то-есть не по-твоему, какъ сумасшедшіе, а разумно,—надо много условій... надо умѣть образовать изъ дѣвушки женщину по обдуманному плану, по методѣ, если хочешь, чтобъ она поняла и исполнила свое назначеніе. Надо очертить ее магическимъ кругомъ, не очень тѣсно, чтобъ она не замѣтила границъ и не переступила ихъ, хитро овладѣть не только ея сердцемъ—это что! это скользкое и непрочное обладаніе, а умомъ, волей, подчинить ея вкусъ и нравъ своему, чтобъ она смотрѣла на вещи черезъ тебя, думала твоимъ умомъ...

— То-есть, сдѣлать ее куклой, или безмолвной рабой мужа!—перебилъ Александръ.

— Зачѣмъ? Устрой такъ, чтобъ она не измѣнила ни въ чемъ женскаго характера и достоинства. Предоставь ей свободу дѣйствій въ ея сферѣ, но пусть за каждымъ ея движеніемъ, вздохомъ, поступкомъ наблюдаетъ твой проницательный умъ, чтобъ каждое мгновенное волненіе, вспышка, зародышъ чувства, всегда и всюду встрѣчали, снаружи равнодушный, но не дремлющій глазъ мужа. Учреди постоянный контроль безъ всякой тираніи... да искусно, незамѣтно отъ нея, и веди ее желаемымъ путемъ... О, нужна

мудреная и тяжелая школа, и эта школа—умный и опытный мужчина—вотъ въ чемъ штука!

Онъ значительно кашлянулъ и залпомъ выпилъ стаканъ.

— Тогда, — продолжалъ онъ: — мужъ можетъ спать покойно, когда жена и не подлѣ него, или сидѣть беззаботно въ кабинетѣ, когда она спитъ...

— А! вотъ онъ, знаменитый секретъ супружескаго счастья!—замѣтилъ Александръ:—обманомъ приковать къ себѣ умъ, сердце, волю женщины—и утѣшаться, гордиться этимъ... это счастье! А какъ она замѣтитъ?

— Зачѣмъ гордиться?—промолвилъ дядя:—это не нужно!

— Смотря по тому, дядюшка,—продолжалъ Александръ:—какъ вы беззаботно сидите въ кабинетѣ, когда тетушка почиваетъ, я догадываюсь, что этотъ мужчина...

— Тс! тс!.. молчи, — заговорилъ дядя, махая рукой: — хорошо, что жена спитъ, а то... того...

Въ это время дверь въ кабинетъ начала потихоньку отворяться, но никто не показывался.

— А жена должна,—заговорилъ женскій голосъ изъ коридора:—не показывать вида, что понимаетъ великую школу мужа и завести маленькую свою, но не болтать о ней за бутылкой вина...

Оба Адуевы бросились къ дверямъ, но въ коридорѣ раздались быстрые шаги, шорохъ платья—и все утихло.

Дядя и племянникъ посмотрѣли другъ на друга.

— Что̀, дядюшка?—спросилъ племянникъ, помолчавъ.

— Что̀! ничего! – сказалъ Петръ Иванычъ, нахмуривъ брови:—некстати похвастался. Учись, Александръ, а лучше не женись, или возьми дуру: тебѣ не сладить съ умной женщиной: мудрена школа!

Онъ задумался, потомъ ударилъ себя по лбу рукой.

— Какъ не сообразить, что она знала о твоемъ позднемъ приходѣ?—сказалъ онъ съ досадой:—что женщина не уснетъ, когда черезъ комнату есть секретъ между двумя мужчинами,

что она непремѣнно, или горничную подошлетъ, или сама... и не предвидѣть! глупо! а все ты да вотъ этотъ проклятый стаканъ лафиту! разболтался! Такой урокъ отъ двадцатилѣтней женщины...

— Вы боитесь, дядюшка!

— Чего бояться? нисколько! сдѣлалъ ошибку—не надо терять хладнокровія, надо умѣть выпутаться.

Онъ опять задумался.

— Она похвасталась,—началъ онъ потомъ:—какая у ней школа! у ней школы быть не могло: молода! это она такъ только... отъ досады! но теперь она замѣтила этотъ магическій кругъ, станетъ тоже хитрить... о, я знаю женскую натуру! Но посмотримъ...

Онъ гордо и весело улыбнулся; морщины разгладились на лбу.

— Только надо иначе повести дѣло,—прибавилъ онъ:—прежняя метода ни къ чорту не годится. Теперь надо...

Онъ вдругъ спохватился и замолчалъ, боязливо поглядывая на дверь.

— Но это все впереди,—продолжалъ онъ:—теперь займемся твоимъ дѣломъ, Александръ. О чемъ мы говорили? да! ты, кажется, хотѣлъ убить что ли свою, эту... какъ ее?

— Я ее слишкомъ глубоко презираю, — сказалъ Александръ, тяжело вздохнувъ.

— Вотъ видишь ли? ты ужъ вполовину и вылѣченъ. Только правда ли это? ты, кажется, еще сердишься. Впрочемъ, презирай, презирай: это самое лучшее въ твоемъ положеніи. Я хотѣлъ-было сказать кое-что... да нѣтъ...

— Ахъ, говорите, ради Бога, говорите! — сказалъ Александръ: — у меня нѣтъ теперь ни искры разсудка. Я страдаю, гибну... дайте мнѣ своего холоднаго разума. Скажите все, что можетъ облегчить и успокоить больное сердце...

— Да, скажи тебѣ — ты, пожалуй, и опять воротишься туда..

Какая мысль! послѣ того...

Ворочаются послѣ и не этого! честное слово — не пойдешь?

Клятву, если угодно.

Нѣтъ, честное слово: это вѣрнѣе.

Честное слово.

Ну, вотъ видишь ли: мы рѣшили, что графъ не виноватъ...

Положимъ такъ; что же?

Ну, а чѣмъ виновата твоя эта... какъ ее?

Чѣмъ виновата Наденька!—съ изумленіемъ возразилъ Александръ:—она не виновата!

Нѣтъ! ну, чѣмъ, скажи? ее не за что презирать.

Не за что! нѣтъ, дядюшка, это ужъ изъ рукъ вонъ! Положимъ, графъ... еще такъ... онъ не зналъ... да и то нѣтъ! а она? кто же послѣ этого виноватъ? я?

Да почти такъ, а въ самомъ-то дѣлѣ никто. Скажи, за что ты ее презираешь?

За низкій поступокъ.

Въ чемъ же онъ состоитъ?

Заплатить неблагодарностью за высокую, безграничную страсть...

За что тутъ благодарить? развѣ ты для нея, изъ угожденія къ ней любилъ? хотѣлъ услужить ей, что ли? такъ для этого ты бы лучше мать полюбилъ.

Александръ глядѣлъ на него и не зналъ, что сказать.

Ты бы не долженъ былъ обнаруживать передъ ней [illegible] всей силѣ: женщина охлаждается, когда муж[illegible] [illegible]ляжется весь... Ты бы долженъ былъ узнать ея [illegible] и дѣйствовать сообразно этому, а не лежать, [illegible] у ногъ. Какъ это не узнать компаніона, [illegible] какое бы то ни было дѣло? Ты бы [illegible] что отъ нея больше и ожидать нельзя. [illegible] съ тобой до конца, точно такъ

же разыграетъ его и съ графомъ и, можетъ-быть, еще съ кѣмъ-нибудь... больше отъ нея требовать нельзя: выше и дальше ей нейти! это не такая натура; а ты вообразилъ себѣ Богъ знаетъ что...

— Но зачѣмъ же она полюбила другого? — съ горестью перебилъ Александръ.

— Вотъ вина-то гдѣ: умный вопросъ! Ахъ, ты дикарь! А зачѣмъ ты ее полюбилъ? Ну, разлюби поскорѣе!

— Развѣ это отъ меня зависитъ?

— А развѣ отъ нея зависѣло полюбить графа? Самъ же твердилъ, что не надо стѣснять порывовъ чувства, а какъ дѣло дошло до самого, такъ зачѣмъ полюбила! Зачѣмъ такой-то умеръ, такая-то съ ума сошла? — какъ отвѣчать на такіе вопросы? Любовь должна же кончиться когда-нибудь: она не можетъ продолжаться вѣкъ.

— Нѣтъ, можетъ. Я чувствую въ себѣ эту силу сердца: я бы любилъ вѣчною любовью...

— Да! а полюби тебя покрѣпче, такъ и того... на попятный дворъ! всѣ такъ, знаю я!

— Пусть бы кончилась ея любовь,—сказалъ Александръ:— но зачѣмъ она кончилась такъ?..

— Не все ли равно? вѣдь тебя любили, ты наслаждался— и довольно!

— Отдалась другому!—говорилъ Александръ, блѣднѣя.

— А ты бы хотѣлъ, чтобъ она любила тихонько другого, а тебя продолжала увѣрять въ любви? Ну, ты самъ рѣши, что̀ ей дѣлать, виновата ли она?.

— О, я отмщу ей!—сказалъ Александръ.

— Ты неблагодаренъ, — продолжалъ Петръ Иванычъ: — это дурно! Что бы женщина ни сдѣлала съ тобой, измѣнила, охладѣла, поступила, какъ говорятъ въ стихахъ, *коварно*, — вини природу, предавайся, пожалуй, по этому случаю, философскимъ размышленіямъ, брани міръ, жизнь, что хочешь, но никогда не посягай на личность женщины ни

словомъ, ни дѣломъ. Оружіе противъ женщины — снисхожденіе, наконецъ, самое жестокое — забвеніе! только это и позволяется порядочному человѣку. Вспомни, что полтора года ты вѣшался всѣмъ на шею отъ радости, не зналъ куда дѣваться отъ счастья! полтора года безпрерывныхъ удовольствій! воля твоя—ты неблагодаренъ!

Ахъ, дядюшка, для меня не было ничего на землѣ святѣе любви:—безъ нея жизнь не жизнь...

А! — съ досадой перебилъ Петръ Иванычъ: — тошно слушать такой вздоръ!

Я боготворилъ бы Наденьку, — продолжалъ Александръ: — и не позавидовалъ бы никакому счастью въ мірѣ: съ Наденькой мечталъ я провести всю жизнь—и что же? гдѣ эта благородная, колоссальная страсть, о которой я мечталъ? она разыгралась въ какую-то глупую, пигмеевскую комедію вздоховъ, сценъ, ревности, лжи, притворства— Боже! Боже!

— Зачѣмъ же ты воображалъ, чего не бываетъ? Не я ли твердилъ тебѣ, что ты до сихъ поръ хотѣлъ жить такою жизнію, какой нѣтъ? У человѣка, по-твоему, только и дѣла, чтобъ быть любовникомъ, мужемъ, отцомъ... а о другомъ ни о чемъ и знать не хочешь. Человѣкъ, сверхъ того, еще и гражданинъ, имѣетъ какое-нибудь званіе, занятіе—писатель что ли, помѣщикъ, солдатъ, чиновникъ, заводчикъ... А у тебя все это заслоняетъ любовь да дружба... что за Аркадія! Начитался романовъ, наслушался своей тетушки тамъ, въ глуши, и пріѣхалъ съ этими понятіями сюда. Выдумалъ еще – *благородную страсть!*

Да, благородную!

Полно, пожалуйста! развѣ есть благородныя страсти?

Какъ?

— Да такъ. Вѣдь страсть, значитъ, когда чувство, влеченіе, привязанность или что-нибудь такое — достигло до той степени, гдѣ ужъ перестаетъ дѣйствовать разсудокъ?

Ну, что жъ тутъ благороднаго? я не понимаю; одно сумасшествіе — это не по-человѣчески. Да и зачѣмъ ты берешь одну только сторону медали? я говорю про любовь — ты возьми и другую и увидишь, что любовь не дурная вещь. Вспомни-ка счастливыя минуты: ты мнѣ уши прожужжалъ...

— О, не напоминайте, не напоминайте! — говорилъ Александръ, махая рукой: — вамъ хорошо такъ разсуждать, потому что вы увѣрены въ любимой вами женщинѣ; я бы желалъ посмотрѣть, что̀ бы вы сдѣлали на моемъ мѣстѣ?..

— Что̀ бы сдѣлалъ?.. поѣхалъ бы разсѣяться... на заводъ. Не хочешь ли завтра?

— Нѣтъ, мы съ вами никогда не сойдемся, — печально произнесъ Александръ: — вашъ взглядъ на жизнь не успокаиваетъ, а отталкиваетъ меня отъ нея. Мнѣ грустно, на душу вѣетъ холодъ. До сихъ поръ любовь спасала меня отъ этого холода; ея нѣтъ—и въ сердцѣ теперь тоска; мнѣ страшно, скучно...

— Займись дѣломъ.

— Все это правда, дядюшка: вы и подобные вамъ могутъ разсуждать такъ. Вы отъ природы человѣкъ холодный... съ душой, неспособной къ волненіямъ...

— А ты воображаешь, что ты съ могучей душой? Вчера отъ радости былъ на седьмомъ небѣ, а чуть немного того... такъ и не умѣешь перенести горя.

— Паръ, паръ!—слабо, едва защищаясь, говорилъ Александръ: — вы мыслите, чувствуете и говорите точно, какъ паровозъ катится по рельсамъ: ровно, гладко, покойно.

— Надѣюсь, это не дурно: лучше чѣмъ выскочить изъ колеи, бухнуть въ ровъ, какъ ты теперь, и не умѣть встать на ноги. Паръ! паръ! да паръ-то, вотъ видишь, дѣлаетъ человѣку честь. Въ этой выдумкѣ присутствуетъ начало, которое насъ съ тобой дѣлаетъ людьми, а умереть съ горя можетъ и животное. Были примѣры, что собаки умирали на могилѣ господъ своихъ, или задыхались отъ радости

послѣ долгой разлуки. Что жъ это за заслуга? А ты думалъ, ты особое существо, высшаго разряда, необыкновенный человѣкъ...

Петръ Иванычъ взглянулъ на племянника и вдругъ остановился.

— Что это? ты никакъ плачешь?—спросилъ онъ, и лицо его потемнѣло, то-есть онъ покраснѣлъ.

Александръ молчалъ. Послѣднія доказательства совсѣмъ сбили его съ ногъ. Возражать было нечего, но онъ находился подъ вліяніемъ господствовавшаго въ немъ чувства. Онъ вспомнилъ объ утраченномъ счастьѣ, о томъ, что теперь другой... И слезы градомъ потекли по щекамъ его.

— Ай, ай, ай! стыдись!—сказалъ Петръ Иванычъ: — и ты мужчина! плачь, ради Бога, не при мнѣ!

— Дядюшка! вспомните о лѣтахъ вашей молодости, — всхлипывая говорилъ Александръ: — ужель вы покойно и равнодушно могли бы перенести самое горькое оскорбленіе, какое только судьба посылаетъ человѣку? Жить полтора года такою полной жизнію и вдругъ — нѣтъ ничего! пустота... Послѣ этой искренности хитрость, скрытность, холодность—ко мнѣ! Боже! есть ли еще мука сильнѣе? Легко сказать про другого «измѣнили», а испытать?.. Какъ она перемѣнилась! какъ стала наряжаться для графа! Бывало, пріѣду, она блѣднѣетъ, едва можетъ говорить... лжетъ... о, нѣтъ...

Тутъ слезы хлынули сильнѣе.

— Если бъ мнѣ осталось утѣшеніе,—продолжалъ онъ:— что я потерялъ ее по обстоятельствамъ, если бъ неволя принудила ее... пусть бы даже умерла—и тогда легче было бы перенести... а то нѣтъ, нѣтъ... другой! это ужасно, невыносимо? И нѣтъ средствъ вырвать ее у похитителя: вы обезоружили меня... что мнѣ дѣлать? научите же! Мнѣ душно, больно... тоска, мука! я умру... застрѣлюсь...

Онъ облокотился на столъ, закрылъ голову руками и громко зарыдалъ...

Петръ Иванычъ растерялся. Онъ прошелся раза два по комнатѣ, потомъ остановился противъ Александра и почесалъ голову, не зная, что начать.

— Выпей вина, Александръ,— сказалъ Петръ Иванычъ, сколько могъ понѣжнѣе:—можетъ-быть—того...

Александръ — ничего, только плечи и голова его судорожно подергивались; онъ все рыдалъ. Петръ Иванычъ нахмурился, махнулъ рукой и вышелъ изъ комнаты.

— Что мнѣ дѣлать съ Александромъ?—сказалъ онъ женѣ.— Онъ тамъ у меня разревѣлся и меня выгналъ; я совсѣмъ измучился съ нимъ.

— А ты его такъ и оставилъ?—спросила она:—бѣдный! Пусти меня, я пойду къ нему.

— Да ничего не сдѣлаешь: это ужъ такая натура. Весь въ тетку: та такая же плакса. Я ужъ не мало убѣждалъ его.

— Только убѣждалъ?

— И убѣдилъ: онъ согласился со мной.

— О, я не сомнѣваюсь: ты очень уменъ и... хитеръ! — прибавила она.

— Слава Богу, если такъ: тутъ, кажется, все, что нужно.

— Кажется, все, а онъ плачетъ.

— Я не виноватъ, я сдѣлалъ все, чтобъ утѣшить его.

— Что жъ ты сдѣлалъ?

— Мало ли? И говорилъ битый часъ... даже въ горлѣ пересохло... всю теорію любви, точно на ладони такъ и выложилъ, и денегъ предлагалъ и ужиномъ — и виномъ старался...

— А онъ все плачетъ?

— Такъ и реветъ! подъ конецъ еще пуще.

— Удивительно! Пусти меня: я попробую, а ты пока обдумай свою новую методу...

— Что, что?

Но она, какъ тѣнь скользнула изъ комнаты.

Александръ все еще сидѣлъ, опершись головой на руки. Кто-то дотронулся до его плеча. Онъ поднялъ голову: передъ нимъ молодая, прекрасная женщина, въ пеньюарѣ, въ чепчикѣ à la Finoise...

— Ma tante!—сказалъ онъ.

Она сѣла подлѣ него, поглядѣла на него пристально, какъ только умѣютъ глядѣть иногда женщины, потомъ тихо отерла ему платкомъ глаза и поцѣловала въ лобъ, а онъ прильнулъ губами къ ея рукѣ. Долго говорили они.

Черезъ часъ онъ вышелъ задумчивъ, но съ улыбкой, и уснулъ въ первый разъ покойно, послѣ многихъ безсонныхъ ночей. Она воротилась въ спальню съ заплаканными глазами. Петръ Иванычъ давнымъ-давно храпѣлъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ПЕРВАГО ТОМА:

стр.

Иванъ Александровичъ Гончаровъ. Біографическій очеркъ *С. Венгерова*. 3

Лучше поздно, чѣмъ никогда. Критическія замѣтки. 29

Обыкновенная исторія. Романъ въ двухъ частяхъ.

Часть первая:

Глава I. 93
» II. 120
» III. 165
» IV. 191
» V. 209
» VI. 245

СОДЕРЖАНІЕ

ПЕРВАГО ПОЛНАГО

СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

И. А. ГОНЧАРОВА,

въ 12-ти томахъ:

ТОМЪ I.

Портретъ И. А. Гончарова, гравированный на стали академикомъ И. П. Пожалостинымъ, и факсимиле. — Біографическій очеркъ, составленный С. А. Венгеровымъ. — Лучше поздно, чѣмъ никогда. Критическія замѣтки.—Обыкновенная исторія. Романъ въ двухъ частяхъ. Часть I.

ТОМЪ II.

Обыкновенная исторія. Романъ въ двухъ частяхъ. Часть II.

ТОМЪ III.

Обломовъ. Романъ въ 4-хъ частяхъ. Части I и II.

ТОМЪ IV.

Обломовъ. Романъ въ 4-хъ частяхъ. Части III и IV

ТОМЪ V.

Фрегатъ Паллада. Очерки путешествія, въ 2-хъ частяхъ. Часть I. Главы I—VIII.

ТОМЪ VI.

Фрегатъ Паллада. Очерки путешествія, въ 2-хъ частяхъ. Часть II. Главы I—IV.

ТОМЪ VII.

Фрегатъ Паллада. Очерки путешествія, въ 2-хъ частяхъ. Часть II. Главы V—IX.

ТОМЪ VIII.

Обрывъ. Романъ въ 5-ти частяхъ. Части I и II.

ТОМЪ IX.

Обрывъ. Романъ въ 5-ти частяхъ. Часть III.

ТОМЪ X.

Обрывъ. Романъ въ 5-ти частяхъ. Части IV и V.

ТОМЪ XI.

Очерки: I. Литературный вечеръ. II. Мильонъ терзаній. III. Замѣтки о личности Бѣлинскаго. — Нарушеніе воли. — Иванъ Савичъ Поджабринъ. Очеркъ.

ТОМЪ XII.

Воспоминанія: I. Въ университетѣ. II. На родинѣ.—Слуги стараго вѣка: I. Валентинъ. II. Антонъ. III. Степанъ съ семьей. IV. Матвѣй. — Очерки: Превратность судьбы. Май мѣсяцъ въ Петербургѣ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
И. А. ГОНЧАРОВА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1899 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1899.

Типографія А. Ф. Маркса, Ср. Подьяч., № 1.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕРЪ.

«...Лебедь рвется въ облака,
Ракъ пятится назадъ, а щука тянетъ въ воду!»
Крыловъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ЧТЕНІЕ.

Къ одному изъ домовъ, на Конногвардейскомъ бульварѣ, къ подъѣзду подъѣхало, около восьми часовъ вечера, въ маѣ мѣсяцѣ, нѣсколько экипажей — одинъ вслѣдъ за другимъ, и, высадивъ господъ, отправились по домамъ. Ровно въ восемь часовъ швейцаръ получилъ приказаніе не принимать никого болѣе.

Человѣкъ тридцать гостей обоего пола собрались у Григорія Петровича *Уранова* слушать въ этотъ вечеръ чтеніе новаго романа.

Автора романа, какъ писателя, знали немногіе. Онъ напечаталъ, безъ имени, нѣсколько статей по финансовымъ и политико-экономическимъ предметамъ, замѣченныхъ и оцѣненныхъ по достоинству только спеціалистами. Кромѣ того, онъ написалъ опытъ дипломатическихъ мемуаровъ и напечаталъ ихъ въ весьма небольшомъ количествѣ, для немногихъ. Онъ занималъ нѣкогда дипломатическій постъ на югѣ

Европы и провелъ молодыя лѣта за границею. Теперь онъ былъ, какъ и хозяинъ дома, гдѣ назначалось это чтеніе, членомъ одного совѣта и, кромѣ того, предсѣдательствовалъ въ какой-то комиссіи по разнымъ преобразованіямъ. Въ свѣтѣ его любили за огромное богатство, за открытое гостепріимство, за привѣтливость; а близкіе люди—за капитальныя достоинства ума и характера.

Извѣстіе о романѣ, однако, проникло въ общество его круга. Авторъ, на вопросы, обращенные къ нему, не отрицалъ, что романъ пишется, но болѣе не распространялся объ этомъ. Извѣстно было, что онъ читалъ тò, что было написано, кое-кому изъ пріятелей, у себя дома, но эти лица хранили о романѣ скромное молчаніе.

Ближайшій пріятель и сослуживецъ автора, Григорій Петровичъ Урановъ, и тотъ не былъ посвященъ въ тайну о романѣ. Напрасно добивался онъ отъ автора отвѣтовъ на эти вопросы—онъ ничего не узналъ.

— Ты не читаешь романовъ, — говорилъ ему авторъ: — зачѣмъ тебѣ знать, чтò я написалъ? Я тебя оттого и не пригласилъ въ свой домашній кружокъ послушать.

— И обидѣлъ меня!—возразилъ Урановъ.—Если ты считаешь меня равнодушнымъ къ романамъ, или вообще къ литературѣ, то все же это не значитъ, чтобъ я былъ равнодушенъ къ тебѣ и къ твоему произведенію.

Автора тронулъ этотъ упрекъ, и онъ обѣщалъ прочесть свое произведеніе у него въ домѣ. Урановъ послалъ ему списокъ приглашенныхъ лицъ, которые бòльшею частью принадлежали къ кругу ихъ общихъ друзей и знакомыхъ. Авторъ возвратилъ съ своимъ согласіемъ и съ просьбою прибавить еще одну, тоже общую ихъ знакомую, графиню Синявскую съ дочерью, и двухъ своихъ сослуживцевъ. Урановъ торжествовалъ.

Вотъ это именно общество и собралось въ означенный вечеръ въ большомъ и богатомъ домѣ Григорія Петровича

и размѣстилось въ обширной комнатѣ, между кабинетомъ и столовою, окнами на дворъ, чтобы ѣзда экипажей не мѣшала чтенію.

Григорій Петровичъ мало интересовался собственно романомъ, какъ справедливо упрекнулъ его авторъ, въ чемъ онъ и самъ сознался. Но слухъ о романѣ произвелъ сенсацію въ свѣтѣ, сталъ событіемъ дня, и поэтому сталъ и для него событіемъ. Съ утра до вечера онъ обыкновенно жилъ въ толпѣ, никогда не былъ и не умѣлъ быть одинъ. Все, что̀ дѣлалось въ свѣтѣ — болѣе или менѣе касалось и его. Онъ былъ вдовецъ, принималъ у себя больше мужчинъ, рѣдко дамъ.

Онъ и совѣтъ свой, въ которомъ служилъ, любилъ потому, что онъ занималъ у него три утра въ недѣлю. Онъ называлъ его утреннимъ клубомъ, въ отличіе отъ вечерняго, т. е. англійскаго клуба. Въ свободныя утра, онъ или самъ ѣхалъ, или къ нему ѣхали съ визитами; потомъ онъ обѣдалъ у знакомыхъ, или у него обѣдали знакомые. Онъ щеголялъ гастрономическими обѣдами, на которые приглашалъ тонкихъ знатоковъ изъ гастрономовъ-пріятелей. Вечера — тоже въ свѣтѣ, или у себя, а больше въ клубѣ, за картами.

Такъ проходило незамѣтно восемь мѣсяцевъ въ году. Въ маѣ начиналась для него трудная пора, застой, истома. Всѣ разъѣзжались—кто въ деревню, кто за границу, многіе на дачу: всѣ врознь. И онъ переѣзжалъ поневолѣ куда-нибудь, больше на острова, чтобы не удаляться отъ города. Но небольшой, относительно, кружокъ остававшихся знакомыхъ мало удовлетворялъ его. У него оставались незанятые вечера. Да и что̀ за вечера лѣтомъ въ Петербургѣ, безъ темноты, безъ огней! Ему нужно было всѣхъ, весь городъ, и онъ не зналъ, что̀ съ собою дѣлать. Онъ угрюмо встрѣчалъ «лучезарнаго Феба», когда тотъ, вскорѣ послѣ полуночи, начиналъ опять сіять на горизонтѣ и просился въ окна, когда онъ еще и заснуть не успѣлъ.

Вообще, такъ-называемую природу, лѣса, горы, озера и прочее, онъ терпѣть не могъ.

— Нашли какую рѣдкость—хорошій воздухъ! Еще рекомендуютъ, какъ лѣкарство!—ворчалъ онъ сердито, нюхая воздухъ въ аллеяхъ елагинскаго парка. — А чѣмъ воздухъ дуренъ въ клубѣ, или хоть въ нашемъ совѣтѣ, если только не садиться близко къ Петру Ѳомичу, да къ Семену Яковлевичу!

Такъ и теперь въ маѣ онъ началъ скучать, не досчитываясь то сосѣда за столомъ въ совѣтѣ или въ клубѣ, то партнера въ вистѣ—и всякое утро вставалъ съ вопросами: «Кто изъ знакомыхъ уѣзжаетъ сегодня? У кого закрылись пріемные дни? Куда потратить онъ утро, съ кѣмъ будетъ обѣдать, какъ убьетъ вечеръ?»

И вдругъ, какая находка: созвать гостей на чтеніе романа!

Хорошъ или дуренъ романъ, будутъ довольны слушатели авторомъ и авторъ слушателями—дѣло для него совсѣмъ не въ томъ. А въ томъ, что вся эта процедура займетъ у него цѣлую недѣлю: разъѣзды, приглашенія и, наконецъ, желанный вечеръ, проведенный по-зимнему, далеко за полночь, потомъ ужинъ до утра! Кромѣ того, послѣ долго будутъ говорить, что авторъ читалъ первый разъ, почти публично, у него, у Уранова!

Однако, онъ, обдумывая (прежде и старательнѣе всего) шепи ужина, позаботился, надо отдать справедливость его умѣнью жить, и о томъ, чтобы общество слушателей имѣло и авторитетныхъ представителей литературнаго міра. Онъ пригласилъ, прежде всего, извѣстнаго профессора словесности, написавшаго много книгъ о литературѣ, потомъ одного старика, Краснопѣрова, своего сослуживца и пріятеля, предполагая въ немъ знатока литературы, потому что онъ былъ когда-то пріятелемъ Греча и Булгарина, написалъ самъ [illegible] и [illegible] ему по клубу.

Сверхъ того, Григорій Петровичъ поручилъ племяннику своему, студенту, который жилъ у него въ домѣ и котораго онъ, не имѣя своихъ дѣтей, любилъ какъ сына, помочь ему сдѣлать вечеръ занимательнымъ и привести кого-нибудь изъ новыхъ литераторовъ. Тотъ обѣщалъ представить редактора одного извѣстнаго журнала и критика, по части беллетристики, какой-то газеты.

Авторъ явился за пять минутъ до восьми часовъ и прежде всего выразительно и дружески привѣтствовалъ приглашенную по его желанію графиню Синявскую, потомъ поздоровался со всѣми прочими знакомыми и бѣгло познакомился съ неизвѣстными ему слушателями, которыхъ представлялъ ему хозяинъ, называя ихъ по именамъ. Авторъ отвѣчалъ кому пожатіемъ руки, кому поклономъ или полупоклономъ, инымъ сказалъ нѣсколько словъ.

Потомъ онъ подошелъ къ столу, взялъ у своего сослуживца, съ которымъ вмѣстѣ пріѣхалъ, портфель, отперъ его, выложилъ нѣсколько мелко и красиво исписанныхъ тетрадокъ и, окинувъ бѣглымъ взглядомъ общество, сказалъ любезно:

— Я готовъ, прикажете начать?

Всѣ поклонились и поспѣшили занять свои мѣста. Онъ бережно отодвинулъ отъ себя подносъ съ сахарною и зельтерскою водою, съ лимонадомъ, оршадомъ и всѣмъ, что ставятъ обыкновенно въ такихъ случаяхъ подъ носомъ чтеца, чего почти никогда не пьютъ и отъ чего бываетъ только тѣснота на столѣ. Потомъ онъ началъ читать пріятнымъ, густымъ баритономъ.

Взглянемъ прежде на гостей, потомъ послушаемъ.

Гости расположились на креслахъ, пате, dos-à-dos и другой покойной мебели, неправильнымъ полукругомъ, въ три ряда.

Впереди сидѣли дамы. Одна — княгиня *Тецкая* съ дочерью. Княгиня, въ темномъ платьѣ моаръ-антикъ, въ бар-

хатной мантильѣ, которую сбросила на спинку стула, съ сафьяннымъ красивымъ мѣшкомъ, откуда она достала какое-то вязанье, съ бѣлыми костяными спицами, и начала работать, впрочемъ, кажется, больше для вида, потому что изъ пяти только одинъ разъ попадала спицею, какъ слѣдуетъ. Она часто опускала руки съ вязаньемъ на колѣни, безпрестанно вздрагивая, будто отъ испуга или отъ внезапной боли, и сильно мигая. Иногда даже у нея вырывалось нѣчто въ родѣ «аха» или «оха», сопровождаемаго опять вздрагиваніемъ. На это почти никто не обращалъ вниманія; всѣ знали, что у нея «нервы» и привыкли къ этому.

На лицѣ и во всей фигурѣ княжны, ея дочери, напротивъ, покоилось ненарушимое спокойствіе; ни удовольствія, ни скуки не выражало это лицо. Можно было бы назвать его мраморнымъ изваяніемъ, если бы — когда въ романѣ заходила рѣчь о любви — это лицо не принимало внезапно выраженія ничего не понимающей невинности.

Княжна сидѣла нѣсколько впереди всѣхъ. Свѣтъ лампы съ боку ярко освѣщалъ ея голову, бюстъ и руки.

Она была одѣта въ розовое съ бѣлымъ отливомъ платье, въ рукѣ держала черепаховый вѣеръ, на колѣняхъ былъ небрежно брошенъ кружевной платокъ. Мать часто оглядывала туалетъ [illegible] прядь волосъ правильно ли [illegible] и на [illegible] цѣпочка съ брилліантовымъ [illegible] ли [illegible] шлейфъ около [illegible] кокетливо [illegible] продолжалось [illegible]

[illegible] немного позади [illegible] роста [illegible] дѣтскими [illegible] съ [illegible] вязымъ убоpомъ [illegible] красивой бирилицы. [illegible]

рокія пятна румянца и съ губъ не сходила улыбка, тоже дѣтская. Она вошла съ этой улыбкой, здоровалась ею же со всѣми, съ улыбкой слушала чтеніе и уѣдетъ съ тою же стереотипною улыбкою, которая такъ же извѣстна была всѣмъ ея знакомымъ, какъ и вздрагиванія и «ахи» княгини Тецкой, или выраженіе непониманія при намекахъ на любовь, на лицѣ княжны. Она являлась съ этою улыбкою вездѣ, даже на похороны — и теперь таяла отъ удовольствія, еще до начала чтенія.—Ça doit être joli!—шептала она сосѣдямъ. Это была извѣстная въ свѣтѣ вдова *Лилина*, всегда всѣмъ довольная, всѣхъ любившая и всѣми любимая и балуемая, и страстная охотница до домашнихъ спектаклей, всякихъ чтеній и концертовъ.

Подлѣ самого автора, вплотную къ нему, присѣлъ старикъ графъ Пестовъ, свѣтская окаменѣлость, напоминавшая Тугоуховскаго. Онъ уже лѣтъ десять смотрѣлъ тусклымъ взглядомъ вокругъ себя, не всегда и не все понимая, что̀ происходитъ. Онъ поминутно забывалъ о чемъ говоритъ, иногда и съ кѣмъ говоритъ, подчасъ не узнавалъ даже родныхъ внуковъ. Зато, какъ это часто бываетъ съ долговѣчными стариками, онъ помнилъ до мелочей свой вѣкъ, съ начала нынѣшняго столѣтія, и служилъ живымъ архивомъ для справокъ; онъ помнилъ всѣхъ современниковъ, крупныя событія и мелкія сплетни, хронологію, анекдоты, даже у кого въ домѣ когда собирались, чей лучше былъ поваръ и т. п. Его возили вездѣ, какъ и Тугоуховскаго, между прочимъ и потому, что онъ боялся оставаться одинъ дома и умереть. Привезутъ его, посадятъ въ покойное кресло и посылаютъ то того, то другого гостя по очереди, поговорить съ нимъ, потомъ оставятъ. А онъ посидитъ, пожуетъ губами, пошепчетъ что-то и задремлетъ.

Онъ, приставивъ руку къ уху, внимательно слушалъ чтеніе.

Далѣе, въ тѣни абажура лампы, помѣстилась на малень-

комъ патэ та дама, которую пригласилъ авторъ, графиня Синявская, и рядомъ, близко, почти на колѣни къ ней, прильнула семнадцатилѣтняя прелестная брюнетка, ея дочь, въ простомъ розовомъ барежевомъ платьѣ, съ кисейнымъ шарфомъ на шеѣ, безъ вѣера, даже безъ перчатокъ, которыя она сняла, лишь только сѣла, и положила на столикъ рядомъ. У нея съ кистей рукъ еще не спала, какъ у многихъ подростковъ, краснота молодой крови. Ея свѣтло-каріе глаза сыпали снопы лучей наивной, нескрываемой радости отъ всего, что̀ она тутъ видитъ и слышитъ. Она робко, стороной, бросала застѣнчивые, но любопытные взгляды на все и на всѣхъ: на автора, на глухого графа Пестова, на нервныя вздрагиванья княгини Тецкой, на туалетъ княжны и Лилиной—и потомъ смотрѣла на мать, какъ будто спрашивая, такъ ли она держитъ себя, какъ слѣдуетъ.

Мать отвѣчала на ея взглядъ улыбкой, какая бываетъ только у матерей. Видно было, что дочь выѣзжаетъ недавно и что все ей было новость.

У самой графини былъ изящный профиль, матовая бѣлизна лица, темно-сѣрые умные глаза, и какая-то тонкая, загадочная улыбка, такъ что нельзя было угадать, порицаетъ она ею или одобряетъ что-нибудь, радуется, или смѣется про себя.

За эти умные глаза и загадочную улыбку ее прозвали сфинксомъ. Она была еще молода, и въ особенности моложава, такъ что казалась скорѣе старшею сестрою, нежели матерью своей дочери.

Она мелькомъ давно оглядѣла слушателей, потомъ почти не спускала глазъ съ автора, иногда взглядывала на дочь, говорила ей тихо, съ улыбкой, слова два, и опять слушала чтеніе.

Авторъ, отрывая глаза отъ рукописи, каждый разъ прежде всего обращалъ взглядъ на графиню, очевидно справляясь съ ея впечатлѣніемъ, потомъ уже переходилъ къ сидѣвшему

близъ нея старику *Чешневу*, а на остальныхъ изрѣдка кидалъ общій, неопредѣленный взглядъ.

Старикъ *Чешневъ* сидѣлъ на стулѣ, скрестивъ руки на груди, положивъ ногу на ногу.

У него были рѣдкія и мягкія сѣдины, благодушное, почти женское выраженіе лица и умные, проницательные глаза, которые иногда прищуривались, иногда покрывались задумчивостью. Закинувъ немного назадъ голову, съ большимъ, открытымъ лбомъ, онъ слушалъ внимательно чтеніе, какъ будто вокругъ никого и ничего не было.

За нимъ, во второй шеренгѣ, помѣщались: профессоръ словесности, потомъ тотъ гость, котораго, въ качествѣ литературнаго эксперта, пригласилъ на чтеніе хозяинъ, потому что онъ былъ знакомъ съ Гречемъ и Булгаринымъ, и еще пожилой беллетристъ *Скудельниковъ*.

Профессоръ слушалъ съ строгимъ, офиціальнымъ вниманіемъ, склонивъ немного голову на бокъ и сохраняя приличную случаю мину.

Пріятель Греча и Булгарина слушалъ, опустивъ подбородокъ въ широкое жабо галстука, иногда покачивалъ головою или зѣвалъ въ ладонь и разсѣянно поглядывалъ на картины, развѣшенныя на стѣнахъ.

Сосѣдъ ихъ, беллетристъ *Скудельниковъ*, какъ сѣлъ, такъ и не пошевелился въ креслѣ, какъ будто приросъ или заснулъ. Изрѣдка онъ поднималъ апатичные глаза, взглядывалъ на автора и опять опускалъ ихъ. Онъ, повидимому, былъ равнодушенъ и къ этому чтенію, и къ литературѣ— вообще ко всему вокругъ себя.

Григорій Петровичъ вытащилъ его изъ его гнѣзда, обѣщалъ хорошій романъ, хорошее общество, хорошихъ, даже прекрасныхъ дамъ, и хорошій ужинъ. Онъ и пріѣхалъ.

Дальше сидѣлъ приглашенный племянникомъ-студентомъ, по просьбѣ дяди, редакторъ журнала, средняго роста, среднихъ лѣтъ, довольно полный блондинъ, приличной наруж-

ности, во фракѣ, въ бѣломъ галстукѣ и съ gibus въ рукахъ, слушавшій чтеніе съ выраженіемъ учтиваго равнодушія на лицѣ.

Потомъ сидѣли человѣка два-три такихъ слушателей, которые находили, что если зовутъ на чтеніе чего-нибудь, то это должно быть очень хорошо. За ними помѣщались и такіе, которые были всегда того мнѣнія, что если зовутъ на чтеніе, то непремѣнно будетъ очень скучно.

Между послѣдними особенно выдавался гость, пожилой, полный, съ одышкой, Иванъ Ильичъ *Суховъ*, который былъ приглашенъ потому, что былъ короткій пріятель и любимый застольный товарищъ хозяина — и въ совѣтѣ, и въ англійскомъ клубѣ. Онъ обнаруживалъ кое-какіе знаки нетерпѣнія при чтеніи: дышалъ громко, то ртомъ, то носомъ, иногда прикрывалъ рукою зѣвоту и пробовалъ заговаривать съ сосѣдями, чаще всего съ военнымъ генераломъ, еще не старымъ, крѣпкимъ, здоровымъ человѣкомъ, съ бодрой осанкой и простымъ, но энергическимъ выраженіемъ лица. Онъ былъ извѣстенъ, какъ отличный боевой генералъ и вмѣстѣ хорошій администраторъ по военной части, и на литературу смотрѣлъ нѣсколько съ боевой точки зрѣнія, читая, что̀ попадется, въ видѣ отдыха, а чаще и вовсе ничего не читая. Онъ, съ хозяиномъ, съ Суховымъ и съ самимъ авторомъ романа былъ въ постоянныхъ сношеніяхъ и въ службѣ, и въ обществѣ, и они составляли собою свой тѣсный кружокъ.

Не далеко отъ нихъ сидѣлъ на плетеномъ, простомъ стулѣ, одѣтый такъ же, какъ и журналистъ, во фракѣ и бѣломъ галстукѣ, одинъ изъ приглашенныхъ сослуживцевъ автора, человѣкъ подъ пятьдесятъ лѣтъ, съ серьезнымъ лицомъ, съ крупною морщиною на лбу отъ напряженнаго вниманія, съ какимъ онъ слушалъ, сидя прямо и держа шляпу на колѣняхъ.

Онъ, казалось, съ трудомъ или неохотно вникалъ въ

смыслъ чтенія, пытливо поглядывая то на автора, то на того или другого изъ слушателей.

Это былъ Иванъ Ивановичъ *Кальяновъ*, сослуживецъ и одинъ изъ главныхъ помощниковъ автора въ комиссіи по преобразованіямъ и по другимъ дѣламъ, какія на того возлагались. Онъ считался столпомъ въ администраціи и правою рукою своего предсѣдателя. Вѣрнѣе, точнѣе и свѣдущѣе по своей части исполнителя, какъ этотъ Иванъ Ивановичъ, не было даже ни у одного министра. Самъ онъ никогда ничего не придумывалъ и не предлагалъ новаго, но бралъ предложенный ему матеріалъ — проектъ ли закона, новую какую-нибудь мѣру и, вооруженный уставами, положеніями, сводомъ законовъ, указами, инструкціями, органически воплощалъ идею, давая ей плоть и кровь.

Онъ удивлялся производительной головной дѣятельности своего предсѣдателя, изобрѣтательности и блеску его ума, а тотъ чувствовалъ, что безъ такого техника-организатора, какъ этотъ Иванъ Ивановичъ, его идеи и планы, указанія и desiderata—не достигали бы своей цѣли.

Они были тѣсно связаны узами, если не дружбы, такъ службы, и взаимно уважали другъ друга.

Внѣ комиссіи у нихъ все было разное: вкусы, склонности, удовольствія. Одинъ жилъ въ свѣтѣ, въ большомъ кругу, другой—дома, за бумагами, а вечеромъ дома же, за картами съ двумя-тремя пріятелями, partie fixe.

Какъ такой человѣкъ попалъ на это чтеніе? Онъ и самъ не могъ надивиться этому. Это случилось нечаянно.

Заглянувъ однажды съ бумагами въ кабинетъ къ предсѣдателю комиссіи и увидѣвъ, что тотъ углубленно пишетъ, Кальяновъ на цыпочкахъ вышелъ вонъ. Но дверь скрипнула и предсѣдатель воротилъ его.

— Это вы, Иванъ Ивановичъ: что же не вошли?—спросилъ онъ.

— Вы, кажется, очень заняты.

— То, что̀ вы принесли и вообще приносите мнѣ, всегда важнѣе того, что̀ я дѣлаю безъ васъ, и особенно въ эту минуту!—любезно, съ улыбкой, сказалъ тотъ, отодвигая свое писанье въ сторону и приглашая его сѣсть. — Что̀ у васъ?

Тотъ подалъ ему двѣ бумаги и какіе-то чертежи и прибавилъ длинное, словесное объясненіе.

— Вотъ тутъ планъ, смѣта и справки, — сказалъ онъ, указывая другую бумагу:—и чертежи, и заключеніе. Угодно вамъ согласиться, такъ я велю заготовить докладъ, потому что всѣ члены согласны.

— Знаю, знаю! Хорошо, оставьте. Я посмотрю, и завтра возвращу вамъ съ отвѣтомъ. Больше ничего нѣтъ?

— Есть, но то можно оставить до слѣдующаго засѣданія, а это намъ поскорѣе бы сбыть. Тамъ ждутъ.

Кальяновъ всталъ.

— Куда же вы? Сейчасъ чай подадутъ, вотъ сигара! — удерживалъ Левъ Иванычъ Бебиковъ, такъ звали предсѣдателя.

— Благодарю, меня дома ждутъ, да и вы заняты!

— Знаете, чѣмъ я занятъ? — сказалъ Левъ Иванычъ, придвигая къ себѣ тетрадь, которую писалъ до того.

Кальяновъ молчалъ.

— Романъ пишу.

Тотъ все молчалъ, только немного поднялъ брови.

— Вы не вѣрите?—спросилъ Бебиковъ, улыбаясь.

Тотъ отвѣчалъ тоже улыбкой.

— Хорошъ долженъ быть романъ,—сказалъ онъ, поглядывая на тетрадь.—Пожалуй, отъ него канцеляріи на полгода работы хватитъ, а дѣлопроизводителю, т.-е. вашему покорному слугѣ, опять по ночамъ не спать!

Левъ Ивановичъ засмѣялся.

— Не бойтесь! вамъ угрожаетъ одна опасность: выслушать его и сказать ваше мнѣніе.

— Я такъ и зналъ, что будетъ работа! А позвольте

узнать, о чемъ этотъ романъ? Не опять ли о введеніи предварительныхъ мѣръ въ видѣ опыта?.. Мнѣніе мое вы уже знаете...

— Нѣтъ, нѣтъ! — со смѣхомъ возразилъ Бебиковъ: — романъ, настоящій романъ! Почему вы не вѣрите?

— Не станете вы заниматься...

— Такимъ вздоромъ, да? Говорите прямо.

Кальяновъ молчалъ изъ учтивости.

— Какое варварство, Иванъ Ивановичъ! Вы не знаете, что въ наше время газеты и романъ сдѣлались очень серьезнымъ дѣломъ! Газета — это не только живая хроника современной исторіи, но и архимедовъ рычагъ, двигающій европейскій міръ политики, общественныхъ вопросовъ; а романъ пересталъ быть забавой: изъ него учатся жизни! Онъ сдѣлался руководствующимъ кодексомъ къ изученію взаимныхъ отношеній, страстей, симпатій и антипатій... словомъ, школой жизни!

Кальяновъ сталъ небрежно смотрѣть въ сторону.

«Знаю, что мастеръ говорить!» думалъ онъ: «вонъ какъ— точно зубы заговариваетъ; и о чемъ же—о романѣ! Дудки! Этакій богачъ—и станетъ писать!»

— Теперь всѣ бросились на романъ,—продолжалъ Бебиковъ:—одни пишутъ, другіе читаютъ. Государственные люди, политики, женщины, даже духовныя лица написали много романовъ, и всѣ учатъ, или учатся уловлять тонкіе законы индивидуальной, общественной, политической, соціальной и всякой жизни—изъ романовъ!

«А все-таки это вздоръ!» подумалъ Кальяновъ, но не рѣшился сказать вслухъ, думая: «а ну, какъ онъ въ самомъ дѣлѣ пишетъ этотъ... вздоръ! Неловко! Да нѣтъ, не можетъ быть!»

Онъ покачалъ отрицательно головой.

— Все не вѣрите?—сказалъ Бебиковъ:—а вотъ повѣрите, когда я приглашу васъ послушать! Вы не откажетесь?

— Нѣтъ, я всегда слушаю все, что̀ вамъ угодно мнѣ читать...—сказалъ онъ покорно.

— И часто опровергаете, но всегда съ успѣхомъ и пользой для дѣла...

— Развѣ это дѣло?—вдругъ сорвалось съ языка у Кальянова.

Оба засмѣялись.

— Вы запомнили только одно слово «вздоръ», — сказалъ предсѣдатель:—а мое разсужденіе о значеніи романа...

— Принять къ свѣдѣнію,—подсказалъ Кальяновъ.

— Примите же его и къ исполненію! — добавилъ Левъ Ивановичъ:—и когда я приглашу васъ послушать, скажите свое мнѣніе. Да?

Кальяновъ поклонился, еще разъ недовѣрчиво взглянулъ на начальника, покосился на тетрадь—и вышелъ, все раздумывая о томъ, насколько хватитъ всей комиссіи и ему работы.

«Богъ тебѣ и будетъ романъ!» заключилъ онъ.

Предсѣдатель не то чтобы интересовался знать мнѣніе Ивана Ивановича о романѣ, но пригласилъ его потому, что пришлось кстати, и потому еще, что хотѣлось оказать любезность своему помощнику. Кальяновъ и забылъ объ этомъ разговорѣ.

Но каково было его удивленіе, когда, черезъ мѣсяцъ послѣ того, именно въ маѣ, Левъ Ивановичъ однажды, послѣ дѣла, сказалъ, что Григорій Петровичъ Уроковъ заѣдетъ къ нему, Кальянову, пригласить его на чтеніе романа.

— Какого романа?—вдругъ спросилъ Кальяновъ и тутъ только вспомнилъ бывшій разговоръ.

— Вы слово дали!—напомнилъ начальникъ.

— Уже опять не мистификація? — спросилъ онъ нерѣшительно.

— Вотъ какая мистификація—прочтите!

Бебиковъ показалъ ему кучу мелко исписанныхъ тетрадей.

— Смотрите же — я ожидаю вашей критики! — прибавилъ онъ.

Кальяновъ ушелъ въ раздумьи, все не вѣря и предполагая какой-нибудь сюрпризъ.

«Соберетъ, чего добраго, всю комиссію туда, на вечеръ къ Уранову, да и прочтетъ какой-нибудь проектъ или «идею»... отъ него станется! Охъ ужъ эти мнѣ идеи!»

Однако, въ назначенный вечеръ онъ надѣлъ фракъ, бѣлый галстукъ и поѣхалъ къ Уранову.

«И женщины тутъ; что жъ это въ самомъ дѣлѣ — ужели такъ-таки романъ и есть?» шепталъ онъ, робко усаживаясь въ третьей шеренгѣ слушателей.

Другой сослуживецъ автора, *Фертовъ*, напротивъ вовсе не садился. Онъ рѣялъ, какъ зефиръ, между слушателями и, наклоняясь то къ тому, то къ другому, особенно къ дамамъ, ронялъ по нѣскольку словъ восторженныхъ похвалъ о романѣ, который уже слышалъ.

Онъ былъ высокій красивый и отлично одѣтый господинъ, лѣтъ сорока, юркій, свѣтлоокій блондинъ, съ проборомъ посреди головы, съ бакенбардами, струями падавшими къ плечамъ, съ изящными манерами, — словомъ, представительная салонная фигура.

Фертовъ былъ тоже необходимое лицо у автора — и по службѣ, и по всякимъ другимъ дѣламъ, но совсѣмъ въ другомъ родѣ, чѣмъ Кальяновъ. Онъ добывалъ особенныя, предварительныя справки по дѣламъ, дѣлалъ развѣдки, tâtait le terrain въ томъ или другомъ вѣдомствѣ — не путемъ бумажныхъ отношеній, а лично: былъ употребляемъ для компромиссовъ, углаживалъ пути, устранялъ, своимъ ловкимъ и пріятнымъ характеромъ, недоразумѣнія и т. д. Онъ же былъ вѣрнымъ эхомъ городскихъ новостей и слуховъ, особенно въ высшихъ сферахъ.

Сзади всѣхъ, въ углу, у камина, помѣстился газетный

критикъ, Крякокъ, котораго привелъ, согласно обѣщанію, племянникъ хозяина. Онъ былъ средняго роста, съ темно-русой густой бородой, въ которой пряталась вся нижняя часть лица и отчасти носъ. Одѣтъ онъ былъ въ коротенькомъ пиджакѣ и въ свѣтлыхъ брюкахъ, по-лѣтнему. Онъ жалъ въ рукахъ сѣрую, мягкую шляпу и, повидимому, не зналъ, что съ собой дѣлать. Онъ укрывался въ тѣни угла, куда его привелъ студентъ, представивъ сначала дядѣ.

Сиди тутъ: я помогу дядѣ принять гостей, потомъ приду къ тебѣ!—сказалъ онъ.

Смотри не надуй, а то я удеру!—отвѣчалъ тотъ.

И онъ сталъ смотрѣть на каждаго гостя, на самого хозяина, на автора, на все окружающее, задѣвалъ ногою за ящики, которые гремѣли о рѣшетку камина, и, кажется, не разъ хотѣлъ встать и въ самомъ дѣлѣ уйти. Но все пришло, началось чтеніе—и онъ усѣлся.

Черезъ четверть часа послѣ начала чтенія, явились еще три слушателя, двое военныхъ молодыхъ людей и третій—статскій. Первые два осторожно несли сабли въ рукахъ—а всѣ трое, à pas de loups, подошли къ кружку, взяли три стула, [illegible] ихъ на полъ и тихо [illegible]

[illegible]

[illegible]

пылъ страсти къ своей княгинѣ: онъ ищетъ ея взгляда, хочетъ ей сказать слово; но она будто не замѣчаетъ его, и отъ нея, какъ отъ Онѣгинской Татьяны, вѣетъ холодомъ и неприступностью. Онъ въ ужасѣ: отчего такая перемѣна! Еще такъ недавно, дня три тому назадъ, на немъ покоился ея взглядъ, полный такого сочувствія, ему говорились тихія рѣчи нѣжной страсти — и вдругъ теперь даже не глядитъ! Что такое произошло? Онъ ходилъ изъ залы въ залу, слѣдя за княгинею, и ловилъ минуту, чтобы узнать, что̀ значитъ эта перемѣна, отчего у нея какая-то тревога, сдержанное страданіе на лицѣ?

— Я не видалъ васъ цѣлую вѣчность—и вотъ пріемъ!— тихо упрекнулъ онъ, подходя къ ней, когда она была одна.

— А я видѣла васъ вчера, — сухо отозвалась она, не глядя на него.

— Гдѣ? когда?

— Я проѣзжала по мосту, черезъ Фонтанку, и издали видѣла, какъ вы гуляли по набережной... съ дамою кажется... да?

— Да... правда...—запинаясь сказалъ онъ.

— Кто эта дама? не секретъ?—небрежно спросила она, обмахиваясь вѣеромъ.

Онъ не вдругъ отвѣчалъ, ему и не хотѣлось отвѣчать, но дѣлать было нечего.

— Это... это... m-me Armand... французская артистка...

— А! — холодно сдѣлала она и пристально поглядѣла на него.

— Я встрѣтилъ ее нечаянно и прошелся съ нею...

— Я не требую объясненій и подробностей!—сухо перебила она и отошла.

Онъ слѣдилъ, какъ она, поговоривъ съ тѣмъ, съ другимъ, подошла къ дѣвицѣ Лидіи N. и сѣла подлѣ нея.

— Я вчера заѣзжала къ вамъ, chère Lydie, около трехъ часовъ, но васъ не было; гдѣ вы были?—спросила она.

— Да, мнѣ maman сказывала; я очень жалѣла... Мнѣ необходимо было выѣхать... — отвѣчала Лилія, но не сказала куда.

— Мнѣ показалось, что я васъ видѣла на улицѣ, и я хотѣла узнать, не ошибаюсь ли я?

Она взглянула на Лилію и видѣла, что та смутилась. И княгиня сама взмѣнилась въ лицѣ.

«Mon Dieu!» воскликнула каждая изъ нихъ про себя.

«Ужели она замѣтила?» подумала Лилія.

«Что была она?» и думала княгиня.

Какъ была въ аллеѣ, княгиня грянулась съ мѣста и направилась къ выходу, графъ предупредилъ ее. Онъ подалъ ей руку.

— A [illegible]... n'est-ce pas? Puis-je vous suivre?—[illegible]

[illegible]

— Vous croyez vous adresser à Lycée N. peut-être?—[illegible]—vous vous trompez la voilà!—Она указала [illegible] Лилія.—Restez auprès d'elle.—[illegible] votre bras!—обратилась она къ [illegible] и [illegible] съ нею [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

вора, да если бы и слышалъ, то все не добился бы ключа къ намеку княгини.

Постоявъ съ минуту передъ нею, графъ пошелъ къ выходу и на лѣстницѣ столкнулся съ адъютантомъ, барономъ В., который вертѣлся около и видѣлъ сцену прощанія съ нимъ княгини: какъ она не приняла руки графа и пошла съ генераломъ. Баронъ бросился за нею и, проводивъ ее вмѣстѣ съ генераломъ до кареты, возвращался на балъ. Онъ съ ироніею взглянулъ на графа. Онъ былъ неравнодушенъ къ княгинѣ и терпѣть не могъ графа, какъ предпочтеннаго соперника. Графъ понималъ его положеніе и прощалъ ему, т.-е. былъ равнодушенъ къ его ненависти. Но тотъ, какъ шекспировскій Яго, искалъ случая мстить ему.

Между тѣмъ, графъ, мучимый холодностью княгини, написалъ ей письмо, въ которомъ объяснялъ, какъ онъ, наканунѣ бала, встрѣтилъ m-me Armand, выходившую изъ одного дома и не нашедшую своей кареты. Онъ вышелъ изъ саней и пошелъ съ нею пѣшкомъ по набережной Фонтанки до Невскаго проспекта, гдѣ они и разстались. Онъ предложилъ ей свои сани, и она уѣхала. Онъ прибавилъ, что эта m-me Armand извѣстна всей jeunesse dorée Петербурга, что она состоитъ въ тѣсной зависимости отъ одного извѣстнаго лица, что весь городъ это знаетъ и что подозрѣвать его было бы недостойно ни княгини, ни его собственнаго характера, и такъ далѣе.

Но онъ не прибавилъ, какъ онъ весело болталъ съ француженкою, наклонялся къ ней, шутилъ, смѣялся, велъ съ нею живой, маскарадный разговоръ.

А княгиня видѣла это. Съѣхавъ съ моста, она велѣла кучеру остановиться и пристально слѣдила за ихъ прогулкою. Она видѣла ихъ сзади и не могла разглядѣть лицо дамы; она видѣла только ея фигуру и ростъ—все это было поразительно похоже на фигуру и ростъ Лидіи, особенно двѣ длинныя букли были точь-въ-точь такія, какъ у той: и

[illegible] такой же. И такъ же выпущенныя изъ-подъ пальца [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Остальные пружины [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

противорѣчило бы личному ея характеру, воспитанію и нравственному складу и тону всего ихъ дома и семьи, всѣми уважаемыхъ.

Но княгиня не слушала этихъ голосовъ разума. Въ глазахъ ея сверкало какое-то красное пламя, внутри жгло.

«А отчего она смутилась, когда я намекнула, что видѣла ее? Отчего не договорила, гдѣ была?—терзала она себя вопросами...—Да, это была она! А Paul говоритъ... нѣтъ, какой онъ Paul: c'est un traître de la plus pire éspèce!—казнила она его про себя:—онъ вздумалъ увѣрять, что это m-me Armand! Онъ съ нею и не пошелъ бы: онъ презираетъ этихъ...». Она не досказала эпитета.

Она кляла себя за то, что не бросилась вслѣдъ гуляющей парѣ, что не остановила графа, не взглянула вблизи на женщину, а бросилась въ домъ Лидіи. «Теперь я знала бы все!»

Она не думала, даже не вѣрила, чтобы свиданья графа съ Лидіей заходили далеко, чтобы въ нихъ скрывалось что-нибудь похожее на то, что было между ею самою и графомъ... Нѣтъ, но она видѣла въ этой нѣжности графа къ Лидіи зарю—не пылкой страсти, а молодой, свѣжей—такъ сказать—законной любви, той любви, которая охватываетъ всего человѣка и наполняетъ тепломъ всю его жизнь. И она уступитъ, когда сама только-что покорила этого рыцаря чести, мужской красоты, какой-то силы души и характера—и отдастъ его другой, едва расцвѣтшей, еще не начавшей жить!

«У той, разсуждала она,—жизнь вся впереди: ее ждетъ своя доля счастья! А она вдругъ отнимаетъ его у нея, изломаетъ ея страсть и вмѣстѣ съ нею и ее самоё, княгиню: потому что ей больше ничего не останется въ жизни... Нѣтъ, нѣтъ! А онъ! Заплатить ей измѣной за все... какая низость! какая низость!»

Она вздрагивала, ворочаясь, послѣ бала, въ постели и уснула только подъ утро.

Послѣ полудня ей доложили, что пріѣхалъ баронъ В., адъютантъ. Она, давно зная его чувства къ ней и виды на нее, избѣгала его и принимала неохотно и рѣдко. А теперь велѣла просить.

Она ужаснулась, поглядѣвъ на себя въ зеркало, и старалась пудрой, и даже немного румянами, скрыть слѣды [illegible] и мучительной ночи.

[illegible] не спрятать. Онъ вчера увидѣлъ [illegible] между княгиней и графомъ, замѣтилъ [illegible] и тонъ разговора съ Лилей N. [illegible] разглядывать [illegible] Та [illegible] что [illegible] и [illegible] къ ней [illegible] Но [illegible] принять [illegible] — [illegible]

[illegible] Княгиня. [illegible] Анна [illegible] что [illegible]

— [illegible] — [illegible] княгиня [illegible]

[illegible]

Барону стало ясно все. Что онъ далѣе говорилъ француженкѣ, осталось неизвѣстно; но только когда, послѣ этого, княгиня осторожно, стороной, черезъ преданныхъ ей людей, изъ третьихъ рукъ, стала узнавать о прогулкѣ съ нею графа, m-me Armand jurait ses grands dieux, что она съ нимъ не встрѣчалась и не гуляла.

Отсюда начинается сложная драматическая путаница романа! Прежде всего значительно огласились въ свѣтѣ, до тѣхъ поръ только подозрѣваемыя, отношенія княгини къ графу. Потомъ прошелъ глухой, неизвѣстно кѣмъ пущенный исподтишка (конечно барономъ) шепотъ о какой-то прогулкѣ Лидіи съ графомъ наединѣ. На нее стали смотрѣть съ страннымъ любопытствомъ, которое она относила вовсе не къ прогулкѣ съ графомъ, чего и подозрѣвать не могла, а къ тому, что узнали, какъ она предполагала, одинъ ея секретъ.

А секретъ ея состоялъ въ слѣдующемъ. У нея была самая любимая ея по институту подруга и лучшій по уму и симпатичнымъ качествамъ души и сердца другъ, Лиза Ф. Онѣ вмѣстѣ росли, учились и вмѣстѣ вступили въ свѣтъ. Лиза Ф., по выходѣ изъ института, жила въ домѣ Лидіи, потому что у ней не было состоянія. Мать ея, вдова, сама жила въ деревнѣ у родной сестры, и предоставила дочери свою пенсію, тысячу двѣсти рублей. Обѣ онѣ не могли содержать себя этими средствами въ Петербургѣ, и Лиза пріютилась въ семействѣ Лидіи N, какъ ея лучшій другъ, какъ сестра.

Такъ ихъ признавалъ и свѣтъ; онѣ два зимнихъ сезона являлись неразлучно всюду. На третій сезонъ Лидія вдругъ осталась одна. Лиза Ф. уѣзжала на лѣто къ матери и не возвращалась изъ деревни.

Такъ объявлено было въ кругу всѣхъ знакомыхъ — и только. Ни Лидія, ни ея отецъ и мать болѣе не распространялись объ этомъ. Это породило нѣкоторое сомнѣніе;

стали наводить справки и узнали, что въ деревнѣ, у тетки, съ Лизой разыгрался какой-то романъ, кончившійся потомъ такими послѣдствіями, за которыя тетка не захотѣла держать ее у себя, и что Лиза вернулась въ Петербургъ и живетъ съ матерью гдѣ-то въ глухомъ уединеніи, на маленькой квартирѣ, въ большой нуждѣ.

Это всѣ узнали, судили, рядили и казнили Лизу безпощаднымъ приговоромъ. О Лизѣ перестали говорить въ свѣтѣ; никогда не произносили имени ея и въ домѣ Лидіи. Всѣ какъ будто условились забыть ее и наконецъ забыли. Не могла забыть въ ней лучшаго, единственнаго друга только Лидія—и не забыла. Она не сочла себя въ правѣ быть ея судьею, и не только сохранила, но удвоила къ ней свою нѣжность, окружила ее заботами, утѣшеніями, помощью—всѣмъ, въ чемъ такъ нуждалась теперь бѣдная, обманутая любовью, выброшенная изъ привилегированной среды женщина. Дружба не обманула ее. Лидія объявила отцу и матери, что она не покинетъ друга въ бѣдѣ и нуждѣ, когда именно необходимъ другъ.

Отецъ обнялъ ее, мать заплакала: оба предоставили дѣлать ей что говоритъ ея сердце; они сами любили и жалѣли эту Лизу, но умоляли только дѣлать это втайнѣ, беречь себя и не оскорблять законовъ свѣта.

Лидія, разъ въ недѣлю, посвящала свободный вечеръ или утро, иногда цѣлый день, своей подругѣ и ѣздила въ наемной каретѣ, по вечерамъ въ сопровожденіи вѣрной и скромной горничной, а днемъ—одна, въ отдаленную улицу, въ маленькую квартиру, къ своей милой и дорогой Лизѣ Ф.

Наканунѣ бала, она провела тамъ утро, и вотъ причина ея смущенія, когда княгиня сказала, что видѣла ее гдѣ-то на улицѣ.

Оскорбленная княгиня не принимала графа и не отвѣчала на его письма. Только на одномъ изъ нихъ, возвращенномъ нераспечатаннымъ, она написала карандашомъ:

«vous avez menti. Adieu!» Онъ былъ въ ужасѣ. Свѣтскій судъ не пощадилъ ее; его толки дошли до нея, и она, съ первыми весенними лучами, уѣхала въ свое родовое имѣніе, заперлась, съ компаніонкой, въ замкѣ — и никуда не выѣзжала.

Лидія тоже не выдержала косыхъ взглядовъ, улыбокъ, шопота... она занемогла. Отецъ и мать ея были въ отчаяніи и наконецъ отправили ее, съ одной старой теткой, за границу. Свѣтъ не узналъ настоящаго ея секрета, а только привязалъ, «какъ бумажку къ ея шлейфу», по выраженію автора романа, имя графа къ ея имени, пока еще не зная, что говорить далѣе.

Графъ тоже не вынесъ пытки. Онъ рѣшился на смѣлый шагъ, взялъ отпускъ за границу, переодѣлся въ статское платье, пробрался въ имѣніе княгини, поселился въ деревнѣ и бродилъ каждый день въ сумерки, съ ружьемъ на плечѣ, около парка княгини. Наконецъ, онъ увидѣлъ ее, сидящею въ глубокой задумчивости на скамьѣ, подъ вязомъ; возлѣ на травѣ валялась книга. Онъ тихо подошелъ кустами сзади; на него вдругъ залаяла ея собачка, но узнавъ его, начала радостно визжать и ласкаться къ нему.

— Кто тутъ?—съ испугомъ спросила княгиня.

— Я! — сказалъ онъ, упавъ на траву и прижимая ея руки къ губамъ.—Простите!

— Вы... ты... вы!—оторопѣвъ произнесла княгиня и залилась слезами... Отъ чего? Отъ негодованія? Отъ оскорбленной гордости? Нѣтъ, отъ радости, отъ счастья!

— Я ждала тебя, я знала, что ты будешь! — шептала она, отвѣчая на его поцѣлуи.—Если бъ ты не пріѣхалъ, я не простила бы тебѣ...

— О рай! о небо!—твердилъ онъ и т. д., и т. д.

Они провели тайкомъ въ этой глуши такое лѣто, какого, по словамъ автора, еще не было ни у нея, ни у него въ жизни. Она даже не потребовала у него объясненій эпи-

зода прогулки съ m-me Armand и зажала ему рукою ротъ, когда онъ заикнулся объ этомъ.

— Я здѣсь, наединѣ съ собою, сама добралась до истины, и только... женскій стыдъ мѣшалъ мнѣ написать тебѣ. Я знала, что ты пріѣдешь!

При этомъ онъ падалъ на коверъ или на траву и катался, вмѣстѣ съ собаченкой, у ея ногъ.

Онъ воротился въ Петербургъ, гдѣ объяснилъ, что ѣздилъ устроить дѣла въ имѣніи, и отправился за границу; а княгиня заперлась опять въ своемъ замкѣ.

Въ романѣ, кромѣ самого героя, героини и дѣвицы Лидіи, большія роли даны еще отцу ея, умному администратору, потомъ отставному генералу, съ твердымъ, упрямымъ и нѣсколько желчнымъ характеромъ, и, наконецъ, общему другу того и другого — Здравомыслу всего этого круга, пожилому князю.

Вся группа представителей старыхъ поколѣній въ романѣ исполнена житейской мудрости, высокихъ правилъ чести, рыцарскаго благородства.

Въ молодомъ, ближайшемъ къ нимъ поколѣніи — дѣтей и племянниковъ ихъ, еще молодыхъ офицерахъ, замѣтно отражаются родовыя черты характера старшихъ, ихъ образа мысли и традиціонныхъ убѣжденій. Обѣ линіи представляютъ собою два параллельныя поколѣнія извѣстнаго, такъ называемаго, высшаго круга.

Преобладающій элементъ въ романѣ—военный. Гражданскій занимаетъ второстепенное положеніе.

Между прочимъ, цѣлая глава посвящена описанію маневровъ войскъ, между Гатчино, Краснымъ Селомъ и Павловскомъ. Мѣстами приводятся черты образа жизни, нравовъ, быта военныхъ высшаго круга.

Женскій кругъ тоже богатъ персоналомъ. На первомъ планѣ, кромѣ молодыхъ героинь—княгини и Лидіи, являются нѣсколько свѣтскихъ матронъ, двѣ княгини, одна—важная,

добродѣтельная, другая—суетливая и говорливая, потомъ мать дѣвицы, мать героя и другія.

Между дѣйствующими лицами почти нѣтъ лицъ изъ другихъ, низшихъ сферъ; только въ деревнѣ явился неожиданный поклонникъ княгини — уѣздный врачъ. Видя ея «меланхолію», какъ онъ говорилъ, онъ сталъ увѣрять ее, что послѣдняя можетъ повести къ серьезной болѣзни и что ему судьбою предназначено посвятить всю свою жизнь на сохраненіе «ея драгоцѣнныхъ дней». Но когда, съ пріѣздомъ графа, ея «меланхолія» мгновенно прекратилась, княгиня перестала принимать врача, и онъ, въ свою очередь, какъ графъ, сталъ бродить съ ружьемъ около парка—но, конечно, безуспѣшно.

Изъ простого званія—въ романѣ не было никого. Авторъ постоянно держался на высотѣ только одного высшаго круга и утонченнаго воспитанія.

Княгиня инкогнито тоже пробралась за границу — и соединилась съ героемъ въ какомъ-то уединенномъ уголкѣ.

За границей дѣйствіе происходитъ, частью на водахъ въ Германіи, а потомъ въ Южной Франціи и Италіи. Романъ изобиловалъ описаніями видовъ природы, граціозныхъ и цѣломудренныхъ сценъ любви, тонкихъ замѣтокъ о произведеніяхъ искусства въ музеяхъ и т. п.

Герой и героиня, насыщенные страстью, оба, наконецъ, смутно начинаютъ чувствовать неловкость своего взаимнаго положенія. Кромѣ того, княгиня замѣчаетъ — сначала усталость въ своемъ другѣ, потомъ и симпатію его къ Лидіи, которую онъ встрѣтилъ гдѣ-то въ Парижѣ, а потомъ въ Швейцаріи, съ тёткой.

Графъ между тѣмъ давно просрочилъ свой отпускъ и былъ уволенъ отъ службы. Онъ былъ до того поглощенъ страстью къ княгинѣ, что не исполнилъ даже обычныхъ формальностей, не попросилъ отсрочки. Онъ и не хотѣлъ дѣлать этого; законныхъ причинъ у него не было: онъ былъ

[illegible] дѣла не удерживали его за границей,—а [illegible], выдумывать преступленіе, было не въ его характерѣ. У [illegible] былъ преступленіе, и самый уважительный, по законамъ [illegible] принести въ жертву все женщинѣ, которая пожертвовала всѣмъ для него и онъ подчинился этому [illegible], къ крайнему отчаянію его матери и всѣхъ военныхъ [illegible] его круга.

Но когда, послѣ многихъ мѣсяцевъ, проведенныхъ [illegible], насыщенная страсть успокоилась, потомъ ослабѣла и, наконецъ, совсѣмъ угасла, [illegible] увлекать [illegible] герои, возвратить ему свободу.

Графъ и [illegible] хотя [illegible] между собою. [illegible] [illegible] [illegible]

— У меня нѣтъ мнѣнія, а только впечатлѣніе.

— Скажите ваше впечатлѣніе.

— Не умѣю, его надо угадать.

— Въ глазахъ сфинкса трудно угадывать, развѣ измѣнитъ улыбка ваша: она у васъ добрѣе глазъ...

— Надѣюсь, не добрѣе улыбки Лилиной; посмотрите, она такъ и сіяетъ, такъ и горитъ нетерпѣніемъ сказать вамъ свое впечатлѣніе!

Онъ пожалъ плечами и подошелъ къ Чешневу.

— Вы что скажете, Дмитрій Ивановичъ?—спросилъ онъ старика, въ раздумьѣ поникнувшаго головой.

— Ничего—я все еще слушаю!—отвѣчалъ тотъ коротко.

Слушатели, стоя группами, говорили совсѣмъ о другомъ. Иные пошли къ буфету «прохладиться», кто зельтерской водой съ шампанскимъ, кто просто шампанскимъ; другіе ушли въ кабинетъ хозяина, выкурить папироску.

Опоздавшій статскій юноша пробрался къ княгинѣ Тецкой и поцѣловалъ у нея руку, съ словами:

— Ma tante!

— Ай!—закричала та и вздрогнула.

Онъ выразительно улыбнулся княжнѣ.

— Eh bien?—спросила она чуть слышно.

— C'est fait, má cousine!

— Où donc?

— Тамъ, въ швейцарской, въ вашемъ пальто.

— Merci!

Между тѣмъ принесли чай, мороженое, конфеты. Григорій Петровичъ предлагалъ автору—оршаду, лимонаду, спросилъ, не хочетъ ли онъ шампанскаго въ зельтерскую воду, наконецъ, принесъ какой-то флаконъ съ утоляющими жажду лепешками, купленный въ англійскомъ магазинѣ.

— Въ Лондонѣ, въ парламентѣ, у всякаго оратора непремѣнно есть въ карманѣ такой флаконъ! — объяснилъ онъ.—Я буду возить съ собой въ совѣтъ!

— А ты собираешься говорить тамъ рѣчи, какъ въ парламентѣ?—спросилъ его пріятель, толстый Суховъ, и оба засмѣялись.

— Лучше вози въ клубъ, въ субботу, послѣ кулебяки прохлаждаться!—прибавилъ онъ.

Урановъ успокоился только тогда, когда авторъ выпилъ вина съ водой и предложилъ читать далѣе, прибавивъ: «если не наскучило!»

— Пусти меня, или пойдемъ къ тебѣ наверхъ!—шепталъ газетный критикъ Кряковъ, косясь на звѣзды мужчинъ: — еще, пожалуй, проврешься—вонъ отъ тѣхъ бѣды наживешь!

Онъ указалъ на сановныхъ стариковъ.

Студентъ засмѣялся.

— Вздоръ какой!—сказалъ онъ.—Пойдемъ лучше въ буфетъ.

Всѣ опять усѣлись. Лакеи обирали пустыя чашки, блюдечки отъ мороженаго. Григорій Петровичъ поставилъ хрустальныя вазы съ конфетами на столикахъ передъ дамами, а передъ авторомъ успѣлъ-таки положить флаконъ съ прохладительными лепешками.

Фергювъ обратилъ опять всѣхъ слушателей.

— Comme c'est beau! On se croirait transporté à l'époque d'Homère!—говорилъ онъ то тому, то другому.

— C'est joli!—вторила ему Лилина.

— C'est peu dire joli — c'est sublime! — кинулъ онъ ей въ отвѣтъ и нагнулся-было къ графу Пестову, чтобы сказать что-нибудь въ этомъ родѣ.

Но авторъ бросилъ на него внушительный взглядъ, и онъ присмирѣлъ.

Кромѣ Чешнева, еще двое гостей не вставали съ мѣстъ: это пожилой беллетристъ, отъ лѣни, можно-быть, только вытянувшій немного ноги впередъ, будто потягиваясь, да Иванъ Ивановичъ Кальяновъ, сослуживецъ автора, точно застылъ въ своей позѣ. Даже толстый Суховъ, и тотъ ухо-

дилъ «освѣжиться» и принялъ стаканъ зельтерской воды съ шампанскимъ—«отъ одышки», говорилъ онъ.

Въ буфетѣ хозяинъ учтиво предложилъ и Крякову «освѣжиться».

— Не вредитъ! — сказалъ онъ и выпилъ стаканъ шампанскаго.

Кальяновъ просто не зналъ, какъ ему быть. Надежда на мистификацію рушилась — онъ видѣлъ это ясно: ни пересмотра проектовъ, ни дополнительныхъ штатовъ, никакихъ смѣтъ, ничего такого въ романѣ не было. А все что̀ было— ему было чуждо и даже противно, въ родѣ какой-то дѣтской забавы.

Сдавая вступительный экзаменъ въ университетѣ, по̀ факультету камеральныхъ наукъ, между прочимъ и изъ словесности, онъ запомнилъ имена Вальтеръ-Скотта, Бальзака, у насъ—Загоскина и Лажечникова. Позднѣе, въ журналахъ, онъ встрѣчалъ имена Жоржъ Занда, Виктора Гюго, помнилъ, какого шума надѣлала «Капитанская дочка» Пушкина, затѣмъ романы Лажечникова, Лермонтова и Гоголя. Но онъ, ставъ на практическую точку служебныхъ занятій, уже ничего этого послѣ не читалъ—и на романъ смотрѣлъ... просто никакъ не смотрѣлъ. Онъ считалъ это женскимъ или, какъ онъ выражался, бабьимъ дѣломъ, и, нахмурясь, смотрѣлъ, какъ у его сестры, старой дѣвушки, цѣлый уголъ, точно дровъ, навалено было русскихъ и французскихъ романовъ.

А теперь вдругъ зовутъ его слушать романъ, — да еще требуютъ критики!

«Что я ему скажу?» раздумывалъ онъ про себя. «А онъ непремѣнно спроситъ — вонъ, то и дѣло поглядываетъ на меня! Сказать коротко, «никуда не годится», это было бы всего удобнѣе и искреннѣе съ моей стороны — да нельзя, если бъ и хватило духу; надо объяснить, почему не годится. Сказать «очень хорошо»,—я рискнулъ бы и на это,

а какъ спросятъ: что̀ именно и почему хорошо? И когда романъ бываетъ хорошъ, когда не хорошъ — чортъ знаетъ! Нѣтъ, не одинъ чортъ: вотъ этотъ журналистъ, сосѣдъ мой, знаетъ; вонъ и тотъ, лѣнтяемъ смотритъ — тоже знаетъ; и старикъ Чешневъ сидитъ, точно всенощную слушаетъ — и тотъ видно, что въ своей тарелкѣ!»

Онъ съ завистью поглядывалъ на того, на другого изъ слушателей, стараясь уловить, по выраженію ихъ лицъ, что̀ имъ нравится, что̀ нѣтъ, чтобы заготовить по этому себѣ какой-нибудь запасъ заемныхъ впечатлѣній, и продолжалъ тупо и напряженно вслушиваться.

Авторъ между тѣмъ выводилъ лицо за лицомъ, рисовалъ рядъ тонкихъ сценъ, пейзажей; чередою текли благородныя, возвышенныя мысли, блистали искры остроумія, слышались тоны нѣжныхъ чувствъ, или являлись штрихи наблюдательности. Все это свободно вязалось между собою, какъ будто разыгрывалось по нотамъ; и послушно выражало главныя задачи или тезисы автора.

Герои были представители принциповъ чести, человѣческаго достоинства и высокой степени умственнаго и моральнаго развитія — до внѣшней выработки включительно, до умѣнья выражать въ каждомъ шагѣ и словѣ уваженіе къ себѣ и къ другимъ, до изящныхъ, простыхъ и естественныхъ манеръ, до языка и всѣхъ формъ общежитія.

Это была чистая сфера джентльменовъ, салонъ жизни, гдѣ скорби и радости, заботы, труды и удовольствія, мысли, знаніе, искусства, даже самыя страсти, подчинялись строгому регулятору традиціонной школы вершинъ жизни, доступной въ европейскихъ обществахъ ограниченному меньшинству.

Ничего вульгарнаго, никакой черновой, будничной стороны людского быта не входило въ рамки этой жизни, гдѣ все было очищено, убрано, освѣщено и украшено, какъ въ свѣтлыхъ и изящныхъ залахъ богатаго дома. Прихожія,

кухни, дворъ, со всею внѣшнею естественностью, — ничего этого не проникало сюда; сіяли одни чистые верхи жизни, какъ снѣговыя вершины Альпъ.

Авторъ читалъ слѣдующія за первыми главы—одушевленнѣе, гости слушали напряженнѣе. Всѣхъ охватывалъ интересъ широко раздвинувшагося въ рамкахъ романа.

Только газетный критикъ Кряковъ становился все сердитѣе, по мѣрѣ того, какъ развивался ходъ романа, да еще толстый Суховъ вздыхалъ вслухъ отъ нетерпѣнія. Среди одной сцены, происходившей гдѣ-то въ Италіи, онъ даже сказалъ вполголоса своему сосѣду-генералу:

— Завтра дождь будетъ!

— А что?—спросилъ тотъ.

— Мозоли ноютъ. У тебя есть мозоли?

Тотъ отрицательно покачалъ головой.

— Мозоли бываютъ только у учителей да почтальоновъ,— прибавилъ онъ почти обидчиво.

На нихъ разомъ взглянули и авторъ, и хозяинъ; они смолкли, и Суховъ началъ громко дышать носомъ.

Княгиня Тецкая, когда читались сцены свиданія молодыхъ людей наединѣ — вздрагивала, а при описаніи одной дуэли нервно ахнула.

Княжна разъ шесть напускала на лицо непониманіе невинности.

— Mais elle est prude, ta cousine, не можетъ переносить такихъ цѣломудренныхъ сценъ! — тихо говорилъ офицеръ статскому, поймавъ раза два такое выраженіе на ея лицѣ.

— C'est vrai! c'est pour cela que je lui fournis les volumes de Zolà; il y en a un — dans ce moment qui l'attend dans l'antichambre: «La Curée». Elle le supporte parfaitement bien...

Оба старались подавить смѣхъ. Хозяинъ издали поррозилъ имъ.

Авторъ все чаще и чаще обращался взглядомъ къ графинѣ Синявской, стараясь уловить ея впечатлѣніе.

При слабыхъ мѣстахъ, длиннотахъ, глаза ея разсѣянно оглядывали стѣны, останавливались на дочери, или смотрѣли внизъ, на коверъ. Не то—такъ она машинально доставала конфету изъ вазы и подавала дочери.

Напротивъ, при живыхъ сценахъ она не сводила глазъ съ автора, а когда появлялись лучи поэзіи, тонкіе штрихи наблюдательности, и сверкала, неожиданностью или смѣлостью оборота, мысль—взглядъ ея дѣлался мягокъ, на губахъ бродила свойственная ей загадочная улыбка. И авторъ читалъ тогда увѣреннѣе и оживленнѣе. Когда зато брови ея немного сходились, глаза теряли загадочное выраженіе и улыбка исчезала—онъ бралъ со стола карандашъ и отмѣчалъ на поляхъ NB; это значило—худо. Чешневъ, при такихъ мѣстахъ, тоже—или глубже опускалъ голову, или перекладывалъ одну ногу на другую.

Авторъ мелькомъ замѣчалъ эти критическіе симптомы. Пожилой литераторъ гладилъ себя, при слабыхъ мѣстахъ, по лысой головѣ, какъ будто внутренно одобрялъ себя мыслью, что самъ онъ лучше написалъ бы эти мѣста.

Авторъ читалъ описаніе военныхъ маневровъ. Всѣ замерли въ безмолвіи. Въ стереотипное батальное изображеніе воинскихъ рядовъ — авторъ вдохнулъ огонь, далъ душу стройной живой массѣ и связалъ органически это цѣлое однимъ чувствомъ и одной мыслью. Кромѣ того, онъ нѣсколькими деталями смягчилъ суровость и однообразіе картины.

Графиня Синявская не сводила глазъ съ автора. Чешневъ тоже во всѣ глаза смотрѣлъ на него, очевидно съ одобрительнымъ чувствомъ.

— C'est bien écrit, n'est-ce pas?—сказалъ вдругъ, точно проснувшись и отнявъ руку отъ уха, графъ Пестовъ, ища глазами вдругъ, къ кому бы обратиться.

— Très bien écrit! oui, très bien, très bien!—энергически подхватили два-три голоса изъ тѣхъ, что находятъ всякое чтеніе, на которое зовутъ, прекраснымъ.

— Pourquoi n'avez vous pas écrit cela en français?—спросилъ графъ, обращаясь къ автору и приставивъ руку къ уху, чтобъ выслушать отвѣтъ.

— И какъ вѣрно,—замѣтилъ офицеръ:—а вѣдь онъ не военный! Откуда онъ знаетъ?

— A! c'est une grande capacité! Une tête, ce qu'on appelle!—говорилъ вполголоса статскій.—Мы къ Борелю отсюда? какъ бы не заперли!—шопотомъ прибавилъ онъ.

— Bah! on nous ouvrira!—увѣренно замѣтилъ офицеръ.

— Comme c'est joli!—говорила Лилина княжнѣ Тецкой.

— Oui, ch-ar-ma-nt!—протяжно отвѣчала княжна, играя вѣеромъ.

— C'est divin! c'est Homère, doublé de Tasse!—прибавилъ подскочившій Фертовъ, наклоняясь къ княгинѣ Тецкой.—N'est-ce pas, princesse?

— Охъ!—сдѣлала она, вздрогнувъ.

Фертовъ отскочилъ.

— Чортъ знаетъ, что это такое, эти маневры!.. Казарма!—довольно громко ворчалъ въ углу Кряковъ, такъ что нѣкоторые на него оглянулись.

Студентъ потихоньку смѣялся. Редакторъ журнала держалъ себя скромно и не выражалъ ни одобренія, ни порицанія. Профессоръ одобрительно покачивалъ головою. Пріятель Греча и Булгарина, старикъ Красноперовъ, сложилъ руки на брюшкѣ и, повидимому, скучалъ.

По мѣрѣ того, какъ чтеніе подвигалось къ концу, Иванъ Ивановичъ Кальяновъ становился покойнѣе; онъ даже повеселѣлъ и смѣлѣе поглядывалъ на автора и на присутствующихъ, почти не вслушиваясь въ послѣднія страницы романа, какъ будто онъ пришелъ къ какому-нибудь критическому заключенію.

Въ половинѣ двѣнадцатаго часа авторъ кончилъ, всталъ и наклонилъ слегка голову, благодаря за вниманіе.

Стулья шумно задвигались, всѣ встали, громко аплодируя, громче всѣхъ тѣ, которые меньше всѣхъ слушали, особенно толстый Суховъ—отъ удовольствія, что кончилось.

— У меня ноги затекли!—говорилъ онъ пріятелю Греча и Булгарина, потирая икры.

Хозяинъ обратился-было съ благодарственными объятіями къ автору, но тотъ съ улыбкою уклонился отъ нихъ.

— Mesdames и messieurs!—сказалъ онъ, укладывая тетради въ портфель и передавая его Фертову:—мнѣ поздно становиться въ положеніе начинающаго автора, и я не ищу авторскихъ лавровъ, а представляю этотъ опытъ пера пріятельскому кругу просто, какъ плодъ моего досуга. Мнѣ давно хотѣлось высказать нѣсколько идей, наблюденій, опытовъ и взглядовъ на нашу общественную жизнь, на наши дѣла, досуги, даже страсти (въ томъ кругу, какъ вы видѣли, къ которому я имѣю честь принадлежать), между прочимъ, взглядъ мой и на искусство, на литературу, и на романъ тоже, какъ именно я его понимаю. Кромѣ того, я еще избралъ романъ, какъ форму, въ которой мнѣ легче высказывать, а слушателямъ удобнѣе узнать мои тезисы и мои цѣли. Вотъ точка, съ которой я желалъ бы, чтобы слушатели взглянули на этотъ плодъ моихъ досуговъ! Благодарю еще разъ за вниманіе и терпѣніе!

Рукоплесканія усилились. Всѣ окружили автора: одни протягивали руки, прочіе кланялись. Только Кряковъ сердито смотрѣлъ изъ своего угла и на автора, и на гостей.

— Merci!—говорилъ графъ Пестовъ автору.—C'est bien écrit!

— Très bien écrit! tout-à-fait bien!—подхватили хвалители.

— Vous me donnerez un exemplaire: je le mettrai à côté de J. J. Rousseau.

— Oui, mon prince, je vous l'apporterai...

Авторъ старался пробраться къ графинѣ, которая стояла съ дочерью у своего мѣста и собиралась уѣхать. Молодая дѣвушка съ наивнымъ удивленіемъ смотрѣла на автора, какъ на героя. На щекахъ у нея рдѣли два розовыя пятнышка, она отъ волненія сильно сжимала обѣ руки у матери. Мать съ улыбкою смотрѣла на автора. Глаза у нея тоже смѣялись, должно быть благосклонно, потому что авторъ глядѣлъ на нее съ улыбкою скромнаго торжества. Она молча подала ему руку, и онъ молча пожалъ ее.

— Позвольте проводить васъ до кареты,—сказалъ онъ.

— Merci, сейчасъ; вотъ она остынетъ немного,—отвѣчала графиня, указывая на дочь. — Посмотрите, какъ она взволнована! Вотъ вамъ живое и непритворное впечатлѣніе! Довольны вы?

— А вы сами что̀ скажете?

Она улыбнулась по-своему.

— Впрочемъ, нѣтъ, не говорите, не надо: я уже знаю ваше мнѣніе,—прибавилъ онъ:—я его «видѣлъ».

— Запишите это выраженіе въ романъ, — замѣтила она: — «видѣлъ мнѣніе»! Оно характеристично, какъ весь романъ.

Гости стояли толпой. Хозяинъ куда-то исчезъ. Офицеры и статскій ускользнули къ Борелю; однако, послѣдній успѣлъ напомнить своей кузинѣ, чтобы она не забыла въ швейцарской «La Curée» Zolà, положенной ей въ пальто.

Иванъ Ивановичъ Кальяновъ осторожно пробирался къ выходу — еще шагъ и онъ на лѣстницѣ, какъ вдругъ его кто-то мягкою рукою взялъ за плечо. Онъ вздрогнулъ, какъ княгиня Тецкая, и оглянулся. Это былъ авторъ.

— Ухо̀дите, не сказавъ ни слова! Нѣтъ, вы не отдѣлаетесь, — говорилъ онъ: — подождите одну минуту: вотъ меня зоветъ княгиня, я сейчасъ ворочусь.

Онъ подошелъ къ княгинѣ.

— Charmant! Charmant! — говорила она, вздрагивая и мигая:—я очень довольна, и Катѣ понравилось... Catherine, n'est-ce pas?

Дочь отвѣчала условною улыбкою.

— Жаль только, что молодой человѣкъ,—продолжала княгиня съ разстановкой:—бросилъ службу; онъ испортилъ всю карьеру и огорчилъ мать!

— Вѣдь это бываетъ,—замѣтилъ небрежно авторъ.

— Да, какъ же: вотъ молодой Ступицынъ—то же самое! Зачѣмъ же описывать дурное! Это надо скрывать!

Она вздрогнула, а авторъ пожалъ плечами.

— Онъ бы лучше посватался къ другой... какъ ее зовутъ—Лидія?—говорила она.—Comme elle est gentille, cette petite Lydie; n'est ce pas, Catherine?

— Oui, maman, elle est très bien!..

— Онъ женится на ней потомъ?—спросила княгиня.

— Можетъ-быть... вѣроятно...

— А какъ же княгиня... что̀ же она? Одна, въ деревнѣ, съ графомъ... Это ужасно! Зачѣмъ вы вывели княгиню: лучше бы простую!

Она сильно вздрогнула. Авторъ сталъ раскланиваться.

— Attendez donc, еще я хотѣла спросить. Какъ же это Лидія ѣздитъ одна къ этой... потерянной Лизѣ...—шопотомъ прибавила она, чтобъ не слыхала дочь.—Supprimez cela!

Она охнула и вздрогнула. Авторъ подошелъ къ Кальянову.

— Что̀ же вы скажете: довольны или нѣтъ? — спросилъ онъ.

— Прекрасно, — отвѣчалъ тотъ:—какое перо!..—Онъ не зналъ какой эпитетъ прибавить.—Только...

— Только — что? пожалуйста не стѣсняйтесь, если не служба, такъ дружба обязываетъ васъ къ откровенности. Что̀ вы замѣтили?

— Вотъ у васъ,—смѣло заговорилъ Кальяновъ:—сказано,

что восточный вѣтеръ нагоняетъ тучи, дождь... а я живу на дачѣ, на Выборгской сторонѣ, такъ-сказать, подъ самымъ восточнымъ вѣтромъ, и всегда замѣчалъ, что онъ именно приноситъ ясную погоду. Бывало, въ ненастье ждешь его, какъ благодати...

Авторъ засмѣялся.

— А когда вы живете на дачѣ?—спросилъ онъ.

— Вотъ на-дняхъ переѣзжаю, на той недѣлѣ, лишь только подуетъ восточный вѣтеръ! — отвѣчалъ, смѣясь же, Кальяновъ.

— И останетесь тамъ...

— До половины сентября, если вы разрѣшите.

— Нѣтъ, я дамъ вамъ предписаніе остаться, по дѣламъ службы, до января,—сказалъ Бебиковъ:—и наблюдать, какую погоду приноситъ восточный вѣтеръ осенью!

Онъ съ улыбкой глядѣлъ на Кальянова, который въ раздумьи старался припомнить, какова бываетъ погода при этихъ условіяхъ.

— Но я вамъ благодаренъ,—прибавилъ авторъ:—что вы даже и на мелочи обратили вниманіе.

— Зато все остальное уже безупречно!—рискнулъ Кальяновъ кинуть вслѣдъ уходившему автору, но тотъ, улыбаясь, какъ бомбу, бросилъ ему въ отвѣтъ фразу:

— Мы еще объ этомъ поговоримъ!

«Вотъ тебѣ разъ!—размышлялъ онъ, спускаясь съ лѣстницы: — а я думалъ, что ужъ и отдѣлался! Постой, постой! — вспомнилъ онъ:—у меня еще мелькали какія-то два замѣчанія: одно — ошибка противъ гражданскаго права, а другое... другое... что, бишь, такое?»—И онъ, очень довольный, уѣхалъ домой.

Въ залѣ слушатели вполголоса разбирали романъ, стараясь выказать критическій тактъ другъ другу. Авторъ опять ходилъ съ графинею взадъ и впередъ, ожидая хозяина, чтобы проститься и уѣхать. Княгиня тоже собиралась

уѣхать и укладывала свою работу въ мѣшокъ. Дочь накидывала ей мантилью на плечи.

— Et où est Woldemar?—вдругъ спросила княгиня, оглядываясь.

— Il est parti, maman.

Княгиня вздрогнула.

— И не проводилъ насъ!—сказала она:—завтра ему надо голову вымыть; онъ такой же непослушный, какъ этотъ офицеръ, про котораго читали. N'est-ce pas?

— Oui, maman!

Старикъ Чешневъ подошелъ къ автору.

— Что скажете, Дмитрій Ивановичъ?—спросилъ онъ.

— Скажу, что вы сдѣлали подвигъ. Говорить, какъ вы сдѣлали, надо бы долго говорить и, пожалуй, пришлось бы кое о чемъ спросить. Но что это подвигъ, сказать все это, стать смѣло противъ потока,—въ томъ спорить нельзя! Вы отличились за добрыя общественныя начала, за религію, за нравы, за благовоспитанность, за чистоту вкуса въ искусствѣ; будьте же мужественны и доведите подвигъ до конца!

— Аминь!—сказала графиня!

— Подвигъ съ вашей стороны—выслушать!—прибавилъ, улыбаясь, всегда находчивый авторъ.—Если у васъ достанетъ терпѣнія — я почерпну въ немъ силу довершить свое дѣло.

Пока авторъ выслушивалъ эти привѣтствія, Кряковъ собирался уходить, но студентъ его не пускалъ. Лилина вертѣлась около автора, чтобы въ десятый разъ сказать ему свое «très-joli». Графа Пестова — Ферповъ и другой гость вели подъ руку къ выходу.

— Dites-lui, qu'il écrive cela en français! — говорилъ графъ спутникамъ.

— Oui, mon prince,—отвѣчали они.

Нѣкоторые гости позѣвывали въ руку и тоже готовились уѣзжать.

— Гдѣ же Григорій Петровичъ?—спросилъ кто-то громко:—бросилъ насъ и проститься не хочетъ!

Въ это время отворилась дверь изъ столовой и явился Григорій Петровичъ съ метръ-д'отелемъ, который на всю залу возгласилъ:

— Messieurs et mesdames sont servis!

Всѣ оцѣпенѣли на минуту. Въ столовой виденъ былъ длинный сервированный столъ, ярко освѣщенный канделябрами, и толпа офиціантовъ.

— Прошу! mesdames, messieurs!! Что это—вы собираетесь уѣхать! Какъ это можно, отъ ужина!

Онъ бросился къ гостямъ, къ дамамъ, упрашивалъ, у мужчинъ отнималъ шляпы. Но дамы, кромѣ Лилиной, отказались. Отказался и авторъ, извиняясь усталостью. Онъ подалъ руку графинѣ Синявской и повелъ ее съ дочерью до кареты.

Хозяинъ чуть не плакалъ; онъ убѣждалъ всѣхъ другихъ остаться, а упрямыхъ почти силою толкалъ въ столовую, въ томъ числѣ и Крякова.

— Не откажите мнѣ въ удовольствіи отужинать съ нами!—вѣжливо просилъ онъ его.

— Хорошо, хорошо,—сказалъ тотъ:—это кстати, я проголодался!

Онъ гостепріимнаго хозяина какъ рублемъ подарилъ.

— И прекрасно! — сказалъ онъ, пожимая ему руку: — я очень радъ. Митя! веди гостя и постарайся занять его, чтобы онъ не соскучился у насъ!

Митя засмѣялся и повелъ его въ столовую, куда, подъ руку съ Лилиной, вошелъ Чешневъ, потомъ журналистъ, профессоръ, Красноперовъ и всѣ прочіе. Толстый Суховъ и военный генералъ были уже тамъ и закусывали.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

УЖИНЪ.

— Господа! — сказалъ хозяинъ, когда всѣ усѣлись за столъ:—теперь моя очередь: я авторъ menu ужина. Поваръ только слѣпой исполнитель моей программы. Прошу подарить и мое произведеніе вниманіемъ, какимъ вы почтили нынѣшнее чтеніе. Прочти menu, — обратился онъ къ Сухову: —'вотъ оно подлѣ тебя лежитъ, чтобы гости знали, какъ распорядиться аппетитомъ.

Суховъ хватился за карманъ достать очки, но тамъ ихъ не оказалось.

— Potage—nids d'hirondelles,—читалъ онъ наизусть:— filets d'éléphant и pattes de crocodile à la tortue; légumes—jonc d'Espagne au jus de scorpions...

Всѣ засмѣялись.

— Какая гадость!—сказалъ Урановъ:—вѣдь ты аппетитъ отобьешь.

И самъ прочиталъ menu.

Вмѣсто крокодила и слона оказались: дикая коза, стерлядь, перепелки, всѣ примѣры зелени и фруктовъ.

Послѣ первыхъ двухъ блюдъ, заговорили о читанномъ романѣ. Первая подала голосъ Лилина.

— Comme c'est joli, n'est-ce pas? Я все еще подъ вліяніемъ этого чтенія! Кажется, никогда не забуду! Charmant! Charmant!—твердила она съ своею дѣтскою улыбкою, какъ дѣвочка, которой подарили новую куклу.

— Вамъ нравится?—насмѣшливо спросилъ ее Кряковъ:— поздравляю васъ: у васъ хорошій вкусъ!

Она сконфузилась и посмотрѣла на другихъ.

— Вы не конфузьтесь!—продолжалъ Кряковъ, и самъ въ то же время ѣлъ съ большимъ аппетитомъ.

— Отъ чего мнѣ конфузиться? я думаю... и другіе того же мнѣнія!—сказала она.

— Это дамское кушанье, конфетка! — продолжалъ онъ, наливая себѣ краснаго вина.—«C'est joli, très-joli» хвалили вы: это достойная похвала автору изъ вашихъ устъ!

Всѣ улыбались, глядя на него, а онъ допилъ стаканъ съ виномъ и, кажется, не замѣчалъ улыбокъ!

— Славное у васъ вино! — обратился Кряковъ къ хозяину:—и стерлядь отличная, жирная!

— Очень радъ, что мое скромное угощеніе вамъ нравится!—сказалъ Урановъ:—не прикажете ли еще? Человѣкъ, подай блюдо!

— Что жъ, я возьму!

И онъ взялъ другую порцію. Всѣ стали смотрѣть на него съ любопытствомъ.

— А романъ все-таки очень хорошъ!—сказалъ хозяинъ.

— И какъ хорошо авторъ читаетъ, какой пріятный голосъ, и манера благородная. Языкъ тоже славный! — хвалилъ профессоръ.

— Да... это замѣчательное произведеніе въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ!..—сдержанно замѣтилъ редакторъ журнала.

— Хорошо, очень хорошо! я съ удовольствіемъ слушалъ! — похвалилъ генералъ. — Теперь что-то не пишутъ такъ!

— Какъ это «такъ»?—спросилъ Урановъ.

— Такъ пріятно, плавно, по-русски, чтобы всякій понималъ! Возьмешь книгу или газету — и не знаешь, русскую или иностранную грамоту читаешь! Объективный, субъективный, эксплоатація, инспирація, конкуренція, интеллигенція—такъ и погоняютъ одно другое! Вмѣсто швейцара пишутъ тебѣ портье, вмѣсто хозяйка или покровительница — патронесса! Еще выдумали слово «игнорировать»!

— Да и по-русски-то стали писать, Боже упаси, какъ!—

вздохнувъ, вмѣшался старикъ Красноперовъ, пріятель Греча и Булгарина:—напримѣръ, выдумали—«немыслимо», а чѣмъ было худо слово «невообразимо»? Нѣтъ, оно, видите, старое, такъ прочь его! Или, всѣ говорили и писали: «такой-то или такіе-то обращаются къ тому, другому, или другъ съ другомъ такъ-то»; не понравилось имъ, давай мѣнять: «такой-то относится-де такъ-то». Лучше ли это, я васъ спрашиваю?

Онъ обратился къ редактору журнала.

— Одно другому не мѣшаетъ,—отвѣчалъ тотъ небрежно:—«немыслимо» и «невообразимо» вовсе не одно и то же, такъ же, какъ и слова: «обращаться» и «относиться»!

— Совершенно справедливо,—подтвердилъ профессоръ:—это даже и не синонимы. Зачѣмъ стѣснять свободу языка? пусть онъ обогащается путемъ печатнаго слова! Неологизмы, чуждые духу языка, никогда не войдутъ въ плоть и кровь его. Чѣмъ больше словъ, тѣмъ лучше!

— Ты, Иванъ Петровичъ, не связывайся съ ними,—сказалъ Суховъ тихо Красноперову:—они загоняютъ тебя. Народъ ученый!

Иванъ Петровичъ обидѣлся.

— Пожалуйста! не загоняютъ!—вслухъ возразилъ онъ.—Николай Ивановичъ и Ѳаддей Венедиктовичъ не чета были нынѣшнимъ, а и тѣ уважали мое мнѣніе? Это правда, что языкъ обогащается постепенно, какъ вы изволите говорить,—обратился онъ къ профессору:—только позвольте доложить, что это обогащеніе производится писателями съ вѣсомъ. Напримѣръ, вотъ Николай Михайловичъ Карамзинъ ввелъ слово *промышленность*, его всѣ и приняли. Василій Андреевичъ Жуковскій тоже много обогатилъ россійскую словесность и облагородилъ простонародный языкъ; передъ нимъ еще Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ. Такъ вѣдь какіе же это были и люди! Одинъ—исторіографъ, другой—министръ, третій — наставникъ царскихъ дѣтей! Александръ Сергѣевичъ

Пушкинъ уже шелъ по ихъ слѣдамъ. Вотъ они-то и поставили нашъ языкъ на твердое основаніе. А Николай Ивановичъ Гречъ и Ѳаддей Венедиктовичъ Булгаринъ были на стражѣ и бдительно охраняли правильность и неприкосновенность слога. Не стало ихъ—и ворвались нововводители! Кто ихъ послушаетъ? Откуда они явились?

— Оттуда же, я думаю, откуда и Карамзинъ съ Жуковскимъ и Дмитріевымъ, и мы съ вами тоже: все изъ одного мѣста!—сказалъ Кряковъ.

Всѣ улыбались. Лилина вспыхнула.

— Что правда, то правда! съ этимъ спорить нельзя! — подтвердилъ и Суховъ.

— При тѣхъ не смѣли бы такъ вольничать!—продолжалъ Красноперовъ, не слушая его: — бывало, сочинители по стрункѣ ходили, и тѣ изъ нихъ только и выходили въ люди, которые побывали въ ихъ школѣ. Сколько ихъ, бывало, являлось къ Николаю Ивановичу на поклонъ и выслушивало отъ него благіе совѣты, да слѣдовали имъ!

— Который вамъ годокъ? — вдругъ спросилъ Кряковъ Красноперова.

Общій смѣхъ покрылъ его вопросъ. Тотъ сердито молчалъ.

— А что?—спросилъ Суховъ, которому, очевидно, нравился задоръ въ противникахъ.

— Да ужъ очень отзывается добрымъ старымъ временемъ! — отвѣчалъ тотъ безцеремонно. — Вы, я думаю, родились при «старомъ и новомъ слогѣ»?

— А что жъ, худо было, что ли, тогда, при Александрѣ Семеновичѣ Шишковѣ?—сердито возразилъ Красноперовъ.— Тогда умѣли слушаться старшихъ — и былъ порядокъ. Отъ Греча и Булгарина доставалось не мало и Александру Сергѣевичу, когда онъ былъ молодъ и вольничалъ! А прочіе ходили тише воды, ниже травы.

— Какъ не ходить, когда ихъ, бывало, сѣкли, а Булга-

ринъ и Гречъ приговаривали! — вдругъ провозгласилъ Кряковъ при общемъ смѣхѣ.

— Такъ и надо! не худо бы и теперь!—ворчалъ Красноперовъ ближайшимъ сосѣдямъ: Уранову, Сухову и генералу: — а то ужъ очень расходились! Я бы всѣмъ сочинителямъ при полиціи списки завелъ, да выдавалъ бы имъ желтые билеты на жительство.

Кругомъ его всѣ смѣялись.

— За что такъ немилостиво?—спросилъ съ добродушнымъ смѣхомъ профессоръ.—Вѣдь уже это почти все было прежде; если не желтые билеты, такъ была, кажется, какая-то особая книга, куда записывали литераторовъ... Но и это не помогло: сами же вы говорите, что сочинители ушли изъ-подъ ферулы...

— А зачѣмъ выпускали? Правительство ослабѣло, строгости нѣтъ! — горячился Красноперовъ: — вотъ и порядка нѣтъ! Страху бы намъ, страху! вотъ что нужно, а не свободу печати!.. Далъ бы я имъ свободу! Сколько зла отъ этого! Боже мой, сколько зла!

— Какое же зло? и будто все зло? — спросилъ, тоже смѣясь, журналистъ.

— Какое! Вы еще спрашиваете! Развѣ не видите! Все колеблется, разсыпается врознь, ни у кого нѣтъ ничего святого!

— Не печать же виновата, помилуйте!—сказалъ журналистъ.

— Вездѣ смуты, раздоры... — твердилъ Красноперовъ, не слушая.

— Потопы, трусы, братъ лѣзетъ на брата, — подсказывалъ Суховъ. — Такъ, такъ, Иванъ Петровичъ, молодецъ! Хорошенько ихъ! За твое здоровье! — У тебя нынче весело, Григорій Петровичъ! — прибавилъ онъ, обращаясь къ Уранову.

— Да, смѣйтесь, смѣйтесь! Вы сами потакаете этимъ

новымъ!—горячился еще больше Красноперовъ:—что мудренаго послѣ этого, что дѣти чуть не рѣжутъ родителей...

— А родители дѣтей! — подсказывалъ опять Суховъ. — Правильно!

— Да! и правильно! Перестанешь смѣяться, какъ вонъ этакіе новые умники (онъ кивнулъ на Крякова, а Кряковъ въ отвѣтъ кивнулъ ему) придутъ къ тебѣ, да объявятъ, что домъ твой въ Большой Конюшенной не твой, а ихъ; что все общее... А тебя вытолкаютъ вонъ! Будетъ тогда «весело!»

— Господи помилуй! Что ты это на ночь пугаешь!— говорилъ Суховъ. — Слышите, что̀ онъ говоритъ! — обратился онъ къ Уранову и генералу.—Не бойся, мой другъ,— прибавилъ онъ успокоительно:—всѣ эти отрицатели и разрушители, если не обо что-либо другое, такъ о собственность лобъ себѣ разобьютъ!

— Я старѣе васъ всѣхъ тутъ—и могу говорить... — настаивалъ на своемъ Красноперовъ.

— И говоришь по опыту, что ли?

— Богъ миловалъ пока, а коли вы такъ равнодушно глядите на всѣ затѣи, да идеи этихъ мальчишекъ, что̀ величаютъ себя новымъ поколѣніемъ, и мѣръ не принимаете... такъ дождетесь, что и у насъ заведутъ коммуну! Смотри-ка, что̀ теперь дѣлается! Старшихъ нѣтъ, перемерли, учить уму-разуму некому! Что если бы они возстали изъ гробовъ!..

— Ихъ теперь посадили бы въ кунсткамеру,—а съ ними и васъ!—сказалъ Кряковъ.

Красноперовъ разсердился, особенно когда это замѣчаніе встрѣтило смѣхъ даже около него.

— А васъ, милостивый государь, и всѣхъ подобныхъ вамъ сочинителей, которые такъ разсуждаютъ, ужъ, извините, я бы не туда посадилъ! — горячо замѣтилъ онъ учительскимъ тономъ.

— Сажаютъ, успокойтесь, господинъ Фамусовъ: вы еще не всѣ перевелись на Руси!

Всѣ смѣялись, глядя на задоръ противниковъ.

— Что это, какъ здѣсь весело сегодня! — повторилъ Суховъ.

— Ты не обижайся, Иванъ Петровичъ! — шепнулъ хозяинъ старику: — лучше послушаемъ! Любопытно, до чего онъ договорится.

Но Красноперовъ не слушалъ.

— Что смѣетесь!—говорилъ онъ раздражительно гостямъ постарше:—вы ему въ руку смѣетесь и угождаете новому поколѣнію; да, вы унижаетесь передъ нимъ, стыдно показаться отсталыми! Что? неправда?

— Что ты! — внушительно сказалъ хозяинъ: — что намъ за надобность угождать, вѣдь мы не ребята; чего намъ заискивать у новаго поколѣнія? Мы его не боимся и ничего не ждемъ отъ него дурного. Вонъ онъ (онъ указалъ на племянника) тоже новое поколѣніе: что жъ, дуренъ, что ли? Въ большинствѣ и всѣ они такіе, и дай Богъ, чтобъ были такіе.

— Кланяйся и благодари!—сказалъ Кряковъ, погладивъ студента по головѣ.

— Какая же намъ причина потакать такимъ ужасамъ, какіе ты разсказываешь?—продолжалъ Урановъ.

— Какая причина... изволь, я скажу.

— Говори.

— Вы всѣ сами нигилисты, вотъ что!—брякнулъ онъ.

Всѣ весело, со смѣхомъ, глядѣли на него.

— C'est trop fort!—замѣтили на другомъ концѣ стола.

— Какъ такъ! Богъ съ тобою! — говорилъ Урановъ. — Объяснись, пожалуйста!

— Да такъ! вы сами заодно съ этими новыми. Кто больше, кто меньше... но всѣ, всѣ! Напримѣръ, иные изъ васъ — и я знаю кто — вѣруютъ въ Бога по-своему, а не такъ, какъ указываетъ православная церковь; ходитъ разъ въ годъ на исповѣдь, «для примѣра» — говорятъ; другіе испо-

вѣдуютъ противный господствующему строю правительства образъ мыслей и разсуждаютъ объ этомъ подъ рукой съ пріятелями, а сынки слушаютъ, да на усъ мотаютъ! Что мудренаго послѣ этого, что они не признаютъ и не уважаютъ ничего и никого!

Всѣ смотрѣли на него съ любопытствомъ и слушали съ улыбкою.

— Вотъ извольте видѣть,—замѣтилъ журналистъ:—а вы все на печать!

— А печать поддерживаетъ, подстрекаетъ! — говорилъ Красноперовъ.

— Нельзя ли указать, гдѣ и какъ?

— Да вездѣ! Гдѣ я теперь припомню? Да и припоминать нечего.

Красноперовъ очевидно затруднялся.

— Чего тутъ указывать, все никуда не годится! — ворчалъ онъ. — Вотъ Николай Ивановичъ или Ѳаддей Венедиктовичъ, тѣ сейчасъ бы указали, за словомъ въ карманъ не полѣзли бы! Я не цензоръ—что мнѣ!

Онъ не зналъ, что̀ сказать. Но заговорилъ неожиданно новый собесѣдникъ. Это былъ худощавый господинъ въ синихъ очкахъ, съ легкою просѣдью, въ бакенбардахъ, съ гладко выбритымъ подбородкомъ, прилично одѣтый. Онъ все молчалъ и слушалъ прилежно, смиренно потупляя взоръ въ тарелку и по временамъ вглядываясь изъ-подъ очковъ то въ того, то въ другого изъ собесѣдниковъ.

— Вы изволите спрашивать подтвержденіе тому, что Иванъ Петровичъ излагали сейчасъ насчетъ распространенія путемъ печати превратныхъ идей...—сказалъ онъ вкрадчиво журналисту.

— Да-съ! не возьмете ли вы на себя трудъ доказать, чѣмъ это подтверждается въ печати?

— Нѣтъ-съ, нѣтъ... положительнымъ образомъ не подтверждается, это точно-съ...

— Вотъ видите!—сказалъ журналистъ Красноперову.

— Противнаго религіи, — продолжалъ новый собесѣдникъ:—въ печати нѣтъ-съ, это правда. Оно и понятно: не позволили бы. Но зато ни одинъ журналъ не ополчается и за религію...

— Зачѣмъ же, когда вы сами говорите, что на нее не нападаютъ?

— Не нападаютъ, это такъ-съ, — продолжали синія очки: — но упадокъ религіознаго начала въ обществѣ ощутителенъ, а поддержки ему никакой нѣтъ... Напримѣръ, въ журналахъ,—и въ вашемъ тоже, извините,—на трехъ-четырехстахъ страницахъ нигдѣ не встрѣтишь, чтобы упоминалось имя Божіе. Это очень знаменательно...

Всѣ съ любопытствомъ глядѣли на него и на журналиста.

— Dieu-Dieu-Dieu-Dieu! — зачастилъ кто-то въ концѣ стола.

— Что, не правду я говорилъ?—подтвердилъ Красноперовъ.—Не я одинъ, а и другіе заключаютъ...

— Я ничего не заключаю-съ, я только хотѣлъ бы прояснить этотъ вопросъ изъ любопытства... — поспѣшно прибавилъ гость въ синихъ очкахъ.

— Кто это? — вполголоса спросилъ генералъ у Сухова про синія очки.

— Не знаю! — сказалъ тотъ. — Надо спросить Григорія Петровича.

— Стефанъ, развѣ не знаете!—вдругъ брякнулъ Крянкинъ, услыхавшій вопросъ генерала.

Чешневъ даже слегка вздрогнулъ.

— Что это фамилія, что ли, его?—спросилъ генералъ и немного смутился, когда нѣкоторые засмѣялись и даже Чешневъ улыбнулся.

—Нѣтъ! это имя ему при крещеніи нарекли! — прибавилъ Крянкинъ.

Всѣ старались сдержать смѣхъ.

Гость въ синихъ очкахъ, должно-быть, не слыхалъ Урановъ тихонько объяснилъ, что фамилія его Трухинъ.

— Онъ служитъ у Алексѣя Петровича,—прибавилъ онъ:— тотъ прислалъ его на чтеніе вмѣсто себя; онъ говорилъ, что этотъ господинъ все печатное читаетъ; ни слова не пропускаетъ, все знаетъ и ему обстоятельно докладываетъ, такъ что тому ни газетъ, ни журналовъ читать самому не нужно.

— Что же это, по вашему мнѣнію, значитъ, что имя Божіе не призывается въ журналахъ всуе?—спросилъ журналистъ у Трухина:—это скорѣе показываетъ уваженіе къ религіи...

— Та-та-та, не лукавьте, милостивый государь!—остановилъ его Красноперовъ:—вовсе не отъ избытка благоговѣнія не упоминаете вы о Богѣ, а потому, что не вѣруете! Или вѣруете по Ренану: Спаситель-де принесъ въ міръ прекрасное ученіе, а самъ былъ хорошій человѣкъ, а не Богъ! Вотъ вѣдь что у васъ на умѣ?

Всѣ улыбались.

— Почему же вы это знаете? — спросилъ журналистъ, тоже улыбаясь.

— Какъ не знать! Всѣ знаютъ! теперь этого и не скрываетъ никто, до того дошло! Даже щеголяютъ этимъ: вотъ-молъ, какіе мы умные! Иначе какъ бы не напечатать объ упадкѣ религіи и не поддержать ее? А вы только объ упадкѣ курса пишете, да перечите правительству!

— На то спеціальные духовные журналы есть, — замѣтилъ журналистъ: — тамъ и пишутъ о подобныхъ предметахъ...

— Да вѣдь вы сами говорили, что поповъ трогать нельзя; тронь, такъ вы грозите посадить куда-то автора!—замѣтилъ Кряковъ Красноперову.

— Вы хитры!—возразилъ тотъ:—изъ воды сухи выйдете!

Трогать духовныхъ особъ не велятъ, такъ какъ вы обзовете ихъ клерикалами, да и давай глумиться надъ ними!

— Это точно, бываетъ...—подтвердилъ Трухинъ.

— Зато, кажется, печать оказываетъ и не малую пользу—и правительству, и обществу. Согласитесь съ этимъ! — возразилъ ему журналистъ.

— О, конечно-съ, конечно-съ... большую, большую пользу! — согласился Трухинъ. — Печать горячо преслѣдуетъ кражи, убійства, всякіе скандалы! Сломаютъ ли кружку у церкви, или расхитятъ кассу въ банкѣ—вся пресса дружно и громко предаетъ гласности и кражу, и вора; всякія публичныя безобразія, также неисправности администраторовъ, особенно повыше, тоже непремѣнно обличитъ, по косточкамъ разберетъ.

— Даже если пьяный съ барки упадетъ въ воду и вылѣзетъ—и то не пропуститъ!—прибавилъ Суховъ.

— Чего же вы еще хотите?

— Но она нерѣдко пропускаетъ безъ вниманія очень серьезныя вещи, и это меня иногда удивляло, признаюсь! отъ безпечности ли; или отъ чего другого? Вотъ въ чемъ мнѣ любопытно бы попросить разъясненія... — продолжали синія очки.

— Напримѣръ, какія вещи?—спросилъ журналистъ.

— Напримѣръ, вотъ хотя бы въ прошломъ году произошла смута между молодежью: разнесли столы, стулья, выгнали профессора...

— Что же, пресса не умолчала; объ этомъ всѣ журналы прокричали.

— Заявила, единогласно заявила, — это правда, правда! И какъ вѣрно, точно, отчетливо...

— Такъ что же?

— Мнѣ только любопытно бы знать,—смиренно продолжали синія очки: — отчего пресса поскупилась на осужденіе этого поступка по достоинству... не прибавила ни сло-

ва отъ себя? Не пожурила, не разъяснила неприличія. Это бы не могло не подѣйствовать на молодые умы благотворно, я полагаю...

— А случись противное, печать бы не молчала!—замѣтилъ Красноперовъ.

— То есть, взбунтуйся профессоръ противъ учениковъ, тогда бы печать напала на него! Такъ ли, по-вашему?—спросилъ Кряковъ при общемъ смѣхѣ.

— Да! такъ, такъ! не смѣйтесь! ораторствовалъ Красноперовъ:—чуть гдѣ-нибудь учитель выдеретъ ученика за вихоръ, по-нашему, по-старому, или вытуритъ директоръ изъ училища лѣнтяя, а тотъ сдуру топиться пойдетъ—сейчасъ газеты такъ и завопятъ: «ахти, какой директоръ злодѣй!»

— Если одни журналы умалчиваютъ, по вашему мнѣнію, о чемъ вы говорите, и преслѣдуютъ какія-нибудь свои задачи,—замѣтилъ журналистъ гостю въ синихъ очкахъ:—зато другіе становятся на защиту тѣхъ вопросовъ, о которыхъ упомянули сейчасъ.

— Что̀ нынѣшніе журналы! Вотъ Николай Ивановичъ и Ѳаддей Венедиктовичъ — тѣ сумѣли бы постоять за порядокъ!—сказалъ Красноперовъ.—То былъ вѣкъ, когда...

— Когда водились еще горилы, отъ которыхъ и произошли нынѣшніе сикофанты!—досказалъ Кряковъ, поглядывая на синія очки.

Кругомъ его засмѣялись, больше всѣхъ студентъ.

— Что это за неурядица такая, право! ну что бы всѣмъ дружно, да мирно идти однимъ путемъ, рука въ руку!—мечталъ генералъ, обращаясь къ Сухову.

— И нога въ ногу, по-военному!—договорилъ Суховъ.—А ты что не идешь въ своемъ комитетѣ рука въ руку и не ходишь нога въ ногу съ Кураковымъ и Петрищевымъ, а все вздоришь?

Генералъ такъ и затрясся весь.

— Съ этими...—началъ онъ.

— Сикофантами, что ли? — подсказалъ Суховъ, и оба засмѣялись.

— Ну, и у сочинителей то же самое! — прибавилъ Суховъ.

— Духъ вѣка пробивается, генералъ! — сказалъ профессоръ:—кипитъ работа, совершается великая борьба идей, мнѣній, интересовъ... исхода которой мы, конечно, не увидимъ. Сила вещей приведетъ все къ должному концу. Нужно терпѣніе... не мы, такъ дѣти увидятъ тотъ порядокъ, который долженъ выработаться изъ этого хаоса.

— Вотъ что значитъ профессоръ, сейчасъ нашелъ ключъ къ ларчику и рѣшилъ—какъ быть и что дѣлать, и средство такое простое предписалъ: терпѣніе! Всѣхъ и успокоилъ! Покорнѣйше благодаримъ!—сказалъ Кряковъ, кланяясь профессору.

— Страху бы намъ, страху! вотъ чего недостаетъ! — твердилъ свое Красноперовъ.

— Позвольте обратиться къ нынѣшнему чтенію,—сказалъ хозяинъ: — я имѣю сдѣлать предложеніе. Достоинство новаго произведенія признано, сколько я замѣтилъ, всѣми слушателями...

Кряковъ задвигался на стулѣ и хотѣлъ что-то сказать, но былъ удержанъ студентомъ.

— Мнѣ хотѣлось бы выразить благодарность автору за доставленное всѣмъ намъ удовольствіе, — продолжалъ хозяинъ.—У меня есть старинный кубокъ, работы Бенвенуто-Челлини—дядя мой изъ Венеціи привезъ — вонъ онъ, въ шкапѣ! — Достаньте!—обратился онъ къ дворецкому.

Тотъ ушелъ за ключомъ.

— Что если мы велимъ вырѣзать на немъ всѣ наши имена и поднесемъ автору на память нынѣшняго чтенія! Какъ вы думаете?

— Кромѣ моего имени: я не желаю, —отрѣзалъ Кряковъ.

Всѣ взглянули на него съ удивленіемъ.

— Очень хорошо,—вѣжливо, но сдержанно замѣтилъ хозяинъ, послѣ минуты молчанія:—мы васъ обойдемъ. А вы согласны?—спросилъ онъ, обводя глазами собраніе.

— Конечно! конечно! Какая славная мысль! Покорнѣйше просимъ!—раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Меня, меня не забудьте!—нѣжнымъ голосомъ просила Лилина.

Дворецкій подалъ кубокъ, и всѣ передавали его изъ рукъ въ руки.

— Отчего вы не желаете присоединиться къ намъ?—спросилъ кротко Крякова старикъ Чешневъ. — Вы имѣете какія-нибудь свои особенныя причины?

— Да, имѣю.

— Или не находите романъ заслуживающимъ этого вниманія?

— Да, и романъ не нахожу заслуживающимъ! — такъ и рубилъ Кряковъ.

— Если бъ это было и такъ, то, независимо отъ критики, нашъ кружокъ хочетъ благодарить автора за его намѣреніе сдѣлать удовольствіе...

— Пусть благодаритъ, а я не стану!

Чешневъ вздохнулъ съ прискорбіемъ.

— Отчего же?—спросилъ онъ.

— Зачѣмъ онъ написалъ этотъ романъ?—задорно упрекнулъ Кряковъ.

— Какъ зачѣмъ? Вы слышали, какъ онъ объяснялъ свои мотивы: желаніе, въ формѣ романа, высказать нѣсколько идей, наблюденій, опытовъ... И онъ успѣлъ, не только со стороны содержанія, но и формы, и далъ тонкое, изящное произведеніе...

— Не зачѣмъ распространять свои допотопныя идеи и возвращать насъ за сто лѣтъ назадъ! Это все отжило! А если написалъ для забавы, такъ читай на ухо тому глу-

хому графу, что̀ подлѣ него сидѣлъ, да вонъ господину Красноперову; тѣ и удовлетворятся! А онъ собралъ вонъ сколько народу, — это ужъ публика; значитъ, у него не просто забава была на умѣ, а поученіе, претензія! Пожалуй и въ печать сунется! Покажись только—я бы ему далъ знать!

Студентъ засмѣялся.

— Этотъ критикъ, въ самомъ дѣлѣ, должно-быть, крокодила объѣлся!—шепнулъ одинъ гость другому—изъ тѣхъ, что находятъ всякое чтеніе, на которое зовутъ, прекраснымъ.

Всѣ молчали. Кряковъ тоже замолчалъ и сердито жевалъ, обводя гостей глазами и ожидая возраженія.

Старикъ Чешневъ былъ какъ будто лично оскорбленъ. По своей впечатлительности онъ былъ до крайности чутокъ и, ощущая пріятное и непріятное, какъ тепло и холодъ, не могъ воздержаться и не выразить своего ощущенія словомъ или жестомъ, иногда рѣчью.

— Если бъ это было и такъ, если бъ этотъ романъ не имѣлъ достоинствъ и его не слѣдовало писать и даже читать, — говорилъ онъ сосѣду своему вполголоса, медленно, тихо пѣлъ: — то неужели этотъ гость, приглашенный въ интимный кружокъ другой автора, не понимаетъ неумѣстности своего протеста!

Онъ вздохнулъ и опустилъ голову.

— Вы обо мнѣ говорите?—[illegible] обратился къ нему Кряковъ, до [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Чешневъ вытянулъ на него какъ бы съ состраданіемъ и не сказалъ ничего.

Уранцевъ началъ [illegible] и [illegible] съ [illegible] умѣніемъ [illegible] Кряковъ [illegible] [illegible], какъ бы спрашивая [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

— Вы требуете, чтобы я хвалилъ то, что нахожу дурнымъ; это противно моимъ принципамъ! — заключилъ Кряковъ.

— Слышишь—«принципы», это стòитъ «игнорированья»,— тихо замѣтилъ генералъ Сухову.

— Вы дали преимущество одному принципу и забыли о другихъ, которые нужно было тоже соблюсти въ эту минуту здѣсь...—сказалъ небрежно Чешневъ, глядя въ сторону.

— Вы хотите дать мнѣ урокъ приличія? Благодарю! Но я ему не послѣдую—и въ угоду вамъ, или хозяину, за его ужинъ, не стану восхищаться тѣмъ, чтò никуда не годится. Это заячьи души способны такъ поступать!

— Ого!—замѣтилъ кто-то въ концѣ стола.

— Этого и не нужно, никто и не проситъ!—учтиво замѣтилъ Урановъ: — тѣмъ болѣе, что романъ и не напечатанъ, а прочтенъ намъ по довѣрію, въ надеждѣ на снисхожденіе.

— Ахъ, какая институтка вашъ авторъ—въ снисхожденіи нуждается! Зачѣмъ и писать въ такомъ случаѣ?

— Позвольте, однако; нельзя же все порицать въ романѣ, въ немъ есть, конечно, недостатки, но есть и большія достоинства...—заступился профессоръ.

— Одни только недостатки! Я ничего больше не вижу!— рѣшилъ Кряковъ.

— Помилуйте, когда все общество... — заговорили нѣкоторые.

— И какой это романъ? Развѣ это романъ? — вызывающимъ голосомъ возражалъ Кряковъ.

— Что же вы называете романомъ?—спросилъ Чешневъ.

— Я не даю уроковъ эстетики, вонъ спросите профессора!—отвѣтилъ, точно брыкнулъ, Кряковъ, однако прибавилъ: — Вѣдь романъ есть, или долженъ быть, художественнымъ произведеніемъ... такъ, что-ли, господинъ профессоръ?

— Такъ что же-съ?

— Развѣ здѣсь есть художественность... въ томъ, что намъ читали сегодня?

— А позвольте васъ спросить,—смиренно заговорили синія очки:—изволили вы читать и къ какому роду произведеній, художественныхъ или нехудожественныхъ, вы относите, напримѣръ, романъ французскихъ писателей Эркмана-Шатріана «Исторія одного крестьянина»?

— Высокаго художественнаго достоинства! — отрѣзалъ Кряковъ, мутно поглядѣвъ на него.

— Такъ-съ!—сказалъ тотъ, потупившись.

— А позвольте мнѣ,—также смиреннымъ голосомъ, передразнивая синія очки, заговорилъ Кряковъ:—въ свою очередь, спросить васъ, отчего именно объ этомъ романѣ спрашиваете вы меня?

— Относительно художественности... за нимъ, кажется, французы не признаютъ этого качества,—замѣтилъ гость, потупляясь къ тарелкѣ.

— Ты читалъ этотъ романъ? — спросилъ Урановъ у Сухова.

— Нѣтъ! Я не читаю и русскихъ новыхъ авторовъ,—отмахивался Суховъ:—пробовалъ, да бросилъ.

— Что̀ такъ?

— По ночамъ сталъ кричать!

— Да что тамъ такое описывается?—добивался Урановъ.

— Революція!—вызвался объяснить Кряковъ, но прежде шопотомъ спросилъ студента: «Не вру ли я? я забылъ! кажется, тамъ революцію превозносятъ?»—«И я забылъ: да ничего, сойдетъ!»—отвѣчалъ тотъ и засмѣялся.

— Тамъ герои первой французской революціи уподобляются древнимъ римлянамъ!—смѣло провозгласилъ Кряковъ громко Уранову.—Такъ вотъ ваши гости, господинъ Красноперовъ, да господинъ... (онъ поглядѣлъ на синія очки) Синеоковъ, кажется, и собираются высѣчь меня за то, что я

хвалю этотъ романъ. Такъ ли? — прибавилъ онъ, глядя на нихъ обоихъ.

— Да, теперь Марата, Робеспьера и Дантона чуть не въ святые возводятъ; это все новые... со своимъ прогрессомъ!— добавилъ Красноперовъ.

— Ну, а что̀ ты скажешь, Иванъ Петровичъ, — обратился Урановъ къ Красноперову:—о романѣ нашего автора? Ты все воевалъ противъ молодыхъ литераторовъ, а ничего объ этомъ не сказалъ!

— Не одобряю!—рѣшилъ Иванъ Петровичъ.

— Что такъ? вѣдь въ немъ религія поставлена выше всего; и долгъ, и военная честь, и патріотизмъ, все есть!

— Такъ-то такъ... Но объ этомъ надо бы не въ романѣ писать:—не мѣсто тамъ!—а въ серьезномъ сочиненіи изложить! А то въ романѣ — нашелъ гдѣ! Да и какой это романъ—они правду сказали...—Онъ указалъ на Крякова.

— Слышишь, Митя? я пай-мальчикъ сталъ, папа-Фамусовъ похвалилъ!—прибавилъ, осклабясь, Кряковъ.

— Въ романѣ нѣтъ ничего особеннаго, необыкновеннаго...—прибавилъ Красноперовъ.

— Какъ особеннаго?

— Такъ! описывается все, что̀ каждый день вездѣ случается: что жъ это за романъ?

— Значитъ, изображается жизнь, какъ есть, что̀ и слѣдуетъ изображать въ картинѣ, — снисходительно замѣтилъ профессоръ.

— Зачѣмъ же изображать, если я это каждый день и такъ вижу!

Всѣ засмѣялись.

— А тебѣ чего же надо?—спросилъ Суховъ:—чтобы люди на головахъ ходили, или ѣли другъ друга, что ли?

— Да, пожалуй; если это случится—и опиши!

— Гдѣ вы учились?—вдругъ спросилъ его Кряковъ.

— А вамъ на что?—сердито возразилъ старикъ.

— Любопытно бы знать!—сказалъ тотъ.—Я отдамъ туда своихъ дѣтей.

Смѣхъ былъ общій.

— Да вѣдь Гоголь писалъ тоже все, что̀ каждый день происходитъ...—замѣтилъ студентъ.

— Ну, и скверно! — хладнокровно рѣшилъ Красноперовъ.—Не даромъ Ѳаддей Венедиктовичъ не могъ его терпѣть! и Николай Ивановичъ тоже! Вонъ давали мнѣ «Мертвыя души»: я думалъ, судя по заглавію, въ самомъ дѣлѣ, что-нибудь особенное, романическое; а тамъ плутъ какой-то собиралъ имена умершихъ послѣ ревизіи крестьянъ, чтобъ заложить ихъ! Что̀ жъ тутъ интереснаго? И нынѣшній вашъ авторъ описываетъ, какъ молодой человѣкъ влюбился въ женщину и оба тайкомъ уѣхали въ деревню, да тамъ и нѣжничаютъ! Какая рѣдкость! Я думаю, съ каждымъ поѣздомъ десятки такихъ влюбленныхъ паръ уѣзжаютъ — такъ обо всѣхъ и писать!

Всѣ съ веселой улыбкой слушали эту критику.

— Какіе же романы вы признаете занимательными?—спросилъ Чешневъ.

— Теперь я не знаю, а прежде бывали хорошіе романы!—сказалъ онъ.

— Напримѣръ?

— Напримѣръ... хоть бы: «Черная женщина»—Николая Ивановича, «Кощей безсмертный», «Выжигинъ» тоже, «Эвелина де-Вальероль» — Нестора Васильевича Кукольника, «Постоялый дворъ»—Степанова. Былъ еще, помню, англійскій романъ «Мельмотъ Скиталецъ». Вотъ «Ледяной домъ» Ивана Ивановича Лажечникова... Это романъ! какъ изо льда домикъ сдѣлали, свадьбу тамъ играли, человѣка заморозили...

— Вотъ это критикъ, такъ критикъ! Молодецъ, Иванъ Петровичъ! за свое постоитъ! — говорилъ Суховъ.—Превесело у тебя сегодня, Григорій Петровичъ!—прибавилъ онъ,

обращаясь къ Уранову и поглядывая на Крякова и на Красноперова.

— Вотъ видите, какая разница во взглядахъ на романъ!—смѣясь, замѣтилъ Чешневъ. — Сказать — «романъ», значитъ, сказать: пиши, что̀ хочешь! Вотъ тутъ (онъ указалъ на Ивана Петровича) требуютъ чудесъ, небывалаго; а здѣсь назвали «Histoire d'un paysan», книгу, которая мало подходитъ подъ ваше опредѣленіе романа...—Онъ обратился къ Крякову.

— Пожалуй, это не романъ въ шаблонномъ смыслѣ,— сказалъ тотъ:—но это великое произведеніе ума!

— Пусть произведеніе ума, по вашему мнѣнію, но не искусства же!—замѣтилъ профессоръ.

— Пора бы бросить эти школьныя перегородки! — ворчалъ Кряковъ, глядя исподлобья.

— Да не вы ли сами сейчасъ, на вопросъ Дмитрія Ивановича, сказали, что романъ долженъ быть художественнымъ произведеніемъ...

— Знаю, знаю! что̀ вы мнѣ тычете въ глаза моими словами!—перебилъ Кряковъ.

Всѣ засмѣялись.

— Ah, sapristi, quel langage! — замѣтилъ кто-то вполголоса въ концѣ стола.

— А это ваше sapristi — какой «лангашъ», элегантный, что ли?—вдругъ обратился Кряковъ къ говорившему.

Опять всѣ засмѣялись.

— Превесело!—говорилъ Суховъ.

— Я изъ вашихъ же лекцій добылъ это опредѣленіе романа!—сказалъ Кряковъ профессору.

— И примѣнили его къ одному сочиненію; отчего же не примѣнить и къ другому? Позвольте, однако, возвратиться къ прочитанному сегодня произведенію и объяснить, къ какой категоріи романовъ принадлежитъ оно; тогда уже можно опредѣлить и его достоинство,—сказалъ профессоръ.

— Ну, лекція начинается, слушайте!—ворчалъ Кряковъ.

Профессоръ услыхалъ.

— Я не имѣю претензіи читать лекцію, — сказалъ онъ скромно:—я только хотѣлъ выразить и свое мнѣніе... наравнѣ съ другими, ни болѣе, ни менѣе... если хозяинъ позволитъ...

-- Сдѣлайте одолженіе! помилуйте! продолжайте! мы просимъ!—раздалось со всѣхъ сторонъ.

Хозяинъ бросилъ недовольный взглядъ на Крякова, и на племянника тоже.

— Опредѣленіе, что романъ долженъ быть художественнымъ произведеніемъ — вѣрно, — началъ профессоръ:—такъ и въ учебникахъ написано, вы правду говорите (онъ обратился къ Крякову). Все дѣло въ степени художественности, т.-е. въ степени таланта. Одни писатели дорожатъ болѣе всего своею идеею, такъ сказать, внутреннею задачею, заботясь о томъ, что̀ выразить; для нихъ искусство—средство, а не цѣль; другіе, напротивъ, увлекаются формою, дорожа тѣмъ, ка̀къ выражать; наконецъ, третьи, первоклассные таланты, счастливо соединяютъ въ себѣ и содержаніе, и форму. Много ли такихъ! Диккенсъ, Теккерей, Бальзакъ, Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь не родятся на каждомъ шагу...

— Какія новости разсказываете!—перебилъ Кряковъ:—что̀ мы, пансіонерки, что ли!

Всѣ улыбнулись.

— Позвольте, позвольте, слово за профессоромъ!—учтиво замѣтилъ Урановъ.

— Нашъ авторъ, безъ сомнѣнія, принадлежитъ къ первой категоріи,—продолжалъ профессоръ.—Онъ выбралъ себѣ задачею, какъ онъ намъ самъ пояснилъ, заключить въ формѣ романа свои идеи, наблюденія, можетъ-быть, личные опыты, и вообще ходъ жизни, со всею ея игрою и видоизмѣненіями, въ томъ кругу общества, въ которомъ онъ

родился, воспитался и выросъ. Онъ освѣтилъ его свѣтомъ своего ума, воображенія и наблюдательности, но преимущественно ума.

— Très-bien!—громко произнесъ одинъ гость.

— Написать такой романъ уже само по себѣ не умно, а вы еще воображеніе у него нашли!—замѣтилъ Кряковъ.

— Авторъ,—продолжалъ профессоръ, не останавливаясь:—старается, въ своемъ взглядѣ на воспитаніе, на нравственность, на дѣятельность и страсти своихъ героевъ, подойти къ общему идеалу, къ нормѣ...

— Слышишь, — сказалъ генералъ, тихо толкая Сухова локтемъ:—профессоръ-то: «норма»...

— Или къ идеаламъ о долгѣ, чести, вообще достоинства человѣка, преимущественно воина. Этому званію — сколько до сихъ поръ можно видѣть—авторъ посвящаетъ свой трудъ. И книга его, безъ сомнѣнія, будетъ имѣть воспитательное значеніе...

— Да, Телемака написалъ, этотъ новый Фенелонъ!—перебилъ Кряковъ.

— Позвольте, не перебивайте профессора! — опять замѣтили ему.

— Но, стремясь къ своей особенной, спеціальной цѣли,—говорилъ далѣе профессоръ: — авторъ не забылъ и условій искусства. Онъ въ значительной степени удовлетворилъ требованіямъ романа; тамъ много, какъ всѣ, конечно, помнятъ, пейзажей, которые, очевидно, писаны съ любовью съ самой натуры; много есть изображеній нравовъ... нѣжныхъ, граціозныхъ сценъ любви, много мѣткихъ наблюденій, искръ мысли... Чего же вы еще хотите?

— Вѣдь мы слушали сами и знаемъ, что̀ тамъ написано! Ну-съ! дальше проповѣдуйте! — не утерпѣлъ сказать Кряковъ.

— Il parle très-bien!—повторили одобрительно въ концѣ стола.

— Дѣло! дѣло! именно такъ! вы высказываете общее всѣмъ намъ впечатлѣніе?—говорилъ Урановъ.

— C'est très beau ce qu'il dit! Какъ вѣрно!—подсказала и Лилина.

— Если хотите, — продолжалъ профессоръ: — строго говоря, романъ относится къ той категоріи произведеній, которыя называются тенденціозными, и изъ которыхъ создалась въ новое время цѣлая литература. Я не поклонникъ утилитаризма въ искусствѣ...

— «Тенденціозный», «утилитаризмъ»! — шепталъ генералъ, пожимая плечами.

— Чего же вы поклонникъ? *«поэзіи живой и ясной»* или *«слабыхъ звуковъ и молитвъ»*, что ли? — перервалъ Кряковъ.

— Да позвольте говорить профессору! — останавливалъ хозяинъ Крякова.

— Да, между прочимъ, я поклоняюсь и этому,—подтвердилъ профессоръ.—Но прежде всего я требую свободы для искусства, а на него въ новое время хотятъ наложить оковы; оно не потерпитъ этого! Высокій талантъ не выкинетъ, конечно, изъ своей картины страданій, бѣдъ, золъ, тягостей и нуждъ человѣческихъ,—но кисть его при этомъ не обойдетъ и свѣтлыхъ сторонъ жизни: тогда только и возможна художественная правда, когда и то, и другое будетъ уравновѣшено, какъ оно есть и въ самой жизни. А новая школа уже сдѣлала себѣ спеціальность, можно сказать, ремесло, служить только утилитарнымъ цѣлямъ, заставить искусство искать только великихъ золъ, подъ святымъ предлогомъ любви и состраданія къ ближнему...

— А вы себѣ взяли привилегію, что ли, на любовь къ ближнему? И чѣмъ вы ее выразили, вы, наши «строгіе цѣнители и судьи»?—рѣзко спросилъ Кряковъ. — Мы хоть путемъ отрицанія и обличенія наводимъ на эту любовь, а вы чѣмъ?

— Запретить бы эти обличенія!—сказалъ Красноперовъ.— Это они пишутъ въ пику правительству: «вотъ-де—не смотритъ, не печется!» Не ихъ дѣло совать носъ въ больницы, да въ тюрьмы; на то установлены комитеты!

— Открывать глаза обществу на наши общественныя нужды и недуги — цѣль, конечно, почтенная, — продолжалъ профессоръ, помолчавъ:—и искусство повинно принести свою лепту, и давно уже принесло ее. А наши ревнители добра наладили на эту тему и умышленно обходятъ свѣтлыя стороны жизни, впадаютъ въ преувеличенія, въ односторонность и, стало-быть, перестали быть правдивы!

— Какую вы дичь порете! зачѣмъ? — вдругъ произнесъ Кряковъ.

На это, послѣ минутнаго оцѣпенѣнія, послѣдовалъ взрывъ смѣха. Чаша переполнилась и обижаться было невозможно. Никто и не обидѣлся: ни ораторъ, ни хозяинъ. Только Чешневъ горестно вздохнулъ и опустилъ голову на грудь.

— А къ тому я порю эту дичь, упирая на слово дичь, сказалъ профессоръ, ободренный общимъ сочувствіемъ къ нему: — чтобы выяснить, что въ однихъ романахъ, напримѣръ, въ «Коперфильдѣ» или «Пиквикскомъ клубѣ» Диккенса, въ «Père Goriot и Eugénie Grandet» Бальзака, въ «Капитанской дочкѣ» и «Героѣ нашего времени» — художественность задачи есть и цѣль, и средство; а въ другихъ, какъ и въ прослушанномъ нами сегодня, преобладаетъ мысль автора, на помощь которой онъ призвалъ искусство...

— А оно не пришло, сказали бы коротко и ясно! Зачѣмъ же лекцію читать?—добавилъ Кряковъ.

— Нѣтъ, я не скажу этого,—возразилъ профессоръ.

— И никто не скажетъ!—сказалъ хозяинъ.

— Никто!—повторили и другіе.

— Значитъ, все-таки тенденція есть,—замѣтилъ журналистъ:—стало-быть, вы допускаете и тенденціозные романы!

— Я все допускаю, гдѣ есть умъ или талантъ, — прибавилъ профессоръ.

— Покорнѣйше благодаримъ! Какъ вы добры!—иронически сказалъ Кряковъ:—за что̀ же было ворчать на романъ «Исторія одного крестьянина»?

Онъ кивнулъ туда, гдѣ сидѣлъ господинъ въ синихъ очкахъ.

— Стало-быть, тенденціозный романъ все-таки нуженъ и имѣетъ sa raison d'être,—продолжалъ журналистъ.

— Что̀, вѣрно русскаго пороха не хватило, такъ давай изъ Франціи выписывать!—тихо замѣтилъ генералъ.

— Вѣдь есть моменты въ исторіи,—говорилъ далѣе журналистъ: — когда совершаются такіе крутые повороты отъ одного круга идей, понятій, событій, къ другимъ, которые требуютъ усиленнаго и совокупнаго участія всѣхъ нравственныхъ силъ, какими располагаетъ общество, между прочимъ и искусство. Согласитесь, что наше время будетъ отнесено исторіею къ числу такихъ раздражительныхъ и горячихъ моментовъ.

— Совершенно правда!—согласился профессоръ:—искусство и приняло на себя часть общей работы; въ немъ и возобладало отрицательное направленіе. Современная литература грѣшитъ только тѣмъ, что злоупотребляетъ этимъ, насилуетъ искусство, признаетъ только одно обличительное направленіе и гонитъ все другое, какъ будто бы ненужное...

— Что жъ, Ламартинъ нуженъ, что ли? отчего же онъ поблѣднѣлъ, а Гюго, напримѣръ, пережилъ его? — перебилъ Кряковъ.—Или отчего Гейне сдѣлался представителемъ лирической поэзіи въ Германіи, какъ не отъ того, что въ немъ есть, говоря вашимъ краснорѣчивымъ слогомъ, святая злоба, попросту—спиртъ, злой умъ и талантъ? Подите вы съ своими «сладкими звуками и молитвами»! Чего слаще Ламартина и гдѣ больше молитвъ, какъ не у него, а его забыли; что̀ же это значитъ?

— Нѣтъ, не забыли и не забудутъ, — замѣтилъ профессоръ: — онъ былъ поэтъ своего вѣка и останется въ исторіи литературы; ни Викторъ Гюго, ни Гейне не превзойдутъ его ни паѳосомъ чувствъ, ни высотою мысли. Но онъ жилъ въ своемъ времени и отошелъ вмѣстѣ съ нимъ, какъ отойдутъ, въ свою очередь, и другіе. Кромѣ стиховъ, онъ оставилъ слѣдъ, какъ и историкъ; его «Исторія жирондистовъ»...

— Какая это исторія! Это плохой, сентиментальный романъ!—сказалъ Кряковъ.

— Ну, нѣтъ, съ этимъ позвольте не согласиться! — замѣтилъ Чешневъ: — и французы не раздѣлятъ вашего мнѣнія!

— Это еще не причина! во Франціи тоже не мало слюняевъ!—отозвался Кряковъ.

— Ce «*тоже*» est impayable! Oh, l'enfant terrible!—замѣтилъ кто-то въ концѣ стола.

Кряковъ покосился туда, какъ будто отыскивая виноватаго.

— Такимъ образомъ, по-вашему, оказывается, — сказалъ журналистъ профессору: — что романъ, въ тѣсномъ смыслѣ, какъ изображеніе жизни, долженъ быть произведеніемъ творческаго искусства; но никому, конечно, нельзя запретить называть романомъ и произведеніе ума, подъ однимъ условіемъ, чтобъ онъ не былъ скученъ...

— Conditio sine qua non,—подтвердилъ профессоръ.

— Опять пороху не хватило!—сказалъ генералъ Сухову.

— Вѣдь это ученый разговоръ, такъ какъ же безъ латыни! Ахъ ты, Скалозубъ! — сказалъ Суховъ, ударивъ его ладонью по колѣнкѣ.

— Нѣтъ ли у васъ еще чего-нибудь о романѣ? Или вы все выложили изъ мѣшка?—спросилъ насмѣшливо Кряковъ.

— Есть еще одно послѣднее сказанье, но я ужъ, право, не знаю, говорить ли... Я, кажется, и такъ употребилъ во зло вниманіе собесѣдниковъ...

— Да, кажется!—вставилъ Кряковъ.

— Эту дурную привычку говорить много...

— И говорить прекрасно!—прибавилъ Урановъ.

— Эту привычку я пріобрѣлъ на каѳедрѣ. Но извините, я перестану; я вижу явные знаки нетерпѣнія. Вонъ, господинъ Кряковъ ждетъ не дождется...

Онъ съ улыбкою глядѣлъ на Крякова.

— Ничего, продолжайте! вѣдь и поданная къ крыльцу лошадь ржетъ и бьетъ копытомъ отъ нетерпѣнія... но на это никто не смотритъ!—вдругъ храбро сказалъ генералъ.

Общій хохотъ покрылъ его фразу.

— Bien dit!—сказалъ одинъ гость.

— Да, мѣтко! не въ бровь, а прямо въ глазъ! — къ общему удивленію, добродушно замѣтилъ Кряковъ и тоже разсмѣялся, пряча носъ въ бороду.—Браво, генералъ, по-военному!—прибавилъ онъ.—За ваше здоровье!

Онъ выпилъ вино.

— Il fait bonne mine à mauvais jeu, il n'est pas sot!—сказалъ опять тотъ же гость.

Кряковъ сердито поглядѣлъ на него.

— Ругайтесь, сколько хотите, а похвалъ вашихъ не просятъ!—отрѣзалъ онъ. — Вѣщайте же намъ ваше послѣднее сказаніе!—обратился онъ къ профессору.

— Я хотѣлъ только замѣтить, что новые писатели даютъ слишкомъ много мѣста реализму. Но объ этомъ говорено такъ много, что скучно становится. Отвергаютъ всѣ основы искусства... дошли до абсурда.

— Слышишь — «абсурдъ», каково слово! Онъ этакъ и на каѳедрѣ преподаетъ?—замѣтилъ генералъ, обращаясь къ Сухову.

— Послушать реалистовъ, — продолжалъ профессоръ:— такъ они одни только внесли правду въ искусство тѣмъ, что гонятъ фантазію, какія-то «украшенія», т.-е. поэзію! Что

можетъ быть, напримѣръ, правдивѣе Пушкина? Но правда не мѣшала у него и фантазіи, и нѣгѣ, и юмору...

— Полноте кадить этому пѣвцу барства, «праздной скуки» и «нѣги томной»! — возразилъ Кряковъ. — Вѣдь сами сейчасъ упомянули о духѣ времени; этотъ духъ скоро снялъ его съ пьедестала. Старики захлебывались, бывало, его стихами, а теперь кто ихъ читаетъ! И самъ онъ захлебывался своею славою и провозгласилъ: «*Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный, къ нему не зарастетъ народная тропа!*» Народъ и не подозрѣваетъ этой «тропы», а поклонники давно забыли ее... и могила-то, говорятъ, развалилась вся! Даже некому тамъ и указать ее! Нашли у кого правду! прочтите-ка, напримѣръ, хоть «*Въ вратахъ эдема ангелъ нѣжный*»—какъ это правдоподобно!

— Извольте, прочту! и вы сами увидите, что это правдиво; вы счастливо попали!

Профессоръ буквально исполнилъ предложеніе критика и прочелъ стихотвореніе наизусть. Всѣ аплодировали — конечно, Пушкину.

— Какая ерунда!—сказалъ, поморщившись, Кряковъ.

Студентъ покатился со смѣху и спрятался за спину Крякова.

— Если вы,—запѣлъ жалкимъ голосомъ Чешневъ, обращаясь къ Крякову:—не видите передъ глазами живую картину—сіяющаго у эдема ангела и демона, летающаго надъ бездною, если не чуете глубокой идеи, таящейся въ этой картинѣ, то вы можете принять девизъ Данте — «оставь всякую надежду на поэзію»...

— Но не на правду! А она одна поэзія и есть! — перебилъ Кряковъ.—Кто сейчасъ сказалъ, что искусство должно изображать жизнь? Откуда же Пушкинъ взялъ этого чорта надъ бездной: изъ жизни, что ли? Или онъ видѣлъ этого ангела?..

— Видѣлъ,—сказалъ профессоръ:—въ своей фантазіи, и мы всѣ видимъ...

— Ну, такъ, стало-быть, вы вѣрите въ чертей; что съ вами и разговаривать! Пусти, уйду! — говорилъ Кряковъ, стараясь вырвать полу платья изъ руки студента.

Но, однако, не ушелъ.

— Боже мой!—тосковалъ Чешневъ:—какая ложь, какое искаженіе человѣческой природы! Жить безъ идеала, то-есть жить безъ цѣли! Отрѣшиться отъ фантазіи — значитъ оборвать всѣ цвѣты, погасить солнечные лучи... обратиться въ тьму кромѣшную...

— Зачѣмъ? не надо только врать! Пусть говорятъ про солнце, да не называютъ его «Фебомъ съ золотыми перстами» и т. п. дичь! Вы называете идеаломъ праздное и больное мечтаніе! У человѣка одинъ идеалъ — правда! Правда въ наукѣ, правда въ жизни, правда въ искусствѣ... и пиши ее, какъ она есть: безъ прикрасъ, безъ вашихъ лучей...

— Отлично! отлично! браво, Кряковъ! — аплодировалъ студентъ, такъ что Урановъ, незамѣтно отъ другихъ, сердито погрозилъ ему пальцемъ.

— Не мѣшай!—строго остановилъ его и Кряковъ.

— Да такой нѣтъ правды, никто ее такою не видалъ и нельзя видѣть!—говорилъ Чешневъ.

— Еще замѣчу объ объективности, — сказалъ профессоръ. — Новые писатели хотятъ простереть ее слишкомъ далеко. Художникъ, конечно, не долженъ соваться своею особою въ картину, наполнять ее своимъ я—это такъ! Но его духъ, фантазія, мысль, чувство—должны быть разлиты въ произведеніи, чтобъ оно было созданное живымъ духомъ тѣло, а не вѣрный очеркъ трупа, созданіе какого-то безличнаго чародѣя! Живая связь между художникомъ и его произведеніемъ должна чувствоваться зрителемъ или читателемъ: они, такъ сказать, съ помощью чувствъ автора, наслаждаются картиною, какъ, напримѣръ, намъ въ этой комнатѣ всѣмъ покойно, тепло, уютно... но если бъ вдругъ

нашъ гостепріимный хозяинъ скрылся куда-нибудь — комната перестала бы согрѣваться его радушіемъ, и мы остались бы какъ въ трактирѣ...

— Браво! браво! — раздалось со всѣхъ сторонъ, вмѣстѣ съ рукоплесканіями этому юмористическому обороту рѣчи.

— Dieu! comme il parle bien!—говорили въ концѣ стола.— За здоровье профессора!

Всѣ чокнулись съ нимъ бокалами.

— Знаете ли что, господинъ профессоръ: вѣдь этотъ ужинъ тонкій, дорогой,—сказалъ Кряковъ:—куда вамъ вашимъ краснорѣчіемъ заплатить за него!

Студентъ фыркнулъ отъ смѣха.

— Что это вы говорите,—съ вѣжливой строгостью замѣтилъ хозяинъ:—къ чему тутъ ужинъ! какъ вамъ не стыдно придавать такое значеніе дружеской бесѣдѣ!

— Не оспаривайте этого,—возразилъ Кряковъ:—ни профессору, ни мнѣ такъ ужинать часто не приходится; ужинать сами мы васъ не позовемъ, а заплатить за гостепріимство хочется! Это хотя и не поэтическая, а житейская правда! Такъ ли, господинъ профессоръ?

Но профессоръ съ достоинствомъ молчалъ.

— Не любятъ правды ни въ искусствѣ, ни въ жизни!— со вздохомъ сказалъ Кряковъ. — Кажется, я одинъ только и есть правдивый человѣкъ здѣсь! Какъ ты думаешь, Митя?— обратился онъ къ студенту и сильно хлопнулъ его всею ладонью по плечу.

— Смотрите, драться сталъ! — сердито глядя на него шепнулъ старикъ Красноперовъ.

Нѣкоторые изъ гостей въ концѣ стола сдѣлали брезгливую мину.

Всѣ молчали. Уранову было какъ-то неловко. Онъ поглядывалъ съ упрекомъ на племянника, но тотъ упорно продолжалъ избѣгать его взгляда.

— А зачѣмъ эти новые такъ пишутъ? — спросилъ генералъ.

— Какъ зачѣмъ! Чего больше спрашиваютъ, то и пишутъ. Новые пути открываютъ... ты слышалъ?—объяснялъ Суховъ.—Вѣдь и у васъ вонъ перестали теперь шагать выше носа, да глядѣть въ одну сторону, а тоже ввели бѣглый шагъ и врассыпную, что ли! Солдатъ грамотѣ выучили, и мало ли чего завели новаго!

— И напрасно! — сказалъ со вздохомъ Красноперовъ, вслушавшійся въ ихъ разговоръ: — вотъ увидите, какихъ бѣдъ наживете. У васъ, слышь, и палки отмѣнили... и чуть не гладятъ по головѣ виноватыхъ!

— Вы изволите спрашивать, отчего новые такъ пишутъ?— обратился профессоръ къ генералу: — отъ того что легче. Творчество не всякому дается, а реализмъ, и техника—это двѣ двери, которые отворяются передъ всѣми, кто постучится въ нихъ! Даже школу выдумали... а школы не выдумываются, а создаются геніальными талантами: такихъ теперь нигдѣ нѣтъ! Диккенсъ, Пушкинъ и Гоголь не подозрѣвали, что создаютъ школу, а она создалась ими! А эти господа сами заявляютъ о своей школѣ!

— «Реализмъ» да «техника» — объяснилъ, нечего сказать!—шопотомъ замѣтилъ генералъ Сухову.

— Все это какъ нельзя болѣе справедливо, — сказалъ Чернышевъ: — и я, начавъ этотъ критическій турниръ, былъ очень радъ, что вы взяли изъ моихъ рукъ копье и разбили побѣжденнаго меня. Все сказанное вами, какъ вы основательно замѣтили, послужитъ намъ нормою для опредѣленія достоинства прочитаннаго нами романа. Вы очень вѣрно замѣтили, что нашъ авторъ не строго объективный творецъ-художникъ...

— Опять съ заграничными словечками! — прервалъ профессоръ.

— И какъ далъ намъ ужасающія изображенія, — про-

должалъ Чешневъ:—въ широкой рамѣ той жизни, въ сферѣ которой онъ живетъ... и мы всѣ здѣсь — за отсутствующихъ мы тоже поручимся — должны признать за этимъ романомъ...

— Большія достоинства!—подтвердилъ профессоръ.

— Да, замѣчательное произведеніе,—равнодушно прибавилъ журналистъ.

Кряковъ повернулся на стулѣ при этихъ похвалахъ.

— Да перестаньте!—сердито замѣтилъ онъ.

Но ему не отвѣчали.

— Стало-быть, авторъ вполнѣ достигъ цѣли, къ которой шелъ, и мы можемъ—если позволите,—прибавилъ Чешневъ, обращаясь къ хозяину: — выпить за его здоровье и благодарить за удовольствіе, доставленное намъ.

Всѣ чокнулись и выпили.

— Выпить-то и я выпью!—замѣтилъ Кряковъ и выпилъ, но не чокнулся ни съ кѣмъ.

— А какой правильный, обработанный языкъ!—сказалъ профессоръ.

— Да, славно пишетъ! — подтвердилъ генералъ: — только жаль, что и у него попадаются — то иностранныя, то мудреныя слова, напримѣръ: коалиція, элементы, еще что-то...

— Въ корректурѣ это все вѣроятно будетъ исправлено,— сказалъ журналистъ. — Хорошо бы немного придать разнообразія, небрежности языку, что называется abandon. А то ужъ слишкомъ гладко, прибранно, стилисто!

— Вы, конечно,—обратился Чешневъ къ журналисту:— охотно приняли бы его на страницы вашего журнала?

Журналистъ задумался и не сразу отвѣчалъ.

— Я не знаю... надо подумать... поговорить съ моимъ сотрудникомъ по части беллетристики, — отвѣчалъ онъ уклончиво.

— Но вѣдь вы находите въ романѣ достоинства?

— О, конечно; но этого мало. Журналъ мой издается въ извѣстномъ направленіи — слѣдовательно все, что входитъ въ него, должно, или отвѣчать этому направленію, или, по крайней мѣрѣ, не противорѣчить ему рѣзко...

— Кажется авторъ отдѣльнаго самостоятельнаго сочиненія отвѣчаетъ самъ за себя, — замѣтилъ Чешневъ: — и журналъ, помѣщающій его на своихъ страницахъ, играетъ тутъ роль только магазина, принимающаго вещь для проґажи.

— Нѣтъ, это не такъ! — сказалъ, засмѣявшись, журналистъ. — Тогда это былъ бы не журналъ, а сборникъ, альманахъ...

— Кому охота разводить скуку въ своемъ журналѣ? — замѣтилъ Кряковъ, шептавшійся съ студентомъ и услыхавшій послѣднія слова.

— Позвольте не согласиться съ вашимъ отзывомъ, — твердо сказалъ хозяинъ:—романъ не скучный... Мы всѣ налицо—и всѣ скажемъ противное.

— Всѣ! всѣ!—дружно сказали голоса.

— Скучный! утомительный! — твердилъ Кряковъ: — я не могъ высидѣть...

— Это еще не причина! — съ учтивымъ смѣхомъ возразилъ Чешневъ.

— Однакожъ высидѣли! — замѣтилъ хозяинъ: — я даже, извините, видѣлъ, что при чтеніи иныхъ страницъ ваши глаза, какъ бы это сказать, блистали, — значитъ было занимательно...

— Я хотѣлъ бѣжать, да вотъ онъ не пускалъ!—сказалъ Кряковъ, указывая на студента.

— C'est très-joli, charmant! тутъ нельзя соскучиться... Когда и кончилось, всѣ еще слушали, хотѣли продолженія!..—говорила Лилина и другіе.

— Да и скука—дѣло условное,—сказалъ Чешновъ:—есть много умныхъ, почтенныхъ людей, которымъ скученъ и

Гомеръ, и Шекспиръ! Я самъ знаю такихъ, которые тотчасъ уходятъ, лишь только заиграютъ при нихъ изъ Моцарта или Бетховена, но съ удовольствіемъ слушаютъ шансонетки изъ «Елены Прекрасной» или «Duchesse de Gérolstein». Другіе не терпятъ исторической школы въ живописи и отворачиваются отъ Тиціана и Рубенса, а засматриваются tableaux de genre. Многимъ даже всякій разговоръ образованныхъ людей въ салонѣ скученъ!..

— C'est vrai, c'est vrai! Bien dit! Да! это вѣрно, мѣтко!— одобряли въ концѣ стола.

Кряковъ обводилъ глазами говорившихъ, какъ бульдогъ, будто выбирая, на кого бы наброситься.

— Такъ вы сравниваете вашего автора съ Гомерами, Рубенсами и Тиціанами! Ха-ха-ха! — захохоталъ онъ: — поздравляю васъ и пью за ваше здоровье!

Онъ, иронически кланяясь Чешневу, выпилъ свой бокалъ.

— Я пью за ваше и пожелаю, — медленно, съ жалостью въ голосѣ, возразилъ Чешневъ:—чтобы на васъ палъ лучъ человѣческой правды!

И онъ выпилъ.

— Развѣ я лгу?—съ азартомъ спросилъ Кряковъ.

Чешневъ сдѣлалъ отрицательный знакъ достоинства.

— О нѣтъ, Боже сохрани! вы весь искренность! но вы заблуждаетесь, и къ тому же сердитесь—слѣдовательно вы вдвойнѣ не правы! И въ эту минуту не правы, зная, что я вовсе не сравниваю автора ни съ Гомеромъ, ни съ Тиціаномъ — и говорите въ гнѣвѣ. Пошли же Господь миръ душѣ вашей!

— Аминь! — сказалъ Суховъ, при общемъ смѣхѣ. — Пошли за попомъ,—прибавилъ онъ тихо Уранову: — можетъ-быть тотъ отчитаетъ его! Превесело, право! Я непремѣнно познакомлюсь съ нимъ, поѣду къ нему и приглашу къ себѣ обѣдать.

— Да поѣдемъ ужъ вмѣстѣ; мнѣ надо же ему карточку

завезти! — сказалъ хозяинъ. — Митю возьмемъ съ собой! А знакомиться — нѣтъ, Богъ съ нимъ! Вонъ онъ какой оригиналъ!

Кряковъ между тѣмъ смотрѣлъ на всѣхъ разсѣянно, позванивая вилкой по тарелкѣ. Онъ, повидимому, начиналъ терять, при сосредоточенномъ на него общемъ вниманіи, то, что называется contenance, или сталъ уставать отъ неловкости своего положенія.

— Помоги мнѣ выбраться какъ-нибудь незамѣтно! — шепталъ онъ студенту.

— Посиди еще немного, вмѣстѣ уйдемъ! А пока скажи еще что-нибудь, — отвѣчалъ тотъ.

— Вотъ вы говорили, — вдругъ началъ Кряковъ, довольно покойно обращаясь къ профессору: — что романъ долженъ изображать жизнь — значитъ изображать правду. А вы (онъ обратился къ Чешневу) нашли, что авторъ изобразилъ ее вѣрно: я спрашиваю васъ, гдѣ же у него эта жизнь и гдѣ ея правда? въ чемъ?

— Какъ гдѣ жизнь! цѣлый огромный кругъ живетъ во всемъ мірѣ этой жизнью!.. — съ удивленіемъ возразилъ Чешневъ.

— Какая это жизнь? развѣ такъ живутъ? И какой это «кругъ»: высшій, что ли, хотите вы сказать?..

— Не высшій, не низшій, а просто кругъ благовоспитанныхъ людей, то что называется — джентльменовъ у англичанъ, или порядочныхъ людей у насъ!

— Зачѣмъ же эти порядочные люди взяты у него въ графскихъ и княжескихъ фамиліяхъ, или въ высшей военной и административной сферѣ? Развѣ онъ не предполагаетъ джентльменство въ другихъ слояхъ общества? Порядочность есть вездѣ, она бываетъ и подъ армякомъ!

— Это правда; но онъ между армяками никого не знаетъ. Онъ взялъ дѣйствіе и лица въ знакомомъ ему кругу. Не все ли это равно?

— Нѣтъ, не все равно! Зачѣмъ онъ взялъ ихъ именно въ этомъ кругу? Зачѣмъ понадобилось ему изображать только ихъ?

— Какое право имѣете вы судить автора за то, чего онъ не далъ? Критика должна смотрѣть только на то, что онъ далъ! *Каламъ* пишетъ болото, *Клодъ-Лоррень* — убранный, расчищенный лѣсъ и свѣтлый ручей. И никому въ голову не приходитъ требовать, чтобы Каламъ писалъ сады, и упрекать Клодъ-Лорреня, зачѣмъ онъ не писалъ болота? И въ литературѣ то же самое!

— По-вашему, что не аристократическій кругъ, то и болото?—вставилъ Кряковъ.

— Тогда можно,—продолжалъ, не слушая его, Чешневъ:— требовать къ суду тѣхъ авторовъ, которые изображаютъ, напримѣръ, одни—нравы и бытъ купцовъ и мѣщанъ, другіе—крестьянъ. Были и такіе, которые писали изъ быта духовенства. Почему же сфера изъ высшаго, какъ вы называете, или богатаго, знатнаго, благовоспитаннаго круга, должна оставаться недоступною писателю?

— А потому, что этого высшаго круга нѣтъ на свѣтѣ, слѣдовательно нѣтъ въ этой картинѣ и художественной правды, о которой вы оба съ профессоромъ говорили такъ краснорѣчиво сейчасъ!

Всѣ въ недоумѣніи смотрѣли другъ на друга.

— Какъ же это такъ «нѣтъ»! — разсуждалъ генералъ, обратясь къ хозяину и Сухову.—А всѣ твои сегодня гости, мы, какого же круга?

— Не принимай къ сердцу, что онъ говоритъ, — тихо отвѣчалъ Суховъ: — вѣдь это антихристъ, но только прелюбопытный малый; какъ бы его къ намъ въ клубъ затащить!

— Да такъ же, нѣтъ! порядочные люди или джентльмены есть во всякомъ классѣ; наверху ихъ меньше. Тамъ только бары. Развѣ они—высшій классъ? Почему?

Всѣ молчали.

— Вотъ и полюбуйтесь: каковъ образъ мыслей!—вдругъ проговорилъ Красноперовъ, который во время спора объ искусствѣ уже задремалъ два раза.

— Замѣчаніе, что одного высшаго класса нѣтъ, довольно вѣско и отчасти основательно,—замѣтилъ журналистъ.

— Въ чемъ же, позвольте узнать? — спросилъ хозяинъ, съ любопытствомъ; другіе тоже ждали отвѣта.

— Одной и цѣльной этой жизни дѣйствительно нѣтъ; она соприкасается съ жизнью другихъ круговъ, другого воспитанія и нравовъ, а авторъ обходитъ ее и пишетъ одни верхи...

— Но вѣдь другіе пишутъ же одни низы и обходятся безъ верховъ, какъ я сейчасъ замѣтилъ! — возразилъ Чешневъ.

— Да, это правда; но эти низы и въ дѣйствительности обходятся безъ верховъ.

— Вы думаете?—иронически спросилъ генералъ.

— Я говорю только про бытовую сторону, доступную искусству, — прибавилъ торопливо редакторъ: — и оставляю все прочее въ сторонѣ. Верхи не участвуютъ, т. е. не присутствуютъ въ нравахъ низшихъ слоевъ, въ ихъ житьѣ-бытьѣ. Они такъ и существуютъ сами по себѣ. Но одни верхи безъ низовъ — и дня не просуществуютъ. А нашъ авторъ умышленно обходитъ всякій другой, не высшій кругъ, замѣтно брезгуетъ имъ, а къ своему кругу относится пристрастно. Вотъ въ этомъ намѣреніи и цѣли автора— и нѣтъ художественной правды, какъ сейчасъ замѣтилъ г. Кряковъ.

— Слышишь, тебя цитируютъ?—сказалъ смѣясь молодой Урановъ.

— Я же вѣдь говорилъ, что я одинъ правдивѣе всѣхъ!— замѣтилъ тотъ.

— Художникъ-писатель долженъ быть объективенъ, т. е. безпристрастенъ,—продолжалъ редакторъ:—долженъ писать,

какъ, напримѣръ, графъ Толстой, всякую жизнь, какая попадется ему подъ руку, потому что жизнь всего общества— смѣшанна и слитна. У него всѣ слои перетасованы, какъ оно и есть въ дѣйствительности. Рядомъ съ лицомъ изъ высшаго круга, онъ пишетъ и мужика, и бабу-ключницу, и даже взбѣсившуюся собаку. Изъ столичныхъ салоновъ онъ переноситъ читателя въ избу домовитаго крестьянина, на пчельникъ, на охоту, и съ такою же артистическою любовью рисуетъ—и военныхъ, и статскихъ, и баръ, и слугъ, кучера и лошадей, лѣсъ, траву, пашню... все! Онъ, какъ птицеловъ сѣтью, накрываетъ своей рамкой цѣлую панораму всякой жизни и пишетъ — sine ira, какъ справедливо говоритъ профессоръ. Сдѣлай онъ иначе — онъ бы солгалъ, а талантъ лгать не можетъ, если же солжетъ, т. е. одно выставитъ, а другое утаитъ, одно напишетъ съ любовью артиста, а другое пристрастно, т. е. умышленно дурно, то онъ перестанетъ быть талантомъ; выйдетъ блѣдно, вяло, безжизненно, или односторонне, невѣрно...

Профессоръ склонилъ немного голову на-бокъ, а Чешневъ откинулся назадъ, оба слушали внимательно и кажется соглашались отчасти съ тѣмъ, что говорилъ редакторъ. Суховъ тихонько зѣвнулъ въ руку, другіе, для развлеченія, допивали свои рюмки, кое-кто ѣлъ десертъ. Старый беллетристъ Скудельниковъ поднялъ глаза на минуту на редактора, обвелъ взглядомъ прочихъ гостей и опять сталъ смотрѣть на столъ, гдѣ, прямо противъ его носа, лежали въ десертныхъ вазахъ дыня и ананасъ.

— Но вѣдь и нашъ авторъ,—сказалъ Чешневъ:—кое-гдѣ касается другихъ званій, напримѣръ: описываетъ швейцара, прислугу...

— Да, — прервалъ Кряковъ: — описываетъ какъ собакъ, съ напускнымъ презрѣніемъ! остроумно называетъ ихъ «соціалистами». Вотъ онъ какъ касается! глумится надъ величайшей идеей вѣка, идеей равенства!

— Дѣйствительно, онъ намѣренно и бережно обходитъ все вульгарное,—продолжалъ редакторъ:—это правда!

— Да оно тутъ нейдетъ,—возразилъ Чепыжевъ:—ему нѣтъ мѣста! Если «низы», какъ говорите вы, не сталкиваются съ верхами въ частной жизни, то стало-быть и верхи живутъ отдѣльно, своимъ кругомъ. Сколько современныхъ писателей намѣренно избѣгаютъ упоминать о верхахъ! Зачѣмъ, напримѣръ, живописецъ, если бъ захотѣлъ нарисовать эту столовую и насъ всѣхъ, вставилъ бы какъ мужика изъ харчевни, или вотъ одного изъ этихъ лакеевъ, что намъ служили, посадилъ бы съ нами за столъ?

— Вы взяли крайности, позвольте замѣтить—возразилъ редакторъ:—между верхами... и лакеями, мужиками есть средніе ряды—по профессіямъ, положенію, воспитанію, нравамъ...

Да если бъ вашъ авторъ сталъ писать харчевню, то онъ посмотрѣлъ бы, не попалъ ли туда какой-нибудь баринъ, и написалъ бы его одного, а мужиковъ обошелъ бы!—сказалъ Кряковъ.

Онъ вовсе не написалъ бы харчевни!—сказалъ Чепыжевъ:—онъ тамъ не былъ и не знаетъ ея подробностей.

И знать не хочетъ! вотъ что скверно! Ну, какъ жить не на верхахъ! Ея тамъ нѣтъ!

Чепыжевъ пожалъ плечами, другіе улыбнулись.

— Вотъ хотѣлось бы, чтобъ онъ изобразилъ ту [illegible] жизнь! [illegible] и [illegible] на [illegible] и [illegible] [illegible]...

[illegible]

— [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible]

и вещи — даже какъ будто чистить и самую природу, подскабливаетъ пейзажи, чтобъ не попала туда какая-нибудь соломинка или соринка. Это значитъ выскабливать и жизнь. Если можно обчистить и обдѣлать такъ людей, то изъ природы не выкинешь всего ненужнаго; будетъ ненатурально. Удалите и изъ людскихъ фигуръ всѣ характеристическія, типичныя особенности, детали — выйдетъ безлично и безжизненно.

Чешневъ, склоня голову, слушалъ въ раздумьѣ этотъ стройный критическій періодъ.

— Тутъ есть, конечно, нѣкоторая доля правды,—сказалъ онъ, наконецъ, съ легкимъ вздохомъ: — авторъ... пуристъ не въ одномъ языкѣ, но и въ герояхъ своихъ, и въ декораціяхъ романа. Но вѣдь и въ людяхъ, и въ природѣ, розлито много этой прибранности и изящества, если не вглядываться слишкомъ пристально; онъ и пишетъ, какъ ему кажется то, на чемъ останавливается его взглядъ! Вы, конечно, не замѣтили натянутости, чопорности въ его романѣ? Онъ только въ высшей степени приличенъ, но простъ и естественъ...

— Приличенъ, пожалуй, но естественъ — едва ли можно сказать, именно потому, что слишкомъ заботится, чтобъ не попало въ его салоны «фламандскаго сора», по выраженію Пушкина, т. е. обыденной жизни, — сказалъ журналистъ.

— Ему тамъ и не мѣсто—согласитесь!

— Не знаю; но отсутствіе живыхъ деталей отнимаетъ много жизни у людей и природы—опять скажу. Уловить и передать правдивую черту чувства въ данный моментъ, или движеніе мысли въ лицѣ человѣческомъ — это психологическій, внутренній реализмъ; обстановить сцену реальными, вѣрными деталями — это внѣшній реализмъ, а все вмѣстѣ ведетъ къ правдѣ

— Но вѣдь писатели-художники и живописцы, сознаю-

тесь, часто рисуютъ и пишутъ много ненужныхъ правдъ, которыхъ можно бы избѣжать. Напримѣръ...

— Напримѣръ, — перебилъ Кряковъ: — запахъ, который Петрушка, лакей Чичикова, носитъ вездѣ съ собой; этотъ примѣръ, что ли, хотите вы привести?

Всѣ засмѣялись, Лилина покраснѣла.

— Да... хоть этотъ и многіе другіе, все ненужные признаки.

— Объ этомъ ужъ давно спорили, и Бѣлинскій рѣшилъ этотъ споръ!—сказалъ Кряковъ.—Почитайте его страницы, гдѣ онъ разсуждаетъ объ этой фарисейской опрятности; нельзя, видите, сказать, «воняетъ», нельзя выговорить при дамахъ (онъ покосился на Лилину) слово *блоха* и т. п. Послушать этихъ привередниковъ и передѣлать русскій языкъ на хорошій тонъ, такъ придется не говорить по-русски, а только тыкать пальцемъ въ воздухъ! Ненужное! что въ жизни есть—все нужно!

— Вы идете по слѣдамъ Гегеля,—замѣтилъ съ улыбкой профессоръ: — *все существующее разумно!* Но не все нужное въ жизни — нужно въ искусствѣ, позвольте добавить вашъ афоризмъ!

— Напротивъ, ненужное играетъ и въ искусствѣ большую роль, — сказалъ Кряковъ: — какъ и въ самой жизни, стало-быть, оно и нужно.

— Какъ ненужное въ жизни—нужно?— спросилъ иронически Суховъ:—напримѣръ... насморкъ?

Всѣ захохотали. Кряковъ махнулъ рукой.

— Ужъ это черезчуръ парадоксально — позвольте замѣтить!—сказалъ хозяинъ.

— Нѣтъ, не парадоксально! Я разумѣю подъ ненужнымъ всякій излишекъ сверхъ необходимаго. И въ жизни только излишки и даютъ намъ то, что называютъ счастьемъ; кто какъ понимаетъ счастье—это другой вопросъ!

— Какъ это такъ? позвольте, позвольте!

— Такъ! оглядитесь вокругъ,—сказалъ Кряковъ.

Всѣ въ самомъ дѣлѣ оглядѣлись.

— Вонъ, что у васъ тамъ наверху поставлено, на шкапѣ?

— Какъ что? — съ удивленіемъ отозвался хозяинъ: — статуи...

— А въ шкапѣ?

— Въ шкапѣ старинное серебро... вы видите!

Чешневъ весело улыбался, редакторъ, профессоръ и нѣкоторые изъ гостей тоже, предвидя, къ чему ведетъ рѣчь Кряковъ. Другіе же наивно глядѣли на предметы, которые онъ называлъ.

— Вонъ и на столѣ серебро, — продолжалъ Кряковъ:— подъ ногами коверъ; вонъ бронзовые канделябры... разъ, два, три — четыре... вонъ тридцать или сорокъ свѣчей горятъ вмѣсто двухъ или трехъ! Развѣ все это нужно? А эти перепелки, а дорогая зелень, десертъ, а вина двадцать бутылокъ?..

— Какъ же иначе? вездѣ все это есть! — говорилъ хозяинъ:—стало-быть, нужное!

— Нѣтъ, не вездѣ; выгляните только въ окошко. Все это ненужное, излишки... и они составляютъ ваше, и — вотъ всѣхъ ихъ—счастье. Можно ѣсть на глиняныхъ тарелкахъ, а не на серебрѣ, пить воду или квасъ, ну, пиво.— а вы пьете и ѣдите все ненужное, излишекъ... Издержки на [illegible] необходимое не сдѣлали бы вамъ ни малѣйшаго [illegible] ствія... напримѣръ, покупка дровъ, или говядины [illegible] обѣдъ, овса лошадямъ. А вотъ васъ радуетъ на[illegible] этого, ненужнаго... или въ карты выиграть [illegible]

— Tiens, cela c'est vrai!—сказалъ один[illegible]

Урановъ, генералъ, Суховъ и Иван[illegible] — [illegible] шали, добродушно улыбаясь, не зная, [illegible] парадоксъ. Всѣ съ любопытствомъ смотрел[illegible]

— Діогена корчитъ!—тихо замѣтил[illegible]

— Что вы всѣ уставились на меня?—сказалъ онъ: — не правда, что ли?

Всѣ засмѣялись.

— Нѣтъ, тутъ есть и правда!—отозвался Урановъ.

— Ну, и въ искусствѣ то же: изобразите, тамъ, любовь, что ли, безъ реальныхъ атрибутовъ, безъ обстановки...

— *Атрибуты!*—шепталъ генералъ.

— И выйдетъ вздоръ! какая-нибудь *дѣва на скалѣ...* чего не бываетъ!—добавилъ Кряковъ.

— Но вѣдь Пушкинъ, какъ великій реалистъ и въ то же время классикъ, прибавилъ къ дѣвѣ въ *одеждѣ бѣлой надъ волнами, бурю и покрывало*, которымъ *игралъ вѣтеръ* — и вышло картинно и правдиво, т.-е. реально! — сказалъ профессоръ.—Это и есть поэзія!

— Куда его клубничное влеченіе завело: на скалу! — смѣялся Кряковъ.—Это ужъ вовсе ненужное!

— Позвольте, позвольте,—остановилъ его профессоръ: — вы противорѣчите сами себѣ: вы сейчасъ возвели *ненужное* въ законъ—и въ жизни, и въ искусствѣ...

— *Не нужное, да правдивое!* поймите меня: — *что бываетъ! а черти надъ бездной не летаютъ и дѣвы на скалахъ* не рисуются!—огрызался Кряковъ.

— Авторъ нашъ классикъ, онъ чуждается реализма — это правда, — заговорилъ опять профессоръ. — Онъ строго придерживается во всемъ классическаго стиля. Онъ ближе къ идеалу, нежели къ типу, и оттого, между прочимъ, чуждается житейскихъ обыденныхъ мелочей жизни. Это его вкусъ, воспитаніе или природа, какъ хотите. Но вѣдь и вкусы дробятся на роды, какъ само искусство дѣлится на школы. Различіе школъ и стилей обусловливается между прочимъ различіемъ вкусовъ артистическихъ натуръ. Это тропинки, по которымъ расходятся артисты, слѣдуя каждый своей натурѣ...

— Ну, заиграла музыка!—вставилъ Кряковъ вполголоса, но его услыхали и засмѣялись, и ораторъ тоже.

— Одинъ ищетъ, напримѣръ, природы въ глубинѣ дремучаго лѣса, въ степи, въ дикихъ скалахъ, — продолжалъ онъ:—а другой видитъ и любитъ ее въ паркахъ, воздѣланныхъ садахъ и цвѣтникахъ! Кто пишетъ мадоннъ, библейскіе или миѳологическіе сюжеты; другіе — вседневную пеструю жизнь. Новые художники хотятъ смѣшать все, подвести подъ genre...

— Не клевещите на новыхъ художниковъ; они не смѣшиваютъ никакихъ школъ и стилей, а просто знать ихъ не хотятъ!—забушевалъ опять Кряковъ.—Всѣ—и Юпитеры, и Венеры, ваши *ангелы у вратъ эдема и черти надъ бездной*, отжили свой вѣкъ и ничего не говорятъ болѣе представленію артиста. Новые художники пишутъ, что видятъ и знаютъ въ природѣ и въ жизни, и если заглядываютъ въ исторію, то и библейскія событія угадываютъ и пишутъ, какъ они случились, а не какъ смотрятъ на нихъ идеалисты въ свои очки, сквозь тысячелѣтія...

Послѣ этого наступила пауза и Чешневъ съ грустью поникъ головой, прошептавъ: — Боже мой! будетъ ли конецъ этому дикому разгулу!

— Такъ вы полагаете,—обратился онъ потомъ къ редактору, не глядя на Крякова: — что одни джентльмены, ихъ кругъ, нравы, бытъ, не могутъ быть предметомъ художественнаго произведенія?..

— Какіе это джентльмены?—вмѣшался опять Кряковъ:— эти причесанные, прибранные господа, которые ходятъ около другъ друга, боясь дотронуться одинъ до другого, кланяются, изъясняются въ любви и дружбѣ, какъ тѣни? Они ѣдятъ и пьютъ какъ по нотамъ... Какая же это жизнь! развѣ такъ живутъ?

— Конечно, — нехотя возражалъ ему Чешневъ: — при отсутствіи воспитанія нравы обозначаются иначе... очень

живо и натурально. Но избави Боже иногда отъ такой натуры!

— Кажется, г. Кряковъ недоволенъ тѣмъ,—вставилъ редакторъ: — что авторъ изображаетъ одну парадную сторону жизни, жизнь салоновъ, въ формѣ строго условныхъ, регулированныхъ отношеній между лицами, и даетъ мало простора и свободы мысли, чувству, страстямъ. Это тоже правда. Онъ не трогаетъ психическихъ тайнъ и оттого поневолѣ изображаетъ все поверхностно и условно...

— И называетъ еще это романомъ!—насмѣшливо прибавилъ Кряковъ.

— Какъ же вы назовете это?—спросилъ Урановъ.

— Это протестъ аристократизма и милитаризма противъ демократіи—вотъ какъ я назову!— сердито сказалъ онъ. — Протестъ привилегированныхъ сословій, съ ихъ роскошью, приторною утонченностью, противъ...

— Противъ грубости, цинизма, неряшества, всякой моральной и матеріальной распущенности... это правда! — добавилъ Чешневъ тоже пылко.

Генералъ, Суховъ и Урановъ засмѣялись.

— Bien dit!—раздалось съ другого конца стола.

— И это подвигъ со стороны автора,—продолжалъ Чешневъ. — Давно пора было поднять копье противъ буйнаго натиска на все то, чѣмъ живетъ и держится общество.

— Напримѣръ—на что?—почти грубо спросилъ Кряковъ.

— Напримѣръ, на человѣческія приличія, уваженіе къ человѣческому достоинству, сдержанность, обузданіе дикихъ страстей—и вмѣстѣ съ этимъ, конечно, и на соотвѣтствующія формы общежитія, на утонченность нравовъ, такъ же, какъ на чистый вкусъ и здравыя понятія... и въ искусствахъ! Словомъ, протестъ противъ всякой расшатанности и растрепанности въ людскомъ обществѣ, противъ всякаго звѣроподобія! Вотъ въ чемъ состоитъ подвигъ автора! Человѣчество долгимъ и труднымъ путемъ достигало этихъ ре-

зультатовъ, а тутъ вдругъ явилось поколѣніе, которое хочетъ стереть все добытое тысячелѣтіями... И что оно поставитъ на это мѣсто? Вотъ противъ этой лжи и грубаго насилія и протестуетъ авторъ!

— Нѣтъ,—бурно заговорилъ Кряковъ:—онъ протестуетъ противъ простоты нравовъ, естественности быта, требованій времени, противъ человѣческихъ правъ, личной свободы, равенства!.. вотъ въ чемъ подвигъ вашего автора! Онъ хочетъ защитить положеніе своихъ героевъ на верху, ихъ привилегированную утонченность, роскошь, уклоненіе отъ прямого и положительнаго труда!

— Пошли за полиціей,—тихо, удерживая смѣхъ, сказалъ Суховъ хозяину.

— Постой, не мѣшай! Это любопытно!—отвѣчалъ онъ.

— Труда!—съ горькимъ смѣхомъ повторилъ Чешневъ:—да развѣ эти новые тунеядцы не отъ труда бѣжали въ свои трущобы и проповѣдуютъ раздѣлъ чужой собственности!

Кряковъ выпилъ стаканъ краснаго вина.

— А на скромные, низшіе классы общества вашъ авторъ-аристократъ брызжетъ презрѣніемъ! Такъ, Митя? ты вѣдь слышалъ,—обратился онъ къ студенту:—брызжетъ?

— Не помню!—сказалъ тотъ со смѣхомъ:—что ты ссылаешься на меня? говори за себя!

— Гдѣ же?—спросилъ Чешневъ:—о низшемъ классѣ тамъ даже не упомянуто!

— А зачѣмъ не упомянуто?—рѣзко отозвался Кряковъ.

— Вотъ, прошу угодить!—сказалъ Чешневъ и засмѣялся.

— Объ этомъ сейчасъ только говорили,—прибавилъ онъ:—и исчерпали этотъ предметъ. Мы сказали уже, что авторъ не знаетъ другихъ классовъ...

— И знать не хочетъ! значитъ, презираетъ! И какъ ему не презирать! всѣ герои его—образцы изящества, утонченности мыслей, чувствъ, рѣчи — и всѣ ничего не дѣлаютъ! Какъ же вдругъ ввести въ ихъ кругъ труженика, отъ ко-

тораго можетъ почуяться запахъ трудового пота... виноватъ... транспираціи—(поправился онъ съ улыбкой и ироническимъ поклономъ ко всѣмъ), и который, пожалуй, скажетъ «воняетъ дымомъ», вмѣсто «пахнетъ дымомъ». Еще, того гляди, явится въ поношенномъ платьѣ, безъ перчатокъ... вотъ какъ я пришелъ: извините!—сказалъ онъ хозяину, показывая голыя руки.

— И я тоже не надѣваю ихъ! — перебилъ Чешневъ со смѣхомъ.

— И вдругъ такой авторъ,—продолжалъ Кряковъ:—нарисовалъ бы мужика, мѣщанина, мелкаго чиновника, труженика, ремесленника... Какъ же! барыни, пожалуй, его не стали бы читать!

— Я, и всѣ почти мои знакомыя дамы читали и знаемъ Гоголя!—сказала вдругъ Лилина.

Кряковъ мутно взглянулъ на нее.

— Вы?—возразилъ онъ:—не можетъ быть!

— Отчего?

— Если бъ вы читали Гоголя и другихъ народныхъ писателей—ваши глаза смотрѣли бы иначе и не было бы у васъ этой блаженной улыбки.

Она сконфузилась и смотрѣла въ недоумѣніи вокругъ.

— Qu'est-ce qu'il dit?—спросила она сосѣда.

— Des sottises! Gardez-vous bien de le contredire!—отвѣчалъ тотъ, улыбаясь.

— Вотъ такъ лучше,—прибавилъ Кряковъ: — объясняйтесь на своемъ природномъ языкѣ и оставьте Гоголя въ покоѣ!

— Dieu, Dieu, Dieu! Voilà un ours mal léché! донеслось съ другого конца стола—и всѣ засмѣялись. Кряковъ остановился-было, но махнулъ рукой, засмѣялся самъ и продолжалъ, обращаясь къ Чешневу:

— Нѣтъ, всѣ эти лица романа—кучка праздныхъ людей, живущихъ жирно и наслаждающихся на счетъ народа, а

сами ничего не дѣлающіе! Вотъ что вашъ высшій классъ! стоитъ ли описывать его!

— Боже мой?—почти застоналъ Чешневъ:—какая злоба и клевета! Праздныхъ! Да кто же управляетъ, вмѣстѣ съ высшей властью, судьбами нашей страны?—горячо обратился онъ къ Крякову.—Кто поставилъ ее на высокую ступень извнѣ и кто держитъ силу, порядокъ и ходъ жизни внутри—какъ не лица того же круга, изъ котораго авторъ взялъ своихъ героевъ?

— Нѣтъ! трудомъ, кровью и духомъ народа держится все!—рыкалъ, какъ левъ, Кряковъ, съ блистающими глазами.

Студентъ поталкивалъ его тихонько въ бокъ.

— Да развѣ мы всѣ—не народъ? развѣ эти графы, князья, ихъ предки—не изъ народа и не народъ?—спорилъ Чешневъ.

— Были! а теперь лѣзутъ изъ кожи, чтобы уйти отъ него дальше, не походить на него! Разрушаютъ даже послѣднюю связь съ нимъ—языкъ; стараются быть ему непонятнымъ, говорятъ по-французски, по-англійски, всячески, лишь бы не по-русски!

Чешневъ вздохнулъ и поникнулъ головой передъ этой послѣдней, конечно, неоспоримой правдой насчетъ языка.

— Да и въ своемъ-то языкѣ много иностранныхъ словъ употребляютъ,—вполголоса сказалъ генералъ:—что правда, то правда!

— Это отчасти справедливо,—съ оттѣнкомъ грусти замѣтилъ Чешневъ:—и въ этомъ смыслѣ мы всѣ, пожалуй, давно не народъ. И вы тоже: одѣты вы не по-русски и употребляете много не русскаго и кромѣ языка. Да и русскій языкъ, которымъ вы говорите, не тотъ, которымъ говоритъ народъ; онъ васъ не пойметъ, а вы на его языкѣ говорить не умѣете.

— Оттого, что его не учатъ понимать насъ, держатъ умышленно въ невѣжествѣ...

— Но вѣдь если онъ выучится одѣваться, говорить не по-русски, пить, ѣсть не русское, какъ мы теперь, такъ вѣдь онъ перестанетъ быть тѣмъ народомъ, какой вы разумѣете. Все это всегда такъ было и будетъ; это вѣчное колесо! Стало-быть, вы негодуете, зачѣмъ не всѣ вверху, или зачѣмъ мы всѣ не внизу! Но вѣдь это физически невозможно? Вы не хотите понять, что народъ составляетъ только часть того, что называется націей! Вы, по крайней мѣрѣ, скажите, чего вы хотите? Какое ребячество!

— Не ребячество, а соціализмъ это называется! Головы, получше нашихъ съ вами, рѣшаютъ этотъ вопросъ; а намъ нечего спорить!

Всѣ опять громко засмѣялись. Рѣшительно всѣмъ было весело отъ этихъ дебатовъ. И Чешневъ засмѣялся. Героемъ вечера былъ не авторъ и его романъ, а Кряковъ и оригинальные пріемы его полемики.

— Чему вы обрадовались!—сердито сказалъ Кряковъ.

Смѣхъ удвоился.

— Что же это такое этотъ соціализмъ?—спросилъ генералъ.

— Вамъ любопытно?—обратился къ нему Кряковъ:—спросите того фельдфебеля, котораго Скалозубъ хотѣлъ дать Репетилову въ Вольтеры, а меня увольте отъ отвѣта!

— Въ нашъ огородъ камешки бросаетъ!—добродушно замѣтилъ генералъ, видя общій смѣхъ.

— Народность или, скажемъ лучше, національность—не въ одномъ языкѣ выражается,—сказалъ послѣ нѣкотораго молчанія Чешневъ.—Она въ духѣ единенія мысли, чувствъ, въ совокупности всѣхъ силъ русской жизни! Пусть космополиты мечтаютъ о будущемъ отдаленномъ сліяніи всѣхъ племенъ и національностей въ одну человѣческую семью, пусть этому суждено когда-нибудь и исполниться, но до тѣхъ поръ, и даже для этой самой цѣли—если бъ такова была, въ самомъ дѣлѣ, конечная цѣль людского бытія—не-

обходимо каждому народу переработать всѣ соки своей жизни, извлечь изъ нея всѣ силы, весь смыслъ, всѣ качества и дары, какими онъ надѣленъ, и принести эти національные дары въ общечеловѣческій капиталъ! Чѣмъ сильнѣе народъ, тѣмъ богаче будетъ этотъ вкладъ и тѣмъ глубже и замѣтнѣе будетъ та черта, которую онъ прибавитъ къ всемірному образу человѣческаго бытія.

Онъ въ раздумьѣ поникъ головой.

— Comme c'est profond!—шептали въ одномъ концѣ.

— Это... это... знаете...—началъ Суховъ:—это правда!..

И онъ запилъ виномъ.

Беллетристъ Скудельниковъ на минуту опять поднялъ глаза на Чешнева и потомъ снова впалъ въ апатію.

— Какъ это хорошо сказано! très joli, n'est ce pas?—говорила Лилина.

— Затѣйливо, нечего сказать; ну, такъ что же?—сказалъ Кряковъ:—что вы хотѣли этимъ сказать?

— То, что русскій народъ исполняетъ эту свою великую и національную и человѣческую задачу, и что въ ней ровно и дружно работаютъ всѣ силы великаго народа, отъ царя до пахаря и солдата! Когда все тихо, покойно, всѣ, какъ муравьи, живутъ, работаютъ, какъ будто въ разбродъ; думаютъ, чувствуютъ про себя и для себя; говорятъ, пожалуй, и на разныхъ языкахъ; но лишь только явится туча на горизонтѣ, загремитъ война, постигнетъ Россію зараза, голодъ—смотрите, какъ соединяются всѣ нравственныя и вещественныя силы, какъ все сливается въ одно чувство, въ одну мысль, въ одну волю—и какъ вдругъ всѣ, будто подъ наитіемъ Св. Духа, мгновенно поймутъ другъ друга и заговорятъ однимъ языкомъ и одною силою! Баринъ, мужикъ, купецъ—всѣ идутъ на одну общую работу, на одно дѣло, на одинъ трудъ, несутъ милліоны и копейки... и умираютъ, если нужно—и какъ умираютъ! Передъ вами уже не графы, князья, военные или статскіе, не мѣщане или

мужики—а одна великая, будто изъ несокрушимой мѣди вылитая статуя—Россія!

— Браво! C'est sublime! отлично!—закричали всѣ.—За здоровье Дмитрія Ивановича! человѣкъ, наливай шампанское!—приказывалъ Урановъ.

— За что? Вы всѣ это думаете и чувствуете!—говорилъ онъ, отвѣчая чоканьемъ на чоканье:—это общій отвѣтъ нашему собесѣднику г. Крякову!

— Да! да!—подтвердили всѣ.

Кряковъ всталъ со стула, готовясь уходить, но вдругъ опять сѣлъ.

— До сихъ поръ я былъ хорошаго мнѣнія о васъ,—началъ онъ, обращаясь къ Чешневу, но не договорилъ: его заглушилъ общій хохотъ. — А вы просто-напросто шовинистъ!—выпалилъ онъ, когда всѣ утихли.

Съ минуту длилось молчаніе. Профессоръ потупилъ глаза, журналистъ конфузливо улыбался, Скудельниковъ вдругъ взглянулъ широко на Крякова и на Чешнева. Краснопѐровъ, Урановъ, Суховъ и генералъ съ недоумѣніемъ поглядывали другъ на друга.—Что это еще такое?—шопотомъ спросилъ генералъ у Сухова. Тотъ спросилъ о томъ же Уранова, Урановъ у Чешнева. Прочіе съ усиленнымъ любопытствомъ смотрѣли на Чешнева и Крякова. Трухинъ даже протеръ очки платкомъ и ждалъ отвѣта. Чешневъ взглянулъ на Крякова какъ будто съ сожалѣніемъ. Студентъ прятался отъ недовольныхъ взглядовъ дяди за спину сосѣда.

— Вы назвали меня «шовинистомъ»,—сказалъ Чешневъ тихо и почти печально:—нѣтъ, я не ослѣпляюсь условными сентиментами и не поддаюсь ходячему, дешевому патріотизму! Я могъ бы съ бо̀льшимъ основаніемъ, въ свою очередь, назвать васъ «псевдо-либераломъ»...

— Что жъ, назовите: я не обижусь!—развязно сказалъ Кряковъ.

— Нѣтъ, я этого не сдѣлаю!—мягко перебилъ его Чеш-

невъ;—вы гость здѣсь и ваша личность должна быть неприкосновенна.

— Ah, bravo! oui, c'est ça! это урокъ! Leçon bien méritée! пробѣжалъ тихій говоръ за столомъ.

Кряковъ поглядывалъ кругомъ и слушалъ этотъ говоръ какъ-то равнодушно.

— Дайте же мнѣ вашу руку!—прибавилъ Чешневъ, протягивая свою.

— Извольте!—сказалъ Кряковъ и подалъ руку.

— Но оставляя личность въ сторонѣ, я не могу молчать предъ псевдо-либерализмомъ, ноты котораго, извините, звучали въ вашихъ рѣчахъ. Этотъ псевдо-либерализмъ точитъ корни того истиннаго либерализма, который одинъ ведетъ къ прогрессу. Онъ избралъ своимъ девизомъ разрушеніе гражданственности, цивилизаціи, онъ не останавливается ни передъ какими средствами — даже пожарами, убійствами... и не знаетъ самъ, чего хотѣть, и мчится... куда?—задумчиво спросилъ какъ-будто самого себя Чешневъ, поникая головою.

— Вотъ, вотъ—да, это самое! Что я, давеча, не правду говорилъ?—вдругъ прорекъ Красноперовъ.

— Тш...—сдѣлалъ ему Суховъ. Кряковъ усмѣхнулся.

— Ужъ объ этомъ говорили-говорили, писали-писали, а намъ все неймется!—сказалъ онъ.

— Онъ еще смѣется, каковъ молодецъ! — шепталъ Красноперовъ сосѣдямъ:—какъ будто не его дѣло! Нѣтъ, вы отвѣчайте, куда онъ мчится, этотъ вашъ либерализмъ?—прибавилъ старикъ громко.

— Почемъ я знаю, куда!—сказалъ Кряковъ.—Пусть рѣшитъ нашъ мудрецъ!—Онъ указалъ на Чешнева.

— Почемъ я знаю, куда, — повторилъ Чешневъ: — это вѣрно! это одинъ возможный, искренній отвѣтъ псевдо-либерализма! А онъ мчится мало-по-малу къ той безднѣ,—заключилъ онъ:— отъ которой, умирая, отвернулся и Герценъ,

и куда отчаянно бросился маніакъ Бакунинъ, увлекая за собой Панургово стадо...

— Браво! браво! — закричали многіе, гремя тарелками, звеня стаканами.

— Ну, я туда васъ не зову,—сказалъ Кряковъ и опять засмѣялся.

Засмѣялся и студентъ.

— Правда, Митя? вѣдь я не такой? — прибавилъ Кряковъ.

— Ну, наслушались мы сегодня и новой, и старой мудрости, — сказалъ Суховъ своимъ сосѣдямъ: — каково-то спать будемъ? А все-таки весело, превесело здѣсь!—заключилъ онъ.

— Да, весело, — сказалъ тихо Урановъ: — только какъ мнѣ придется раздѣлываться? Вонъ, Чешневъ, и тотъ взволнованъ, Иванъ Петровичъ оскорбленъ, Лилина сконфужена и всѣ озадачены! Митя одинъ только въ усъ себѣ не дуетъ; ужо вымою я ему голову! А теперь надо какъ-нибудь загладить дурное впечатлѣніе!

— Вы что-то хотѣли еще сказать о нынѣшнемъ чтеніи, Дмитрій Ивановичъ?—обратился онъ къ Чешневу.

— Я хотѣлъ напомнить,—отвѣчалъ Чешневъ:—какъ нашъ авторъ выразилъ живо, рельефно и патріотизмъ, и чувство долга, въ одной картинѣ...

— «Рельефно»! «шовинистъ»! какъ еще? «сикофантъ»?— шепталъ генералъ Сухову:—въ ушахъ даже звенитъ!

— Я говорю объ описаніи маневровъ,—продолжалъ Чешневъ: — со стороны посмотрѣть — кажется, пожалуй, монотонно; но авторъ поставилъ читателя въ средину картины, слилъ его съ строемъ этихъ русскихъ душъ, сердецъ, — и вы чувствуете себя единицею какой-то великой моральной и физической силы, и въ каждомъ солдатѣ, офицерѣ, генералѣ, видите родного брата, друга, самого себя!

— Величественная картина!—подтвердилъ профессоръ.

— Да, эффектная!—замѣтилъ редакторъ:—но въ романѣ она кажется нѣсколько офиціальною... натянутою...

— Грандіозная!—сказалъ Урановъ:—воля ваша!

— Грандіозная казарма!—рѣшилъ Кряковъ.

— C'est très-joli и какъ похоже! я много разъ бывала... такъ похоже, такъ похоже!—твердила съ дѣтскою радостью Лилина.

— Да вотъ какъ,—вмѣшался генералъ:—что я забылъ, гдѣ я сижу; такъ и кажется, что веду бригаду, и даже давеча самъ поймалъ себя: салютую рукой вотъ этакъ, какъ будто у меня сабля въ рукахъ—ей-Богу!

— «Салютую»!—поймалъ! Что̀, какое это слово: развѣ русское?—сказалъ Суховъ.

— Это казенное, значитъ можно,—отвѣчалъ генералъ.

— Обращаясь къ задачѣ романа,—продолжалъ Чешневъ:—можно, кажется, безошибочно заключить, что главная цѣль автора—поставить на свое мѣсто все то, что̀ многіе стараются легкомысленно устранить...

— Позвольте узнать, что̀ еще онъ хочетъ ставить на ноги? противъ чего онъ сражается?—спросилъ Кряковъ.

— Да вотъ хоть бы противъ какого-то напускного пренебреженія къ представителямъ военной профессіи...

— Военное званіе—c'est une vocation, comme une autre!—вставилъ генералъ.

— Что̀, и у тебя русскаго пороху не хватило!—сказалъ Суховъ.

— Противъ военнаго званія никто не возстаетъ,—огрызнулся Кряковъ.—Оно—весь народъ!

— Нѣтъ, возставали и возстаютъ,—спорилъ генералъ:—гдѣ можно задѣть, осмѣять, брызнуть перомъ въ офицера—и брызнутъ! Мнѣ случалось самому нерѣдко читать, да и отъ многихъ военныхъ слыхалъ—тоже жалуются. Или—говорятъ—молчатъ совсѣмъ, какъ будто военныхъ и на свѣтѣ нѣтъ! обходятъ и въ газетахъ, и въ повѣстяхъ, и на

сценѣ — это что̀ значитъ? Пренебреженіе! Мы-де васъ и знать не хотимъ.

— Равнодушіе, а не пренебреженіе, — смягчилъ редакторъ.

— Да, равнодушіе — это такъ! — сказалъ Чешневъ: — но знаете ли, вѣдь равнодушіе — это самое коварное оружіе! Можно бороться со всякою силою, но какъ одолѣть это гробовое молчаніе невидимаго врага, это непризнаваніе значенія, правъ, и за кѣмъ: за воинами!

— Вы это все объ офицерахъ, что ли, говорите?—спросилъ Кряковъ.—Да, ихъ не трогаютъ, это правда! но прежде всего оттого, что обругать не позволятъ, а по головкѣ только гладить но за что! Да и невѣрно будетъ, односторонне,— какъ сейчасъ разсуждали — если только хвалить! Вотъ и молчатъ — и хорошо дѣлаютъ! Что же общаго у военнаго званія съ офицерами?

— Ба-ба-ба! А они къ какому же званію принадлежатъ? Чѣмъ они провинились? Позвольте, позвольте, милостивый государь! — горячился генералъ. — За что ихъ не любятъ и обходятъ?

— Обходятъ ихъ я сейчасъ сказалъ почему, — отвѣчалъ Кряковъ:—не велѣно трогать. А не любятъ—потому что... За что̀ ихъ любить? Смолоду они щеголяютъ, барствуютъ, роскошничаютъ у Борелей, въ обществѣ кокотокъ, катаются на рысакахъ и давятъ народъ...

— Когда? гдѣ? позвольте спросить. Вѣдь ужъ была возбуждена исторія, по навѣту печати, о какихъ-то офицерахъ, будто они скачутъ и давятъ народъ — и оказалось клеветой!

— Давите сколько хотите, все будетъ клевета: на то и провидетированное званіе!—добавилъ Кряковъ.

Генералъ и другіе иронически улыбались.

— Пусть роскошничаютъ у Борелей... еще чѣмъ они занимаются? — спросилъ генералъ.

— Потомъ изъ нихъ дрессируютъ губернаторовъ, разныхъ директоровъ, правителей... нужды нѣтъ, что, бывало, въ обществѣ ходили разсказы объ ихъ милыхъ скандальчикахъ.

— Боже мой! Боже мой!—стоналъ Чешневъ:—какая злая несправедливость! И это русскій человѣкъ говоритъ о русскихъ, о своихъ братьяхъ!

Въ обществѣ сдѣлалось серьезное движеніе.

— Скажите, сколько на одинъ скандалъ между военными приходилось скандаловъ между статскими? Вся разница только въ томъ, что одни собирались у Борелей и Дюсо, а другіе на какой-нибудь «Средней Рогаткѣ» платили дань молодости! Сами же вы говорите «бывало»; вѣдь измѣнились же съ тѣхъ поръ нравы, явились гласный судъ, пресса... Зачѣмъ же вы хотите возвращать насъ къ давно минувшему одними злыми воспоминаніями?

Онъ поникъ головою и вздохнулъ.

— Офицеры, конечно, бываютъ молоды, какъ и студенты, и правовѣды, и семинаристы, — прибавилъ онъ: — тѣхъ вы извиняете, а офицеровъ нѣтъ! Ужели вы не видите благородной цѣли автора — поправить эту несправедливость, напомнить о нихъ, изобразить характеръ этого прекраснаго, хотя и непріятнаго вамъ круга общества, той группы его, которая идетъ въ эту минуту бороться и умирать за Россію?

Раздались рукоплесканія. Генералъ всталъ съ бокаломъ въ рукѣ.

— Хоть я и воинъ, но такъ мужественно и искусно сразиться за военныхъ не сумѣлъ бы. Позвольте выпить за ваше здоровье?—сказалъ онъ.

— И мы! и мы!—подтвердили всѣ.

— Щеголяютъ... барствуютъ... роскошничаютъ!.. — началъ опять Чешневъ, когда всѣ затихли. — Да развѣ есть другая жизнь, болѣе трудная, болѣе исполненная дѣла и

всякихъ лишеній, какъ жизнь этой самой военной молодежи! Вы считаете какія-то давнишнія, полинявшія пятна на ихъ мундирахъ — и пятна эти хотите перенести на цѣлую корпорацію! А она идетъ теперь побѣждать, или славно погибать!

— Это народъ, народъ,—все народъ!—твердилъ Кряковъ.

— Да вѣдь и Мининъ не одинъ пошелъ, а взялъ Пожарскаго! Боже мой! По-вашему, кто только образуется, одѣнется по-европейски, кого заслуга выдвинетъ впередъ — тотъ и перестаетъ принадлежать къ народу! А мнѣ кажется, что скорѣе тотъ, что хочетъ отдѣлаться отъ религіи своего народа, отъ народнаго единодушія и единомыслія въ своемъ государственномъ и общественномъ устройствѣ, — тотъ неизмѣримо дальше уходитъ отъ него, нежели тѣ, которые учатся говорить на иностранныхъ языкахъ и слѣдуютъ своимъ вкусамъ, своимъ привычкамъ.

— Браво! браво! admirable!—воскликнули всѣ.

— Ну, теперь уйду! давай Богъ ноги! Того и гляди за полиціей пошлютъ!—ворчалъ Кряковъ, но такъ, что его слышали и невольно засмѣялись.

— Не безпокойтесь, вы здѣсь въ полной безопасности!— сказалъ Урановъ почти обидчиво.

— Мы васъ не выдадимъ, вы герой!—весело прибавилъ Суховъ.

— Погоди одну минуту,—удерживалъ его студентъ:—вонъ Чешневъ хочетъ что-то сказать!

— Вы говорите о богачахъ, щеголяхъ, — сказалъ Чешневъ:—но вѣдь они и не въ военномъ быту жили бы такъ же, даже шире и роскошнѣе, а въ кругу товарищей они все-таки ограничены условіями своего быта. Но вѣдь это исключенія; много ли ихъ? А не богачи, живущіе въ казармахъ, жалованьемъ? А въ арміи—разбросанные по селамъ и деревнямъ? Спросите, какъ они роскошничаютъ?

— Этихъ авторъ не коснулся, — съ злой улыбкой замѣтилъ Кряковъ.

— Пусть такъ! Авторъ показалъ квинтъ-эссенцію военнаго званія: высшія, тонко выработанныя типичныя черты чести и военнаго достоинства—словомъ, взялъ вершины...

— Да развѣ честь — это привилегія военная, полковая, какъ полковая музыка, что-ли... а не свойство всѣхъ порядочныхъ людей въ мундирахъ и не въ мундирахъ? А онъ усвоилъ ее имъ какъ исключеніе!

— Онъ этого нигдѣ не говоритъ, онъ только коснулся нѣкоторыхъ формъ ея; есть степени и оттѣнки, своеобразные обычаи, условія, существующія во всякомъ дѣлѣ для однихъ, несуществующія для другихъ...

— Въ дѣлѣ чести все равно! все равно! — твердилъ Кряковъ.

— Ну, нѣтъ, — замѣтилъ генералъ: — уйти, напримѣръ, изъ департамента, или уйти съ военнаго поста — есть разница!

Послѣ этого настала пауза.

— Да, романъ замѣчательный,—разсуждалъ журналистъ.— Если бъ онъ явился лѣтъ сорокъ назадъ, онъ произвелъ бы сильную сенсацію въ обществѣ!

— А теперь?

— Теперь, съ Гоголя, все до того охвачено отрицательнымъ направленіемъ, что положительный типъ лица почти невозможенъ въ литературѣ. Къ этому подоспѣлъ реализмъ, ввелъ новые пріемы въ искусство и одержалъ безповоротную побѣду надъ классицизмомъ.

— Вы думаете, что классицизмъ исчезнетъ въ искусствѣ? возможно ли это?—сказалъ Чешневъ.

— Въ томъ видѣ, въ какомъ онъ господствовалъ прежде, конечно—да...

— Это зависитъ отъ степени таланта, — вмѣшался профессоръ. — Геній можетъ реставрировать (при этомъ словѣ

генералъ поморщился) тотъ или другой стиль искусства! Вѣдь отказаться отъ классиковъ, значитъ отказаться отъ всякаго наслѣдія предковъ, отъ всякой преемственной связи съ прошедшимъ!

— Ну, опять запѣла канарейка!—ворчалъ Кряковъ сосѣдямъ, которые не могли не засмѣяться.

— Если мы въ живыхъ организмахъ слѣдующихъ одно за другимъ поколѣній замѣчаемъ, — продолжалъ профессоръ:—поразительную наслѣдственность отличительныхъ признаковъ, моральныхъ и физическихъ свойствъ, переходящую изъ рода въ родъ — то какъ же мы отвергнемъ передачу умственнаго, духовнаго или эстетическаго достоянія?.. Это значитъ отвергнуть цивилизацію — и начинать сначала. Зачѣмъ?

— Это совершенно справедливо,—замѣтилъ редакторъ:— но вы берете въ обширномъ смыслѣ...

— Позвольте, позвольте!—перебилъ Кряковъ: — отвѣтьте на мой вопросъ, только непремѣнно правду!

Опять общій смѣхъ.

— Oh, l'enfant terrible!—говорили въ концѣ стола.

— Давно ли вы читали вашихъ классиковъ и часто ли читаете ихъ?—спросилъ онъ.

Всѣ вдругъ смолкли.

— У меня Гомеръ, Горацій, Виргилій и всѣ классики, и древніе, и новые—всегда подъ рукой!—послѣ нѣкотораго молчанія сказалъ профессоръ.

— Я не васъ спрашиваю: это ваша служба! Вамъ классики нужны, какъ чиновнику законовъ. А вы? вы?— Онъ обратился къ Чепцову, редактору и къ прочимъ.

— Я заглядываю иногда...—отвѣчалъ редакторъ.

— Для справокъ по журналу, по части критики и библіографіи?

— Я помню многое, какъ будто вчера читалъ,—сказалъ Чепцовъ:—и многое знаю наизусть...

— Что заучили въ школѣ; а теперь?

— И теперь, хотя рѣдко, но беру въ руки. Что же изъ этого?

— А вотъ эти всѣ господа, пожалуй, или вовсе, или со школьной скамьи не читали,—прибавилъ Кряковъ, указывая безъ церемоніи на прочихъ гостей:—или перезабыли!

«Читалъ прилежно Апулея,
А Цицерона не читалъ»,—

сказалъ, улыбаясь, Урановъ.

— Вотъ видите: и нашъ «великій» поэтъ этою ироніею только прикрылъ правду; никто ихъ не читаетъ, а учатъ ихъ въ школѣ сами не знаютъ зачѣмъ; какъ учатъ и тому что міръ сотворенъ въ шесть дней, что волчица кормила Ромула и Рема и т. п.; не вѣрятъ, а учатъ, потомъ забываютъ!

— Пусть волчица и не кормила Ромула и Рема, а все-таки нельзя не выучить этой фабулы,—замѣтилъ Чешневъ:— вы безъ всего этого въ жизни и шагу не сдѣлаете! Пожалуй, забыть можно, но узнать нужно. Эти преданія слились съ исторіей. Мало ли вы выучиваете такого, что вамъ не понадобится потомъ въ жизни; но все изученное входитъ въ плоть и кровь вашего нравственнаго, умственнаго и эстетическаго образованія! Безъ этой подкладки древнихъ классиковъ, ихъ образцовъ во всемъ — смѣло скажу, человѣкъ образованнымъ назваться не можетъ.

— Да зачѣмъ же учить ложь? Зачѣмъ не передѣлать этого вздора, чтобы не набивать имъ головы людскія? — вопилъ сердито Кряковъ.

— Вы правы,—заговорилъ редакторъ профессору:—классицизмъ будетъ присутствовать въ наукѣ и искусствѣ и во всей жизни, пожалуй, какъ фундаментъ... или корень, если хотите; онъ будетъ скрытъ въ глубинѣ земли. Но вѣдь человѣчество идетъ впередъ и все производитъ, творитъ; нарастаютъ новые роды, виды, и образуютъ со вре-

[illegible] отдается
[illegible] пессимизма—
[illegible] пара-
[illegible] не можетъ!
[illegible]—
[illegible] собѣ
[illegible]
[illegible]
[illegible]

— Да, кажется, къ этому идетъ!—со вздохомъ замѣтилъ Чешневъ.

— Вы съѣхали на пластическія искусства, а мы, кажется, говорили объ искусствѣ слова!—сказалъ Кряковъ.

— И Гомера никто не повторилъ! — замѣтилъ профессоръ:—сами вы сказали!

— Наладили! — вполголоса замѣтилъ Кряковъ. — И я-то связался спорить! Кто бы сталъ читать новаго Гомера! Новый Гомеръ у насъ—это Гоголь!

Старики засмѣялись.

Опять настала пауза.

— Скажите, какъ вы находите женщинъ въ романѣ?—спросилъ Чешневъ редактора.

— Граціозныя, нѣжныя созданія, прозрачныя какъ видѣнія...—хвалилъ профессоръ.

— Да, именно видѣнія! — повторилъ журналистъ тономъ легкой ироніи:—такъ воздушно и тонко очерчены онѣ, что плоти и крови въ нихъ какъ будто нѣтъ! Это болѣе тѣни, нежели живыя фигуры. Иначе, впрочемъ, и быть не могло: авторъ, какъ я замѣтилъ, пишетъ условныя, лицевыя стороны жизни, не вводитъ насъ ни въ психологическую глубину, ни въ интимную реальную жизнь, оттого очерки его и блѣдны. Притомъ, женщины у него, какъ актрисы на сценѣ, дѣйствуютъ будто и на свободѣ, сами по себѣ, но во всякомъ ихъ словѣ и движеніи замѣтно, что на нихъ обращены тысячи глазъ. Мало того, что называется... abandon и вообще натуры...

— Завели рѣчь о «клубничкѣ»! — сказалъ съ пренебреженіемъ Кряковъ: — объ этомъ и говорить-то тошно! Нѣтъ романа, гдѣ авторъ самъ не захлебывался бы отъ юбочнаго счастья и не отравлялъ бы имъ и читателя! Ужели въ зрѣломъ обществѣ только въ этомъ вся жизнь и все дѣло и состоитъ, и другого содержанія нѣтъ!

— Есть, какъ не быть! вонъ — совѣтъ, пожалуй, дѣла...

есть клубъ, есть карты; а убери женщинъ совсѣмъ—ничего безъ нихъ и не надо! Это главное, это на первомъ планѣ; на этомъ все вертится! — вдругъ провозгласилъ хозяинъ.— Я не пишу ни романовъ, ни драмъ, ни комедій, а знаю, что и тамъ, и въ жизни, безъ нихъ—хоть въ гробъ ложись. Такъ ли?

— Такъ! такъ!—закричали всѣ. — За здоровье женщинъ! За ваше здоровье!

Всѣ обратились къ Лилиной.

— Браво!—пискнула она, сверкая дѣтскими глазками.— Я принимаю за всѣхъ женщинъ этотъ тостъ и благодарю!— Она кокетливо отпила изъ бокала.

— Да, женщины — все!—прибавилъ и профессоръ.—Онѣ иногда явный, иногда скрытый мотивъ всякаго человѣческаго дѣла; ихъ присутствіе, вѣяніе, такъ-сказать, женской атмосферы, даетъ цвѣтъ и плодъ жизни. Мы, мужчины, только орудіе, рабочая сила, на насъ лежитъ всякая черная работа... словомъ, мы—матерія, а женщины—духъ...

— Перестаньте, вѣдь мерзко слушать!—при общемъ смѣхѣ сказалъ Кряковъ.—Вотъ вѣдь, кажется, и культурный вѣкъ, и культурное общество...

— «Культурный вѣкъ»,—остановилъ его генералъ:—позвольте спросить, поймутъ ли васъ въ харчевнѣ, въ вашемъ народѣ, если вы скажете этакъ?

Кряковъ поморщился и отмахнулся рукой отъ генерала, какъ отъ большой собаки.

— Авторъ, изображая сцены любви, — замѣтилъ редакторъ опять съ ироніей:—держался болѣе теоріи «неземного чувства», какъ его называли, бывало, въ стихахъ. У него любовь похожа скорѣе на религіозный экстазъ католическихъ монахинь, а не на живое, страстное человѣческое чувство...

— Какъ у Зола, напримѣръ? — спросилъ Чешневъ.—Да, надо прибавить и этотъ цвѣтокъ къ вѣнку автора; онъ не

отемнилъ своихъ страницъ ни однимъ пятномъ грубой чувственности! Свѣтъ и огонь чувства сквозитъ и грѣетъ вездѣ, а горячихъ углей нѣтъ! Это одна изъ его заслугъ!

— Онъ скупенекъ на поцѣлуи, это правда!—сказалъ Суховъ:—нѣтъ, чтобы того... этакъ... (онъ поглядывалъ на Лилину, какъ будто ея присутствіе стѣсняло его)—что-нибудь насчетъ... какъ, напримѣръ, тамъ графъ съ княгиней... въ паркѣ, что ли, въ ея деревнѣ... ну, жаркую сценку... какъ водится... по-человѣчески!...

Всѣ посмѣивались.

— Вотъ, чего захотѣлъ; смотри, узнаетъ Анна Андреевна!—сказалъ ему хозяинъ.

— Да, вы правы; если ужъ писать объ этомъ, такъ пиши реально, — замѣтилъ и Кряковъ: — клубничка такъ клубничка! Изображай правду! не краснѣй! разсказывай, какъ амурничаютъ эти бары и барыни между собой! Или графы и княгини иначе дѣлаютъ любовь, нежели мужики? Открой намъ тайны ихъ будуаровъ и альковов, если открываешь всю ихъ жизнь! А то дѣлаютъ любовь съ напускнымъ, невиннымъ лицомъ, какъ будто играютъ пьесу въ папашины именины.

— А кто видалъ эти тайны?—спросилъ Чешневъ.

— Какъ кто? я думаю, всѣ! — со смѣхомъ сказалъ Кряковъ.

— Кого же? себя видали въ чувственныхъ изліяніяхъ любви?—продолжалъ Чешневъ. — И у художника достанетъ духа писать съ себя и съ любимой женщины! Скажите, какое чувство испытываетъ порядочный человѣкъ, если ему случится быть постороннимъ свидѣтелемъ самой скромной ласки между любящимися, даже между мужемъ и женой? Его коробитъ; а вы требуете, чтобы художникъ вносилъ въ искусство то, на что сама природа набросила покровъ, — стыдитесь!

Кряковъ улыбнулся.

— Какимъ изящнымъ слогомъ разсказываете вы все это!—замѣтилъ онъ.

— Очень желалъ бы вамъ сдѣлать такой же комплиментъ, но, къ сожалѣнію, не могу...

Общій смѣхъ не далъ договорить ему.

— Превесело, право!—твердилъ Суховъ.

И хозяинъ развеселился.

— Да, благодаря Митѣ!—сказалъ онъ.

— А отдѣлаю я автора, покажись только въ печать! — грозилъ Кряковъ.

— Да, если вы скажете печатно то, что вы говорили здѣсь, то, конечно, произведеніе нашего автора не выдержитъ такой критики. Это все равно, если бъ сюда вошелъ гость — и мы вмѣсто того, чтобы раздвинуть стулья, очистить между нами мѣсто и встрѣтить его вѣжливо и радушно, вдругъ поднялись бы на него толпой, съ крикомъ, съ упреками, что онъ не такъ одѣтъ, не такъ пригожъ, уменъ! Вотъ образъ новой критики! Новый авторъ тоже, что новый гость въ литературѣ! Какіе же это нравы? какая критика?

— Это называется теперь critique militante... воинствующая!—съ ироніей замѣтилъ профессоръ.

— Да, правда! критика—это война!—сказалъ Чешневъ:— но одни воюютъ мечомъ или копьемъ, какъ рыцари...

— Больше порохомъ и свинцомъ!—поправилъ генералъ.

— А другіе...

— Кулакомъ! Да, это бываетъ; и хоть не такъ больно, какъ свинцомъ, а все-таки морды до крови разбиваютъ! — добавилъ Кряковъ и самъ засмѣялся, когда засмѣялись другіе.—Впрочемъ, до этого рѣдко доходитъ; больше ругаются!— заключилъ онъ.

— Что это за прелесть—малый!—сказалъ Суховъ.

— А вы, Матвѣй Ивановичъ, — провозгласилъ вдругъ

хозяинъ, обращаясь къ Скудельникову: — что молчите? ни слова не сказали?

— Я давно хотѣлъ сказать, да не дали...

— Ну, говорите теперь: что такое?

— А вотъ дыню и ананасъ забыли, такъ и остались неразрѣзанными!—сказалъ онъ.

Всѣ засмѣялись.

— Въ самомъ дѣлѣ! сейчасъ,. сейчасъ! — захлопотался хозяинъ. — Да что вы о дынѣ, вы о романѣ-то ничего не сказали.

— Я все слушалъ...

— Ну, и скажите что-нибудь.

— Все скажу.

— Говорите: мы слушаемъ.

— Я не вамъ, я самому автору скажу.

— Что̀ скажете?

— Все что̀ здѣсь происходило и что̀ говорили о его романѣ...

— Нельзя: мало ли что̀ тутъ говорили. Онъ обидится.

— Вы не знаете его, а еще друзья! Все скажу, что̀ дѣлали и говорили...

— Все?

— Все, даже и про ананасъ съ дыней не забуду!

— Скорѣй! скорѣй! кончимъ ихъ...

— Некогда, смотрите, на дворѣ день!

Всѣ оглянулись къ окнамъ. Майское утро превозмогало, даже сквозь густые занавѣсы, блескъ свѣчей.

Кряковъ вдругъ всталъ съ мѣста и скорыми шагами подошелъ къ хозяину, вмѣстѣ съ студентомъ.

— Прощайте, мнѣ пора! — сказалъ онъ: — спасибо вамъ! Прекрасный вечеръ! Мнѣ очень весело было... Ужинъ отличный, и вино тоже!

Всѣ смотрѣли на него съ улыбкой. Хозяинъ, Суховъ, генералъ окружили его. Прочіе сидѣли.

— Не хотите ли рюмку на прощанье?—сказалъ хозяинъ.

— Хоть стаканъ, съ удовольствіемъ!

Ему подали вина.

— За ваше здоровье! Благодарю! Я очень доволенъ вами! очень!

Всѣ хохотали.

— А мы-то вами какъ?—сказалъ Суховъ.

Урановъ пожималъ ему обѣ руки.

— Намъ надо васъ благодарить! Вы доставили намъ такъ много удовольствія...—говорилъ онъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? Ну, я радъ! Прощайте и вы всѣ;—сказалъ онъ прочимъ собесѣдникамъ: — я на васъ не сержусь, господа!

Общій хохотъ былъ ему отвѣтомъ.

— Il ne manquait que ça! Est-il drôle!—раздалось среди смѣха въ другомъ концѣ стола.

— Право, не сержусь! ни на кого! даже и на васъ! — обратился онъ къ Красноперову.—И на ваше превосходительство тоже!—обратился онъ къ генералу.—Дайте руку!

— Вы очень добры! — сказалъ генералъ и весело хлопнулъ рукой по его ладони.

Красноперовъ надулся. Хохотъ такъ и гудѣлъ.

— Что же вы смѣетесь?—упрекнулъ Кряковъ.—Скажите имъ, что это неучтиво! — обратился онъ къ Чешневу: — вы мнѣ дали урокъ въ учтивости, а они вонъ что! Смѣйтесь, когда уйду!

Но у всѣхъ лица такъ и сіяли отъ смѣха.

— Dieu, Dieu, Dieu, Dieu! — повторялъ гость въ концѣ стола.

— Я самъ пріѣду къ вамъ съ визитомъ благодарить васъ за посѣщеніе!—сказалъ хозяинъ.

— Хорошо, хорошо! очень радъ! Славная мысль! буду ждать васъ!—отвѣчалъ Краковъ.—Зачѣмъ съ визитомъ, да еще благодарить? Просто такъ пріѣзжайте! Не обманите!

Урановъ молчалъ и въ недоумѣніи поглядывалъ на него.

— И мнѣ позвольте покороче познакомиться съ вами и просить васъ когда-нибудь сдѣлать мнѣ честь пожаловать ко мнѣ! — сказалъ Суховъ. — Я пріѣду къ вамъ вотъ съ Григоріемъ Петровичемъ...

— Буду ожидать; что жъ, я радъ!.. И васъ всѣхъ прошу: милости просимъ ко мнѣ, кому угодно...

Всѣ смѣялись.

— Я теперь въ Павловскѣ!—прибавилъ онъ.

— На дачѣ? Гдѣ же васъ тамъ найти? — спросилъ съ улыбкой Суховъ.

— Вотъ онъ знаетъ! — отвѣчалъ Кряковъ, указывая на молодого Уранова.—Съ нимъ пріѣзжайте! вотъ бы въ четвергъ: тамъ музыка въ этотъ день... Право!

— Гдѣ же мы васъ тамъ, на музыкѣ встрѣтимъ?—спросилъ Урановъ съ улыбкой.

И всѣ улыбались.

— Да, хоть на музыкѣ, а потомъ ко мнѣ...

— Прощайте, прощайте, не поминайте лихомъ! — твердилъ онъ, обходя столъ; Чешневу онъ молча подалъ руку и крѣпко пожалъ ее; тотъ отвѣчалъ ему тѣмъ же и съ какимъ-то состраданіемъ посмотрѣлъ ему вслѣдъ. — Теперь, кажется, мало такихъ, — замѣтилъ онъ тихо сосѣду: — это одинъ изъ послѣднихъ могиканъ!

— И этотъ, я думаю, тоже, — отвѣчалъ тотъ тихо, указывая глазами на Красноперова.

Кряковъ все прощался.

— Et vous, là-bas sans rancune! — сказалъ онъ вдругъ, подходя къ концу стола, откуда раздавались французскія фразы.

— Tiens! il parle correctement!—замѣтили тамъ.

Потомъ онъ остановился около Лилиной.

— Прощайте, барыня! — сказалъ онъ: — я и на васъ не сержусь; видите, какой я добрый!

Хохотъ возобновился.

— Докажите же и вы доброту: дайте мнѣ руку на прощанье! не бойтесь, я не укушу!

Всѣ съ любопытствомъ и смѣхомъ смотрѣли на нихъ обоихъ. Лилина робко и нерѣшительно положила свою руку на его ладонь, особенно когда увидѣла, что у него рука была чистая и изъ рукава виднѣлись манжеты безукоризненной бѣлизны.

— Не сердитесь? Нѣтъ?—спрашивалъ онъ, держа ея руку.

— Нѣтъ, нисколько!—сказала она, поглядывая на окружающихъ:—мнѣ тоже было весело!

— И прекрасно! А какая у васъ славная ручка: стройная, правильная, образцовая...

Она хотѣла отнять руку, особенно когда всѣ, не удерживая смѣха, смотрѣли на эту сцену. Но онъ держалъ ее крѣпко.

— Только пухла очень, мягка, изнѣжена она! Я знаю однако одну руку, которая не уступитъ вашей, особенно если на нее надѣть вотъ этакую лепешку!—онъ указалъ на ея браслетъ съ большимъ изумрудомъ и съ брильянтами вокругъ.—Но та рука грубѣе; она не нѣжится, а работаетъ и иглой, при случаѣ и сваритъ что-нибудь, и около дѣтей повозится!

— Чья же эта такая счастливая рука, что удостоилась вашего вниманія?—съ кокетливой ироніей спросила Лилина, уже переставшая робѣть. — Извините за нескромный вопросъ!—прибавила она.

— Моей жены, вотъ чья! славная бабенка! — сказалъ Кряковъ.—Но все-таки и у васъ ручка образцовая!

Онъ вдругъ чмокнулъ ея руку и быстро побѣжалъ вонъ, преслѣдуемый дружнымъ хохотомъ и восклицаніями всѣхъ гостей. За нимъ слѣдовалъ студентъ, а сзади провожалъ хозяинъ. Двери затворились, и хозяинъ воротился на свое мѣсто.

— Каковъ! а!—раздавалось съ разныхъ сторонъ.

— Mais c'est une horreur! c'est une peste!

— Помилуйте, прелесть!—говорилъ Суховъ.

— L'ours mal léché! Oh, quelle horreur!

— А я вижу, что онъ добрый малый, воля ваша!—сказалъ генералъ.

— И какой умный, образованный!—прибавилъ редакторъ.

— Паршивая овца! — сказалъ Красноперовъ:—все стадо перепортитъ!

— Заблудшая овца! — поправилъ съ сожалѣніемъ профессоръ.

— А вы, Дмитрій Ивановичъ, какъ находите его?

— Онъ для меня... загадка!—сказалъ тотъ задумчиво. — Вы, конечно, знаете его?—спросилъ онъ у редактора журнала.

— Нѣтъ, въ первый разъ слышу его имя, — сказалъ тотъ. — Теперь такъ много пишущихъ въ газетахъ и журналахъ!

Въ эту минуту воротился молодой Урановъ и съ веселымъ видомъ смотрѣлъ на гостей.

— Ну что, проводилъ гостя?—спросилъ его дядя.

— Да! Какъ онъ вамъ понравился?

Всѣ повторили ему свои отзывы.

— Еще приглашаетъ къ себѣ!—сказалъ Красноперовъ.— Кто поѣдетъ къ этакому уроду, куда-нибудь въ трущобу, на чердакъ!

— Мы поѣхали бы — вотъ съ нимъ! — сказалъ хозяинъ, показывая на Сухова: — если бъ это было въ городѣ. Но, конечно, онъ не серьезно приглашалъ насъ, да еще въ Павловскъ! Ты, Митя, завези ему просто наши карточки.

— Напротивъ, онъ очень серьезно приглашаетъ васъ всѣхъ,—сказалъ студентъ съ лукавымъ смѣхомъ: — и даже васъ!—обратился онъ къ Лилиной.—Вотъ и приглашеніе!

Онъ подалъ дядѣ какой-то листокъ. Всѣ навострили уши и жадно впились глазами въ хозяина.

— Что это такое!—сказалъ тотъ и началъ читать вслухъ: «Въ четвергъ, 12-го мая, въ Павловскомъ театрѣ, данъ будетъ, въ пользу герцоговинцевъ, спектакль, съ участіемъ артиста Императорскихъ театровъ»...

Онъ не успѣлъ договорить имени артиста, какъ все общество гостей привстало съ мѣстъ, хоромъ ахнуло и вдругъ оцѣпенѣло въ молчаніи.

— Это онъ! возможно ли! — шепнулъ кто-то точно въ испугѣ.

— Diable! diable! nous sommes joliment attrapés!—проговорилъ про себя другой.

Общая картина, которою вполнѣ наслаждался только одинъ зритель, молодой Урановъ.

Затѣмъ послѣдовалъ общій, сплошной смѣхъ.—А мы-то!—А я-то!—вырывалось среди хохота, то у того, то у другого. Чешневъ такъ и заливался дѣтскимъ смѣхомъ надъ собою. Только Красноперовъ угрюмо молчалъ.

— Какъ это тебѣ въ голову пришло, Митя! — обнимая племянника, сказалъ Урановъ.

— Вы просили, дядя, помочь, чтобъ весело было! — сказалъ тотъ.

— Спасибо! я въ долгу у тебя не останусь!—заключилъ Урановъ.

Еще собесѣдники не очнулись отъ смѣха, какъ вошелъ человѣкъ и сказалъ, что швейцаръ пришелъ снизу доложить что-то нужное. Швейцаръ и самъ выглядывалъ изъ-за дверей въ залу.

— Что такое случилось? что тебѣ? — спросилъ Григорій Петровичъ швейцара.—Войди!

— Насчетъ гостя; вотъ что сейчасъ изволили уйти...

— Ну?

Всѣ съ напряженнымъ вниманіемъ ждали.

— Когда они вышли, я подалъ имъ пальто; а они подо-

шли къ зеркалу, покосились на меня и отвернулись вотъ этакъ спиной... а я въ зеркало-то все и увидалъ...

— Что жъ ты увидалъ?

— Они хвать за усы, да въ карманъ ихъ, хвать за бороду — да въ карманъ! Гляжу, совсѣмъ другой человѣкъ сталъ! Да безъ оглядки какъ бросится вонъ, на извозчика— и такъ прытко погнали...

— Ну, что же?

— Я и побѣжалъ наверхъ доложить... господинъ незнакомый, въ первый разъ... все ли цѣло... серебро... Можно догнать...

Всеобщій гомерическій хохотъ былъ ему отвѣтомъ.

Съ хохотомъ гости прощались съ Урановымъ, съ хохотомъ шли по лѣстницѣ, одѣвались и разъѣзжались.

Въ слѣдующій за этимъ вечеръ, въ четвергъ, вечерній поѣздъ привезъ въ семь часовъ въ Павловскъ всѣхъ гостей, бывшихъ на литературномъ вечерѣ Уранова, кромѣ Красноперова и графа Пестова, и много другихъ лицъ того же круга. За два дня до спектакля не было уже ни одного мѣста; билеты были распроданы по баснословной цѣнѣ.

Артиста, какъ и всегда, при его появленіи встрѣтилъ восторженный пріемъ. Раскланиваясь, онъ особый поклонъ обратилъ въ ту сторону, гдѣ сидѣли: Урановъ, Суховъ, генералъ, самъ авторъ романа и дамы, между прочими, графиня Синявская съ дочерью, княгиня и княжна Тецкія, Лилина и много другихъ. Пьеса прошла блистательно, вызовамъ не было конца, букетамъ и подаркамъ тоже. Тутъ были и вѣнки, и несессеры, и футляры съ разными вещами. Общее вниманіе обратилъ поданный изъ ложи, черезъ капельдинера, большой старинный серебряный кубокъ, изящной работы, который Урановъ показывалъ за ужиномъ своимъ гостямъ.

Артистъ принялъ кубокъ, узналъ его, взглянулъ на ложу,

откуда его подали, и не могъ даже поклониться. Онъ только приложилъ руку къ сердцу.

На кубкѣ были вырѣзаны имена всѣхъ присутствовавшихъ за ужиномъ.

«Истинному виновнику вечера 7-го мая — благодарные собесѣдники», сказано было въ запискѣ, вложенной въ кубокъ.

Тамъ же оказался футляръ съ браслетомъ, украшеннымъ большимъ изумрудомъ съ брильянтами вокругъ.

«Съ одной женской руки на другую, достойнѣйшую, руку супруги знаменитаго артиста — отъ женщины», написано было мелкимъ женскимъ почеркомъ на бумажкѣ.

Наконецъ, со дна кубка артистъ досталъ пачку радужныхъ ассигнацій. Онъ сосчиталъ—оказалось пятьсотъ рублей. Онъ отнесъ ихъ въ кассу, взялъ расписку въ полученіи пожертвованія отъ такихъ-то лицъ въ пользу славянъ— и отправилъ ее на другой день со своею визитною карточкою къ Уранову.

Сентябрь 1877.

„МИЛЬОНЪ ТЕРЗАНІЙ“.

(Критическій этюдъ).

«Горе отъ ума», *Грибоѣдова.*—Бенефисъ Монахова, ноябрь, 1871 г.

Комедія «Горе отъ ума» держится какимъ-то особнякомъ въ литературѣ и отличается моложавостью, свѣжестью и болѣе крѣпкой живучестью отъ другихъ произведеній слова. Она, какъ столѣтній старикъ, около котораго всѣ, отживъ по очереди свою пору, умираютъ и валятся, а онъ ходитъ, бодрый и свѣжій, между могилами старыхъ и колыбелями новыхъ людей. И никому въ голову не приходитъ, что настанетъ когда-нибудь и его чередъ.

Всѣ знаменитости первой величины, конечно, не даромъ поступили въ такъ-называемый «храмъ безсмертія». У всѣхъ у нихъ много, а у иныхъ, какъ, напримѣръ, у Пушкина, гораздо болѣе правъ на долговѣчность, нежели у Грибоѣдова. Ихъ нельзя близко и ставить одного съ другимъ. Пушкинъ громаденъ, плодотворенъ, силенъ, богатъ. Онъ для русскаго искусства то же, что̀ Ломоносовъ для русскаго просвѣщенія вообще. Пушкинъ занялъ собою всю свою эпоху, самъ создалъ другую, породилъ школы художниковъ,—взялъ себѣ въ эпохѣ все, кромѣ того, что̀ успѣлъ взять Грибоѣдовъ и до чего не договорился Пушкинъ.

Несмотря на геній Пушкина, передовые его герои, какъ герои его вѣка, уже блѣднѣютъ и уходятъ въ прошлое. Геніальныя созданія его, продолжая служить образцами и источникомъ искусству—сами становятся исторіей. Мы изучили Онѣгина, его время и его среду, взвѣсили, опредѣлили значеніе этого типа, но не находимъ уже живыхъ слѣдовъ этой личности въ современномъ вѣкѣ, хотя созданіе этого типа останется неизгладимымъ въ литературѣ. Даже позднѣйшіе герои вѣка, напримѣръ, Лермонтовскій Печоринъ, представляя, какъ и Онѣгинъ, свою эпоху, каменѣютъ, однако, въ неподвижности, какъ статуи на могилахъ. Не говоримъ о явившихся позднѣе ихъ, болѣе или менѣе яркихъ типахъ, которые при жизни авторовъ успѣли сойти въ могилу, оставивъ по себѣ нѣкоторыя права на литературную память.

Называли *безсмертною* комедіею «Недоросль» Фонвизина,—и основательно—ея живая, горячая пора продолжалась около полувѣка: это громадно для произведенія слова. Но теперь нѣтъ ни одного намека въ «Недорослѣ» на живую жизнь, и комедія, отслуживъ свою службу, обратилась въ историческій памятникъ.

«Горе отъ ума» появилось раньше Онѣгина, Печорина, пережило ихъ, прошло невредимо чрезъ Гоголевскій періодъ, прожило эти полвѣка со времени своего появленія и все живетъ своею нетлѣнною жизнью, переживетъ и еще много эпохъ и все не утратитъ своей жизненности.

Отчего же это, и что такое вообще это «Горе отъ ума»?

Критика не трогала комедію съ однажды занятаго ею мѣста, какъ будто затрудняясь, куда ее помѣстить. Изустная оцѣнка опередила печатную, какъ сама пьеса задолго опередила печать. Но грамотная масса оцѣнила ее фактически. Сразу понявъ ея красоты и не найдя недостатковъ, она разнесла рукопись на клочья, на стихи, полустишія, развела всю соль и мудрость пьесы въ разговорной рѣчи,

точно обратила мильонъ въ гривенники, и до того испестрила Грибоѣдовскими поговорками разговоръ, что буквально истаскала комедію до пресыщенія.

Но пьеса выдержала и это испытаніе — и не только не опошлилась, но сдѣлалась, какъ будто, дороже для читателей, нашла себѣ въ каждомъ изъ нихъ покровителя, критика и друга, какъ басни Крылова, не утратившія своей литературной силы, перейдя изъ книги въ живую рѣчь.

Печатная критика всегда относилась съ бо́льшею или меньшею строгостью только къ сценическому исполненію пьесы, мало касаясь самой комедіи, или высказываясь въ отрывочныхъ, неполныхъ и разнорѣчивыхъ отзывахъ. Рѣшено разъ всѣми навсегда, что комедія образцовое произведеніе—и на томъ всѣ помирились.

И мы здѣсь не претендуемъ произнести критическій приговоръ, въ качествѣ присяжнаго критика: рѣшительно уклоняясь отъ этого—мы, въ качествѣ любителя, только высказываемъ свои размышленія, тоже по поводу одного изъ послѣднихъ представленій «Горе отъ ума» на сценѣ. Мы хотимъ подѣлиться съ читателемъ этими своими мнѣніями, или лучше сказать сомнѣніями о томъ, такъ ли играется пьеса, т. е. съ той ли точки зрѣнія смотрятъ обыкновенно на ея исполненіе и сами артисты, и зрители? А заговоривъ объ этомъ, нельзя не высказать мнѣній и сомнѣній и о томъ, такъ ли должно понимать самую пьесу, какъ ее понимаютъ нѣкоторые исполнители и, можетъ-быть, и зрители. Не хотимъ опять сказать, что мы считаемъ нашъ способъ пониманія непогрѣшимымъ — мы предлагаемъ его только какъ одинъ изъ способовъ пониманія, или какъ одну изъ точекъ зрѣнія.

Что дѣлать актеру, вдумывающемуся въ свою роль въ этой пьесѣ? Положиться на одинъ собственный судъ—не достанетъ никакого самолюбія, а прислушаться за сорокъ лѣтъ къ говору общественнаго мнѣнія — нѣтъ возможности,

не затерявшись въ мелкомъ анализѣ. Остается, изъ безчисленнаго хора высказанныхъ и высказывающихся мнѣній, остановиться на нѣкоторыхъ общихъ выводахъ, наиболѣе повторяемыхъ—и на нихъ уже строить собственный планъ оцѣнки.

Одни цѣнятъ въ комедіи картину московскихъ нравовъ извѣстной эпохи, созданіе живыхъ типовъ и ихъ искусную группировку. Вся пьеса представляется какимъ-то кругомъ знакомыхъ читателю лицъ, и притомъ такимъ опредѣленнымъ и замкнутымъ, какъ колода картъ. Лица Фамусова, Молчалина, Скалозуба и другія врѣзались въ память такъ же твердо, какъ короли, валеты и дамы въ картахъ, и у всѣхъ сложилось болѣе или менѣе согласное понятіе о всѣхъ лицахъ, кромѣ одного — Чацкаго. Такъ всѣ они начертаны вѣрно и строго и такъ примелькались всѣмъ. Только о Чацкомъ многіе недоумѣваютъ: что онъ такое? Онъ какъ-будто пятьдесятъ-третья какая-то загадочная карта въ колодѣ. Если было мало разногласія въ пониманіи другихъ лицъ, то о Чацкомъ, напротивъ, разнорѣчія не кончились до сихъ поръ и можетъ быть не кончатся еще долго.

Другіе, отдавая справедливость картинѣ нравовъ, вѣрности типовъ, дорожатъ болѣе эпиграмматической солью языка, живой сатирой—моралью, которою пьеса до сихъ поръ, какъ неистощимый колодецъ, снабжаетъ всякаго на каждый обиходный шагъ жизни.

Но и тѣ и другіе цѣнители почти обходятъ молчаніемъ самую «комедію», дѣйствіе, и многіе даже отказываютъ ей въ условномъ сценическомъ движеніи.

Несмотря на то, всякій разъ, однако, когда мѣняется персоналъ въ роляхъ, и тѣ и другіе судьи идутъ въ театръ, и снова поднимаются оживленные толки объ исполненіи той или другой роли и о самыхъ роляхъ, какъ будто въ новой пьесѣ.

Всѣ эти разнообразныя впечатлѣнія и на нихъ основан-

ная своя точка зрѣнія у всѣхъ и у каждаго служатъ лучшимъ опредѣленіемъ пьесы, т. е., что комедія «Горе отъ ума» есть и картина нравовъ, и галлерея живыхъ типовъ, и вѣчно-острая, жгучая сатира, и вмѣстѣ съ тѣмъ и комедія и, скажемъ сами за себя—больше всего комедія—какая едва ли найдется въ другихъ литературахъ, если принять совокупность всѣхъ прочихъ высказанныхъ условій. Какъ картина, она, безъ сомнѣнія, громадна. Полотно ея захватываетъ длинный періодъ русской жизни — отъ Екатерины до императора Николая. Въ группѣ двадцати лицъ отразилась, какъ лучъ свѣта въ каплѣ воды, вся прежняя Москва, ея рисунокъ, тогдашній ея духъ, историческій моментъ и нравы. И это съ такою художественною, объективною законченностью и опредѣленностью, какая далась у насъ только Пушкину и Гоголю.

Въ картинѣ, гдѣ нѣтъ ни одного блѣднаго пятна, ни одного посторонняго, лишняго штриха и звука — зритель и читатель чувствуютъ себя и теперь, въ нашу эпоху, среди живыхъ людей. И общее и детали, все это не сочинено, а такъ цѣликомъ взято изъ московскихъ гостиныхъ и перенесено въ книгу и на сцену, со всей теплотой и со всѣмъ «особымъ отпечаткомъ» Москвы,—отъ Фамусова до мелкихъ штриховъ, до князя Тугоуховскаго и до лакея Петрушки, безъ которыхъ картина была бы не полна.

Однако для насъ она еще не вполнѣ законченная историческая картина: мы не отодвинулись отъ эпохи на достаточное разстояніе, чтобъ между ею и нашимъ временемъ легла непроходимая бездна. Колоритъ не сгладился совсѣмъ; вѣкъ не отдѣлился отъ нашего, какъ отрѣзанный ломоть: мы кое-что оттуда унаслѣдовали, хотя Фамусовы, Молчалины, Загорѣцкіе и пр. видоизмѣнились такъ, что не влѣзутъ уже въ кожу Грибоѣдовскихъ типовъ. Рѣзкія черты отжили конечно: никакой Фамусовъ не станетъ теперь приглашать въ шуты и ставить въ примѣръ Максима Петро-

вича, по крайней мѣрѣ, такъ положительно и явно. Молчалинъ, даже передъ горничной, втихомолку, не сознается теперь въ тѣхъ заповѣдяхъ, которыя завѣщалъ ему отецъ; такой Скалозубъ, такой Загорѣцкій невозможны даже въ далекомъ захолустьѣ. Но пока будетъ существовать стремленіе къ почестямъ помимо заслуги, пока будутъ водиться мастера и охотники угодничать и «награжденья брать и весело пожить», пока сплетни, бездѣлье, пустота будутъ господствовать, не какъ пороки, а какъ стихіи общественной жизни,—до тѣхъ поръ, конечно, будутъ мелькать и въ современномъ обществѣ черты Фамусовыхъ, Молчалиныхъ и другихъ, нужды нѣтъ, что съ самой Москвы стерся тотъ «особый отпечатокъ», которымъ гордился Фамусовъ.

Общечеловѣческіе образцы конечно остаются всегда, хотя и тѣ превращаются въ неузнаваемые отъ временныхъ перемѣнъ типы, такъ что, на смѣну старому, художникамъ иногда приходится обновлять, по прошествіи долгихъ періодовъ, являвшіяся уже когда-то въ образахъ основныя черты нравовъ и вообще людской натуры, облекая ихъ въ новую плоть и кровь въ духѣ своего времени. Тартюфъ конечно—вѣчный типъ, Фальстафъ—вѣчный характеръ—но и тотъ и другой, и многіе еще знаменитые подобные имъ первообразы страстей, пороковъ и проч., исчезая сами въ туманѣ старины, почти утратили живой образъ и обратились въ идею, въ условное понятіе, въ нарицательное имя порока, и для насъ служатъ уже не живымъ урокомъ, а портретомъ исторической галлереи.

Это особенно можно отнести къ Грибоѣдовской комедіи. Въ ней мѣстный колоритъ слишкомъ ярокъ, и обозначеніе самыхъ характеровъ такъ строго очерчено и обставлено такою реальностью деталей, что общечеловѣческія черты едва выдѣляются изъ-подъ общественныхъ положеній, ранговъ, костюмовъ и т. п.

Какъ картина современныхъ нравовъ, комедія «Горе отъ

ума» была отчасти анахронизмомъ и тогда, когда въ 30-хъ годахъ появилась на московской сценѣ. Уже Щепкинъ, Мочаловъ, Львова-Синецкая, Ленскій, Орловъ и Сабуровъ играли не съ натуры, а по свѣжему преданію. И тогда стали исчезать рѣзкіе штрихи. Самъ Чацкій гремитъ противъ «вѣка минувшаго», когда писалась комедія, а она писалась между 1815 и 1820 годами.

«Какъ посравнить да посмотрѣть» (говоритъ онъ),

«Вѣкъ нынѣшній и вѣкъ *минувшій*,

«Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ»—

а про свое время выражается такъ:

«*Теперь* вольнѣе всякій дышитъ»—

или:

«Бранилъ *вашъ* вѣкъ я безпощадно»,—

говоритъ онъ Фамусову.

Слѣдовательно, теперь остается только немногое отъ мѣстнаго колорита: страсть къ чинамъ, низкопоклонничество, пустота. Но съ какими-нибудь реформами чины могутъ отойти, низкопоклонничество до степени лакейства Молчалинскаго уже прячется и теперь въ темноту, а поэзія фрунта уступила мѣсто строгому и раціональному направленію въ военномъ дѣлѣ.

Но все же еще кое-какіе живые слѣды есть, и они пока мѣшаютъ обратиться картинѣ въ законченный историческій барельефъ. Эта будущность еще пока у ней далеко впереди.

Соль, эпиграмма, сатира, этотъ разговорный стихъ, кажется, никогда не умрутъ, какъ и самъ, разсыпанный въ нихъ острый и ѣдкій, живой русскій умъ, который Грибоѣдовъ заключилъ, какъ волшебникъ духа какого-нибудь въ свой замокъ, и онъ разсыпается тамъ злобнымъ смѣхомъ. Нельзя представить себѣ, чтобъ могла явиться когда-нибудь другая, болѣе естественная, простая, болѣе взятая изъ

жизни рѣчь. Проза и стихъ слились здѣсь во что-то нераздѣльное, затѣмъ кажется, чтобы ихъ легче было удержать въ памяти и пустить опять въ оборотъ весь собранный авторомъ умъ, юморъ, шутку и злость русскаго ума и языка. Этотъ языкъ такъ же дался автору, какъ далась группа этихъ лицъ, какъ дался главный смыслъ комедіи, какъ далось все вмѣстѣ, будто вылилось разомъ, и все образовало необыкновенную комедію—и въ тѣсномъ смыслѣ какъ сценическую пьесу, — и въ обширномъ, какъ комедію жизни. Другимъ ничѣмъ, какъ комедіей, она и не могла бы быть.

Оставя двѣ капитальныя стороны пьесы, которыя такъ явно говорятъ за себя, и потому имѣютъ большинство почитателей,—т.-е. картину эпохи, съ группой живыхъ портретовъ, и соль языка,—обратимся сначала къ комедіи, какъ къ сценической пьесѣ, потомъ какъ къ комедіи вообще, къ ея общему смыслу, къ главному разуму ея въ общественномъ и литературномъ значеніи, наконецъ, скажемъ и объ исполненіи ея на сценѣ.

Давно привыкли говорить, что нѣтъ движенія, т.-е. нѣтъ дѣйствія въ пьесѣ. Какъ нѣтъ движенія? Есть—живое, непрерывное, отъ перваго появленія Чацкаго на сценѣ до послѣдняго его слова: «Карету мнѣ, карету!»

Это—тонкая, умная, изящная и страстная комедія, въ тѣсномъ, техническомъ смыслѣ, — вѣрная въ мелкихъ психологическихъ деталяхъ,—но для зрителя почти неуловимая, потому что она замаскирована типичными лицами героевъ, геніальной рисовкой, колоритомъ мѣста, эпохи, прелестью языка, всѣми поэтическими силами, такъ обильно разлитыми въ пьесѣ. Дѣйствіе, т.-е. собственно интрига въ ней, передъ этими капитальными сторонами, кажется блѣднымъ, лишнимъ, почти ненужнымъ.

Только при разъѣздѣ въ сѣняхъ зритель точно пробуждается при неожиданной катастрофѣ, разразившейся между главными лицами, и вдругъ припоминаетъ комедію-интригу.

Но и то не надолго. Передъ нимъ уже вырастаетъ громадный, настоящій смыслъ комедіи.

Главная роль, конечно — роль Чацкаго, безъ которой не было бы комедіи, а была бы, пожалуй, картина нравовъ.

Самъ Грибоѣдовъ приписалъ горе Чацкаго его уму, а Пушкинъ отказалъ ему вовсе въ умѣ.

Можно бы было подумать, что Грибоѣдовъ, изъ отеческой любви къ своему герою, польстилъ ему въ заглавіи, какъ будто предупредивъ читателя, что герой его уменъ, а всѣ прочіе около него не умны.

Но Чацкій, не только умнѣе всѣхъ прочихъ лицъ, но и положительно уменъ. Рѣчь его кипитъ умомъ, остроуміемъ. У него есть и сердце, и притомъ онъ безукоризненно честенъ. Словомъ — это человѣкъ, не только умный, но и развитой, съ чувствомъ, или, какъ рекомендуетъ его горничная Лиза, онъ «чувствителенъ и веселъ, и остеръ». Только личное его горе произошло не отъ одного ума, а болѣе отъ другихъ причинъ, гдѣ умъ его игралъ страдательную роль, и это подало Пушкину поводъ отказать ему въ умѣ. Между тѣмъ Чацкій, какъ личность, несравненно выше и умнѣе Онѣгина и Лермонтовскаго Печорина. Онъ искренній и горячій дѣятель, а тѣ—паразиты, изумительно начертанные великими талантами, какъ болѣзненныя порожденія отжившаго вѣка. Ими заканчивается ихъ время, а Чацкій начинаетъ новый вѣкъ—и въ этомъ все его значеніе и весь «умъ».

И Онѣгинъ, и Печоринъ, оказались неспособны къ дѣлу, къ активной роли, хотя оба смутно понимали, что около нихъ все истлѣло. Они были даже «озлоблены», носили въ себѣ и «недовольство» и бродили какъ тѣни съ «тоскующею лѣнью». Но презирая пустоту жизни, праздное барство, они поддавались ему и не подумали, ни бороться съ нимъ, ни бѣжать окончательно. Недовольство и озлобленіе не мѣшали Онѣгину франтить, «блестѣть» и въ театрѣ, и на

балѣ, и въ модномъ ресторанѣ, кокетничать съ дѣвицами и серьезно ухаживать за ними въ замужествѣ, а Печорину блестѣть интересной скукой и мыкать свою лѣнь и озлобленіе между княжной Мери и Бэлой, а потомъ рисоваться равнодушіемъ къ нимъ передъ тупымъ Максимомъ Максимычемъ: это равнодушіе—считалось квинтъ-эссенціей донъ-жуанства. Оба томились, задыхались въ своей средѣ, и не знали, чего хотѣть. Онѣгинъ пробовалъ читать, но зѣвнулъ и бросилъ, потому что ему и Печорину была знакома одна наука «страсти нѣжной», а прочему всему они учились «чему-нибудь и какъ-нибудь»—и имъ нечего было дѣлать.

Чацкій, какъ видно, напротивъ, готовился серьезно къ дѣятельности. «Онъ славно пишетъ, переводитъ», говоритъ о немъ Фамусовъ, и всѣ твердятъ о его высокомъ умѣ. Онъ, конечно, путешествовалъ не даромъ, учился, читалъ, принимался, какъ видно, за трудъ, былъ въ сношеніяхъ съ министрами и разошелся—не трудно догадаться почему:

«Служить бы радъ,—прислуживаться тошно»,—

намекаетъ онъ самъ. О «тоскующей лѣни, о праздной скукѣ» и помину нѣтъ, а еще менѣе о «страсти нѣжной», какъ о наукѣ и о занятіи. Онъ любитъ серьезно, видя въ Софьѣ будущую жену.

Между тѣмъ Чацкому досталось выпить до дна горькую чашу—не найдя ни въ комъ «сочувствія живого», и уѣхать, увозя съ собой только «мильонъ терзаній».

Ни Онѣгинъ, ни Печоринъ не поступили бы такъ неумно вообще, въ дѣлѣ любви и сватовства особенно. Но зато они уже поблѣднѣли и обратились для насъ въ каменныя статуи, а Чацкій остается и останется всегда въ живыхъ за эту свою «глупость».

Читатель помнитъ, конечно, все что̀ продѣлалъ Чацкій. Прослѣдимъ слегка ходъ пьесы и постараемся выдѣлить изъ нея драматическій интересъ комедіи, то движеніе, которое

идетъ черезъ всю пьесу, какъ невидимая, но живая нить, связующая всѣ части и лица комедіи между собою.

Чацкій вбѣгаетъ къ Софьѣ, прямо изъ дорожнаго экипажа, не заѣзжая къ себѣ, горячо цѣлуетъ у ней руку, глядитъ ей въ глаза, радуется свиданію, въ надеждѣ найти отвѣтъ прежнему чувству — и не находитъ. Его поразили двѣ перемѣны: она необыкновенно похорошѣла и охладѣла къ нему—тоже необыкновенно.

Это его и озадачило, и огорчило, и немного раздражило. Напрасно онъ старается посыпать солью юмора свой разговоръ, частію играя этой своей силой, чѣмъ конечно прежде нравился Софьѣ, когда она его любила, — частію подъ вліяніемъ досады и разочарованія. Всѣмъ достается, всѣхъ перебралъ онъ—отъ отца Софьи до Молчалина—и какими мѣткими чертами рисуетъ онъ Москву—и сколько изъ этихъ стиховъ ушло въ живую рѣчь! Но все напрасно: нѣжныя воспоминанія, остроты—ничто не помогаетъ. Онъ *терпитъ отъ нея однѣ холодности*, пока, ѣдко задѣвъ Молчалина, онъ не задѣлъ за живое и ее. Она уже съ скрытой злостью спрашиваетъ его, случилось ли ему хоть нечаянно «добро о комъ-нибудь сказать», и исчезаетъ при входѣ отца, выдавъ послѣднему почти головой Чацкаго, т. е. объявивъ его героемъ разсказаннаго передъ тѣмъ отцу сна.

Съ этой минуты между ею и Чацкимъ завязался горячій поединокъ, самое живое дѣйствіе, комедія въ тѣсномъ смыслѣ, въ которой принимаютъ близкое участіе два лица, Молчалинъ и Лиза.

Всякій шагъ Чацкаго, почти всякое слово въ пьесѣ, тѣсно связаны съ игрой чувства его къ Софьѣ, раздраженнаго какою-то ложью въ ея поступкахъ, которую онъ и бьется разгадать до самаго конца. Весь умъ его и всѣ силы уходятъ въ эту борьбу: она и послужила мотивомъ, поводомъ къ раздраженіямъ, къ тому «мильону терзаній», подъ вліяніемъ которыхъ онъ только и могъ сыграть ука-

занную ему Грибоѣдовымъ роль, роль гораздо бо́льшаго, высшаго значенія, нежели неудачная любовь, словомъ роль, для которой и родилась вся комедія.

Чацкій почти не замѣчаетъ Фамусова, холодно и разсѣянно отвѣчаетъ на его вопросъ, гдѣ былъ? «Теперь мнѣ до того ли?» говоритъ онъ, и обѣщая пріѣхать опять, уходитъ, проговаривая изъ того, что его поглощаетъ:

«Какъ Софья Павловна у васъ похорошѣла!»

Во второмъ посѣщеніи онъ начинаетъ разговоръ опять о Софьѣ Павловнѣ.—«Не больна ли она? не приключилось ли ей печали?»—и до такой степени охваченъ и подогрѣтымъ ея расцвѣтшей красотой чувствомъ, и ея холодностью къ нему, что, на вопросъ отца, не хочетъ ли онъ на ней жениться, въ разсѣянности спрашиваетъ: «А вамъ на что!» И потомъ равнодушно, только изъ приличія, дополняетъ:

«Пусть я посватаюсь, вы что бы мнѣ сказали?»

И почти не слушая отвѣта, вяло замѣчаетъ на совѣтъ «послужить»:

«Служить бы радъ,—прислуживаться тошно!»

Онъ и въ Москву, и къ Фамусову, пріѣхалъ очевидно для Софьи и къ одной Софьѣ. До другихъ ему дѣла нѣтъ; ему и теперь досадно, что онъ, вмѣсто нея, нашелъ одного Фамусова. «Какъ здѣсь бы ей не быть?» задается онъ вопросомъ, припоминая прежнюю юношескую свою любовь, которую въ немъ «ни даль не охладила, ни развлеченіе, ни перемѣна мѣстъ»,—и мучается ея холодностью.

Ему скучно и говорить съ Фамусовымъ—и только положительный вызовъ Фамусова на споръ выводитъ Чацкаго изъ его сосредоточенности:

«Вотъ то-то, всѣ вы гордецы:
«Смотрѣли бы какъ дѣлали отцы,
«Учились бы, на старшихъ глядя!»—

говоритъ Фамусовъ и затѣмъ чертитъ такой грубый и уродливый рисунокъ раболѣпства, что Чацкій не вытерпѣлъ

и въ свою очередь сдѣлалъ параллель вѣка «минувшаго» съ вѣкомъ «нынѣшнимъ».

Но все еще раздраженіе его сдержано: онъ какъ будто совѣстится за себя, что вздумалъ отрезвлять Фамусова отъ его понятій; онъ спѣшитъ вставить, что «не о дядюшкѣ его говоритъ», котораго привелъ въ примѣръ Фамусовъ, и даже предлагаетъ послѣднему побранить и свой вѣкъ, наконецъ, всячески старается замять разговоръ, видя, какъ Фамусовъ заткнулъ уши, — успокаиваетъ его, почти извиняется.

«Длить споры не мое желанье»,—

говоритъ онъ. Онъ готовъ опятъ войти въ себя. Но его будитъ неожиданный намекъ Фамусова на слухъ о сватовствѣ Скалозуба.

«Вотъ будто женится на Софьюшкѣ...» и т. д.

Чацкій навострилъ уши.

«Какъ суетится, что за прыть!»—

«А Софья? Нѣтъ ли впрямь тутъ жениха какого?» говоритъ онъ, и хотя потомъ прибавляетъ:

«Ахъ—тотъ скажи любви конецъ,
«Кто на три года вдаль уѣдетъ!»—

но самъ еще не вѣритъ этому, по примѣру всѣхъ влюбленныхъ, пока эта любовная аксіома не разыгралась надъ нимъ до конца.

Фамусовъ подтверждаетъ свой намекъ о женитьбѣ Скалозуба, навязывая послѣднему мысль «о генеральшѣ», и почти явно вызываетъ на сватовство.

Эти намеки на женитьбу возбудили подозрѣнія Чацкаго о причинахъ перемѣны къ нему Софьи. Онъ даже согласился-было на просьбу Фамусова бросить «завиральныя идеи» и помолчать при гостѣ. Но раздраженіе уже шло crescendo, и онъ вмѣшался въ разговоръ, пока небрежно, а потомъ, раздосадованный неловкой похвалой Фамусова

жіе — прямое нападеніе на него, и снисходитъ до притворства:

«Разъ въ жизни притворюсь,»

рѣшаетъ онъ, — чтобъ «разгадать загадку», а собственно чтобъ удержать Софью, когда она рванулась прочь при новой стрѣлѣ, пущенной въ Молчалина. Это не притворство, а уступка, которою онъ хочетъ выпросить то, чего нельзя выпросить — любви, когда ея нѣтъ. Въ его рѣчи уже слышится молящій тонъ, нѣжные упреки, жалобы:

«Но есть ли въ немъ та страсть, то чувство, выносить тя...
«Чтобъ, кромѣ васъ, ему міръ цѣлый
«Казался прахъ и суета?
«Чтобъ сердца каждое біенье
«Любовью ускорялось къ вамъ...» —

говоритъ онъ, — и наконецъ:

«Чтобъ равнодушнѣе мнѣ понести утрату,
«Какъ человѣку — вы, который съ вами взросъ —
«Какъ другу вашему, какъ брату,
«Мнѣ дайте убѣдиться въ томъ...»

Это уже слезы. Онъ трогаетъ серьезныя струны чувства —

«Отъ сумасшествія могу я остеречься,
«Пущусь подалѣе простыть, охолодѣть...» —

заключаетъ онъ. Затѣмъ оставалось только упасть на колѣни и зарыдать. Остатки ума спасаютъ его отъ безполезнаго униженія.

Такую мастерскую сцену, высказанную такими стихами, едва ли представляетъ какое-нибудь другое драматическое произведеніе. Нельзя благороднѣе и трезвѣе высказать чувство, какъ оно высказалось у Чацкаго, нельзя тоньше и граціознѣе выпутаться изъ ловушки, какъ выпутывается Софья Павловна. Только Пушкинскія сцены Онѣгина съ Татьяной напоминаютъ эти тонкія черты умныхъ натуръ.

Софьѣ удалось-было совершенно отдѣлаться отъ новой подозрительности Чацкаго, но она сама увлеклась своей лю-

бовью къ Молчалину и чуть не испортила все дѣло, высказавшись почти открыто въ любви. На вопросъ Чацкаго:

«Зачѣмъ же вы его (Молчалина) такъ коротко узнали?»

Она отвѣчаетъ:

«Я не старалась! Богъ насъ свелъ.»

Этого довольно, чтобъ открыть глаза слѣпому. Но ее спасъ самъ Молчалинъ, т.-е. его ничтожество. Она въ увлеченіи поспѣшила нарисовать его портретъ во весь ростъ, можетъ-быть въ надеждѣ примирить съ этой любовью не только себя, но и другихъ, даже Чацкаго, не замѣчая, какъ портретъ выходитъ пошлъ:

«Смотрите, дружбу всѣхъ онъ въ домѣ пріобрѣлъ.
«При батюшкѣ три года служитъ;
«Тотъ часто безъ толку сердитъ,
«А онъ безмолвіемъ его обезоружитъ,
«Отъ доброты души проститъ.
«А между прочимъ
«Веселостей искать бы могъ.—
«Ничуть, отъ старичковъ не ступитъ за порогъ!
«Мы рѣзвимся, хохочемъ;
«Онъ съ нами цѣлый день засядетъ, радъ не радъ,
«Играетъ...»

Далѣе:

«Чудеснѣйшаго свойства...
«Онъ, наконецъ, уступчивъ, скроменъ, тихъ,
«И на душѣ проступковъ никакихъ;
«Чужихъ и вкривь, и вкось не рубитъ...
«Вотъ я за что его люблю!»

У Чацкаго разсѣялись всѣ сомнѣнія:

«Она его не уважаетъ!»
«Шалитъ, она его не любитъ.
«Она не ставитъ въ грошъ его!»—

утѣшаетъ онъ себя при каждой ея похвалѣ Молчалину, и потомъ хватается за Скалозуба. Но отвѣтъ ея — что онъ «герой не ея романа», уничтожилъ и эти сомнѣнія. Онъ оставляетъ ее безъ ревности, но въ раздумьѣ, сказавъ:

«Кто разгадаетъ васъ!»

Онъ и самъ не вѣрилъ въ возможность такихъ соперниковъ, а теперь убѣдился въ этомъ. Но и его надежды на взаимность, до сихъ поръ горячо волновавшія его, совершенно поколебались, особенно когда она не согласилась остаться съ нимъ подъ предлогомъ, что «щипцы остынутъ», и потомъ, на просьбу его позволить зайти къ ней въ комнату, при новой колкости на Молчалина, она ускользнула отъ него и заперлась.

Онъ почувствовалъ, что главная цѣль возвращенія въ Москву ему измѣнила, и онъ отходитъ отъ Софіи съ грустью. Онъ, какъ потомъ сознается въ сѣняхъ, съ этой минуты подозрѣваетъ въ ней только холодность ко всему, и послѣ этой сцены самый обморокъ отнесъ не «къ признакамъ живыхъ страстей», какъ прежде, а «къ причудѣ избалованныхъ нервъ».

Слѣдующая сцена его съ Молчалинымъ, вполнѣ обрисовывающая характеръ послѣдняго, утверждаетъ Чацкаго окончательно, что Софья не любитъ этого соперника.

«Обманщица смѣялась надо мной!»—

замѣчаетъ онъ и идетъ навстрѣчу новымъ лицамъ.

Комедія между нимъ и Софьей оборвалась; жгучее раздраженіе ревности унялось и холодъ безнадежности пахнулъ ему въ душу.

Ему оставалось уѣхать; но на сцену вторгается другая, живая, бойкая комедія, открывается разомъ нѣсколько новыхъ перспективъ московской жизни, которыя не только вытѣсняютъ изъ памяти зрителя интригу Чацкаго, но и самъ Чацкій какъ будто забываетъ о ней и мѣшается въ толпу. Около него группируются и играютъ, каждое свою роль, новыя лица. Это балъ, со всей московской обстановкой, съ рядомъ живыхъ сценическихъ очерковъ, въ которыхъ каждая группа образуетъ свою отдѣльную комедію, съ полною

обрисовкою характеровъ, успѣвшихъ въ нѣсколькихъ словахъ разыграться въ законченное дѣйствіе.

Развѣ не полную комедію разыгрываютъ Горичевы? Этотъ мужъ, недавно еще бодрый и живой человѣкъ, теперь опустившійся, облекшійся, какъ въ халатъ, въ московскую жизнь, баринъ; «мужъ-мальчикъ, мужъ-слуга, идеалъ московскихъ мужей», по мѣткому опредѣленію Чацкаго, — подъ башмакомъ приторной, жеманной, свѣтской супруги, московской дамы?

А эти шесть княженъ и графиня-внучка,—весь этотъ контингентъ невѣстъ, «умѣющихъ, по словамъ Фамусова, принарядить себя тафтицей, бархатцомъ и дымкой», «поющихъ верхнія нотки и льнущихъ къ военнымъ людямъ»?

Эта Хлестова, остатокъ екатерининскаго вѣка, съ моськой, съ арапкой-дѣвочкой, — эта княгиня и князь Петръ Ильичъ—безъ слова, но такая говорящая руина прошлаго— Загорѣцкій, явный мошенникъ, спасающійся отъ тюрьмы въ лучшихъ гостиныхъ и откупающійся угодливостью, въ родѣ собачьихъ поносокъ, и эти N. N., и всѣ толки ихъ, и все занимающее ихъ содержаніе!

Наплывъ этихъ лицъ такъ обиленъ, портреты ихъ такъ рельефны, что зритель хладѣетъ къ интригѣ, не успѣвая ловить эти быстрые очерки новыхъ лицъ и вслушиваться въ ихъ оригинальный говоръ.

Чацкаго уже нѣтъ на сценѣ. Но онъ до ухода далъ обильную пищу той главной комедіи, которая началась у него съ Фамусовымъ, въ первомъ актѣ, потомъ съ Молчалинымъ,—той битвѣ со всей Москвой, куда онъ, по цѣлямъ автора, затѣмъ и пріѣхалъ.

Въ краткихъ, даже мгновенныхъ встрѣчахъ съ старыми знакомыми, онъ успѣлъ всѣхъ вооружить противъ себя ѣдкими репликами и сарказмами. Его уже живо затрогиваютъ всякіе пустяки—и онъ даетъ волю языку. Разсердилъ старуху Хлестову, далъ невпопадъ нѣсколько совѣтовъ Гори-

чеву, рѣзко оборвалъ графиню-внучку и опять задѣлъ Молчалина.

Но чаша переполнилась. Онъ выходитъ изъ заднихъ комнатъ уже окончательно разстроенный, и по старой дружбѣ, въ толпѣ опять идетъ къ Софьѣ, надѣясь хоть на простое сочувствіе. Онъ повѣряетъ ей свое душевное состояніе:

«Мильонъ терзаній!» —

говоритъ онъ:

«Груди отъ дружескихъ тисковъ,
«Ногамъ отъ шарканья, ушамъ отъ восклицаній,
«А пуще головѣ отъ всякихъ пустяковъ!
«Здѣсь у меня душа какимъ-то горемъ сжата!» —

жалуется онъ ей, не подозрѣвая, какой заговоръ созрѣлъ противъ него въ непріятельскомъ лагерѣ.

«Мильонъ терзаній» и «горе!» — вотъ что онъ пожалъ за все, что успѣлъ посѣять. До сихъ поръ онъ былъ непобѣдимъ: умъ его безпощадно поражалъ больныя мѣста враговъ. Фамусовъ ничего не находитъ, какъ только зажать уши противъ его логики, и отстрѣливается общими мѣстами старой морали. Молчалинъ смолкаетъ, княжны, графини — пятятся прочь отъ него, обожженныя крапивой его смѣха, и прежній другъ его, Софья, которую одну онъ щадитъ, лукавитъ, скользитъ и наноситъ ему главный ударъ втихомолку, объявивъ его, подъ рукой, вскользь, сумасшедшимъ.

Онъ чувствовалъ свою силу и говорилъ увѣренно. Но борьба его истомила. Онъ очевидно ослабѣлъ отъ этого «мильона терзаній», и разстройство обнаружилось въ немъ такъ замѣтно, что около него группируются всѣ гости, какъ собирается толпа около всякаго явленія, выходящаго изъ обыкновеннаго порядка вещей.

Онъ не только грустенъ, но и желченъ, придирчивъ. Онъ, какъ раненый, собираетъ всѣ силы, дѣлаетъ вызовъ толпѣ—

и наноситъ ударъ всѣмъ,—но не хватило у него мощи противъ соединеннаго врага.

Онъ впадаетъ въ преувеличенія, почти въ нетрезвость рѣчи, и подтверждаетъ во мнѣніи гостей распущенный Софьей слухъ о его сумасшествіи. Слышится уже не острый, ядовитый сарказмъ, въ который вставлена вѣрная, опредѣленная идея, правда, — а какая-то горькая жалоба, какъ будто на личную обиду, на пустую, или, по его же словамъ, «незначущую встрѣчу съ французикомъ изъ Бордо», которую онъ, въ нормальномъ состояніи духа, едва ли бы замѣтилъ.

Онъ пересталъ владѣть собой, и даже не замѣчаетъ, что онъ самъ составляетъ спектакль на балѣ. Онъ ударяется и въ патріотическій паѳосъ, договаривается до того, что находитъ фракъ противнымъ «разсудку и стихіямъ», сердится, что madame и mademoiselle не переведены на русскій языкъ,—словомъ, «il divague!» заключили вѣроятно о немъ всѣ шесть княженъ и графиня-внучка. Онъ чувствуетъ это и самъ, говоря, что «въ многолюдствѣ онъ растерянъ, самъ не свой!»

Онъ точно «самъ не свой», начиная съ монолога «о французикѣ изъ Бордо» — и такимъ остается до конца пьесы. Впереди пополняется только «мильонъ терзаній».

Пушкинъ, отказывая Чацкому въ умѣ, вѣроятно, всего болѣе имѣлъ въ виду послѣднюю сцену 4-го акта, въ сѣняхъ, при разъѣздѣ. Конечно, ни Онѣгинъ, ни Печоринъ, эти франты, не сдѣлали бы того, что продѣлалъ въ сѣняхъ Чацкій. Тѣ были слишкомъ дрессированы, «въ наукѣ страсти нѣжной», а Чацкій отличается и между прочимъ искренностью и простотой, и не умѣетъ, и не хочетъ рисоваться. Онъ не франтъ, не левъ. Здѣсь измѣняетъ ему не только умъ, но и здравый смыслъ, даже простое приличіе. Такихъ пустяковъ надѣлалъ онъ!

Отдѣлавшись отъ болтовни Репетилова и спрятавшись въ

швейцарскую въ ожиданіи кареты, онъ подглядѣлъ свиданіе Софьи съ Молчалинымъ и разыгралъ роль Отелло, не имѣя на то никакихъ правъ. Онъ упрекаетъ ее, зачѣмъ она его «надеждой завлекла», зачѣмъ прямо не сказала, что прошлое забыто. Тутъ что ни слово — то неправда. Никакой надеждой она его не завлекала. Она только и дѣлала, что уходила отъ него, едва говорила съ нимъ, призналась въ равнодушіи, назвала какой-то старый дѣтскій романъ и прятанье по угламъ «ребячествомъ» и даже намекнула, что «Богъ ее свелъ съ Молчалинымъ».

А онъ, потому только, что

«...такъ страстно и такъ низко
Былъ расточитель нѣжныхъ словъ»,

въ ярости, за собственное свое безполезное униженіе, за напущенный на себя добровольно самимъ собою обманъ, — казнитъ всѣхъ, а ей бросаетъ жестокое и несправедливое слово:

«Съ вами я горжусь моимъ разрывомъ»,

когда нечего было и разрывать! Наконецъ, просто доходитъ до брани, изливая желчь:

«На дочь и на отца,
И на любовника *глупца*»,

и кипитъ бѣшенствомъ на всѣхъ, «на мучителей толпу, предателей, нескладныхъ умниковъ, лукавыхъ простаковъ, старухъ зловѣщихъ» и т. д. И уѣзжаетъ изъ Москвы искать «уголка оскорбленному чувству», произнося всему безпощадный судъ и приговоръ!

Если бъ у него явилась одна здоровая минута, если бъ не жегъ его «мильонъ терзаній», онъ бы, конечно, самъ сдѣлалъ себѣ вопросъ: «зачѣмъ и за что надѣлалъ я всю эту кутерьму?» И, конечно, не нашелъ бы отвѣта.

За него отвѣчаетъ Грибоѣдовъ, который не спроста кончилъ пьесу этой катастрофой. Въ ней, не только для Софьи,

но и для Фамусова и всѣхъ его гостей, «умъ» Чацкаго, сверкавшій, какъ лучъ свѣта въ цѣлой пьесѣ, разразился въ концѣ въ тотъ громъ, при которомъ крестятся, по пословицѣ, мужики.

Отъ грома первая перекрестилась Софья, остававшаяся до самаго появленія Чацкаго, когда Молчалинъ уже ползалъ у ногъ ея, все тою же безсознательною Софьей Павловною, съ тою же ложью, въ какой ее воспиталъ отецъ, въ какой онъ прожилъ самъ, весь его домъ и весь кругъ. Еще не опомнившись отъ стыда и ужаса, когда маска упала съ Молчалина, она прежде всего радуется, что «ночью все узнала, что нѣтъ укоряющихъ свидѣтелей въ глазахъ!»

А нѣтъ свидѣтелей, слѣдовательно все шито да крыто, можно забыть, выйти замужъ, пожалуй, за Скалозуба, а на прошлое смотрѣть...

Да никакъ не смотрѣть. Свое нравственное чувство стерпитъ, Лиза не проговорится, Молчалинъ пикнуть не смѣетъ. А мужъ? Но какой же московскій мужъ, «изъ жениныхъ пажей», станетъ озираться на прошлое!

Это и ея мораль, и мораль отца, и всего круга. А между тѣмъ Софья Павловна индивидуально не безнравственна: она грѣшитъ грѣхомъ невѣдѣнія, слѣпоты, въ которой жили всѣ —

«Свѣтъ не караетъ заблужденій,
Но тайны требуетъ для нихъ!»

Въ этомъ двустишіи Пушкина выражается общій смыслъ условной морали. Софья никогда не прозрѣвала отъ нея и не прозрѣла бы безъ Чацкаго никогда, за неимѣніемъ случая. Послѣ катастрофы, съ минуты появленія Чацкаго— оставаться слѣпой уже невозможно. Его суда, ни обойти забвеніемъ, ни подкупить ложью, ни успокоить—нельзя. Она не можетъ не уважать его, и онъ будетъ вѣчнымъ ея «уко-

ряющимъ свидѣтелемъ», судьей ея прошлаго. Онъ открылъ ей глаза.

До него она не сознавала слѣпоты своего чувства къ Молчалину, и даже, разбирая послѣдняго, въ сценѣ съ Чацкимъ, по ниточкѣ, сама собою не прозрѣла на него. Она не замѣчала, что сама вызвала его на эту любовь, о которой онъ, дрожа отъ страха, и подумать не смѣлъ. Ее не смущали свиданія наединѣ ночью, и она даже проговорилась въ благодарности къ нему въ послѣдней сценѣ, за то, что «въ ночной тиши онъ держался больше робости во нравѣ!» Слѣдовательно и тѣмъ, что она не увлечена окончательно и безвозвратно, она обязана не себѣ самой, а ему!

Наконецъ, въ самомъ началѣ, она проговаривается еще наивнѣе передъ горничной:

«Подумаешь, какъ счастье своенравно»,

говоритъ она, когда отецъ засталъ Молчалина рано утромъ у ней въ комнатѣ:

«Бываетъ хуже—съ рукъ сойдетъ!»

А Молчалинъ просидѣлъ у нея въ комнатѣ цѣлую ночь. Что же разумѣла она подъ этимъ «хуже»? Можно подумать Богъ знаетъ что: honny soit qui mal y pense! Софья Павловна вовсе не такъ виновата, какъ кажется.

Это — смѣсь хорошихъ инстинктовъ съ ложью, живого ума съ отсутствіемъ всякаго намека на идеи и убѣжденія,— путаница понятій, умственная и нравственная слѣпота— все это не имѣетъ въ ней характера личныхъ пороковъ, а является, какъ общія черты ея круга. Въ собственной, личной ея физіономіи, прячется въ тѣни что-то свое, горячее, нѣжное, даже мечтательное. Остальное принадлежитъ воспитанію.

Французскія книжки, на которыя сѣтуетъ Фамусовъ, фортепіано (еще съ аккомпаниментомъ флейты), стихи, французскій языкъ и танцы—вотъ что считалось классическимъ образованіемъ барышни. А потомъ «Кузнецкій мостъ и вѣч-

ныя обновы», балы, такіе какъ этотъ балъ у ея отца, и это общество—вотъ тотъ кругъ, гдѣ была заключена жизнь «барышни». Женщины учились только воображать и чувствовать и не учились мыслить и знать. Мысль безмолвствовала, говорили одни инстинкты. Житейскую мудрость почерпали онѣ изъ романовъ, повѣстей—и оттуда инстинкты развивались въ уродливыя, жалкія, или глупыя свойства: мечтательность, сентиментальность, исканіе идеала въ любви, а иногда и хуже.

Въ снотворномъ застоѣ, въ безвыходномъ морѣ лжи, у большинства женщинъ снаружи господствовала условная мораль—а втихомолку жизнь кипила, за отсутствіемъ здоровыхъ и серьезныхъ интересовъ, вообще всякаго содержанія, тѣми романами, изъ которыхъ и создалась «наука страсти нѣжной». Онѣгины и Печорины — вотъ представители цѣлаго класса, почти породы ловкихъ кавалеровъ, jeunes premiers. Эти передовыя личности въ high life—такими являлись и въ произведеніяхъ литературы, гдѣ и занимали почетное мѣсто со временъ рыцарства и до нашего времени, до Гоголя. Самъ Пушкинъ, не говоря о Лермонтовѣ, дорожилъ этимъ внѣшнимъ блескомъ, этою представительностью du bon ton, манерами высшаго свѣта, подъ которою крылось и «озлобленіе», и «тоскующая лѣнь», и «интересная скука». Пушкинъ щадилъ Онѣгина, хотя касается легкой ироніей его праздности и пустоты, но до мелочи и съ удовольствіемъ описываетъ модный костюмъ, бездѣлки туалета, франтовство — и ту напущенную на себя небрежность и невниманіе ни къ чему, эту fatuité, позированье, которымъ щеголяли дэнди. Духъ позднѣйшаго времени снялъ заманчивую драпировку съ его героя и всѣхъ подобныхъ ему «кавалеровъ», и опредѣлилъ истинное значеніе такихъ господъ, согнавъ ихъ съ перваго плана.

Они и были героями и руководителями этихъ романовъ, и обѣ стороны дрессировались до брака, который погло-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] — [illegible] — [illegible] — [

сить его до себя, до своего круга, дать ему семейныя права. Безъ сомнѣнія ей въ этомъ улыбалась роль властвовать надъ покорнымъ созданіемъ, сдѣлать его счастье и имѣть въ немъ вѣчнаго раба. Не ея вина, что изъ этого выходилъ будущій «мужъ-мальчикъ, мужъ-слуга—идеалъ московскихъ мужей!» На другіе идеалы негдѣ было наткнуться въ домѣ Фамусова.

Вообще къ Софьѣ Павловнѣ трудно отнестись не симпатично: въ ней есть сильные задатки недюжинной натуры, живого ума, страстности и женской мягкости. Она загублена въ духотѣ, куда не проникалъ ни одинъ лучъ свѣта, ни одна струя свѣжаго воздуха. Не даромъ любилъ ее и Чацкій. Послѣ него, она одна изъ всей этой толпы напрашивается на какое-то грустное чувство, и въ душѣ читателя противъ нея нѣтъ того безучастнаго смѣха, съ какимъ онъ разстается съ прочими лицами.

Ей, конечно, тяжелѣе всѣхъ, тяжелѣе даже Чацкаго, и ей достается свой «мильонъ терзаній».

Чацкаго роль — роль страдательная: оно иначе и быть не можетъ. Такова роль всѣхъ Чацкихъ, хотя она въ то же время и всегда побѣдительная. Но они не знаютъ о своей побѣдѣ, они сѣютъ только, а пожинаютъ другіе — и въ этомъ ихъ главное страданіе, т.-е. въ безнадежности успѣха.

Конечно, Павла Аѳанасьевича Фамусова онъ не образумилъ, не отрезвилъ и не исправилъ. Если бъ у Фамусова при разъѣздѣ не было «укоряющихъ свидѣтелей», т.-е. толпы лакеевъ и швейцара — онъ легко справился бы съ своимъ горемъ: далъ бы головомойку дочери, выдралъ бы за ухо Лизу и поторопился бы свадьбой Софьи съ Скалозубомъ. Но теперь нельзя: на утро, благодарѣ сценѣ съ Чацкимъ, вся Москва узнаетъ—и пуще всѣхъ «княгиня Марья Алексѣвна». Покой его возмутится со всѣхъ сторонъ — и поневолѣ заставитъ кое-о-чемъ подумать, что ему въ голову

говорилъ просто: «да и нѣтъ», вмѣсто «да-съ и нѣтъ-съ». Онъ морщится отъ «брусничной воды», въ разочарованіи бранитъ луну «глупой» — и небосклонъ тоже. Онъ привезъ на гривенникъ новаго, и вмѣшавшись «умно», а не какъ Чацкій «глупо», въ любовь Ленскаго и Ольги и убивъ Ленскаго, увезъ съ собою не «мильонъ», а на «гривенникъ» же и терзаній!

Теперь, въ наше время, конечно, сдѣлали бы Чацкому упрекъ, зачѣмъ онъ поставилъ свое «оскорбленное чувство» выше общественныхъ вопросовъ, общаго блага и т. д и не остался въ Москвѣ продолжать свою роль бойца съ ложью и предразсудками, роль—выше и важнѣе роли отвергнутаго жениха?

Да, теперь! А въ то время, для большинства, понятія объ общественныхъ вопросахъ были бы тоже, что для Репетилова толки «о камерѣ и о присяжныхъ». Критика много погрѣшила тѣмъ, что въ судѣ своемъ надъ знаменитыми покойниками сходила съ исторической точки, забѣгала впередъ и поражала ихъ современнымъ оружіемъ. Не будемъ повторять ея ошибокъ — и не обвинимъ Чацкаго за то, что въ его горячихъ рѣчахъ, обращенныхъ къ фамусовскимъ гостямъ, нѣтъ помина объ общемъ благѣ, когда уже и такой расколъ отъ «исканій мѣстъ, отъ чиновъ», какъ «занятіе науками и искусствами», считался «разбоемъ и пожаромъ».

Живучесть роли Чацкаго состоитъ не въ новизнѣ неизвѣстныхъ идей, блестящихъ ипотезъ, горячихъ и дерзкихъ утопій, или даже истинъ en herbe: у него нѣтъ отвлеченностей. Провозвѣстники новой зари, или фанатики, или просто вѣстовщики — всѣ эти передовые курьеры неизвѣстнаго будущаго являются—и по естественному ходу общественнаго развитія — должны являться, но ихъ роли и физіономіи до безконечности разнообразны.

Роль и физіономія Чацкихъ неизмѣнна. Чацкій больше

нымъ»,—свобода «служить или не служить», «жить въ деревнѣ, или путешествовать», не слывя за то ни разбойникомъ, ни зажигателемъ, — и рядъ дальнѣйшихъ очередныхъ подобныхъ шаговъ къ свободѣ—отъ несвободы.

И Фамусовъ, и другіе знаютъ это и, конечно, про себя всѣ согласны съ нимъ, но борьба за существованіе мѣшаетъ имъ уступить.

Отъ страха за себя, за свое безмятежно-праздное существованіе, Фамусовъ затыкаетъ уши и клевещетъ на Чацкаго, когда тотъ заявляетъ ему свою скромную программу «свободной жизни». Между прочимъ—

«Кто путешествуетъ, въ деревнѣ кто живетъ»,

—говоритъ онъ, а тотъ съ ужасомъ возражаетъ:

«Да онъ властей не признаетъ!»

Итакъ, лжетъ и онъ, потому что ему нѣчего сказать, и лжетъ все то, что̀ жило ложью въ прошломъ. Старая правда никогда не смутится передъ новой — она возьметъ это новое, правдивое и разумное бремя на свои плечи. Только больное, ненужное, боится ступить очередной шагъ впередъ.

Чацкій сломленъ количествомъ старой силы, нанеся ей въ свою очередь смертельный ударъ качествомъ силы свѣжей.

Онъ вѣчный обличитель лжи, запрятавшейся въ пословицу: «одинъ въ полѣ не воинъ». Нѣтъ, воинъ, если онъ Чацкій, и притомъ побѣдитель, но передовой воинъ, застрѣльщикъ и—всегда жертва.

Чацкій неизбѣженъ при каждой смѣнѣ одного вѣка другимъ. Положеніе Чацкихъ на общественной лѣстницѣ разнообразно, но роль и участь все одна, отъ крупныхъ государственныхъ и политическихъ личностей, управляющихъ судьбами массъ, до скромной доли въ тѣсномъ кругу.

Всѣми ими управляетъ одно: раздраженіе при различныхъ мотивахъ. У кого, какъ у Грибоѣдовскаго Чацкаго, любовь, у другихъ самолюбіе или славолюбіе — но всѣмъ

имъ достается въ удѣлъ свой «мильонъ терзаній», и никакая высота положенія не спасаетъ отъ него. Очень не многимъ, просвѣтленнымъ Чацкимъ, дается утѣшительное сознаніе, что они не даромъ бились — хотя и безкорыстно, но для себя и не за себя, а для будущаго, и за всѣхъ, и успѣли.

Кромѣ крупныхъ и видныхъ личностей, при рѣзкихъ переходахъ изъ одного вѣка въ другой — Чацкіе живутъ и не переводятся въ обществѣ, повторяясь на каждомъ шагу, въ каждомъ домѣ, гдѣ подъ одной кровлей уживается старое съ молодымъ, гдѣ два вѣка сходятся лицомъ къ лицу въ тѣснотѣ семействъ, — все длится борьба свѣжаго съ отжившимъ, больного съ здоровымъ, и все бьются въ поединкахъ, какъ Гораціи и Куріаціи, — миніатюрные Фамусовы и Чацкіе.

Каждое дѣло, требующее обновленія, вызываетъ тѣнь Чацкаго—и кто бы ни были дѣятели, около какого бы человѣческаго дѣла,—будетъ ли то новая идея, шагъ въ наукѣ, въ политикѣ, въ войнѣ — ни группировались люди — имъ никуда не уйти отъ двухъ главныхъ мотивовъ борьбы: отъ совѣта «учиться, на старшихъ глядя» съ одной стороны, и отъ жажды стремиться отъ рутины къ «свободной жизни» впередъ и впередъ, съ другой.

Вотъ отчего не состарѣлся до сихъ поръ и едва ли состарѣется когда-нибудь Грибоѣдовскій Чацкій, а съ нимъ и вся комедія. И литература не выбьется изъ магическаго круга, начертаннаго Грибоѣдовымъ, какъ только художникъ коснется борьбы понятій, смѣны поколѣній. Онъ, или дастъ типъ крайнихъ, несозрѣвшихъ передовыхъ личностей, едва намекающихъ на будущее, и потому недолговѣчныхъ, какихъ мы уже пережили не мало въ жизни и въ искусствѣ,—или создастъ видоизмѣненный образъ Чацкаго, какъ послѣ Сервантесовскаго Донъ-Кихота и Шекспировскаго Гамлета, являлись и являются безконечныя ихъ подобія.

Въ честныхъ, горячихъ рѣчахъ этихъ позднѣйшихъ Чацкихъ будутъ вѣчно слышаться Грибоѣдовскіе мотивы и слова, — и если не слова, то смыслъ и тонъ раздражительныхъ монологовъ его Чацкаго. Отъ этой музыки здоровые герои въ борьбѣ со старымъ не уйдутъ никогда.

И въ этомъ безсмертіе стиховъ Грибоѣдова! Много можно бы привести Чацкихъ—являвшихся на очередной смѣнѣ эпохъ и поколѣній—въ борьбахъ за идею, за дѣло, за правду, за успѣхъ, за новый порядокъ, на всѣхъ ступеняхъ, во всѣхъ слояхъ русской жизни и труда — громкихъ великихъ дѣлъ и скромныхъ кабинетныхъ подвиговъ. О многихъ изъ нихъ хранится свѣжее преданіе, другихъ мы видѣли и знали, а иные еще продолжаютъ борьбу. Обратимся къ литературѣ. Вспомнимъ, не повѣсть, не комедію, не художественное явленіе, а возьмемъ одного изъ позднѣйшихъ бойцовъ съ старымъ вѣкомъ, напримѣръ, Бѣлинскаго. Многіе изъ насъ знали его лично, а теперь знаютъ его всѣ. Прислушайтесь къ его горячимъ импровизаціямъ — и въ нихъ звучатъ тѣ же мотивы и тотъ же тонъ, какъ у Грибоѣдовскаго Чацкаго. И также онъ умеръ, уничтоженный «мильономъ терзаній», убитый лихорадкой ожиданія и недождавшійся исполненія своихъ грёзъ, которыя теперь— уже не грёзы больше.

Оставя политическія заблужденія Герцена, гдѣ онъ вышелъ изъ роли нормальнаго героя, изъ роли Чацкаго, этого съ головы до ногъ русскаго человѣка, — вспомнимъ его стрѣлы, бросаемыя въ разные темные, отдаленные углы Россіи, гдѣ онѣ находили виноватаго. Въ его сарказмахъ слышится эхо Грибоѣдовскаго смѣха и безконечное развитіе остротъ Чацкаго.

И Герценъ страдалъ отъ «мильона терзаній», можетъ быть всего болѣе отъ терзаній Репетиловыхъ его же лагеря, которымъ у него при жизни недостало духа сказать: «ври, да знай же мѣру!»

Но онъ не унесъ этого слова въ могилу, сознавшись по смерти въ «ложномъ стыдѣ», помѣшавшемъ сказать его.

Наконецъ — послѣднее замѣчаніе о Чацкомъ. Дѣлаютъ упрекъ Грибоѣдову въ томъ, что будто Чацкій — не облеченъ такъ художественно, какъ другія лица комедіи, въ плоть и кровь, что въ немъ мало жизненности. Иные даже говорятъ, что это не живой человѣкъ, а абстрактъ, идея, ходячая мораль комедіи, а не такое полное и законченное созданіе, какъ, напримѣръ, фигура Онѣгина и другихъ выхваченныхъ изъ жизни типовъ.

Это несправедливо. Ставить рядомъ съ Онѣгинымъ Чацкаго нельзя: строгая объективность драматической формы не допускаетъ той широты и полноты кисти, какъ эпическая. Если другія лица комедіи являются строже и рѣзче очерченными, то этимъ они обязаны пошлости и мелочи своихъ натуръ, легко исчерпываемыхъ художникомъ въ легкихъ очеркахъ. Тогда какъ въ личности Чацкаго, богатой и разносторонней, могла быть въ комедіи рельефно взята одна господствующая сторона, — а Грибоѣдовъ успѣлъ намекнуть и на многія другія.

Потомъ—если приглядѣться вѣрнѣе къ людскимъ типамъ въ толпѣ — то едва ли не чаще другихъ встрѣчаются эти честныя, горячія, иногда желчныя личности, которыя не прячутся покорно въ сторону отъ встрѣчной уродливости, а смѣло идутъ навстрѣчу ей и вступаютъ въ борьбу, часто не равную, всегда со вредомъ себѣ и безъ видимой пользы дѣлу. Кто не зналъ или не знаетъ, каждый въ своемъ кругу, такихъ умныхъ, горячихъ, благородныхъ сумасбродовъ, которые производятъ своего рода кутерьму въ тѣхъ кругахъ, куда ихъ занесетъ судьба, за правду, за честное убѣжденіе!

Нѣтъ, Чацкій—по нашему мнѣнію—изъ всѣхъ наиболѣе живая личность, и какъ человѣкъ, и какъ исполнитель указанной ему Грибоѣдовымъ роли. Но, повторяемъ, натура

его сильнѣе и глубже прочихъ лицъ, и потому не могла быть исчерпана въ комедіи.

Наконецъ, позволимъ себѣ высказать нѣсколько замѣчаній объ исполненіи комедіи на сценѣ въ недавнее время, а именно, въ бенефисъ Монахова, и о томъ, чего бы могъ зритель пожелать отъ исполнителей.

Если читатель согласится, что въ комедіи, какъ мы сказали, движеніе горячо и непрерывно поддерживается отъ начала до конца, то изъ этого само собою должно слѣдовать, что пьеса въ высшей степени сценична. Она такова и есть. Двѣ комедіи какъ будто вложены одна въ другую: одна, такъ-сказать, частная, мелкая, домашняя, между Чацкимъ, Софьей, Молчалинымъ и Лизой; это интрига любви, вседневный мотивъ всѣхъ комедій. Когда первая прерывается, въ промежуткѣ неожиданно другая, и дѣйствіе завязывается снова, частная комедія разыгрывается въ общую битву и связывается въ одинъ узелъ.

Артисты, вдумывающіеся въ общій смыслъ и ходъ пьесы, и каждый въ свою роль, найдутъ широкое поле для дѣйствія. Труда къ одолѣнію всякой, даже незначительной роли, не мало, — тѣмъ болѣе, чѣмъ добросовѣстнѣе и тоньше будетъ относиться къ искусству артистъ.

Нѣкоторые критики возлагаютъ на обязанность артистовъ исполнять и историческую вѣрность лицъ, съ колоритомъ времени во всѣхъ деталяхъ, даже до костюмовъ, т. е. до фасона платьевъ, причесокъ включительно.

Это трудно, если не совсѣмъ невозможно. Какъ историческіе типы, эти лица, какъ сказано выше, еще блѣдны, а живыхъ оригиналовъ теперь не найдешь: штудировать не съ чего. Точно такъ же и съ костюмами. Старомодные фраки, съ очень высокой, или очень низкой таліей, женскія платья съ высокимъ лифомъ, высокія прически, старые чепцы—во всемъ этомъ дѣйствующія лица покажутся бѣгле-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

пени можно сказать то же и о «Горѣ отъ ума». И тамъ больше всего игры въ языкѣ: можно снести неловкость мимическую, но каждое слово съ невѣрной интонаціей будетъ рѣзать ухо, какъ фальшивая нота.

Не надо забывать, что такія пьесы, какъ «Горе отъ ума», «Борисъ Годуновъ», публика знаетъ наизусть, и не только слѣдитъ за мыслью, за каждымъ словомъ, но чуетъ, такъ-сказать, нервами каждую ошибку въ произношеніи. Ими можно наслаждаться, не видя, а только слыша ихъ. Эти пьесы исполнялись и исполняются нерѣдко въ частномъ быту, просто чтеніемъ между любителями литературы, когда въ кругу найдется хорошій чтецъ, умѣющій тонко передавать эту, своего рода литературную музыку.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, говорятъ, эта пьеса была представлена въ лучшемъ петербургскомъ кругу съ образцовымъ искусствомъ, которому, конечно, кромѣ тонкаго критическаго пониманія пьесы, много помогалъ и ансамбль въ тонѣ, манерахъ, и особенно умѣньѣ отлично читать.

Исполняли ее въ Москвѣ въ 30-хъ годахъ съ полнымъ успѣхомъ. До сихъ поръ мы сохранили впечатлѣнія о той игрѣ: Щепкина (Фамусова), Мочалова (Чацкаго), Ленскаго (Молчалина), Орлова (Скалозуба), Сабурова (Репетилова).

Конечно, этому успѣху много содѣйствовало поражавшее тогда новизною и смѣлостью открытое нападеніе со сцены на многое, что̀ еще не успѣло отойти, до чего боялись дотрогиваться даже въ печати. Потомъ Щепкинъ, Орловъ, Сабуровъ выражали типично еще живыя подобія запоздавшихъ Фамусовыхъ, кое-гдѣ уцѣлѣвшихъ Молчалиныхъ, или прятавшихся въ партерѣ за спину сосѣда Загорѣцкихъ.

Все это, безспорно, придавало огромный интересъ пьесѣ, но и помимо этого, помимо даже высокихъ талантовъ этихъ артистовъ и истекавшей оттуда типичности исполненія каждымъ изъ нихъ своей роли, въ ихъ игрѣ, какъ въ отличномъ хорѣ пѣвцовъ, поражалъ необыкновенный ансамбль всего

[illegible] тончайшихъ [illegible], а главное, они тонко [illegible] и [illegible] или необыкновенные стихи. [illegible] темой, [illegible] и расстановкой», какая [illegible] Мелодия, [illegible] Шелгунов. [illegible] и [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

кія-то два-три лица. Вообще все смотритъ какъ-то тускло, несвѣжо, безцвѣтно.

Въ игрѣ, вмѣсто ансамбля, господствуетъ разладица, точно въ хорѣ, не успѣвшемъ спѣться. Въ новой пьесѣ и можно бы было предположить эту причину, но нельзя же допустить, чтобы эта комедія была для кого-нибудь нова въ трупѣ.

Половина пьесы проходитъ неслышно. Вырвутся два-три стиха явственно, другіе два произносятся актеромъ какъ-будто только для себя—въ сторону отъ зрителя. Дѣйствующія лица хотятъ играть Грибоѣдовскіе стихи, какъ текстъ водевиля. Въ мимикѣ у нѣкоторыхъ много лишней суеты, этой мнимой, фальшивой игры. Даже и тѣ, кому приходится сказать два-три слова, сопровождаютъ ихъ, или усиленными, ненужными на нихъ удареніями, или лишними жестами, не то такъ какой-то игрой въ походкѣ, чтобы дать замѣтить о себѣ на сценѣ, хотя эти два-три слова, сказанныя умно, съ тактомъ, были бы замѣчены гораздо больше, нежели всѣ тѣлесныя упражненія.

Иные изъ артистовъ какъ будто забываютъ, что дѣйствіе происходитъ въ большомъ московскомъ домѣ. Напримѣръ, Молчалинъ, хотя и бѣдный маленькій чиновникъ, но онъ живетъ въ лучшемъ обществѣ, принятъ въ первыхъ домахъ, играетъ съ знатными старухами въ карты, слѣдовательно, не лишенъ въ манерахъ и тонѣ извѣстныхъ приличій. Онъ «вкрадчивъ, тихъ», говорится о немъ въ пьесѣ. Это домашній котъ, мягкій, ласковый, который бродитъ вездѣ по дому, и если блудитъ, то втихомолку и прилично. У него не можетъ быть такихъ дикихъ ухватокъ, даже когда онъ бросается къ Лизѣ, оставшись съ ней наединѣ, какіе усвоилъ ему актеръ, играющій его роль.

Большинство артистовъ не можетъ также похвастаться исполненіемъ того важнаго условія, о которомъ сказано выше, именно вѣрнымъ, художественнымъ чтеніемъ. Давно

жалуются, что будто бы съ русской сцены все болѣе и болѣе удаляется это капитальное условіе. Ужели вмѣстѣ съ декламаціей старой школы изгнано и вообще умѣнье читать, произносить художественную рѣчь, какъ будто это умѣнье стало лишнее или не нужное? Слышатся даже чуть-чуть жалобы на нѣкоторыхъ корифеевъ сцены и комедіи, что они не даютъ себѣ труда учить ролей!

Что же затѣмъ остается дѣлать артистамъ? Что они разумѣютъ подъ исполненіемъ ролей? Гримировку? Мимику?

Съ которыхъ же поръ явилось это небреженіе къ искусству? Мы помнимъ и петербургскую, и московскую сцены въ блестящемъ періодѣ ихъ дѣятельности, начиная со Щепкина, Каратыгиныхъ, до Самойлова, Садовскаго. Здѣсь держатся еще немногіе ветераны старой петербургской сцены, и между ними имена Самойлова, Каратыгина напоминаютъ золотое время, когда на сценѣ являлись Шекспиръ, Мольеръ, Шиллеръ — и тотъ же Грибоѣдовъ, котораго мы приводимъ теперь, и все это давалось вмѣстѣ съ роемъ разныхъ водевилей, переводокъ съ французскаго и т. п. Но ни эти переводки, ни водевили, не мѣшали отличному исполненію ни «Гамлета», ни «Лира», ни «Скупого».

Въ отвѣтъ на это слышишь съ одной стороны, что будто вкусъ публики испортился (какой публики?), обратился къ фарсу, и что послѣдствіемъ этого была и есть привычка артистовъ отъ серьезной сцены и серьезныхъ, художественныхъ ролей; а съ другой, что и самыя условія искусства измѣнились, отъ историческаго рода, отъ трагедіи, высокой комедіи — общество ушло, какъ изъ-подъ тяжелой тучи, и обратилось къ буржуазной, такъ-называемой драмѣ и комедіи, наконецъ, къ жанру.

Разборъ этой «порчи вкуса» или видоизмѣненія старыхъ основъ искусства въ новыя, отвлекъ бы насъ отъ «Горя отъ ума» и, пожалуй, привелъ бы къ какому-нибудь другому, столь безвыходному горю. Лучше примемъ второе

возраженіе (о первомъ не стоитъ говорить, такъ какъ оно говоритъ само за себя) за совершившійся фактъ и допустимъ эти видоизмѣненія, хотя замѣтимъ мимоходомъ, что на сценѣ появляются еще Шекспиръ и новыя историческія драмы, какъ «Смерть Іоанна Грознаго», «Василиса Мелентьева», «Шуйскій» и др., требующія того самаго умѣнья читать, о которомъ мы говоримъ. Но вѣдь кромѣ этихъ драмъ, есть на сценѣ другія произведенія новаго времени, писанныя прозой, и проза эта почти такъ же, какъ Пушкинскіе и Грибоѣдовскіе стихи, имѣетъ свое типичное достоинство и требуетъ такого же яснаго и отчетливаго исполненія, какъ и чтеніе стиховъ. Каждая фраза Гоголя такъ же типична и такъ же заключаетъ въ себѣ свою особую комедію, независимо отъ общей фабулы, какъ и каждый Грибоѣдовскій стихъ. И только глубоко-вѣрное, во всей залѣ слышимое, отчетливое исполненіе, т. е. сценическое произношеніе этихъ фразъ и можетъ выразить то значеніе, какое далъ имъ авторъ. Многія пьесы Островскаго тоже въ значительной степени имѣютъ эту типичную сторону языка и часто фразы изъ его комедій слышатся въ разговорной рѣчи, въ разныхъ примѣненіяхъ къ жизни.

Публика помнитъ, что Сосницкій, Щепкинъ, Мартыновъ, Максимовъ, Самойловъ, въ роляхъ этихъ авторовъ, не только создавали типы на сценѣ,—что, конечно, зависитъ отъ степени таланта, — но и умнымъ и рельефнымъ произношеніемъ сохраняли всю силу и образцоваго языка, давая вѣсъ каждой фразѣ, каждому слову. Откуда же, какъ не со сцены, можно желать слышать и образцовое чтеніе образцовыхъ произведеній?

Вотъ на утрату этого литературнаго, такъ-сказать, исполненія художественныхъ произведеній, кажется, справедливо жалуются въ послѣднее время въ публикѣ.

Кромѣ слабости исполненія въ общемъ ходѣ, относительно вѣрности пониманія пьесы, недостатка въ искусствѣ чтенія

и т. п., можно бы остановиться еще на нѣкоторыми неѣрностями въ деталяхъ — но бы не хотѣть показаться придирчивыми — тѣмъ болѣе, что мелкія или частныя неѣрности, происходящія отъ небрежности, исчезнутъ, если артисты отнесутся къ болѣе внимательнымъ критическимъ анализомъ къ пьесѣ.

Пожелаемъ же, чтобы артисты наши, изъ всей массы пьесъ, которыми они завалены по воимъ обязанностямъ — съ любовью къ искусству вытянули художественныя произведенія. Ихъ такъ немного у насъ — и между прочимъ особенно «Горе отъ ума» — и оставивъ изъ нихъ ами для себя избранный репертуаръ — исполняли бы ихъ иначе, нежели такъ исполняется ими все прочее, что имъ приходится играть ежедневно, — и они непремѣнно будутъ исполнять такъ, какъ хотятъ.

ЗАМѢТКИ О ЛИЧНОСТИ БѢЛИНСКАГО *).

На мой взглядъ это была одна изъ тѣхъ горячихъ и воспріимчивыхъ натуръ, которыя привыкли приписывать обыкновенно искреннимъ и самобытнымъ художникамъ.

Такія натуры встрѣчаются нерѣдко — я ихъ наблюдалъ вездѣ, гдѣ онѣ попадались: и въ своихъ товарищахъ по перу, и гораздо раньше, начиная со школы, наблюдалъ и въ самомъ себѣ—и во множествѣ экземпляровъ—и во всѣхъ находилъ неизбѣжныя родовыя сходственныя черты, часто рядомъ съ поразительными несходствами, составлявшими особенности видовъ или индивидуумовъ. Всѣ эти наблюденія привели меня къ фигурѣ Райскаго въ романѣ «Обрывъ», этой жертвѣ своего темперамента и богатой, но не направленной ни на какую цѣль фантазіи. Послѣдняя была въ немъ праздною, безполезною силой, и, безъ строгой его подготовки къ какому бы то ни было дѣлу, разрѣшалась у него только въ безплодныхъ порывахъ къ дѣятельности и уродовала самую его жизнь.

*) Эти замѣтки извлечены изъ письма, писаннаго въ 1874 году, къ А. Н. Пыпину, по случаю собиранія имъ свѣдѣній отъ знавшихъ лично Бѣлинскаго, для біографіи послѣдняго.

Но другія, богато одаренныя натуры, ставъ твердой ногой на почвѣ своего призванія, подчиняютъ фантазію сознательной силѣ ума и создаютъ цѣлую сферу производительной дѣятельности. Такъ было и съ Бѣлинскимъ.

Но напрасно приписывать избытокъ фантазіи и воспріимчивости только художническимъ натурамъ. Не однимъ художникамъ нужно творчество: это я говорю вопреки мнѣнію Бѣлинскаго, или по крайней мѣрѣ вопреки его словамъ, не разъ слышаннымъ мною отъ него, что «Богъ далъ человѣку быть творцомъ только въ искусствѣ».

Тутъ есть нѣчто недосказанное. Совершенно справедливо, что въ искусствѣ художникъ создаетъ или изобрѣтаетъ сходства и подобія, т.-е. образы существующаго или возможнаго въ природѣ, а въ сферѣ знанія ученый только угадываетъ или открываетъ скрытые законы или готовыя истины. Но, сколько мнѣ кажется, въ процессахъ самаго этого угадыванія или этихъ открытій дѣйствуютъ также изобрѣтательные или творческіе силы и пріемы. Не одинъ Ньютонъ наблюдалъ падающія съ дерева яблоки и не одинъ Фультонъ видѣлъ, какъ привскакиваетъ крышка на чайникѣ отъ пара— однако не угадывали же другіе законовъ тяготѣнія или парового движенія, — слѣдовательно и тотъ, и другой были какъ бы творцы этихъ законовъ.

Такимъ образомъ нервозность, т.-е. тонкіе и чуткіе нервы, а вслѣдствіе этого впечатлительность и помощь фантазіи присущи, какъ необходимый элементъ, всякой работѣ, требующей иниціативы мысли и изобрѣтательной производительности, не говоря уже о наукѣ, искусствѣ, но даже въ ремеслахъ, чему мы видимъ не мало примѣровъ. Талантливый ремесленникъ, съ помощью этой же фантазіи, дѣлаетъ новые, смѣлые шаги въ ремеслѣ, и иногда возводитъ его на степень искусства...

Чуткость нервъ и фантазія въ художникахъ (живописцахъ, поэтахъ, актерахъ) только разнообразнѣе и каприз-

нѣе проявляется, по самому свойству и натурѣ ихъ дѣла, по образу жизни и прочимъ условіямъ.

И Бѣлинскій въ сферѣ своей дѣятельности также творилъ по-своему, т.-е. угадывалъ смыслъ явленія, чуялъ въ немъ правду, или ложь, опредѣлялъ характеръ его, и если явленіе представляло пищу увлеченію, онъ довѣрчиво увлекался самъ и увлекалъ другихъ. Переживъ впечатлѣніе въ самомъ себѣ, истративъ на него потоки, болѣе или менѣе горячихъ печатныхъ или изустныхъ, импровизацій, онъ потомъ оставался ему вѣренъ уже въ той долѣ правды, не какую онъ видѣлъ въ пылу увлеченія, а какая дѣйствительно была въ немъ—и относился къ нему умѣреннѣе.

Наконецъ у него были постоянныя увлеченія или влеченія, плоды не одной только фантазіи, или напряженной работы непрерывнаго умственнаго развитія: они составляли основу его честной и прямой натуры. Это влеченія къ идеаламъ свободы, правды, добра, человѣчности, при чемъ онъ нерѣдко ссылался на евангеліе — и не помню гдѣ, — даже печатно. Этимъ идеаламъ онъ не измѣнялъ, конечно, никогда и на всякаго, сколько-нибудь близкаго ему человѣка, смотрѣлъ не иначе, какъ на своего единомышленника, иногда не давая себѣ труда всмотрѣться, дѣйствительно ли это было такъ. Никакихъ уклоненій отъ этихъ путеводныхъ своихъ началъ онъ ни въ комъ не допускалъ и не простилъ бы никому иного исповѣданія въ нравственныхъ, политическихъ или соціальныхъ взглядахъ, кромѣ тѣхъ, какія принималъ и проповѣдывалъ самъ, разумѣется въ теоріи, ибо на практикѣ это было непримѣнимо въ то время нигдѣ, кромѣ робкаго проговариванья или намековъ въ статьяхъ, да толковъ въ тѣсномъ кругу друзей.

Въ стремленіи или въ порывахъ, повторяю безплодныхъ, тогда казавшихся даже безнадежными, къ этимъ послѣднимъ идеаламъ особенно высказывалось его горячее нетерпѣніе, иногда до ребячества. Въ туманѣ новой какой-нибудь идеи,

чиво. Онъ иногда не только терпѣлъ около себя людей довольно ограниченныхъ, но любилъ съ ними бесѣдовать, когда между ними ничего не было общаго, кромѣ вѣры въ одну какую-нибудь идею, иногда совершенно абстрактную, но манившую въ даль, къ отдаленному, часто недостижимому идеалу.

О чемъ они могли говорить съ Бѣлинскимъ подолгу — понять было трудно. Это объяснялось между прочимъ трогательною, почти дѣтскою снисходительностью Бѣлинскаго къ своимъ пріятелямъ и ко всему, что ихъ составляло, что имъ принадлежало. Возбудить его противъ себя можно было только какою-нибудь моральною гадостью, или нужно было расходиться съ нимъ, какъ сказано выше, въ коренныхъ убѣжденіяхъ, и то, если бъ это обнаружилось какъ-нибудь на практикѣ, въ жизни—а затѣмъ, будь пріятель его чѣмъ хочешь, онъ не терялъ права на его дружелюбіе, однажды пріобрѣтенное, особенно, если еще это выкупалось чѣмъ-нибудь, напримѣръ, талантомъ, или просто даже безмолвнымъ сочувствіемъ его идеямъ и идеаламъ.

Ни въ комъ никогда не замѣчалъ я, чтобы самолюбіе проявлялось такъ тонко, скромно и умно, какъ въ Бѣлинскомъ. Онъ не могъ не замѣчать дѣйствія своей силы въ обществѣ — и конечно дорожилъ этимъ: но надо было пристально вглядываться въ него, чтобы ловить и угадывать въ немъ слабые признаки сознанія своей силы: такъ онъ чуждъ былъ всякаго внѣшняго проявленія этого сознанія. Самъ онъ никогда не упоминалъ о своемъ значеніи.

Когда я узналъ Бѣлинскаго въ 1846 г., здоровье его было подорвано, хотя болѣзнь еще не развилась до той степени, какъ въ послѣдній годъ его жизни. Онъ былъ еще довольно бодръ, посѣщалъ однако немногихъ и его посѣщали тоже немногіе и не часто. Онъ началъ, повидимому, утомляться и своею любимою дѣятельностью, мечталъ иногда, вслухъ, впрочемъ рѣдко, о независимомъ положеніи отъ

двухъ, являлась импровизація, въ родѣ тѣхъ статей, какія появлялись въ «Отечественныхъ Запискахъ».

И вотъ эта нервозная, впечатлительная и раздражительная натура, при слабости легкихъ, и вообще хрупкости организма,—убила, сожгла этого человѣка. Я засталъ его, когда онъ очевидно догоралъ въ борьбѣ, со всѣмъ враждебнымъ, чѣмъ обставлена была его жизнь, какъ и жизнь почти всѣхъ болѣе или менѣе въ то время, и въ томъ кругу. Но онъ не совладѣлъ съ хаотическимъ состояніемъ собственныхъ силъ, въ которыхъ никогда не было равновѣсія, не только на какой-нибудь болѣе или менѣе продолжительный періодъ, на годъ, на полгода, напримѣръ, чтобы успокоиться и отдохнуть: но выдалась ли и такая недѣля когда-нибудь, чтобъ онъ не истерзался чѣмъ-нибудь до истощенія и упадка силъ!

Если ничего не приходило извнѣ, онъ хватался за свои постоянные и любимые, большею частью недосягаемые идеалы, общіе и вѣчные вопросы о той или другой свободѣ, о низверженіи тѣхъ или другихъ старыхъ кумировъ, и никогда ни отъ чего не отдыхалъ, потому что покой вообще не свойственъ натурамъ нервнымъ, даже и не въ его роли и не при его значеніи. Надо еще удивляться, какъ, при этой непрерывной напряженной работѣ умственныхъ и душевныхъ силъ въ такомъ скудельномъ сосудѣ, жизнь могла прогорѣть почти до сорока лѣтъ!

По этому сваливать преждевременный конецъ его на что-нибудь другое, кромѣ этихъ разрушительныхъ и жгучихъ свойствъ его натуры, непрестаннаго броженія и горѣнія которыхъ не выдержалъ бы и другой, не такой хрупкій сосудъ—и несправедливо, и невѣрно! Какъ тогда старались, такъ и теперь все еще стараются сваливать вину, то на одного, то на другого изъ журналистовъ, обременявшихъ непосильною работой Бѣлинскаго. И самъ онъ, хотя жаловался иногда на утомленіе и мечталъ, какъ я сказалъ вы-

ше, о независимомъ положеніи, о покоѣ, но эти рѣдкія мечты были, такъ сказать, общими мѣстами жалобъ, какія приходятъ на умъ и на языкъ каждому изъ насъ среди спѣшныхъ или утомительныхъ занятій.

Да и возможенъ ли отдыхающій Бѣлинскій? Безъ непрерывной работы, безъ этого кипѣнія и броженія вопросовъ и мнѣній внѣ литературной лихорадки, — я не умѣю представить себѣ его. Когда его повезли за границу—онъ былъ самъ не свой.—«Хорошо ли вамъ было тамъ?» — спросилъ я его по возвращеніи.—«Плѣненіе вавилонское!» Вотъ какъ выразился онъ про свое лѣченіе и отдыхъ.

Нѣтъ, ему необходима была его спѣшная, лихорадочная работа,—нуженъ и дорогъ былъ и свой маленькій кружокъ, въ своей семьѣ, у очага, среди пяти-шести близкихъ лицъ, гдѣ онъ бился и трепеталъ природною своей жизнью, изливалъ потоки силы, служа своему призванію—и этимъ удовлетворялъ себя, и самъ чувствовалъ эту свою силу и давалъ чувствовать ее другимъ — этимъ наслаждался, этимъ только и жилъ, т. е. горячимъ лихорадочнымъ писаніемъ статей и еще болѣе горячими, лихорадочными, иногда почти горячечными импровизаціями въ кругу близкихъ лицъ.

Это былъ не критикъ, не публицистъ, не литераторъ только—а трибунъ. Публичная его трибуна—въ журналѣ; другая, необходимая ему, дополнявшая первую, совершенно свободная, гдѣ онъ былъ нараспашку, это домашняя трибуна, гдѣ онъ не только зналъ, но, такъ сказать, видѣлъ свою силу, повѣрялъ, измѣрялъ ее, любовался ею самъ, глядя, какъ наслаждаются ею другіе. Отъ этого и были къ нему ближе всѣхъ тѣ, кто любилъ въ немъ больше всего его талантъ, даже больше нежели его самого! Не допускать этого, значитъ не понимать хорошо натуръ этого рода. Самолюбіе—иногда грубый, иногда сдержанный, но всегда главный, а у многихъ и единственный двигатель дѣятельности, а часто и всей жизни. Я сказалъ уже выше, какъ умно и

тонко высказывалось оно у Бѣлинскаго—именно въ благодарной симпатіи къ почитателямъ его силы.

Многолюдства, новыхъ людей онъ не любилъ и избѣгалъ. Богатая натура его и чуткая впечатлительность не нуждались въ количествѣ лицъ и впечатлѣній. Свой внутренній міръ и западающія туда рѣдкія явленія давали громадную пищу его неумолкающему и безпощадному анализу, и онъ едва справлялся съ тѣмъ матеріаломъ, который попадался ему такъ-сказать—на лету, случайно, или на который наводили его занятія по журналу. Онъ мало даже читалъ газеты, какъ-то однимъ ухомъ слушалъ внѣшнія извѣстія, которыя занесетъ, бывало, то тотъ, то другой пріятель; но во всемъ находилось всегда довольно матеріала на промежуточный какой-нибудь день или вечеръ между писаніемъ статей. Все почти служило ему темой для болѣе или менѣе тонкаго, иногда бурнаго, или злого, или наоборотъ восторженнаго словоизліянія. Онъ маялся и скучалъ, ходя изъ угла въ уголъ, когда не было подходящаго собесѣдника; ему приводили новое лицо, т.-е. недавняго, еще непривыкшаго къ нему знакомаго, и когда наконецъ никого не было, кромѣ своихъ, устроивали партію въ преферансъ.

Если не было очередного, насущнаго матеріала, онъ изъ себя добудетъ пищу. Придешь, бывало, а онъ вдругъ заговоритъ, повидимому, ни съ того, ни съ сего (а конечно вслѣдствіе кипѣвшей въ немъ внутренней работы) о какомъ-нибудь, какъ помню однажды, напримѣръ, «Прометеѣ» Гёте; и въ эту минуту уже ничего выше этого Прометея не было! Или вдругъ нападетъ на какой-нибудь авторитетъ, которому всѣ привыкли слѣпо поклоняться,—и низвергнетъ его. Не то такъ возьметъ текущую новость, крутую административную мѣру,—и польются потоки рѣчей, полные тонкаго анализа, мѣткихъ опредѣленій, горячихъ осужденій. Особенно цензура подавала пищу его словесной критикѣ. Чего тутъ не было! И въ то же время онъ боялся шпіоновъ, и сколько

ныхъ капитальныхъ, любимыхъ имъ, произведеній, но онъ съ любовью анализировалъ каждую мелочь въ нихъ, иногда впадая въ ребячество до комизма! Стòитъ развернуть нѣкоторыя статьи о Гоголѣ, гдѣ онъ говоритъ, или, лучше сказать, трепещетъ подъ его живымъ вліяніемъ. Напримѣръ, въ статьѣ о «Горе отъ ума», посвященной больше всего Гоголю, а не Грибоѣдову, чтò онъ говоритъ о *гусакѣ* Ивана Никифоровича: безъ смѣха нельзя читать! «Великая, безконечно великая черта художническаго генія этотъ гусакъ!»—восклицаетъ онъ съ паѳосомъ и пишетъ цѣлую страницу о *гусакѣ* *).

Бѣлинскому нерѣдко приходилось стыдиться своихъ увлеченій и краснѣть за прежнихъ идоловъ. Тогда онъ отъ хвалебныхъ гимновъ переходилъ въ другой, противоположный тонъ—и не скупился на сарказмы, забывъ прежнюю нѣжность къ своимъ любимцамъ. Когда онъ въ первыя мои свиданія съ нимъ, осыпалъ меня добрыми, ласковыми словами, «рисуя» свой критическій взглядъ на меня мнѣ самому и заглядывая въ мое будущее, я остановилъ его однажды.—«Я былъ бы очень радъ,—сказалъ я,—если бъ вы лѣтъ черезъ пять повторили хоть десятую часть того, что говорите о моей книгѣ («Обыкновенная Исторія») теперь». — «Отчего?»—спросилъ онъ съ удивленіемъ.

«А оттого,—продолжалъ я,—что я помню, чтò вы прежде писали о С., какъ лестно отзывались о его талантѣ,—а какъ вы теперь цѣните его!»—(А онъ тогда уже развѣнчалъ его, и сравнивая со всѣмъ, чтò появилось въ литературѣ послѣ, лишилъ его совсѣмъ прошлой, впрочемъ неоспоримой заслуги, какъ будто его и не было вовсе въ литературѣ).

Мое справедливое замѣчаніе, сдѣланное мною, впрочемъ, вскользь, шутливымъ, пріятельскимъ тономъ, неожиданно тронуло и задѣло его за живое. Онъ задумчиво сталъ ходить по комнатѣ. Потомъ прошло съ полчаса. Я уже забылъ и

*) Томъ III, стр. 376 (изд. 1862).

говорилъ съ кѣмъ-то другимъ, а онъ подошелъ ко мнѣ и посмотрѣлъ на меня съ унылымъ упрекомъ.—«Каково же?»—сказалъ онъ наконецъ, указывая кому-то на меня: «онъ считаетъ меня флюгеромъ! Я мѣняю убѣжденія, это правда, но мѣняю ихъ, какъ мѣняютъ копейку на рубль!»—И потомъ опять сталъ ходить задумчиво.

Онъ, конечно, вѣрилъ въ то, что̀ говорилъ, потому что онъ никогда не лгалъ,—но это его объясненіе было невѣрно. Онъ мѣнялъ не убѣжденіе, а у него мѣнялись впечатлѣнія, и пока впечатлѣніе переживало въ немъ свой срокъ, оно поглощало его всего, онъ дѣтски отдавался ему, употребляя на выраженіе его перомъ или словами всю свою силу, безъ пощады, до тѣхъ поръ, пока не наступитъ въ духѣ его реакція, работа анализа, и не охладитъ впечатлѣнія, или пока—какъ я выше сказалъ — само впечатлѣніе, своею ложью или грубостью, внезапно не отрезвитъ его. Онъ спѣшилъ высказывать процессъ дѣйствія самаго впечатлѣнія въ немъ, не ожидая конца,—и отъ этого впадалъ въ ошибки, разочарованія и неизбѣжныя противорѣчія. Собственно критическій, болѣе или менѣе стройный и провѣренный взглядъ являлся у него гора́здо позже.

Онъ какъ Донъ-Жуанъ къ своимъ красавицамъ — относился къ своимъ идоламъ: обольщался, хладѣлъ, потомъ стыдился многихъ изъ нихъ и какъ будто мстилъ за прежнее свое поклоненіе. Идолы слѣдовали почти непрестанно одинъ за другимъ. Истощившись весь на Пушкина, Лермонтова, Гоголя (особенно Гоголя, отъ обаянія котораго онъ еще не успѣлъ вполнѣ успокоиться, когда я познакомился съ нимъ), онъ сейчасъ же, легко перешелъ къ Достоевскому, потомъ пришелъ я—онъ занялся мною, тутъ же явился Григоровичъ, попозже Кольцовъ, наконецъ, Дружининъ. Ко мнѣ онъ отнесся сравнительно покойнѣе и трезвѣе, потому что я подвернулся съ своей книгой какъ разъ послѣ одного изъ этихъ разочарованій, въ которомъ онъ

покаялся даже гдѣ-то печатно — и сталъ немного осторожнѣе. Но и тутъ, въ первыя недѣли знакомства, послушавши его горячихъ и лестныхъ отзывовъ о себѣ, я испугался, былъ въ недоумѣніи, и не разъ выражалъ свои сомнѣнія и недовѣріе къ нему самому и къ его скороспѣлому суду. На меня онъ иногда какъ будто накидывался за то, что у меня не было злости, раздраженія, субъективности. — «Вамъ все равно, попадется мерзавецъ, дуракъ, уродъ, или порядочная, добрая натура, — всѣхъ одинаково рисуете: ни любви, ни ненависти ни къ кому!» И это скажетъ (и не разъ говорилъ) съ какою-то доброю злостью, а однажды положилъ ласково послѣ этого мнѣ руки на плечи и прибавилъ почти шопотомъ: — «а это хорошо, это и нужно, это признакъ художника!» — какъ будто боялся, что его услышатъ и обвинятъ за сочувствіе къ безтенденціозному писателю. Онъ, конечно, отдался бы современному реальному и утилитарному направленію, но отнюдь не весь и не во всемъ. Искусство, во всей его широтѣ и силѣ, не потеряло бы своей власти надъ нимъ, — и онъ отстоялъ бы его отъ тѣхъ, черезчуръ утилитарныхъ условій, въ которыя такъ тѣсно и узко хотятъ вогнать его нѣкоторые слишкомъ исключительные ревнители утилитаризма.

Про Кольцова я самъ не слыхалъ ничего отъ Бѣлинскаго, но это было не нужно, благодаря словоохотливости Панаева, который слышалъ отзывы Бѣлинскаго и по нѣсколько дней разносилъ ихъ съ стенографическою вѣрностью по домамъ, пока, вслѣдъ за Бѣлинскимъ, опять не увлекался чѣмъ-нибудь другимъ. Но Боже мой! что это были за отзывы! Кромѣ Кольцова и внѣ Кольцова уже не было и не бывало въ мірѣ поэтовъ? Этотъ образъ заслонилъ у него на время и Пушкина, и Лермонтова — словомъ, ни о комъ не было и рѣчи больше. Заикнись кто-нибудь, не то, чтобы усомниться, а просто прибѣгнуть, напримѣръ, къ сравненію Кольцова съ кѣмъ-нибудь, или даже къ простому и спокой-

[illegible]ному отраженію рыцаря поэзіи и таланта Кольцова—Бѣлинскій, а вслѣдъ за нимъ и Панаевъ разгромили бы того въ [illegible] II это на нѣсколько лѣтъ, а потомъ [illegible] охлажденіе, осадокъ, а въ осадкѣ—[illegible] правды.

Что не отличаетъ сравнить эти увлеченія Бѣлинскаго съ [illegible] увлеченіями [illegible] и у Бѣлинскаго [illegible] женщинами [illegible] прежнія [illegible] выдуманными [illegible] [illegible] [illegible]

какъ-то нехотя признавалъ талантъ, хотя талантъ былъ большой, и притомъ старательно выработанный трудомъ въ школѣ сценическихъ и литературныхъ условій и преданій. Бѣлинскій говорилъ о немъ, какъ о неуклюжей, ходульной фигурѣ, смѣялся надъ его манерой и грубостью пониманія тонкихъ ролей.

Здѣсь онъ впадалъ въ тотъ недостатокъ, который мѣшалъ ему быть вполнѣ безпристрастнымъ критикомъ. Уравновѣшивать строго и покойно достоинства и недостатки въ талантахъ—было не въ горячей натурѣ Бѣлинскаго.

Между тѣмъ эта же самая горячность, т.-е. способность увлекаться, и поставила его во главѣ критики художественныхъ произведеній и создала даже школу этой критики, первымъ удачнымъ послѣдователемъ которой былъ Добролюбовъ и менѣе удачнымъ Аполлонъ Григорьевъ. Ни до Бѣлинскаго, ни послѣ него, не было у нашихъ критиковъ въ такой степени чуткой способности сознавать въ самомъ себѣ впечатлѣнія отъ того или другого произведенія, сближать и сличать его съ впечатлѣніемъ другихъ, обобщать ихъ и на этомъ основывать свой судъ.

Въ этомъ собственно и состоялъ творческій пріемъ его оцѣнки. Ему помогало еще то, чего недоставало другимъ критикамъ: это страстное сочувствіе къ художественнымъ произведеніямъ. Чѣмъ ярче и сильнѣе талантъ, тѣмъ страстнѣе было и впечатлѣніе. Оно будило его нервную систему, затрогивало фантазію и порождало эти горячія критическія изліянія, которыя бросали столько свѣту и огня на все, что производила литература замѣчательнаго. Эта самая страстность увлеченій повергала его, какъ я замѣтилъ, и въ тѣ преувеличенія, натяжки и ошибки, которыя ставились ему, бывало, его противниками въ вину, какъ умыселъ и обманъ. Точно такъ же производило въ немъ нервное раздраженіе и всякое бездарное, антиизящное явленіе въ литературѣ и вело къ горячимъ словоизліяніямъ въ обратномъ

[illegible] и все съ тѣмъ же блескомъ, остроуміемъ, но съ безпощадною ироніей.

Въ области критики художественныхъ произведеній являлось и является не мало болѣе или менѣе замѣчательныхъ умовъ и перьевъ, но очень немногіе изъ нихъ подходятъ къ произведенію по прямому и кратчайшему пути, т.-е. отъ непосредственнаго впечатлѣнія произведенія на нихъ самихъ: они подходятъ со стороны, отъ холоднаго умственнаго подвала пускаются въ критическія теоріи и разсужденія тамъ, гдѣ надо прежде чувствовать и огнемъ чувства освѣщать путь уму къ вѣрному опредѣленію достоинствъ или недостатковъ произведенія.

Но чувство, сила фантазіи и впечатлительность [illegible] свойствомъ, хотя и прирожденнымъ,—повидимому, не [illegible] Если сами художники встрѣчаются не на [illegible] путь, то и критика [illegible] впечатлительности [illegible] [illegible] [illegible]

Эти недостатки были, можетъ-быть, неизбѣжны при той роли, какая выпала ему на долю. Ему, какъ какому-то апостолу отрицанія, пришлось разыграть въ сферѣ критики и публицистики то же самое, что, другими способами и пріемами, разыгралъ въ искусствѣ Гоголь, и что, иначе уже конечно, продолжало потомъ и продолжаетъ разыгрываться или доигрываться почти всѣми литературными дѣятелями до сихъ поръ.

На подобную начинательную литературную роль нужна была именно такая горячая натура, какъ его, и такіе способы и пріемы, какіе съ успѣхомъ были употреблены имъ: другіе, болѣе мягкіе, покойные, строго-обдуманные, не дали бы ему сдѣлать и половины того, что сдѣлалъ онъ, образуя тогда собой, вмѣстѣ съ Гоголемъ, почти всю литературу: надо было разработывать едва початую общественную почву.

Снаружи казалось все такъ прибрано, казисто; общество выдѣляло изъ себя замѣчательныхъ, даже блестящихъ единицъ въ разныхъ сферахъ дѣятельности, на вершинахъ его лежалъ очень тонкій слой обще-европейской культуры. Но масса общества покоилась въ дремотѣ, жила рутиной и преданіями и не готовилась еще идти навстрѣчу тѣмъ реформамъ, мысль о которыхъ уже зрѣла въ высшихъ правительственныхъ сферахъ и приближеніе которыхъ чуяли и предсказывали нѣкоторые умы, въ томъ числѣ и Бѣлинскаго. Онъ сталъ — или талантъ и вся его натура поставили его во главѣ новаго литературнаго движенія. Беллетристы, изображавшіе въ повѣстяхъ и очеркахъ черты крѣпостного права, были, конечно, этимъ своимъ направленіемъ болѣе всего обязаны его горячей—и словесной, и печатной проповѣди.

Понятно, что, соединяя въ себѣ роли публициста, эстетическаго критика и трибуна, провозвѣстника новыхъ грядущихъ началъ общественной жизни, онъ неизбѣжно долженъ былъ впадать въ рѣзкости, иногда крайности, въ ли-

хорадку торопливости, увлеченій, разочарованій, раздраженій, эфемерныхъ симпатій, несправедливыхъ антипатій и недомолвокъ — словомъ непрерывной борьбы, безъ оглядки назадъ и безъ остановокъ!

Кто не оправдаетъ его, вспомня, съ какой умственной и нравственной тьмой надо было бороться, въ какомъ застоѣ покоилась масса, передъ которой онъ проповѣдывалъ! Крѣпостное право лежало не на однихъ крестьянахъ — и ему приходилось еще оспаривать право начальниковъ — распоряжаться по своему произволу участью своихъ подчиненныхъ, родителей — считать дѣтей своей вещественной собственностью и т. д. — и тутъ же рядомъ объяснять тонкости и прелесть Пушкинской и Лермонтовской поэзіи. Безъ него, смѣло можно сказать, и Гоголь не былъ бы въ глазахъ большинства той колоссальной фигурой, въ какую онъ, освѣщенный критикой Бѣлинскаго, сразу сталъ передъ публикой.

Обращаясь къ его увлеченіямъ и разочарованіямъ, припомню, между прочимъ, о его безпощадныхъ отзывахъ о Кукольникѣ и, особенно, о Бенедиктовѣ.

Поражая направо и налѣво всякую рутинность, ходульность, ложь, какъ въ жизни, такъ и въ искусствѣ, онъ и въ томъ, и въ другомъ требовалъ простоты, естественности, и кто не удовлетворялъ этимъ условіямъ — тому пощады не было.

Кукольникъ и Бенедиктовъ, оба съ значительными талантами, явились на свою бѣду послѣдними могиканами старой, «риторической», какъ прозвалъ ее Бѣлинскій, школы. Онъ и печатно, и въ разговорахъ не могъ о нихъ отзываться равнодушно. Въ Кукольникѣ онъ еще соглашался признать нѣкоторыя достоинства, именно въ повѣстяхъ изъ эпохи Петра Великаго и, ставя ихъ въ примѣръ, тѣмъ тяжеле обрушивался на «Тасса», «Джуліо Мости» и др. Но о Бенедиктовѣ онъ и слышать не могъ. Вычурность нѣко-

торыхъ стихотвореній, въ самомъ дѣлѣ поразительная при талантѣ и умѣ Бенедиктова, дѣлала его какимъ-то, будто личнымъ врагомъ Бѣлинскаго. Зная лично Бенедиктова, какъ умнаго, симпатичнаго и честнаго человѣка, я пробовалъ иногда спорить съ Бѣлинскимъ, объяснялъ обиліемъ фантазіи натяжки и преувеличенія во многихъ стихотвореніяхъ,—указывалъ, наконецъ, на мастерство стиха и проч. Бѣлинскій махалъ рукой и не хотѣлъ признать ничего, ничего. Не помню, что онъ говорилъ печатно о его сочиненіяхъ, но въ разговорѣ онъ постоянно раздражался противъ него, даже нападалъ (гдѣ-то въ статьѣ) на наружность Бенедиктова, въ самомъ дѣлѣ некрасивую. И Кукольникъ, и Бенедиктовъ, оба, были его bêtes noires. Перваго онъ, кажется, зналъ лично, а второго нѣтъ, развѣ видѣлъ гдѣ-нибудь. Но антипатія къ ихъ сочиненіямъ вполнѣ переходила и на авторовъ.

Въ Кукольникѣ лично онъ могъ еще преслѣдовать и ту кичливость, которую носили съ собой всюду многія изъ знаменитостей. Тогда былъ тріумвиратъ изъ Кукольника, Брюлова и Глинки (говорятъ, неразлучныхъ между собой), который примировалъ въ обществѣ. Можетъ-быть, и это *генеральство*, выказывавшееся особенно рѣзко въ Кукольникѣ (котораго я самъ видалъ только мелькомъ), въ его фигурѣ, рѣчи и манерахъ, — много прибавляло уксусу къ желчи Бѣлинскаго.

Развѣнчиваніе отъ театральнаго, мишурнаго величія и самомнѣнія разныхъ знаменитостей, и сведеніе ихъ на степень обыкновенныхъ смертныхъ, было тоже въ числѣ его задачъ. Онъ не только отрезвлялъ отъ чрезмѣрнаго самолюбія живыхъ, но, какъ извѣстно, снималъ вѣнки и съ усопшихъ, возложенные на нихъ слѣпымъ и преувеличеннымъ поклоненіемъ ихъ современниковъ, заходя иногда при этомъ далеко, впадая въ вышеупомянутыя ошибки, рѣзкости, порицанія и отрицанія, не стѣсняясь исторической пер-

спективой. Онъ какъ будто не замѣчалъ (и дѣйствительно въ то время не замѣчалъ), что при этомъ страдали законы строгаго безпристрастія. Вся сила ударовъ его была направлена не на то, чтобы отстоять прошлое и существующее, а чтобы завоевать новое, не охранить, а разрушить, чтобъ добыть какую-нибудь новую, или расширить уже существующую свободу.

Справедливость требуетъ прибавить, что онъ былъ пристрастенъ, не въ отрицательномъ только, но и въ положительномъ смыслѣ. Но послѣднее дѣлалось у него неумышленно, а само собой. Его подкупали симпатіи къ близкимъ или хорошимъ людямъ, къ своему кружку—и онъ грѣшилъ не совѣстью, а мягкостью сердца. Упомяну о нѣкоторыхъ примѣрахъ. Между прочимъ, онъ хвалилъ повѣсти Панаева, и однажды только какъ-то нехотя, почти шопотомъ, сказалъ мнѣ уныло: «творчества у него ни капли нѣтъ».

Кудрявцевъ изъ московскаго кружка, большой пріятель Бѣлинскаго, написалъ недурную повѣсть: Бѣлинскій отозвался о ней почти восторженно. Онъ смѣшивалъ пріятеля съ его сочиненіемъ, что, повторяю, у него было грѣхомъ его сердца, а не совѣсти и эстетическаго вкуса. Литературные противники упрекали его въ этой слабости, но никогда не указывали, изъ какого чистаго источника проистекала она.

Я сказалъ выше, что Бѣлинскій боролся, чтобы добывать какую-нибудь новую, или расширить старую свободу: отъ этого и запальчивость, и пристрастія, и натяжки, и противорѣчія — все то, что неизбѣжно бываетъ при усиленной ломкѣ стараго и завоеваніи новаго. Приведу примѣръ, въ которомъ Бѣлинскій является ревнителемъ женской эмансипаціи, не въ обширномъ смыслѣ такъ-называемаго женскаго вопроса вообще, который тогда еще не поступалъ, въ нынѣшнемъ его значеніи и объемѣ, на очередь, а просто только въ вопросѣ о любви. Въ числѣ всякихъ свободъ, ко-

нечно, онъ не обошелъ и женскую свободу, за которую поломалъ не мало копьевъ и апостоломъ которой былъ тогда Жоржъ-Зандъ. Онъ за одно уже это, помимо таланта, былъ ея восторженнымъ поклонникомъ.

Я пришелъ къ нему однажды рано послѣ обѣда (онъ жилъ тогда у Аничкова моста); онъ ходилъ по комнатѣ и былъ радъ моему посѣщенію.—«Ну, что *Теверино?* — спросилъ онъ:—«какъ вы находите?»—Я не читалъ, — сказалъ я равнодушно.—«Какъ не читали, вы?» — Не читалъ,—повторилъ я.—«Какъ такъ!»—Не попалось книги подъ руку, я и не прочелъ. — «Что это такое!» — напустился онъ на меня и разразился, сначала гонкой мнѣ за лѣнь и равнодушіе, а потомъ диѳирамбомъ Теверино и вообще Жоржъ-Занду. Не читавши Теверино, я, конечно, не могу теперь припомнить, что именно онъ сказалъ объ этой повѣсти, помню только, что по мѣрѣ того, какъ приходили другіе, человѣка два-три, послѣ меня, онъ всякому указывалъ на меня и приговаривалъ съ удивленіемъ: — «Теверино не читалъ!»

О Теверино я упомянулъ теперь случайно, въ видѣ предисловія къ тому примѣру, который хочу привести по вопросу о женской эмансипаціи и о крайнемъ увлеченіи этимъ вопросомъ Бѣлинскаго. Не помню теперь, въ этотъ вечеръ, или въ другой, онъ приступилъ ко мнѣ съ вопросомъ о «Лукреціи Флоріани», которая тогда появилась въ переводѣ въ «Современникѣ». Я и теперь помню то восторженное поднятіе Бѣлинскимъ руки вверхъ, когда онъ, освѣщая фигуру Лукреціи уже своимъ электрическимъ огнемъ похвалъ, ставилъ ее все выше—выше и наконецъ заключилъ, почти съ умиленіемъ, что это «богиня, передъ которой весь міръ долженъ стать на колѣни!»

Меня съ начала знакомства съ нимъ, какъ новаго для него человѣка, часто звали къ нему и туда, гдѣ онъ бывалъ, потому что онъ оживалъ съ новымъ, не непріятнымъ ему

лицомъ, высказывался охотнѣе, былъ веселъ, доволенъ, словомъ, жилъ по-своему. О Жоржъ-Зандѣ тогда говорили безпрестанно, по мѣрѣ появленія ея книгъ, читали, переводили ее; нѣкоторыя женщины даже буквально примѣряли на себѣ ея эмансипаторскія заповѣди, поставивъ себя въ положеніе тѣхъ или другихъ ея героинь, что, конечно, безъ нея имъ бы и въ голову не пришло, или пришло бы, какъ всегда, просто, безъ участія головы. Такъ, говорятъ, т.-е. по рецепту Жоржъ-Занда, даже женился и В. П. Б. и сейчасъ же разошелся съ женой—уже по собственному своему усмотрѣнію.

Я съ большимъ удовольствіемъ прочелъ Лукрецію Флоріани, наслаждаясь тамъ, вовсе не ея тенденціей освободить до такой степени женщину, до какой она освободила Лукрецію, а тонкой, вдумчивой рисовкой характеровъ, этой нѣжностью очертаній лицъ, особенно женскихъ, ароматомъ ума, разлитымъ въ каждой, даже мелкой замѣткѣ, и до сихъ поръ смотрю такъ на Жоржъ-Зандъ и наслаждаюсь всѣмъ этимъ въ ней независимо отъ ея задачъ. Но Бѣлинскій, цѣня въ ней художественность исполненія, конечно, по достоинству, выше всего, однако, ставилъ все-таки ея идеи. Я не разъ спорилъ съ нимъ, но не горячо (чтобы не волновать его), а скорѣе равнодушно, чтобъ только вызвать его высказаться, — и равнодушно же уступалъ. Безъ этого споръ бы никогда не кончился, или перешелъ бы въ задоръ, на который, конечно, никто изъ знавшихъ его никогда умышленно бы не вызвалъ. Я только, такъ сказать, затрогивалъ его, или онъ, вѣрнѣе, всегда самъ задиралъ меня вопросомъ, ожидая возраженія, и тогда разрѣшался любимымъ тезисомъ, кипятился и выкладывалъ все, что у него наготовилось за извѣстный періодъ, о томъ или другомъ предметѣ, и что потомъ укладывалось, или въ статьѣ, если къ тому времени подвертывалась статья, или въ словесную импровизацію, въ споръ. Какъ безмолвныхъ, такъ и

слишкомъ горячихъ собесѣдниковъ, какимъ онъ былъ самъ, онъ кажется, не любилъ, что̀ и понятно.

Я помню, что, по поводу Лукреціи Флоріани, я упрекалъ его слегка рабствомъ авторитету, а самой Жоржъ-Зандъ ставилъ въ вину, какъ художнику, тѣсную исключительность ея сферы и ея парадоксы, доказывалъ между прочимъ, что нельзя признавать «богиней» женщину, которая настолько не владѣетъ собой, что переходитъ изъ рукъ въ руки пятерыхъ любовниковъ, не обойдя даже такого хлыща, какъ грубый, неразвитой актеръ, что это уже не любовь человѣческая, осмысленная, свойственная нравственной, развитой натурѣ, а такъ, «гнусность», что, наконецъ, любовь двухъ людей требуетъ равенства въ развитіи, иначе это капризъ и т. д.

Онъ напалъ на меня:—«Вы нѣмецъ, филистеръ, а нѣмцы, вѣдь это семинаристы человѣчества!» прибавилъ онъ.—«Вы хотите, чтобы Лукреція Флоріани, эта страстная, женственная фигура, превратилась въ чиновницу!»

Онъ однажды выразился даже такъ, что̀ и художникъ самъ долженъ окунуться въ омутъ распущенности нравовъ—и проговорилъ это довольно серьезнымъ голосомъ, съ важнымъ выраженіемъ лица, съ убѣжденіемъ, какъ заповѣдь. Я увѣренъ, что у Бѣлинскаго, въ этомъ грубомъ парадоксѣ, крылось то убѣжденіе, что художникъ, не прикоснувшійся собственнымъ опытомъ низшихъ, грубыхъ слабостей и паденій, оставаясь въ строгихъ предѣлахъ чистыхъ нравовъ, не будетъ имѣть многихъ красокъ на своей палитрѣ для живописанія всѣхъ людскихъ страстей и страстишекъ. Иначе нельзя этого и объяснить. Бѣлинскій, конечно, вдавался въ очевидную натяжку, допуская не только снисхожденіе, но присуждая, такъ-сказать, вѣнокъ женщинѣ, которая смѣло оторвется отъ моральныхъ и матеріальныхъ узъ, какими связана была,—и я полагаю,—во многомъ будетъ связана,—т.-е. сама не позволитъ развязать себя, когда наступитъ

отрезвленіе отъ горячки такъ-называемаго женскаго вопроса и когда послѣдній вступитъ въ фазисъ покойной и разумной обработки.

Бѣлинскій, безъ сомнѣнія, лучше другихъ понималъ все, что есть крайняго въ жизни этихъ Лукрецій, и не смѣшивалъ про себя всѣхъ этихъ кучъ навоза, гдѣ толпились актеры, герцоги и прочіе, сквозь фалангу которыхъ прошла Флоріани, — въ одну какую-то пирамиду любви. Но ему и не это было нужно: ему снился идеалъ женской свободы, онъ рвался къ нему, жертвуя подробностями, впадая въ натяжки и противорѣчія даже съ самимъ собою, лишь бы отстоять этотъ идеалъ, чтобы противные голоса не заглушили самаго вопроса въ зародышѣ.

О томъ, что собственно есть любовь, какъ человѣческое чувство, и какъ строго и зорко надо его отличать отъ одного животнаго побужденія, — онъ въ ту минуту не думалъ, хотя нерѣдко въ печати выражалъ трезвость своего взгляда. Это второстепенный для него вопросъ, до котораго, конечно, дойдетъ очередь, когда одержана и упрочена будетъ главная побѣда свободы, а детали придутъ потомъ, когда начнется воспитаніе женщины въ духѣ той свободы,— тогда и разберутъ что и какъ. Особенно онъ боялся помѣхи со стороны пуританъ и пуританокъ, которые косо поглядывали не только на эмансипаціонныя попытки Жоржъ-Зандъ, но и на чувственныя проявленія любви вообще.—«Да,— задумчиво и серьезно сказалъ онъ однажды, ужъ не помню при какомъ случаѣ: — конечно, не одно «это» (т. е. чувственность) соединяетъ любящихъ, но безъ «этого»—ничего другого и не нужно».

Между тѣмъ, собственная его семейная жизнь совершенно противорѣчила тому, что проповѣдывалъ онъ на своей трибунѣ о женской свободѣ любить на манеръ Лукреціи Флоріани. Всему, что говорилось и писалось о его безупречныхъ отношеніяхъ къ женщинамъ — надо вѣрить. Въ се-

мейной жизни трудно отыскать человѣка, который бы съ большимъ уваженіемъ обращался къ женѣ, чѣмъ онъ. Во всемъ его обхожденіи съ ней было то, что французы называютъ déférence: это же свойство проглядывало и въ отношеніяхъ его къ прочимъ знакомымъ женщинамъ, къ женамъ и вообще семействамъ всего кружка. Если у него въ душѣ и были какія-нибудь семейныя облака, то, вѣроятно онъ никогда никому ихъ не обнаруживалъ. Вообще, глядя на его семейную жизнь, можно было заключить, что на дѣлѣ онъ признавалъ «святость» семейныхъ союзовъ, онъ, не любившій признавать вообще святостей.

Мнѣ остается замѣтить кое-что еще о несправедливомъ поголовномъ и голословномъ упрекѣ, который нерѣдко обращали къ Бѣлинскому—въ необразованности!

Въ относительной необразованности можно упрекнуть всякаго, не исключая самыхъ образованныхъ. Но на него обрушивался этотъ упрекъ, какъ будто онъ былъ неучъ, какъ будто невѣжество его въ чемъ-нибудь рѣзко обличало его и было замѣтнымъ недостаткомъ.

Но сочиненія его передъ нами: гдѣ же грѣшитъ онъ въ нихъ какими-нибудь промахами противъ того или другого знанія, или слабостью въ пониманіи того или другого, о чемъ писалъ? А о чемъ онъ не писалъ и чего не касался? И нигдѣ нѣтъ никакихъ рѣзкихъ обличеній въ незнакомствѣ съ догматикой той или другой науки, того или другого предмета.

Матеріальный поводъ къ этому упреку, конечно, былъ тотъ, что онъ не кончилъ курса и не получилъ университетскаго диплома. За это прежде всего ухватились всѣ завистливыя посредственности, которыхъ значеніе блѣднѣло по мѣрѣ того, какъ развивался и обнаруживался талантъ Бѣлинскаго. У него, правда, не было ни офиціальнаго значенія, ни офиціальной учености, и за это его разжаловали въ необразованные, въ неучи, въ недоучки!

Помнится, что и Полевого, вначалѣ его появленія, тоже упрекали неученостью, и даже обзывали «купцомъ», потому что онъ не былъ въ университетѣ и не имѣлъ ученой степени.

Узнали, что Бѣлинскій не знаетъ по-нѣмецки, слѣдовательно, онъ-де, ни Гегеля, ни Гёте, ни другихъ, въ подлинникѣ не читалъ, а говоритъ о нихъ такъ, какъ будто читалъ ихъ самъ: ну, значитъ, и неучъ!

Но какъ далеко ниже его стояли многіе изъ упрекавшихъ его въ своей мнимой учености, нужды нѣтъ, что они занимали ученыя каѳедры и положенія, или сотрудничали въ журналахъ, говорили и писали о древнихъ и новыхъ литературахъ, не зная иногда ни одного, или зная только французскій языкъ.

Нѣтъ, Бѣлинскій былъ образованнѣе всѣхъ своихъ сотоварищей (не ученѣе, а именно образованнѣе), за исключеніемъ развѣ одного Герцена, правильная подготовка котораго возводила его образованность на степень учености.

Средства Бѣлинскаго были скудныя, пути образованія почти случайные (однако въ университетѣ, только безъ диплома). Знанія, пріобрѣтаемыя въ университетской аудиторіи, дополнялись въ кругу товарищей, при совмѣстномъ чтеніи и взаимномъ объясненіи оригиналовъ или переводовъ съ иностранныхъ языковъ, наконецъ, среди преній, разборовъ въ юныхъ кружкахъ, въ добываніи съ трудомъ и въ взаимной передачѣ книгъ.

Развѣ это не школа, не академія, гдѣ грались другъ о друга юные умы, жадно передавая другъ другу знанія, наблюденія, взгляды—вся эта жажда и любовь къ знанію? Какого же еще надо аѳинскаго портика, съ Платономъ въ вицъ-мундирѣ и очкахъ? Не такъ ли мы всѣ пріобрѣтали то, что есть въ насъ лучшаго и живого? Не тамъ ли, въ юношескихъ университетскихъ кружкахъ, и мы сортировали и осмысливали то, что уносили отъ каѳедры?

Представьте же въ этой школѣ мальчика съ свѣтлой головой, съ впечатлительнымъ воображеніемъ, любознательнаго и талантливаго? Представьте необыкновенную остроту наблюдательности и пониманія до степени ясновидѣнія: сколько сокровищъ онъ вынесетъ изъ такой школы!

А та масса русскихъ и французскихъ книгъ, которую онъ прочелъ по обязанности сотрудника, отъ «Молвы» до «Современника», въ теченіе двадцати лѣтъ: это тоже своего рода школа! Тутъ ему не нуженъ былъ профессоръ; у него былъ свой регуляторъ и руководитель, который ближе свелъ его и съ Гегелемъ, и съ Шиллеромъ, и съ Гёте — путями, непроходимыми для другихъ, но доступными ему.

Ссылаюсь на одинъ изъ любимыхъ авторитетовъ Бѣлинскаго, на Жоржъ-Зандъ, которая, гдѣ-то говоря о краткости жизни и о трудности, даже невозможности познавать все, заключаетъ такъ: «On ne peut pas savoir tout, il faut se contenter de comprendre».

И Бѣлинскій дѣйствительно «понималъ» все, не только къ чему прикасался его сосредоточенный анализъ, но и то, что проносилось мимо его, на что онъ случайно обращалъ взглядъ. Онъ жилъ, непрерывно учась за перомъ, въ живыхъ бесѣдахъ съ друзьями и почитателями, и роясь въ безднѣ книгъ, проходившихъ черезъ его руки: и такъ до конца жизни!

Въ рукахъ противниковъ Бѣлинскаго упрекъ въ неучености, какъ извѣстно, былъ Архимедовъ рычагъ, которымъ они старались столкнуть его съ мѣста, но, конечно, безуспѣшно.

Профессія ученаго была не его профессія, да онъ никогда и не бралъ ее на себя.

Слѣдовательно, говоря о его занятіяхъ, необходимо обусловливать въ точности, какой именно учености недоставало ему — и за этимъ ставить вопросъ: довольно ли было у него подготовки для той роли, какая выпала ему на

долю, — именно для роли — не эстетическаго критика собственно, не публициста только, а для того и другого вмѣстѣ, и еще для чего-то — третьяго? Наконецъ, надо еще спросить: отвѣчала или не отвѣчала степень его подготовки эпохѣ и моменту его дѣятельности и его средѣ — и опредѣлить, сколько онъ сдѣлалъ для своего времени и современнаго ему поколѣнія? И только въ совокупности на всѣ эти вопросы, и слѣдуетъ, и можно давать по возможности покойный, т. е. отрѣшенный и отъ вражды, и отъ пристрастія къ нему отвѣтъ. Кстати можно было бы спросить, много ли сдѣлали тѣ «ученые», которые громили его за неученость?

Извѣстно, какъ Бѣлинскій былъ искрененъ и не хвастливъ. Съ постороннимъ, мало знакомымъ лицомъ, онъ почти совсѣмъ не говорилъ, или говорилъ мало, несвязно и не блисталъ ни умомъ, ни знаніемъ. Только съ близкими онъ былъ свободенъ въ рѣчи, не остерегался ошибокъ и давалъ волю своимъ силамъ. И въ такихъ именно спорахъ онъ обнаруживалъ массу знаній, которыхъ въ покойномъ разговорѣ, внѣ всякаго увлеченія, нельзя было подозрѣвать въ немъ. Онъ ронялъ и сыпалъ ихъ нечаянно, какъ часто нечаянно въ печатныхъ статьяхъ сверкалъ остроуміемъ, удачными сравненіями, ссылками на тѣ, или другіе авторитеты и т. п.

Слѣдовательно, знанія, хотя бы собранныя медленно, иногда урывками, служили прямой его цѣли, его дѣлу, т. е. его перу. Онъ не держалъ на ученой конюшнѣ осѣдланнаго готоваго коня, съ нарядной сбруей, не выѣзжалъ въ циркъ показывать ѣзду haute école, а ловилъ изъ табуна первую горячую лошадь и мчался куда нужно, перескакивая ученыхъ коней. Этотъ способъ партизанскихъ наѣздовъ именно и нуженъ былъ ему для его цѣлей.

Познаніями могъ превосходить его, какъ я выше сказалъ, напримѣръ, Герценъ. Но вѣдь и онъ не ученостью все сдѣлалъ въ литературѣ и въ жизни, что сдѣлалъ, хотя

ученость, или, лучше сказать, всестороннее образованіе было важнымъ подспорьемъ его таланту и блестящему остроумію.

Можно, конечно, пожалѣть, что и Бѣлинскій не совершилъ отъ начала до конца путь болѣе обширнаго, или, лучше сказать, болѣе систематическаго образованія, для исполненія, съ большимъ авторитетомъ, той громадной роли, какая ему выпала на долю. Соотвѣтствующая его природнымъ средствамъ подготовка помогла бы еще болѣе его вліянію на литературное развитіе въ обществѣ и упрочила бы за нимъ значеніе его дѣятельности и заслуги— безъ всякихъ сомнѣній и споровъ.

ИВАНЪ САВИЧЪ ПОДЖАБРИНЪ.

— Не зѣвай или зѣвай какъ слѣдуетъ, про себя! — закричалъ Иванъ Савичъ.

Воцарилось молчаніе, но не надолго. Поднялся сухой, продолжительный кашель. Пріятель мой пожалъ плечами.

— Вотъ, кашлять сталъ! Не можешь посидѣть смирно? А отчего кашель? оттого, что все по сѣнямъ да по двору таскаешься въ одномъ жилетѣ. Говорилъ тебѣ: нѣтъ, не слушаешься. Ну, смотри, у меня и спи на дворѣ, а здѣсь я кашлять тебѣ не позволю.

Послѣ этого увѣщанія оба замолчали, и Иванъ Савичъ опять принялся за свои занятія: за вытягиваніе и поджиманіе ногъ, за стряхиваніе пепла и проч.

Вдругъ въ залѣ послышались шаги Авдѣя. Онъ явился въ кабинетъ и сталъ у дверей. То былъ низенькій, плѣшивый, пожилой человѣкъ. Волосы у него на затылкѣ были съ просѣдью.

— Что̀ тебѣ надо?—спросилъ Иванъ Савичъ.

— Я забылъ вамъ сказать: дворникъ давича говорилъ, что на васъ хотятъ жаловаться...

— Кто? кому?—съ испугомъ спросилъ Иванъ Савичъ.

— Хозяину жильцы.

— Жильцы? хозяину?

— Да-съ: слышь, женскому полу проходу не даемъ...

— Цс! что̀, дуракъ, орешь!

— Да-съ. Вонъ этотъ чиновникъ, что̀ противъ насъ живетъ,—продолжалъ Авдѣй:—очень недоволенъ. Дворникъ говоритъ: какъ, говоритъ, твой баринъ со двора, такъ и жена эвтаго чиновника на рынокъ-съ съ дѣвкой идетъ. На что̀ это, говоритъ, похоже? Мужъ-то, говоритъ, разъ и пошелъ слѣдомъ за вами и видѣлъ, говоритъ, какъ вы, вишь, вышли изъ переулка да съ ней рядомъ и пошли, и былъ, говоритъ, очень, очень недоволенъ: ворчалъ цѣлый день и только къ вечеру угомонился, и то оттого, что выпилъ.

— Гм! какой варваръ!—сказалъ Иванъ Савичъ, покачавъ головой:—ну?

— Еще слышь, булочникъ жаловался...

— А этотъ на что?

— Все вишь, дочь его мимо нашихъ окошекъ шмыгаетъ, то въ кухню къ намъ часто заглядываетъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? На кого жъ булочникъ жаловался: на меня или на дочь?

— Не могу знать.

— Такъ знаешь что?—сказалъ Иванъ Савичъ.

— Не могу знать.

— Иди поскорѣй другую квартиру.

— Опять!—горестно сказалъ Авдѣй:—давно ли перемѣнили.

— Давно ли! что жъ дѣлать! ты самъ видишь, что намъ жить здѣсь нѣтъ приличествуетъ. Тѣсно же и бѣдно? Иди!

— Какую квартиру нанять!—сказалъ Авдѣй:—и сарай, и лежачекъ особый...

— Вотъ еще! зачѣмъ намъ лежачекъ! Мы дома не стряпаемъ, въ прокъ ничего не запасаемъ.

— Какъ хозяевамъ угодно, приходится. Вотъ разъ дыни, тутъ кладь... Мало ли, знаемъ.

— Нѣтъ, иди! Мнѣ эти квартиры! Я ужъ какъ здѣсь знаю, всѣ насмотрѣлъ. Не съ кѣмъ вожуриться жизнью.

— А Матвѣй Матвѣевичъ...

— Что онъ тянетъ? Иди!

— Слушаюсь, Богъ, Иванъ Савичъ—сказалъ Авдѣй:—грубно, грубно, грубно.

— Почему?—спросилъ Иванъ Савичъ. Потому, не понимаетъ! Сегодня вотъ опять [illegible] Данной дамѣ [illegible] сказать. [illegible] рожалуйте—[illegible] выгнать. [illegible] Иди! [illegible] [illegible] [illegible]

домѣ... понимаешь?.. того... такъ хоть на улицу и не будетъ окошекъ, нужды нѣтъ.

Ежедневный образъ жизни Ивана Савича, какъ нынѣшнія драмы, раздѣлялся на три картины. Утро въ должности. Это онъ называлъ *серьезными занятіями*, хотя иногда сидѣлъ тамъ, ничего не дѣлая. Обѣдъ въ трактирѣ, часто съ пріятелями. Тогда обѣдали шумно и напивались обыкновенно пьяны. Это называлось *кутить* и считалось дѣломъ большой важности. Вечеръ или въ театрѣ, или въ обществѣ какой-нибудь сосѣдки. Послѣднее значило у Ивана Савича и подобныхъ ему *жуировать* жизнію. Выше и лучше этого онъ ничего не зналъ. Родители оставили ему небольшое состояніе и познакомили его съ порядочными людьми. Но онъ нашелъ, что знакомство съ ними—*сухая матерія*, и мало-по-малу оставилъ ихъ. Книгъ онъ не читалъ, хотя учился въ какомъ-то учебномъ заведеніи. Но духъ науки пронесся надъ его головой, не осѣнивъ ея крыломъ своимъ и не пробудивъ въ немъ любознательности. Какимъ онъ вступилъ въ учебное заведеніе, такимъ и вышелъ, хотя, по заведенному въ этомъ заведеніи похвальному обычаю, получилъ при выходѣ похвальный листъ *за прилежаніе, успѣхи и благонравное поведеніе*.

На другой день Авдѣй доложилъ Ивану Савичу, что на трехъ воротахъ видѣлъ объявленія и осмотрѣлъ двѣ квартиры: обѣ оказались хороши. Иванъ Савичъ одѣлся и отправился вмѣстѣ съ нимъ. Они пришли къ большому четырехъэтажному дому. У воротъ сидѣлъ мужикъ въ тулупѣ.

— Не дворникъ ли ты? — спросилъ его Иванъ Савичъ ласково.

Мужикъ зѣвнулъ и молча сталъ смотрѣть въ другую сторону.

— Гдѣ здѣсь дворникъ? — спросилъ Авдѣй.

Мужикъ молчалъ.

— Дома дворникъ?—спросилъ опять Иванъ Савичъ.

Мужикъ посмотрѣлъ на нихъ обоихъ и молчалъ.

— Да что жъ ты, глухъ, что ли? говори!

— Я не здѣшній!—лѣниво отвѣчалъ мужикъ, запахивая тулупъ.

— Такъ бы и говорилъ, чухна проклятая!—сказалъ Авдѣй:—а то молчитъ!

Они вошли на дворъ. Имъ навстрѣчу попался еще мужикъ.

— Дворникъ?—спросилъ Иванъ Савичъ.

— Никакъ нѣтъ-съ,—проворно отвѣчалъ мужикъ, приподнявъ шляпу:—вонъ гдѣ дворникъ живетъ. Извольте позвонить. Кажись, дома.

— Позвони, Авдѣй!

Авдѣй позвонилъ. Въ дворнической никто не пошевелился. Иванъ Савичъ позвонилъ самъ сильнѣе: нѣтъ отвѣта. Авдѣй спустился со ступенекъ къ засаленной двери и постучалъ кулакомъ. Молчаніе. И Иванъ Савичъ постучалъ посильнѣе. Тоже.

— А вы бы покрѣпче!—сказалъ тотъ же мужикъ, который, указавъ имъ конуру дворника, все вертѣлся поодаль отъ нихъ у воротъ.

Иванъ Савичъ постучалъ очень крѣпко.

— А вы изо всей мочи,—сказалъ мужикъ.

— У меня ужъ нѣтъ больше мочи. Поди-ка ты, Авдѣй!

Все безуспѣшно.

— Пожалуйте-ка, я,—сказалъ мужикъ, и застучалъ такъ, что стекла задребезжали.

Никто не откликнулся.

— Ну, видно, дома нѣтъ,—говорилъ мужикъ.—Я думалъ, не заснулъ ли онъ. Лютъ спать-то: не скоро добудишься. Нѣтъ ли развѣ на другомъ дворѣ?

Баринъ и слуга отправились на другой дворъ; за ними, въ качествѣ наблюдателя, поплелся и мужикъ. Тамъ бро-

дили два гуся да пятокъ куръ. Въ одномъ углу баба мыла кадку, въ другомъ кучеръ рубилъ дрова.

— Не знаешь ли, тетка,—спросилъ Андрей:—гдѣ дворникъ? Нѣтъ ли его здѣсь?

— Нѣтъ, батюшка, не видать. Онъ долженъ быть на томъ дворѣ.

Они пошли опять на первый дворъ и прошли-было ужъ ворота.

— Кого вамъ, господа? — закричалъ кучеръ: — дворника, что ли, надо?

И съ этими словами вонзилъ топоръ въ бревно, обернулъ его, поднялъ надъ головой и хлопнулъ о-земь. Бревно разлетѣлось на-двое; одна половинка ударила по колѣнкѣ Авдѣя.

— Вишь тебя лѣшій...—сказалъ Авдѣй, прыгнувъ.

Кучеръ опустилъ топоръ къ полу.

— Да, да, любезный, дворника. Гдѣ онъ? — спросилъ Иванъ Савичъ.

— Да, гдѣ онъ?—примолвилъ, почесывая колѣнку, Авдѣй.

Кучеръ поглядѣлъ на нихъ, потомъ поплевалъ на ладони, взялъ топоръ и опять занесъ его надъ головой.

— Не знаю, не видалъ!—отвѣчалъ онъ, тряхнувъ головой, и вонзилъ топоръ въ другое бревно.

— Зачѣмъ же ты ворочаешь попустому? — сказалъ Авдѣй.—Этакой народецъ!

И пошли прочь. Они уже рѣшились идти на другую квартиру. Между тѣмъ, Иванъ Савичъ глазѣлъ на окна всѣхъ этажей, и вдругъ глаза его заблистали: въ окнѣ третьяго этажа мелькнуло бѣлое платье, потомъ показалось и тотчасъ спряталось кругленькое женское личико, осѣненное длинными черными локонами. Изъ-за него выглянуло другое, старое и некрасивое женское лицо.

— Ну, вотъ: тебя очень нужно!—проворчалъ Иванъ Савичъ, относя это ко второму явленію.

Когда они проходили мимо дворнической, изъ глубины ея, какъ изъ могилы, выдвинулась сонная фигура самого дворника, въ рубашкѣ, съ самоваромъ въ рукахъ.

— Ты дворникъ?—спросилъ Авдѣй.

— Я-съ. Что вашей милости угодно?

— Что! гдѣ ты прячешься! баринъ спрашиваетъ тебя.

— Какой баринъ? — говорилъ дворникъ, поглядывая съ любопытствомъ на Ивана Савича.

— Мы тебя цѣлый часъ ищемъ,—сказалъ Иванъ Савичъ.

— А вы бы позвонили.

— Мы даже трезвонили; руки отколотили, стуча въ дверь.

— Не слыхалъ. Признаться, соснулъ маленько,—сказалъ дворникъ.

— Такъ не мы тебя разбудили?—спросилъ Иванъ Савичъ.

— Нѣтъ-съ, я самъ проснулся. Диво, какъ я не слыхалъ. Мнѣ только чуть дотронься до скобки, я и услышу.

— Въ третьемъ этажѣ здѣсь отдаются три комнаты и кухня?—спросилъ Иванъ Савичъ.—Покажи-ка намъ.

— Сейчасъ-съ. Вотъ только ключи возьму. Пожалуйте-съ.

Онъ поставилъ самоваръ на землю и повелъ-было ихъ на лѣстницу, но вдругъ замѣтилъ того мужика, который помогалъ Ивану Савичу и Авдѣю стучать въ дверь, и воротился. И они воротились.

— А! ты здѣсь!—началъ онъ кричать.—Зачѣмъ пожаловалъ? Послушай! толкомъ тебѣ говорю: убирайся и не показывайся сюда, а не то, братъ, худо будетъ. Хозяинъ велѣлъ тебя взашей вытолкать. Слыхалъ ты это?

Мужикъ спрятался за ворота.

— То-то же; будешь у меня прятаться, — примолвилъ дворникъ.—Пожалуйте-съ.

Они пошли на лѣстницу. Дойдя до перваго этажа, дворникъ бросился къ окну въ сѣняхъ посмотрѣть, ушелъ ли мужикъ. Но онъ оказался опять на дворѣ.

— Аль тебѣ мало словъ? — кричалъ дворникъ, грозя изъ окна ключами: — ну, такъ я кликну городового: онъ съ тобой раздѣлается; уходи, говорятъ, уходи, покуда цѣлъ. Пожалуйте-съ.

И Иванъ Савичъ съ Авдѣемъ смотрѣли въ окно и видѣли, какъ мужикъ опять спрятался. Пошли выше.

— А вѣдь, чай, не ушелъ, проклятый, — сказалъ дворникъ, всходя на площадку второго этажа.—Хоть побиться!

Наконецъ пришли въ третій этажъ къ дверямъ. Дворникъ прежде всего подошелъ къ окну.

— Не видать!—говорилъ онъ самъ съ собой.—Поди, чай, вретъ: не ушелъ! Этакая должность проклятая! Усмотри за ними! Пожалуйте-съ.

Онъ сталъ отпирать двери. Въ это самое время изъ дверей противоположной квартиры выглянула та же самая хорошенькая головка, что̀ смотрѣла изъ окна, и тотчасъ спряталась.

— Я думаю, я найму эту квартиру,—сказалъ Иванъ Савичъ и толкнулъ локтемъ Авдѣя.

Авдѣй отворотился.

— А? какъ ты думаешь, Авдѣй?

— Что вы, сударь, торопитесь,—отвѣчалъ онъ.—Можетъ, еще не хороша.

— Какъ понравится,—примолвилъ дворникъ.

— Прехорошенькая,—замѣтилъ Иванъ Савичъ.

— Да вѣдь вы еще не видали ея; а можетъ-быть она и холодна,—сказалъ Авдѣй.

— Холодна! какъ можно, холодна! — ворчалъ Иванъ Савичъ.

— Будьте покойны, — говорилъ дворникъ, махнувъ ключомъ и тряхнувъ головой: — такая жара, словно въ печкѣ: одни жильцы даже съѣхали оттого, что больно тепло.

— Какъ такъ?

— Четыре печки, сами посудите. Въ кухнѣ русская, да

и солнышко грѣетъ прямо въ окошки. Жили иностранцы какіе-то, и не понравилось; а намъ, русскимъ, паръ костей не ломитъ. Довольны будете.

— Видишь, Авдѣй, кромѣ передней, какая у тебя еще славная комната?—сказалъ Иванъ Савичъ.

— Что̀ мнѣ видѣть-то! — проворчалъ Авдѣй, взявъ картузъ изъ одной руки въ другую.

— Экой дуракъ! а ты отвѣчай по-человѣчески!—сердито замѣтилъ Иванъ Савичъ.

— Я и то по-человѣчески говорю; вѣстимо, человѣкъ: по-барски не умѣю,—сострилъ Авдѣй.

Квартира оказалась годною. Зала окнами выходила въ переулокъ, а кабинетъ и спальня на дворъ. Все какъ хотѣлось Ивану Савичу.

— А что̀ это за пятно на потолкѣ, какъ будто мокрое?— спросилъ Авдѣй.

— Да, въ самомъ дѣлѣ, что̀ это за пятно, и еще въ спальнѣ? — спросилъ и Иванъ Савичъ. — Кажется, течетъ сверху?

— Точно такъ-съ, — отвѣчалъ дворникъ, наклонивъ немного голову въ знакъ согласія:—протекаетъ маленько. Ино бываетъ наверху ушатъ съ водой прольютъ, оно и каплетъ въ щель.

Иванъ Савичъ покачалъ головой.

— Не извольте сумлѣваться, — поспѣшилъ примолвить дворникъ: — будете довольны. А это пятно — такъ ничего! не глядите на него—оно дрянь!

— Вижу, что дрянь. Но вѣдь этакъ, любезный, пожалуй штукатурка отвалится да на носъ упадетъ.

— И, нѣтъ-съ, щекатурка крѣпка—не отмокнетъ: другой годъ каплетъ. Вы только, какъ станетъ капать, ведерко извольте подставить.

— А какъ не доглядишь, — сказалъ онъ: — да вода-то твоя на мебель или на платье потечетъ?

— Нѣтъ-съ, услышите: вѣдь оно закаплетъ словно дождь пойдетъ: такъ и забарабанитъ.

— Дождь въ комнатѣ! — думалъ Иванъ Савичъ: — лишнее, совершенно лишнее! Зачѣмъ же не замажутъ? — спросилъ онъ.

— Всѣ тоже спрашиваютъ,—отвѣчалъ дворникъ:—я сказывалъ хозяину, да онъ говоритъ, что ужъ онъ замазывалъ въ ту пору еще, когда вотъ эти жильцы нанимали, что̀ съѣхали. «Неужто, говоритъ, для каждаго жильца стану замазывать!» да еще ругнулъ меня.

Иванъ Савичъ задумался-было, но вспомнилъ о сосѣдкѣ и махнулъ рукой.

— Что̀ жъ! ванны не нужно,—прибавилъ онъ, обращаясь къ Авдѣю.— Сталъ подъ это пятно, да попросилъ тамъ вверху пролить ушатъ съ водой, вотъ тебѣ и душъ.

Онъ далъ задатокъ.

— Позвольте, сударь, позвольте! — сказалъ торопливо Авдѣй и вырвалъ у дворника ассигнацію: — надо все съ толкомъ дѣлать: а есть ли сарай для дровъ?

— Есть: саженъ на пять.

— Ну, а ледничекъ особый?

— Ледника нѣтъ. Да на что̀ вамъ ледникъ? У васъ вѣдь нѣтъ хозяйства; али баринъ женатъ?

— Нѣтъ, мы холостые. Да какъ не нужно ледника? Случится поставить что̀...

— Да что̀ вамъ ставить?

— Какъ что̀? дыню иной разъ...

— Ты все вздоръ говоришь, Авдѣй! отдай задатокъ! — сказалъ Иванъ Савичъ.

— Вздоръ! — повторилъ тихонько Авдѣй. — Самъ вздоръ дѣлаетъ: дрова вишь у него вздоръ и ледникъ вздоръ, а глазѣть куда не надо—не вздоръ!

— Можно на хозяйскій ледникъ поставить, коли что̀ понадобится,—сказалъ дворникъ.

Авдѣй отдалъ задатокъ назадъ.

Пока слуга торговался, Иванъ Савичъ отворилъ ногой дверь изъ передней въ сѣни и поглядывалъ въ лорнетъ въ полуотворенную дверь противоположной квартиры. Оттуда изрѣдка выглядывали попеременно то молодое, то старое женское лицо.

— Ахъ, какъ мила!—бормоталъ Иванъ Савичъ, отворяя побольше дверь. — Черные глазки, свѣженькая: можно пожуировать. Экое чучело!—говорилъ онъ потомъ, вдругъ захлопывая дверь.—Какая бѣленькая шейка! О, да она много обѣщаетъ! Никогда не видывалъ гаже хари! Что это она такъ часто выглядываетъ?

Вдругъ въ головѣ у него мелькнуло сомнѣніе насчетъ сосѣдки, и онъ тоже схватилъ ассигнацію изъ шапки дворника. Дворникъ потянулся-было проворно прикрыть ее рукой, но не засталъ ужъ ея въ шапкѣ и прикрылъ пустое мѣсто. Онъ, разиня ротъ, смотрѣлъ, куда спрячетъ Иванъ Савичъ деньги. Но тотъ держалъ ихъ въ рукѣ. Они вышли въ сѣни.

— Кто тутъ живетъ напротивъ? — спросилъ Иванъ Савичъ.

— Тутъ-съ... мужнія жоны,—отвѣчалъ дворникъ.

У Ивана Савича отлегло отъ сердца.

— Ну, вотъ, слава Богу, что порядочное сосѣдство: честныя женщины; а то вѣдь иногда... попадешь такъ, что и жить нельзя!

И онъ бросилъ ассигнацію опять въ шапку. Дворникъ сжалъ ее въ кулакъ съ ключомъ, а шапку надѣлъ.

— А тутъ кто?

— Тутъ-съ барышня, дочь умершаго чиновника.

— Слышишь, Авдѣй, барышня.

— Что мнѣ слышать-то!—сказалъ Авдѣй.

— А вонъ тамъ повыше кто?—спросилъ Иванъ Савичъ.

— Это-то?

— Да.

— Женатый чиновникъ.

— А внизу?

— Чиновникъ вдовецъ.

Иванъ Савичъ сталъ морщиться.

— А съ другой стороны?—спросилъ онъ.

— Чиновникъ-съ.

— Что за чортъ! А тамъ? — говорилъ Иванъ Савичъ, указывая на самый верхъ, и, не дожидаясь отвѣта, самъ кивнулъ головой, какъ будто догадываясь, кто.

И дворникъ кивнулъ.

— Тоже?

— Тоже.

— Хм!—съ досадой сдѣлалъ Иванъ Савичъ.—Женатый?

— Никакъ нѣтъ-съ... у него экономка, Ѳекла Ондревна, всѣмъ распоряжается. Хорошая женщина, такая набожная: ни обѣдни, ни заутрени не пропуститъ. А про вашу милость, коли спроситъ хозяинъ, какъ прикажете доложить? Кто вы?

— Кто я?—съ важностію произнесъ Иванъ Савичъ, подступая къ дворнику.

Дворникъ попятился и снялъ шапку.

— Кто я? — повторилъ Иванъ Савичъ. — Я холостой... чиновникъ!

Дворникъ надѣлъ шапку, тряхнулъ головой и только что не сказалъ:

— Что за чудо! напугалъ понапрасну. Намъ они не въ диковинку.

Онъ заперъ дверь и тотчасъ посмотрѣлъ въ окно изъ сѣней.

— Нѣтъ-нѣту! — сказалъ онъ самъ себѣ: — ужъ не пробрался ли на другой дворъ? чего добраго отъ этакаго анаѳемскаго мужика ждать! Онъ, пожалуй, и на другой дворъ

пойдетъ, да даромъ: пусть пойдетъ, Ѳомка-то безъ саногъ сидитъ.

Иванъ Савичъ съ Авдѣемъ стали сходить съ лѣстницы. Имъ встрѣтилась баба съ корытомъ. Они слышали, какъ она остановилась съ дворникомъ.

— Здравствуйте, Савелій Микитичъ!—сказала она.

— Наше вамъ, Степанида Игнатьевна!

— Что̀ это, никакъ вамъ Богъ жильцовъ даетъ?

— Да, наняли.

— Кто такіе?

— Вѣстимо, кто: чиновники. Я радъ-радехонекъ. Теперь по этой черной лѣстницѣ у насъ все чиновники живутъ. А то ужъ какъ я боялся, чтобъ не нанялъ какой мастеровой.

Дня черезъ два на новую квартиру явился Авдѣй... За нимъ въѣхали на дворъ три воза съ мебелью и другими домашними принадлежностями. Получше мебель и разныя мелкія вещи несли солдаты на рукахъ. Самъ Авдѣй нагруженъ былъ мелочами, какъ верблюдъ. Одной рукой онъ обнялъ стѣнные часы; гири болтались и били его по животу. Между пальцами торчалъ маятникъ. Въ другой рукѣ была лампа. Сзади изъ кармановъ сюртука выглядывали два бронзовые подсвѣчника. Въ зубахъ онъ держалъ кисетъ съ табакомъ.

— Постой, постой! экъ ты ломишь! — кричалъ онъ направо и налѣво. — Не ставь зеркала на грязь-то. Погоди носить: надо посмотрѣть, пройдетъ ли. Гдѣ дворникъ? да что̀ жъ онъ не отпираетъ? Господи воля Твоя! это сущая каторга. Нѣтъ, чтобъ самому хоть немножко присмотрѣть.

— Да гдѣ баринъ-то твой?—спросилъ подошедшій въ это время дворникъ.

— Гдѣ! чортъ его знаетъ, прости Господи, гдѣ! Любитъ на готовое пріѣхать. Переѣзжай, говоритъ, Авдѣй, а я ужо къ вечеру буду, да и былъ таковъ. Вотъ ты тутъ и

переѣзжай какъ хочешь. Того и гляди, все мое доброе растащатъ; а у меня одного платья рублей на семьдесятъ будетъ.

Долго еще раздавалась по двору команда Авдѣя. Онъ, какъ гончая собака, разъ сто взбѣжалъ и сбѣжалъ по лѣстницѣ. Тамъ поддержитъ уголокъ дивана или шкапа, тамъ дастъ полезный совѣтъ, какъ обернуть мебель, верхомъ или низомъ.

— Вотъ такъ, вотъ такъ, — слышалось безпрестанно:— нѣтъ, нѣтъ, повыше, еще, пониже, пониже: такъ, такъ; ну, слава Богу, прошло!

Изъ оконъ глядѣли любопытные. Иные не отходили отъ окна во все время перевозки: часа этакъ четыре. Все по разнымъ причинамъ. Одинъ любитъ знать, какая у кого мебель, кто на чемъ спитъ, ѣстъ, — словомъ, любитъ соваться въ чужія дѣла. Другому, видно, наскучили свои, и онъ зѣваетъ по цѣлымъ часамъ на чужое добро. Третій любитъ замѣчать какія-нибудь особенности и судить о нихъ по человѣку, четвертый — смотрѣть на разныя мелкія вещицы.

— Вотъ шкапъ несутъ,—говорилъ одинъ сосѣду.

— Теперь, чай, возьмутъ комодъ,—отвѣчалъ тотъ.

— Эхъ, картину-то какъ онъ взялъ, дурачина: того и гляди, задѣнетъ за перила!—и тутъ же не вытерпитъ и закричитъ изъ окна:—смотри, картину-то, картину попортишь!

Экономка чиновника, Ѳекла Андревна, набожная женщина, оставалась у окна до тѣхъ поръ, пока Авдѣй внесъ послѣднюю утварь — кадочку съ пескомъ, корзинку съ пустыми бутылками, двѣ сапожныя щетки и кирпичъ. Она пересказала все своему чиновнику.

— Новый жилецъ переѣхалъ, Семенъ Семенычъ! — сказала она.

Семенъ Семенычъ понюхалъ табаку, поправилъ крестъ въ петлицѣ и молчалъ.

— Богатый долженъ быть,—начала она опять:—нанялъ ту квартиру, что̀ на нашу и на парадную лѣстницу выходитъ. Зало-то окнами на улицу. 80 рублей въ мѣсяцъ ходитъ.

Тотъ все молчитъ.

— Шандалы, я думаю, одни рублей сто заплачены; а столы, стулья какіе! диваны красные и зеленые, да премягкіе: я на одинъ присѣла, пока онъ стоялъ на коридорѣ, такъ и ушла вотъ до этихъ поръ, инда испужалась.

— До какихъ поръ?—спросилъ Семенъ Семенычъ флегматически.

— Вотъ до сихъ.

Она показала рукой.

— А гдѣ онъ служитъ?

— Не успѣла спросить у человѣка... вотъ ужо̀ развѣ.

— Добро, давайте-ка обѣдать,—сказалъ Семенъ Семенычъ:—нечего растабарывать.

И хорошенькая сосѣдка вертѣлась все на порогѣ. Она прыгала и рѣзвилась, какъ котенокъ, даже поговорила съ Авдѣемъ.

— А кто твой барринъ?—спросила она.

— Онъ-съ, баринъ, сударыня!

— Знаю, да кто?

— Не могу знать, майоръ ли, совѣтникъ ли какой: долженъ быть полковникъ.

— Гдѣ жъ онъ?

— Кушать гдѣ-нибудь изволитъ.

— А развѣ онъ не дома кушаетъ? А богатъ онъ?

И засыпала вопросами.

— Пусти меня заглянуть къ вамъ, пока нѣтъ барина.

— Извольте, сударыня! Да вѣдь у насъ еще не убрано.

Она вбѣжала, все пересмотрѣла, посидѣла на всѣхъ диванахъ, креслахъ и выпорхнула, какъ птичка.

— Вотъ погоди ты, егоза!—вскричалъ Авдѣй, разбираясь

на новой квартирѣ: — ужо онъ тебѣ все самъ разскажетъ, усадитъ тебя, уймешься, перестанешь прыгать-то!

Хлопоты Авдѣя заключились тѣмъ, что онъ побранился съ верхней бабой, Степанидой Игнатьевной, знакомой дворника.

— Что ты, тетка, оставила ушатъ на дорогѣ? убери! — сказалъ онъ.

— Ну, погоди, уберу.

— Чего годить! Вотъ баринъ пріѣдетъ ужо, дастъ тебѣ.

— Боюсь я твоего барина! что онъ мнѣ дастъ? Эка невидаль! мы сами чиновники.

— Убери, говорятъ тебѣ, старая вѣдьма!

— Еще ругается! какъ я скажу своему хозяину, такъ онъ тебѣ скорѣе дастъ. Будешь помнить, какъ ругаться, окаянный, каторжникъ, чтобъ тебѣ ни дна, ни покрышки...

Она еще звонко кричала, но Авдѣй захлопнулъ дверь.

— Ухъ! — сказалъ онъ, отирая потъ съ лица: — умаялся! Съ утра маковой росинки во рту не было. Хоть бы закусить чего-нибудь. Боюсь въ лавочку сходить: неравно пріѣдетъ. Да, чай, ужъ и заперто — поздно. Нешто выпить?

Онъ отворилъ маленькій шкапъ, досталъ узенькую четырехугольную бутылку свѣтло-зеленаго стекла въ плетенкѣ, потомъ заперъ на крюкъ дверь, налилъ рюмку и поставилъ ее на столъ. Онъ оглядывалъ ее со всѣхъ сторонъ.

— Какая бутылка! — разсуждалъ онъ, смѣючись: — словно наша косушка, а ликёра прозывается! Три цѣлковыхъ за этакую бутылку — а? Ну, стоитъ ли? Вотъ деньги-то сорятъ! Какъ у нихъ горло не прожжетъ? — ворчалъ онъ, и отхлебнулъ.

— Какая мерзость! — говорилъ онъ съ гримасой: — а поди жъ ты!

И выпилъ всю рюмку.

— Право, мерзость!

Между тѣмъ, Иванъ Савичъ возвращался въ это время

домой. Пошелъ дождь, одинъ изъ тѣхъ петербургскихъ дождей, которымъ нельзя предвидѣть конца.

Иванъ Савичъ позвонилъ у воротъ — никто не показывался. Онъ другой разъ — тоже никого. Наконецъ, послѣ третьяго звонка послышались шаги дворника.

— Господи, Боже мой! — ворчалъ онъ, идучи къ воротамъ.—Что̀ это такое? совсѣмъ покою нѣтъ: только заснулъ маленько, а тутъ чортъ какой-то и звонитъ... Кто тутъ?

— Я.

— Да кто ты?

— Новый жилецъ.

— Какой жилецъ?

— Что̀ сегодня переѣхалъ.

— Что̀ те надо?

— Какъ что̀: пусти поскорѣе. Ты видишь, я подъ дождемъ.

— Ну, вотъ погоди: я за ключомъ схожу.

Дворникъ ушелъ и пропалъ, а дождь лилъ какъ изъ ведра.

Иванъ Савичъ принялся опять звонить, что̀ есть мочи. Послѣ третьяго звонка послышались шаги дворника и ворчанье.

— Что̀ это такое, Господи! покою совсѣмъ нѣтъ. Должность проклятая... не дадутъ! Кто тутъ?

— Да я же, тебѣ говорятъ!

— Да кто ты?

— Новый жилецъ.

— Ты еще все тутъ? Что̀ те надо?

— Какъ что̀? Ахъ, ты, разбойникъ! пустишь ли ты меня? я до костей промокъ.

— Ну, вотъ погоди: ключъ возьму.

Онъ пошелъ и, къ удовольствію Ивана Савича, возвратился тотчасъ и началъ вкладывать ключъ въ замо̀къ.

— Ну, скорѣе же!—сказалъ Иванъ Савичъ.

— Вотъ постой, что-то ключъ не входитъ. Что̀ это, Гос-

поди, за должность за проклятая, совсѣмъ покою нѣтъ! такъ и есть... не тотъ ключъ взялъ: это отъ сарая.

— Отпирай же!—кричалъ Иванъ Савичъ:—не то...

— Да ты бы гдѣ-нибудь заснулъ; вишь ты, ключа-то долго теперь искать.

— Куда я пойду? Пусти сейчасъ.

— Ну, вотъ погоди, принесу ключъ.

Наконецъ, черезъ добрыхъ полчаса Иванъ Савичъ попалъ къ себѣ, а Авдѣй только-что было собрался пить третью рюмку, какъ вдругъ сильно застучали въ дверь. Авдѣй проворно спряталъ бутылку съ рюмкой въ шкапъ, обтеръ наскоро губы и отперъ.

Вошелъ Иванъ Савичъ.

— Что̀, Авдѣй, совсѣмъ убрался? Э! да ты еще ничего не разставилъ.

— Я одинъ,—отвѣчалъ Авдѣй:—у меня двѣ руки-то.

— Оттого-то и надо было убрать, что двѣ. Вотъ ежели бъ одна была—другое дѣло.

Авдѣй, не ожидавшій этой реплики, поглядѣлъ ему вслѣдъ и покачалъ головой.

— Вѣдь скажетъ, словно... э! ну, васъ совсѣмъ!—бормоталъ онъ:—отойди отъ зла и сотвори благо!

— А что̀ сосѣдка!—спросилъ Иванъ Савичъ.

— Не могу знать,—отвѣчалъ Авдѣй.

— Развѣ ты не видалъ ее, не говорилъ съ ней?

— Нѣтъ-съ. Что̀ мнѣ съ ней говорить?

— Ну, какъ что̀... А чей это платокъ?

Авдѣй молчалъ.

— Чей платокъ?—повторилъ Иванъ Савичъ.

— Не могу знать.

— Какъ не могу знать. Здѣсь былъ кто-нибудь?

— Нѣтъ, это, вѣрно, какъ диванъ стоялъ въ сѣняхъ, такъ кто-нибудь положилъ. Пожалуйте, я завтра спрошу.

— Вотъ славный случай: ты завтра спроси у сосѣдки, не ея ли, и, между тѣмъ, поралѣй въ мою пользу.

— Какъ-съ поралѣй?

— Скажи, что я и добрый, и... ну, будто тебѣ въ первый разъ.

— А зачѣмъ это, сударь?

— Какъ зачѣмъ... познакомимся, а тамъ... пожуримъ.

— Да неужели вы и здѣсь станете разводить такую же матерщину, какъ тамъ? тамъ только что ушли отъ бѣды, теперь опять захотѣли нажить другую? ужъ попалетесь, Иванъ Савичъ, ей Богу, попалетесь.

— Э!—сказалъ Иванъ Савичъ:—еще скоро ли попадусь, а, между тѣмъ, мы съ тобой пожуримъ.

— Нѣтъ, ужъ журируйте одни... да и вамъ не хорошо: обопьетесь, сударь!

— А-а-а! — началъ зѣвать Иванъ Савичъ: — покойной ночи, Антѣй, завтра разбуди меня рано часовъ.

Утромъ, когда Антѣй сталъ подавать чай, первый вопросъ Иванъ Савичъ былъ

— Ну, что сосѣдка?

Антѣй молчитъ.

— А?

— Нѣтъ, отдала платокъ.

— Такъ она ее была? ну, а поралѣй ли ты мнѣ?

— Говорилъ.

— Что же [illegible]

— Говорилъ, какъ добрый, сосѣдъ. Какъ говорилъ, жуировать, [illegible] въ домъ, такъ не отражитъ мы вамъ [illegible] [illegible] нужно. Не [illegible] [illegible] [illegible] матерщина.

Иванъ Савичъ выпрыгнулъ изъ [illegible]

— Какъ, вторжонъ?

[illegible] чѣмъ.

говоритъ, угодно. Еще говоритъ, не нужно ли вамъ рубашекъ шить?.. я, говоритъ, могу...

Иванъ Савичъ вскочилъ съ постели.

— Какъ рубашекъ?

— Еще...—началъ Авдѣй.

— Стой! ни слова больше! ищи сейчасъ квартиру... Куда я попалъ? Вонъ, вонъ отсюда!

— Что вы, опомнитесь, сударь: что вамъ за дѣло? Намъ же лучше.

— Такая хорошенькая—и печетъ пироги!—говорилъ самъ съ собой Иванъ Савичъ:—ужасъ! ну, съ чѣмъ это...

— Съ рыбой и съ говядиной,—подхватилъ Авдѣй.

— Э! молчи дуралей! тебя не спрашиваютъ.

— Вѣдь она не больно хороша,—замѣтилъ Авдѣй:—глаза-то словно плошки, да и зубы не всѣ.

— Да, ты много смыслишь! — отвѣчалъ Иванъ Савичъ, стараясь попасть ногой въ туфлю: — такая молоденькая— и шьетъ рубашки! а?

— Что за молоденькая, сударь: ужъ ей за пятьдесятъ,— сказалъ Авдѣй.

— Какъ за пятьдесятъ! да ты съ которой говорилъ?

— Ну, съ той, что квартиру нанимаетъ — съ самой хозяйкой.

— Со старухой? что жъ ты мнѣ не скажешь давно? Кто просилъ тебя радѣть мнѣ у этой старой вѣдьмы?

— Вѣдь вы сами вчера приказывали.

— Я самъ приказывалъ!—передразнилъ его Иванъ Савичъ.—Я толкомъ тебѣ говорилъ *жуировать*: можно ли съ такимъ страшилищемъ жуировать? развѣ тебѣ самому охота? вѣчно только подгадишь мнѣ! Впрочемъ... нѣтъ... ничего, больше довѣренности! пусть пироги печетъ. Я ей, пожалуй, и рубашки закажу. Ну, а молодая кто?

— Жилица у ней,—нанимаетъ двѣ комнаты.

Иванъ Савичъ не ходилъ въ тотъ день на службу, подъ

предлогомъ переѣзда на новую квартиру. Авдѣй возился, уставлялъ, а онъ надѣлъ красивый шлафрокъ, отворилъ вполовину дверь и глядѣлъ къ сосѣдкамъ: это онъ называлъ *жуировать*.

— Развѣ не пойдете въ должность?—спросилъ Авдѣй.— Пора бы одѣваться—одиннадцатый часъ...

— Нѣтъ, не пойду... Что̀ должность? сухая матерія! надо жуировать жизнію. Жизнь коротка, сказалъ не помню какой-то философъ.

Въ комнатахъ сосѣдокъ, видѣлъ онъ, то мелькнетъ что-то легкое, воздушное, бѣлое, кисейное, то протащится неуклюжее, полосатое. Иногда въ узкомъ промежуткѣ неплотно затворенной двери свѣтился хорошенькій черный глазъ съ длинными рѣсницами, потомъ хлопалъ глазъ безъ бровей, какъ будто филинъ. Вскорѣ послышались звуки фортепьяно. Играли изъ «Роберта».

«Кто же это играетъ? — думалъ Иванъ Савичъ. — Ужъ, конечно, она, молоденькая. Гдѣ той... мѣсить пироги и играть на фортепьяно?»

Онъ взялъ скрипку и тоже заигралъ. Тамъ перестали играть.

«Вотъ и видно, что она женщина строгой нравственности! — подумалъ Иванъ Савичъ. — Иная бы пуще заиграла».

Онъ посмотрѣлся въ зеркало и причесалъ бакенбарды.

Вскорѣ дверь тамъ отворилась побольше и наконецъ почти совсѣмъ.

— У насъ труба дымитъ, — сказала старуха Авдѣю. — Лѣтомъ все отворяемъ дверь. Вотъ другой годъ твердимъ хозяину, чтобы передѣлалъ... нѣтъ! ихъ дѣло только деньги брать.

Прошло дня два. Иногда сосѣдка не очень быстро мелькала сквозь двери. Она пріостанавливалась и какъ будто улы-

балась, потомъ вдругъ пряталась. На третій день дворникъ принесъ паспортъ изъ части.

— Что это, любезный,—спросилъ Иванъ Савичъ:—у сосѣдокъ-то не видать мужей: гдѣ жъ они?

— Въ командировкѣ-съ, гдѣ-то далече.

— А!—сказалъ Иванъ Савичъ:—тѣмъ лучше. А кто еще въ домѣ у васъ живетъ? тамъ, по парадной лѣстницѣ, въ большихъ квартирахъ?

Дворникъ назвалъ нѣсколько извѣстныхъ фамилій.

— А вонъ тамъ, во второмъ этажѣ, гдѣ еще такія славныя занавѣси въ окнахъ?

— Тамъ-съ одна знатная барыня, иностранка Цейхъ.

— Знатная!—говорилъ Иванъ Савичъ Авдѣю:—что это у него значитъ?.. Она, можетъ-быть, знатная потому, что, въ самомъ дѣлѣ, знатная, и потому, что, можетъ-быть, даетъ ему знатно на водку, или знатная собой?..

— Не могу знать,—отвѣчалъ Авдѣй.

— Посмотримъ, посмотримъ: можетъ-быть, и ее увидимъ,— примолвилъ Иванъ Савичъ и погладилъ бакенбарды.

Онъ продолжалъ переглядываться съ сосѣдкой. Однажды у ней на порогѣ появилась дѣвочка лѣтъ шести.

— Ужъ не дочь ли это ея, Авдѣй?

— Не могу знать,—отвѣчалъ Авдѣй.

— Ты никогда ничего не знаешь: что ни спросишь о дѣлѣ. За что ты хлѣбъ ѣшь?.. Да нѣтъ, быть не можетъ: это не дочь ея. Она слишкомъ молода: вѣрно, старуха испекла этотъ пирогъ. Но та, кажется, ужъ слишкомъ стара для этого.

Онъ узналъ, что дѣвочка — племянница сосѣдки, зазвалъ малютку къ себѣ, далъ ей конфетъ и, такимъ образомъ, завязалъ сношенія. Они взаимно присылали другъ другу поклоны. Однажды малютка принесла розанъ.

— Хотите, я вамъ подарю?—сказала она.

— Подари. А кто тебѣ далъ?

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

въ новой гостиницѣ: говорятъ, телячьи ножки готовятъ божественно! поздравимъ! поздравимъ! а оттуда на Крестовскій... покутимъ.

— Мнѣ нельзя вечеромъ.

— Отчего?

— Такъ! — значительно, съ улыбкой сказалъ Иванъ Савичъ.

— А! понимаю! счастливецъ! Ну, завтра мы въ театрѣ? Асенкова въ трехъ пьесахъ играетъ. Смотри, *mon cher*, нельзя не быть: что̀ скажутъ наши? манкировать не должно, а то подумаютъ, что ты хочешь отшатнуться. И то три офицера да вонъ тотъ статскій, знаешь, что̀ еще полы сюртука все сзади расходятся, собрали, говорятъ, партію перехлопать насъ, говорятъ, и въ раекъ своихъ посадятъ; да гдѣ имъ! слушать любо, какъ нашъ уголъ захлопаетъ: я однажды изъ коридора послушалъ — чудо! сначала мелкой дробью — па-па-па,—точно ружейный огонь; а тамъ и пошло, и пошло, такъ по коридорамъ гулъ и ходитъ... Даже капельдинеръ плюнулъ и отошелъ отъ дверей, а я не вытерпѣлъ, да и самъ давай—браво, браво наши! Квартальный сердито поглядывалъ на меня... да пусть!.. Такъ ѣдемъ? потомъ поужинаемъ, кутнемъ, а?

— Не знаю, *mon cher*!

— Чего не знаешь! на первыхъ порахъ въ полночь тебя не примутъ. Рѣшено: завтра съ нами. Ты не знаешь, вѣдь Шушинъ награду получилъ, полугодовой окладъ. Онъ обѣщалъ полдюжины, да ты на радостяхъ столько же — вотъ и будетъ съ насъ! Смотри же, ждемъ.

И ушелъ. А Иванъ Савичъ усѣлся съ книгой въ рукахъ на маленькомъ диванчикѣ, какъ разъ противъ дверей сосѣдки, въ живописномъ положеніи. Но если бы кто заглянулъ въ книгу, то увидѣлъ бы, что онъ держалъ ее вверхъ ногами. Прошло недѣли три. Они уже кланялись другъ другу и даже, стоя каждый въ своихъ дверяхъ, разгова-

ривали. Когда въ это время кто-нибудь шелъ, сверху или снизу, они поспѣшно прятались. Вдругъ сосѣдки не стало видно, и даже дверь была затворена. Иванъ Савичъ встревожился.

— Авдѣй! отчего у сосѣдки затворена дверь?

— Не могу знать,

— Не уѣхала ли она куда-нибудь?

— Не могу знать.

— Никогда ничего не знаетъ! Я не Суворовъ, а досадно!.. Такъ поди узнай: здоровы ли? что, молъ, васъ давно не видать?

Авдѣй принесъ отвѣтъ, что Анна Павловна не здоровы и приказали просить къ себѣ: «коли-де вамъ не скучно будетъ посидѣть съ больной».

— Къ себѣ! — воскликнулъ Иванъ Савичъ, вздрогнувъ отъ восторга:—ужели? а! наконецъ! Авдѣй! скорѣй бриться, одѣваться!

Онъ второпяхъ обрѣзалъ въ двухъ мѣстахъ бороду и щеку и залѣпилъ царапины англійскимъ пластыремъ, полагая, что такъ онъ интереснѣе, нежели съ царапинами или даже нежели просто безъ царапинъ: это очень обыкновенно, она ужъ его такъ видала. Онъ не пожалѣлъ на голову пятирублевой помады, бакенбарды смочилъ квасомъ и минутъ на пять крѣпко перевязалъ платкомъ, чтобъ придать имъ лоскъ и заставить лежать смирно; въ носовой платокъ налилъ лучшихъ духовъ, на шею небрежно повязалъ голубую косынку и выпустилъ воротнички рубашки; къ довершенію всего, надѣлъ лакированные сапоги и, такимъ образомъ, блестя, лоснясь и благоухая, предсталъ передъ сосѣдкой. Она сидѣла на софѣ, поджавъ ноги, окутанная въ большую шаль, съ подвязаннымъ горломъ.

Квартира Анны Павловны была убрана, какъ убираютъ почти всѣ квартиры о двухъ комнатахъ, съ передней и кухней. Диванъ краснаго дерева, обитый полинялой шер-

стяной матеріей съ пятнами, другой клеенчатый диванъ, полдюжины стульевъ подъ красное дерево, старый комодъ, а на немъ туалетъ, который, въ случаѣ нужды, легко можно переносить съ мѣста на мѣсто. На окнахъ нѣсколько горшковъ гераніума и двѣ клѣтки съ канарейками.

У Ивана Савича на подобные визиты давно обдуманы были и поклонъ, и привѣтствіе, и даже мина.

Войдя, онъ остановился въ нѣкоторомъ разстояніи, наклонилъ немного голову и слегка улыбнулся.

— Наконецъ я у васъ!—сказалъ онъ, оглядываясь кругомъ.—Ужели это правда? не во снѣ ли я?

— Можетъ-быть, этотъ сонъ не нравится вамъ. Бываютъ сны скучные и тяжелые,—отвѣчала она съ томной улыбкой:—проснитесь... это легко!

— Боже меня сохрани! Пусть этотъ сонъ будетъ непробуднымъ.

Она опять улыбнулась.

— Садитесь,—сказала она:—благодарю васъ за участіе. Какъ это вы вспомнили, и еще черезъ два дня?

— Я не вспомнилъ: вспоминаютъ о томъ, что̀ было забыто; я васъ не забывалъ. Но что̀ съ вами?

Она поглядѣла на него довольно нѣжно и потупила глаза.

— Немного простудилась, — отвѣчала она: — я думаю... оттого... что бываю иногда... у дверей. Люди обречены на страданіе.

Она вздохнула.

Тутъ Иванъ Савичъ посмотрѣлъ на нее нѣжно, а она покраснѣла. Они молчали нѣсколько времени.

— Вы рѣдко бываете дома?—потомъ спросила она.

— Нѣтъ-съ... да-съ... смотря по...

— У васъ часто бываютъ гости?

— Да-съ... бываютъ иногда,—отвѣчалъ онъ.

— Кто это... рыжій молодой человѣкъ? такой противный: всякій разъ заглядываетъ въ дверь.

— Это... — постой-ка, я тому задамъ! подумалъ онъ... — это графъ Коркинъ, славный молодой человѣкъ, первый журъ въ Петербургѣ.

— А другой, въ очкахъ?

— Баронъ Кизель. Отлично играетъ на бильярдѣ.

— Какъ они у васъ шумятъ! что вы дѣлаете?

«Разскажу ей, какъ мы кутимъ... Это нравится женщинамъ», подумалъ Иванъ Савичъ.

— Кутимъ-съ. Вотъ иногда они соберутся ко мнѣ, и пойдетъ вавилонское столпотвореніе, особенно, когда бываетъ князь Дудкинъ: карты, шампанское, устрицы, пари... знаете, какъ бываетъ между молодыми людьми хорошаго тона.

— И вамъ не жаль тратить денегъ на шампанское?

— Что жалѣть денегъ? деньги—ничтожный, презрѣнный металлъ. Жизнь коротка, сказалъ одинъ философъ: надо жуировать ею.

— О, какъ вы какіе!

— [illegible]! — сказалъ онъ и вынулъ изъ кармана платокъ. Запахъ распространился по всей комнатѣ, такъ что даже изъ-за дверей выглянула старуха.

— Гг! вы покупаете духи? Какіе славные! — сказала Анна Павловна, вдыхая носомъ запахъ.—Это блаженство— [illegible] въ нѣтъ!

— Въ французскомъ магазинѣ.

— А что [illegible]?

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— Помилуйте... я такъ спросила... изъ любопытства... не подумайте...

— Ничего-съ! я вамъ завтра пришлю. Вы меня обидите, если откажетесь принять такую бездѣлицу.

— Ахъ, да! — сказала она: — вы подарили моей племянницѣ брошку. Я ношу ее... видите?

— Очень пріятно... только мнѣ совѣстно: это слишкомъ недостойно украшать такую грудь... Если бъ я зналъ...

— Чѣмъ же вы еще занимаетесь?

— Бываю въ театрѣ.

— Въ театрѣ! Ахъ, счастливые! что̀ можетъ быть отраднѣе театра? блаженство! въ театрѣ забываешь всякое горе. Читаете, конечно?

— Да-съ, да... разумѣется.

— Что̀ же, Пушкина? Ахъ, Пушкинъ! «Братья разбойники»! «Кавказскій плѣнникъ»! бѣдная Зарема! какъ она страдала! а Гирей—какой извергъ!..

— Нѣтъ-съ, я читаю больше философическія книги.

— А! какія же? одолжите мнѣ: я никогда не видала философическихъ книгъ.

— Сочиненія Гомера, Ломоносова, «Энциклопедическій лексиконъ»...—сказалъ онъ:—вы не станете читать... вамъ покажется скучно...

— Это, вѣрно, кто-нибудь изъ нихъ сказалъ, что *жизнь коротка?*

— Да-съ.

— Прекрасно сказано!

Отъ этого ученаго разговора они перешли къ предметамъ болѣе нѣжнымъ: заговорили о дружбѣ, о любви.

— Что̀ можетъ быть утѣшительнѣе дружбы!—сказала она, поднявъ глаза кверху.

— Что̀ можетъ быть сладостнѣе любви? — примолвилъ Иванъ Савичъ, взглянувъ на нее нѣжно. — Это, такъ сказать, жизненный бальзамъ!

— Что любовь! — замѣтила она: — это пагубное чувство; мужчины всѣ такіе обманщики...

Она вздохнула, а онъ сѣлъ рядомъ съ ней.

— Что вы?—спросила она.

— Ничего-съ. Я такъ счастливъ, что сижу возлѣ васъ, дышу съ вами однимъ воздухомъ... Повѣрьте, что я совсѣмъ не похожъ на другихъ мужчинъ... о, вы меня не знаете! женщина для меня—это священное созданіе... я ничего не пожалѣю...

— Въ самомъ дѣлѣ?—задумчиво спросила она.

— Ей-Богу!

Они долго говорили, наконецъ стали шептать. Отъ нея [illegible] такая жаркая атмосфера, около него такая [illegible] духанная. Онѣ должны были непремѣнно слиться, и слились. Она уронила платокъ; Иванъ Савичъ бросился подымать, и она тоже; лица ихъ сошлись,—раздался поцѣлуй.

— Ахъ!—тихо вскрикнула она.

— О!—произнесъ онъ восторженно:—какая минута!

— Давно ли,—говорила она, закрывъ лицо руками:—мы знаемъ мы... и уже...

— Разве нужно для этого времени—началъ торжественно Иванъ Савичъ — довольно одной искры, чтобы прожечь [illegible] минуты, чтобы [illegible] милый образъ [illegible].

[illegible]

— Въ что значитъ журавлиный жаркій, клянусь Богомъ!— [illegible] Иванъ Савичъ.—[illegible] тамъ, [illegible]...

[illegible]

— Кто [illegible] Иванъ Савичъ.

— [illegible] Иванъ [illegible] мнѣ [illegible]

— Ахъ! [illegible] мнѣ говорить [illegible]

Анна Павловна встрепенулась и покраснѣла, какъ маковъ цвѣтъ.

— Да... — бормотала она: — его послали... ничего... онъ долго не будетъ.

И замяла разговоръ.

— Какъ же вы живете однѣ, безъ покровителя, безъ...

Анна Павловна еще больше покраснѣла.

— У меня есть дядя, онъ и опекунъ...

— Онъ бываетъ у васъ?

— Да, разъ въ недѣлю.

— Ну, если онъ меня увидитъ здѣсь?

— Не хорошо, — сказала она, встревожась: — очень не хорошо. Остерегайтесь, не показывайтесь при немъ. Мы будемъ съ вами читать, заниматься музыкой, гулять вмѣстѣ. Да, не правда ли?—говорила она.

— О, конечно!

— Вы повезете меня въ театръ, да?

— Непремѣнно.

— Ахъ, какое блаженство!

Иванъ Савичъ воротился домой внѣ себя отъ радости.

— Какъ я счастливъ, Авдѣй! — твердилъ онъ: — а! вотъ что̀ значитъ жуировать! Это не то, что Амалія Николаевна или Александра Максимовна: тѣ передъ нею—просто стыдъ сказать. Къ этой такъ нельзя приступиться. Завтра къ Васѣ — и вспрыски! нечего дѣлать. Ну, ужъ стоило же мнѣ хлопотъ; не всякому бы удалось! а? какъ ты думаешь?

— Не могу знать,—отвѣчалъ Авдѣй.

Съ тѣхъ поръ Иванъ Савичъ только и дѣлалъ, что жуировалъ. То онъ у нея, то она у него. Въ должности онъ бывалъ рѣже. Его видали подъ руку съ дамой прогуливающимся въ отдаленныхъ улицахъ. Въ театрѣ онъ прятался въ ложѣ третьяго яруса за какими-то двумя женщинами, изъ которыхъ одна была похожа на ворону въ павлиныхъ перьяхъ. Это была хозяйка и дуэнья Анны Павловны. Дома

они были неразлучны. Она чаще бывала у него: обѣдала, завтракала,—словомъ, какъ говорятъ, живмя-жила.

— У тебя такіе мягкіе диваны, — говорила она, вскорѣ послѣ знакомства:—такъ славно сидѣть, нѣжиться. Я лучше люблю быть здѣсь. Ахъ! какая прелесть! жизнь такъ хороша! Это блаженство!

— Знаешь что, мой ангелъ: возьми пока къ себѣ одинъ диванъ, вотъ этотъ, зеленый, — отвѣчалъ Иванъ Савичъ.— У меня ихъ два да еще кушетка.

— Зачѣмъ...—нерѣшительно говорила Анна Павловна.— Къ такому дивану нуженъ и коверъ, а у меня нѣтъ... не всѣмъ рокъ судилъ счастье...

— Возьми одинъ коверъ: у меня два.

— Ну, ужъ если ты такъ добръ, такъ дай на подержаніе и зеркало, чтобы хоть на время забыть удары судьбы.

— Изволь, изволь, мой ангелъ! Ахъ, ты моя кошечка, птичка, цвѣточекъ... не правда ли, Авдѣй, цвѣточекъ?

— Не могу знать, — отвѣчалъ Авдѣй, проходя черезъ комнату.

— Да, цвѣточекъ! — начала она полугнѣвно: — я такъ люблю цвѣты, а ты мнѣ все еще не собрался купить...

— Завтра же, завтра, дружокъ, усыплю путь твоей жизни цвѣтами.

— И хорошенькихъ горшечковъ, отъ Поскочина, — сказала она, взявъ его руками за обѣ щеки. — Это чистѣйшее наслажденіе: оно не влечетъ за собой ни раскаянія, ни слезъ, ни вздоховъ...

— Непремѣнно, только не растрепли бакенбардъ: мнѣ въ департаментъ идти; надо же когда-нибудь сходить. Какъ жаль, что тебя, Анета, нельзя брать туда: я бы каждый день ходилъ. Ты бы подшивала бумаги въ дѣла, я бы писалъ... чудо!.. А то начальникъ отдѣленія, столоначальникъ... да все чиновничьи лица... фи!.. Если и придетъ иногда просительница, такъ такая... уфъ!.. Къ намъ все мѣщанки

да солдатки ходятъ... ни одной нѣтъ порядочной: рожа на рожѣ! пожуировать не думай. Охъ, служба, служба! — прибавилъ онъ, натягивая вицъ-мундиръ.—губи свою молодость въ мертвыхъ занятіяхъ!

— Долго ты тамъ пробудешь, *mon ami?*

— Часовъ до четырехъ, я думаю... Если можно будетъ надуть начальника отдѣленія, такъ удеру около трехъ.

— Ахъ, Боже мой! У меня нѣтъ часовъ: я не буду знать, когда ты придешь. Часы мнѣ покажутся вѣками, а въ жизни и такъ немного радостей.

— И, мой другъ,—сказалъ Иванъ Савичъ: — помни, что жизнь коротка, по словамъ философа, и не грусти, а жуируй. Да возьми-ка мои часы столовые: они вѣрны,—сказалъ Иванъ Савичъ.

— Да! а на что я ихъ поставлю? У меня нѣтъ такого столика. Не всякому дано...

— Ты и со столикомъ возьми. Авдѣй! отнеси!

Прошло мѣсяца два — Иванъ Савичъ все жуировалъ, Анна Павловна все вздыхала да распоряжалась свободно имъ и его добромъ. Какъ же иначе? И онъ распоряжался ею и ея добромъ: игралъ локонами, какъ будто своими, цѣловалъ глазки, носикъ. Наконецъ продолжительныя свиданія начали утомлять ихъ: то онъ, то она зѣвнетъ; иногда просидятъ съ часъ, не говоря ни слова. Иванъ Савичъ сталъ зѣвать по окнамъ другихъ квартиръ.

— Авдѣй! чей это такой славный экипажъ? — спросилъ онъ однажды, глядя изъ своего окна на дворъ.

— Не могу знать.

— Узнай!

Авдѣй доложилъ черезъ пять минутъ, что экипажъ принадлежалъ знатной барынѣ, что во второмъ этажѣ живетъ.

— Какіе славныя лошади! какъ хорошо одѣты люди! Она должна быть богата, Авдѣй?

— Не могу знать.

Въ другой разъ онъ увидѣлъ, что на дворѣ выбиваютъ пыль изъ роскошныхъ ковровъ, и на вопросъ: чьи они? получилъ въ отвѣтъ отъ Авдѣя сначала — не могу знать, потомъ, что и ковры принадлежали знатной барынѣ.

— А вонъ эта собака?—спросилъ Иванъ Савичъ.

— Ея же. Чуть было давеча за ногу не укусила, проклятая!

— Вотъ бы туда-то попасть!—сказалъ Иванъ Савичъ.

Иванъ Савичъ и Анна Павловна все дружно жили между собой и видались почти такъ же часто. Только изрѣдка, какъ сказано, они зѣвали, иногда даже дремали. Дремала и любовь. Горе, когда она дремлетъ! Отъ дремоты не далеко до вѣчнаго сна, если не пронесется, какъ игривый вѣтерокъ, ревность, подозрѣніе, препятствіе, и не освѣжитъ чувства, покоящагося на взаимной довѣренности и безмятежномъ согласіи любящейся четы. Впрочемъ, кажется, ни Иванъ Савичъ, ни Анна Павловна не заботились о томъ. Они смѣло дремали, сидя на разныхъ концахъ дивана, иногда переглядывались, перекидывались словомъ, мѣнялись поцѣлуемъ — и вновь молчали. Она задумывалась или работала, онъ дремалъ. Однажды дремота его превратилась въ настоящій, основательный сонъ: голова опрокинулась почти совсѣмъ на задокъ дивана. Онъ даже открылъ немного ротъ, разумѣется, неумышленно, поднялъ кверху носъ, въ рукѣ прекрѣпко держалъ одинъ уголъ подушки и спалъ. Вдругъ ему послышалось восклицаніе «ахъ!» потомъ сильный говоръ подлѣ него. Онъ не обратилъ на это вниманія; но говоръ все продолжался. Черезъ минуту онъ открылъ глаза. Что же? Передъ нимъ стоитъ низенькій, чрезвычайно толстый пожилой человѣкъ, съ усами, въ венгеркѣ, и грозно вращаетъ очами, устремивъ ихъ прямо на него. Иванъ Савичъ тотчасъ опять закрылъ глаза.

— Какой скверный сонъ!—сказалъ онъ:—приснится же этакая гадость!

И плюнулъ прямо на призракъ.

— Иванъ Савичъ! что̀ вы, что̀ вы! — перебила его испуганнымъ голосомъ Анна Павловна.

— Ничего, мой ангелъ! Не мѣшай мнѣ спать. Если бъ ты видѣла, какой уродище сейчасъ приснился мнѣ: на яву такого быть не можетъ.

Анна Павловна упала въ обморокъ и склонила блѣдную голову на подушку.

— Милостивый государь! — вдругъ загремѣлъ кто-то басомъ надъ самымъ ухомъ Ивана Савича.

Онъ вскочилъ, какъ бѣшеный — и что̀ же? Уродъ, котораго онъ принялъ за созданіе воображенія, стоитъ передъ нимъ, сложивъ руки крестомъ, какъ Наполеонъ.

— Что-съ... я-съ... извините... я думалъ... что вы — сонъ,—бормоталъ, трясясь отъ страха, Иванъ Савичъ.

— Кто вы? зачѣмъ вы здѣсь?.. а?.. по какому случаю?— говорилъ толстякъ, подступая къ Ивану Савичу.

— Я-съ? я... помилуйте,—говорилъ тотъ, пятясь къ дверямъ:—я чиновникъ, служу въ министерствѣ... Что̀ вы?

— Я съ вами раздѣлаюсь, — говорилъ толстякъ: — раздѣлаюсь непремѣнно,—погодите!

Иванъ Савичъ ушелъ въ переднюю, оттуда въ сѣни, все задомъ. Въ сѣняхъ онъ остановился и поглядѣлъ въ дверь. Къ нему выбѣжала Анна Павловна, блѣдная и разстроенная.

— Это мой опекунъ... и... и... дядя!—сказала она.

— Опекунъ! — говорилъ Иванъ Савичъ, заглядывая въ дверь на толстяка: — у васъ *огромная опека,* Анна Павловна!

— И вы можете шутить? Подите къ себѣ и не приходите, пока не позову... О, Боже мой! Чѣмъ это кончится? Вотъ какая туча разразилась надъ нами. Заря нашего блаженства затмилась. Я не ждала его такъ рано изъ командировки.

— Такъ у васъ и дядя былъ въ командировкѣ? я не зналъ.

— Прощайте, прощайте, — сказала она: — можетъ-быть, навсегда.

— И пора, — бормоталъ Иванъ Савичъ: — надоѣла мнѣ: все хнычетъ, а ѣстъ, ѣстъ такъ, что Боже упаси!

Иванъ Савичъ пришелъ домой и растянулся въ спальнѣ на кушеткѣ досыпать прерванный сонъ. Черезъ часъ онъ услышалъ надъ собой опять: «Милостивый государь!» открылъ глаза — и тотъ же толстякъ стоитъ надъ нимъ.

— Опять тотъ же гадкій сонъ! — сказалъ онъ и вскочилъ съ кушетки. — А, это вы! — примолвилъ онъ. — Позвольте узнать, съ кѣмъ я имѣю честь...

— Я отставной майоръ Стрекоза, — сказалъ толстякъ: — къ вашимъ услугамъ.

И сѣлъ безъ церемоніи на кресла противъ кушетки.

«Стрекоза!» думалъ Иванъ Савичъ: «хороша стрекоза! кажется, вовсе не *попрыгунья*. Могъ бы изъ Крылова же басенъ заимствовать себѣ названіе поприличнѣе».

— Давно ли вы знакомы съ Анной Павловной? — грозно спросилъ майоръ.

— Да мѣсяца три будетъ; а что-съ?

— Не вамъ слѣдуетъ спрашивать, а мнѣ; вы извольте отвѣчать.

Иванъ Савичъ хотѣлъ-было сказать что-то колкое, да съ языка не сошло.

— Какимъ образомъ вы познакомились?

— Черезъ двери, господинъ... госпожа... господинъ Стрекоза!

— Знаю, что не чрезъ окно; но какъ?

— Да такъ-съ: по сосѣдству. Я ей скажу: здравствуйте, Анна Павловна! здоровы ли вы? Она отвѣчаетъ: здравствуйте, Иванъ Савичъ! покорно васъ благодарю... Такъ и познакомились.

— Но этимъ, кажется, ваши сношенія не ограничивались?.. а?..

— Помилуйте, г. Стрекоза, — началъ вкрадчиво Иванъ Савичъ.—Неужели вы можете думать, чтобы я, чтобы она, чтобы мы... что-нибудь такое... Да я такъ скроменъ, такъ невиненъ... могу даже сказать, что ненависть моя къ женщинамъ извѣстна здѣсь всѣмъ въ городѣ... я *мизантропъ!* право-съ! Графъ Коркинъ, баронъ Кизель могутъ подтвердить, и, притомъ, Анна Павловна такъ любитъ своего мужа.

— Мужа?—спросилъ майоръ.

— Да-съ, что въ командировкѣ. Только о немъ и говоритъ: скоро ли, говоритъ, онъ пріѣдетъ; мнѣ, говоритъ, такъ скучно безъ него... я не живу. Помилуйте, г. Стрекоза, вы насъ обижаете...

Майоръ задумался и, повидимому, смягчился.

— Но что значитъ сцена, которую я засталъ?—сказалъ онъ: — вы спали, называли ее «мой ангелъ!» Какъ могли вы дойти до такой степени короткости?... а?.. Я съ вами, милостивый государь, раздѣлаюсь!

— И, г. майоръ! если бъ вы знали, какъ я простъ душой, вы бы ничего не заключили дурного изъ этого. Въ одинъ день я сойдусь съ человѣкомъ — и какъ будто двадцать лѣтъ жилъ вмѣстѣ. Ты да ты. За что вы нападаете понапрасну на мою простоту и добродѣтель? обижаете и свою племянницу... вѣдь вы дяденька ей?

— Да, я опекунъ ея и... дядя.

— Какъ лестно носить титулъ этотъ при такой прекрасной особѣ! и кому же ввѣрить это прекрасное сокровище... какъ не...

— Я не комплименты пришелъ сюда слушать, — грубо перервалъ майоръ:—а раздѣлаться! Я вамъ дамъ! Какъ вы, милостивый государь, смѣли, спрашиваю я васъ?

«Медвѣдь!—подумалъ Иванъ Савичъ. — Никакой образованности, никакого тона!»

— Послушайте, милостивый государь,—сказалъ майоръ:— вы должны мнѣ дать удовлетвореніе, или...

— Какъ удовлетвореніе? какое?

— Разумѣется, какъ благородный человѣкъ.

Майоръ указалъ на пистолеты, висѣвшіе на стѣнѣ.

— Вонъ у васъ, я вижу, есть и средства къ тому,— прибавилъ онъ.

— Э! нѣтъ-съ. Это подарилъ мнѣ одинъ знакомый, ни онъ, ни я не знаемъ, для чего: чортъ знаетъ, зачѣмъ они тутъ висятъ. Это дуракъ Авдѣй развѣсилъ.

Онъ снялъ ихъ и проворно спряталъ подъ кровать.

— Вотъ теперь, можетъ-быть, узнаете,—сказалъ майоръ съ выразительнымъ жестомъ.

Иванъ Савичъ покачалъ головой.

— Ни за что-съ?—сказалъ онъ рѣшительно.—У меня правило—не стрѣляться, особенно за женщинъ. Этакъ мнѣ пришлось бы убить человѣкъ пятьдесятъ или давно самому быть убитымъ... такъ, за недоразумѣнія, вотъ какъ теперь. Притомъ же, я и не умѣю...

— Въ такомъ случаѣ, вы должны отказаться отъ знакомства съ Анной Павловной... Я какъ опекунъ... и... и... и дядя ея... требую этого.

— Отказаться! Какъ же жить въ сосѣдствѣ и не быть знакомымъ? придется встрѣтиться какъ-нибудь, согласитесь сами...

— Ни, ни, ни! не придется, если не будете стараться: я ее увезу на другую квартиру...

— Давно бы вы сказали!—воскликнулъ Иванъ Савичъ.— Ухъ! гора съ плечъ долой! Знаете, г. Стрекоза, что у меня правило—не переносить знакомства на другую квартиру.

— Э!—сказалъ, улыбнувшись, майоръ:—да у васъ славныя правила! Ну, такъ и дѣло съ концомъ: миръ. Нечего объ этомъ и говорить.

— Не прикажете ли чаю?

— Очень хорошо. Нѣтъ ли съ ромомъ?

— Есть коньякъ.

— Ну, все равно.

— Не угодно ли сигары?

— Пожалуйте.

И они стали друзьями.

— Какая у васъ славная квартира! — сказалъ майоръ, оглядываясь кругомъ:—со всѣми удобствами... Что это, мнѣ какъ будто вдругъ что-то на носъ капнуло?..

— Ахъ-съ! это вонъ оттуда, — сказалъ Иванъ Савичъ, указывая вверхъ.—Это ничего, такъ, дрянь, пройдетъ.

Майоръ поднялъ голову и посмотрѣлъ на пятно.

Вдругъ оттуда закапало сильнѣе прямо ему въ лицо.

— Милостивый государь! — закричалъ онъ, вскочивъ съ мѣста:—что это значитъ? Я съ вами раздѣлаюсь...

— Я не виноватъ-съ... право! Это иногда течетъ: видно, вверху пролили ушатъ съ водой... Эй, Авдѣй! Авдѣй! подставь скорѣе ведерко...

— Прощайте,—сказалъ майоръ: — у васъ не безопасно; пойду укрыться... къ племянницѣ отъ дождя. Странныя у васъ правила,—право, странныя: не стрѣляетесь, не переносите знакомства на другую квартиру, дождь терпите въ комнатахъ..., гм!

Онъ ушелъ. На другой день, рано утромъ, отъ Анны Павловны, отъ майора и отъ старухи не осталось никакихъ слѣдовъ. Въ домѣ и духу ихъ не стало.

Авдѣй торжественно вышелъ на средину комнаты.

— Какъ же, батюшка, Иванъ Савичъ, — сказалъ онъ: — они увезли у насъ диванъ, столъ, часы, зеркало, коверъ, двѣ вазы, ведро совсѣмъ новешенькое да молотокъ. Не прикажете ли сходить за ними?

— И, нѣтъ, не надо! Еще, пожалуй, привяжется Стрекоза: по какому, дескать, поводу эти вещи были тамъ? ну ихъ совсѣмъ. Избавились отъ бѣды: это главное.

— Вѣдь говорилъ я вамъ, не хорошо будетъ: шутка ли, чего стало!

— Зато пожуировали!—сказалъ Иванъ Савичъ.

Въ тотъ же день Иванъ Савичъ кутилъ съ своими друзьями. Онъ разсказалъ имъ свое приключеніе.

— За здоровье сироты!—провозгласили друзья.

— Да, друзья мои, лишился, потерялъ ее! если бъ вы знали, какъ она любила меня! Подумайте, всѣмъ мнѣ жертвовала: спокойствіемъ, сердцемъ. Она была... какъ бы это выразить?.. милымъ видѣніемъ, такъ сказать мечтой... разнообразила тоску мертвой жизни...

— Да, братецъ, жаль,— сказалъ, вздохнувъ и покрутивъ усы, офицеръ: — какъ это ты выпустилъ изъ рукъ такую птичку?.. Ты бы провѣдалъ.

— Нельзя, *mon cher:* честное слово далъ! Дядя, опекунъ: подумай, вышла бы исторія... повредила бы мнѣ по службѣ.

— Ты бы мнѣ сказалъ, — продолжалъ офицеръ: — я бы раздѣлался съ нимъ. Я бы показалъ, что̀ значитъ обидѣть моего пріятеля! А ты! вотъ что̀ значитъ не военный человѣкъ!

— Я, *mon cher*, и самъ намекалъ ему на пистолеты, даже снялъ со стѣны и показалъ... да онъ искусно замялъ рѣчь.

— Подлецъ! трусъ! — примолвилъ офицеръ, притопывая то той, то другой ногой.

— Какія все ему достаются: барыни, да еще замужнія!— замѣтилъ другой.

— И не показалъ, не познакомилъ, злодѣй! — сказалъ Вася. — Нѣтъ, я такъ въ горничныхъ счастливъ. Какая у меня теперь... а!!

И онъ разсказалъ имъ, какая.

— Славно мы живемъ!—примолвилъ одинъ изъ молодыхъ людей: —право, славно: кутимъ, жуируемъ! вотъ жизнь, такъ

жизнь! завтра, послѣ-завтра, всякій день. Вонъ Губкинъ: ну, что̀ его за жизнь! Утро въ департаментѣ мечется, какъ угорѣлый, да еще послѣ обѣда пишетъ, книги сочиняетъ... просто смерть!.. чудакъ!

Иванъ Савичъ опять не зналъ, куда дѣвать свое время, опять зѣвалъ, потягивался, билъ собаку, бранилъ Авдѣя. Однажды онъ пришелъ въ комнату Авдѣя и посмотрѣлъ въ окно. Вдругъ лицо его оживилось.

— Голубчикъ Авдѣй!—сказалъ онъ:—посмотри-ка, какая хорошенькая дѣвушка, тамъ, въ окнѣ, и какъ близко: можно разговаривать!

— Не о чемъ разговаривать-то,—сказалъ Авдѣй.

— Какіе глазки!—продолжалъ Иванъ Савичъ: — ротикъ! только носъ не хорошъ. А бѣленькая, свѣженькая... прелесть! Ты ничего мнѣ и не скажешь! Узнай, чья она.

Авдѣй доложилъ, что она служитъ у знатной барыни.

— И дѣвушка-то знатная! — сказалъ Иванъ Савичъ: — право! а?

— Не могу знать! — отвѣчалъ Авдѣй: — извѣстно: дѣвчонка!

— Послушай, порадѣй-ка мнѣ у ней: поди, скажи, что я и добрый, и...

— Полно вамъ, батюшка, Иванъ Савичъ! Бога вы не боитесь...—заговорилъ онъ, съ убѣдительнымъ жестомъ:— и я-то съ вами сколько грѣха на душу взялъ.

— Ну!—сказалъ Иванъ Савичъ: — по-твоему, не пожуируй! Поди, поди, говорятъ тебѣ.

— Воля ваша, Иванъ Савичъ, гнѣвайтесь-не гнѣвайтесь, а я больше не намѣренъ.

— Что̀ жъ ты пыль не обтираешь нигдѣ, дуракъ этакій! — сердито закричалъ Иванъ Савичъ. — Это что̀? это что̀? а? У меня тамъ вездѣ паутина! Давеча паукъ на носъ сѣлъ! Ничего не дѣлаешь! А еще метелку купилъ! Къ сапожнику опять забылъ сходить? Да ты мнѣ изволь новыя

чашки на свои деньги купить: я тебѣ дамъ бить посуду! Что̀ это за скверный народъ такой, лѣнивый... никуда не годится!

Дня черезъ два Ивану Савичу принесли новое платье. Онъ примѣрялъ и велѣлъ спрятать. Вдругъ Авдѣй вышелъ насредину.

— А что̀, батюшка, Иванъ Савичъ,—сказалъ онъ:—не будетъ ли вашей барской милости... т.-е. теперь у васъ три сюртука... одинъ-то ужъ старенькій... Не пожалуете ли мнѣ?

Онъ низко поклонился.

— Не намѣренъ,—сказалъ Иванъ Савичъ сухо.

Авдѣй крякнулъ и пошелъ въ переднюю...

На другой день онъ надѣлъ на себя серебряные часы, повѣсилъ бисерный шнурокъ по всей груди и животу, взялъ въ руки картузъ съ кисточкой и отправился радѣть своему барину.

— Говорилъ,—сказалъ онъ черезъ полчаса, выйдя на средину.

— Что̀ жъ ты говорилъ?—спросилъ Иванъ Савичъ.

— Что, молъ, баринъ у меня и добрый, и хорошенькій такой...

— Вотъ, хорошенькій! Зачѣмъ же ты врешь?

— Что̀ за вру! вы вѣдь хорошенькіе...

Оба молчали. Иванъ Савичъ гладилъ бакенбарды.

— Что жъ ты не въ моемъ сюртукѣ ходилъ къ ней? оно бы лучше!—сказалъ Иванъ Савичъ.

— Да какъ я смѣю барскій сюртукъ надѣть?

— Ты возьми его себѣ совсѣмъ, тотъ, что̀ просилъ у меня.

Авдѣй подбѣжалъ согнувшись и поцѣловалъ у барина ручку.

— Что̀ жъ ты ей еще сказалъ?

— Что баринъ мой, молъ, молодецъ: гдѣ ни завидитъ

женщину, тотчасъ влюбится! У него, молъ, не мало ихъ было...

— Да кто жъ тебя просилъ объ этомъ говорить? Ну, пойдетъ ли она теперь? Есть ли у тебя разсудокъ? а? Вѣчно подгадишь мнѣ! Что̀ жъ она сказала?

— Что̀ мнѣ, говоритъ, до твоего барина за дѣло? Онъ, говоритъ, мнѣ не ро̀вня: что̀ мнѣ съ нимъ знакомиться? Поди, говоритъ, отваливай.

— Вотъ еще!—ворчалъ Иванъ Савичъ: — не ро̀вня. Какъ же бы это устроить? Ахъ, славно! выдумалъ! Часто ли она бываетъ тутъ у окна?

— Да цѣлое утро всякій день вертится.

— Тамъ она теперь?

— Тамъ-съ.

— Дай-ка мнѣ свой сѣрый сюртукъ.

— На что̀ это вамъ?

— Дай, дай. Я знаю, на что̀. Ну, что̀, впору ли?—спросилъ Иванъ Савичъ, надѣвъ сюртукъ.

— Коротенекъ. Да что̀ вы хотите дѣлать?

— А вотъ что̀: ты скажи ей, что у насъ два человѣка. Вѣдь она меня не видала?

— Нѣтъ-съ.

— Ну, я утромъ буду приходить на полчаса къ тебѣ въ комнату, будто убирать что-нибудь. Вотъ и теперь пойду. Дай мнѣ сапогъ и щетку.

Иванъ Савичъ помѣстился у самаго окна и сталъ чистить сапогъ. Авдѣй спрятался въ простѣнокъ и прикрылъ ротъ рукой, чтобъ не засмѣяться вслухъ, и качалъ головой.

— Вишь вѣдь лукавый догадалъ — чего не выдумаетъ! бормоталъ онъ.—Не такъ, не такъ, Иванъ Савичъ! на что подошву-то намазали ваксой? И сапога-то не умѣетъ вычистить, а еще баринъ!

— Здравствуйте! — сказалъ Иванъ Савичъ дѣвушкѣ въ окно.

— Да, баринъ подарилъ. Авдѣй!—закричалъ онъ, забывшись:—подай чаю!..

— Что вы это? какъ вы на него кричите! — сказала Маша.

— Авдѣй Михайлычъ, — сказалъ Иванъ Савичъ, спохватясь:—уважь насъ: чайку поскорѣе. Вѣдь я барскій камердинеръ,—примолвилъ онъ, обращаясь къ Машѣ:—ну, такъ Авдѣй и угождаетъ мнѣ. Въ другой разъ замолвлю за него доброе словцо.

— А! вы камердинеръ? — значительно сказала Маша:— вотъ какъ!

Уже прошло недѣли три, какъ Маша частенько прокрадывалась къ своему возлюбленному. Иванъ Савичъ лежалъ обыкновенно на *барской* кушеткѣ, какъ онъ говорилъ Машѣ, а она сидѣла подлѣ него въ креслахъ и болтала безъ умолку или жевала что-нибудь. Горничныя вѣчно жуютъ или грызутъ. Въ карманахъ ихъ передника всегда найдете орѣхи, изюмъ, или половинку сухаря, оставшагося отъ барынина завтрака, или бисквиту, вафлю, залогъ нѣжности какого-нибудь повара. Иванъ Савичъ не находилъ болѣе предмета для разговора съ ней. Онъ ужъ пересказалъ ей всѣ анекдоты, которые разсказываются только мужчинами другъ другу за бутылкой вина, или горничнымъ, и говорить больше было нечего.

— Ну, скажи что-нибудь еще,—говорила однажды Маша.—Ты такъ смѣшно разсказываешь.

Иванъ Савичъ зѣвнулъ.

— И нынче конфеты да сливы: я лучше люблю яблоки,— продолжала Маша болтать, доѣдая сливу.—А это вѣдь, чай, дорого: неужели тебѣ баринъ столько денегъ даетъ? Это съѣшь, словно какъ ничего—и не попахнетъ; а послѣ яблоковъ долго помнишь, что ѣла. Я могу цѣлый десятокъ яблоковъ съѣсть, право!

Иванъ Савичъ все молчалъ.

— Вчера мы съ Настасьей, съ нянькой отъ верхнихъ жильцовъ, два десятка съѣли, инда насилу опомнились, даже тошно сдѣлалось: *ейный* сынъ принесъ ей цѣлый узелъ яблоковъ, пряниковъ, орѣховъ, да не однихъ простыхъ, а разныхъ. Онъ въ мелочной лавкѣ приказчикомъ. Ты вотъ мнѣ никогда орѣховъ не купишь.

Иванъ Савичъ закурилъ сигару.

— Что ты заплатилъ за цыгарки?—спросила Маша.

— Это барскія,—сказалъ Иванъ Савичъ.

— Ну какъ онъ узнаетъ?

— Нѣтъ, у него много.

— И то сказать, правда: что̀ жалѣть господскаго. Я вотъ, какъ живу на свѣтѣ, не знаю, что̀ такое покупать помаду, духи, булавки, мыло: все у барыни беру. Разъ она и узнала по запаху: ты, говоритъ, никакъ моей помадой изволишь мазаться? Вотъ я ей говорю... такъ и говорю, право, я вѣдь ей не уступлю... она слово, а я два... кромѣ вашей помады нешто и на свѣтѣ нѣтъ! — А гдѣ жъ ты взяла?—говоритъ она.—Гдѣ? подарили; а сама пячусь, чтобъ она не разнюхала. — А кто, говоритъ, подарилъ?—А вамъ, молъ, зачѣмъ?—Дружокъ, вѣрно!—говоритъ. Что̀ жъ! вѣдь я соврала—сказала: дружокъ. А какой къ чорту дружокъ! У меня послѣ Алексѣя Захарыча до тебя никого и не было. Она и пошла допытываться, кто, да тутъ пріѣхали гости, я и ушла.

Оба замолчали.

— Ахъ, Иванъ! — начала опять Маша: — какое платье купила себѣ Лизавета, наша бывшая дѣвушка! *крепъ-паше*... чудо! Когда я соберусь сдѣлать себѣ этакое?

Она вздохнула.

— А тебѣ хочется?—спросилъ Иванъ Савичъ.

— Еще бы не хотѣлось! ужъ я давно думала, да куда! оно 28 рублей сто̀итъ.

Иванъ Савичъ вынулъ изъ бумажника пятидесятирублевую ассигнацію и далъ ей.

А... неужели?—сказала она съ радостнымъ изумленіемъ—это мнѣ? Сколько же у тебя денегъ-то? вѣдь у меня [illegible]

[illegible]

[illegible]

Она развертывала въ рукахъ ассигнацію и смотрела [illegible] на Ивана Савича [illegible]

— [illegible] — спросила она [illegible]

[illegible]

— [illegible] — сказала [illegible] — [illegible]

[illegible]

— [illegible]

— [illegible] — сказалъ Иванъ Савичъ.

— [illegible] — [illegible]

— [illegible] — сказалъ [illegible] Савичъ.

— [illegible]

[illegible]

— [illegible]

жизнь не прочитаешь? — сказала она опять: — какія это книжки, Иванъ?

— Философическія!—сказалъ Иванъ Савичъ.

— Какія же это? смѣшныя или страшныя? почитай мнѣ когда-нибудь въ книжкѣ: я люблю смѣшныя книжки. И у васъ хорошо,—продолжала Маша, оглядываясь кругомъ:— а у насъ еще лучше. Какіе занавѣсы, какіе ковры! рѣшётки съ плющами; какія корзинки для цвѣтовъ! даже уму непостижимо! Вчера принесли маленькій диванчикъ въ спальню: какая матерія! такъ глаза и разбѣгаются: четыреста рублей стòитъ. Какъ подумаешь, сколько эти господа денегъ сорятъ, такъ страшно станетъ. Хоть бы половину мнѣ дали того, чтò иной разъ въ недѣлю истратятъ, такъ мнѣ было бы на всю жизнь.

— Такъ очень хороша твоя барыня? — спросилъ Иванъ Савичъ.

— Ахъ! прехорошенькая! особенно утромъ, какъ съ постели встаетъ.

— Какъ же бы съ ней познакомиться?

— Кому?

— Разумѣется, моему барину. Ужъ онъ говорилъ: похлопочи-ка, говоритъ, Иванъ!

— Нѣтъ ли у него пріятеля, знакомаго съ нашей барыней? — сказала Маша: — пусть тотъ и приведетъ его; а нето пусть онъ выдумаетъ, будто нужно спросить что-нибудь, да и придетъ: можетъ, и познакомится. Славно бы! тогда бы я чаще къ тебѣ бѣгала, будто къ барину отъ барыни, или попросить чего-нибудь. Ужъ когда господа знакомы, такъ и люди знакомы. Это такъ водится. Чтò бы выдумать? а! да вотъ чтò: барыня продаетъ одну лошадь: не надо ли вамъ? пусть бы баринъ и пришелъ, будто поторговаться.

— И прекрасно! — сказалъ Иванъ Савичъ, вскочивъ съ кушетки:—я и пойду.

— Ты?—спросила Маша.

— И познакомлюсь, — продолжалъ Иванъ Савичъ, не замѣчая ошибки.

— Что̀ ты, что̀ ты, опомнись, мой батюшка, заврался!

— Ахъ, да! Что̀ я вру: баринъ, баринъ.

— То-то же.

— Ну, ты теперь поди домой,—сказалъ Иванъ Савичъ.

— Вотъ ужъ и гонишь, экой какой! Ну, прощай. Спасибо за подароньице,—сказала Маша, неохотно вставая съ креселъ.

На другой день Иванъ Савичъ, идучи въ должность, встрѣтилъ на лѣстницѣ знатную барыню и остановился, пораженный ея красотою. Она привѣтливо взглянула на него, какъ будто въ благодарность за это удивленіе. Послѣ того онъ старался ежедневно сойтись съ ней на лѣстницѣ. Это было легко, потому что изъ его оконъ видно было, какъ ей подавали карету. Наконецъ, онъ осмѣлился сдѣлать ей робкій и почтительный поклонъ. Ему ласково кивнули головой, и Иванъ Савичъ былъ внѣ себя отъ радости.

— Авдѣй!—сказалъ онъ:—знаешь что̀? знатная барыня поклонилась мнѣ сегодня. Она всякій разъ ласково смотритъ на меня. Значитъ, я ей нравлюсь. Какъ ты думаешь?

— Не могу знать.

И Маша подтвердила ему, что у ея барыни только и разговора, что о его баринѣ.

— Все меня разспрашиваетъ о немъ, — сказала она:— богатъ ли онъ, есть ли у него экипажъ, сколько людей? а я почемъ знаю... знаю, молъ, только, что у него двое людей—Авдѣй да Иванъ—вотъ и все. Какая, право, чудная! Я вѣдь по парадной лѣстницѣ не хожу: гдѣ жъ мнѣ его видѣть? Да что̀ жъ, въ самомъ дѣлѣ, твой баринъ нейдетъ покупать лошадь? коли хочетъ, вотъ бы и познакомился.

Иванъ Савичъ, пока Маша говорила это, гладилъ бакенбарды.

Утромъ онъ посмотрѣлъ лошадь. Она была стара и разбита ногами. Онъ поторговался съ кучеромъ, но не согласился въ цѣнѣ и вечеромъ послалъ Авдѣя просить у знатной барыни позволенія видѣться съ ней, въ твердомъ намѣреніи не покупать лошади, а только завязать знакомство.

Сильно билось его сердце, когда онъ подошелъ къ ея двери. «Страшно какъ-то съ знатными!—думалъ онъ, осматриваясь и поправляясь: — что-нибудь не такъ сдѣлаешь, бѣда, засмѣютъ!..» Онъ позвонилъ чуть-чуть слышно. Человѣкъ доложилъ и потомъ, откинувъ занавѣсъ у дверей, впустилъ его въ залу. Зала была обита бѣлыми обоями, съ свѣтло-дикими арабесками. Ничего лишняго. По стѣнамъ дюжины двѣ легкихъ, граціозной формы стульевъ бѣлаго дерева. Два огромныя зеркала, у оконъ — тѣ прекрасныя корзины на тумбахъ, о которыхъ говорила Маша, да великолѣпныя драпри, которыя онъ самъ видѣлъ съ улицы. Въ гостиной было все богаче, роскошнѣе. Темная рѣзная мебель. На столѣ бронза, часы на мраморномъ пьедесталѣ,— нѣсколько картинъ, два или три бюста, вазы.

Иванъ Савичъ прошелъ гостиную и остановился въ нерѣшимости, идти или нѣтъ далѣе. Все было тихо. Въ слѣдующей комнатѣ чуть-чуть виденъ былъ свѣтъ отъ лампы.

«Какъ я войду? — думалъ онъ: — ну, какъ она тамъ... того... что-нибудь такое... почиваетъ?»

Вдругъ послышался шорохъ будто шелковаго платья. Кто-то пошевелился, и опять все замолкло. Иванъ Савичъ сдѣлалъ два раза хм! хм! и кашлянулъ. Вдругъ тамъ позвонили... Онъ обрадовался и вошелъ. Долго онъ искалъ глазами обитательницы этого будуара и не находилъ, пока, наконецъ, явившійся по звонку человѣкъ не навелъ его на путь.

— Не надо. Поди!—послышалось изъ-за зелени.

Человѣкъ ушелъ.

Иванъ Савичъ прошелъ до камина и тамъ, на полу-

кругломъ диванѣ, обставленномъ трельяжемъ, отыскалъ невидимку. Она была, повидимому, лѣтъ двадцати. Густые, темно-каштановые волосы спускались по вискамъ до половины щеки и прикрывали уши. Голубые глаза, маленькій носъ и еще меньше ротъ, свѣжесть лица, — все это ослѣпило Ивана Савича. Онъ ужъ не могъ разобрать, въ чемъ она была и какъ она сидѣла,—ничего.

Онъ почтительно поклонился.

— Наконецъ, я васъ... — началъ онъ робко: — неужели это правда? я какъ будто во снѣ.

Ему молча показали другой конецъ дивана.

«Вотъ какъ обрѣзала! — подумалъ Иванъ Савичъ: — ни слова! Не то, что̀ Анна Павловна: та сейчасъ стала кокетничать и заговорила. А эта... о, да тутъ надо осторожно».

Она продолжала молчать. Иванъ Савичъ долженъ былъ опять заговорить. Онъ потерялся.

— Я насчетъ лошадки... — началъ онъ чуть слышно: — пришелъ справиться, извините, что я... безпокою...

Больше у него не шло съ языка, какъ онъ ни старался, точно какъ будто ему зашили ротъ.

— Да, мнѣ человѣкъ сказывалъ, — отвѣчала она небрежно:—что вы хотите купить лошадь. Она не подходитъ подъ масть прочимъ моимъ лошадямъ, оттого я и велѣла ее продать.

— Кучеръ вашъ говоритъ, что вы просите 700 рублей... Это очень...

— Дешево, хотите вы сказать? — перебила она еще небрежнѣе: — что̀ жъ дѣлать! лошадь не сто̀итъ больше. Можетъ-быть, вамъ надо дороже и лучше... вы не церемоньтесь. Мнѣ сто̀итъ сказать одно слово своимъ знакомымъ: графу Пѣтушевскому, князю Поскокину, они бы сейчасъ избавили меня отъ этой лошади, лишь бы сдѣлать мнѣ удовольствіе.

Иванъ Савичъ струсилъ.

— Точно-съ, — началъ онъ: — вы изволите правду говорить... Я не имѣю чести быть вашимъ знакомымъ; но, чтобы сдѣлать вамъ удовольствіе...

У него занялся духъ; онъ на минуту остановился собраться съ силами. Она выразительно посмотрѣла на него.

— Но, чтобъ сдѣлать вамъ удовольствіе, — повторилъ онъ:—я... я... готовъ...

Она кивнула слегка головой и улыбнулась.

— Вы очень любезны!—сказала она.

Иванъ Савичъ ободрился.

«Каково же, — подумалъ онъ: — ай да Ваничка! ловко, братъ! Что скажетъ Вася? Какъ же ей деньги отдать? вѣдь, чай, самой не хорошо. О! выдумалъ, выдумалъ еще ловчѣе!»

— Кому прикажете деньги отдать? — спросилъ онъ уже довольно твердымъ голосомъ.

— Если онѣ съ вами, то потрудитесь бросить ихъ вонъ въ ту рабочую корзинку; а если нѣтъ, то пришлите.

Иванъ Савичъ положилъ деньги въ корзинку и сталъ раскланиваться.

— Куда же вы? — спросила она: — вы были такъ любезны. Я еще не успѣла поблагодарить васъ. Останьтесь пить чай со мной. Я васъ не пущу.

Она взяла у него шляпу изъ рукъ и поставила съ другой стороны подлѣ себя. Она сдѣлалась разговорчива и оставила небрежный тонъ.

— Садитесь поближе. Разскажите мнѣ, давно ли вы здѣсь живете, чѣмъ вы занимаетесь?

— Я живу здѣсь четыре мѣсяца, бываю въ театрѣ-съ, читаю-съ.

— Что вы читаете?

— Все философическія книги.

— А!

«Говорить ли ей, что мы кутимъ? — подумалъ Иванъ

Савичъ: — нѣтъ, что̀ я, Боже сохрани! Вѣдь это не Анна Павловна.»

— Вы изволите тоже читать книги?—спросилъ онъ, глядя на этажерку, уставленную книгами.

— Да, какъ же.

— Какія-съ, позвольте спросить?

— Больше французскія: теперь читаю «la Duchesse de Chateauroux». Вчера мнѣ подарили прекрасный кипсекъ. Достаньте вонъ ту книгу.

Онъ проворно вскочилъ, взялъ книгу и подалъ ей. Она подвинулась къ столику и открыла книгу.

— Посмотрите, какія гравюры. Да сядьте со мной рядомъ, поближе... еще...

Иванъ Савичъ сѣлъ, какъ она желала, и смутился.

«Вотъ какъ вольно знатные обходятся! — думалъ онъ:— какъ принято у нихъ! а мы чинимся между собой. Прямые мѣщане! Завтра за обѣдомъ разскажу нашимъ. Что̀ скажетъ Вася? Чай, удивится, не повѣритъ! «Экъ куда, скажетъ, залѣзъ!» Надо осмотрѣть хорошенько, какъ убрано, чтобы пересказать нашимъ».

— Гдѣ же еще другая книга?—сказала знатная дама и позвонила.

— Вели Машѣ,—сказала она вошедшему лакею:—принести изъ спальни книгу: она тамъ лежитъ.

При словѣ Маша у Ивана Савича забилось сердце. Вскорѣ послышались ея шаги. Она вошла, взглянула—и поблѣднѣла. Книга выпала у нея изъ рукъ.

— Что̀ ты валяешь книгу? — сказала барыня. — Испортишь переплетъ. Да что̀ жъ ты стала? Подойди сюда! развѣ ты не видала у меня людей?

Маша тихо подошла и, склонивъ голову, еще тише пошла назадъ.

А Иванъ Савичъ забылъ и Анну Павловну, и Машу, и всѣхъ на свѣтѣ. Знатная дама съ минуты на минуту дѣла-

лась все любезнѣе. Время незамѣтно прошло до одиннадцати часовъ. Онъ сталъ прощаться.

— Приходите ко мнѣ, какъ только будетъ у васъ свободное время, — сказала она: — я всегда дома. Когда мы покороче познакомимся, то придумаемъ, какъ проводить вечера.

Тутъ человѣкъ пришелъ съ докладомъ, что графъ Лужинъ пріѣхалъ.

— Проси. Прощайте, до свиданія,—сказала она съ дружеской улыбкой, подавая Ивану Савичу руку.

Въ залѣ онъ столкнулся съ адъютантомъ, который опрометью вбѣжалъ въ будуаръ. Иванъ Савичъ услышалъ звонкій поцѣлуй.

— Вотъ какъ знатные цѣлуются! — сказалъ онъ самъ себѣ. — А какъ поздно у нихъ пріѣзжаютъ гости: у насъ такъ спать ложатся. Мѣщане!

У своихъ дверей Иванъ Савичъ услышалъ, что кто-то будто плачетъ. Онъ посмотрѣлъ — и что̀ же? въ темномъ углу, опершись на перила, горько рыдала Маша.

— Что̀ ты? что̀ съ тобой?—спросилъ онъ.

— Что̀ съ тобой!.. — всхлипывая, говорила она: — еще спрашиваете: что̀ съ тобой? Не грѣхъ ли вамъ такъ обижать бѣдную дѣвушку?

— Какъ обижать?

— Обманывать! Сказали, что вы камердинеръ, что любите меня, а сами баринъ!

— Такъ что̀ же?

— Какъ что̀! Сами къ барынѣ пришли: Извѣстно, баринъ не станетъ любить простую дѣвушку...

— Вѣдь это не мѣшаетъ тебѣ бывать у меня.

— Не мѣшаетъ! Разсказывайте! Я видѣла, какъ вы близко съ ней рядомъ сидѣли да шептались...

Она зарыдала. Иванъ Савичъ махнулъ рукой и пошелъ прочь.

— Постойте, — сказала она: — возьмите ваши деньги: я отъ барина не хочу! Вотъ 45 рублей. 5 рублей я истратила...

Она вынула изъ кармана ассигнаціи, бросила ихъ на лѣстницу и исчезла.

Иванъ Савичъ такъ былъ поглощенъ впечатлѣніемъ отъ свиданія съ знатною барыней, что тотчасъ же забылъ о Машѣ. Онъ машинально поднялъ ассигнаціи и пошелъ.

— Ну, братъ, Авдѣй, вотъ прелесть, вотъ дама, такъ могу сказать!

— Неужли-то, сударь, у васъ и съ ней ужъ дошло до чего-нибудь этакаго?

— Тс! тише, тише! — съ испугомъ сказалъ Иванъ Савичъ.—Ты съ ума сошелъ! вѣдь это не Анна Павловна. Ты этакихъ и не видывалъ. Ахъ, если бы... да нѣтъ!

— Что̀ жъ лошадь-то, сударь?

— Купилъ!

— Неужли?—сказалъ Авдѣй:—такого одра! Да что̀ вамъ въ немъ? Вотъ деньги-то сорите! А что̀ дали?

— 700 рублей.

— Господи воля Твоя! да за нее 200 рублей нельзя дать; а за 700 рублей вы бы пару знатныхъ лошадей купили.

— Зато не познакомился бы съ знатной барыней,—сказалъ Иванъ Савичъ.—Звала къ себѣ какъ можно чаще.

— Экая лихая болѣсть, прости Господи, знатная барыня! Знатно же она васъ поддѣла! 700 рублей... шутка!

— Оно обошлось дешевле, — сказалъ Иванъ Савичъ: — вотъ Маша отдала назадъ 45 рублей — стало-быть, въ 655 рублей. Ну, не хочетъ, такъ какъ хочетъ!

Иванъ Савичъ явился въ собраніе своихъ друзей съ торжественнымъ лицомъ. Его походка, всѣ движенія были величавы. Онъ тихо вошелъ, молча отвѣчалъ на ихъ привѣтствія и молча сѣлъ за свой приборъ, ожидая вопросовъ.

— Что̀ это у тебя такая физіономія сегодня?—спросилъ офицеръ.

— Да, въ самомъ дѣлѣ: ты какъ будто награду получилъ,—замѣтилъ чиновникъ.—И въ бѣлыхъ перчаткахъ!

— Нѣтъ, такъ, ничего!—небрежно отвѣчалъ Иванъ Савичъ.—Сейчасъ былъ съ визитомъ.

— У кого это, позволь спросить?

— Помните, я вамъ говорилъ, — началъ Иванъ Савичъ, сморщивъ лобъ:—о той знатной дамѣ... что̀ живетъ у насъ во второмъ этажѣ?..

— Неужли у ней?—спросилъ Вася.

Иванъ Савичъ молча кивнулъ головой.

— Каковъ! а! Ахъ, чортъ его возьми! и туда забрался! тьфу!

Онъ плюнулъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, ты не врешь?—спросилъ офицеръ.

— Послушай! — сказалъ Вася, подсѣвъ къ нему: — ужъ если ты меня тутъ не познакомишь, мы, братъ, послѣ этого, больше не друзья!

— Нельзя ли мѣстечко черезъ нее выхлопотать? Вотъ бы вспрыски-то были!

— Ахъ, ты, жуиръ,—началъ другой:—а! мало тебѣ! Ты и знати спуску не даешь: баронесса! каково!

— Поздравимъ, поздравимъ!—закричалъ офицеръ.—Чего спросить, креманъ или клико! Надо, братецъ, вспрыснуть, воля твоя: баронесса!

— Тс! господа, господа! — заговорилъ серьезно, съ испугомъ Иванъ Савичъ: — если вы станете кричать, я сейчасъ уйду. Вѣдь это не какая-нибудь Анна Павловна. Кругомъ насъ множество народу, а вы кричите. Можетъ-быть, тутъ кто-нибудь изъ знатныхъ есть: а у ней что ни вечеръ, то князь, то графъ! услышатъ, и мнѣ, и вамъ достанется! Я вамъ по-дружески сказалъ, а вы и пошли...

Надо, господа, знать тонъ, приличія, какъ съ кѣмъ обращаться!

Всѣ струсили и начали говорить шопотомъ.

— Ну, а Маша что? Измѣнилъ, злодѣй!—сказалъ Вася.

— Фи! Неужели ты думаешь, что я къ Машѣ питалъ что-нибудь такое?.. Да и что вы рано принялись поздравлять: ничего нѣтъ, а можетъ-быть, и не будетъ. Мнѣ и подумать-то страшно объ этомъ. Это такъ, лестное знакомство: я тамъ, можетъ-быть, сойдусь съ хорошими людьми: выиграю по службѣ, а не то, чтобы... А вы ужъ сейчасъ и на̀ поди!..

— Да, да, толкуй! знаемъ мы тебя!—сказалъ офицеръ.— Нѣтъ ужъ, братъ, если ты куда забрался, такъ будетъ твое. Ловокъ, злодѣй. Да какъ это ты?..

— Какъ же... ловокъ...— говорилъ Иванъ Савичъ съ улыбкой.—Куда мнѣ!.. Эй! человѣкъ! четыре бутылки клико сюда!

Иванъ Савичъ продолжалъ являться къ баронессѣ церемонно, во фракѣ, отодвигался почтительно, когда она слишкомъ близко садилась или подходила къ нему, вскакивалъ съ мѣста, когда она вставала, и едва осмѣливался дотронуться до ея руки, когда она ему ее подавала.

Онъ кое-какъ успокоилъ и Машу, сказавъ ей, что она въ этомъ знакомствѣ не должна опасаться ничего, что онъ ходитъ къ баронессѣ за тѣмъ, чтобъ только посидѣть, поговорить, провести вечеръ. Маша покачала головой и не сказала ни слова, только вздохнула. Онъ отдалъ ей назадъ 50 рублей и прибавилъ еще столько же.

— Вотъ лошадь-то опять обошлась не въ 700, а въ 800 рублей!—замѣтилъ Авдѣй.

Лошадь кое-какъ сбыли за 200 рублей извозчику.

Ужъ съ мѣсяцъ посѣщалъ Иванъ Савичъ баронессу, но не позволялъ себѣ ни малѣйшаго намека на любовь, или, какъ Авдѣй говорилъ, на «что-нибудь такое». А, между тѣмъ,

она ему очень нравилась. Онъ у ней иногда сиживалъ по цѣлому дню, обѣдалъ, даже ужиналъ. Сервировали прекрасно, столъ былъ отличный, вино чудесное. Иногда тамъ бывали сестра баронессы, такая же хорошенькая, какъ она сама, и двѣ-три пріятельницы, еще лучше ея... По вечерамъ бывали мужчины, принадлежащіе къ порядочному кругу. Пріѣзжали они очень поздно, сидѣли долго. Иванъ Савичъ рѣдко видѣлъ ихъ, потому что онъ въ это время уходилъ, когда они являлись.

Однажды онъ сидѣлъ у баронессы одинъ.

— Послушайте, — сказала она тѣмъ же небрежнымъ тономъ, какимъ говорила въ первомъ свиданіи: — дайте мнѣ двѣ тысячи рублей. Я вамъ возвращу дня черезъ три.

Иванъ Савичъ смутился. Ему совѣстно было признаться, что у него нѣтъ дома такой суммы.

— Я получу пять тысячъ не прежде, какъ недѣли черезъ три,—сказалъ онъ:—а теперь... у меня... нѣтъ... дома.

— Вѣрно, вы можете у кого-нибудь занять,—продолжала баронесса: — мнѣ надо завтра утромъ эту сумму. Если бъ можно было ждать до вечера, я взяла бы у графа Судкова. Но, зная вашу любезность, я обращаюсь къ вамъ.

— Конечно-съ,—сказалъ Иванъ Савичъ: — я постараюсь завтра утромъ... даже теперь... но оставить васъ...

— Подите... подите... я васъ не держу. Если достанете сегодня, будемъ вмѣстѣ ужинать.

Иванъ Савичъ занялъ у пріятеля на честное слово и привезъ. Его поблагодарили продолжительнымъ нѣжнымъ пожатіемъ руки и влажнымъ взглядомъ... Между тѣмъ, срокъ платежа пришелъ и прошелъ, но денегъ не отдавали. Иванъ Савичъ сталъ безпокоиться, но напомнить не смѣлъ. Ему прислали деньги отъ родныхъ, и онъ заплатилъ долгъ.

Одинъ разъ онъ хотѣлъ-было напомнить, и, только занк-

нулся, ему зажали ротъ хорошенькой ручкой. Онъ нѣжно поцѣловалъ ее и затрепеталъ отъ радости.

Разъ вечеромъ онъ былъ въ театрѣ. По возвращеніи домой, Авдѣй сказалъ ему, что Маша два раза приходила съ запиской отъ баронессы. Явилась сама Маша. Она подала маленькую записочку и стала у дверей. Баронесса звала его ужинать, говоря, что у нея собрались графъ Лужинъ, князь Поскокинъ, еще секретарь иностраннаго посольства, ея сестра и двѣ пріятельницы.

— Авдѣй! бриться! мыться! одѣваться! скорѣй приготовь фракъ, да синій бархатный жилетъ съ золотыми узорами!— закричалъ Иванъ Савичъ.

— Вы пойдете?—робко спросила Маша.

— Разумѣется, а что?

— Не ходите,—сказала она печально.

— Это что за новости? Отчего такъ?

— Мнѣ что-то сердце недоброе вѣщаетъ. Вы тамъ что-нибудь... вы оставите меня.

— Какіе пустяки! Авдѣй! одѣваться!

— Я безъ васъ жить не могу, — сказала встревоженная Маша, взявъ его за руку:—не ходите!

— А я безъ тебя могу! — сердито закричалъ Иванъ Савичъ, отдернувъ свою руку:—Вотъ еще!

— Я васъ такъ люблю, — сказала она робко, почти шопотомъ.

— Это очень глупо—любить! — говорилъ Иванъ Савичъ, намазывая голову помадой.

— Что жъ мнѣ дѣлать! я не виновата.

— И я не виноватъ, что не люблю тебя.

— Что вы обижаете дѣвчонку-то?—сказалъ Авдѣй:—вѣдь и она человѣкъ: любитъ тоже.

— Любитъ!—сказалъ еще сердитѣе Иванъ Савичъ, завязывая платкомъ бакенбарды.—Всякая тварь туда же лѣзетъ

любить! Какъ она смѣетъ любить? Вотъ я барынѣ скажу. Зачѣмъ она любитъ?

— Не могу знать!—отвѣчалъ Авдѣй.

Иванъ Савичъ одѣлся и ушелъ. Маша сѣла на кресла и долго смотрѣла кругомъ, потомъ горько заплакала.

Авдѣй вынулъ зелененькую, четырехугольную бутылочку въ плетенкѣ, подошелъ къ свѣчкѣ, налилъ рюмку и поглядѣлъ на свѣтъ.

— Эти господа думаютъ, что у нихъ у однихъ только есть сердце, — сказалъ онъ, отпивая изъ рюмки: — по той причинѣ, что они пьютъ ликеру! А что въ ней? дрянь, ей Богу дрянь! и горько и сладко; тѣмъ только и хорошо, что скоро разбираетъ! Не хочешь ли маленько испить? авось пройдетъ.

Маша потрясла головой.

— Напрасно!—сказалъ Авдѣй, выпивъ всю рюмку и подойдя къ ней. — Полно тебѣ, глупенькая: есть о чемъ плакать! развѣ не видишь, какой онъ пустоголовый? Вишь вѣдь какъ разбросалъ все тутъ! Плюнула бы на него, право! Эй! перестань, говорю.

Онъ жесткой рукой отеръ ей слезы и погладилъ по головѣ.

— Ну, Богъ съ нимъ! — сказала уныло Маша и задумчиво побрела домой.

Маленькая столовая баронессы была ярко освѣщена огромнымъ канделябромъ. Тамъ были буфетъ краснаго дерева, горка съ фарфоромъ и хрусталемъ, раздвижной столъ и больше ничего. Когда Иванъ Савичъ подходилъ къ дверямъ, изъ столовой слышались пѣніе, крикъ, смѣхъ; говорило нѣсколько голосовъ. Вдругъ человѣкъ поспѣшно пронесъ мимо его бутылки. «Эге! да здѣсь никакъ кутятъ! — подумалъ Иванъ Савичъ: — а говорятъ, знатные не кутятъ!» Онъ отворилъ двери и остановился. За столомъ, прямо противъ дверей, сидѣла сама баронесса. Она была удивительно

хороша. Глаза блистали огнемъ, какого онъ не замѣчалъ прежде, румянецъ пылалъ ярче, на губахъ блуждала улыбка и, казалось, обѣщала долго блуждать. Шея и плечи были обнажены, грудь сильно поднималась и опускалась. Лицо, костюмъ, движеніе, громкій, одушевленный разговоръ,—все показывало, что она была достойною предсѣдательницею пира. Подлѣ баронессы былъ пустой стулъ. Далѣе сидѣла ея сестра. Подлѣ нея, облокотясь рукой на спинку ея стула, почти лежалъ графъ Лужинъ, съ бокаломъ въ рукѣ. Онъ ей говорилъ что-то тихонько. Она хохотала... Напротивъ ихъ, отворотясь къ столу бокомъ, сидѣлъ князь Поскокинъ, высокій мужчина, съ черными бакенбардами. По лѣвую ея сторону секретарь посольства что-то живо бормоталъ другой пріятельницѣ баронессы, интересно блѣдной и задумчивой женщинѣ.

— А!—сказала баронесса, увидѣвъ Ивана Савича.—Гдѣ вы пропадаете? мы не хотѣли садиться безъ васъ за столъ; да вотъ князь увѣрилъ, что вы ужъ не будете...

— Виноватъ!—примолвилъ князь.—Я зналъ, что мы просидимъ долго и что вы, во всякомъ случаѣ, подоспѣете.

— Помилуйте, ваше сіятельство, ничего!—отвѣчалъ Иванъ Савичъ, раскланиваясь почтительно на всѣ стороны.

— Садитесь скорѣе, полноте раскланиваться! — нетерпѣливо закричала баронесса. — Я вамъ берегла мѣсто подлѣ себя. Цѣлуйте же ручку! да будьте живѣе. Ахъ, Боже мой! вы ни на что не похожи. Будьте какъ дома, безъ церемоніи.

— Я и такъ... — сказалъ Иванъ Савичъ и, не кончивъ фразы, сѣлъ на стулъ.

— Messieurs!—сказала баронесса гостямъ: — рекомендую вамъ m-r Поджабрина, отличнаго молодого человѣка.

— Очень радъ!—сказалъ князь, не поворачивая головы.

Графъ молча кивнулъ ему и шепнулъ что-то на ухо своей сосѣдкѣ. Та захохотала, а Иванъ Савичъ покрас-

нѣлъ. Дипломатъ, открывъ немного ротъ, смотрѣлъ съ любопытствомъ, какъ Иванъ Савичъ кланялся, говорилъ и какъ сѣлъ.

— Гдѣ же ваше вино? M-r... m-r...—сказалъ графъ...

— Меня зовутъ Иванъ Савичъ. Про какое вино, ваше сіятельство, изволите спрашивать?

— Нѣтъ, не нужно!—перебила баронесса.—Эти господа,—сказала она Ивану Савичу:—сдѣлали мнѣ своимъ посѣщеніемъ пріятный сюрпризъ, и всякій привезъ свое вино. Они думали, что и вы знаете...

— Позвольте-съ... я сейчасъ... — сказалъ Иванъ Савичъ и съ салфеткой побѣжалъ въ переднюю, чтобы послать за виномъ.

— Ваше здоровье, милая Амалія! — закричалъ черезъ столъ князь и выпилъ бокалъ.

— Merci,—отвѣчала сосѣдка графа.—И я пью.

И выпила свой бокалъ однимъ духомъ.

— Ради Бога, не пейте за мое: я и такъ не знаю, что со своимъ здоровьемъ дѣлать!—сказалъ князь. — Ничто не помогаетъ убавить этой массы.—Онъ указалъ на свое тучное тѣло.—Да, я предвижу, — продолжалъ князь:—что мое здоровье убьетъ меня.

— Побольше вотъ этихъ подвиговъ,—сказалъ графъ, указывая на бутылку:—и ты убьешь его.

— Le comte vient de dire quelque chose de drôle? n'est-ce pas?—сказалъ дипломатъ своей сосѣдкѣ.

— И! для меня это ни больше, ни меньше, какъ гимнастическое упражненіе, какъ моціонъ, — отвѣчалъ князь:—я знаю, что нынѣшній вечеръ прибавитъ мнѣ два года жизни.

. . . . . .

— Счастливецъ! а я какъ выпью лишній бокалъ, на другой день голова трещитъ. — замѣтилъ графъ: — никакъ не могу пить.

И выпилъ. И всѣ выпили.

— Еще вина! — сказалъ князь человѣку, отдавая бутылку.

— А вы что̀ жъ не пьете? M-r... m-r...—говорилъ князь, обращаясь къ Ивану Савичу.

— M-r Поджабринъ,—подсказала баронесса.

— Какъ?—спросилъ князь.

— Поджабринъ.

Князь взглянулъ на графа, тотъ въ отвѣтъ чуть-чуть пожалъ плечами.

— Меня зовутъ Иванъ Савичъ, — отвѣчалъ Поджабринъ.

— Да! Иванъ Савичъ, въ самомъ дѣлѣ, что̀ жъ вы не пьете? у васъ все тотъ же бокалъ!—замѣтилъ рѣзко графъ:— если это такъ продолжится, вы—mille pardons—будете здѣсь лишній.

Иванъ Савичъ смутился, не успѣлъ проглотить куска дичи, залпомъ выпилъ бокалъ и закашлялся.

— Я, ваше сіятельство, не прочь!—сказалъ онъ:—я буду пить-съ, я тоже люблю жуировать. Жизнь коротка, сказалъ одинъ философъ.

— Qu'est-ce qu'il dit?—спросилъ дипломатъ у сосѣдки.

— Стыдитесь, m-r... m-r...—началъ князь.

— Иванъ Савичъ,—подсказалъ Поджабринъ.

— Стыдитесь, Иванъ Савичъ! дамы выпили по пяти бокаловъ, а вы еще одинъ.

— Онъ догонитъ!—закричала баронесса.—Извольте, милый сосѣдъ, пить сряду пять бокаловъ. Я буду вашей Гебой.

Она схватила бутылку и стала лить...

. . . . . .

— M-r Шене! — сказала баронесса черезъ минуту: — вы обѣщали намъ спѣть куплеты Беранже. Прошу не забывать.

— Mais il n'y a pas de piano ici!—отвѣчалъ дипломатъ.

— Оно въ сосѣдней комнатѣ: мы велимъ отворить двери и придвинуть его поближе сюда.

Отворили двери и придвинули фортепьяно. Французъ запѣлъ.

Князь повторилъ refrain.

— Браво, браво, Шене!—закричалъ онъ. — Что̀ за дьяволъ этотъ Беранже! пожилъ и другихъ учитъ жить... Да! чего больше? пить, любить, обманывать другъ друга: тутъ вся исторія и философія рода человѣческаго.

— Какъ ты глупъ сегодня, князь, съ своимъ Беранже!—замѣтилъ адъютантъ. — Посмотри, сосѣдка твоя дремлетъ...

— Если она заснетъ,—замѣтилъ графъ:—ты, князь, отвѣчаешь за нее: откуда хочешь возьми женщину, а то кадриль не полна—хоть самъ надѣвай юбку.

— *C'est joli*,—сказалъ дипломатъ:—*ah! ce comte!*

— Славная идея! нарядить князя дамой!—рѣшила баронесса.

— Право, такъ!—закричалъ графъ.

— Весело! ей-Богу, весело!—громко сказалъ опьянѣвшій Иванъ Савичъ.—Вотъ кутятъ, такъ кутятъ!

— *Que veut dire кутятъ?*—спросилъ дипломатъ.

— Что̀?—спросилъ графъ.

Иванъ Савичъ струсилъ.

— Весело, ваше сіятельство, говорю я,—отвѣчалъ онъ.

— Его бы тоже не мѣшало нарядить дамой, — сказалъ князь, указывая на пустой стулъ, но желая указать на Ивана Савича. — Онъ будетъ похожъ на твою тетушку, графъ, на Настасью Ѳедоровну. Согласны, m-r... m-r... m...

— Иванъ Савичъ! — подсказалъ онъ. — Очень хорошо, ваше сіятельство, почему не согласиться. Кутить, такъ кутить!

Принесли ночные чепцы, кофты, скинули фраки, жилеты и нарядились.

— Браво, браво!—кричали всѣ, хлопая въ ладоши.

— Если бы бакенбарды долой, — сказалъ графъ: — ты, князь, былъ бы совершенной женщиной, только не княгиней, а пуассардкой. А вы, Иванъ... Иванъ...

— Иванъ Савичъ,—договорилъ Поджабринъ.

— Иванъ Савичъ, вы... ахъ, знаешь, князь, онъ точно очень похожъ на мою тетушку! ха-ха-ха! право, она!

И оба съ княземъ, указывая на Ивана Савича, хохотали и кричали: «она! она!»

— Да, въ самомъ дѣлѣ!—сказалъ князь:—ну, ты, графъ, не будешь теперь такъ повѣсничать передъ ея подобіемъ.

— Жизнь коротка! надо жуировать!—неистово закричалъ Иванъ Савичъ, въ кофтѣ и въ юбкѣ.

Никто ничего не понималъ, и постороннему нельзя бы было разобрать ничего. Всѣ хохотали, глядя другъ на друга.

. . . . . .

. . . . . .

На другой день было прекрасное осеннее утро. Иванъ Савичъ проснулся, хотѣлъ открыть глаза, и не могъ. Голова была налита какъ будто свинцомъ. Наконецъ, мало-по-малу онъ поднялъ вѣки... Пробило двѣнадцать часовъ. Иванъ Савичъ тихонько всталъ, подошелъ къ зеркалу — и отскочилъ: на немъ кофта, ночной чепецъ...

— Ого! какъ кутнули!—сказалъ онъ. — Съ нашими такъ никогда не удавалось: этакой рожи у меня не бывало!..

Онъ покачалъ головой.

— Что скажутъ наши? Лучше не говорить имъ...

Онъ провелъ рукой по волосамъ, надѣлъ свой фракъ и пошелъ...

Идучи по лѣстницѣ, онъ встрѣтилъ какую-то женщину подъ вуалью. Она съ дѣвкой шла вверхъ. Дѣвка сказала барынѣ какое-то замѣчаніе на его счетъ...

— Кто это?—спросила барыня.

— А жилецъ, что подъ нами живетъ,—отвѣчала дѣвка.— На нихъ и праздника нѣтъ. У баронессы, слышь, цѣлую ночь такой пиръ былъ...

— Подъ праздникъ-то!

Въ это время дверь захлопнулась.

— Авдѣй!—сказалъ Иванъ Савичъ:—дай мнѣ рюмку ликера да разбуди меня къ обѣду.

— Ликеры нѣтъ: вся вышла,—отвѣчалъ Авдѣй.

— Какъ вышелъ! еще третьяго-дня тамъ оставалось.

— Вы выкушали послѣднюю рюмку.

— Когда?

— Въ послѣдній разъ.

— Смотри: ужъ не ты ли, другъ?

— Стану я этакую дрянь пить!—сказалъ Авдѣй и плюнулъ.—Я еще отъ-роду никакого вина не пивалъ.

— Кто это надъ нами живетъ?—спросилъ Иванъ Савичъ.

— Не могу знать!

— Узнай!

Иванъ Савичъ долго не являлся къ баронессѣ. Наконецъ черезъ недѣлю онъ отправился къ ней. Тамъ онъ засталъ ея сестру и Жозефину.

— А! сосѣдъ! — сказала баронесса: — что это васъ такъ давно не видать? Я хотѣла посылать за вами...

— Я, баронесса, теперь въ нуждѣ,—перебилъ ее Иванъ Савичъ: — и пришелъ просить васъ: не возвратите ли вы мнѣ моихъ денегъ?..

— Денегъ?..

Она съ изумленіемъ посмотрѣла на него.

— Да, двѣ тысячи рублей, что вы у меня заняли.

— Я заняла! Опомнитесь! неужели вы еще не протрезвились? Напротивъ, я хотѣла спросить васъ, скоро ли вы мнѣ отдадите семьсотъ рублей за лошадь?

Иванъ Савичъ остолбенѣлъ.

— Да, за лошадь.

— Я не шучу, баронесса!—сказалъ онъ.

— И я нѣтъ,—отвѣчала она.

Онъ посмотрѣлъ на нее серьезно, она на него тоже. Онъ пошелъ вонъ. Сзади его раздался дружный, предательскій хохотъ трехъ красавицъ.

— Неблагодарный! каковъ!—послышалось вслѣдъ затѣмъ.

Иванъ Савичъ хлопнулъ дверью и пошелъ къ себѣ.

— Не поискать ли намъ другой квартиры, Авдѣй?—спросилъ онъ.

Авдѣй перепугался.

— Помилуйте, сударь!—воскликнулъ онъ:—еще полугода нѣтъ, какъ здѣсь живемъ. Гдѣ сыщешь такую квартиру? Удобство всякое: и сарай особый, и ледничекъ отъ хозяина даютъ, и сосѣди хорошіе, а ужъ сосѣдки—и говорить нечего...

— Да... нечего и говорить!—повторилъ, пожимаясь, Иванъ Савичъ.

Черезъ нѣсколько дней онъ опять на лѣстницѣ встрѣтилъ ту же женщину подъ вуалью.

— Кто это тамъ вверху живетъ? Узналъ ли ты?—спросилъ онъ Авдѣя.

— Барышня живетъ какая-то. Такая смирная, словно никого нѣтъ: ни стукнетъ, ни брякнетъ.

— Такъ она барышня? Узнай хорошенько, кто она.

Авдѣй узналъ и сказалъ, что барышня живетъ съ дѣвушкой и съ кухаркой, тихо, скромно, что ея не слыхать, что въ гостяхъ у нея бываютъ все женщины, и т. п.

— Какъ бы побывать у нея?

— Не могу знать.

— Не могу знать! Это не мудрено. А ты моги... Послушай-ка! не пахнетъ ли здѣсь, какъ будто, дымомъ?

— Нѣтъ-съ!—сказалъ Авдѣй, поворачивая носъ во всѣ стороны:—не пахнетъ.

— Ну, какъ не пахнетъ! слышишь?

— Нѣтъ-съ, не слышу—не пахнетъ.

— Наладилъ одно: не пахнетъ! Если я говорю пахнетъ, такъ, стало-быть, пахнетъ.

— Не пахнетъ,—сказалъ Авдѣй, нюхнувъ еще.

— Да, именно пахнетъ: это, должно-быть, сверху прошло! Узнай-ка, поди. Долго ли до пожара! Да нѣтъ, постой! я самъ узнаю.

Онъ отправился вверхъ.

— Ну, пошелъ!—ворчалъ Авдѣй:—уродится же этакой!.. И махнулъ рукой.

Иванъ Савичъ вошелъ въ переднюю верхней жилицы. Тамъ никого не было. Налѣво былъ маленькій коридоръ, который велъ, повидимому, въ кухню. Иванъ Савичъ остановился. Оттуда раздавался довольно пріятный голосокъ.

— Не надо мнѣ пѣтуха!—говорилъ голосокъ.—Зачѣмъ ты пѣтуха купила? Я тебѣ велѣла курицу купить; а это, видишь,—пѣтухъ! все по-своему дѣлаешь!

— Да мужикъ-то знакомый, матушка, — отвѣчалъ другой голосъ:—нашъ ярославскій. Присталъ: купи да купи; пѣтушокъ, говоритъ, славный.

— Не хочу я пѣтуха: пѣтухи жёстки!

— И, нѣтъ, матушка, этотъ еще молоденькій, словно цыпленочекъ.

Иванъ Савичъ рѣшился проникнуть дальше. Появленіе его произвело значительный эффектъ.

— Ахъ!—закричала барышня, закутываясь одной рукой въ большой желтый платокъ, а другой держа пѣтуха.

— Я-съ... мое почтеніе... я живу здѣсь, подъ вами...

— Что̀ жъ вы, милостивый государь, ходите по чужимъ квартирамъ,—начала она, пряча подъ платокъ руку съ пѣтухомъ.—Вы думаете, что я беззащитная дѣвушка, безъ покровителя, что меня можно всякому обидѣть? Извините, вы ошибаетесь! Позвольте вамъ сказать: у меня есть кому всту-

питься, и я не позволю... За кого вы меня принимаете, съ какими намѣреніями?

Иванъ Савичъ перепугался. Онъ забылъ, зачѣмъ пришелъ.

— Извините-съ...—началъ онъ:—я... только пришелъ спросить... вотъ извольте видѣть... мнѣ... того-съ...

— Что̀ того-съ? На, Устинья, курицу... Что̀ жъ ты не возьмешь?

— Вѣдь это пѣтушокъ-съ?—робко спросилъ Иванъ Савичъ.

— А вамъ что̀ за дѣло? вы почему знаете?

— Я слышалъ отъ человѣка, что ваша кухарка ошибкой купила пѣтуха... не угодно ли помѣняться на курочку?...

— Какая дерзость!—воскликнула барышня, пожимая плечами:—Боже мой! до чего я дожила за мои грѣхи! За что̀ Ты меня такъ караешь? Какъ вы осмѣливаетесь говорить мнѣ такія рѣчи? Вы пришли обижать меня? Что̀ жъ это такое...

Она начала плакать.

— Позвольте, сударыня,—сказала кухарка:—они за дѣломъ пришли: можетъ, у нихъ, въ самомъ дѣлѣ, куплена курица, — вотъ бы и помѣнялись. А почемъ изволили платить?

— Нѣтъ-съ... позвольте... я объясню вамъ настоящую причину, — сказалъ Иванъ Савичъ. — Я пришелъ спросить... У меня, извольте видѣть, вдругъ запахло дымомъ... Такъ столбомъ и ходитъ по комнатамъ. Я думалъ, не отъ васъ ли...

Барышня и кухарка подняли носы кверху и стали нюхать во всѣ стороны. Съ ними для компаніи нюхалъ и Иванъ Савичъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, пахнетъ! — сказала встревоженная барышня:— ужъ не пожаръ ли? поди-ка, сбѣгай къ верхнимъ жильцамъ.

— Ахъ, мои матушки! такъ глаза и ѣстъ! Чего добраго: долго ли до грѣха!—сказала Устинья и побѣжала.

— Постой, постой! Что̀ жъ ты насъ оставляешь однихъ?— закричала барышня, въ испугѣ.—Что̀ скажутъ? Ахъ, Боже мой! Уйдите!..

— И, матушка! ничего! баринъ хорошій,—сказала Устинья и ушла.

— Помилуйте...—началъ Иванъ Савичъ.

Онъ не зналъ, что̀ сказать, и сталъ застегивать сюртукъ; а она перебирала бахрому своего платка.

— Давно здѣсь изволите жить?—спросилъ онъ потомъ.

— Я еще съ покойнымъ папенькой жила здѣсь. Слава Богу! про насъ никто не можетъ недобраго слова сказать. Вотъ сегодня въ первый разъ незнакомый мужчина пришелъ безъ позволенія...

— Если бъ я зналъ, какимъ образомъ достигнуть этого драгоцѣннаго позволенія,—началъ Иванъ Савичъ, смиренно опустивъ глаза въ землю:—я бы ничего не пощадилъ...

— Я почти никого у себя не принимаю,—сухо сказала она:—кромѣ сестры съ мужемъ, крестнаго и его племянниковъ...

— О, я увѣренъ!.. Я пришелъ единственно насчетъ дыму... Но, признаюсь, поговоришь съ вами нѣсколько минутъ... невольно хочешь видѣть васъ чаще...

— У васъ и безъ меня есть знакомство: я видѣла однажды, какъ вы вышли отъ баронессы,—сказала она колко и съ достоинствомъ.

— Баронесса! О!—съ жаромъ началъ Иванъ Савичъ:— я давно съ ней не знакомъ. Если бъ вы знали, какъ я былъ обманутъ наружнымъ блескомъ...

Онъ сталъ ей разсказывать, что̀ съ нимъ случилось. Она презрительно качала головой. Когда онъ хотѣлъ описывать пиръ, она замахала рукой.

— Ради Бога, перестаньте! перестаньте!—закричала она,

Тутъ Устинья пришла сверху и сказала, что дыму нигдѣ не оказалось.

Иванъ Савичъ сталъ раскланиваться.

— Извините, что потревожилъ васъ, — сказалъ онъ. — Если бъ я имѣлъ надежду на позволеніе видѣть иногда васъ... я бы почелъ себя счастливымъ...

— Это позволеніе зависитъ отъ моего крестнаго папеньки, — сказала она: — если имъ угодно будетъ позволить принимать васъ по четвергамъ, когда у меня собираются родные, тогда они дадутъ вамъ знать; а безъ того я не могу... И, притомъ, вы должны обѣщать, что никогда, ни словомъ, ни нескромнымъ взглядомъ, не нарушите приличій... Обо мнѣ, слава Богу, никто не можетъ дурного слова сказать...

— О, клянусь!—сказалъ Иванъ Савичъ и ушелъ.

— Авдѣй! вѣдь верхняя-то жилица недурна, — сказалъ онъ, воротясь къ себѣ: — только немного толстовата... или не то, что толстота, а у ней, должно-быть, кость широка! Не первой молодости. Какъ ты думаешь?

— Не могу знать!

— А какая неприступная! просто медвѣдь.

Прошла недѣля. Отъ крестнаго папеньки не приходило никакого извѣстія. Ивана Савича такъ и подмывало увидѣться съ жилицей. Но какъ?

— Какъ бы это сдѣлать, Авдѣй?—спросилъ онъ.

— Не могу знать... Да позвольте, сударь,—сказалъ онъ, желая угодить барину:—никакъ дымомъ пахнетъ...—И нюхнулъ.

— Э! стара штука! ты выдумай что-нибудь поновѣе. А я выдумалъ. Постой-ка, я пойду,—сказалъ Иванъ Савичъ и отправился вверхъ.

Онъ тихонько отворилъ дверь.

— Кто тамъ?—послышалось изъ комнаты.

Онъ молчалъ.

[illegible]

она.—Я плачу ему два рубля въ мѣсяцъ—вотъ что̀. А это, вѣрно, у сосѣдей...

— Ахъ, такъ виноватъ! — сказалъ Иванъ Савичъ, раскланиваясь, и остановился. — Позвольте спросить, что̀ это за книжечка?—спросилъ онъ нѣжно.

— Это «Поучительныя Размышленія»... Мнѣ папенька крестный на прошлой недѣлѣ въ именины подарилъ.

— А какой святой праздновали на прошедшей недѣлѣ, позвольте спросить?

— Прасковьи, 28 октября. Меня вѣдь зовутъ Прасковьей Михайловной.

— Вотъ вы нравоучительныя книги изволите читать, Прасковья Михайловна, а я такъ все философическія...

— Ужъ хороши эти философическія книги! я знаю! Мнѣ крестный сказывалъ, что философы въ Бога не вѣруютъ. Вотъ пусти васъ къ себѣ: вонъ вы что̀ читаете!

И она отступила.

Иванъ Савичъ сдѣлалъ шагъ впередъ. Она отступила еще. Онъ за нею—и очутился въ комнатѣ.

— Наконецъ я у васъ... — сказалъ онъ торжественно:— ужели это правда?.. я какъ будто во снѣ...

— Ахъ!—сказала она:—вы ужъ и вошли! Каковы мужчины! Вы, вѣроятно, думаете, что я рада, что хотѣла этого? Не воображайте!

— Помилуйте... осмѣлюсь ли я? Я только умоляю: не лишите меня счастья...

— Какъ это можно! Ахъ, Господи,— начала она, садясь на диванъ.—Что̀ скажутъ? про меня никто никогда не слыхалъ дурного слова, а тутъ этакой срамъ: чужой мужчина въ другой разъ...

— Скажутъ-съ... что я приходилъ узнать насчетъ дровъ: вѣдь всякій дорожитъ своимъ спокойствіемъ... согласитесь сами, Прасковья Михайловна! — убѣдительно прибавилъ Иванъ Савичъ и сѣлъ.

— Оно, конечно...—начала она:—позвольте узнать, какъ васъ по имени и отчеству? Ахъ! да вы ужъ и сѣли?

— Меня зовутъ Иванъ Савичъ,—сказалъ онъ.

— Оно, конечно... Иванъ Савичъ! Но посудите сами: вѣдь я дѣвушка, мнѣ 22 годъ, я дочь честныхъ родителей, живу одна, и обо мнѣ никто дурного слова не слыхалъ. Что̀ могутъ подумать?..

— Такъ-съ, такъ-съ! Боже меня сохрани спорить... но я человѣкъ смирный, живу тожѐ одинъ... Почему жъ мнѣ, какъ сосѣду, не позволить иногда придти время раздѣлить. Особенно же теперь наступаетъ зима... вечера длинные...

— Неужели вы думаете,—сказала она: — что я позволю вамъ сидѣть у себя по вечерамъ однимъ? Вы ошибаетесь!.. За кого вы меня принимаете? Другое дѣло по четвергамъ, если крестный позволитъ.

— Что̀ же вамъ по вечерамъ дѣлать однѣмъ? Все читать да читать—надоѣстъ. Развѣ вы бываете въ театрѣ?

— Очень рѣдко: на Масленицѣ крестный беретъ ложу, если пьеса, знаете, такая, гдѣ нѣтъ ничего... Вѣдь нынче женщинѣ и въ театръ, не *знамши*, нельзя пойти... Богъ знаетъ что̀ представляютъ!..

— Да-съ,—перебилъ Иванъ Савичъ: — это правда: вотъ я былъ въ тотъ вечеръ, какъ мы кутили у баронессы...

— Ахъ! вы мнѣ опять про этотъ гадкій вечеръ, опять про баронессу: я и знать, и слышать не хочу... увольте...

— Виноватъ-съ: я хотѣлъ сказать, какую ужасную пьесу давали: повѣрите ли? я едва высидѣлъ.

— Вы не высидѣли!—сказала Прасковья Михайловна:— можно вамъ повѣрить!

— Увѣряю васъ! Вы не знаете меня. Я краснѣю отъ всякаго нескромнаго слова... Такъ въ этой пьесѣ, говорю, одинъ объясняется въ любви...

— Ахъ, Боже мой! — закричала Прасковья Михайловна,

вскочивъ съ дивана: — что̀ вы, что̀ вы? Опомнитесь! кому вы говорите?.. Что̀ это за ужасть такая! Вотъ пусти васъ... всѣ мужчины одинаковы. Вы думаете, что я живу одна, такъ меня можно обижать...

— Помилуйте!—сказалъ онъ: — я? обижать? О, вы меня не знаете: обидѣть женщину не только дѣломъ, даже непромнымъ словомъ такъ низко, такъ гнусно... что я слова не найду: вотъ мои правила! Повѣрьте, мнѣ всегда возмущаетъ душу, когда я слышу, что какой-нибудь развратный человѣкъ...

— Ахъ, Боже мой, что̀ вы? опять!—закричала Прасковья Михайловна, зажимая уши, такъ, однако, что оставила маленькую лазейку.

— Я хочу сказать, — торопливо прибавилъ Иванъ Савичъ:—когда развратный человѣкъ воспользуется слабостію неопытной дѣвушки! Вотъ мои правила!

— Замолчите! замолчите! о чемъ вы мнѣ говорите? я и слышать не хочу о вашихъ правилахъ. Вспомните, что я дѣвушка: я не должна понимать, и не понимаю вашихъ словъ.

— Но согласитесь, Прасковья Михайловна, — началъ Иванъ Савичъ тономъ убѣжденія: — что если дѣвушка не хочетъ слышать, какого рода опасность угрожаетъ ея добродѣтели, то вѣдь она легко можетъ...

— Ахъ, какой ужасъ вы говорите! Дѣвушка не можетъ подвергнуться опасности, когда не хочетъ даже слышать о ней... а не то, чтобы...

— Что-съ: не то, чтобы?..

— Ну, то-есть... ахъ, да вотъ и крестный! Здравствуйте, крестный!

Въ комнату вошелъ дородный человѣкъ лѣтъ пятидесяти, сѣдой, съ аннинскимъ крестомъ на шеѣ.

— А, да у тебя гости? — сказалъ онъ и бокомъ поклонился Ивану Савичу, поглядывая на него исподлобья.

— Это сосѣдъ, что̀ подо мной живетъ, — отвѣчала Прасковья Михайловна.

— Ась?

— Сосѣдъ, Иванъ Савичъ, пришелъ узнать, не колютъ ли здѣсь дровъ: онъ желаетъ познакомиться со мной. Я безъ васъ не смѣла, крестный! Кажется, хорошій человѣкъ,— шепнула она.

— Гдѣ изволите служить?—спросилъ крестный.

Иванъ Савичъ сначала замялся, наконецъ, пробормоталъ названіе своего департамента.

— А!—сказалъ чиновникъ: — у васъ начальникъ отличный человѣкъ! умная голова! и баринъ, настоящій баринъ! Вотъ бы послужить при этакомъ! Да позвольте-ка: никакъ вчера... нѣтъ, третьяго-дня... или вчера? что̀ это я забылъ! Да, точно вчера: отъ васъ получено къ намъ отношеніе. Кто это писалъ его у васъ? Ну, пройдоха, нечего сказать: этакой крючокъ загнулъ! Вотъ, изволите видѣть: по нашему вѣдомству одинъ чиновникъ попалъ подъ судъ. Онъ прежде служилъ у васъ и тамъ былъ подъ слѣдствіемъ. Въ аттестатѣ-то глухо насчетъ этого сказано. Вотъ, мы и обратились къ вамъ съ просьбою о доставленіи ближайшихъ свѣдѣній по сему дѣлу. Ну, и получили же отъ васъ бумагу! Ахъ, Ты, Господи! есть же вѣдь люди—какъ пишутъ! Написанъ листъ кругомъ, а точнѣйшихъ свѣдѣній нѣтъ никакихъ. Я нарочно списалъ себѣ эту бумагу... фу-ты, какъ славно написана! Дай-ка, Параша, водочки. Не прикажете ли?

— Нѣтъ-съ, покорно благодарю.

— Ась?

— Покорно благодарю. Я не пью, — сказалъ Иванъ Савичъ.

— А кто у васъ начальникъ отдѣленія? — спросилъ чиновникъ.

— Стуколкинъ,—отвѣчалъ Иванъ Савичъ.

— Матвѣй Лукичъ! — съ удивленіемъ подхватилъ крестный: — ба-ба-ба! Да неужели ужъ онъ начальникъ отдѣленія? Давно ли? Скажите, ради Бога! какъ судьба-то иной разъ... Ну, что̀ это такое! Вообрази, Параша: Матвѣй Лукичъ, два года тому назадъ, былъ у насъ столоначальникомъ, и еще не изъ самыхъ бойкихъ, а такъ себѣ! а теперь, а? Да, душенька, я забылъ сказать... Петръ Прокофьичъ звалъ насъ съ тобой на вечеринку. Тамъ потанцуютъ; а у насъ добрый вистикъ составленъ: три начальника отдѣленій; только я одинъ чиновникъ особыхъ порученій попался! А въ четвергъ они у насъ.

— Ахъ, крестный, какъ это весело, какъ весело! — заговорила, припрыгивая, съ дѣтскою радостью, Прасковья Михайловна, что̀ было ей немного не подъ лѣта.

Но ей хотѣлось пококетничать передъ Иваномъ Савичемъ.

— Вотъ и вы, милостивый государь, пожаловали бы къ намъ въ четвергъ, — сказалъ онъ, обращаясь къ Ивану Савичу:—если вамъ не скучно будетъ.

— Помилуйте! скучно! можно ли?.. за счастье почту...

— Ась?

— Непремѣнно, молъ, воспользуюсь, — сказалъ Иванъ Савичъ, раскланиваясь и уходя.

— Авдѣй! кажется, я пожуирую,—говорилъ онъ, возвратясь домой.

— Не могу знать!—отвѣчалъ Авдѣй.

— Только это, братъ, совсѣмъ не то: тутъ будетъ что-то чистое, возвышенное, такъ сказать, любовь *лаконическая*...

— Э! ну, васъ тутъ, раздуло бы горой! — ворчалъ про себя Авдѣй.

— Какъ же ты съ знатной барыней кончилъ? — спросилъ Вася, когда Иванъ Савичъ разсказалъ ему о новой сосѣдкѣ.

— Что̀, братецъ, знатныя барыни! Это утомило меня:

вѣчно приличія, этикетъ, знаешь, всегда на вытяжку... Графы да князья... большой свѣтъ... не хочу! Богъ съ ними! я люблю свободу... такъ и отсталъ.

— Напрасно!—сказалъ Вася: — ты бы могъ познакомить меня; тамъ бы ты много выигралъ... Эхъ, не умѣлъ: какъ же и выходятъ въ люди?.. Э-э!

— Конечно! — сказалъ Иванъ Савичъ: — оно бы можно было: у ней иногда бываютъ изъ дипломатическаго корпуса. Вотъ въ послѣдній разъ я ужиналъ вмѣстѣ съ секретаремъ посольства... что̀ за здоровякъ такой! вотъ жуиръ-то! звалъ въ Парижъ.

Въ четвергъ, въ восемь часовъ вечера, Иванъ Савичъ явился къ сосѣдкѣ. Тамъ все имѣло видъ торжественнаго собранія. Стеариновыя свѣчи, не зажигаемыя по другимъ днямъ и скромно стоящія на столикѣ у зеркала, разливали яркій свѣтъ по комнатѣ. Чехлы съ дивана и четырехъ креселъ были сняты. Въ гостиной, на столикѣ, горѣла крашеная жестяная лампа и стояли двѣ тарелки съ вареньемъ. Тамъ былъ диванъ, обитый зеленымъ полумериносомъ, и двое такихъ же креселъ. Наружный видъ ихъ манилъ къ спокойствію и нѣгѣ. Казалось, какъ опустишься, такъ утонешь тамъ и не встанешь. Кто быстро опускался на диванъ съ этою мыслію, тотъ вскакивалъ еще быстрѣе, думая, что онъ сѣлъ на камень: такъ хорошо сдѣланы были пружины, которыя торговцы Апраксина двора величаютъ *аглицкими*. Въ гостиной могло помѣститься счетомъ пять человѣкъ, ни больше, ни меньше. Далѣе была еще комната... Потомъ ширмы, а изъ-за нихъ выглядывалъ уголокъ бѣлой какъ снѣгъ подушки: то было дѣвственное ложе Прасковьи Михайловны. Она смѣло могла бы написать девизомъ:

Къ моей постели одинокой
Не крался въ темнотѣ ночной...

Въ залѣ крестный папенька Прасковьи Михайловны

игралъ въ одномъ углу въ вистъ съ мужемъ сестры хозяйки и еще двумя чиновниками, которые были съ нимъ очень почтительны. Въ другомъ углу дѣвушка разливала чай. Дамское общество было въ гостиной. На диванѣ сидѣла старшая сестра Прасковьи Михайловны, женщина высокаго роста, прямая, какъ вѣха, потомъ хозяйка и еще двѣ какія-то дѣвицы. Около нихъ любезничали два племянника крестнаго папеньки—одинъ студентъ, другой юнкеръ. Дамы сидѣли, мужчины стояли, потому что негдѣ было сѣсть. Играли въ фанты.

— Вы, конечно, съ нами останетесь, съ молодыми людьми? — сказала Прасковья Михайловна Ивану Савичу съ дѣтскою рѣзвостію: — что̀ вамъ тамъ дѣлать со стариками? Не прикажете ли варенья? Молчи, Жужу! ахъ, скверная собачонка! Вы погладьте ее только одинъ разъ, а тамъ ужъ она привыкнетъ къ вамъ. Вотъ такъ.

— Ахъ! да она кусается!—сказалъ Иванъ Савичъ, отдернувъ руку.

— Нѣтъ-съ, никогда.

— Помилуйте! вотъ, посмотрите, до крови.

— Ахъ, ты, дрянь! вотъ я тебѣ ужо розгу дамъ! — сказала Прасковья Михайловна. — Не угодно ли съ нами въ фанты? Вы будете, хоть... что̀ бы?... мы играемъ въ *туалетъ*... всѣ вещи разобраны... ну, будьте гребень.

— Да это я взяла!—пропищала одна маленькая дѣвочка.

— Ты, *ma chère,* гребеночка, а они будутъ частый гребень. Такъ вы частый гребень.

— Очень хорошо-съ,—сказалъ Иванъ Савичъ.

Принесли еще два стула, поставили у дверей и стали играть. При словахъ: *барыня спрашиваетъ весь туалетъ,* всѣ бросились мѣнять мѣста. Ивану Савичу не разъ доставалось бросаться со всего размаху на диванъ съ камнемъ внутри. Онъ быстро вскакивалъ, а другой или другая,

зная хорошо это сѣдалище, проворно, но осторожно садились на его мѣсто, а онъ оставался.

Иванъ Савичъ познакомился со всѣми. Чиновникамъ онъ разсказалъ про свой образъ жизни, и тѣ не мало завидовали ему.

— Утромъ я встаю въ десятомъ часу, — говорилъ онъ хвастливо: — иногда хожу въ должность, иногда нѣтъ, какъ случится... потомъ-съ часа въ три иду гулять на Невскій проспектъ. Тамъ, знаете, весь *beau monde* гуляетъ тогда, встрѣчаешь множество знакомыхъ, съ тѣмъ слово, съ другимъ два. Зайдешь къ Беранже иностранныя газеты прочитать, объ испанскихъ дѣлахъ, о французскомъ министерствѣ... Такъ время непримѣтно и пройдетъ до обѣда.

— А позвольте спросить, кто теперь министромъ у французовъ?—спросилъ крестный.

«Министромъ? А чортъ его знаетъ!» подумалъ Иванъ Савичъ.

— Теперь-съ...—началъ онъ и остановился.

— Ась?—спросилъ крестный.

— Теперь... министерство распущено, — вдругъ сказалъ Иванъ Савичъ, какъ будто по вдохновенію: — никого нѣтъ.

— Стало-быть, товарищи управляютъ,—примолвилъ тотъ.

— Тамъ вѣдь одно министерство, — сказалъ Иванъ Савичъ.

— Какъ, неужели? И одинъ министръ?

— Нѣтъ-съ, много.

— Много! какая диковинка...

И пошли толки о томъ, какъ это должно быть неудобно.

— Потомъ, — продолжалъ Иванъ Савичъ: — иду обѣдать къ Леграну или къ Дюме. Тутъ соберутся пріятели, покутимъ, вечеръ въ театрѣ: такъ и жуируемъ жизнію...

— Вотъ живутъ-то! э! — сказалъ съ завистью одинъ чиновникъ:—пожилъ бы такъ! а то въ восемь часовъ иди въ должность да и корпи до пяти! Заживо умрешь.

— Что̀ должность: сухая матерія! — примолвилъ Иванъ Савичъ. — Жизнь коротка, сказалъ одинъ философъ: надо жуировать ею.

Иванъ Савичъ признанъ былъ всѣмъ обществомъ за любезнаго, фешенебельнаго и вообще достойнаго молодого человѣка. Крестный особенно былъ ласковъ съ нимъ.

Иванъ Савичъ благодарилъ его за дозволеніе бывать у его крестницы по четвергамъ.

— Самъ я не надѣялся получить это позволеніе, — началъ Иванъ Савичъ: — Прасковья Михайловна такъ боязливы...

— Ась?

— Прасковья Михайловна такъ боязливы...

— Оно не то, что боязлива, извольте видѣть... — отвѣчалъ крестный: — а того... получила отъ отца фундаментальное воспитаніе. Мать была, правда, баловница — не тѣмъ будь помянута — да умерла рано; а покойный-то отецъ, мой сослуживецъ, ужъ коллежскій совѣтникъ, — вотъ онъ былъ строгъ, не любилъ баловать. Онъ ее и пріучилъ къ аккуратности и воздержанію. Не будь его, смоталась бы, чисто смоталась бы дѣвка. Да онъ, — царство ему небесное—былъ съ правилами человѣкъ и ей внушилъ. А то она...

— Что̀ такое?—спросилъ Иванъ Савичъ.

. . . . . .

. . . . . .

Послѣ этого вечера Иванъ Савичъ рѣшился придти и не въ четвергъ. Его встрѣтили градомъ упрековъ и въ то же время сняли со стула шаль и ридикюль, чтобы очистить ему мѣсто. Онъ повторялъ эти визиты въ недѣлю разъ, потомъ чаще и чаще. Пріемъ всегда былъ одинаковый. Наконецъ однажды онъ рѣшился приступить къ объясненію. Былъ зимній вечеръ. Все было тихо кругомъ. Кухарка спала у себя въ кухнѣ. Горничная ушла къ сосѣдямъ въ

гости. Сама Прасковья Михайловна сидѣла на диванѣ и шила въ пяльцахъ. Иванъ Савичъ сначала сидѣлъ напротивъ ея, потомъ у него въ головѣ мелькнули какія-то соображенія, и онъ сѣлъ рядомъ съ ней на диванѣ, такъ, что ему былъ виденъ затылокъ и вся спина сосѣдки. Онъ открылъ, что косыночка не доходила вплоть до платья и часть плеча оставалась обнаженною. Онъ ужъ былъ откровененъ съ Прасковьей Михайловной, говорилъ ей о дружбѣ, о любви, — не къ ней, а вообще. Она сначала зажимала уши, кричала, потомъ не зажимала ушей и не кричала, но зато ничего не отвѣчала, такъ что Ивана Савича брало зло. Онъ рѣшился заговорить о любви къ ней. Для этого-то онъ и пересѣлъ рядомъ, чтобы, въ случаѣ неблагосклоннаго пріема своихъ объясненій, избѣгнуть грозныхъ взоровъ оскорбленной добродѣтели.

— Прасковья Михайловна!—сказалъ онъ.

— Чего изволите?

— Вы бывали влюблены?

— Что̀ вы это? опомнитесь: вѣдь я дѣвушка.

— Такъ что̀ же? развѣ дѣвушки не влюбляются?

— Не должны! — сказала она строго: — пока ни за кого не помолвлены.

А сама такъ и сновала иглой, то вверхъ, то внизъ.

— Да вѣдь любовь иногда не ждетъ помолвки.

— Объ этомъ и думать не должно!—сказала она.

— Ну, да неужели вамъ никто не нравился?

Молчаніе.

— Прасковья Михайловна!

— Чего изволите?

— Неужели вы не любили никогда?

Молчаніе.

«Экая дубина!» подумалъ Иванъ Савичъ: «хоть бы что-нибудь... хотя бы плюнула. Подожду еще, что̀ будетъ?»

— А я думалъ...—началъ онъ:—я надѣялся, что̀, можетъ-

быть... я удостоюсь... что постоянная моя внимательность будетъ награждена...

— Что это сегодня какъ будто на васъ нашло?—сказала она.—Богъ знаетъ, что вы говорите! Не пора ли вамъ домой? десятый часъ.

— Зачѣмъ мнѣ домой, что я тамъ стану дѣлать?

— Заниматься науками.

— Нѣтъ-съ, я не уйду, пока не выскажу... всего... я... вы... мы... знаете, Прасковья Михайловна, любовь двухъ душъ есть такая симпатія... это, такъ-сказать, жизненный бальзамъ. Почему бы! скажите, — о, скажите хоть одно слово!

Она молчала.

«Ну, видано ли этакое дерево?» думалъ онъ.

— Вы камень, вы ледъ... почему бы вамъ не раздѣлить съ человѣкомъ счастія? почему не пожуировать? Жизнь коротка, сказалъ одинъ философъ.

— Ахъ! что вы?—вскричала она, закрывъ лицо руками.— Боже мой! если бъ увидали...

— О, раздѣлите это чувство, несравненная Прасковья Михайловна!—кричалъ Иванъ Савичъ: — которое бушуетъ въ моей груди... вы не знаете, какъ я страдаю... одна мысль быть подлѣ васъ, жить вѣчно съ вами приводитъ меня... О! вы не понимаете...

— Не говорите, не говорите! — кричала она, зажимая уши. — Боже мой! что вы? Вечеромъ, я одна... Что подумаютъ?..

— Но скажите одно слово, одно, дайте отвѣтъ!—говорилъ Иванъ Савичъ: — и я готовъ ждать хоть до утра...

— Я! отвѣтъ! чтобъ я теперь дала отвѣтъ! Вы не щадите моей скромности! Боже мой! Теперь вечеромъ, съ такими объясненіями... Отвѣтъ!.. Нѣтъ, нѣтъ! лучше подождите хоть до завтра... или нѣтъ! въ среду утромъ, въ 12 часовъ, вы получите отвѣтъ...

Иван Савич пришел в восторг.

— Исправник! Красная Мельница! — [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible]! [illegible] [illegible] [illegible]

— Какъ!

Иванъ Савичъ остолбенѣлъ.

— Кто жъ тебѣ сказывалъ?—спросилъ онъ.

— Сосѣдка Прасковьи Михайловны давеча встрѣтила меня. «Что̀, говоритъ, у васъ скоро свадьба?» да и разсказала... слышь, завтра помолвка будетъ... Еще приказчикъ отъ мѣховщика, что̀ напротивъ насъ, сказывалъ: вишь, сегодня сама Прасковья Михайловна была тамъ. Онѣ давно торговали у нихъ мѣхъ, да все не рѣшались, а тутъ, слышь, сама сказала, что не завтра, такъ послѣзавтра возьметъ: къ свадьбѣ, говоритъ, надо, чтобъ поспѣло, мясоѣду немного остается. А давеча и сама кухарка говорила, что къ завтрему кулебяку пекутъ: слышь, утромъ помолвка... Да что̀ грѣха таить! приходилъ какой-то баринъ съ крестомъ, спрашивалъ: и какъ вы живете, и все этакое...

Дворникъ поклонился и опять сталъ улыбаться.

— Чай, квартирку-то другую возьмете? — примолвилъ онъ. — У насъ скоро очистится вонъ тамъ... выгоняемъ жильца: въ срокъ не платитъ; славно бы...

— Стой! стой!—закричалъ Иванъ Савичъ и, взявъ дворника за плечи, оборотилъ спиной и вытолкнулъ вонъ.

Потомъ обратился онъ къ Авдѣю.

— А! что̀ ты скажешь, Авдѣй?

— Не могу знать!

— Только и слышишь отъ тебя: не могу знать! Сдѣлай милость, моги хоть разъ: ну?

— Не могу...—началъ Авдѣй.

Иванъ Савичъ и его, точно такъ же, какъ дворника, вытолкалъ вонъ. Онъ долго̀ ходилъ по комнатамъ взадъ и впередъ и повременамъ къ чему-то прислушивался.

— Да, да, точно,—ворчалъ онъ:—наверху скребутъ полъ, чистятъ: такъ! дворникъ не совралъ! Да и вонъ кухарка пронесла огромную чашку муки, множество яицъ: куле-

[illegible]

квартиру оставлять! удобство всякое: и сарай особый, и ледничекъ отъ хозяина даютъ. Воля ваша, пожалуйте мнѣ расчетъ...

— А! тебѣ хочется, чтобъ я въ исторію попалъ! лѣнь постараться вывесть изъ бѣды!

— Помилуйте...

— Нѣтъ тебѣ денегъ, пока не отыщешь квартиры.

— Да гдѣ ее найдешь?

— Гдѣ хочешь. Видишь, житья нѣтъ: притѣсняютъ. Ищи! завтра же утромъ, чтобъ насъ не было здѣсь. И подальше, въ другой конецъ, въ Коломну.

— Да хоть денька три подождите.

— Денька три! чтобъ насъ насильно женили! Слышишь, мѣхъ покупаютъ, кулебяку пекутъ, долбня ты этакая! Съѣдемъ, пока не купленъ мѣхъ, а купятъ, тогда не отвяжемся... Да постой: мнѣ Бурминъ говорилъ, что у нихъ въ домѣ есть квартира. Сходи сейчасъ же и, если не занята, завтра же утромъ и переѣзжать.

— Знаю, сударь, я эту квартиру: ледника-то нѣтъ...

Иванъ Савичъ махнулъ рукой и пошелъ прочь.

Утромъ Авдѣй доложилъ, что та квартира не занята. Иванъ Савичъ опять велѣлъ ему переѣзжать, а самъ уѣхалъ, сказавъ, что онъ будетъ къ вечеру прямо на новую квартиру. На крыльцѣ онъ столкнулся съ крестнымъ папенькой. Крестный былъ въ бѣломъ галстукѣ, въ бѣломъ жилетѣ... Онъ остановилъ Ивана Савича.

— Крестница сообщила мнѣ радостное извѣстіе о вашемъ предложеніи и просила моего посредства, — сказалъ онъ. — Сегодня она повѣстила родныхъ: васъ ожидаютъ. Священникъ благословитъ. Я искренно радъ: по собраніи ближайшихъ свѣдѣній о васъ, они оказываются удовлетворительными, и я, не находя никакого съ своей стороны препятствія, честь имѣю... поздравить... а она... будетъ послушной женой. Отецъ ей не оставилъ богатства, но далъ,

что называется, фундаментальное воспитаніе и внушилъ правила...

— Извините... —сказалъ Иванъ Савичъ.

Ась?

Извините... я спѣшу...

— Извѣстное дѣло: случай такой. Много хлопотъ... Мое почтеніе.

Иванъ Савичъ бѣжалъ безъ оглядки.

Опять Авдѣй натрузилъ три воза и нагрузился самъ вещами своего барина и побрелъ съ лѣстницы. Вверху думали, что Иванъ Савичъ затѣваетъ перемѣну мебели въ своей квартирѣ, по случаю предстоящей свадьбы, и были покойны. Но когда Авдѣй понесъ съ лѣстницы часы, подсвѣчники и прочее, тамъ стали подозрѣвать что-то недоброе.

Крестный папенька Прасковьи Михайловны, сестра ея и всѣ остальные гурьбой вышли на лѣстницу и окружили Авдѣя.

— Гдѣ же баринъ? —спрашивали они.

— Не могу знать! —отвѣчалъ Авдѣй.

— Скоро ли онъ воротится?

— Не могу знать!

Будетъ ли къ намъ?

Не могу знать!

Будетъ ли на помолвку?

Не могу знать!

Женится ли онъ? слышно ли? говорилъ ли кому-нибудь?

Не могу знать!

Не для свадьбы ли онъ нанялъ новую квартиру?

Не могу знать! не могу знать! не могу знать!—закричалъ Авдѣй, вырываясь изъ круга вопросителей и опрометью бросился со двора, оставя дворнику ключъ.

И долго стояли на лѣстницѣ съ разинутыми ртами, глядя ему вслѣдъ.

— Что̀ же это такое?—сказала Прасковья Михайловна.

Когда дворникъ разсказалъ, какъ Иванъ Савичъ принялъ его поздравленіе, Прасковья Михайловна упала въ обморокъ.

— Что̀ теперь скажутъ про меня?—промолвила она, очнувшись.—Крестный! заступитесь за меня: я умру.

— А вотъ мы отношеніемъ обратимся къ его начальству,—сказалъ негодующій крестный.— Да нѣтъ,—прибавилъ онъ потомъ горестно:—вывернутся, ей-Богу, вывернутся: опять такую же бумагу напишутъ съ крючкомъ. Есть же тамъ этакой! Онъ докажетъ про Ивана Савича, что такого лица и на свѣтѣ нѣтъ. Это ему плевое дѣло. Ахъ, какъ пишетъ!.. Что̀ же, милости просимъ: не пропадать же кулебякѣ!

И сѣли за столъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ОДИННАДЦАТАГО ТОМА:

стр.

Литературный вечеръ 3

Мильонъ терзаній 117

Замѣтки о личности Бѣлинскаго 159

Иванъ Савичъ Поджабринъ. Очерки 188

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
И. А. ГОНЧАРОВА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ДВѢНАДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1899 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1899.

ВОСПОМИНАНІЯ.

I.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

Какъ насъ учили 50 лѣтъ назадъ *).

Въ настоящее время, на ряду съ важнѣйшими вопросами русской жизни, сталъ на очередь университетскій вопросъ. Это — нашъ всеобщій вопросъ, по тому значенію, какое имѣетъ у насъ университетское образованіе. За исключеніемъ нѣкоторыхъ спеціальныхъ и техническихъ частей знанія—военной, морской, инженерной и другихъ, имѣющихъ свои заведенія, представители высшаго универсальнаго образованія до сихъ поръ почерпаютъ знаніе въ университетахъ. Даже, говорятъ, въ военное время, напримѣръ, въ крымскую кампанію, главнокомандующій войсками, князь Горчаковъ, свидѣтельствовалъ, что прошедшіе курсъ университетскаго образованія были и отличными, изъ-ряда вонъ выходящими офицерами.

Разсадниками высшаго образованія служатъ еще духов-

*) Авторъ не припомнитъ съ точностью года, когда были писаны имъ настоящія замѣтки. Но изъ нѣкоторыхъ подробностей текста можно, почти съ увѣренностью, заключить, что эти замѣтки были набросаны имъ въ самомъ началѣ 70-хъ годовъ.

ныя академіи, лицеи, училище правовѣдѣнія. Были такъ-называемые университетскіе пансіоны; эти заведенія выпускали—и выпускаютъ—людей высшаго образованія, но въ незначительномъ противъ университетовъ количествѣ. Университетъ пока превозмогаетъ все. Не мудрено, что и само правительство, и общество, поглощены разработкою университетскаго вопроса. И въ настоящее время всѣ бывшіе студенты съ участіемъ ждутъ его рѣшенія, молодые современные—и подавно. Печать то-и-дѣло проводитъ разносторонніе взгляды и мнѣнія на занимающую всѣхъ задачу.

Вездѣ идутъ оживленные толки, высказываются надежды, ожиданія. Молодость волнуется, съ свойственнымъ юности нетерпѣніемъ спѣшитъ заявлять свои желанія.

Задача не легкая со стороны тѣхъ, отъ кого зависитъ судьба университетскаго образованія—рѣшить такъ, чтобы удовлетворить стремленіямъ молодыхъ людей въ духѣ времени, не дѣлая малодушныхъ уступокъ въ ущербъ образованію и во вредъ самимъ учащимся.

Не легко и со стороны послѣднихъ, заявляя свои задушевныя желанія, кровныя нужды, воздержать раздражительное юношеское нетерпѣніе и не переступить кое-гдѣ и кое-въ-чемъ за черту своихъ законныхъ желаній.

Бывшіе студенты всѣхъ возрастовъ, разсѣянные по всѣмъ путямъ общественной дѣятельности, не могутъ, конечно, смотрѣть на эту борьбу равнодушно, какъ старые инвалиды не смотрятъ равнодушно на молодыхъ бойцовъ.

Тѣмъ, которые лично не втянуты въ эту борьбу, по своему положенію или занятіямъ, остается вспоминать прошлое—отъ этого даже и воздержаться нельзя (спросите любого военнаго инвалида).

Меня собственно,—глядя на эту современную пчелиную работу въ нашихъ университетскихъ ульяхъ и прислушиваясь къ толкамъ въ обществѣ, — какъ стараго студента московскаго университета тридцатыхъ годовъ, тянетъ къ

воспоминаніямъ совсѣмъ не самолюбивая мысль о пользѣ какой-нибудь, не желаніе поднести публикѣ и студентамъ урокъ—нѣтъ. Я не одаренъ никакими свойствами и способностями учительства, да и самъ не желалъ бы напрашиваться на какой-нибудь раздражительный урокъ отъ молодежи, если что-нибудь въ моихъ воспоминаніяхъ не пришлось бы ей по сердцу.

Меня влекутъ просто воспоминанія о лучшей порѣ жизни—молодости—и объ ея наилучшей части — университетскихъ годахъ. Благороднѣе, чище, выше этихъ воспоминаній у у меня, да, пожалуй, и у всякаго студента, въ молодости не было.

Мы, юноши, полвѣка тому назадъ, смотрѣли на университетъ какъ на святилище, и вступали въ его стѣны со страхомъ и трепетомъ.

Я говорю о московскомъ университетѣ, на которомъ, какъ на всей Москвѣ, по словамъ Грибоѣдова, лежалъ особый отпечатокъ. Впрочемъ, всякій изъ восьми нашихъ университетовъ, если пристально и тонко вглядываться въ ихъ питомцевъ, сообщаетъ послѣднимъ нѣкоторое мѣстное своеобразіе.

Нашъ университетъ въ Москвѣ былъ святилищемъ не для однихъ насъ, учащихся, но и для ихъ семействъ, и для всего общества. Образованіе, вынесенное изъ университета, цѣнилось выше всякаго другого. Москва гордилась своимъ университетомъ, любила студентовъ, какъ будущихъ самыхъ полезныхъ, можетъ-быть, громкихъ, блестящихъ дѣятелей общества. Студенты гордились своимъ званіемъ и дорожили занятіями, видя общую къ себѣ симпатію и уваженіе. Они важно расхаживали по Москвѣ, кокетничая своимъ званіемъ и малиновыми воротниками. Даже простые люди, и тѣ, при встрѣчахъ, ласково провожали глазами юношей въ малиновыхъ воротникахъ. Я не говорю объ исключеніяхъ. Въ разносословной и разнохарактерной толпѣ,

при различіи воспитанія, нравовъ и привычекъ, являлись, конечно, и мало подготовленные къ серьезному ученію, и дурно воспитанные молодые люди, и просто шалуны и повѣсы. Иногда пробѣгали въ городѣ—впрочемъ рѣдкіе слухи—о шумныхъ пирушкахъ въ трактирѣ, о шалостяхъ, въ родѣ, напримѣръ, перемѣны ночью вывѣсокъ у торговцевъ, или задорныхъ пререканій съ полиціею и т. п. Но большинство студентовъ держало себя прилично и дорожило доброй репутаціей и симпатіями общества.

Эти симпатіи вливали много тепла и свѣта въ жизнь университетскаго юношества. Духъ юноши поднимался; онъ расцвѣталъ подъ лучами свободы, падшими на него послѣ школьной или домашней педагогической неволи. Онъ совершалъ первый сознательный актъ своей воли, приходилъ въ университетъ самъ, его не отдаютъ родители, какъ въ школу. Нѣтъ школьной методы преподаванія, не задаютъ уроковъ, никто не контролируетъ употребленія имъ его часовъ, дней, вечеровъ и ночей.

Далѣе слѣдуютъ шаги все свободнѣе и сознательнѣе, достигается «степень зрѣлости» безъ всякаго на нее гимназическаго диплома. Свободный выборъ науки, требующій сознательнаго взгляда на свое влеченіе къ той или другой отрасли знанія, и зарождавшееся изъ того опредѣленіе своего будущаго призванія — все это захватывало не только умъ, но и всю молодую душу. Университетъ отворялъ ему широкія ворота, не въ одну научную сферу, но и въ самую жизнь. Съ учебной почвы онъ ступаетъ на ученую. Умственный горизонтъ его раздвигается, передъ нимъ открываются перспективы и параллели наукъ и вся безконечная даль знанія, а съ нею и настоящая, законная свобода—свобода науки.

Программы, инструкціи безсильны противъ свободы науки. Сжатая въ учебныхъ классахъ, какъ рѣка въ тѣсныхъ берегахъ, она съ университетской каѳедры изливается ши-

рокимъ и вольнымъ потокомъ. Между профессоромъ и слушателями устанавливается живой токъ передачи жадному вниманію ихъ ея откровеній, истинъ, гипотезъ. Этой свободы не даютъ или не давали (такъ какъ я говорю о прошломъ) другія изъ высшихъ гражданскихъ, военныхъ или духовныхъ заведеній.

Я не говорю, чтобы свободѣ этой не полагалось преградъ: страхъ, чтобы она не окрасилась въ другую, т.-е. политическую краску, заставлялъ начальство слѣдить за лекціями профессоровъ, хотя проблески этой, не-научной, свободы проявлялись болѣе внѣ университета; свободомысліе почерпалось изъ другихъ, не-университетскихъ источниковъ. Въ университетахъ молодежь, болѣе чѣмъ въ другихъ заведеніяхъ, ограждена серьезною содержательностію занятій отъ многихъ опасныхъ увлеченій, заносимыхъ туда извнѣ, больше издалека... Но, тѣмъ не менѣе, на лекціи налагалось иногда veto, какъ, напримѣръ, на лекціи Давыдова.

Онъ прочелъ всего двѣ или три лекціи исторіи философіи; на этихъ лекціяхъ, между прочимъ, говорятъ (я еще не былъ тогда въ университетѣ), присутствовалъ пріѣзжій изъ Петербурга флигель-адъютантъ, и вслѣдствіе его донесенія будто бы лекціи были закрыты. Говорили, что въ нихъ проявлялось свободомысліе, противное... не знаю чему. Я не читалъ этихъ лекцій.

Гдѣ же, казалось бы, и проявляться свободомыслію, какъ не въ философіи? Но, какъ бы то ни было, лекціи были закрыты. Это противорѣчитъ, повидимому, сказанному мною выше о свободѣ науки. Напротивъ. Наука можетъ быть вовсе отмѣнена, каѳедра ея закрыта, какъ это и сдѣлано съ лекціями Давыдова, но если бы она не закрывалась, ограниченіе профессорскаго слова, духа и смысла его лекцій едва ли было бы возможно. Профессоръ сумѣлъ бы дать понять себя, а слушатели сумѣли бы угадывать недосказанное, какъ читатели умѣютъ читать между строками.

Гораздо позже, при императорѣ Николаѣ Павловичѣ, преподаваніе философіи поручалось въ университетахъ, какъ извѣстно, духовнымъ лицамъ.

Возвращаюсь къ своимъ воспоминаніямъ.

Я и братъ мой, и еще нѣкоторые прежніе школьные товарищи, вмѣстѣ готовились къ вступительному экзамену и вмѣстѣ подали просьбу ректору университета.

Это было въ августѣ 1831 года: 1830-й—былъ холерный годъ, и лекцій не было. Бывшимъ уже въ университетѣ студентамъ не зачли этого года.

Братъ и я поступали—онъ въ юридическій факультетъ, а я въ филологическій, или, какъ тогда назывались они—первый «этико-политическимъ», а второй—«словеснымъ».

Мы съ братомъ и товарищи наши издалека готовились и были хорошо приготовлены къ экзамену, о требованіяхъ котораго, конечно, заблаговременно справились до мелкихъ подробностей, до методы, до книгъ, и потому вышесказанные страхъ и трепетъ умѣрялись нѣкоторою увѣренностію въ успѣхѣ.

Среди этихъ надеждъ надо мной неожиданно разразилось, какъ громовой ударъ, извѣстіе, что изъ министерства народнаго просвѣщенія получено предписаніе требовать отъ вступающихъ въ словесное отдѣленіе знанія греческаго языка, который—хотя преподавался въ университетѣ для филологовъ, но до тѣхъ поръ не былъ, при вступленіи, обязательнымъ.

Я зналъ порядочно по-французски, по-нѣмецки, отчасти по-англійски и по-латыни. Безъ послѣдняго языка нельзя было поступить ни въ какой факультетъ. Я переводилъ à livre ouvert Корнелія Непота, по которому всѣ учились, какъ по «Телемаку» Фенелона во французскомъ языкѣ. Я былъ совершенно спокоенъ — а тутъ вдругъ понадобился греческій языкъ!

Къ счастью, предписаніе пришло за нѣсколько мѣсяцевъ

до экзаменовъ, такъ что съ юношескою энергіей можно было — если не покорить вполнѣ эллинскую рѣчь, на что надо положить чуть не цѣлую жизнь, — то хоть что-нибудь выучить, и что̀ окажется въ итогѣ четырехъ или пятимѣсячныхъ молодыхъ стараній и силъ, то̀ и принести на экзаменъ.

Я и другіе, кто поступалъ въ словесное отдѣленіе, бросились на пеструю микроскопическую грамоту, наняли учителя и, отложивъ все прочее, напустились на грамматику и синтаксисъ, и съ этимъ скуднымъ, пріобрѣтеннымъ съ грѣхомъ пополамъ запасомъ, явились на экзаменъ.

Много воды подлилъ этотъ греческій языкъ въ мои теплыя надежды. Но все обошлось благополучно.

Въ назначенный день вечеромъ мы явились на экзаменъ, происходившій, помнится, въ залѣ конференціи. Въ смежной, плохо освѣщенной комнатѣ, мы, тѣсной, довольно многочисленной кучкой, жались у стѣнъ, ожидая, какъ осужденные на казнь, своей очереди. Вотъ тутъ, конечно, сердце билось у всѣхъ, у меня—болѣе другихъ, по милости греческаго языка.

Насъ вызывали по нѣскольку человѣкъ вдругъ, потому что экзаменъ кончался за разъ. Въ залѣ засѣдалъ ареопагъ профессоровъ-экзаменаторовъ, подъ предсѣдательствомъ ректора. Ихъ было человѣкъ семь или восемь. Вызываемые по списку подходили къ каждому экзаменатору по очереди.

Профессоръ задавалъ нѣсколько вопросовъ или задачу, напримѣръ, изъ алгебры или геометріи, которую тутъ же, подъ носомъ у него, приходилось рѣшать. Профессоръ латинскаго языка молча развертывалъ книгу, указывая строки, которыя надо было перевести, останавливалъ на какой-нибудь фразѣ, требуя объясненія. Французъ и этого не дѣлалъ: онъ просто поговорилъ по-французски, и кто отвѣчалъ свободно на томъ же языкѣ, онъ ставилъ въ своемъ спискѣ баллъ и любезнымъ поклономъ увольнялъ экзаме-

нующагося. Нѣмецъ давалъ прочитать двѣ-три строки и перевести, и если студентъ не затруднялся, онъ поступалъ какъ французъ.

Я не успѣлъ оглянуться, какъ уже былъ отъэкзаменованъ. Многіе тоже отдѣлались до меня и веселыми ногами уходили вонъ, въ томъ числѣ и мой братъ. И я довольно легко рѣшилъ какую-то задачу изъ алгебры и получилъ одобрительный кивокъ отъ адъюнктъ-профессора Коцаурова. Французъ сдѣлалъ мнѣ два-три вопроса: «Vous avez bien profité de votre temps», похвалилъ онъ меня, отпуская. Профессоръ исторіи задавалъ общеизвѣстные вопросы о крупныхъ событіяхъ. Я отбылъ свой экзаменъ въ какіе-нибудь полчаса.

Тутъ бы и уйти—вонъ и дверь полуотворена, но я сдѣлалъ послѣдній шагъ и очутился — около греческаго профессора.

Это былъ старикъ лѣтъ семидесяти слишкомъ, съ рѣдкими, какъ чахлые кусты полыни, сѣдыми клочками волосъ на головѣ, худощавый, съ изломанными чертами лица, отчасти съ крючковатымъ носомъ, въ очкахъ. Онъ въ своемъ вицъ-мундирѣ сидѣлъ точно въ мѣшкѣ. Физіономіи у него не было никакой, и по лицу его нельзя было догадаться, уменъ онъ, или нѣтъ, добръ, или сердитъ. Это былъ извѣстный эллинистъ — С. М. Ивашковскій, о которомъ придется говорить ниже.

Онъ взглянулъ на меня, спросилъ фамилію, посмотрѣлъ въ списокъ. — «Учились по-гречески?» — спросилъ онъ.— «Да...съ», — отвѣчалъ я, и опустилъ глаза къ полу, самъ чувствуя, что въ моемъ *да* присутствуетъ вмѣстѣ и *нѣтъ*. Тамъ, подъ столомъ, я успѣлъ замѣтить, что профессоръ былъ въ высокихъ сапогахъ, въ которые были запрятаны его панталоны. — «Такъ вотъ, извольте читать», — сказалъ онъ, указывая начало параграфа въ греческой книгѣ, помнится, — «Отступленіе десяти тысячъ грековъ», Ксено-

фонта. Тутъ у насъ съ нимъ началась нѣкоторая борьба: я читалъ, а онъ на каждомъ словѣ поправлялъ: я не тамъ дѣлалъ ударенія, гдѣ слѣдовало. Его ухо не выносило этого: «Не такъ, не такъ»,—останавливалъ онъ меня. А мнѣ было вовсе не до удареній: я въ это время въ прочитанномъ ловилъ глазами знакомыя слова, какъ друзей въ толпѣ.

Черезъ двѣ-три минуты я увидѣлъ, что профессоръ дѣлаетъ замѣтныя уступки: добиваясь значенія слова и встрѣчая остановку съ моей стороны, онъ договаривалъ самъ, а когда получалъ удачный отвѣтъ или только намекъ на него—радовался. Вопросы дѣлалъ легкіе, больше изъ грамматическаго анализа, какъ въ гимназіи. Потомъ отпустилъ съ одобреніемъ. Послѣ уже я услышалъ, что начальство не желало затруднять вступленіе въ университетъ изъ-за греческаго языка, и предоставило экзаменовать изъ послѣдняго снисходительно, такъ какъ его включили въ программу вступительнаго экзамена поздно. И слава Богу: умное было начальство — спасибо ему. Тогда министромъ былъ С. С. Уваровъ.

Не учиться по-латыни считалось еще ересью даже въ обществѣ. Бывало, претенденты на высшее образованіе притворялись знающими по-латыни и щеголяли заученными латинскими цитатами, часто не зная грамматики. О греческомъ же языкѣ въ обществѣ не поминалъ никто: его какъ будто не было на свѣтѣ. Знали, что учатъ по-гречески въ духовныхъ училищахъ, что есть каѳедра этого языка въ университетѣ—и только.

Не пройти, учась въ университетѣ, черезъ эти классическія ворота было нельзя: связь древняго міра съ новымъ поддерживалась этимъ дряхлымъ мостикомъ, но это только относительно лингвистики. Чуткіе умы проникали въ глубину древности—въ ея исторію, духъ и нравы—и помимо профессоровъ, и даже классиковъ въ оригиналахъ. Они читали извѣстные переводы на французскій, нѣмецкій, англій-

скій и отчасти русскій языки, и создавали себѣ болѣе или менѣе опредѣленный образъ отжившаго міра, иногда, можетъ-быть, живѣе, и пожалуй—и ближе къ правдѣ, нежели тѣ, которые корпѣли надъ преодолѣніемъ трудностей умершей грамоты.

«Ахъ, господа, вы не можете себѣ представить, какъ велико наслажденіе читать древнихъ классиковъ въ оригиналѣ!»—сказалъ однажды намъ адъюнктъ греческаго языка на первомъ курсѣ, Оболенскій, не встрѣчая, вѣроятно, въ насъ слишкомъ живого стремленія къ этому «наслажденію».

Но въ чемъ состояло наслажденіе — онъ не объяснилъ. Мнѣ тогда показалось, что онъ преувеличилъ, или хотѣлъ насъ пришпорить. Но рецептъ былъ слабый. Вѣдь главнаго наслажденія чтенія — т. е. образа и подобія живой рѣчи, живыхъ людей — нѣтъ болѣе. Читая французскія, нѣмецкія и англійскія книги, мы какъ будто слушаемъ и видимъ живого француза, нѣмца и англичанина, ловимъ звуки, интонацію, словомъ — намъ говоритъ живой человѣкъ. Мы сличаемъ говоръ съ печатнымъ словомъ, чуемъ живой духъ и всегда въ состояніи сдѣлать надлежащую аналогію. Полатыни и по-гречески этого нѣтъ.

Подозрѣвать неискренность «наслажденія» этого почтеннаго адъюнкта, или кого бы то ни было, я не хочу: я только думаю, что знатоки древнихъ языковъ наслаждаются не тѣмъ, чѣмъ наслаждаются всѣ, читая писателя живыхъ языковъ. Тутъ входитъ, я думаю, больше тщеславія: «это очень трудно, немногіе владѣютъ знаніемъ древнихъ языковъ, а мы, вотъ, одолѣли и владѣемъ ими свободно».

Это своего рода «наслажденіе» и по другимъ предметамъ нерѣдко встрѣчается въ людяхъ, начиная съ Гоголевскаго Петрушки до... многихъ изъ насъ.

Я вовсе не отвергаю относительной полезности изученія древнихъ языковъ—такой ереси я проповѣдывать не хочу. Пусть желающіе учатся имъ до самыхъ корней, пусть

«наслаждаются» преодолѣваніемъ филологическихъ трудностей, и даже пусть тщеславятся этимъ: скорѣе уже этимъ, чѣмъ тѣмъ, напримѣръ, что взлѣзаютъ на Монбланъ. Я только — какъ почти и все общество — противъ принудительнаго изученія этихъ языковъ въ ущербъ другимъ знаніямъ, иногда даже и знанію своего отечественнаго языка.

Но, кажется, этотъ вопросъ, если еще не рѣшился, то рѣшается уже въ желательномъ для большинства смыслѣ— и ломать копья противъ подавляющаго натиска классицизма не приходится. Скорѣе, можетъ-быть, при извѣстной способности, въ борьбѣ за что-нибудь, вдаваться въ крайности, приходится — въ спорѣ съ рѣшительными противниками классицизма—кое-что отстаивать въ пользу послѣдняго.

Крайніе противники хотятъ сжечь мосты и разорвать всякую связь съ минувшимъ. Нерѣдко слышишь какое-то озлобленіе противъ всего древняго и прошлаго. «Разстались съ древностію, и она намъ болѣе не нужна. Новое время принесло новые всходы и плоды. Новое знаніе ушло отъ стараго на неизмѣримое разстояніе и не имѣетъ никакой связи съ минувшимъ! Это значитъ напрасно тратить время и затруднять умы пустяками, пренебрегая новымъ, нужнымъ», и т. д.

Это слышится нерѣдко въ обществѣ и читается въ печати *).

Между тѣмъ минувшее напоминаетъ о себѣ на каждомъ шагу — уже одною терминологіею во всѣхъ отрасляхъ знанія, открытіяхъ, а особенно, напримѣръ, романскія нарѣчія, кромѣ болѣе или менѣе отдаленной связи въ корнесловіи, кишатъ древними словами.

Странно интеллигентному человѣку, претендующему на высшее и полное образованіе, для котораго открыта гра-

*) Не слѣдуетъ забывать, что это писано давно, когда эти споры и толки были въ полномъ ходу.

мота новыхъ иностранныхъ литературъ, пользоваться слѣпо этой грамотой, не зная ея происхожденія и корней.

Это не татарскій слѣдъ, который оставили монголы, напримѣръ, въ нашемъ языкѣ: отъ этихъ и подобныхъ имъ вторженій остались одни звуки языка и болѣе ничего. А древніе языки внесли вмѣстѣ и слѣдъ своей цивилизаціи. Поэтому умѣренные борцы по классическому вопросу (въ томъ числѣ и я) никогда не подадутъ голоса за совершенную отмѣну латинскаго и греческаго языковъ въ отношеніи лингвистики.

Продолжаю свои воспоминанія.

Наконецъ, всѣ трудности преодолѣны: мы вступили въ университетъ, облекшись въ форменные сюртуки съ малиновымъ воротникомъ, и стали посѣщать лекціи. Внѣ университета разрѣшалось желающимъ ходить въ партикулярномъ платьѣ *).

Первый курсъ былъ чѣмъ-то въ родѣ повторенія высшаго гимназическаго класса. Молодые профессора, адъюнкты—заставляли насъ упражняться въ древнихъ и новыхъ языкахъ. Это были замѣчательно умные, образованные и прекрасные люди, напримѣръ — французъ Куртенеръ, нѣмецкій лекторъ Герингъ, профессоръ латинскаго языка Кубаревъ, и греческаго—Оболенскій. Они много помогли намъ хорошо приготовиться къ слушанію лекцій высшаго курса, и кромѣ того, своимъ добрымъ и любезнымъ отношеніемъ къ намъ, сдѣлали первые шаги вступленія въ университетъ чрезвычайно пріятными. Между ними, какъ патріархъ, красовался убѣленный сѣдинами почтенный профессоръ русской словесности, человѣкъ стараго вѣка — П. В. Побѣдоносцевъ.

Насъ, первогодичныхъ, было, помнится, человѣкъ сорокъ. Между прочими тутъ былъ и Лермонтовъ, впослѣдствіи зна-

*) Въ слѣдующемъ за окончаніемъ нами курса году студентамъ измѣнена была форма и малиновые воротники замѣнились синими.

менитый поэтъ, тогда смуглый, одутловатый юноша, съ чертами лица какъ будто восточнаго происхожденія, съ черными выразительными глазами. Онъ казался мнѣ апатичнымъ, говорилъ мало и сидѣлъ всегда въ лѣнивой позѣ, полулежа, опершись на локоть. Онъ не долго пробылъ въ университетѣ. Съ перваго курса онъ вышелъ и уѣхалъ въ Петербургъ. Я не успѣлъ познакомиться съ нимъ.

Тутъ была еще замѣчательная личность—Бодянскій, впослѣдствіи извѣстный профессоръ славянскихъ нарѣчій.

Курсъ, или классъ, нашъ былъ какою-то безпечною, веселою толпою юношей, собиравшихся какъ будто только повидаться и изучать не науки, а другъ друга, потому что все, что проходили, мы болѣе или менѣе знали.

Мы легко справились съ переходнымъ экзаменомъ и на второй годъ весело перешли на слѣдующій курсъ, изъ маленькой аудиторіи въ большую, окнами на обширный дворъ и улицу. Тамъ мы застали человѣкъ пятьдесятъ опередившихъ насъ цѣлымъ годомъ товарищей, не переведенныхъ, по случаю холеры, на третій курсъ. Насъ всего было, помнится, человѣкъ восемьдесятъ.

Передъ нами были Герценъ и Бѣлинскій въ университетѣ, но когда мы перешли на второй курсъ — ихъ уже не было. Тамъ были, между прочимъ, Станкевичъ, Константинъ Аксаковъ, Сергѣй Строевъ (впослѣдствіи писавшій статьи подъ псевдонимомъ Скромненко) и перешедшій съ нами изъ перваго курса Бодянскій.

Съ Бѣлинскимъ я познакомился уже въ 1846 году, въ Петербургѣ, а съ Герценомъ видѣлся только одинъ разъ, мелькомъ, когда онъ былъ короткое время въ Петербургѣ, проѣздомъ за границу.

Этотъ годъ (съ авг. 1832 по авг. 1833) былъ лучшимъ и самымъ счастливымъ нашимъ годомъ. Наша юная толпа составляла собою маленькую ученую республику, надъ которой простиралось вѣчно ясное небо, безъ тучъ, безъ грозъ

и безъ внутреннихъ потрясеній, безъ всякихъ исторій, кромѣ всеобщей и россійской, преподаваемыхъ съ каѳедръ. Если же и бывали какія-нибудь исторіи, въ которыхъ замѣшаны бывшіе до насъ студенты, то мы тогда ничего объ этомъ не знали. Мы вступили на серьезный путь науки, и не только серьезно, искренно, но даже съ нѣкоторымъ педантизмомъ относились къ ней. Кромѣ нея, въ стѣнахъ университета для насъ ничего не было. Дома всякій жилъ по-своему, дѣлалъ, что̀ хотѣлъ, развлекался какъ умѣлъ— все вразбродъ, но въ университетъ мы ходили только учиться, не внося съ собою никакихъ другихъ заботъ и дѣлъ.

И точно была республика: надъ нами не было никакого авторитета, кромѣ авторитета науки и ея преподавателей. Начальства какъ будто никакого не было,—но оно, конечно, было, только мы имѣли о немъ какое-то отвлеченное, умозрительное понятіе: знали о немъ, можно сказать, по слухамъ. Былъ ректоръ, былъ попечитель, можетъ-быть, даже и инспекторъ (кажется, былъ), но мы его никогда не видали. Если я не ошибаюсь, онъ завѣдывалъ казенными студентами, имѣвшими квартиры и столъ въ университетѣ. Тогда никакихъ стипендій не было, и многіе бѣдные студенты принимаемы были на казенный счетъ. Прочіе же небогатые, раскиданные по разнымъ угламъ Москвы, содержали себя, какъ знали и какъ могли, никакихъ пособій отъ университета не получали. Казенныхъ студентовъ было, кажется, если не ошибаюсь, около ста человѣкъ.

И ректора, и попечителя, мы видѣли только два раза. Ректоръ былъ профессоръ физики въ математическомъ факультетѣ, Двигубскій. Онъ однажды зашелъ въ нашу аудиторію—во время лекціи, и, кажется, самъ удивился своему приходу. Грузный мужчина, небольшого роста, съ широкими плечами, на которыхъ плотно сидѣла большая, точно медвѣжья голова,—онъ какъ-то бокомъ, точно нехотя, взгля-

нулъ на толпу студентовъ, какъ будто говоря глазами: «ну, чего тутъ смотрѣть? невидаль какая!»—кивнулъ профессору, кивнулъ намъ въ отвѣтъ на общій нашъ поклонъ и скрылся. Онъ, кажется, зашелъ, что называется, для очистки совѣсти: чтобъ нельзя было сказать, что онъ ни разу не былъ въ аудиторіи.

Послѣ него ректоромъ былъ профессоръ восточныхъ языковъ, Болдыревъ. И этотъ поступилъ точно такъ же, т.-е. зашелъ однажды на лекцію поглядѣть на насъ. Его посѣщеніе особенно памятно мнѣ: передо мною однимъ на столѣ лежала книга «Война Югурты», Саллюстія, въ маленькомъ форматѣ. У другихъ ничего не было передъ собою. А лекція была нѣмецкой литературы лектора Кистера. Вдругъ ректоръ подошелъ ко мнѣ, взялъ книгу и посмотрѣлъ. «Отчего у васъ латинская книга на лекціи нѣмецкой литературы?»—спросилъ онъ. — Она лежитъ тутъ отъ предыдущей лекціи изъ римской словесности, — былъ мой отвѣтъ.—«А гдѣ же нѣмецкая книга?» — У меня ея нѣтъ. — И ни у кого не было. Кистеръ издалъ какой-то краткій, очень наивный курсъ нѣмецкой литературы, скомпилированный съ большихъ нѣмецкихъ курсовъ, и, конечно, разсчитывалъ на сбытъ между студентами, но такъ какъ большинство ихъ знало все, что тамъ было, то книгу и не покупали.

Ректоръ не справился, есть ли она у другихъ, а мнѣ посовѣтовалъ пріобрѣсти ее. Я не пріобрѣлъ, потому что у студента денегъ обыкновенно не бываетъ, особенно на книги. Доставать книги—это другое дѣло: мы это и дѣлали, а покупать — нѣтъ. Эту роскошь могли себѣ позволить очень немногіе, которые и снабжали ими своихъ товарищей.

Кромѣ того, я не купилъ книги еще потому, что все въ ней было мнѣ извѣстно, и притомъ я зналъ, что ректоръ больше никогда не придетъ на лекцію.

Попечителемъ былъ тогда извѣстный въ Москвѣ богатый вельможа—князь С. М. Голицынъ. Только это мы и знали

о немъ, да знали еще его большой, барскій домъ на Пречистенкѣ и прекрасную дачу, Кузьминки, въ семи верстахъ отъ Москвы, куда нерѣдко отправлялись гулять пѣшкомъ взадъ и впередъ. Знали также всѣ ходившіе въ обществѣ анекдоты о его широкой благотворительности, о его роскошныхъ праздникахъ, даваемыхъ во время посѣщенія Москвы царскою фамиліею,—и больше ничего.

И вотъ, однажды, кто-то изъ передней просунулъ въ аудиторію голову и сказалъ: «попечитель пріѣхалъ». Вслѣдъ за тѣмъ онъ вошелъ къ намъ, сіяя довольствомъ, добротой на лицѣ и звѣздами на груди мундирнаго фрака. Это былъ невысокій, плотный человѣкъ, съ небольшой головой, съ коротко-остриженными волосами. Сбоку, ближе къ брюшку, у него покачивался большой владимірскій крестъ на скрытой подъ жилетомъ лентѣ черезъ плечо.

Онъ весело поздоровался съ нами, присѣлъ рядомъ къ профессору и поглядывалъ на насъ кротко и ласково, какъ добрые крестные отцы смотрятъ на своихъ крестниковъ или дяди—на любимыхъ племянниковъ. Посидѣвъ съ четверть часа, онъ живо всталъ, съ улыбкой раскланялся съ нами и пошелъ въ другія аудиторіи. Больше мы его не видали.

Посѣтилъ насъ еще назначенный, кажется послѣ него, попечителемъ графъ А. Н. Панинъ. Онъ такъ же, какъ ректоръ Двигубскій, взглянулъ на насъ—не то мрачно, не то сердито, почти про себя замѣтилъ, что у многихъ студентовъ очень длинны волосы, и ушелъ.

Тогда длинные волосы считались у начальства признакомъ вольнодумства, и въ учебныхъ заведеніяхъ, особенно военныхъ, производилась, какъ мы слышали, усиленная стрижка.

Вотъ все, что мы видѣли отъ попечителей. Тогда между нами невольно возникалъ вопросъ о томъ, кто такіе эти

попечители, что они дѣлаютъ, о чемъ пекутся и зачѣмъ они университету?

Намъ, собственно, было за глаза достаточно однихъ профессоровъ, изъ которыхъ старшій (въ нашемъ факультетѣ — М. Т. Каченовскій) назначался деканомъ. И объ обязанностяхъ декана у насъ было тоже неясное понятіе. Только на экзаменахъ онъ былъ нѣчто въ родѣ предсѣдателя.

Личный составъ нашихъ профессоровъ былъ очень удачный, съ малыми, едва замѣтными исключеніями. Первымъ считали мы—и по старшинству лѣтъ, и по достоинствамъ—помянутаго декана, М. Т. Каченовскаго. Это былъ тонкій, аналитическій умъ, скептикъ въ вопросахъ науки и отчасти, кажется, во всемъ. При этомъ — строго справедливый и честный человѣкъ. Онъ читалъ русскую исторію и статистику; но у него была масса познаній по всѣмъ частямъ. Онъ зналъ древніе и новые языки, иностранныя литературы, но особенно обширны были его познанія въ исторіи и во всемъ, что входитъ въ ея сферу — археологія и проч. Любимая его часть въ исторіи была этнографія. Особенную симпатію онъ питалъ къ польскимъ историкамъ (самъ онъ былъ родомъ изъ Малороссіи и выказывалъ явное расположеніе къ своимъ землякамъ) и лѣтописцамъ. И томилъ же онъ насъ подробностями происхожденія однихъ народовъ и племенъ отъ другихъ! До сихъ поръ иногда будто слышишь его разсказы о развѣтвленіяхъ народовъ, болѣе всего—о финскихъ племенахъ, далѣе о печенѣгахъ, о половцахъ, о торкахъ, берендѣяхъ, черныхъ клобукахъ, о томъ, что сѣверные и южные славяне — никакъ не одно, а два различныя племени, сошедшіяся съ противоположныхъ сторонъ, съ сѣвера и съ юга, и т. д.

Когда онъ касался послѣдняго излюбленнаго имъ вопроса о различіи происхожденія сѣверныхъ и южныхъ русиновъ, или вообще какого-нибудь спорнаго въ исторіи вопроса, щеки его, обыкновенно блѣдныя, загорались алымъ

румянцемъ и глаза блистали сквозь очки, а въ голосѣ слышался задоръ прежняго редактора «Вѣстника Европы». Онъ мысленно видѣлъ передъ собою своихъ ученыхъ противниковъ и поражалъ ихъ стрѣлами своего неумолимаго анализа. Онъ терпѣть не могъ никакихъ миѳовъ въ исторіи и начиналъ лекціи русской исторіи съ Владиміра, предупредивъ насъ, что онъ не станетъ повторять басенъ, которыя мы слышали въ школѣ, напримѣръ объ оригинальномъ мщеніи Ольги за смерть Игоря, о змѣѣ, ужалившей Олега, о кожаныхъ деньгахъ, — особенно о кожаныхъ деньгахъ. Какъ теперь помню его подлинныя слова: «Какъ могъ Карамзинъ, человѣкъ съ необыкновеннымъ умомъ, допустить, чтобы могли быть въ обращеніи кожаные клочки, не обезпеченные никакой гарантіей!» О шкуркахъ кожаныхъ, представлявшихъ будто бы свою собственную цѣнность, онъ и слышать не хотѣлъ.

Онъ отвергалъ также подлинность «Слова о Полку Игоревомъ», считая его позднѣйшей поддѣлкой, кажется XIV вѣка, о чемъ однажды вошелъ въ горячій споръ съ Пушкинымъ, котораго привезъ на лекцію министръ Уваровъ.

Здѣсь я сдѣлаю небольшое отступленіе по поводу этого присно-памятнаго мнѣ—конечно, и всѣмъ тогдашнимъ студентамъ—посѣщенія великаго поэта, тогда уже въ апогеѣ его славы.

Когда онъ вошелъ съ Уваровымъ, для меня точно солнце озарило всю аудиторію: я въ то время былъ въ чаду обаянія отъ его поэзіи; я питался ею, какъ молокомъ матери; стихъ его приводилъ меня въ дрожь восторга. На меня, какъ благотворный дождь, падали строфы его созданій («Евгенія Онѣгина», «Полтавы» и др.). Его генію я и всѣ тогдашніе юноши, увлекавшіеся поэзіею, обязаны непосредственнымъ вліяніемъ на наше эстетическое образованіе.

Передъ тѣмъ однажды я видѣлъ его въ церкви, у обѣд-

ни—и не спускалъ съ него глазъ. Черты его лица врѣзались у меня въ памяти. И вдругъ этотъ геній, эта слава и гордость Россіи—передо мной въ пяти шагахъ! Я не вѣрилъ глазамъ. Читалъ лекцію Давыдовъ, профессоръ исторіи русской литературы.

«Вотъ вамъ теорія искусства»,—сказалъ Уваровъ, обращаясь къ намъ, студентамъ, и указывая на Давыдова:—«а вотъ и самое искусство»,—прибавилъ онъ, указывая на Пушкина. Онъ эффектно отчеканилъ эту фразу, очевидно, заранѣе приготовленную. Мы всѣ жадно впились глазами въ Пушкина. Давыдовъ оканчивалъ лекцію. Рѣчь шла о «Словѣ о Полку Игоревомъ». Тутъ же ожидалъ своей очереди читать лекцію, послѣ Давыдова, и Каченовскій. Нечаянно между ними завязался, по поводу «Слова о Полку Игоревомъ», разговоръ, который мало-по-малу перешелъ въ горячій споръ.—«Подойдите ближе, господа,—это для васъ интересно»,—пригласилъ насъ Уваровъ, и мы тѣсной толпой, какъ стѣной, окружили Пушкина, Уварова и обоихъ профессоровъ. Не умѣю выразить, какъ велико было наше наслажденіе—видѣть и слышать нашего кумира.

Я не припомню подробностей ихъ состязанія, — помню только, что Пушкинъ горячо отстаивалъ подлинность древнерусскаго эпоса, а Каченовскій вонзалъ въ него свой безпощадный аналитическій ножъ. Его щеки ярко горѣли алымъ румянцемъ и глаза бросали молніи сквозь очки. Можетъ быть, къ этому раздраженію много огня прибавлялъ и извѣстный литературный антагонизмъ между нимъ и Пушкинымъ. Пушкинъ говорилъ съ увлеченіемъ, но, къ сожалѣнію, тихо, сдержаннымъ тономъ, такъ что за толпой трудно было разслушать. Впрочемъ, меня занималъ не Игорь, а самъ Пушкинъ.

Съ перваго взгляда наружность его казалась невзрачною. Средняго роста, худощавый, съ мелкими чертами смуглаго лица. Только когда вглядишься пристально въ глаза, уви-

въ ученой литературѣ. Потомъ онъ получилъ каѳедру и основалъ журналы: «Телескопъ» и «Молву».

Это былъ самый симпатичный и любезный человѣкъ въ обращеніи, и какъ профессоръ онъ былъ намъ дорогъ своимъ вдохновеннымъ, горячимъ словомъ, которымъ вводилъ насъ въ таинственную даль древняго міра, передавая духъ, бытъ, исторію и искусство Греціи и Рима. Чего только не касался онъ въ своихъ импровизованныхъ лекціяхъ!

Онъ читалъ на память, не привозя никакихъ записокъ съ собою. Память у него была изумительная. Онъ одинъ замѣнялъ десять профессоровъ. Излагая теорію изящныхъ искусствъ и археологію, онъ излагалъ и общую исторію Египта, Греціи и Рима. Говоря о памятникахъ архитектуры, о живописи, о скульптурѣ, наконецъ, о творческихъ произведеніяхъ слова, онъ касался и исторіи философіи. Изливая горячо, почти страстно, передъ нами сокровища знанія, онъ училъ насъ и мастерскому владѣнью рѣчи. Записывая только однѣ его лекціи, можно было научиться чистому и изящному складу русскаго языка.

А тутъ еще Шевыревъ, тогда молодой, свѣжій человѣкъ, принесъ намъ свой тонкій и умный критическій анализъ чужихъ литературъ, начиная съ древнѣйшихъ — индійской, еврейской, арабской, греческой — до новѣйшихъ западныхъ литературъ.

Онъ тоже блисталъ изяществомъ рѣчи, но это была менѣе искренняя и кипучая рѣчь, чѣмъ у Надеждина, зато болѣе сдержанная, мѣрная, щегольская, заранѣе заготовленная, всегда тщательно обдуманная, обработанная. Онъ и читалъ по рукописи. Какъ благодарны мы были ему за этотъ безконечный рядъ, какъ будто галлерей обширнаго музея — рядъ произведеній старыхъ и новыхъ литературъ, выставляемыхъ имъ передъ нами съ тщательною подготовкою, съ тонкой и глубокой критической оцѣнкой ихъ! И какъ не благодарить за безчисленные ключи, которые оба

Эти учителя намъ давали къ уразумѣнію всѣхъ еврейскихъ, греческихъ, римскихъ, и новыхъ западныхъ произведеній ума и фантазіи, по лучшимъ старымъ и современнымъ критическимъ оцѣнкамъ, независимо отъ своей собственной? Долго, безъ такихъ умныхъ истолкователей — пришлось бы намъ потомъ самостоятельнымъ путемъ открывать глаза на библейскихъ пророковъ, на произведенія индійской поэзіи, на эпопеи Гомера, Данта, на Шекспира — до новѣйшихъ, французской, нѣмецкой, англійской литературъ, словомъ — на все, что мы читали по ихъ указанію тогда и что дочитывали послѣ нихъ. Глубокій и благодарный поклонъ ихъ памяти!

Кстати о чтеніи классическихъ и вообще замѣчательныхъ произведеній ума, фантазіи, а также и произведеній научной литературы. Профессорскія лекціи, какъ бы онѣ ни были полны, содержательны, исполнены любви къ знанію самого профессора, все-таки суть не что иное, какъ только программы, систематическіе, постепенные указатели, регулирующіе порядокъ пріобрѣтаемыхъ познаній. Кто прослушаетъ только ихъ и самъ не заразится живой жаждой чтенія, у того, можно сказать, все прослушанное въ университетѣ будетъ—какъ зданіе на пескѣ. А такихъ не мало, глядя на которыхъ и слушая ихъ не замѣтишь и слѣда прочнаго университетскаго образованія и невольно усомнишься, были ли они въ университетѣ. А они были, сдали экзаменъ и получили дипломъ

Только тому университетъ и сослужитъ свою службу, кто изъ чтенія сдѣлаетъ себѣ вторую жизнь. Мы — въ нашей группѣ товарищей — читали все, что попадалось подъ руку; безъ сомнѣнія, въ другихъ кружкахъ дѣлали то же. Но доставали мы книги, какъ я сказалъ, съ большимъ трудомъ. Тогда не было, какъ теперь, множества библіотекъ на каждомъ шагу, журналовъ; особенно мало было переводовъ замѣчательныхъ сочиненій. Приходилось, что называется, изъ

кожи лѣзть, знакомиться съ тѣми, у кого были запасы книгъ на дому, или сообща, въ складчину, покупать иное изданіе. Въ этомъ отношеніи наши современные товарищи гораздо счастливѣе насъ.

Съ меньшей симпатіей или, говоря правду, вовсе безъ симпатіи, относились мы къ профессору исторіи русской литературы, хотя въ своемъ родѣ знаменитому—И. И. Давыдову.

Эта знаменитость была какая-то дѣланная, съ натяжками. Въ обществѣ его принимали за то, чѣмъ онъ хотѣлъ казаться, но мы, юноши, чутко прозирали въ немъ что-то искусственное, декоративное. Высокаго роста, нѣсколько сутуловатый, съ довольно благообразнымъ лицомъ, умными сѣрыми глазами, съ мѣрными, округленными жестами, онъ держалъ себя съ условнымъ достоинствомъ; рѣчь его была плавная, исполнена приличія. Но отъ него вѣяло холодомъ, напускною величавостью, которая быстро превращалась въ позу покорности и смиренія при появленіи какой-нибудь важной персоны изъ начальства.

Онъ считался универсальнымъ ученымъ: читалъ когда-то лекціи высшей алгебры, занялъ-было каѳедру философіи, но съ первыхъ же лекцій, какъ упомянуто выше, каѳедра была закрыта.

При насъ онъ занималъ, какъ я сказалъ, каѳедру исторіи русской литературы, послѣ профессора Мерзлякова, — человѣка умнаго, дарованнаго, старой школы. Я не зналъ его: онъ оставилъ каѳедру за годъ или за два передъ моимъ вступленіемъ. Старые студенты симпатично вспоминали его умные, живые разборы произведеній тогдашней школы нашихъ классиковъ — Державина, Ломоносова, Фонвизина, Княжнина, Озерова и другихъ. Кажется до новыхъ, — Жуковскаго, Батюшкова, Пушкина—онъ не говорился. Онъ, конечно, судя по воспоминаніямъ о немъ слушавшихъ его студентовъ, умѣлъ бы понять и оцѣнить по достоинству и

этихъ — тогда еще новыхъ — писателей. Сошелъ онъ со сцены—не столько по лѣтамъ, сколько по слабости, нерѣдкой у насъ даже и въ его положеніи, чему въ примѣръ можно привести Ломоносова. Онъ пилъ запоемъ и по нѣскольку недѣль не являлся на лекціи. Самъ онъ писалъ не мало стихами, переводилъ изъ древнихъ классиковъ. Между прочимъ, онъ — авторъ общеизвѣстной пѣсни или романса: «Среди долины ровныя», которая пѣлась тогда вездѣ, и теперь еще, можетъ-быть, поется въ скромныхъ провинціальныхъ углахъ.

На лекціи Давыдова собирались иногда и посторонніе слушатели, разные московскіе тузы, въ качествѣ гостей. Но ни эти гости, ни студенты, не выносили съ лекціи ничего особенно вѣскаго, замѣчательнаго, кромѣ болѣе или менѣе красивыхъ фразъ, сквозь которыя видѣлась нагота мысли, содержанія. Сколько помню, одинъ годъ онъ читалъ теорію словесности, а другой — собственно исторію литературы.

Особенно много распространялся онъ объ ораторскомъ искусствѣ: Квинтиліанъ, Блэръ, Баттё не сходили у него съ языка. Но самому ему не далась ars oratoria; искры, feu sacré, у него не было, и мы тихонько позѣвывали отъ скуки.

О художественныхъ произведеніяхъ онъ передавалъ условную, ходячую оцѣнку ихъ, и когда останавливался на признанныхъ всѣми красотахъ—у него никогда не вырывалось горячаго слова его собственнаго сочувствія, даже когда приходилось ему приводить разныя мѣста, напримѣръ изъ Пушкина, тогда въ разгарѣ его дѣятельности и славы. Мы глубоко уважали и горячо цѣнили Каченовскаго, любили Надеждина, Шевырева, а Ивана Ивановича Давыдова почитали за ученаго и... вмѣстѣ ловкаго, практическаго человѣка, но симпатіи, повторяю, у насъ къ нему не было.

Ловкимъ и практическимъ человѣкомъ мы считали его потому, что онъ былъ въ большомъ ходу въ московскомъ обществѣ, занималъ, кромѣ профессорской, другія должности (кажется, директора сиротскаго холернаго института) и былъ въ большомъ фаворѣ у министра. Потомъ это подтвердилось: онъ перешелъ на службу въ Петербургъ, на должность директора педагогическаго института, нахваталъ чиновъ, звѣздъ, и достигъ званія сенатора.

Но и Иванъ Ивановичъ принесъ намъ значительную дозу пользы тѣмъ, что знакомилъ насъ также, какъ и Надеждинъ съ Шевыревымъ, съ исторіею философіи и потомъ упражнялъ въ русскомъ словѣ практически. Онъ поручалъ двумъ студентамъ по очереди составлять перечень каждой прочитанной имъ лекціи и потомъ разбиралъ при всѣхъ ихъ трудъ. Эти перечни и служили намъ записками для экзаменовъ. Здѣсь приходилось на нашу долю выслушивать не мало умныхъ и дѣльныхъ критическихъ замѣтокъ и полезныхъ совѣтовъ. Къ сожалѣнію, этотъ смотръ производился только одинъ разъ, а не всѣ три раза въ недѣлю на его лекціяхъ. Такіе практическіе уроки были бы намъ несравненно полезнѣе его разглагольствованій о Ломоносовѣ и Державинѣ, о Квинтиліанѣ и Баттё съ Блэромъ.

М. П. Погодинъ читалъ намъ всеобщую исторію и статистику—и то подъ конецъ, на третьемъ курсѣ. Собственно онъ принадлежалъ къ юридическому факультету, — гдѣ читалъ русскую исторію. Совѣтъ университета вдругъ какъ будто спохватился, что мы, словесники, остаемся безъ каѳедры всеобщей исторіи, и отрядилъ для этого дѣла Погодина. Онъ читалъ по Герену, скучно, безцвѣтно, монотонно и невнятно, но былъ очень щекотливъ, когда замѣчалъ въ комъ-нибудь невниманіе къ себѣ. Чуть кто-нибудь изъ слушателей шепнетъ сосѣду слово, спроситъ, который часъ, онъ—Богъ его знаетъ какъ—непремѣнно поймаетъ и обратится съ вопросомъ: «Г-нъ такой-то! позвольте спросить,

какое я послѣднее слово сейчасъ сказалъ?» — Вы изволили говорить о томъ, — начинаетъ тотъ заискивающимъ голосомъ, — какъ Валленштейнъ двинулся съ войскомъ... — «Нѣтъ, одно послѣднее слово скажите!» Тотъ, конечно, молчалъ, потому что не слыхалъ этого слова, и Погодинъ продолжалъ читать. Этого рода выговоры были среди скучной лекціи маленькимъ развлеченіемъ для всѣхъ — посмотрѣть въ лицо сконфуженнаго товарища.

У Михаила Петровича тоже, какъ и у Давыдова, было кое-что напускное, и въ характерѣ его, и въ его взглядѣ на науку. Мы чуяли, что у него внутри меньше пыла, нежели сколько онъ заявлялъ въ своихъ историческихъ—ученыхъ и патріотическихъ настроеніяхъ, что къ паѳосу онъ прибѣгалъ ради поддержанія тѣхъ или другихъ принциповъ, а не по импульсу искреннихъ увлеченій. Можетъ-быть, казалось мнѣ иногда, онъ про себя и раздѣлялъ какой-нибудь отрицательный взглядъ Каченовскаго и его школы на то или другое историческое событіе, но отстаивалъ послѣднее, если оно льстило патріотическому чувству, національному самолюбію, или касалось какой-нибудь народно-религіозной святыни и т. п. Помнится, онъ даже одну изъ своихъ лекцій въ этомъ смыслѣ назвалъ: «Перчатка Строеву и Каченовскому». Не знаю, подняли ли они эту перчатку? Словомъ, мы чувствовали, что онъ человѣкъ—себѣ на умѣ. Съ нами онъ былъ—и педантически-условно-ласковъ, и педантически-требователенъ.

Всѣ эти пятеро профессоровъ, — одни болѣе, другіе менѣе, — какъ я сказалъ, имѣли вмѣстѣ огромное вліяніе на наше развитіе и образованіе.

За то объ остальныхъ нельзя было сказать и десятой доли того же.

Впрочемъ, эти остальные были профессора: греческой словесности—С. М. Ивашковскій, латинской—И. М. Снегиревъ, оба извѣстные ученые и знатоки чужихъ и своихъ

древностей; потомъ лекторы французской и нѣмецкой литературъ—Декампъ и Кистеръ.

С. М. Ивашковскій, о которомъ я упоминалъ выше, былъ добродушнѣйшій старикъ, страстный любитель греческихъ классиковъ: между нами ходило мнѣніе, что онъ, да какой-то протоіерей Успенскаго собора, были первые эллинисты чуть ли не въ цѣломъ мірѣ. Ивашковскій въ теченіе многихъ десятилѣтій высидѣлъ свой греческій словарь; не знаю, высидѣлъ ли что-нибудь протоіерей.

Ивашковскій, углубившись на лекціи въ книгу, самъ какъ будто упражнялся вмѣсто насъ: онъ читалъ, перебивалъ студентовъ (все больше на удареніяхъ), что не такъ читаютъ, не такъ понимаютъ или переводятъ, какъ онъ, съ сердцемъ спѣшилъ досказывать самъ, и потому никогда не могъ отличить знающихъ по-гречески отъ незнающихъ. Мы замѣтили эту его черту и искусно умѣли ею пользоваться, выжидая, когда онъ самъ доскажетъ «мудреное мѣсто» и повторяли за нимъ. Онъ очень былъ доволенъ и ставилъ хорошіе баллы всѣмъ, т.-е. собственно самому себѣ.

У него была странная привычка — шпиговать свою русскую рѣчь словомъ «будетъ»—некстати, безъ всякой надобности. «Скажите — будетъ — мнѣ, какъ вы понимаете — будетъ—вотъ этотъ стихъ—будетъ—въ третьей пѣснѣ Иліады» и т. д.,—говорилъ онъ. Сначала насъ это забавляло, а потомъ мы привыкли, и для потѣхи приводили товарищей изъ другихъ факультетовъ послушать. Тѣ ушамъ не вѣрили и помирали со смѣху.

Мы лукаво пользовались еще его добродушіемъ, чтобы сокращать лекціи. Онъ любилъ съ кѣмъ-нибудь изъ близкоизвѣстныхъ ему студентовъ, ходя взадъ и впередъ по аудиторіи, побесѣдовать. Для этого и командировался чаще всего кто-нибудь изъ вышедшихъ изъ семинаріи и знавшихъ по-гречески студентовъ. И они похаживали вдвоемъ и бесѣдо-

вали, а мы всѣ бесѣдовали тихо про себя—иногда съ полчаса, такъ что на лекцію оставалось тоже полчаса.

Съ древностями греческими мы изъ его лекцій не вынесли никакого знакомства, кромѣ подробнѣйшихъ и скучнѣйшихъ описаній утвари, оружія и т. п., по какой-то, съ нѣмецкаго языка переведенной, прокисшей книгѣ—и заучивали для экзамена, потомъ забывали.

Никакой общей идеи, никакого рисунка древняго быта, никакого взгляда, синтеза, ничего не могъ намъ дать этотъ почтенный греческій книгоѣдъ; онъ давалъ одну букву, а духъ отсутствовалъ. За него сдѣлали это дѣло Надеждинъ и Шевыревъ.

И. М. Снегиревъ, профессоръ латинской словесности и древностей, былъ очень замѣчательною фигурой во многихъ отношеніяхъ. Вкрадчивый, тонкій, но въ то же время циничный, безцеремонный, съ нами добродушный — онъ разбиралъ римскихъ писателей — такъ себѣ, тоже съ одной только чисто-лингвистической стороны, мало знакомя насъ, какъ и Ивашковскій, съ духомъ и исторіею древнихъ. Кажется, ему до нихъ мало было дѣла, а намъ мало было дѣла до него. Онъ, какъ иногда казалось мнѣ, будто притворялся знатокомъ римскихъ древностей. Мы были другъ къ другу равнодушны и уживались съ нимъ очень хорошо. Онъ же иногда умѣлъ сдобривать лекціи остротами и анекдотами: балагурство было, кажется, господствующею чертою его характера. Онъ и въ обществѣ имѣлъ репутацію буфона и наживалъ себѣ однимъ этимъ, кромѣ разныхъ другихъ продѣлокъ, много враговъ. Онъ исподтишка мастеръ былъ посмѣяться надъ всякимъ, кто попадется подъ руку,— и, говорятъ, нерѣдко «лилъ свои пули» передъ митрополитомъ Филаретомъ, у котораго (и вообще у высшаго духовенства) онъ былъ принятъ на короткой ногѣ, благодаря болѣе всего своимъ познаніямъ въ русскихъ, особенно въ церковныхъ древностяхъ, которыя дались ему больше, чѣмъ римскія.

Забавно намъ было видѣть, какъ онъ однажды попался впросакъ, и какъ! на нашихъ глазахъ во время экзамена старался выпутаться изъ петли. Нѣкто студентъ З. написалъ какую-то брошюру о царѣ Горохѣ — я ее читалъ, но теперь забылъ даже точное заглавіе: помню только, что тамъ изображались въ карикатурѣ нѣкоторые профессора университета, и между прочимъ чопорный и важный П. И. Давыдовъ. Описывалась ихъ наружность, манера читать. Смотревъ былъ цензоромъ и пропустилъ брошюру, зная, конечно, очень хорошо, въ чемъ дѣло, и заранѣе наслаждаясь про себя эффектомъ брошюры. Брошюра дѣйствительно произвела эффектъ и смѣхъ. Она ходила по рукамъ. Профессоры возмущались, больше всѣхъ — онъ, le superbe Иванъ Ивановичъ, какъ можно его коснуться такое перо! Потерпѣть не автору-студенту, а цензору. Съ нимъ не говорили, отворачивались отъ него. Иванъ Ивановичъ положительно не зналъ, на чемъ остановиться, старался замѣсти хвостомъ свою шкуру, дѣлалъ извиненія — и напрасно! Мы видѣли все это и выражали профессорское негодованіе.

Давайте вмѣстѣ бранить бѣднаго le superbe. Это былъ замѣчательно сильный и умѣлый французъ старой школы, съ выдержанною манерою и большою выдержкою во всемъ и въ чемъ, съ изысканною, выдержанною французскою, и грубой, какъ палка. Онъ зналъ [illegible] что [illegible] [illegible] [illegible]

эти заповѣди французскихъ критиковъ, не освѣщая ничего своимъ собственнымъ впечатлѣніемъ и взглядомъ. Да едва ли у него и было и то, и другое. Всякое живое слово или движеніе вывело бы его, пожалуй, изъ позы буддійскаго идола и нарушило статуарное величіе его фигуры.

Говорятъ, онъ имѣлъ большой успѣхъ въ свѣтскихъ салонахъ—развѣ потому только, что онъ французъ, да за эту скульптурную величавость и за декламаціонный тонъ рѣчи.

Конечно, для студентовъ не безполезно было послушать часа три въ недѣлю такого краснобая — собственно для французскаго языка, не безполезно также, въ смыслѣ упражненія, и заучить его тетрадку съ перечнемъ именъ и сочиненій, написанную хорошимъ, правильнымъ языкомъ.

При этомъ не могу не вспомнить одного комическаго эпизода по поводу этихъ заучиваній. Для знавшихъ по-французски ничего не стоило заучить содержаніе тетрадки и пересказать его, не съ буквальною точностью, а своими словами. Другое дѣло для студентовъ изъ семинаристовъ: тѣ должны были выдолбить текстъ слово въ слово, буква въ букву. И вотъ на экзаменѣ, въ полномъ присутствіи факультетскаго начальства, декана и другихъ профессоровъ, одинъ студентъ изъ семинаристовъ вынулъ вопросъ, прочелъ его и отвѣчалъ, перемѣнивъ членъ въ одномъ словѣ la на le... Едва онъ произнесъ слово, какъ раздался гомерическій хохотъ—и профессоровъ, и студентовъ. Наконецъ, осклабился даже и самъ напыщенный Декампъ... И стоило смѣха: къ сожалѣнію, печатно слова, къ которому студентъ приставилъ членъ le, привести нельзя.

Еще полезнѣе было писать сочиненія на задаваемыя Декампомъ темы: онъ по очереди предлагалъ двѣ-три темы нѣсколькимъ студентамъ и потомъ, какъ Давыдовъ, разбиралъ на лекціи написанное.

Задавая, онъ всегда педантически назначалъ,—какъ, бывало, наши старые риторы задавали хріи, — и программу,

[illegible] Гектора съ Андромахой, или въ римской исторіи о какихъ-нибудь Грекахъ сказать тѣмъ, потомъ [illegible] и заключенія,—такъ что самое сочиненіе выходило у всѣхъ гладко, вполнѣ пространно. Но [illegible] и съ нѣмецкимъ такъ—[illegible] [illegible] [illegible] [

шлось прослушать послѣднее. Онъ читалъ скоро и много: въ часъ начитаетъ листовъ шесть писанныхъ и, кончая,— дастъ программу прочитаннаго. На слѣдующей лекціи онъ вызоветъ кого-нибудь пересказать прочитанное въ прошлый разъ. Этого боялись и прятались за спины товарищей, чтобъ онъ не вызвалъ. Отмѣткамъ его придавался особый вѣсъ. Получившій у него единицу не переводился на слѣдующій курсъ. Его подробныя, ученыя и сухія лекціи какъ-то мало вязались съ жизнью. Онѣ выучивались къ экзамену и потомъ забывались.

Таковъ былъ персоналъ нашихъ университетскихъ преподавателей.

Съ нимъ мы вступили на послѣдній университетскій 1833—1834 годъ: тогда курсъ для всѣхъ факультетовъ, кромѣ медицинскаго, былъ трехлѣтній. Для медиковъ полагалось четыре года.

Собственно золотымъ вѣкомъ нашей университетской республики можно назвать 1832—1833 годъ. Въ выпускномъ 1833—34 году на университетъ легла какая-то тѣнь. Въ университетѣ, сначала внѣ аудиторій, стала появляться новая личность. Это была статная, прямая фигура довольно большого роста, высоко державшая голову, въ вицмундирѣ, съ крестомъ на шеѣ. Увидя его, такъ и хотѣлось сдѣлать ему Плющкинскій вопросъ Чичикову: не служилъ ли онъ въ военной службѣ? Такъ онъ держалъ себя осанисто и гордо, точно въ строю. Можетъ-быть, онъ и служилъ тамъ. Мы узнали, что его зовутъ — Д. П. Голохвастовъ, что онъ назначенъ помощникомъ попечителя.

Онъ похаживалъ по обширнымъ дворамъ университета, какъ будто осматривая зданія. За нимъ, точно на пристяжкѣ, нѣсколько поодаль, слѣдовалъ чиновникъ въ мундирномъ сюртукѣ. Его называли смотрителемъ — чего? мы не знали и не любопытствовали знать, полагая, что это

лицо назначено для внѣшней части, можетъ-быть, по хозяйственной, или что-нибудь въ этомъ родѣ.

Но вскорѣ вслѣдъ за этимъ похаживаніемъ вокругъ да около, Голохвастовъ сталъ заглядывать и въ аудиторіи, садился, пока молча, около профессора, слушалъ лекціи и внушительно, начальственно поглядывалъ на насъ. Мы отвѣчали ему взглядами недоумѣнія.

Затѣмъ онъ сталъ вмѣшиваться въ лекціи, спрашивалъ студентовъ, причемъ посматривалъ на насъ нѣсколько надменно, и безъ всякихъ съ нашей стороны поводовъ, строго.

Что означаетъ сей сонъ? — спрашивали мы другъ друга и недоумѣвали. Мы, привыкшіе къ нашей республиканской свободѣ, не вѣдая никого, кромѣ по очереди смѣнявшихся на лекціяхъ профессоровъ, вдругъ почувствовали какое-то стѣсненіе, принужденность, — все остерегались: «вотъ-вотъ, войдетъ посторонній, совсѣмъ чужой университету господинъ, и станетъ приказывать, распоряжаться!»

Словомъ, мы почувствовали, что у насъ, ни съ того, ни съ сего, и безъ всякой, казалось намъ, надобности, явилось начальство, прямое, непосредственное начальство, не похожее на ректора, декана, которые завѣдывали учебною частью, и всего менѣе на ласковаго вельможу, князя С. М. Голицына.

Мы стали нѣсколько унывать, осматриваться и все наблюдали, нѣтъ ли по близости Голохвастова, съ надменнымъ и внушительно-строгимъ, безъ надобности, взглядомъ? Онъ же началъ позволять себѣ дѣлать кое-кому замѣчанія, выговоры, и въ то же время, какъ мы слышали, приглашалъ къ себѣ нѣкоторыхъ студентовъ, знакомыхъ съ иностранными литературами, особенно французской и англійской, которыя самъ будто бы зналъ основательно, бесѣдовалъ съ ними, давалъ книги изъ своей библіотеки. Словомъ, опекалъ насъ очень усердно и все болѣе и болѣе входилъ въ свою роль опекуна.

На выпускныхъ экзаменахъ онъ уже явился полнымъ хозяиномъ и распорядителемъ нашихъ судебъ. Онъ занялъ роль предсѣдателя въ комитетѣ экзаменаторовъ; деканъ при немъ стушевался. Онъ вмѣшивался въ вопросы, задавалъ свои, одобрялъ или порицалъ отвѣты, даже одного студента довольно грубо удалилъ изъ аудиторіи—и вмѣстѣ изъ университета—за какой-то неумѣлый или непочтительный отвѣтъ на его замѣчаніе.

Мы не знали, чѣмъ вызвано было назначеніе его. Можетъ-быть, не произошла ли какая-нибудь исторія между студентами, уже покинувшими университетъ, которая заставила начальство «подтянуть университеты вообще». Не къ тому ли времени относилась исторія съ Герценомъ и высылка его изъ Москвы—или другая—я не зналъ тогда, да и не знаю и теперь, или—если зналъ когда-нибудь, то забылъ совершенно. Объ этомъ могутъ лучше меня засвидѣтельствовать—и, можетъ-быть, уже и засвидѣтельствовали гдѣ-нибудь—мои тогдашніе университетскіе товарищи.

Наконецъ, университетъ пройденъ. Въ іюнѣ 1834 года, послѣ выпускныхъ экзаменовъ, мы всѣ, какъ птицы, разлетѣлись въ разныя стороны. Мы съ братомъ уѣхали домой, на Волгу, гдѣ я, проживъ около года, въ 1835 году переѣхалъ въ Петербургъ и остался тамъ навсегда.

Университетскій офиціальный курсъ кончился, но вліяніе университета продолжалось. Потерявъ изъ вида своихъ товарищей-словесниковъ, я не забывалъ профессоровъ и ихъ указаній.

Въ Петербургѣ, тщательно изучая иностранныя литературы, я уже регулировалъ свои занятія по тому методу и по тѣмъ указаніямъ, которые преподали намъ въ университетѣ наши вышеозначенные любимые профессора.

То же самое, конечно, болѣе и лучше меня, дѣлали современные мнѣ студенты: К. Аксаковъ, Станкевичъ, Бодянскій, Сергѣй Строевъ. Не называю ихъ товарищами,

потому что не были с ними знакомы. Я слыхал только тогда, что они составляли свою группу и занимали свои места в общинной аудитории, общались друг у друга, читали, делились мыслями—и едва ли не являлись в печати уже тогда.

Это, может-быть, покажется странным нынешним студентам, что мы, общаясь ежедневно в одной аудитории, могли быть друг с другом незнакомы. Это объясняется очень просто. Тогда студенты не составляли, как теперь, в аудитории и не были не в чем солидарны между собой, не имели никаких обязательных друг к другу отношений. Университет был просто правительственное учреждение, открывавшее свои двери для всех имеющих право. Мы собирались там, как собираются на публичные лекции, в первые и т. п.

Не было никакой связи с студентами: правительство помогало только, как было сказано, бедным студентам тем, что давало им квартиру и стол. Стипендий никаких не было. Студенты приходили на лекции и уходили, как посторонние друг другу лица. Никто не заботился о том, что тот или другой бывает дома, чем он живет, чем особенно занимается.

Поэтому у нас не было никаких сходок, никаких обедов в пользу неимущих студентов и, следовательно, никакой студенческой касы. Но студенты сближались на почве ближних между собой товарищей, иногда прежних учеников по школе или случайных знакомых, иногда просто на университетской скамье.

Я сначала сдружился с одним сверстником, строгим и достойным. В нем было [illegible] [illegible] студентов, [illegible] и мне другие молодые друзья. Это лучшие не сливались с моим [illegible]. Кто [illegible] или другой из другого. Нашелся [illegible] [illegible] членов из

* [illegible] в начале [illegible] [illegible].

собирались между собою, вмѣстѣ вели записки лекцій, вмѣстѣ читали книги, готовились къ экзаменамъ—и, конечно, часто вмѣстѣ проводили время внѣ университета.

Студенты были раскиданы по всей обширной Москвѣ, сходились — кто пѣшкомъ, кто въ экипажѣ — на лекціи. Ничто не отвлекало отъ занятій тѣхъ, кто хотѣлъ заниматься, потому что другихъ обязательныхъ занятій, кромѣ лекцій, не было. Никакихъ баловъ, концертовъ, спектаклей, въ пользу неимущихъ слушателей, не давалось; не было сходокъ, студенты не являлись въ роли устроителей и распорядителей означенныхъ увеселеній, также не несли на себѣ заботъ рѣшать вопросъ о пособіяхъ наиболѣе нуждающимся товарищамъ и завѣдывать кассами.

Все было патріархально и просто: ходили въ университетъ, какъ къ источнику за водой, запасались знаніемъ, кто какъ могъ — и, кончивъ свои годы, расходились. Не берусь рѣшать: было ли это лучше, или хуже нынѣшняго. Полагаю, есть своя хорошая и своя дурная сторона медали. Хорошая—та, что студентъ, какъ сказано, не отвлекался ничѣмъ постороннимъ отъ своихъ прямыхъ занятій, что особенно удобно было въ московскихъ уголкахъ и затишьяхъ, отдаленныхъ отъ всякаго шума и суеты. Дурная сторона медали—это равнодушіе къ товарищамъ, изъ которыхъ многіе очевидно боролись съ нуждой. Теперь, кажется, юношеству облегчены средства, не только къ прохожденію курса, но обезпечена поддержка и послѣ, когда не посчастливится кончившему курсъ вскорѣ пристроиться къ какому-нибудь дѣлу.

II.

НА РОДИНѢ.

Вступленіе. Помѣстивъ въ журналѣ статью *изъ университетскихъ воспоминаній* — я сталъ рыться въ своей памяти и въ домашнихъ бумагахъ съ цѣлію, не найду ли что-нибудь въ нихъ возможное для печати. Я захватилъ бумаги съ собой въ Усть-Нарву, на дачу, чтобъ на досугѣ посмотрѣть, нѣтъ ли въ нихъ еще какихъ-нибудь воспоминаній, замѣтокъ, напримѣръ о томъ, что̀ было дальше, что̀ я видѣлъ, что̀ я наблюдалъ и переживалъ по выходѣ изъ университета.

Разбирая бумаги, съ перомъ въ рукѣ, я кое-что отмѣчаю и заношу на бумагу.—«Для чего?» спрашивалъ я и еще спрашиваю теперь себя. Если бы я захотѣлъ похлестаковствовать, я бы сказалъ: «Допѣваю, молъ, на пустынномъ берегу свои лебединыя пѣсни». Но я ничего никогда не пѣлъ и не допѣваю: насмѣшники, чего добраго, разжаловали бы меня изъ лебедя въ какого-нибудь гуся; или спросили бы меня, можетъ-быть, не хочу ли я пріумножить свое значеніе въ литературѣ, внести что-нибудь новое, вѣское?— Это на старости-то лѣтъ? Куда ужъ мнѣ!

Причина, почему я вожу перомъ по бумагѣ, простая, прозаичная, а именно: отъ прогулокъ, морскихъ ваннъ, отъ обѣдовъ, завтраковъ, отъ бездѣйственнаго сидѣнья въ тѣни, на верандѣ, у меня все-таки остается утромъ часа три, которыхъ некуда дѣвать.

Здѣсь, въ Усть-Нарвѣ, живутъ тихо, уединенно, безмятежно. Дачи окружены гдѣ маленькими, гдѣ большими садами, такъ что дачникамъ неизвѣстно, какъ живутъ сосѣди. Дачники, если хотятъ, могутъ встрѣчаться другъ съ другомъ на музыкѣ, которая собираетъ около себя публику, или на морѣ во время купанья, или же на вечернихъ прогулкахъ на морскомъ берегу.

Я на музыку не хожу, въ открытомъ морѣ не купаюсь и встрѣчаюсь съ немногими знакомыми лишь вечеромъ на берегу, когда буйный вѣтеръ не рветъ шляпы съ головы и не бьетъ пескомъ въ лицо. Такимъ образомъ, дачники другъ съ другомъ не сталкиваются на каждомъ шагу, какъ, напримѣръ, около Риги и на другихъ людныхъ приморьяхъ, и другъ другу не мѣшаютъ.

Вотъ въ эти праздные три часа я завѣшиваюсь отъ солнца, въ защиту больныхъ глазъ, и роюсь въ бумагахъ, съ перомъ въ рукахъ. День за днемъ, мало-по-малу, у меня накопилась порядочная кучка писанныхъ листовъ.

Я задумываюсь, что̀ я стану съ ними дѣлать? Бросить жалко, не показавъ никому. Спрашиваю себя: что̀ это такое? и самъ не знаю. Это не мемуары какіе-нибудь [illegible] обыкновенно описываются историческія лица, событія [illegible] требуется строгая фактическая правда: у меня в[illegible] и около меня никакихъ историческихъ событій [illegible] было. Это и не плодъ только моей фантази[illegible] тутъ есть и правда, и, пожалуй, если хотит[illegible] Фонъ этихъ замѣтокъ, лица, сцены, больше[illegible] чески вѣрны съ натурой, а иныя взяты прям[illegible]. Кто-то вѣрно замѣтилъ, что археолог[illegible]

уцѣлѣвшимъ отъ зданія воротамъ, обломку колонны, дорисовываетъ и самое зданіе, въ стилѣ этихъ воротъ или колонны. И у меня тоже, по одной какой-нибудь выдающейся чертѣ въ характерѣ той или другой личности, или событія, фантазія старается угадывать и дорисовывать остальное Слѣдовательно, напрасно было бы отыскивать въ моихъ лицахъ и событіяхъ то или другое происшествіе, то или другое лицо, къ чему читатели бываютъ наклонны вообще, и при этомъ рѣдко попадаютъ на правду. Всегда больше ошибаются.

Пробѣгая теперь эти мои мелкіе провинціальные наброски стараго времени, я могу выразиться такъ, что все описываемое въ нихъ не столько *было*, сколько *бывало*. Другими словами, я желалъ бы, чтобы въ нихъ искали не голой правды, а *правдоподія*, и буду доволенъ, если таковое найдется. Меня кто-то уже въ печати укорялъ въ привычкѣ обобщать мои лица: это, помнится, было замѣчено съ нѣкоторой ироніей, а между тѣмъ выходитъ какъ-будто комплиментъ. Вѣдь обобщеніе ведетъ къ типичности, а обобщеніе у меня не привычка—а натура...

При свиданіи я покажу друзьямъ эти листки, а они пусть рѣшатъ, безъ всякихъ натяжекъ и безъ всякаго, конечно, лицепріятія—годятся ли они на что-нибудь.

А теперь пока—«еще одно послѣднее сказанье»... Скоро надо убираться съ здѣшняго берега: по вечерамъ становится темно и свѣжо.

Усть-Нарва.
11-го августа 1887 г.

I.

Итакъ, конченъ учебный курсъ: теперь остается, по пословицѣ, пожинать «сладкіе плоды горькихъ корней ученья». Я—свободный гражданинъ міра, передо мной открыты всѣ пути, и между ними первый путь — на родину, домой, къ своимъ.

Я и началъ съ этого пути, который оказался не совсѣмъ легкимъ и удобнымъ. Отъ Москвы до моей родины считается слишкомъ семьсотъ верстъ. На почтовыхъ перемѣнныхъ лошадяхъ, на перекладной телѣжкѣ, это стоило бы рублей полтораста ассигнаціями (полвѣка назадъ иначе не считали) и потребовало бы дней пять времени.

Заглянувъ въ свой карманъ, я нашелъ, что этой суммы не хватаетъ. Изъ присланныхъ изъ дома денегъ много ушло на новое платье у «лучшаго портного», бѣлье и прочія вещи. Хотѣлось явиться въ провинцію столичнымъ франтомъ.

Ѣхать «на долгихъ», съ какимъ-нибудь возвращающимся изъ Москвы на Волгу порежнимъ ямщикомъ, значило бы вытерпѣть одиннадцатидневную пытку. Я и терпѣлъ ее прежде, когда еще мальчикомъ ѣзжалъ съ братомъ на каникулы.

Современный путешественникъ не повѣритъ: одиннадцать дней ухлопать на семьсотъ верстъ! Американская поговорка: «Time is money»—до насъ не доходила.

Желѣзныхъ и другихъ быстрыхъ сообщеній, въ родѣ malleposte, не существовало—и я задумывался, какъ быть.

Мнѣ сказали, что есть какой-то дилижансъ до Казани, а оттуда-де рукой подать до моей родины.

Газетныхъ и никакихъ печатныхъ объявленій не было: я узналъ отъ кого-то случайно объ этомъ сообщеніи, и поспѣшилъ по данному адресу въ контору дилижанса, въ дальнюю отъ меня улицу. Конторы никакой не оказалось. На большомъ пустомъ дворѣ стояло нѣсколько простыхъ, обитыхъ рогожей кибитокъ и одна большая бричка на двухъ длинныхъ дрогахъ вмѣсто рессоръ.

— Гдѣ же дилижансъ? — спросилъ я мужика, подмазывавшаго колеса одной кибитки.

— Какой дилижансъ, куда? — спросилъ онъ въ свою очередь

— Въ Казань.

— А вотъ этотъ самый! — указалъ онъ на большую бричку.

— Какой же это дилижансъ: тутъ едва трое помѣстится! — возражалъ я.

— По-трое и ѣздятъ, а четвертый рядомъ съ кучеромъ... Спросите приказчика: вонъ онъ въ окно глядитъ! — прибавилъ онъ, указывая на маленькій деревянный домикъ, въ родѣ избы.

Я вошелъ въ комнату.

— Я желалъ бы ѣхать въ дилижансѣ въ Казань, — сказалъ я приказчику.

— Можно, — лѣниво отвѣчалъ онъ, доставая съ полки тетрадь.

— А когда ходитъ дилижансъ?

— Неизвѣстно: дня опредѣлить не можемъ.

— Какъ такъ: дилижансы ходятъ вездѣ въ назначенные дни!

— Нѣтъ, у насъ когда наберется четверо пробажихъ, тогда и пущаемъ. Одна барышня уже записалась: вы, если желаете, запишетесь — какъ только двоихъ еще подождемъ, или по милости хоть одного.

Я и полову опустилъ.

— Вы навѣдывайтесь: можетъ-быть, и скоро тронемся! — утѣшалъ онъ меня: — въ эту пору, на лѣто, много народу ѣдетъ изъ Москвы.

Такъ какъ мнѣ время особенно дорого не было, то я и записался. На мое счастье, не прошло и трехъ дней, какъ нашелся третій попутчикъ, и мы тронулись. Тѣсно втроемъ въ бричкѣ четвертаго спутника не было. Багажъ уложенъ былъ частью на дрогахъ сзади, частью на верху брички.

И это четырехдневное путешествіе было не хуже прочихъ. Погода стояла чудная, дѣльная. Лошади шли въ галоп-

вой рысью, отмахиваясь хвостами отъ оводовъ. Насъ на первыхъ же порахъ покрыла густая пыль, вздымаемая нашимъ «дилижансомъ» и другими встрѣчными и обгонявшими насъ бричками и телѣгами.

Намъ троимъ сидѣть было тѣсно. Я скромно жался въ свой уголъ, опираясь на локоть. Другую руку, и отчасти ногу, я выставлялъ наружу, чтобы дать больше простора пассажиркѣ. Она старалась завоевать себѣ побольше мѣста, безпрестанно просила не упираться сапогами въ стоявшую въ ногахъ картонку со шляпкой. Въ головахъ, за подушками, у ней помѣщался какой-то коробокъ—кажется, съ провизіей.

Третій пассажиръ, купецъ, возвращавшійся изъ Москвы, не сдавался, сидѣлъ не бокомъ, а прямо, и занималъ одинъ почти половину брички.

Отъ этой тѣсноты мы въ первый же день возненавидѣли другъ друга, глядѣли въ разныя стороны и не говорили между собой.

— Подвиньтесь, вы мнѣ на ногу «шѣли» (вмѣсто «сѣли»)!—шепелявила барынька.

— Куда прикажете подвинуться? Радъ бы выкинуть ноги на дорогу, да боюсь, подберетъ кто-нибудь, послѣ не найдешь!—острилъ купецъ.

— Охъ!—стонала она и отъ жара, и отъ тѣсноты.

Я улыбался въ сторону.

Барынька ѣхала на уральскіе заводы какой-то смотрительницей, чего—не знаю,—и все охала о предстоящемъ ей еще впереди длинномъ пути. Она боялась разбойниковъ и грозы, или «грожи», по ея выговору.

На ея бѣду, на третьи сутки, вдругъ по дорогѣ понесся намъ навстрѣчу столпъ пыли, крутя и вертя все по пути: налетѣлъ и на насъ. Сталъ брызгать дождь.

— «Шлава» Богу, что «бежъ грожи»!—сказала барынька, крестясь. Но въ ту же минуту блеснула молнія, и вслѣдъ за нею раздался ужасный громовой ударъ.

— Ахъ!—простонала наша спутница, крестясь вторично. Кстати посмотрѣть на нее, что она, а я отвернулся и вглядѣлся въ пространство. Ничего не видно и вечерело. Вечерело и сильно стало сидѣть ночь.

По дѣламъ у насъ спутник [illegible] и спутникъ [illegible] на нашъ [illegible]. Въ первый же [illegible] [illegible] [illegible]. На второй [illegible] [illegible] [illegible] и третій и четвертый [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Приѣзжая въ Казань, мы говорили уже не своими голосами, и не безъ удовольствія разставались [illegible] другъ другу [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [

рило; особенно это чувствовалось послѣ ванны, взятой въ Казани.

Въ полдень не стало мочи терпѣть: куда бы нибудь да укрыться! Наконецъ пріѣхали въ какой-то городишко—если не ошибаюсь, въ Буинскъ, гдѣ надо было мѣнять лошадей. Ямщикъ подвезъ меня было къ станціонной избушкѣ, безъ двора, безъ сѣней, которую со всѣхъ сторонъ пожирали солнечные лучи.

— Поставь меня съ телѣгой куда-нибудь въ тѣнь!—просилъ я ямщика:—тутъ сгоришь!

Онъ ввезъ меня подъ навѣсъ постоялаго двора напротивъ станціи. Я чуть не обнялъ благодѣтеля. Такъ отраденъ мнѣ былъ навѣсъ двора, даже съ запахомъ навоза.

Я сидѣлъ еще въ телѣжкѣ, одурѣлый отъ жара, томимый не столько голодомъ, сколько жаждой. Не прошло и десяти минутъ, какъ на дворъ вбѣжалъ впопыхахъ маленькій человѣчекъ, въ военной или полицейской форменной фуражкѣ и сюртукѣ.

— Козловъ! Козловъ! Гдѣ ты, поддецъ?—кричалъ онъ сердито на весь дворъ. Изъ дома, по деревянной, крытой лѣстницѣ, на этотъ голосъ, проворно сбѣжалъ мужикъ въ красной рубашкѣ, съ большимъ ключомъ на поясѣ.

— Здѣсь, ваше высокоблагородіе, здѣсь!—торопливо отозвался онъ.

— Къ тебѣ въѣхалъ пріѣзжій,—съ гнѣвомъ продолжалъ офицеръ:—а ты и ухомъ не ведешь, не даешь знать въ полицію! а? Ты знаешь, какъ строго приказано?

— Да они на почтовыхъ ѣдутъ: ко мнѣ только сейчасъ подъ навѣсъ стали...

— Врешь, врешь, подлецъ! Ямщикъ сказывалъ, что проѣзжій обѣдать здѣсь будетъ! Первымъ твоимъ дѣломъ, подлецъ, потребовать отъ проѣзжаго видъ и представить въ полицію.

Онъ сталъ грозить пальцемъ. Я сошелъ съ телѣги, вы-

[illegible]

— [illegible] — [illegible] — [illegible]

[illegible]

— [illegible]

[illegible]

— [illegible]

— [illegible] — [illegible]

— [illegible]

[illegible]

— [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

же грома. Мы ѣхали между двухъ стѣнъ сплошного лѣса. Узкая полоса дороги, отъ ливня, часа черезъ два образовала корыто мягкаго тѣста изъ чернозема. Лошади вязли по колѣно и едва вытаскивали ноги. Рысь смѣнилась шагомъ, который становился все медленнѣе. Отъ блеска лошади вздрагивали и останавливались, какъ одурѣлыя.

У ямщика оказались двѣ рогожи: въ одну онъ завернулся, какъ барыня въ шаль, а другую далъ мнѣ. Я прикрылъ ею не себя, а чемоданъ, чтобы дождь не подмочилъ мои московскія обновки. А самъ отдалъ на жертву дождю свою «непромокаемую», но промокавшую камлотовую шинель и университетскій поношенный сюртукъ съ малиновымъ воротникомъ, теперь мнѣ уже не нужный.

Мы еще съ часъ или полтора шлепали по дорогѣ, ожидая, что гроза стихнетъ. Но лошади останавливались все чаще и чаще, а гроза не только не унималась, а еще будто разыгрывалась сильнѣе.

— Баринъ! Надо заѣхать переждать, — предложилъ ямщикъ:—кони, того-гляди, станутъ совсѣмъ, ничего съ ними не подѣлаешь: вò, какъ боятся!

— Куда же заѣхать?

— А вотъ туточка, сичасъ у дороги, татарская деревушка будетъ: туда и заѣдемъ. Переждемъ малость! Который часъ таперича?

— Полночь!—сказалъ я:—ну, заѣзжай! Да какъ ты проѣдешь? тутъ все широкая канава вдоль дороги идетъ.

— Тамъ есть мостикъ, соломенный онъ: кабы въ темень, такъ, пожалуй, провалишься въ канаву — онъ хворостомъ крыть, да сверху соломки накидано: только слава, что мостъ! А таперича, молонье-то вонъ какое (ухъ! какъ «жгётъ!»): свѣтло, переберемся какъ-нибудь.

Мы такъ и сдѣлали, перебрались. Ямщикъ чуть не въ самыя окна одной избушки всадилъ оглобли. Онъ сталъ стучать кнутомъ въ окна и въ ворота. Долго никто не от-

зывался, хотя при блескѣ молніи мы видѣли въ окнахъ людей. — Отоприте, отворите! — кричали мы, какъ Ваня въ «Жизни за Царя».

Послѣ нѣкоторыхъ переговоровъ о томъ, кто мы и что намъ нужно, насъ впустили въ избу, внесли туда же мой чемоданъ, подушку, саквояжъ, а телѣгу и лошадей укрыли подъ навѣсъ. Въ избѣ оказалось человѣкъ пять рослыхъ татаръ.

— Отчего такъ долго не пускали?—спросилъ я.

— Боялись!—говорятъ.

— Чего?

— А не знаемъ, бачка, какіе люди стучатъ. Вчера ночью воры пришли, стучали, много стучали: мы не пустили и сами спрятались.

— Васъ тутъ пятеро—и боялись! Почемъ вы знали, что вчера воры были?

— Мы знаемъ ихъ, бачка: знакомые!

Когда зажгли огонь, я хотѣлъ лечь на лавку, но сейчасъ же увидѣлъ, что это невозможно. Лавки, столъ и отчасти стѣны, все будто шевелилось отъ сплошной массы тараканов. На лавку даже нельзя было сѣсть — она была точно живая.

Да и напрасна была затѣя уснуть. Вся избушка тряслась отъ раскатовъ грома. Наружи дождь шумѣлъ, какъ водопадъ. Оттого и татары всѣ были на ногахъ, не спали. Увидя у нихъ большой самоваръ, я велѣлъ поставить, досталъ дорожный запасъ и сталъ пить чай. Такъ прошло время до разсвѣта. Около пяти часовъ утра, мы пустились въ путь—гроза еще не кончилась совсѣмъ. Туча удалялась впередъ отъ насъ, а сзади великолѣпно блистало солнце. Впереди видно было, какъ молнія, теперь, при солнцѣ, уже безъ блеска, падала бѣлыми зигзагами на нивы, до насъ доходили слабые удары грома. Другую такую грозу, повторяю, продолжительную и жестокую, я помню, видѣлъ только

въ Японіи, когда мы съ фрегатомъ стояли на Нагасакскомъ рейдѣ.

Не знаю, что̀ стало бы съ моей спутницей-барынькой, въ такую «грозу».

Послѣ грозы, казалось бы, воздухъ долженъ освѣжиться, но, противъ обыкновенія, онъ точно накалился—и остальную сотню верстъ я добирался почти безъ сознанія, точно спалъ, пріѣхалъ домой въ видѣ каленаго орѣха и только дня черезъ два принялъ свой обыкновенный видъ.

II.

Меня охватило, какъ паромъ, домашнее баловство. Многіе изъ читателей, конечно, испытывали сладость возвращенія, послѣ долгой разлуки, къ роднымъ, и поймутъ, что я на первыхъ порахъ весь отдался сладкой нѣгѣ ухода, внимательности. Домашніе не даютъ пожелать чего-нибудь: все давно готово, предусмотрѣно. Кромѣ семьи, старые слуги, съ нянькой во главѣ, смотрятъ въ глаза, припоминаютъ мои вкусы, привычки, гдѣ стоялъ мой письменный столъ, на какомъ креслѣ я всегда сидѣлъ, какъ постлать мнѣ постель. Поваръ припоминаетъ мои любимыя блюда — и всѣ не наглядятся на меня.

Домъ у насъ былъ, что называется, полная чаша, какъ впрочемъ было почти у всѣхъ семейныхъ людей въ провинціи, не имѣвшихъ по близости деревни. Большой дворъ, даже два двора, со многими постройками: людскими, конюшнями, хлѣвами, сараями, амбарами, птичникомъ и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры и утки — все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разнаго пшена и всяческой провизіи для продовольствія нашего и обширной дворни. Словомъ, цѣлое имѣніе, деревня.

Кромѣ нашей семьи, т.-е. моей матери, сестеръ и брата, оставшагося въ Москвѣ въ университетѣ, по болѣзни, еще

на годъ, у насъ въ домѣ проживалъ одинъ отставной моякъ. Назову его Якубовъ. Выйдя въ отставку, онъ пріѣхалъ въ свою деревню, или деревни: у него ихъ было двѣ, съ тремя стами душъ крестьянъ въ обѣихъ, верстахъ въ полутораста отъ города. Но одинокому холостяку вскорѣ наскучило тамъ: сельскаго хозяйства онъ не понималъ и не любилъ, и онъ переселился въ губернскій городъ.

Губернскіе города, подальше отъ столицы, были, до желѣзныхъ дорогъ, оживленными центрами общественной жизни. Помѣщики съ семействами, по дальнему разстоянію отъ Москвы, проводили зиму въ своемъ губернскомъ городѣ. Наша губернія особенно славилась образованнымъ обществомъ, развитыхъ и богатыхъ дворянъ.

Якубовъ случайно замѣтилъ красивый, свѣтлый и уютный деревянный флигель при нашемъ довольно большомъ каменномъ домѣ, выходившемъ на три улицы — и нанялъ его, не предвидя, что проживетъ въ немъ почти полвѣка и тамъ умретъ.

Якубовъ былъ крестнымъ отцомъ насъ четверыхъ дѣтей. По смерти нашего отца онъ болѣе и болѣе привыкалъ къ нашей семьѣ, все болѣе принялъ участіе въ нашемъ воспитаніи. Это занимало его, наполняло его жизнь. Добрый моякъ окружилъ себя нами, принялъ насъ подъ свое крыло, а мы привязались къ нему всѣми сердцами, забыли о настоящемъ отцѣ. Онъ былъ другомъ и кормильцемъ нашей матери и руководителемъ нашего воспитанія.

Якубовъ былъ вполнѣ [illegible] человѣкомъ. Образованіе его [illegible] въ [illegible] лѣтъ [illegible] въ морскомъ [illegible] въ морскомъ корпусѣ. Онъ [illegible] безпрестаннымъ чтеніемъ — [illegible] всѣмъ частямъ знанія, но [illegible] журналы [illegible]. Какъ [illegible] объявленіе о [illegible] журналъ, [illegible] интересовъ, [illegible] въ столицу. Ро-

мановъ и вообще беллетристики онъ не читалъ и зналъ всѣхъ тогдашнихъ крупныхъ представителей литературы больше по наслышкѣ. Выписывалъ онъ книги историческаго, политическаго содержанія и газеты.

По смерти нашего отца, состарѣвшись, онъ изъ флигеля перешелъ въ большой каменный домъ и занялъ половину его.

Якубовъ сталъ совершеннымъ семьяниномъ у насъ, сдѣлался хотя и faux père de famille, но своею привязанностью къ намъ, умными совѣтами, заботливымъ руководствомъ нашего воспитанія и образованія, превосходилъ и родного отца.

Это не рѣдко бываетъ. Добровольно взятое на себя иго— уже не иго: оно легче и охотнѣе переносится, особенно когда подкладкой ему служитъ симпатія. Мы всегда охотнѣе даемъ то, чего отъ насъ не требуютъ и чего мы не обязаны давать. Въ этомъ и весь секретъ.

Мать наша, благодарная ему за трудную часть взятыхъ на себя заботъ о нашемъ воспитаніи, взяла на себя всѣ заботы о его житьѣ-бытьѣ, о хозяйствѣ. Его дворня, повара, кучера слились съ нашей дворней, подъ ея управленіемъ—и мы жили однимъ общимъ домомъ. Вся матеріальная часть пала на долю матери, отличной, опытной, строгой хозяйки. Интеллектуальныя заботы достались ему

Я останавливаюсь на этомъ старикѣ, потому что онъ заслуживаетъ вниманія, не только какъ представитель своего времени вообще, но и какъ человѣкъ въ особенности.

Мать любила насъ не тою сентиментальною, животною любовью, которая изливается въ горячихъ ласкахъ, въ слабомъ потворствѣ и угодливости дѣтскимъ капризамъ, и которая портитъ дѣтей. Она умно любила, слѣдя неослабно за каждымъ нашимъ шагомъ, и съ строгою справедливостью распредѣляла поровну свою симпатію между всѣми нами четырьмя дѣтьми. Она была взыскательна и не пропускала

безъ наказанія или замѣчанія ни одной шалости, особенно если въ шалости крылось зерно будущаго порока. Она была неумолима.

Зато Петръ Андреевичъ Якубовъ, заступившій намъ мѣсто отца, былъ отецъ-баловникъ. Это имѣло ту хорошую сторону, что смягчало строгую систему материнскаго надъ нами контроля. Баловство — не до глупой слабости, не до излишества — также необходимо въ дѣтскомъ воспитаніи. Оно порождаетъ въ дѣтскихъ сердцахъ благодарность и другія добрыя, нѣжныя чувства. Это своего рода практика въ сферѣ любви, добра. Сердце, какъ и умъ, требуетъ развитія.

Бывало, нашалишь что-нибудь: влѣзешь на крышу, на дерево, увяжешься за уличными мальчишками въ сосѣдній садъ, или съ братомъ заберешься на колокольню — онъ узнаетъ и пошлетъ человѣка привести шалуна къ себѣ. Вотъ тутъ-то и спасаешься въ благодѣтельный флигель, къ «крестному». Онъ ужъ знаетъ, въ чемъ дѣло. Является человѣкъ или горничная, съ зовомъ: — Пожалуйте къ маменькѣ! — «Пошелъ», или «пошла вонъ!» — лаконически командуетъ морякъ. Гнѣвъ матери между тѣмъ утихаетъ — и дѣло ограничивается выговоромъ, вмѣсто дранья ушей и стоянія на колѣняхъ, что̀ было въ наше время весьма распространеннымъ средствомъ смирять и обращать шалуновъ на путь правый.

У Якубова былъ отличный поваръ и кромѣ того особый кондитеръ. Иногда онъ оставлялъ насъ обѣдать, и тутъ ужъ всякому кормленію и баловству не было конца. Былъ у него, между прочимъ, особый шкапчикъ, полный сластей — собственно для насъ.

Со мной онъ, ежедневно катаясь по городу для воздуха, заѣзжалъ еще въ разныя лавки и накупалъ также сластей, игрушекъ и всякихъ пустяковъ, нужды нѣтъ, что дома всего этого было вдоволь и давалось намъ регулярно. Мать обы-

новенно отбирала всѣ эти гостинцы, если мы не успѣвали потребить ихъ, и воевала съ баловникомъ.

Если онъ самъ не купитъ, то дастъ мелкихъ денегъ, чтобы мы распорядились, какъ хотимъ. И это отбиралось отъ насъ, а если мать не замѣчала, мы накупали всякой дряни: бобовъ, стручковъ, моченой груши и тому подобныхъ, строго запрещенныхъ намъ, уличныхъ лакомствъ, и втихомолку съѣдали. Выдаваемыя ежедневно по порціямъ сласти насъ не удовлетворяли: слаще всякаго варенья казался излишекъ, да еще запретный.

Курьезно, что когда я пріѣхалъ по окончаніи университетскаго курса, онъ не успѣлъ поздороваться, велѣлъ заложить «тарантасъ» (въ родѣ длинной линейки съ подножкой), какъ всегда дѣлалъ, когда я пріѣзжалъ на каникулы мальчикомъ, и повезъ-было, попрежнему, въ кондитерскія и другія лавки со сластями. Я засмѣялся, и онъ тоже, когда я спросилъ, гдѣ продается лучшій табакъ.

Изъ всѣхъ насъ четверыхъ я былъ самымъ близкимъ сопутникомъ и собесѣдникомъ моряка. Братъ, старше меня года на три, былъ бойкимъ, до нельзя шаловливымъ гимназистомъ, и эмансипировался отъ домашняго режима.

III.

Петръ Андреевичъ, или «крестный», какъ мы и всѣ въ домѣ звали Якубова, учился въ Петербургѣ, въ морскомъ кадетскомъ корпусѣ, и въ царствованіе Екатерины выпущенъ во флотъ, въ морскую артиллерію. — Намъ велѣли представиться Потемкину,—разсказывалъ онъ мнѣ:—мы всѣ безусые, безбородые, 18-ти или 19-ти-лѣтніе мальчики, въ новенькихъ офицерскихъ мундирахъ, явились къ нему во дворецъ. Въ залѣ много ждало важныхъ лицъ: ихъ звали по очереди къ нему. Наконецъ дошло до насъ. Насъ ввели въ кабинетъ и вытянули въ шеренгу у дверей. Потемкинъ лежалъ на диванѣ: около него сидѣли на креслахъ и стояли

нѣсколько лицъ. Онъ посмотрѣлъ на насъ пристально и обратился къ присутствующимъ: — «Каковы! — сказалъ онъ гнусливо, кивая на насъ: — вотъ съ какими поросятами я долженъ служить!»—Онъ усмѣхнулся и другіе тоже, потомъ махнулъ намъ рукой, чтобы шли вонъ.

Якубовъ участвовалъ въ кампаніи противъ французовъ. Суворовъ пожиналъ лавры на сушѣ, переходилъ Альпы, а флотъ нашъ блокировалъ Италію съ моря.

Теперь не помню, долго ли служилъ Якубовъ во флотѣ и когда онъ вышелъ въ отставку. Знаю только, что онъ пріѣхалъ на Волгу, въ свое имѣніе, въ чинѣ капитанъ-лейтенанта, съ владимірскимъ крестомъ, и, поселившись въ губернскомъ городѣ, спустя нѣкоторое время, вступилъ въ гражданскую службу совѣтникомъ, кажется, губернскаго правленія. Я сталъ знать, помнить и любить его съ семилѣтняго возраста, а это было въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Онъ уже былъ въ чистой отставкѣ.

Когда Якубовъ явился въ провинцію, онъ былъ еще не старымъ человѣкомъ. Онъ сблизился съ тогдашнимъ дворянскимъ кругомъ и рѣшительно завоевалъ себѣ общую симпатію и уваженіе. Это былъ чистый самородокъ честности, чести, благородства и той прямоты души, которою славятся моряки, и притомъ съ добрымъ, теплымъ сердцемъ. Все это хорошо выражается англійскимъ словомъ «джентльменъ», котораго тогда еще не было въ русскомъ словарѣ. Въ обращеніи онъ былъ необыкновенно привѣтливъ, а съ дамами до чопорности вѣжливъ и любезенъ.

Онъ былъ вездѣ принятъ съ распростертыми объятіями, его ласкали, не давали быть одному. И у себя онъ давалъ часто обѣды, ужины, на которыхъ нерѣдко присутствовали и дамы. Я помню, хотя былъ еще маленькій, какъ у него было шумно, весело, какъ изъ флигеля разносились по двору громкіе голоса, какъ прыгали пробки въ потолокъ. Когда забѣжишь во флигель — а забѣжишь всегда, когда

были гости — послѣдніе наперерывъ ласкаютъ, накормятъ пирожнымъ, мороженымъ, дадутъ шампанскаго, словомъ, избалуютъ до-нельзя.

Такъ продолжалось, должно быть, лѣтъ десять, т.-е. такое свѣтское, широкое и гостепріимное житье-бытье. У него даже былъ свой романъ. Онъ влюбился въ одну молодую, красивую собой графиню. Объ этомъ онъ мнѣ разсказалъ уже послѣ, когда я пришелъ въ возрастъ, но не сказалъ: раздѣляла ли она его склонность. Онъ говоритъ только, что у него явился соперникъ, нѣкто богатый, молодой помѣщикъ Ростинъ. Якубовъ стушевался, уступилъ.

— Отчего же вы не искали ея руки? — спросилъ я, недовольный такой прозаической развязкой.

— Оттого, мой другъ, что онъ могъ устроить ея судьбу лучше, нежели я. У меня какихъ-нибудь триста душонокъ, а у него двѣ тысячи. Такъ и вышло. Я самъ желалъ этого. Оба они счастливы, и слава Богу! — Онъ подавлялъ легкій вздохъ.

И дѣйствительно такъ было. Я зналъ эту графиню, бывалъ у Ростина, жившаго гостепріимно и открыто, въ его недалекой отъ города деревнѣ. Въ то время, когда онъ мнѣ это разсказывалъ, графиня была уже пожилая женщина, но все еще со слѣдами красоты, мать взрослыхъ дѣтей. Якубовъ говорилъ съ ней и о ней не иначе, какъ съ нѣжною почтительностью — и былъ искреннимъ другомъ ея мужа и всей семьи.

Потомъ я не знаю, какъ онъ жилъ до своей старости. Съ 1822 года меня отвезли учиться въ Москву. Лѣтомъ на короткое время я пріѣзжалъ, и потомъ изъ университета, на каникулы домой и находилъ все того же ласковаго, безмѣрно добраго отца и друга. Онъ постепенно старѣлъ, а мы съ братомъ являлись домой уже юношами. Ласки, баловство, подарки — такъ и лились на насъ до смѣшного. Живи онъ до сихъ поръ, я думаю онъ и теперь повезъ бы меня въ кондитерскую покупать конфеты.

Но по мѣрѣ того, какъ онъ старѣлъ, а я приходилъ въ возрастъ, между мной и имъ установилась—съ его стороны передача, а съ моей—живая воспріимчивость его серьезныхъ техническихъ познаній въ чистой и прикладной математикѣ. Особенно ясны и неоцѣненны были для меня его бесѣды о математической и физической географіи, астрономіи, вообще космогоніи, потомъ навигаціи. Онъ познакомилъ меня съ картой звѣзднаго неба, наглядно объяснялъ движеніе планетъ, вращеніе земли, все то, чего не умѣли или не хотѣли сдѣлать мои школьные наставники. Я увидѣлъ ясно, что они были дѣти передъ нимъ въ этихъ техническихъ, преподанныхъ мнѣ имъ урокахъ. У него были нѣкоторые морскіе инструменты, телескопъ, секстантъ, хронометръ. Между книгами у него оказались путешествія всѣхъ кругосвѣтныхъ плавателей, съ Кука до послѣднихъ временъ.

Я жадно поглощалъ его разсказы и зачитывался путешествіями. «Ахъ, если бы ты сдѣлалъ хоть четыре морскія кампаніи (морскою кампаніею считается каждые полгода, проведенные въ морѣ), то-то бы порадовалъ меня!» — говаривалъ онъ часто въ заключеніе нашихъ бесѣдъ. Я задумывался въ отвѣтъ на это: меня тогда уже тянуло къ морю, или по крайней мѣрѣ къ водѣ. Если бы онъ предвидѣлъ, что современемъ я сдѣлаю пять кампаній—да еще кругомъ свѣта!

Поддаваясь мистицизму, можно, пожалуй, подумать, что не одинъ случай только далъ мнѣ такого наставника — для будущаго моего дальняго странствія. Впрочемъ, помимо этого, меня нерѣдко манили куда-то вдаль широкіе разливы Волги, со множествомъ плавающихъ, какъ лебеди, бѣлыхъ парусовъ. Я цѣлые часы мечтательно, еще ребенкомъ, вглядывался въ эту широкую пелену водъ.

И по пріѣздѣ въ Петербургъ, во мнѣ уживалась страсть къ водѣ. Разсказы ли «крестнаго», вмѣстѣ съ прочитан-

ными путешествіями, или широкое раздолье волжскихъ водъ, не знаю что, но только страстишка къ морю жила у меня въ душѣ. Гуляя по Васильевскому Острову, я съ наслажденіемъ заглядывался на иностранныя суда и нюхалъ запахъ смолы и пеньковыхъ канатовъ. Я прежде всего поспѣшилъ, по пріѣздѣ въ Петербургъ, посѣтить Кронштадтъ и осмотрѣть тамъ море и все морское.

Якубовъ происходилъ отъ старой дворянской фамиліи, но онъ былъ аристократъ, баринъ — больше въ душѣ. Старые дворянскіе роды онъ ставилъ высоко, къ другимъ сословіямъ относился только снисходительно.

— Здравствуй, старина! — говорилъ онъ попросту, въ отвѣтъ на почтительный поклонъ какого-нибудь купца, или:— здравствуйте, отецъ!—привѣтствовалъ онъ священника. Напротивъ, съ людьми своего круга, онъ, при встрѣчѣ на улицѣ, здоровался, съ близко знакомыми фамильярно, дружески, перекидывался нѣсколькими словами, шуткой, передъ менѣе знакомыми вѣжливо приподнималъ фуражку, а передъ дамами обнажалъ всю голову.

Пріѣзжая послѣ, въ мои университетскія каникулы, я сталъ замѣчать, что посѣтители у него становились рѣдки, а самъ онъ не выѣзжалъ никуда, совершая только свои ежедневныя прогулки въ экипажѣ, «для воздуха», непремѣнно со мной.

Я видѣлъ, что онъ и на прогулкахъ сталъ избѣгать встрѣчъ, даже съ близкими его знакомыми. Отъ прочихъ онъ скрывался, сколько могъ. На мой вопросъ:

— Отчего это? — онъ сказалъ просто: — «на старости лѣтъ—отвыкъ отъ людей, да и пострѣловъ тутъ не мало!»— Между тѣмъ, при встрѣчѣ на улицѣ, или если кто успѣетъ проникнуть къ нему въ домъ, онъ обойдется любезно и радушно.

Иногда выходили по этому поводу забавныя сцены. Пріѣдетъ, напримѣръ, гость, спроситъ:—«Дома ли?»—Человѣкъ

побѣжитъ въ обходъ по коридору доложить. — «Владиміръ Васильевичъ»,—скажетъ онъ; или:—«графъ Сергѣй Петровичъ». Якубовъ, вмѣсто отвѣта, энергически молча показываетъ человѣку два кулака. Человѣкъ скроется въ коридоръ и ждетъ въ нерѣшительности, не зная, что̀ дѣлать. Въ передней гость ждетъ отвѣта, а въ кабинетѣ барскіе кулаки, которыхъ, впрочемъ, онъ въ ходъ никогда не пускалъ. Гость, между тѣмъ, наскучивъ ждать, сброситъ съ себя шинель или шубу (пальто тогда не было извѣстно) и идетъ въ залу, потомъ въ гостиную, и, наконецъ, отворяетъ дверь въ кабинетъ.

— А! графъ Сергѣй Петровичъ, милости прошу! — радушно привѣтствуетъ его морякъ: — садитесь, вотъ здѣсь! Эй, малый!—крикнетъ человѣку:—скажи, чтобъ намъ дали закуску сюда, да позавтракать что-нибудь.

Въ провинціи, по крайней мѣрѣ въ то время, посѣтителямъ непремѣнно предлагалось угощеніе: утромъ закуска, вино; послѣ обѣда—сласти.

Слугѣ потомъ не было ни выговора, ни замѣчанія. Гнѣвъ Якубова бывалъ всегда мгновенной, быстро потухавшей вспышкой.

Катаясь тоже со мной по городу, онъ издали иногда завидитъ ѣдущаго въ экипажѣ, или идущаго навстрѣчу знакомаго.

— Не гляди туда, отвернись! — шопотомъ предупредитъ меня, и самъ съ юношескимъ проворствомъ перекинется черезъ сидѣнье на другую сторону линейки.

Между близкими его знакомыми я помню особенно двухъ стариковъ, его сверстниковъ, жившихъ почти безвыѣздно по своимъ деревнямъ. Одинъ былъ Ѳедоръ Петровичъ Козыревъ, а другой — Андрей Герасимовичъ Гастуринъ. Они пріѣзжали въ губернскій городъ въ три года разъ на дворянскіе выборы, но совсѣмъ не затѣмъ, чтобы ихъ выбирали, а, напротивъ, чтобъ не выбирали.

— Когда мы хотимъ повидаться съ ними, — сказывалъ мнѣ предводитель дворянства, Бравинъ:—стоитъ только написать имъ, что ихъ намѣрены баллотировать: сейчасъ же оба бросятъ свои захолустья и пріѣдутъ просить, чтобъ не выбирали.

Я зналъ и любилъ этихъ обоихъ сверстниковъ моего «крестнаго». Это были такіе же добрые, ласковые баловники-старички. Къ первому изъ нихъ я, проѣзжая домой на каникулы, уже студентомъ, сворачивалъ верстъ пятнадцать въ сторону съ большой дороги и проводилъ у него по два и по три дня. У него была прелестная усадьба, т.-е. собственно господскій домъ, окруженный обширнымъ садомъ, во вкусѣ временъ Людовика XIV, съ стриженными аллеями, каскадами, бесѣдками, нимфами и другими затѣями, конечно, въ миніатюрѣ, впрочемъ, значительно запущенный и заброшенный. Болѣе всего занимала меня большая библіотека — все французскихъ книгъ. Козыревъ былъ поклонникъ Вольтера и всей школы энциклопедистовъ, и самъ смотрѣлъ маленькимъ Вольтеромъ, острымъ, саркастическимъ — какъ многіе тогда поклонники Вольтера. Духъ скептицизма, отрицанія свѣтился въ его насмѣшливыхъ взглядахъ, улыбкѣ и сверкалъ въ рѣчахъ. Бесѣдой нашей съ нимъ и братомъ служили французскіе писатели. Но онъ былъ такъ деликатенъ и остороженъ съ нами, юношами, что давалъ намъ читать и самъ читалъ съ нами произведенія французской поэзіи, декламируя Расина, Корнеля и «Генріаду» Вольтера. О смыслѣ и значеніи ученія мыслителей-энциклопедистовъ онъ умалчивалъ. «Баснями соловья не кормятъ!»—заканчивалъ онъ наши бесѣды и велѣлъ подавать всегда тонкій, изящный обѣдъ. У него былъ отличный поваръ, кажется, французъ.

Онъ не выходилъ изъ халата, и очень рѣдко выѣзжалъ изъ предѣловъ своего имѣнія. У него была въ нѣсколькихъ верстахъ другая деревня, но онъ и въ ту не всякій годъ

заглядывалъ. Помню я теперь его слегка рябоватое лицо, темносѣрые умные глаза, насмѣшливо-добродушную улыбку и свѣтлый шелковый съ полосками халатъ. Онъ такъ сидѣлъ въ своемъ изящномъ кабинетѣ, такъ гулялъ и въ укатанныхъ аллеяхъ своего сада, около пруда, гдѣ плавали лебеди, а по цвѣтникамъ, и по его комнатамъ тоже, расхаживали журавли и павлины.

Кромѣ этого сада да своей библіотеки, онъ ничего знать не хотѣлъ, ни полей и лѣсовъ, ни границъ имѣнія, ни доходовъ, ни расходовъ. Когда онъ ѣзжалъ въ другую свою деревню, — разсказывали мнѣ его же люди, — онъ спрашивалъ: «чьи это лошади?» на которыхъ ѣхалъ.

Точно такъ же не зналъ и не хотѣлъ знать ничего этого и «крестный» мой, и третій близкій ихъ другъ и сверстникъ, А. Г. Гастуринъ. Этотъ былъ простой, неученый, но добрый, всѣми любимый, деревенскій житель, не выпускавшій изо рта большой пѣнковой трубки. Онъ весь почернѣлъ и какъ будто прогорѣлъ отъ солнца и отъ табаку. Когда я спрашивалъ Якубова о его хозяйствѣ, о посѣвахъ, умолотѣ, количествѣ хлѣба — даже о количествѣ принадлежащей ему земли и о доходахъ: «А не знаю, другъ мой,—говаривалъ онъ, зѣвая:—что привезетъ денегъ мой кривой староста, то и есть. А сколько онъ высылаетъ куръ, утокъ, индѣекъ, разнаго хлѣба и другихъ продуктовъ съ моихъ полей — спроси у своей маменьки: я велѣлъ ему отдавать ей отчетъ, она знаетъ лучше меня!»

Когда оба старика пріѣзжали въ городъ на выборы, они обыкновенно жили у Якубова, и намъ всѣмъ, дѣтямъ, было отъ нихъ тройное баловство.

Съ утра, бывало, они всѣ трое лежатъ въ постеляхъ, куда имъ подавали чай или кофе. Въ полдень они завтракали. Послѣ завтрака опять забирались въ постели. Такъ ихъ заставали и гости. Рѣдко только, въ дни выборовъ, они натягивали на себя допотопные фраки, или екатери-

нинскихъ временъ мундиры и панталоны, спрятанныя въ высокіе сапоги съ кисточками, надѣвали парики, чтобъ ѣхать въ дворянское собраніе на выборы. Какіе смѣшные были всѣ трое! Они хохотали, оглядывая другъ друга, а мы, дѣти, глядя на нихъ.

Мнѣ кажется, у меня, очень зоркаго и впечатлительнаго мальчика, уже тогда, при видѣ всѣхъ этихъ фигуръ, этого беззаботна о житья-бытья, бездѣлья и лежанья, и зародилось неясное представленіе объ «обломовщинѣ».

IV.

И по пріѣздѣ домой, по окончаніи университетскаго курса, меня обдало той же «обломовщиной», какую я наблюдалъ въ дѣтствѣ. Самая наружность родного города не представляла ничего другого, кромѣ картины сна и застоя. Тѣ же, большею частью деревянные, посѣрѣвшіе отъ времени дома и домишки, съ мезонинами, съ садиками, иногда съ колоннами, окруженные канавками, густо заросшими полынью и крапивой, безконечные заборы: тѣ же деревянные тротуары, съ недостающими досками, та же пустота и безмолвіе на улицахъ, покрытыхъ густыми узорами пыли. Вся улица слышитъ, когда за версту ѣдетъ телѣга или стучитъ сапогами по мосткамъ прохожій.

Такъ и хочется заснуть самому, глядя на это затишье, на сонныя окна съ опущенными шторами и жалюзи, на сонныя физіономіи сидящихъ по домамъ или попадающіяся на улицѣ лица.

«Намъ нечего дѣлать!» зѣвая, думаетъ, кажется, всякое изъ этихъ лицъ, глядя лѣниво на васъ: «мы не торопимся, живемъ—хлѣбъ жуемъ, да небо коптимъ!»

И вправду должно быть такъ. Чиновникъ, совѣтникъ какой нибудь палаты, лѣниво, около двухъ часовъ, ѣдетъ изъ присутствія домой, нужды нѣтъ, что отъ палаты до дома не было и двухъ шаговъ. Пройдетъ писарь, или гарнизон-

ный солдатъ еле-еле бредетъ по мосткамъ. Купцы, забившись въ глубину прохладной лавки, дремлютъ или играютъ въ шашки. Мальчишки среди улицы располагаются играть въ бабки. У забора коза щиплетъ траву.

— Ужели ничего и никого новаго нѣтъ? — спрашиваю «крестнаго», объѣзжая городъ и лѣнивымъ окомъ осматриваясь кругомъ: — я все это знаю, давно видѣлъ: вонъ кажется, и коза знакомая!

— Какъ нѣтъ новаго! Вотъ сейчасъ подъѣдемъ къ новому собору: онъ ужъ освященъ. Каковъ! — хвастался онъ, когда мы сошли съ дрожекъ и обходили соборъ.

Соборъ, въ самомъ дѣлѣ, очень хорошъ: обширенъ, стройныхъ размѣровъ и съ тонкими украшеніями на фронтонѣ и капителяхъ колоннъ.

— Вотъ и это новое: ты еще не видалъ, при тебѣ не было: — говорилъ Якубовъ, указывая на новое зданіе на Большой улицѣ.

Я прочелъ на черной доскѣ надпись: «Питейная контора».

— Это откупщикъ выстроилъ,—прибавилъ онъ.

Встрѣтился намъ очень старый священникъ, посмотрѣлъ на насъ, прикрывъ глаза руками отъ солнца, узналъ Якубова и отвѣсилъ низкій поклонъ.

— Здравствуй, батька, здорово! крестить, что ли, ходилъ, или отпѣвать кого-нибудь?—шутилъ крестный.

— Чего?—отозвался, останавливаясь, тотъ:—не слышу!

Мы проѣхали.

— Когда я пріѣхалъ сюда, этотъ батька былъ уже зрѣлыхъ лѣтъ попикъ: теперь ему подъ восемьдесятъ! — добавилъ мнѣ крестный.

— Это все старое и ветхое, что̀ вы мнѣ показываете, кромѣ собора да питейной конторы, — сказалъ я. — Гдѣ же новое, молодое, свѣжее?

— Свѣжее? есть свѣжія стерляди, икра, осетрина, дичь...

Всего этого здѣсь въ волю; ужо̀ маменька твоя покормитъ тебя,—шутилъ онъ.

— А новые люди, нравы, духъ?—допрашивалъ я.

— Люди?.. Да теперь лѣто: никого въ городѣ нѣтъ, всѣ по деревнямъ. Вотъ, погоди, къ осени съѣдутся, увидишь и людей, познакомишься со всѣми. А теперь тебѣ надо «представиться» губернатору.

Я встрепенулся.

— Зачѣмъ? Если бъ я пріѣхалъ сюда на службу — другое дѣло, а я къ осени думаю ѣхать въ Петербургъ.

— И все-таки надо представиться ему, — настаивалъ Якубовъ:—онъ замѣтитъ тебя гдѣ-нибудь, спроситъ—кто, а ты у него не былъ: это никуда не годится. И къ архіерею тоже, и къ предсѣдателямъ палатъ, да еще къ такому-то и къ такому-то.

Онъ насчиталъ домовъ десять, гдѣ я будто бы долженъ побывать — не знаю самъ, да и онъ не зналъ — для чего. «Для приличія, — говорилъ онъ: — молодой человѣкъ вездѣ долженъ являться». Тоже не объяснилъ—зачѣмъ. Я не раздѣлялъ этого принципа стараго вѣка — соваться вездѣ, гдѣ и не нужно; нравы уже мѣнялись, но спорить съ нимъ не желалъ, рѣшивъ про себя, что у губернатора я запишусь, сказалъ бы: «оставлю карточку», если бъ она у меня была, но ея не было — я только что вступалъ въ свѣтъ, — а къ прочимъ загляну при удобномъ случаѣ.

Такъ и сдѣлалъ. Къ осени, однакоже, надо было подчиниться губернскому режиму и дѣлать визиты нужные и ненужные, т.-е. къ знакомымъ и незнакомымъ. Это соблюдается, какъ я увидѣлъ послѣ, строже въ провинціи, нежели въ столицахъ, и не побывать у иного въ извѣстный день — наживешь себѣ недруга. Вотъ чѣмъ и какимъ дѣломъ разбавлялось, между прочимъ, провинціальное бездѣлье!

Якубовъ объяснилъ, какъ я сказалъ выше, причину сво-

его отчужденія отъ людей, кромѣ старости, между прочимъ, еще тѣмъ, что онъ «отвыкъ» отъ нихъ: это не совсѣмъ удовлетворило меня. Вглядываясь и вдумываясь тогда въ его образъ мыслей и жизнь сознательно, я видѣлъ кое-что въ его характерѣ, къ чему прежде у меня не было ключа, что-то постороннее, кромѣ старческой усталости: не то боязнь, не то осторожность. Онъ не скучалъ и не тяготился, когда къ нему заглядывалъ, напримѣръ, вышеупомянутый Ростинъ, потомъ одинъ сосѣдъ по деревнѣ и большой его пріятель, затѣмъ веселый собесѣдникъ и юмористъ Бравинъ, еще Чуринъ, наконецъ братья жены Ростина, бывшаго его «предмета», З—іе, князь П. Онъ благоволилъ также и къ губернатору, и къ женѣ его, «прекрасной дамочкѣ», по его выраженію, хотя эта дамочка была увядшая, худощавая, съ впалыми, потухшими глазами, и вовсе не прекрасная собой женщина.

Но, любя всѣхъ этихъ лицъ, онъ не искалъ встрѣчъ и съ ними, точно остерегался общества, пятился отъ знакомыхъ, а незнакомыхъ вовсе не принималъ.

Главной причиной была, конечно, старческая усталость, «отвычка» отъ людей, какъ онъ говорилъ, но тутъ наполовину было и дѣйствительно боязни. Онъ, какъ и многіе тогда, былъ запуганъ тѣмъ переполохомъ, который произвело четырнадцатое декабря во всемъ русскомъ обществѣ. Хвостъ отъ этого переполоха еще тянулся не только по провинціямъ, но и въ столицахъ. Я помню, что съ насъ, студентовъ, при вступленіи въ университетъ, отбиралась подписка «въ непринадлежности къ тайнымъ обществамъ». Эта мудрая мѣра производила одно дѣйствіе: тѣмъ, кто изъ молодежи и во снѣ не видали никакихъ тайныхъ обществъ, этимъ давалось о нихъ понятіе — и только. Принадлежавшимъ же къ этимъ обществамъ — если были такіе — она, я полагаю, преградою не служила.

Подъ тайными обществами, между прочимъ, разумѣлись

масонскія ложи. Якубовъ, какъ почти всѣ дворяне тогда, или, лучше сказать, вся русская интеллигенція, принадлежалъ тоже къ масонской ложѣ. Въ Петербургѣ всѣ лучшія, извѣстныя, высокопоставленныя лица были членами масонскихъ ложъ: между прочимъ, говорили, что и императоръ Александръ Павловичъ тоже былъ членъ.

Въ нашемъ губернскомъ городѣ была своя отдѣльная масонская ложа, во главѣ которой стоялъ Бравинъ. Члены этой ложи разыгрывали масонскую комедію, собирались въ потаенную, обитую чернымъ сукномъ комнату, одѣвались въ какіе-то особые костюмы, съ эмблемами масонства, длинными бѣлыми перчатками, серебряными лопатками, орудіемъ «каменщиковъ», и прочими атрибутами масонства.

Не всѣ члены, однако, были посвящены въ таинственную суть масонства. Общая, всѣмъ извѣстная цѣль была— защита слабыхъ, бѣдныхъ, угнетенныхъ, покровительство нуждающимся и т. п. дѣла благотворительности. Многіе изъ членовъ занимали низшія должности въ іерархіи ордена, напримѣръ что-то въ родѣ какихъ-то звонарей и т. п., и повышались въ степеняхъ, послѣ разныхъ испытаній, смотря по способностямъ и значенію.

Все это я узналъ послѣ, частію отъ самого Якубова, а болѣе отъ другихъ, менѣе скромныхъ и пугливыхъ бывшихъ членовъ. «Крестный» открылъ мнѣ весьма немногое, случайно. Однажды зимой, часу въ десятомъ вечера, губернаторъ прислалъ за мной просить къ себѣ потанцовать — къ его дочери нечаянно собрались дѣвицы, молодые люди— чтобъ я пріѣхалъ. У меня не оказалось свѣжихъ бѣлыхъ перчатокъ, магазины были уже заперты. Я принялся-было тереть бѣлымъ хлѣбомъ надѣванную пару, какъ явился «крестный». Узнавъ, въ чемъ дѣло, онъ повелъ меня къ себѣ. Изъ задняго секретнаго ящика комода онъ досталъ пару длинныхъ бѣлыхъ перчатокъ и отдалъ мнѣ.

— Да это женскія, длинныя по локоть, — сказалъ я: — онѣ не годятся!

— Годятся, вели только обрѣзать лишнее,—замѣтилъ онъ.

— Да откуда онѣ у васъ?

— Это масонскія, давно у меня лежатъ: молчи, ни слова никому! — шепталъ онъ, хотя около насъ никого не было.

Переполохъ по поводу масонства повелъ послѣ 14-го декабря къ обыскамъ у всѣхъ принадлежавшихъ къ этому братству. Забирали бумаги, отсылали въ Петербургъ, а предсѣдателя ложи, Бравина, самого отвезли туда, забравъ всю его переписку. Но важнѣйшая часть его бумагъ, за нѣсколько часовъ до обыска, говорятъ, была брошена въ прудъ въ его саду. Объ обыскѣ предупредилъ его полиціймейстеръ, его пріятель, и тѣмъ спасъ Бравина, можетъ-быть, отъ тяжелыхъ послѣдствій. Бравинъ былъ въ перепискѣ съ заграничными масонами и, вѣроятно, былъ не чуждъ не однѣхъ только всѣмъ открытыхъ, благотворительныхъ, но и политическихъ цѣлей, какія входили въ секретный кругъ дѣятельности, какъ видно, иностранныхъ и русскихъ масонскихъ ложъ.

14-е декабря открыло правительству глаза на эти послѣднія цѣли и вызвало извѣстное систематическое преслѣдованіе масонства, а съ нимъ — всякихъ «тайныхъ обществъ», которыя подозрѣвались, но которыхъ, кромѣ заговора декабристовъ, кажется, тогда не существовало.

Всѣ, кого призывали и допрашивали, такъ перетрусили, что послѣ долго боялись говорить объ этомъ, даже между собой, шопотомъ.

— Что же вы дѣлали, когда собирались въ своей тайной масонской залѣ: дѣла какія-нибудь? — допрашивалъ я «крестнаго».

— Да, были дѣла, читали письма, протоколы... мало было дѣлъ...—нехотя отвѣчалъ онъ.

— Что же еще?—приставалъ я.

— Какой ты любопытный! Еще... пили шампанское—вотъ что! чуть не ведрами, такъ что многихъ къ утру развозили по домамъ.

Больше я ничего отъ него не узналъ. На вопросъ о Бравинѣ и его пребываніи въ Петербургѣ, онъ лаконически сказалъ, что Бравина продержали тамъ около полугода, потомъ отпустили.

— Воротился весь синій, даже почернѣлъ: его, слышно, подвергли тамъ секретно тѣлесному наказанію...—дошепталъ онъ и положилъ на губы палецъ молчанія.

Всѣ напуганные масоны и не-масоны, тогдашніе либералы, вслѣдствіе крутыхъ мѣръ правительства, приникли, притихли, быстро превратились въ ультра-консерваторовъ, даже шовинистовъ — иные искренно, другіе надѣли маски Но при всякомъ случаѣ, когда и не нужно, заявляли о своей преданности «престолу и отечеству». Напримѣръ, Бравинъ хвастался мнѣ, что брильянты отъ пожалованнаго ему, уже нѣсколько лѣтъ спустя послѣ 14-го декабря, перстня онъ раздѣлилъ между нѣсколькими своими дочерями, чтобъ у каждой осталось воспоминаніе о «милости». Всѣ пошили себѣ мундиры; недавніе атеисты являлись въ торжественные дни на молебствія въ соборъ, а потомъ съ поздравленіемъ къ губернатору. Передъ каждымъ, даже заѣзжимъ лицомъ крупнаго чина, снимали шляпу, дѣлали ему визиты. Только старички, въ родѣ Козырева и еще немногихъ, ухомъ не вели и не выползали изъ своихъ норъ. Козыревъ саркастически посмѣивался и надъ крутыми мѣрами властей, и надъ переполохомъ. Громъ въ деревенскія затишья не доходилъ.

«Крестный» мой, живучи въ городѣ, наружно, подъ ферулой прежняго страха, тоже вторилъ другимъ. Но иногда я подмѣчалъ, что онъ, стоя у окна и глядя въ пространство, что-то горячо бормоталъ про себя, жестикулировалъ,

повидимому, протестуя, послѣ разговоровъ или чтенія въ газетахъ о нѣкоторыхъ крутыхъ мѣрахъ. Однажды до меня донесли слова: «Простого выговора не стоитъ, — сквозь зубы бормоталъ онъ, бросая газету: — а его на поселеніе!» Оторвавшись отъ окна, онъ принималъ свой обыкновенный, покойный видъ. Катаясь разъ по городу, мы встрѣтили какого-то незнакомаго господина въ кѣпскѣ. Якубовъ почтительно съ нимъ раскланялся.

[illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

[illegible]

бернскаго полковника Сигова. Я думалъ, что онъ будетъ во все пристально вглядываться, вслушиваться и даже записывать, что отъ него всѣ должны бѣгать и прятаться. Но, къ удивленію моему, я видалъ его окруженнаго толпой и мечущаго банкъ въ нѣкоторыхъ домахъ, въ пріемные вечера, обыкновенно въ особой задней комнатѣ, въ облакахъ табачнаго дыма.

— Какъ же такъ?—спрашивалъ я, невинный юноша, въ недоумѣніи у губернатора: — вѣдь его обязанность, вы говорите, доносить о безпорядкахъ, обо всемъ вредномъ, запрещенномъ—такъ какъ онъ цензоръ нравовъ—стало-быть, и объ азартныхъ играхъ; а онъ самъ тутъ играетъ и прячется?

— Оттого онъ тутъ и вездѣ въ толпѣ, чтобы все смотрѣть и слушать: иначе, какъ же онъ будетъ знать и о чемъ доносить?—былъ отвѣтъ.

V.

Я далъ понять выше, что Якубовъ былъ баринъ въ душѣ, природный аристократъ. Между прочимъ, онъ былъ сынъ своего вѣка, крѣпостникъ. Это, повидимому, противорѣчитъ «джентльменству». Нисколько, если не сходить съ почвы исторической перспективы. А у насъ, въ настоящее время, начавшееся, впрочемъ, уже съ сороковыхъ годовъ, линіи этой перспективы, какъ будто сгившіе, ненужные плетни, повалены, сломаны. Удятъ изъ прошлаго какую-нибудь личность, отдѣляютъ ее отъ его времени, точно отдираютъ старый портретъ отъ холста, отъ освѣщенія, колорита, аксессуаровъ обстановки, и неумолимо судятъ ее современнымъ судомъ и казнятъ, забывая, что она носитъ девизы и цвѣта своего вѣка, его духа, воспитанія, нравовъ и прочихъ условій. Это все равно, что судить, зачѣмъ лицо изъ прошлаго вѣка носило не фракъ, а камзолъ съ кружевными манжетами, и, пожалуй, еще зачѣмъ не ѣздило по желѣзнымъ дорогамъ.

Не подумаютъ эти легкомысленные судьи, что черезъ какія-нибудь полсотни, сотню лѣтъ, если послѣдующія поколѣнія будутъ смотрѣть на нихъ сквозь подобныя очки, они предстанутъ передъ ними куда въ непривлекательномъ видѣ! Вѣдь потомокъ далеко уходитъ отъ предка впередъ, и кажется умнѣе его—благодаря придатку знанія, опытовъ, открытій, нажитыхъ временемъ. Но уменъ ли онъ въ самомъ дѣлѣ—это еще вопросъ. Имѣя это въ виду, предвидя не въ далекомъ будущемъ судъ потомка надъ собою, умный потомокъ воздержится отъ легкомысленнаго смѣха надъ предкомъ, кажущимся простоватымъ, несвѣдущимъ, неумѣлымъ.

Такіе судьи въ свое оправданіе, пожалуй, укажутъ на Бѣлинскаго: онъ-де тоже повиненъ въ этомъ грѣхѣ: впадалъ въ рѣзкость, изрекалъ строгіе, даже желчные приговоры минувшему времени, минувшимъ дѣятелямъ, иногда стяжавшимъ заслугами почетъ и уваженіе своихъ современниковъ.

Да, водилось это и за Бѣлинскимъ, искреннимъ, правдивымъ, но горячимъ въ своихъ увлеченіяхъ. Но, однако, тотъ же Бѣлинскій, гдѣ-то въ одной своей статьѣ, не помню по какому поводу, замѣтилъ, что теперь любой студентъ математическаго факультета знаетъ больше Пиѳагора или Эвклида — и, кажется, если память не обманываетъ меня, приходитъ къ вопросу: а былъ ли бы современный студентъ на высотѣ этихъ ученыхъ мужей въ ихъ время?

Но самъ онъ, Бѣлинскій, иногда дѣйствительно неблагосклонно смотрѣлъ въ прошлое.

Между прочимъ, онъ съ задоромъ нападалъ и на Пушкина за то, что тотъ, — пожалѣвъ, что «нѣтъ князей Пожарскихъ, что Сицкихъ древній родъ угасъ»,— съ укоромъ отозвался о томъ, что оселъ «демократическимъ копытомъ лягаетъ геральдическаго льва», и что теперь «спроста лѣзутъ въ tiers-état».

Здѣсь Бѣлинскій горячо упрекалъ Пушкина, котораго такъ высоко цѣнилъ, конечно, за то, какъ этотъ геній не оцѣнилъ «пружины смѣлыя гражданственности новой», какъ не проникся духомъ времени, не воспринялъ и не пропагандировалъ началъ этой гражданственности. Ему, кажется, было больно за Пушкина.

Но онъ, внѣ минутъ раздражительныхъ увлеченій, умѣлъ быть безпристрастенъ. Напримѣръ, онъ не могъ выносить Кукольника, какъ автора напыщенныхъ и ходульныхъ драматическихъ поэмъ—«Тассъ», «Джуліо Мости», фальшиваго романа «Эвелина де Вальероль» — но какъ ласково, съ какой теплотой отзывался онъ о повѣстяхъ того же Кукольника изъ Петровской эпохи, въ которыхъ авторъ былъ простъ и правдивъ!

И внѣ литературы, въ житейскомъ быту, Бѣлинскій умѣлъ смотрѣть на разныя явленія, которыя должны бы возбуждать въ немъ духъ противорѣчія и раздраженія, совершенно покойно и разумно.

Въ Петербургѣ, будучи уже на службѣ, я однажды въ Новый годъ, между визитами по начальству, заѣхалъ къ нему въ форменномъ фракѣ, въ бѣломъ галстукѣ.

— Что это: подлость?—дразнилъ я его, зная, какъ онъ возставалъ противъ всякихъ поклоненій и поклоновъ.

— Подлость, не нами начатая, — добродушно замѣтилъ онъ:—выдумывать и вводить новую подлость—это подло, а повторять старыя приходится сплошь да рядомъ.

Въ бросаньѣ камней въ прошлое и въ отжившихъ людей у Бѣлинскаго явились подражатели, чуть не цѣлая школа. Ничего не стоитъ выудить кого-нибудь изъ давно-прошедшаго и отдѣлывать на всѣ корки. Мудрая латинская пословица: de mortuis aut bene, aut nihil, давно сдана въ архивъ.

Но Бѣлинскій бывалъ виноватъ въ пристрастныхъ — и, съ исторической точки зрѣнія, невѣрныхъ — порицаніяхъ

прошлымъ людямъ — подъ давленіемъ своего искренняго влеченія къ лучшему, котораго требовалъ даже отъ прошлаго, какъ нѣкоторые ревнивцы скорбятъ, зачѣмъ въ любимой женщинѣ не все чисто и свѣтло въ ея прошломъ. А эти другіе, непризнанные «строгіе цѣнители и судьи» изъ чего бьются, запальчиво замахиваясь своими дѣтскими тросточками на отжившихъ дѣятелей? Считаютъ ли они себя лучше ихъ? Вѣроятно такъ: порицать можно только то, чего за собой не сознаешь—иначе языкъ не повернулся бы говорить, по пословицѣ, «о ворѣ, когда на самомъ шапка горитъ».

Обращаюсь къ Якубову. Онъ непробудно жилъ и умеръ на лонѣ крѣпостного права и пользовался послѣднимъ — не какъ всѣ помѣщики, а никогда не злоупотребляя своими правами. Я уже сказалъ, что дохода и разныхъ продуктовъ съ земли своей онъ получалъ столько, сколько «привезетъ староста». Въ дворнѣ у него, кромѣ своего кучера, повара и двухъ-трехъ лакеевъ съ семействами, были еще столяры, портные, сапожники. Онъ отпускалъ ихъ по городу на оброкъ, не справляясь, гдѣ и какъ они живутъ, что̀ зарабатываютъ. Онъ не получалъ съ нихъ ни гроша, и только когда понадобятся ему сапоги, онъ велитъ своему сапожнику сшить, заплативъ, что̀ стоитъ товаръ. Понадобится починка или заказъ новой мебели—то же самое.

Домашней крѣпостной прислугѣ — а тогда другой, наемной, не было,—жалованья не полагалось, но каждый праздникъ онъ позоветъ, бывало, меня и отдастъ разложенныя у него кучки серебряныхъ рублей.—«Это,—скажетъ,—отдай Васькѣ, это Митькѣ, это Гришкѣ, всѣмъ сестрамъ по серьгамъ»,—прибавитъ въ заключеніе. Самъ никогда лично не давалъ, а черезъ насъ.

— «Митька», «Васька», «Гришка!» — скажутъ на это новые люди: — развѣ это не мерзко? — Теперь мерзко, да и нельзя: крѣпостныхъ людей нѣтъ, и никто не позволитъ

называть себя кличками, какъ собакъ. А тогда не казалось мерзко: всѣ стараго поколѣнія люди привыкли къ этому, и я не слыхивалъ, чтобы тогдашніе пожилые помѣщики, умные, образованные, даже въ столицѣ, иначе звали прислугу, какъ: «малый» или «Петрушка», «Егорка», «Машка», «Дашка» и т. д. Другой майеры звать не было, развѣ кто носилъ такое имя, что никакъ не вопрешь его въ уменьшительное, напримѣръ: Ѳерапонтъ, Сосипатръ, Трефилъ, женщина Макрида.

Мы всѣ, т.-е. тогдашнее новое поколѣніе, конечно, такъ уже не обращались съ прислугой. Кстати припомнить, что и Грибоѣдовъ подтверждаетъ этотъ обычай. У него Фамусовъ не иначе зоветъ прислугу, какъ «Филька», «Петрушка». Слѣдовательно, винить Якубова за повсемѣстный въ его время обычай было бы несправедливо. Пожалуй, иной изъ «молодыхъ» упрекнетъ его и за то, зачѣмъ онъ не говорилъ слугамъ: *вы*. Однако, услыхавъ однажды, что я сказалъ человѣку: «Петръ, пожалуйста, принеси мнѣ...» (не помню что), онъ обернулся отъ окна и съ живостью замѣтилъ мнѣ: — «Какъ это твое «пожалуйста» хорошо!» — Скажутъ, что ссылаться на Фамусова нельзя: онъ-де за то и Фамусовъ, что въ немъ воплощается застарѣлая порча его вѣка, какъ и въ Скалозубѣ, и въ Молчалинѣ и въ другихъ. А вотъ былъ же-де Чацкій, который лучомъ свѣта разсѣялъ эту тьму, и т. д.

Да, былъ Чацкій — Грибоѣдовъ: а много ли ихъ было, этихъ вѣстниковъ новаго міросозерцанія, новой жизни? Стало-быть, всякій новый современный судья прошлаго, оглядываясь назадъ, ставитъ себя на мѣсто Чацкаго? Это скромно! Не походитъ ли, однако, такой судья на вышеприведеннаго студента математическаго факультета, который, зная теперь больше, чѣмъ Пиѳагоръ или Птоломей, вздумалъ бы поставить себя на ихъ мѣсто?

Какъ правъ былъ Гоголь въ своемъ отвѣтѣ на упрекъ,

зачѣмъ онъ не вывелъ въ «Ревизорѣ» ни одного хорошаго человѣка! Всѣ бы стали ставить себя на мѣсто хорошаго человѣка, и никто не захотѣлъ бы узнавать въ себѣ ни Хлестакова, ни Городничаго и прочихъ. Грибоѣдову нельзя было обойтись въ своей комедіи безъ «хорошаго человѣка», и вотъ всѣ судьи прошедшаго ставятъ себя въ роль Грибоѣдова—Чацкаго.

Но вѣдь Фамусовы, Скалозубы, Молчалины, Хлестаковы есть и теперь, и будутъ, можетъ-быть, всегда не въ одномъ русскомъ, но и во всемъ человѣческомъ обществѣ, только въ новой формѣ: тѣмъ и велики, и безсмертны обѣ комедіи, что онѣ создали формы, въ которыя отливаются типы цѣлыхъ поколѣній.

Поэтому не мѣшало бы поглубже задуматься надъ вопросомъ всякому, куда бы онъ въ прошломъ могъ пристроить себя: къ Фамусову, Хлестакову, Городничему и другимъ, которыхъ была цѣлая рать, большинство, или же къ рѣдкимъ, блестящимъ исключеніямъ, въ родѣ Чацкаго?..

Я брошу на Якубова еще бо̀льшую, въ глазахъ «строгихъ судей», тѣнь. Онъ былъ вспыльчивый, какъ порохъ, но не желчный, незлобивый старикъ. Отъ мгновенныхъ вспышекъ его не оставалось никакого дыма, какъ отъ пороха. Провинится человѣкъ, не угодитъ ему, разсердитъ, обыкновенно пустяками какими-нибудь, онъ затопаетъ, подниметъ оба кулака, иногда сложитъ ихъ вмѣстѣ, и, грозя, закричитъ:— «Дьяволъ твою душу побери! Я тебѣ голову проломаю!» Это были его точныя выраженія въ гнѣвѣ. Въ эти минуты тому, кто не знаетъ его коротко, онъ покажется страшенъ. Но въ одну минуту гнѣвъ погасалъ, какъ молнія, и никогда ни одному слугѣ онъ не только «головы не проломалъ», но никто не видалъ, чтобы онъ тронулъ кого-нибудь щелчкомъ, даже чтобы мальчишку взялъ за ухо или за волосы. У него въ рукахъ и пріемовъ для драки не было.

А грозенъ онъ бывалъ до комизма. Сидитъ, бывало, за столомъ: случится иногда, что супъ пересоленъ или жаркое пережарено.

— Малый!—закричитъ онъ грозно:—подай палку!

У него была дубинка съ круглой головкой, сопровождавшая его въ прогулкахъ. «Малый», иногда лѣтъ пятидесяти или шестидесяти, стоявшій, въ числѣ другихъ трехъ или четырехъ такихъ же «малыхъ», съ тарелками за нашими стульями, а лѣтомъ махавшихъ надъ нашими головами вѣтвями отъ мухъ—малый приносилъ дубинку.

— Поди, дай понюхать Акимкѣ (повару)!—приказывалъ Якубовъ:—и скажи, что онъ отвѣдаетъ этого кушанья, если опять пересолитъ супъ.

«Малый» серьезно выслушивалъ приказаніе и шелъ въ кухню, къ Акимкѣ, съ дубинкой. Неизвѣстно, давалъ ли онъ ему понюхать ее.

Вспыльчивость Якубова была, конечно, дѣломъ его личнаго темперамента, а сдержанное, холодное отношеніе къ крѣпостнымъ людямъ исходило изъ условій не одного крѣпостного права. Онъ служилъ въ военной, и притомъ морской, службѣ, гдѣ субординація и дисциплина, особенно въ прежнее время, соблюдались во всей строгости по морскому уставу Петра I, даже до жестокости. Командиру военнаго судна предоставлялись во время похода, въ морѣ, широкія права, между прочимъ, въ крайнемъ случаѣ, право на смертную казнь подчиненныхъ. Эти слѣды субординаціи и почтенія къ властямъ, и вообще къ старшимъ, онъ вынесъ оттуда же и сохранилъ до гроба.

По этой причинѣ онъ настаивалъ, чтобы и я ѣхалъ «представляться» къ губернатору, къ архіерею и всѣмъ губернскимъ властямъ, и вообще людямъ съ чиномъ, съ вѣсомъ въ губерніи.

Нечего дѣлать, надо было исполнить желаніе старика.

VI.

На парѣ, въ дрожкахъ, подкатилъ я къ губернаторскому дому, робѣя, самъ не зная чего, вѣроятно подъ вліяніемъ понятій Якубова о приличіяхъ, и вошелъ въ швейцарскую. Швейцаровъ въ провинціи тогда не водилось: не отъ кого было стеречь, оттого и звонковъ не было, двери въ подъѣздахъ никогда не запирались. Лакейскія были биткомъ набиты праздными лакеями. Меня принялъ жандармъ и пошелъ доложить «камердину». Приказано просить.

Черезъ обширную, изящно-убранную длинную залу, всю въ зеркалахъ, съ шелковыми занавѣсами, люстрами, канделябрами, меня ввели въ кабинетъ. Я ожидалъ видѣть какого-нибудь обрюзглаго старика, какъ видалъ прежде губернаторовъ, въ дѣтствѣ, и вдругъ увидѣлъ господина, лѣтъ сорока съ чѣмъ-нибудь, красиваго, стройнаго, въ утреннемъ элегантномъ неглиже, съ кокетливо повязаннымъ цвѣтнымъ галстукомъ. Онъ встрѣтилъ меня по-губернаторски, бѣгло взглянулъ на меня, слегка кивнулъ, но не подалъ руки. Тогда высшіе чины не были, какъ теперь, фамильярны съ низшими.

— Сію минуту кончу, а пока присядьте, — сказалъ онъ, указывая стулъ, ласковымъ, пріятнымъ голосомъ.

Я сѣлъ. Худощавый брюнетъ, секретарь, читалъ ему бумаги и подавалъ къ подписи. Я, между тѣмъ, всматривался въ губернатора и въ убранство кабинета.

У губернатора были красивыя, правильныя черты лица, живые каріе глаза съ черными бровями, прекрасно очерченный ротъ съ тонкими губами. Взглядъ бѣглый, зоркій, улыбка веселая, немного насмѣшливая. Стройныя, красивыя руки съ длинными прозрачными ногтями. Дома, въ утреннемъ нарядѣ, съ бѣлыми, какъ снѣгъ, манжетами, онъ смотрѣлъ франтомъ, какихъ я видалъ потомъ въ Петербургѣ, въ первыхъ рядахъ Михайловскаго театра. Въ черныхъ

волосахъ у него пробивалась преждевременная сѣдина, какъ бываетъ у брюнетовъ.

На этажеркахъ, на столѣ, стояли статуэтки, дамскіе портреты, разныя элегантныя бездѣлушки. На стѣнахъ нѣсколько картинъ и у одной—шкапъ съ книгами.

Губернаторъ кончилъ. Секретарь сталъ откланиваться.

— Вы не знакомы?—спросилъ онъ насъ.

— Нѣтъ,—отвѣчали мы оба.

— Иванъ Ивановичъ Добышевъ, правитель канцеляріи.

Мы слегка поклонились другъ другу.

— А... ваше имя и отчество, позвольте...

Я сказалъ; онъ повторилъ секретарю.

— Вы прямо изъ университета?—обратился онъ ко мнѣ.

— Да-съ.

— Что жъ вы намѣрены теперь дѣлать?

— Теперь пока отдыхаю, а зимой собираюсь въ Петербургъ на службу.

— Военную или статскую? и т. д.

Я сталъ раскланиваться.

— Кланяйтесь Петру Андреевичу (Якубову),—прощался онъ, опять не подавая руки: — да скажите ему, что и я, и жена, мы оба пеняемъ, что онъ не заѣдетъ къ намъ. Я его почти всякій день вижу, какъ онъ ѣздитъ кататься мимо.

— Хорошо-съ, скажу. Онъ никуда не заѣзжаетъ, боится!—сказалъ я.

— Чего?

— 14 декабря всѣхъ здѣсь напугало; его, кажется, больше другихъ.

Губернаторъ звонко закатился смѣхомъ, показывая отличные бѣлые зубы.

— Пойдемте къ женѣ, скажите ей, — и повелъ меня черезъ залу въ другую, третью и, наконецъ, въ четвертую комнату.

— Мадам Анфисовна, что ты! Получила отчего. Ягодов не бывает у нас...

Она ввела меня.

Дома его, уже упомянутая выше, пожилая дама, с подложенными шеками и синими глазами, сидела в белом пеньюаре, с непричесанной головой, в маленькой гостиной.

— Послушай, Лев Михайлыч, это ни на что не похоже: ты велишь прямо к тебе к ней молодого человека... и не отдыхай, — упрекнула она.

— Представляю тебе такого-то.

— Monsieur est très presentable — бесцеремонно всмотрев замутила она, с любопытством оглядывая меня с ног до головы.

Я почтительно отвечал на замечания этой мне из глаз. Какая опытная матрона, с чрезвычайно [illegible] [illegible] [illegible]

— Скажите Петру Андреевичу, что мы его очень любимъ,—прощаясь, говорила губернаторша:—чтобы заѣзжалъ каждый день; обѣдать бы пріѣхалъ! А вы, когда начнутся вечера, будьте нашимъ гостемъ. Вы танцуете, и вѣрно хорошо?

— Большой охотникъ! Въ Москвѣ, на вечерахъ, я всегда начиналъ мазурку,—похвастался я.

— И прекрасно. Соня! гдѣ ты, Соня? Поди сюда,—кликнула она въ открытую дверь боковой комнаты.

Вошла молодая, прелестная дѣвушка, между 15 и 16 годами, съ такимъ же острымъ и живымъ взглядомъ, какъ у отца, съ граціозно сложенными губами, съ красивымъ носикомъ, съ яркимъ, нѣжнымъ румянцемъ.

Она застѣнчиво присѣла въ отвѣтъ на мой поклонъ.

— Вотъ у насъ еще танцоръ: онъ будетъ твоимъ кавалеромъ на нашихъ вечерахъ, вмѣсто этого неуклюжаго Миши Лопарева...

Ея взглядъ мелькомъ скользнулъ въ мою сторону. Она опять присѣла и скрылась. Послѣ этого я уѣхалъ и долго не являлся къ губернатору, пока онъ не прислалъ за мной жандарма, какъ меня ни принуждалъ Якубовъ.

— Вмѣстѣ съ вами, пожалуй, — отговаривался я, зная, что онъ не поѣдетъ.

Еще до наступленія зимы я успѣлъ перезнакомиться со всѣми губернскими властями, предсѣдателями, совѣтниками палатъ, членами разныхъ правленій и многими, пріѣхавшими на житье въ городъ помѣщиками.

Почти всѣхъ этихъ членовъ, отъ большихъ до малыхъ, привязывало къ службѣ не одно жалованье, тогда незначительное. Какой-нибудь предсѣдатель палаты получалъ тысячи три, совѣтники—тысячи по двѣ съ половиной (ассигнаціями), а младшіе, правители дѣлъ, разные секретари и т. п., кто полторы, кто тысячу рублей; ниже спускалось до 700 и 300 рублей, даже менѣе.

Очевидно, жить этимъ было нельзя, иногда съ семействомъ, особенно въ провинціи, гдѣ даже у мѣщанъ водились свои лошади. Обѣдалъ всякій дома, клубовъ не водилось. Обѣдая въ гостяхъ, приходилось принимать и у себя: вездѣ расходъ. Чѣмъ же жили всѣ эти «служилые люди»? А доходами.

Отъ Якубова я узналъ исторію состоянія каждаго изъ губернскихъ тузовъ. Крупныя дворянскія состоянія, источники и количество доходовъ онъ, не знавшій только своихъ собственныхъ, зналъ отлично.

— Вотъ у братьевъ Иглевыхъ,—говорилъ онъ:—до пяти сотъ тысячъ дохода; старшій живетъ роскошно, мотаетъ, а у младшаго, Н. М., никто никогда чашки чая не выпилъ. Сидитъ безвыѣздно въ деревнѣ. Самъ по утрамъ пьетъ молоко, а за обѣдомъ ѣстъ вареную говядину съ кислой капустой. А домъ у него старинный, барскій, однѣ оранжереи чего стоятъ! Персики, ананасы свои...

— Вѣдь онъ ѣстъ же ихъ: не все одну капусту!—возражалъ я.

— Какъ не такъ — ѣстъ! Все посылаетъ въ городъ на базаръ. На однихъ яблокахъ тысячъ пять получитъ въ годъ. А тронетъ въ саду яблоко мальчишка или баба—такъ вздуетъ!

Про другого говорилъ:

— А этотъ сотню тысячъ получитъ въ годъ, а проживетъ двѣ—на псовую охоту.

Про чиновниковъ, дѣльцовъ, катаясь со мной по городу, сообщалъ много подробностей. Укажетъ бывало то на тотъ, то на другой домъ:

— Вотъ это домъ совѣтника или предсѣдателя такого-то, — и разскажетъ при этомъ: — Онъ пріѣхалъ сюда, на мундиръ денегъ занялъ у меня, а теперь у него деревенька съ тремя стами душъ, да домикъ этотъ выстроилъ, женѣ изъ Москвы наряды выписываетъ, ведетъ большую игру.

— Откуда же все это: богатую невѣсту, что ли, взялъ?— спросишь.

— Нѣтъ, бѣдную дворяночку взялъ, сироту. Какъ откуда? Лѣтъ десять секретаремъ въ консисторіи пробылъ, тамъ нажилъ, потомъ губернаторъ Тмакинъ переманилъ его къ себѣ въ секретари, дѣльный былъ, а потомъ съѣздилъ въ Петербургъ, подмазалъ гдѣ слѣдуетъ и воротился предсѣдателемъ. Хапунъ, пострѣлъ!—заключалъ онъ.

Обо всѣхъ отставныхъ и служащихъ онъ развивалъ передо мной такую же хронику. Отзывы эти проникнуты были брезгливостью. Честный морякъ, не знавшій даже доходовъ съ своего имѣнія, очевидно, презиралъ этотъ способъ наживы. Отъ этого онъ бросилъ свою гражданскую губернскую службу.

— Нашему брату, дворянину, грязно съ ними уживаться,—отзывался онъ.

Впрочемъ, весь городъ, т.-е. все губернское общество, не только мирилось съ системой чиновничьихъ доходовъ, но даже покровительствовало ей. Плохенькаго, не умѣвшаго наживать этимъ способомъ или занимавшаго недоходное мѣсто—не носили на рукахъ.

Правительство, конечно, знало, что казеннаго жалованья не хватаетъ на прожитокъ, потому и не совало носа въ омутъ непривилегированныхъ поборовъ—стало-быть, терпѣло ихъ; по-французски есть вѣрное слово: tolérait.

Такіе поборы и не назывались взятками. Этимъ словомъ клеймили обыкновенно вымогательство, прижимательство, голую продажу правосудія въ уѣздномъ судѣ, въ палатѣ, въ процессахъ по имущественнымъ дѣламъ. Такіе судьи-лихоимцы были у всѣхъ на виду и на счету, и уваженіемъ не пользовались. Если въ обществѣ водились съ ними, то это только по личнымъ расчетамъ.

— Хапунъ, пострѣлъ!—говорилъ Якубовъ при встрѣчѣ съ

такимъ судьей и быстро перекидывался на другую сторону линейки, чтобъ не отвѣчать на поклонъ.

Какіе же, спрашивается, доходы затѣмъ могли получать служащіе? Я недоумѣвалъ, но, перезнакомившись съ служебнымъ персоналомъ, я мало-по-малу проникъ взглядомъ въ губернскую бездну. Напримѣръ, я узналъ, что всякій священникъ или благочинный, обязательно представляя въ годъ двѣ книги въ консисторію, одну метрическую, другую не помню какую, прилагалъ, смотря по приходу, извѣстную сумму для секретаря: кто сто, кто двѣсти или и болѣе рублей. Можно сообразить, по числу приходовъ въ епархіи, какая почтенная сумма составлялась изъ такихъ приношеній. А если къ этому прибавить бракоразводныя дѣла — то какъ было не нажить секретарю домà и деревни!

Точно такъ же и въ губернской службѣ: городничіе, исправники представляли свои годичныя вѣдомости, отчеты и прочее, тоже «со вложеніемъ» извѣстной суммы, иногда крупной, если въ этихъ отчетахъ и вѣдомостяхъ, т.-е. въ городахъ и уѣздахъ, не все обстояло благополучно.

Давали не то что случайно, для покрытія какихъ-нибудь темныхъ дѣлъ, а такъ просто, по обычаю. И какъ не дать: пожалуй, иной правитель дѣлъ, или лицо по особымъ порученіямъ, при случаѣ и напакоститъ, а, получивъ подарочекъ—посовѣстится, и если бы случился грѣшокъ, то замнетъ, промолчитъ.

Прошу замѣтить, что я говорю про давнопрошедшее время: теперь, вѣроятно, священники посылаютъ въ консисторію только однѣ книги, а городничіе и исправники — одни чистые отчеты безъ «вложенія» для секретарей.

Я помню юмористическій разсказъ губернаторскаго чиновника по особымъ порученіямъ, Янова, человѣка образованнаго, собесѣдника веселаго, неистощимаго на анекдоты и разсказы. Предмѣстникъ Углицкаго употреблялъ его по

письменной части, такъ какъ онъ писалъ скоро, живо и хорошо, но долженъ былъ удалить его отъ писанія. Онъ въ дѣловыя бумаги подпускалъ остроты и юморъ. Губернаторъ ему однажды замѣтилъ, что въ дѣловыхъ письмахъ къ важнымъ лицамъ надо писать имена ихъ полностью, напримѣръ: не Егоръ Петровичъ, а Георгій, не Ефимъ, а Евѳимій Ивановичъ, не Сергѣй, а Сергій и т. д., а къ неважнымъ лицамъ можно-де писать просто. Яновъ принялъ это къ свѣдѣнію и пошелъ писать: къ какому-нибудь министру въ Петербургъ — «Ѳедорей Павловичъ», «Михалій Ивановичъ», а къ простымъ, напротивъ, вмѣсто Аѳанасій Степановичъ, писалъ «Аѳанасъ Степановичъ» и т. п. Нѣсколько такихъ бумагъ успѣли проскочить въ Петербургъ и возбудили тамъ вниманіе. Потомъ въ одной дѣловой бумагѣ, говоря о какомъ-то умершемъ чиновникѣ, написалъ, что «покойный былъ безпокойнаго нрава». За эти остроты отъ писанія бумагъ его устранили.

Обращаюсь къ его разсказу. Это говорилось въ губернаторской канцеляріи, при другихъ, между прочимъ при правителѣ канцеляріи. Губернаторъ задумалъ объѣзжать, по положенію, губернію и послалъ Янова впередъ, въ тѣ мѣста, гдѣ онъ хотѣлъ самъ побывать и осмотрѣть. Это дѣлалось съ тѣмъ, чтобы по уѣздамъ привели все въ порядокъ, исправили неисправности, словомъ,—чтобъ проснулись, гдѣ власти спятъ, и принялись за дѣло. Заставать врасплохъ и потомъ карать за неисправности, или ждать исправленія — казалось хуже. По отъѣздѣ губернатора опять спустили бы рукава—и спускали. Губернскія власти знали это очень хорошо по опыту.

— Вотъ я поѣхалъ, — разсказывалъ Яновъ: — пріѣхалъ въ К., остановился у городничаго; квартира уже была готова. Онъ угостилъ отличнымъ завтракомъ, потомъ сталъ показывать толстыя дѣла, какія-то книги и бумаги.—«Потрудитесь провѣрить приходъ и расходъ суммъ», говоритъ.

Я, наморщивъ лобъ, пристально заглянулъ въ нихъ, не прочиталъ ни строчки, притворился, что провѣрилъ итоги. «Вѣрно», говорю: «прощайте». — «Вотъ еще полиція, пожарная команда,—говоритъ: — не угодно ли взглянуть?»— А я ужъ влѣзъ въ тарантасъ. «Ахъ, чортъ бы тебя взялъ, мучитель!» думаю. «Превосходно», говорю: «такъ и блеститъ! А пожарные, какіе молодцы!» — добавилъ я, глядя на мизерныхъ, маленькихъ четырехъ солдатиковъ, въ изношенныхъ мундирахъ. — «Мундиры съ иголочки!» — подсмѣивался я. Я сталъ надѣвать перчатки: только одинъ палецъ не лѣзетъ—что̀ такое? Я опрокинулъ перчатку: изъ пальца ко мнѣ на колѣни посыпались золотые, штукъ двадцать. Я проворно подобралъ, спряталъ ихъ въ карманъ. «Прощайте,—говорю, приподнявъ фуражку: — у васъ все въ отличномъ порядкѣ, вы примѣрный чиновникъ:— такъ и губернатору доложу. Трогай!» Пріѣхалъ въ С. Та же исторія: ночлегъ у городничаго, отличный ужинъ съ шампанскимъ — и гдѣ только они его тамъ берутъ въ захолустьѣ? На другой день такой же смотръ и отъѣздъ. Прощаюсь, надѣваю перчатку; опять палецъ не лѣзетъ и перчатка тяжела. Мнѣ это понравилось. Дальше я ужъ самъ сталъ смотрѣть — тяжела ли перчатка и лѣзутъ ли пальцы?

— Вы, можетъ-быть, думаете, что онъ шутитъ? — сказалъ мнѣ секретарь, смѣясь:—вовсе нѣтъ: это точь-въ-точь было!

— Какія шутки! — почти обидчиво замѣтилъ разсказчикъ.—Воротясь, послѣ ревизіи, я за обѣдомъ у губернатора разсказалъ и распотѣшилъ всѣхъ.

— И губернаторъ слышалъ?

— Какъ же: онъ больше всѣхъ тѣшился! — заключилъ разсказчикъ.

— За что̀ же вамъ давали?

— Какъ же: за то, что не смотрѣлъ и не видалъ ничего.

— И у васъ не было того, что называется...—началъ я и остановился, пріискивая слово.

— Scrupule, вѣрно хотите вы сказать? — договорилъ Яновъ:—было, какъ не быть! Я даже думалъ, не отдать ли назадъ, да... передумалъ! Вѣдь это не взятка — фи, какъ можно! Я не способенъ ни прижать, ни пожаловаться, и если бъ нашелъ неисправность, самъ замѣтилъ бы и посовѣтовалъ исправить. А тутъ просто суютъ въ руки лишнія деньги, да еще нажитыя, очевидно, неправедно. Какъ же ихъ не отобрать и не спрятать въ карманъ, тѣмъ болѣе, что перчатки разорвались, не выдержали бы...

И разсказчикъ, и всѣ слушатели смѣялись.

Зимой, я помню, одна барыня, небогатая помѣщица, сѣтовала, разсказывая своей пріятельницѣ при мнѣ и еще при одномъ родственникѣ, старикѣ, по секрету, о своемъ недоумѣніи, за кого выдать дочь, хорошенькую дѣвушку, съ которой мнѣ приходилось иногда танцовать на вечерахъ.

— Двое приглядываются къ моей Катѣ,—говорила она:— и Ягорскій, и Мальхинъ: того и гляди сдѣлаютъ предложеніе, а я не знаю, какъ быть, за котораго отдать? Ягорскій — женихъ бы хоть куда! И Катѣ нравится, изъ себя видный, славно танцуетъ, по-французски говоритъ, такъ и сыплетъ...

— Такъ, вотъ, за него бы и отдать, если онъ нравится барышнѣ,—вставилъ я.

— Вотъ молодые люди: у нихъ все романы въ головѣ! У меня еще дома двѣ на рукахъ: многаго я дать не могу, чѣмъ же станутъ молодые жить? Вотъ у Мальхина, такъ у того полтораста душъ, доходу отъ должности, говорятъ, тысячъ пять получаетъ...

— Помилуйте, онъ плѣшивый, толстый, да еще взятки беретъ!—брезгливо перебилъ я.

— Ну, нѣтъ: онъ свѣжій, бодрый, что называется—«высоку». Брюшко, точно, есть, но онъ еще танцуетъ на ба-

лахъ,—заступился за него старичокъ.—А какія это взятки! Не взятки, милостивый государь, а доходы получаетъ по мѣсту совѣтника казенной палаты! — строго прибавилъ онъ.

— Ну, это все равно,—сказалъ я.

— Какъ все равно!—горячился старикъ:—не все равно! Вотъ будете служить, тоже сами будете получать доходъ: безъ дохода нельзя...

— Не буду!—сердито отрѣзалъ я.

— Молодо, зелено!—сказала мать Кати.

Такъ казна, пассивно допуская нештатные «сборы», негласно дѣлилась со служащими своими доходами, и тѣмъ дополняла не хватавшее на прожитокъ скудное жалованье.

VII.

Губернаторъ, Левъ Михайловичъ Углицкій, былъ стариннаго дворянскаго рода, учился, кажется, въ пажескомъ корпусѣ, или дома, а вѣрнѣе, должно-быть, нигдѣ не учился. Онъ бѣгло говорилъ по-французски, а русской рѣчью владѣлъ мастерски, безъ книжнаго краснорѣчія. Она свободно лилась у него, умно, блестяще, съ искрами юмора, съ неожиданными ловкими оборотами, остроумными сравненіями, антитезами. Я, да и другіе тоже заслушивались его разсказовъ: онъ былъ виртуозъ-разсказчикъ. Онъ отлично пользовался—не пріобрѣтенными систематическимъ путемъ, а всячески нахватанными знаніями почти во всемъ и обо всемъ. А нахваталъ онъ знанія не изъ книгъ, не въ школѣ, а съ живыхъ людей, на ходу, въ толпѣ безчисленныхъ знакомыхъ во всѣхъ слояхъ общества. У него, въ памяти, какъ у швеи въ рабочемъ ящикѣ, были лоскутки всякихъ знаній, и онъ быстро и искусно выбиралъ оттуда нужный въ данную минуту клочокъ. Что̀ западало ему въ память, то и оставалось тамъ навсегда и служило ему вѣрно. У него развился взглядъ и вкусъ и въ литературѣ, и въ искусствахъ, особенно въ живописи. Онъ былъ не только любитель, но

и знатокъ хорошихъ картинъ. Апломбъ въ разговорѣ, что называется, у него былъ удивительный: онъ отважно врѣзывался въ разговоръ, какъ рубака въ непріятельскій строй, и отлично уклонялся, когда натыкался на неодолимую преграду.

Особенно мастерски владѣлъ онъ софизмомъ, какъ отличный дуэлистъ шпагой, и спорить съ нимъ, поставить его въ границы строгой логики, было мудрено: онъ не давался.

Нѣкоторые изъ его разсказовъ такъ и просились подъ перо. Если бъ я могъ предвидѣть, что когда-нибудь буду писать для печати, я внесъ бы нѣкоторые разсказы въ памятную книжку. Иные еще и теперь сохранились у меня въ памяти. Особенно интересны у него выходили характеристики нѣкоторыхъ извѣстныхъ, громкихъ личностей, съ которыми онъ былъ въ сношеніяхъ личныхъ или служебныхъ. Онъ долго служилъ адъютантомъ у разныхъ начальниковъ и сохранилъ въ памяти живую характеристику о нихъ. У него была масса воспоминаній, скопившихся за тридцать слишкомъ лѣтъ, съ начала нынѣшняго столѣтія. Онъ такъ же, какъ Онѣгинъ, помнилъ и всѣ анекдоты «отъ Ромула до нашихъ дней». У него въ натурѣ была артистическая жилка—и онъ, какъ художникъ, всегда иллюстрировалъ портреты разныхъ героевъ, напримѣръ, выдающихся дѣятелей въ политикѣ, при дворѣ, или героевъ отечественной войны, въ которой, юношей, уже участвовалъ, ходилъ брать Парижъ, или просто извѣстныхъ въ обществѣ людей. Но вотъ бѣда: иллюстраціи эти — какъ лицъ, такъ и событій — отличались иногда такою тонкостью, изяществомъ деталей и такою виртуозностью, что и лица, и событія казались подчасъ цѣликомъ сочиненными. Иногда я замѣчалъ, при повтореніи нѣкоторыхъ разсказовъ, перемѣны, вставки. Оттого полагаться на фактическую вѣрность ихъ надо было съ большой оглядкой. Онъ плелъ ихъ какъ кружево. Всѣ слушали его съ наслажденіемъ, а я, кромѣ того, и съ не-

довѣріемъ. Я проникалъ въ игру его воображенія, чуялъ, гдѣ онъ говоритъ правду, гдѣ украшаетъ, и любовался не содержаніемъ, а художественной формой его разсказовъ. Онъ, кажется, это угадывалъ, и самъ гнался не столько за тѣмъ, чтобы поселить въ слушателѣ довѣріе къ подлинности событія, а чтобъ произвести извѣстный эффектъ — и всегда производилъ.

Между тѣмъ, все-таки онъ былъ безграмотный, или, по меньшей мѣрѣ, полуграмотный. Ни по-русски, ни по-французски онъ не напишетъ двухъ-трехъ строкъ грамматически правильно. Орѳографія и синтаксисъ отсутствовали. Для переписки, даже для писанія простыхъ интимныхъ писемъ, ему нуженъ былъ секретарь или секретари. Какъ это могло случиться — не знаю и до сихъ поръ. Я долго, особенно послѣ въ Петербургѣ, служилъ ему добровольнымъ секретаремъ.

Губернаторскій домъ былъ убранъ со вкусомъ и поставленъ Углицкимъ на широкую, щегольскую ногу. Особенно коллекція картинъ въ его кабинетѣ была замѣчательна. Кромѣ того, вдобавокъ къ казенной мебели, онъ выписалъ еще много ненужныхъ вещей, всегда съ печатью вкуса, изъ Петербурга и Москвы, завелъ щегольской экипажъ, красивыхъ лошадей, выписалъ тонкаго повара. Камердинеръ у него былъ что-то въ родѣ какого-нибудь французскаго Ляфлёра, Пикара или Лебеля, гладкій, красивый, откормленный, одѣтъ щегольски, почти какъ его господинъ, съ напускной важностью, почтительный съ его превосходительствомъ и наглый съ просителями, плутъ и взяточникъ. Словомъ, все — на широкую, барскую ногу, и не по провинціальному, а по петербургскому масштабу.

«Стало-быть, у него много было денегъ?» слѣдуетъ за этимъ вопросъ. — Ничего у него не было, кромѣ жалованья и... долговъ! Жалованья полагалось губернатору шесть тысячъ рублей (ассигнаціями), казенный домъ, отопленіе, освѣ-

щеніе—и только. Послѣ, кажется, впрочемъ, удвоили окладъ, но не помню, было ли то при Углицкомъ, или послѣ него. Какъ же жить, да еще на такую широкую ногу, щегольски?

Подумаютъ, можетъ-быть, что онъ тоже имѣлъ «доходы» по должности. Нѣтъ, никогда. Онъ былъ очень опрятенъ, держалъ себя безукоризненно, джентльменомъ. Все, что доставлялось на губернаторскій домъ изъ лавокъ, оплачивалось немедленно. Такъ было во все время его губернаторства, и при отъѣздѣ его оттуда, за нимъ, ни у одного купца, ни въ какой лавкѣ, не осталось ни гроша долга.

Онъ щеголялъ этимъ, какъ щеголялъ изящнымъ костюмомъ отъ петербургскаго портного, покроемъ и бѣлизной бѣлья, чистыми, прозрачными ногтями. Ничѣмъ этимъ, какъ и мелкими долгами, онъ не грѣшилъ.—Это «mauvais genre»,—говорилъ онъ.—«Послѣ того, остается мнѣ пойти съ этими торгашами въ харчевню чай пить, или въ Петербургѣ гулять по Невскому проспекту въ фуражкѣ, а въ театрѣ въ первый рядъ залѣзть въ зеленыхъ замшевыхъ перчаткахъ и т. п. Фи! On risque se déclasser!»

Крупныхъ «доходовъ» по службѣ онъ гнушался не менѣе—въ родѣ, напримѣръ, положенныхъ, будто бы, ежегодныхъ субсидій отъ откупщика губернаторамъ и другимъ властямъ покрупнѣе, по нѣскольку тысячъ. Углицкій сказывалъ мнѣ потомъ объ этихъ попыткахъ приношенія со стороны откупщика.

— Какъ же вы это приняли?—спросилъ я.

— Allez vous promener!—сказалъ я ему на его намеки. «Но вѣдь это вездѣ дѣлается: это обычай!» — настаивалъ откупщикъ, и отошелъ съ носомъ.

Это, конечно, была правда. Если бъ Углицкій поползнулся на такой доходъ, онъ мнѣ бы объ этомъ не заикнулся.

Но... но... вотъ онъ что прибавилъ и поставилъ меня втупикъ.

— Кто беретъ эти приношенія, — сказалъ онъ: — тѣ

обязаны потомъ дѣлать по откупамъ разныя потворства. Прошлой весной онъ подъѣхалъ-было ко мнѣ съ просьбой: выпусти, да выпусти я хлѣбъ къ сплыву по Волгѣ...

(Какой это хлѣбъ и почему его нельзя было отпустить, я теперь совершенно забылъ.)

— Что же вы?—спросилъ я:—конечно, не разрѣшили?

— Разумѣется, нѣтъ. Сталъ приставать: мы съ нимъ пріятели—хлѣбъ-соль водимъ: c'est un bon enfant après tout. Мнѣ не хотѣлось отдѣлаться сухимъ отказомъ: «вотъ,—сказалъ я,—я на той недѣлѣ ѣду въ С. уѣздъ—вы вѣдайтесь. какъ хотите, съ вице-губернаторомъ: онъ безъ меня будетъ управлять губерніей».

— Что же онъ?

— Ничего не сказалъ, почесалъ только за ухомъ. Я уѣхалъ. Переправляюсь въ С. уѣздѣ черезъ Волгу, вижу: плывутъ росшивы. Спрашиваю, съ чѣмъ это? отъ кого? «Съ хлѣбомъ,—говорятъ:—откупщикъ внизъ спускаетъ...»

Губернаторъ заключилъ еще свой разсказъ смѣхомъ. Не знаю, замѣтилъ ли онъ, какой крупный и неопрятный софизмъ вставилъ онъ въ свою службу. Мой барометръ его нравственности сталъ колебаться.

Потомъ онъ на вечерахъ игралъ въ карты, если не съ азартомъ, то съ значительнымъ увлеченіемъ, между прочимъ и съ откупщикомъ. Злоязычный Яновъ разсказывалъ, что «откупщику не везетъ въ игрѣ... съ Львомъ Михайловичемъ»,—добавилъ онъ съ комическимъ вздохомъ.

— Зачѣмъ же онъ не броситъ, если проигрываетъ?—спросилъ я.

Яновъ засмѣялся и похлопалъ меня по колѣнкѣ.

VIII.

Но все-таки Углицкій былъ въ долгу, какъ въ шелку. У него были не мелкіе, а довольно крупные и притомъ стереотипные долги. Общую сумму своихъ долговъ онъ опре-

дѣлалъ въ тридцать-семь тысячъ, т.-е. стереотипныхъ долговъ. Сумма же подвижныхъ, мелкихъ долговъ мѣнялась, то повышалась, то понижалась: послѣднее случалось, когда заимодавецъ попадалъ въ «денежную минуту», узнавалъ, что Углицкій получилъ кушъ. Онъ уплачивалъ, если не все, то хоть часть. Если же долгъ затягивался, то, послѣ извѣстнаго срока, причислялся къ стереотипнымъ. Правда, онъ возлагалъ упованіе на наслѣдство послѣ какой-то богатой бездѣтной тетки въ Петербургѣ,—но это наслѣдство было проблематическое, въ родѣ ожиданія пріѣзда богатаго дяди изъ Америки.

Итакъ, онъ жилъ прежде всего долгами, какъ отецъ Онѣгина, по словамъ Пушкина. Тогда, кажется, и все старое поколѣніе пробавлялось этимъ способомъ: только «лѣнивый», по пословицѣ, не дѣлалъ долговъ. Когда, бывало, упрекнутъ кого-нибудь долгами, у виноватаго всегда былъ готовъ стереотипный отвѣтъ: «у кого ихъ нѣтъ?»

У Углицкаго дѣланіе долговъ было приведено въ систему, которую онъ прилагалъ къ дѣлу такъ же виртуозно, какъ юморъ и остроуміе къ разсказамъ. Система, очевидно, принадлежала воспитанію и нравамъ его времени. Долги дѣлались и не платились какъ-то помимо всякихъ вопросовъ о нравственности, какъ хожденіе въ церковь и усердное исполненіе религіозныхъ обрядовъ у многихъ молящихся часто не вяжется съ жизнью. Напримѣръ, украсть у ближняго изъ кармана, изъ стола, тайно присвоить — никто и никогда изъ этихъ «джентльменовъ» не рѣшался, скорѣй застрѣлится; а занять съ обѣщаніемъ отдать «при первой возможности», «при удобномъ случаѣ», и забыть—это ничего, можно!

Какъ могли эти господа жить и спать, что называется, на оба уха, беззаботно, не заглядывая изъ сегодня въ завтра — непостижимо для человѣка въ здравомъ умѣ и твердой памяти! А они жили и жили уютно, комфортабельно,

изящно— и считали себя, не шутя, джентльменами. Напримѣръ, Углицкій разсказывалъ мнѣ уже послѣ, когда мы пріѣхали въ Петербургъ (я забѣгаю впередъ), какъ онъ однажды за границей очутился «entre de mauvais draps» и какъ выпутался. Послѣ отставки онъ поселился въ Парижѣ, конечно, съ подругой. Пенелопа его, Марья Андреевна, оставалась въ Петербургѣ, на маленькой квартиркѣ, «на Антоніевой пищѣ»; дочь была помѣщена въ первоклассный пансіонъ оканчивать воспитаніе, конечно, на чужой счетъ— тетки или другой благотворительницы—не помню. Въ Парижѣ онъ взялъ квартиру, завелъ мебель, разумѣется, изящную — все это на счетъ своей побочной, увлеченной имъ супруги. Жила эта чета не стѣсняясь, пользуясь всѣми парижскими благами и, наконецъ, черезъ годъ—прожились. Онъ сбылъ мебель и всѣ вещи за безцѣнокъ и уѣхалъ на Рейнъ, потомъ во Франкфуртъ—и въ одинъ день... «Figurez-vous,—говорилъ онъ:—у меня осталось всего 25 талеровъ». Я вчужѣ ужаснулся, слушая его. «Что же вы сдѣлали?»—спрашиваю я. «Я ходилъ по франкфуртскимъ бульварамъ и все думалъ, какъ извернуться... Тамъ есть павильонъ въ одномъ саду, съ статуей Аріадны «на тигрѣ», открытый для публики. Я отъ нечего-дѣлать зашелъ туда. Смотрю на эту Аріадну и думаю... думаю: «нѣдь этотъ садъ богатаго банкира... Пойду къ нему!» — и пошелъ.—Дома, принимаетъ. Какъ о васъ доложить?—«Gentilhomme russe». Банкиръ принялъ меня съ утонченной вѣжливостью, спросилъ, «чему онъ обязанъ честію», и т. д. Я ему очень слегка, небрежно, шутя, очертилъ свое критическое положеніе. «Figurez-vous, говорю: у меня 25 талеровъ въ карманѣ, а мнѣ до дома больше 300 миль... и мнѣ необходимо»...— «Сколько вамъ нужно?—спросилъ онъ выслушавъ:—чтобъ доѣхать?»—«Тысячи двѣ франковъ, я полагаю, довольно»... Представьте, онъ подошелъ къ столу, отрѣзалъ чекъ на эту сумму и велѣлъ человѣку проводить меня въ кассу... «Но

вѣдь ему надо было скоро заплатить: у васъ было что-нибудь въ виду?»—«Ни гроша въ виду».—«Какъ же вы думали сдѣлать?»—«Никакъ не думалъ». Я смотрѣлъ на него въ страхѣ за него, а онъ отвѣчалъ мнѣ веселымъ взглядомъ. «Il y a une providence pour les malheureux...—продолжалъ онъ: — Figurez-vous: по Рейну въ это время ѣхалъ нашъ Дворъ; я бросился въ Эмсъ — нашелъ между придворными друзей, сослуживцевъ, и представилъ имъ свое положеніе живо, въ яркихъ краскахъ, даже прослезился. Обо мнѣ доложили... Тамъ вспомнили, что я когда-то танцовалъ на придворныхъ балахъ... и мнѣ выдали двѣ тысячи пятьсотъ франковъ. Я сейчасъ отвезъ деньги къ банкиру и поспѣшилъ въ Россію».

Здѣсь кстати приведу еще два разсказа самого Углицкаго и его пріятеля, отставного полковника Сланцова, другъ о другѣ. Сланцовъ былъ однополчанинъ Углицкаго, жилъ съ нимъ вмѣстѣ, что называется, душа въ душу. То же воспитаніе, нравы, прекрасный тонъ, манеры, щегольство, та же бойкость французской и русской рѣчи на словахъ и та же малограмотность на письмѣ. Кажется, все ихъ поколѣніе какъ-то свысока смотрѣло на грамотность. Письменныя занятія презрительно назывались нѣкоторыми тогдашними военными: «купаться въ чернилахъ».

У Сланцова было порядочное имѣніе за Волгой, гдѣ онъ проводилъ лѣтніе мѣсяцы, а въ городѣ былъ гостемъ Углицкаго. Когда они были вмѣстѣ, для гостей просто былъ праздникъ слушать ихъ. Однажды, послѣ обѣда, мы сидѣли у камина въ кабинетѣ Углицкаго втроемъ, т.-е. они двое и я.

Они пустились въ откровенныя воспоминанія, удили изъ прошлаго другъ у друга ѣдкіе случаи и перекидывались ими, какъ шалуны, хлѣбными шариками за обѣдомъ между собой.

— Послушайте, что онъ со мной сдѣлалъ однажды!— разсказалъ, между прочимъ, Углицкій про Сланцова:

— Это было въ Германіи; мы (съ войскомъ) подвигались къ французской границѣ. Нашъ полкъ былъ въ... (я забылъ теперь, какое мѣстечко онъ назвалъ). Я былъ полковымъ адъютантомъ. Командиръ послалъ меня верстъ за сорокъ, къ дивизіонному генералу, съ бумагами и порученіями. Я взялъ троихъ людей изъ полка и отправился верхомъ. Денегъ у насъ—ни у него (онъ указалъ на Сланцова), ни у меня не было ни алтына, nous étions à sec, ждали все изъ дома. А изъ дома получали только слезныя письма: «послѣ французовъ все разорено, не поправились, дохода нѣтъ, чтобъ потерпѣли, пробавлялись казеннымъ» и т. п. канитель! Жили мы на одной квартирѣ, у старой нѣмки, обѣдали у командира, да у офицеровъ, у кого были деньги. Между тѣмъ у насъ въ полку велась крупная игра. Былъ одинъ капитанъ Шлепковъ — такъ отшлепывалъ въ банкъ, что иногда всѣ деньги изъ полка соберутся у него,—и потомъ у него же занимаются. Усталый, злой, голодный, я воротился дня черезъ три домой. «Гдѣ Андрей Иванычъ?»— спрашиваю у денщика. «Къ Шлепкову, говоритъ, пошли, и всѣ господа тамъ». Я сталъ раздѣваться, вдругъ вижу письмо за зеркаломъ: отъ матери. Я обрадовался до слезъ, сталъ читать, пропустилъ разныя домашнія подробности, съ поклонами отъ тетокъ, дядей, кузинъ, и добрался до живого мѣста: «посылаю тебѣ, милый Левушка, сто золотыхъ». Я чуть не прыгнулъ до потолка. Дальше мелькомъ пробѣжалъ строки: «разорены отъ французовъ... береги деньги... долго не пришлю... эти заняла»... и т. д. Я спряталъ письмо и сталъ искать денегъ на столѣ, въ столѣ—нѣту. «Кто принесъ письмо?»—спрашиваю денщика. «Андрей Ивановичъ говоритъ, положилъ его за зеркало». «Вѣрно, деньги спряталъ къ себѣ въ ящикъ: умникъ!» — подумалъ я — и, какъ блаженный, поужиналъ и легъ спать. У меня такъ и звенѣли въ ушахъ все золотые. Я мечталъ, какъ я разгуляюсь на завтра и... конечно, поиграю, обыграю Шлепкова. Ут-

ромъ рано кричу съ постели: «Андрей! Андрюша!» Храпитъ. Черезъ полчаса опять зову. «Мм»... мычитъ. Потомъ, слышу, возится, встаетъ. «Гдѣ деньги спряталъ? — спрашиваю:—въ ящикѣ, что ли?» Кряхтитъ. «Говори же!»— «Погоди... сапогъ не лѣзетъ». Опять кряхтитъ. «Давай же деньги?»—говорю. «Какія деньги?» — «Какъ какія деньги? вѣдь ты вѣрно съ письмомъ и деньги изъ канцеляріи принесъ?»—«Ахъ, эти-то! Да, принесъ... Эхъ, другой сапогъ не лѣзетъ!»...—«Гдѣ же деньги? Не томи, говори и давай... въ столѣ, что ли, у тебя?»...—«Нѣтъ, онѣ... у Шлепкова»,— говоритъ. Я ужаснулся. «Какъ такъ?»... «Отшлепалъ, братъ Лёвушка; такъ отшлепалъ... ахъ, проклятые сапоги?»...— «Ужели ты все спустилъ, безсовѣстный?» — спрашиваю. А онъ въ отвѣтъ мнѣ только печально головой кивнулъ...

— Что жъ ты не прибавилъ вздоха моего? — перебилъ Сланцовъ. — Я такъ вздохнулъ, что денщикъ пришелъ:— думалъ—зову его! «Ужели ты мнѣ хоть пяти золотыхъ не оставилъ?» горько упрекнулъ онъ меня, какъ теперь помню...

— И это все правда?—спросилъ я.

— Да, это... правда, — сознался Сланцовъ: — Que voulez-vous! Nous étions en guerre, et à la guerre comme à la guerre?

— Ну, погоди же: ты дискредитировалъ меня передъ молодымъ человѣкомъ—онъ подумаетъ, что я нахалъ, а ты великодушный другъ! Я тоже могу припомнить кое-что: какъ ты мнѣ отплатилъ. Figurez-vous, — обратился онъ ко мнѣ и продолжалъ по-французски, но потомъ перешелъ на русскую рѣчь. — Мы воротились въ Петербургъ, я вышелъ въ отставку, а онъ (указывая на Углицкаго) остался въ полку, жили мы вмѣстѣ. Я нанялъ квартиру, отдѣлалъ ее щегольски, накупилъ мебели, лампъ, вазъ, зеркалъ, картинъ, разныхъ дорогихъ bibelots—cela m'a couté les yeux de la tête—словомъ, промотался—конечно, пока въ долгъ.

Сдѣлалъ также полный гардеробъ. Понадобилось мнѣ, однако, съѣздить въ деревню добыть денегъ. Съ этой войной, да съ походами, я не имѣлъ понятія о своихъ дѣлахъ, не зналъ, что у меня есть, что въ имѣніи дѣлается. Я поѣхалъ на какой-нибудь мѣсяцъ—осмотрѣться, распорядиться. Пріѣхалъ — и нашелъ хаосъ: денегъ въ конторѣ пять рублей, староста въ бѣгахъ. Я попробовалъ похозяйничать—вышло хуже. Зато священникъ встрѣтилъ меня съ крестомъ и святой водой, а приказчикъ поднесъ хлѣбъ-соль. Я подумалъ-подумалъ, перебывалъ у всѣхъ сосѣдей, звалъ и угощалъ у себя уѣздную челядь, засѣдателей, исправниковъ и прочихъ и, наконецъ, нашелъ сосѣда — домосѣда, практическаго хозяина и скрягу, — честнаго и аккуратнаго, который всю жизнь просидѣлъ между пшеницей и овсомъ, самъ сѣялъ, жалъ и мололъ и самъ возилъ свой хлѣбъ на пристань, на Волгу. Онъ за пять процентовъ съ дохода взялъ всѣ мои дѣла на свои плечи. И теперь всѣмъ завѣдуетъ, конечно, лучше меня. Все это задержало меня вмѣсто мѣсяца — цѣлыхъ четыре. Осенью я воротился въ Петербургъ. Пріѣзжаю вечеромъ: его (указывая на Углицкаго) не было дома. Было еще не поздно, и я хотѣлъ поѣхать вечеромъ куда-нибудь къ знакомымъ. Обрился и велѣлъ дать одѣться. «Что прикажете подавать?» спрашиваетъ камердинеръ. «Дай синій фракъ». — «Синяго фрака нѣтъ»... — «Какъ нѣтъ: гдѣ же онъ? Я его не бралъ съ собою». Вижу, что Петрушка конфузится и молчитъ. «Пропилъ», думаю. «Куда жъ ты его дѣвалъ?» грозно спрашиваю. «Левъ Михайлычъ, — говоритъ: — взяли»... — «Онъ мундиръ носитъ: зачѣмъ ему?» — «Да... заложили!» Я молчалъ: что было сказать? «Дай другой: тамъ былъ зеленый»... — «И тотъ... тоже-съ»... — «Ну, дай сюртукъ, что есть»...—«Ничего не оставили», говоритъ. Я отворилъ шкапъ: пустой! Осматриваюсь кругомъ: все голо! Беру свѣчку; иду въ гостиную, въ залу: ни картинъ, ни вазъ, ни серебра... «И это все заложилъ!!» въ ужасѣ почти

закричалъ я. «Точно такъ-съ». Только портретъ моей покойной жены сиротливо висѣлъ на стѣнѣ подъ флёромъ! Я въ отчаяніи пожалъ плечами. Вотъ онъ каковъ! Теперь и судите, имѣлъ ли я право проиграть его золотые! — заключилъ Сланцовъ.

— Мнѣ слѣдуетъ спросить, имѣлъ ли я право заложить твои вещи?—добавилъ Углицкій.—Figurez-vous,—обратился онъ, въ свою очередь, ко мнѣ: — онъ (указывая на Сланцова) обѣщалъ выслать мнѣ изъ деревни — если не всѣ, такъ хоть половину проигранныхъ имъ моихъ ста золотыхъ—и въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ не только не прислалъ ни гроша, даже ни строчки не написалъ! Что̀ мнѣ было дѣлать! Мнѣ на обѣдъ не хватало: что̀, не правда?—обратился онъ къ Сланцову. — Я, закладывая твое добро, выручалъ только свои золотые: да! Я хоть портретъ твоей жены оставилъ тебѣ, а ты мнѣ ни одного золотого... за границей не приберегъ. Представьте—ни одного!..

— Ну, Левушка! этого недоставало, чтобъ ты еще этотъ портретъ заложилъ! сознайся—ты былъ бы, что называется, franche canaille!—возразилъ Сланцовъ.

— Что̀ вы скажете, молодой человѣкъ, слушая насъ? — спросилъ Углицкій.—Изверги?

— Нѣтъ, я ничего не скажу, а послѣ насъ современемъ будутъ пѣть: «Вотъ послушайте, ребята, какъ живали въ старину!» — замѣтилъ я, смѣясь. — Но, извините, мнѣ кажется, вы оба въ этихъ разсказахъ усиливаете колоритъ. Потомъ, меня не столько удивляетъ смѣлость этихъ вашихъ проказъ другъ надъ другомъ, сколько трогаетъ кротость, съ какою вы оба принимали это. «Ужели ты мнѣ пяти золотыхъ не оставилъ!» мягко упрекнули вы за растрату денегъ въ критическую минуту — и только! А вы «лишь пожали плечами», найдя пустую квартиру. «О, дружба, это ты!» невольно скажешь!

— О, нѣтъ, мы дня три ненавидѣли другъ друга послѣ

того, дулись, не говорили между собой, а потомъ сейчасъ же помирились, какъ только кто-то первый... не помню, ты или я (Сланцовъ обратился къ Углицкому)—денегъ достали, конечно, въ долгъ... и замазали брешь. А съ нимъ мы не считались: *твое* и *мое* у насъ, какъ у допотопныхъ людей, не существовало!—заключилъ Сланцовъ.

Меня, новаго, свѣжаго молодого человѣка, удивляло и занимало все въ этихъ людяхъ. И это систематическое, искусное проживательство на чужой счетъ, и безцѣльная канитель жизни, безъ идей, безъ убѣжденій, безъ опредѣленной формы, безъ серьезныхъ стремленій и увлеченій, безъ справокъ въ прошломъ, безъ заглядыванія въ будущее. Если и было дѣло, оно тянулось вяло, сонно, какъ-нибудь.

Сколько пропадало, уходило ни на что̀ силъ и дарованій въ этомъ, тогда старомъ поколѣніи людей! Вотъ хоть бы эти два представителя своего времени, Углицкій и Сланцовъ, и сколько другихъ, — подобныхъ имъ, — были умные, живые, даровитые. Это видно было изъ каждаго слова, шага. Оба прошли строгую военную школу, сражались, дѣлали, что̀ имъ приказывали, и ни одинъ не вложилъ въ дѣло часть самого себя, что-нибудь свое. Изъ войны, походовъ, сраженій, они оба вынесли впечатлѣнія личной отваги, блеска, щегольства, разныхъ веселыхъ авантюръ за границей, изображали все это въ остроумныхъ, пикантныхъ разсказахъ. Серьезная, строгая сторона той великой эпохи отъ нихъ ускользнула. Они ея будто не видали, жили какъ-то внѣ ея. Дома у себя — та же беззаботность и безсодержательность жизни. Сланцовъ не умѣлъ распорядиться своимъ имѣніемъ и сдалъ на руки другому. Углицкій въ дѣлахъ по своей должности былъ очень чутокъ, наблюдателенъ и зорокъ, и былъ бы исполнителенъ, если бъ... Вотъ это «если бъ!» У меня была бабушка, которая говаривала: «если не *бы*, да не *но*, были бы мы богаты давно!» Былъ бы исполнителенъ и Углицкій, если бъ... хотѣлъ.

А былъ способенъ. Бывало, пришлютъ ему массу протоколовъ изъ губернскаго правленія для подписанія. Онъ самъ слушалъ чтеніе ихъ въ правленіи разсѣянно, безпрестанно отвлекался, разсказывалъ членамъ новости, анекдоты, шутилъ. А въ кабинетѣ у себя, когда его домашній чиновникъ, проживавшій у него чѣмъ-то въ родѣ легавой собаки, бѣгавшій съ разными поносками, и иногда postillon d'amour, станетъ читать подробно, онъ нетерпѣливо вырываетъ у него бумагу и подписываетъ.. «Я еще не дочиталъ, о чемъ протоколъ!» замѣтитъ чиновникъ. «Хочешь,—скажу о чемъ!» отвѣтитъ губернаторъ и скажетъ. По одному намеку въ началѣ протокола онъ зналъ, о чемъ говорится дальше, нужды нѣтъ, что въ правленіи слушалъ чтеніе въ полъ-уха.

Толпу просителей приметъ живо, бойко, разберетъ и отпуститъ въ какіе-нибудь полчаса. Осмотритъ тюрьму, какой-нибудь госпиталь — все это на ходу, мимоѣздомъ, до завтрака, а между завтракомъ и обѣдомъ дѣлаетъ или принимаетъ визиты. Словомъ, снаружи дѣло такъ и кипѣло у него и около него,—и все-таки ничего новаго, живого, интереснаго во всей административной машинѣ не было. У него была тьма способностей, но живъ, бодръ, зорокъ и очень подвиженъ былъ онъ самъ, а дѣло оставалось такимъ же, какъ онъ его засталъ.

Зато, какъ онъ былъ представителенъ, présentable, по его выраженію! Какъ красиво губернаторствовалъ въ пріемахъ у себя на дому, въ гостиныхъ у губернской знати, на губернаторскихъ выходахъ въ праздники, или въ соборѣ у обѣдни! Всякій въ толпѣ, не зная его, скажетъ, что это губернаторъ. Когда онъ гулялъ одинъ пѣшкомъ по городу, незнакомые встрѣчные снимали шляпу, узнавая въ немъ «особу». Онъ пуще всего дорожилъ представительностью, и другихъ цѣнилъ по тону, позѣ, манерамъ. Онъ представительность смѣшивалъ съ добродѣтелью и снисходилъ, ради нея, къ чужимъ порокамъ, а къ своимъ и подавно, чувствуя

себя présentable au plus haut degré.—«Très présentable!» было у него высшей аттестаціей новаго лица.

Я сказалъ, что новаго, живого въ свое дѣло онъ не вносилъ: виноватъ. Онъ задумалъ ввести кое-что новое—именно: прекратить «нештатные» доходы или поборы, о которыхъ не могъ не знать подробно. Excusez du peu! Онъ уже не разъ проговаривался объ этомъ въ обществѣ и наводилъ на коренныхъ губернскихъ служакъ пугливое недоумѣніе. Тѣ стали оглядываться и шептать между собою.

Мало-по-малу замыселъ этотъ сталъ проявляться у него и на дѣлѣ, пока еще тѣмъ, что онъ двухъ-трехъ «оглашенныхъ», и частію уличенныхъ въ мелкихъ поборахъ подчиненныхъ призывалъ къ себѣ и пригрозилъ имъ судомъ. Всѣ встрепенулись.

Къ исполненію этого своего замысла онъ вздумалъ привлечь... меня!! Я у него, въ качествѣ знакомаго, до наступленія осенняго сезона, почти не бывалъ, заѣзжалъ только изрѣдка, по настоянію Якубова, къ губернаторскому подъѣзду въ такіе часы, когда Углицкаго не было дома.

Все, что я говорю о немъ, между прочимъ и вышеприведенный разсказъ о разговорѣ его съ Сланцовымъ, происходило зимой, когда я у него въ домѣ близко ознакомился съ нимъ и со всѣмъ его домашнимъ бытомъ.

IX.

Я собрался совсѣмъ ѣхать въ Петербургъ и запасся рекомендательнымъ письмомъ отъ управляющаго удѣльною конторою—не помню теперь, къ какому вліятельному члену удѣльнаго департамента.

Пока я собирался, дѣлалъ прощальные визиты, губернаторъ вдругъ прислалъ просить меня къ себѣ. Я поѣхалъ. Онъ любезно встрѣтилъ (опять, не подавая руки), повелъ меня въ кабинетъ и усадилъ рядомъ съ собой на диванѣ.

Онъ началъ съ того, что съ юношескою болтливостью раскрылъ предо мною, въ мастерскомъ разсказѣ, хронику служебныхъ «доходовъ» всѣхъ и каждаго въ городѣ, между прочимъ и тѣхъ, кто чуть не ежедневно ѣздили къ нему и принимали его у себя. Онъ не пощадилъ и своего секретаря, безъ котораго онъ, какъ ребенокъ безъ няньки, не дѣлалъ ни шагу. Цѣлый день, и часто ночью, секретарь этотъ не отходилъ отъ него, и чуть ли не спалъ въ вицмундирѣ. «Пожалуйте къ его превосходительству», то и дѣло звучало въ его ушахъ. Чиновниковъ особыхъ порученій, даже до мелкихъ канцелярскихъ чиновъ, онъ тоже перебралъ въ яркомъ характеристическомъ очеркѣ.

«Что же мнѣ-то до этого за дѣло!» думалъ я, слушая. Я зналъ почти все, что онъ говорилъ, да и весь городъ зналъ. Стоило только не зажимать ушей. Всѣ находили, что такъ и должно быть—и не могли понять, отчего губернаторъ вдругъ «взбѣленился», откуда это пошло, кто «почалъ»; теперь сказали бы: по чьей «иниціативѣ» началось.

А по иниціативѣ того же самаго секретаря, котораго такъ живо расписалъ мнѣ губернаторъ, нужды нѣтъ, что они другъ безъ друга, какъ сіамскіе близнецы, жить не могли.

— Вотъ каковъ персоналъ моихъ помощниковъ! — патетически заключилъ свой разсказъ губернаторъ. — Я молчалъ. — Согласитесь, что знать это и терпѣть долѣе было бы съ моей стороны не честно. Я хочу положить этому конецъ.

— Это, вѣдь, значитъ положить конецъ самой системѣ! — робко замѣтилъ я, а самъ подумалъ, что онъ года четыре уже «терпѣлъ» это.

— C'est juste, vout aves parfaitement, mille fois raison! — подтвердилъ губернаторъ.

— Какъ же это сдѣлать?—продолжалъ я.—Если вы удалите этихъ людей...

— Vous y êtes! Ихъ всѣхъ прочь! — вставилъ губернаторъ.

— Тогда надо пригласить другихъ: можетъ-быть, тѣ то же станутъ дѣлать?..

— *Вы* развѣ станете это дѣлать? — вдругъ спросилъ губернаторъ, и самъ же отвѣтилъ:—конечно, нѣтъ.

— Я?!—съ удивленіемъ сказалъ я, даже всталъ съ мѣста.

— Именно вы!—перебилъ Углицкій, усаживая меня рукой на диванъ. — Я остановился на васъ. Вы только-что кончили курсъ въ университетѣ, готовитесь вступить въ службу: чего же лучше, какъ начать ее въ нашемъ родномъ городѣ, живя съ своими?.. и т. д.

Онъ очень искусно развивалъ передо мной заманчивую картину службы при немъ.

— Ваше воспитаніе, благородство, тонъ, манеры, знаніе языковъ, даютъ вамъ всѣ права и преимущества... — И пошелъ, и пошелъ; «и свѣжій-то, и новый-то я человѣкъ, и новые взгляды» у меня, и проч.

Почемъ онъ зналъ мое «благородство» и мои «взгляды»— Богъ его вѣдаетъ! Вѣроятно, потому, что я казался ему «présentable». Онъ искусно воспользовался этими мотивами, чтобы склонить меня.

— Если это и такъ, какъ ваше превосходительство говорите, то позвольте напомнить французскую пословицу: «одна ласточка не дѣлаетъ весны»...

— Вы да я — вотъ ужъ двѣ, — живо перебилъ онъ: — найдемъ и еще, и мы перекукуемъ ночныхъ птицъ. Рѣшайтесь! Да?

— Позвольте спросить, на какую должность вамъ угодно пригласить меня?—спросилъ я.

— Ба! развѣ я еще не сказалъ? На мѣсто секретаря. Вы будете управлять канцеляріей...

Я — юноша — едва не пожалъ плечами отъ удивленія передъ легкомысліемъ этого—чуть не старика.

— Позвольте напомнить,—началъ я, помолчавъ:—что я только-что со школьной скамьи и никакими дѣлами не занимался. Я совершенно неопытенъ. Какъ я могу управлять группой чиновниковъ, уже служившихъ, опытныхъ?.. Я могъ бы, пожалуй, принять въ губерніи мѣсто учителя въ гимназіи, какого-нибудь инспектора уѣздныхъ училищъ, что-нибудь въ этомъ родѣ, а дѣла губернской администраціи мнѣ вовсе незнакомы...

Здѣсь полился у него рядъ доводовъ, построенныхъ больше на софизмахъ, шаткихъ предположеніяхъ...

— Подайте прошеніе,—заключилъ онъ.

— У меня и аттестата еще нѣтъ, — отговаривался я. — Изъ Москвы послано въ Петербургъ, и еще не получено утвержденіе министра. Я не могу поступить на службу...

Онъ вскочилъ съ мѣста, и я всталъ.

— Такъ вотъ что̀ мы сдѣлаемъ,—горячо перебилъ Углицкій: — вы вступите въ отправленіе должности съ завтрашняго же дня, а когда получите аттестатъ, мы васъ утвердимъ съ этого числа.

«Экъ загорѣлось! Ужели онъ всѣ дѣла рѣшаетъ такъ проворно?»—думалось мнѣ.

— Позвольте подумать,—защищался я:—посовѣтоваться съ родными... У меня ужъ письма есть въ Петербургъ отъ Андрея Михайловича... Я еще не знаю!..

Мнѣ, во что бы то ни стало, хотѣлось отдѣлаться отъ этого неожиданнаго предложенія. Меня тянуло въ Петербургъ. Родимый городъ не представлялъ никакого простора и пищи уму, никакого живого интереса для свѣжихъ, молодыхъ силъ. Словомъ, я скучалъ, а тутъ вдругъ остаться и служить!

— Faites ça, je vous prie! — нѣжно пѣвучимъ голосомъ упрашивалъ онъ меня, какъ балованный ребенокъ.—Вы до полученія аттестата уже привыкнете и будете въ дѣлахъ

— Такъ это состоялось? Вы согласны? — съ живостью спросила она.

— Позвольте... Это еще не рѣшено, надо подумать...— защищался я, пятясь къ дверямъ и раскланиваясь.

Не даромъ я отнѣкивался отъ губернаторскаго предложенія. Потомъ до меня доходили слухи, что секретарь посовѣтовалъ опредѣлить на его мѣсто меня, не какъ «новаго, свѣжаго, безкорыстнаго» и т. д., или если и такъ, то еще болѣе всего какъ неопытнаго молодого человѣка, именемъ котораго онъ могъ бы продолжать вести дѣла по губерніи, по-своему, какъ онъ велъ ихъ прежде, т.-е. плавать подъ чужимъ флагомъ въ тѣхъ же водахъ... «Шипы» (предупреждали меня по секрету) доставались бы мнѣ, а «розы» падали бы на его голову. Я счелъ это за губернскую сплетню и не обратилъ на нее вниманія. Если же въ самомъ дѣлѣ таковы были его сокровенные замыслы на мой счетъ, то они ему не удались. Судьба рѣшила иначе.

X.

Alea jacta est! Я на другой день вступилъ, если не de jure, то de facto, на службу въ губернаторскую канцелярію. Роднымъ моимъ очень улыбалось удержать меня дома: мать мечтала со временемъ женить меня и няньчить внучатъ; сестры пріобрѣтали своего домашняго кавалера для вечеровъ; слуги радовались, сами не знали чему. Особенно няня утѣшалась, что я не пропаду изъ глазъ навсегда, и смотрѣла на меня кротко и любовно.

— Завтра тебѣ надо явиться къ губернатору уже какъ къ начальнику: надѣнь бѣлый галстукъ, — сказалъ мнѣ Якубовъ.

Я бѣлый галстукъ не надѣлъ, зато напустилъ на лицо нѣкоторую важность и явился прямо въ канцелярію. Предмѣстникъ мой, Добышевъ, былъ уже тамъ. Онъ представилъ мнѣ всѣхъ чиновниковъ по очереди.

— Тутъ, въ столѣ, есть двѣ секретныя бумаги съ губернаторской отмѣткой. Велѣно исполнить ихъ поскорѣе,—прибавилъ онъ.

— То-есть, какъ это исполнить бумаги? — наивно спросилъ я, вдругъ потерявъ всякую важность.

— Написать по губернаторской резолюціи исполненіе.

Тутъ Добышева позвали къ губернатору. Я сѣлъ за столъ.

«Написать исполненіе!» думалъ я, стараясь вникнуть въ смыслъ этой новой для меня фразы.

Вошелъ Чубукъ.

— Солдатъ пришелъ къ вашему высокородію, да еще женщина дожидается давно,—доложилъ онъ мнѣ.

Я вышелъ въ прихожую.

— Что̀ тебѣ надо?—спрашиваю солдатика.

— Егорья потерялъ, ваше высокородіе,—говоритъ.

— Какого Егорья?

— Хрестъ, значитъ, потерялъ.

Я сталъ втупикъ.

— Поищи хорошенько,—сказалъ я.

— Иди въ полицію... а ты!.. Подай прежде объявленіе! Что̀ лѣзешь прямо сюда! — раздался изъ другой комнаты голосъ чиновника.

Солдатикъ посмотрѣлъ на меня, я на него.

— Слышь, въ полицію ступай!—сказалъ Чубукъ.

Онъ помялся-помялся, стукнулъ ногой, сдѣлалъ направо кругомъ и ушелъ. Баба жаловалась, что сыну не выходитъ «ослобожденіе» отъ «некрутчины». «Ослобонить ослобонили, потому — негодный, спина кривая, а бумаги изъ правленія не даютъ и сына не отпущаютъ, а она проѣлась, жимши въ городѣ»... и т. д.

— Пожалуйте къ его превосходительству! — раздалось сзади меня.

Я попросилъ—или, виноватъ, «поручилъ» одному изъ чи-

новниковъ разобрать просителей и пошелъ наверхъ. Тѣмъ и заключился первый мой дебютъ на службѣ.

— C'est charmant! Это любезно, что послушались!—встрѣтилъ меня губернаторъ, не подавая руки.—Присядьте. Не хотите ли позавтракать?

Передъ нимъ стоялъ подносъ съ закусками: икрой, селедкой, дымилась котлетка. Я отговаривался, что завтракалъ, да и предложеніе, казалось мнѣ, сдѣлано было такимъ голосомъ, чтобы его не принять.

Я сталъ каждый день являться въ канцелярію — и сдѣлался однимъ изъ колесъ губернской административной машины, да еще какимъ важнымъ! Недѣли черезъ двѣ мнѣ дома, со смѣхомъ, передали, что нашъ поваръ даже стращалъ моимъ именемъ какого-то несговорчиваго торговца мясомъ и дичью.

Но главнымъ, хотя и не гласнымъ воротилой въ дѣлахъ остался все-таки Добышевъ. А я накупилъ побольше перчатокъ, бѣлыхъ галстуковъ и выписалъ еще пару платья изъ Москвы. Это оказалось самымъ важнымъ дѣломъ въ моей службѣ.

Мои утренніе, надо было бы сказать—дѣловые часы, если бы было дѣло, оказались довольно пріятными. Лѣтнее сонное бездѣлье кончилось: я тогда не зналъ, куда время дѣвать, а теперь не зналъ, куда оно уходило. Лѣтомъ, бывало, я стрѣлялъ на волжскихъ отмеляхъ скворцовъ, трясогузокъ, лазилъ по всѣмъ обрывамъ крутого нагорнаго берега, купался, отправлялся со своими цѣлымъ домомъ на зеленый островъ, пить, между сѣномъ и осокой, чай, иногда обѣдать, удить рыбу.

И за всѣмъ этимъ времени оставалось пропасть. Оно уходило больше на чтеніе. Я перезнакомился со всѣми, у кого были библіотеки, за неимѣніемъ публичной, читалъ все, что выписывалъ Якубовъ, — и все-таки оставался досугъ, тратившійся на затрапезныя и чайныя бесѣды со своими, на

прогулки «для воздуха» съ крестнымъ и на блаженную дремоту, иногда среди бѣлаго дня.

Зимой все это бездѣлье кончилось: у меня просто не хватало времени. Утромъ ѣдешь въ канцелярію, прочитаешь присланную сверху, т.-е. отъ губернатора, почту, потомъ «исполняешь» бумаги «къ подписанію его превосходительства». Съ этими послѣдними, часовъ въ 12, являешься къ нему наверхъ, въ кабинетъ.

Какъ весело бывало тамъ наверху! Идучи по лѣстницѣ, уже слышишь какое-нибудь блестящее рондо Герца или сонату Моцарта, разыгрываемыя хорошенькой, граціозной Софьей Львовной. Она ласково, немного краснѣя, отвѣтитъ на поклонъ веселой улыбкой, съ оттѣнкомъ легкой ироніи, которая, какъ скрытая булавка, нѣтъ-нѣтъ, да и кольнетъ. Дитя и вмѣстѣ не дитя: прелесть дѣвушка! Она мило краснѣла. Румянецъ вспыхнетъ и въ ту же секунду спрячется, и опять покажется, глазки блеснуть и прикроются рѣсницами.

Я бо́льшею частью угадывалъ, что̀ у нея на умѣ, и скажу ей, а она мило вспыхнетъ и кивнетъ утвердительно, если угадаю. Иногда скажу какое-нибудь свое наблюденіе и разсмѣшу ее. Покажутся два бѣлыхъ чудесныхъ зубка.

На пути къ губернаторскому кабинету, она была для меня какъ сирена для Улисса. Перекинешься съ ней, сначала двумя-тремя словами, и иногда застоишься, заслушаешься сонаты, или просто засмотришься, какъ она застѣнчиво краснѣетъ и сверкаетъ веселыми агатовыми глазками.

А тутъ кругомъ лѣсъ тропическихъ растеній, попугай— то свиститъ, то оретъ, точно его рѣжутъ, двигаясь по мѣдной перекладинѣ изъ стороны въ сторону. Тамъ трещатъ канарейки. Не хочется уйти, а надо. Вонъ губернаторъ звонитъ. Ему поспѣшно пронесли подносъ съ завтракомъ.

Секретарь, т.-е. бывшій мой предмѣстникъ, оканчиваетъ свой докладъ.

У него какія-то особыя бумаги, которыя ко мнѣ не поступали. Случалось мнѣ заставать ихъ на разговорѣ о постройкахъ, заготовкахъ, подрядахъ. Но я въ это не вникалъ вовсе, губернаторъ — очень мало; вникалъ одинъ Добышевъ.

— Что̀ это у васъ, бумаги? — спроситъ, поздоровавшись, Углицкій.—Есть что-нибудь важное?

И, не дождавшись отвѣта, велитъ обыкновенно положить на бюро.

— Мы ужо̀ съ Егорьевымъ (домашнимъ чиновникомъ) разберемъ: я подпишу и пришлю въ канцелярію. А теперь давайте завтракать. Не хотите ли? — прибавитъ равнодушнымъ, лѣнивымъ голосомъ.

Это повторялось ежедневно. Онъ приглашалъ постоянно и Добышева, и меня, а мы постоянно отказывались. Углицкій садился за завтракъ и съѣдалъ все до-чиста. Ему приносили завтракъ на одного. Съ семьей онъ рѣдко завтракалъ: дѣла, вишь, не позволяли. Но однажды онъ принудилъ-таки меня попробовать, а Добышева никакъ не могъ склонить. Тотъ, застегнутый на всѣ пуговицы вицмундира, такъ и остался на ногахъ.

— Что̀ это ты мнѣ принесъ?—спросилъ онъ камердинера, когда тотъ поставилъ подносъ на столъ.—Я велѣлъ почку, а это ris de veau! Какъ ris de veau по-русски?—спросилъ онъ меня.

Я не зналъ.

— Какъ ris de veau по-русски? — спросилъ онъ Добышева.

— Не знаю, ваше превосходительство: я вѣдь по-французски не говорю,—отвѣчалъ тотъ.

— Поди, спроси повара, какъ это блюдо называется, и отчего онъ мнѣ не приготовилъ почку, sauce madère? Я съ

утра заказалъ. Не угодно ли? — прибавилъ онъ, подвигая подносъ мнѣ и Добышеву.

Этотъ отказался изъ почтенія, а я изъ почтенія же попробовалъ.

— Что̀, вкусно?

— Очень,—сказалъ я.—У насъ дома часто готовятъ это блюдо, только я не знаю, какъ оно называется.

— И я попробую, — сказалъ Углицкій, а попробовавъ, съ аппетитомъ доѣлъ остальное. — Не дурно, только отчего не почка?

Камердинеръ воротился и сказалъ, что это называется «сладкое мясо» изъ груди теленка.

— Отчего жъ почку не приготовилъ?

— Онъ думалъ, что почку приказывали къ столу.

— А? Какъ вамъ это покажется! — обратился онъ къ намъ: — почка къ обѣду! Кто ѣстъ почку за обѣдомъ? Вы любите почку?—обратился онъ ко мнѣ.

— Да-съ... ничего...

— Такъ пріѣзжайте сегодня обѣдать.

Я поклонился.

— А теперь вы пройдите туда, къ женѣ, или съ Сонечкой поговорите. Выберите ей что-нибудь, пожалуйста, по-русски читать: она любитъ. А я еще слова два скажу Ивану Ивановичу и потомъ приду.

Они остались вдвоемъ, какъ это часто случается, совѣщались о чемъ-то другъ съ другомъ, но меня въ эти совѣщанія не посвящали, а я не напрашивался.

XI.

Я шелъ туда, на женскую половину. Тамъ было весело. Въ гостиной сидѣла Марья Андреевна, принимала визиты и важничала среди губернскихъ дамъ. Она жила сознаніемъ, что она—первая дама въ губерніи. Только у нея, кажется, и было утѣшенія. Прочее все, съ лѣтами, измѣняло ей, на-

[illegible]

домой. Потомъ, когда губернаторша сдѣлала имъ приличный гардеробъ, онѣ, что называется, живмя жили у нея и постоянно исполняли ея порученія.

Впрочемъ, послѣднія возлагались собственно на одну старшую, Лину. Лина было сокращеніе ея имени Капитолина. Имя младшей сестры «Чуча» передѣлали изъ ихъ фамиліи Чучины, потому что ея настоящее имя, Аполлинарія, сокращенію не поддавалось.

Чуча оказалась неспособною ни къ какимъ порученіямъ, кромѣ одного — сидѣть въ гостиной, съ вѣчнымъ вышиваньемъ въ рукахъ какой-то безконечной тесьмы, не то для звонка, не то для каймы къ портьерѣ, «pour avoir une contenance», говорили Углицкіе. Ея обязанность была принимать и занимать гостя или гостью, пока губернаторша оканчивала свой туалетъ или губернаторъ не выходилъ еще изъ кабинета. Пробовала-было Углицкая поручать ей другія дѣла, но ничего изъ этого не выходило.

Чего, кажется, проще — разлить чай? Когда гостей не было и чай не разносился изъ буфета лакеями, то пили его въ маленькой гостиной у камина, на маленькомъ столѣ— и поручили разливать ей.

Вотъ тутъ точно домовой тѣшился надъ ней. У нея чашки скользили изъ рукъ, ложечки летѣли на полъ, поднимался звонъ, громъ. То она нальетъ чаю въ сахарницу; кому вовсе не положитъ, кому переложитъ сахаръ. Ее удалили отъ этой обязанности.

И другое шло не лучше. Сонечка однажды заболѣла. Ее уложили въ постель и посадили около больной Чучу, когда Углицкой или няни не было въ комнатѣ, чтобы она въ срокъ подавала то или другое лѣкарство, и вообще смотрѣла бы за больной. Тутъ она чуть не надѣлала бѣды. Накапала въ рюмку, вмѣсто миндальныхъ капель, какого-то спирта, которымъ надо было натирать горло. Къ ея счастью, больной показался противенъ запахъ, и она не приняла.

Мать пришла въ ужасъ, и сама Чуча струсила. Она прижала ладони къ вискамъ, какъ всегда дѣлала въ критическія минуты, заохала и заахала.

Ее удалили за это изъ комнаты и изъ дома на двѣ недѣли, къ себѣ, на «Антоніеву пищу», какъ говорилъ Углицкій. Потомъ соскучатся. И гости привыкли видѣть ее въ уголку гостиной, съ вязаньемъ, тоже спрашиваютъ, почему ея нѣтъ? За ней и пошлютъ. Она явится какъ ни въ чемъ не бывало, садится на свое мѣсто въ гостиной и за столомъ, занимаетъ гостей до прихода губернатора или губернаторши. И какъ занимаетъ хорошо, прилично, съ своей неизмѣнной широкой улыбкой, открытыми настежь глазами, съ вѣчно-ласковымъ взглядомъ. У нея установилась одна мина навсегда и для всѣхъ.

— Здравствуйте! — отчеканитъ она каждому входящему гостю, всегда съ сіяющими радостью глазами и съ улыбкой. — Прошу садиться, вотъ здѣсь, подальше отъ окна, тутъ дуетъ. Вчера Иванъ Ивановичъ посидѣлъ тутъ, потомъ цѣлый вечеръ жаловался, что зубъ ноетъ.

Гость или гостья сядетъ. Она не смигнетъ съ него: такъ и смотритъ, не нужно ли ему чего, пуще всего, не ушелъ бы онъ, не соскучился бы.

— Марья Андреевна принимаетъ? Не помѣшалъ ли я? — спросилъ тотъ.

— Нѣтъ, нѣтъ: подождите чуточку — она сейчасъ, сейчасъ будетъ! Она теперь въ буфетѣ, по хозяйству, поваръ пришелъ. Она заказываетъ, что обѣдать сегодня... и бранитъ его... — добавляетъ шопотомъ, все улыбаясь: — сейчасъ кончитъ.

Бранитъ? За что?

Вчера столько петрушки въ супъ навалилъ, что ѣсть

[illegible]

— Право. Вы не вѣрите? Вотъ спросите Сонечку, когда придетъ: точно мухи въ тарелкѣ плаваютъ!

Гость опять смѣется. И она тоже. Ей весело, что она умѣетъ занимать.

— Это вы на сѣрой лошади пріѣхали? Какая большая!— продолжаетъ она, глядя въ окно. — Ахъ, кажется, Наталья Николаевна подъѣхала: вонъ ея карета, вы видите?

— Да, вижу,—говоритъ гость.

— Надо встрѣтить ее въ залѣ!

И бѣжитъ съ сіяющимъ лицомъ встрѣчать гостью, какъ родную мать. Та, слегка кивнувъ ей, заговариваетъ съ гостемъ, а она удаляется въ свой уголъ и беретъ вышиванье.

— Что Марья Андреевна: занята?—спрашиваетъ гостья.

— Съ поваромъ бранится: сейчасъ придетъ, — говоритъ гость.

— Вы почемъ знаете?

— Да вотъ кто сказывалъ! — Онъ указываетъ на Чучу.

Оба смѣются, и Чуча тоже.

Выходитъ Марья Андреевна.

«Здравствуйте, здравствуйте!» и т. д.

— Мы мѣшаемъ вамъ: вы по хозяйству... — говоритъ гостья.

— Кто вамъ сказывалъ?

— Чуча говоритъ, что вы повара бранили... Ахъ, эти повара!

Марья Андреевна смотритъ на нихъ вопросительно.

— Петрушки много въ супъ наклалъ!—шутитъ гость.

Лицо Углицкой свирѣпѣетъ.

— Подите къ Сонечкѣ въ комнату! — рѣзко командуетъ она Чучѣ.

Та, бросивъ вышиванье, быстро уходитъ, приложивъ дорогой ладони къ вискамъ. «Ахъ, ахъ, что это я надѣлала!» — и разсказываетъ Сонечкѣ. Та вечеромъ разска-

— Идите домой и глазъ больше сюда не показывайте!— прошипѣла она змѣинымъ шопотомъ.

Чуча отчаянно приложила ладони къ вискамъ и стремглавъ бросилась домой.

— Ахъ, ахъ!—твердила она дорогой:—что̀ я надѣлала!

Ее воротили изъ ссылки не прежде какъ черезъ мѣсяцъ, давъ ей нагоняй и подробную инструкцію, ка̀къ и чѣмъ занимать гостей.

Когда никого не было около Углицкой, Чуча должна была сидѣть въ комнатѣ около нея. Губернаторша зѣвнетъ, и она зѣвнетъ, подставитъ скамеечку.

— Почитайте, Чуча, вонъ изъ той книги, что̀ въ спальнѣ.

Чуча почитаетъ, но и тутъ перепутаетъ слова, не тамъ дѣлаетъ ударенія, гдѣ надо. «Однажды (мнѣ разсказывала Софья Львовна) maman попросила ее почитать путешествіе какого-то іеромонаха по св. мѣстамъ. Архіерей прислалъ. Она и читаетъ въ одной главѣ: «сей ядовитый подлецъ...». Я изъ своей комнаты слышу голосъ maman: «Ахъ, какая гадость! Какія выраженія! Вы, Чуча, должны были пропустить. Сонечка, послушай, какая гадость!» Я посмотрѣла въ книгу, а тамъ сказано: «сей ядовитый ползецъ»: это говорилось про скорпіона.

Чуча исполняла какія-нибудь несложныя порученія: сказать что-нибудь горничной, принести изъ другой комнаты ту или другую вещь, пойти въ кабинетъ къ Углицкому, передать что-нибудь, или просто посмотрѣть, кто тамъ у него. Если же пошлютъ ее, напримѣръ, въ лавку, да дадутъ два-три порученія, купить то, отрѣзать аршинъ такой-то матеріи, заѣхать къ портнихѣ и т. п., она наполовину перепутаетъ, наполовину забудетъ.

Впрочемъ, съ ней, кромѣ этихъ временныхъ ссылокъ домой «на Антоніеву пищу», обходились ласково, гуманно и шутили надъ ней весело, не оскорбляя ея. И прислуга обращалась къ ней, правда, безъ особой услужливости, но

учтиво. Углицкій, если не для чего другого, то ради хорошаго тона, не допустилъ бы дикихъ нравовъ въ домѣ.

Но онъ подшучивалъ надъ ней безпрестанно и смѣшилъ на ея счетъ другихъ, но такъ безобидно, что та первая отвѣчала на его шутки своей широкой улыбкой. Только однажды она какъ будто сконфузилась, когда Углицкій спросилъ меня при ней:

— Вамъ Чуча ничего не разсказывала о просвиркѣ?

— Нѣтъ, о какой просвиркѣ?

— Разскажите ему, Чуча...

— Ахъ, ахъ, Левъ Михайловичъ!..—заахала Чуча, приложивъ ладони къ вискамъ, и поспѣшила спрятаться въ уголъ гостиной, къ камину, за экранъ. Марья Андреевна съ насмѣшливой улыбкой смотрѣла на нее. Софья Львовна тоже покраснѣла отъ удовольствія. Въ это время Углицкаго позвали въ кабинетъ. Пріѣхалъ гость. Губернаторша ушла одѣваться и позвала Чучу съ собой. Мы остались съ Сонечкой.

— Какая это просвирка? — спросилъ я: — разскажите, Софья Львовна.

Дѣло вотъ въ чемъ. Губернаторшѣ за обѣдней въ соборѣ подносилась просвира, которую она передавала въ руки Линѣ или Чучѣ, обыкновенно сопровождавшимъ ее въ церковь. Эти просвирки приносились домой и благоговѣйно употреблялись на другой день, натощакъ. Иногда же отдавались по дорогѣ какой-нибудь бѣдной женщинѣ, или старику, ребенку, на кого укажетъ губернаторша, кто ей казался жалокъ, голоденъ. Однажды, въ дождливую погоду, садясь на паперти съ дочерью въ карету, Углицкая передала просвирку, за отсутствіемъ Лины, Чучѣ, чтобы она, по дорогѣ пѣшкомъ домой, отдала просвирку какому-нибудь нищему или нищей, да спросила бы прежде, не ѣли ли они что-нибудь утромъ, такъ какъ просвирка освященная.

— Отдала самому бѣдному! — хвасталась, съ сіяющими глазами, Чуча, пришедши домой, за завтракомъ.—«Ничего, говоритъ, со вчерашняго дня не ѣлъ: вотъ, говоритъ, только на копеечку луку купилъ, хотѣлъ-было поѣсть»... У него изъ-за пазухи и лукъ торчитъ... Я и отдала... «Смотри же, говорю: прежде вотъ это скушай: это благословенная просвирка!..» Какъ онъ благодарилъ! «Спасибо, говоритъ, спасибо»... кланяется до земли, даже ермолку снялъ...

— Какую ермолку?

— Онъ татаринъ,—вразумила Чуча.

— Татарину освященную просвирку!

Губернаторша всплеснула руками, губернаторъ откатился съ хохотомъ отъ стола; веселѣе всѣхъ было Софьѣ Львовнѣ. И теперь, разсказывая мнѣ, она смѣялась до слезъ.

— Maman зазвонила во всѣ сонетки, позвали людей, разослали искать татарина по окрестнымъ улицамъ...

— А Чуча что? Вотъ такъ—ладони къ вискамъ: ахъ, ахъ! Я представилъ, какъ она дѣлаетъ.

Софья Львовна досказала, что татарина нашли и привели. Онъ успѣлъ съѣсть только верхнюю, т.-е. освященную половину, и закусывалъ лукомъ. Набожная губернаторша ужаснулась, хотѣла ѣхать къ архіерею, спросить, что дѣлать: не надо ли окрестить татарина и прочее. Но губернаторъ отпустилъ его и цѣлую недѣлю тѣшилъ гостей этимъ анекдотомъ. Онъ сталъ еще ласковѣе и шутливѣе съ Чучей. Но Марья Андреевна приняла это серьезно и осудила Чучу на трехдневную ссылку домой.

Чуча была со мной любезна, старалась и меня занимать, когда никого не было въ гостиной, нужды нѣтъ, что я былъ уже свой въ домѣ.

— Вы довольны, что здѣсь остались, а не уѣхали въ Петербургъ: вамъ весело?—сладко спрашивала она меня.

— Да, я доволенъ: мнѣ очень весело.

— Когда же вамъ бываетъ весело у насъ?

— Да вотъ теперь, съ вами.

У нея засіяли глаза.

— Въ самомъ дѣлѣ! Вы это взаправду говорите? Не шутя?

— Нѣтъ.

— А отчего-жъ смѣетесь? О, вы насмѣшникъ, я знаю.

— Отчего же вы знаете?

— Да ужъ знаю: кто изъ столицы заѣдетъ сюда — всѣ такіе насмѣшники! Вотъ и новый прокуроръ — тоже такой насмѣшникъ: все смѣется! Вы и съ Сонечкой все смѣетесь, шутите надо мной: я ужъ знаю, знаю... А мы, вотъ, такъ васъ очень любимъ!—прибавила, помолчавъ.

— Кто это «мы»?

— Да всѣ: Марья Андреевна, Левъ Михайловичъ — и Сонечка тоже... всѣ рады, когда вы придете... Всегда объ васъ говорятъ...

— Что же говорятъ?

— Левъ Михайловичъ вчера еще разсказывалъ Владиміру Петровичу... онъ недавно изъ деревни... вы знаете?..

— Нѣтъ, не знаю... Какой это Владиміръ Петровичъ?

— Онъ дороги да мосты строитъ, инженерный полковникъ. Его фамилія Алтаевъ... Вы видѣли его... Пузанъ такой...

Я засмѣялся.

— Какъ?

Она сконфузилась.

— Толстый такой!—поправилась она.

— Такъ что же Левъ Михайловичъ говорилъ про меня?

— Онъ сказалъ про васъ: «il est présentable. tres présentable», раза три сказалъ. А Марья Андреевна говоритъ: «только дикарь», говоритъ: «когда есть гости, тихонько уйдетъ. Надо, говоритъ, его вышколить: вотъ начнутся собранія — Сонечкѣ выѣзжать еще нельзя, такъ онъ будетъ моимъ кавалеромъ, въ собраніи... тогда не будетъ другого...

Я засмѣялся.

— Право! Вы не вѣрите?

— Я спрошу у Марьи Андреевны, правда ли, что она мнѣ назначаетъ роль подставного кавалера?—шутилъ я.

— Что вы, что вы: я не сказала «подставного»! Ахъ, какъ это можно!

— Выходитъ такъ: если недостанетъ кавалера, такъ меня! Марья Андреевна разъяснитъ, какъ она сказала...

Она прижала ладони къ вискамъ.

— Ахъ, ахъ, что̀ это я надѣлала, зачѣмъ сказала вамъ? Ахъ, голубчикъ, не говорите Марьѣ Андреевнѣ... ради Бога! меня отошлютъ домой...

Я успокоилъ ее, но пересказалъ Софьѣ Львовнѣ, и мы посмѣялись.

XII.

Другая сестра, Лина, была совсѣмъ противоположнаго характера. Она была подвижная, живая, какъ ртуть, въ постоянныхъ разъѣздахъ по городу, въ суетѣ, въ хлопотахъ. Въ гостиной у Углицкихъ она появлялась рѣдко, обѣдала у нихъ, когда не было гостей. Зато съ ранняго утра она присутствовала въ спальнѣ и будуарѣ Марьи Андреевны. Когда онѣ были вдвоемъ, къ нимъ не допускались ни Чуча, ни горничная. Даже Соня входила только поздороваться и уходила. Безъ нея губернаторша такъ же не могла обойтись, какъ мужъ ея безъ Добышева.

Уклончивая, ласковая до льстивости, всюду вгиравшаяся, у всѣхъ что-нибудь выпрашивавшая, она знала все, что дѣлается въ каждомъ домѣ, начиная отъ крупныхъ помѣщиковъ, предсѣдателей, до купцовъ и мѣщанъ. Свѣдѣнія ея были до крайности разнообразны. Она знала, напримѣръ, кто какой кушъ получилъ и за какое дѣло, и куда этотъ кушъ былъ истраченъ. Знала, за что̀ произошла размолвка между мужемъ и женой и почему гувернантка не-

решла на другое мѣсто. Первая узнавала о затѣвающемся сватовствѣ. Прежде полиціи узнаетъ о какой-нибудь покражѣ, о томъ, кто собирается у такого-то или у такой-то въ гостяхъ, что̀ говорятъ, у кого что̀ подаютъ за столомъ— словомъ, газета.

Все это съ живыми подробностями передавалось Марьѣ Андреевнѣ по секрету. У губернаторши въ рукахъ такимъ образомъ были нити всей губернской политики, и она иногда сама пользовалась этими свѣдѣніями, даже передавала кое-что мужу для его служебныхъ соображеній, и иногда озадачивала кого-нибудь безцеремоннымъ намекомъ на секретное семейное событіе, никогда не обнаруживая источника.

Лина была въ обхожденіи покорная, умѣвшая принимать какой-то фальшиво-застѣнчивый, даже робкій видъ. А услужлива какъ: до приторности. Марья Андреевна не успѣетъ пожелать, она уже угадаетъ и бѣжитъ исполнить ея желаніе, прежде нежели слуга или горничная пошевелятся. «Позвольте мнѣ, я сейчасъ... Дайте, я сдѣлаю, принесу, достану»... — безпрестанно слышится ея пискливый голосъ. Губернаторъ ищетъ чего-то около себя глазами—а она ужъ несетъ забытый имъ въ кабинетѣ платокъ. Губернаторша намекаетъ, что она видѣла въ окнѣ какого-то магазина вещь, да забыла гдѣ: черезъ полчаса Лина уже говоритъ ей, гдѣ.

Она отлично, до тонкости исполняла порученія Углицкой, какъ бы они сложны ни были, по части женскаго туалета. Марья Андреевна пошлетъ ее по магазинамъ, и та, зная ея вкусъ, прихоти, капризы, превзойдетъ всѣ ея ожиданія. Благодаря ей, никогда ни одной, самой богатой губернской львицѣ не удавалось, прежде губернаторши, выписать изъ Москвы что-нибудь новое. Она подъ рукой умѣла сбывать выгодно надѣванныя губернаторшины, но еще свѣжія и нарядныя для губернскихъ и уѣздныхъ ба-

рынь платья. Она знала, въ какихъ домахъ водились старинныя кружева, до которыхъ охотница была Марья Андреевна, и умѣла сходно выторговать ихъ. Безъ нея Углицкая не примѣритъ не только платья, шляпки, даже ботинокъ. Она рѣшала, какой цвѣтъ идетъ или не идетъ, что̀ лучше къ лицу ей или Сонечкѣ.

И все это дѣлала съ наслажденіемъ, проворно, какъ будто все ея счастье заключалось въ томъ, чтобы угодить. А ея счастье, между прочимъ, заключалось и въ томъ, что когда замѣтили въ городѣ, какимъ фаворомъ она пользовалась у губернаторши, съ ней перестали обращаться небрежно. Кромѣ того, она пополнила свой гардеробъ, запаслась на многіе годы, чуть не до старости, бѣльемъ, даже двумя лисьими мѣхами. На тѣ платья губернаторши, которыя ей нравились, она не находила покупательницъ, и платья дарились ей.

Сестру свою она втайнѣ презирала, но скрывала это, чтобы и другіе въ губернаторскомъ домѣ не заразились тѣмъ же, не охладѣли къ ней и не свалили ее на ея плечи. Презирала она сестру за ея абсолютную ненужность: за то, что изъ нея никакой пользы нельзя извлечь, что она виситъ у нея камнемъ на шеѣ. Она, въ припадкахъ желчи, обзывала ее «немогучкой». «Безъ нея, безъ этой «немогучки», — проговаривалась она по секрету: — она, Лина, давно была бы замужемъ. А какъ посмотрятъ насъ вмѣстѣ, послушаютъ ее, эту Чучу—всѣ прочь идутъ: думаютъ, что и я такая же безпомощная и неумѣлая, и буду въ тягость семьѣ. А у меня золотыя руки!»

Она еще и теперь, когда я видѣлъ ее, сказывали мнѣ, не потеряла надежды на замужество, хотя всѣ другіе давно потеряли ее. Она сама никого не любила: ни губернаторши, ни ея дочери, никого въ городѣ; не было у нея ни птички, ни собачки, ни цвѣтка на окнѣ,—никого и ничего. Углицкаго она немного боялась: она все подозрѣвала, что, заго-

варивая съ ней и глядя ей зорко въ глаза, онъ будто искалъ въ ней чего-то, къ чему прицѣпиться, что-нибудь замѣтить въ ней, обнаружить, поднять на смѣхъ,—и уклонялась отъ разговора съ нимъ, отдѣлываясь отъ его шутокъ визгливымъ смѣхомъ.

Она была некрасива: глаза, смотрящіе исподлобья, нависшій надъ ними лобъ и немного выдавшійся подборотокъ сообщали ей видъ моложавой старушонки. Увертливая, скользкая, какъ ящерица, она все торопилась, бѣжала, въ рукахъ у нея всегда было какое-нибудь дѣло, ей все было некогда. Когда ее остановятъ на дорогѣ, она торопливо отвѣчаетъ, не глядя никому прямо въ глаза, въ противоположность сестрѣ, глядѣвшей на всѣхъ немигающими глазами. Нельзя понять, на чемъ основывались ея надежды найти мужа. Развѣ на томъ, что у нея были «золотыя руки».

XIII.

Зимній сезонъ былъ въ полномъ разгарѣ. Городъ наполнился пріѣзжими изъ уѣздовъ. Начались балы въ собраніи, у губернатора, у дворянъ, вечеринки почти во всѣхъ семейныхъ домахъ. Я, какъ и всѣ тогдашніе молодые люди, катался какъ сыръ въ маслѣ—съ бала на балъ, съ вечера на вечеръ. Какъ я ни увертывался, но мнѣ не разъ приходилось играть роль, въ которую прочила меня губернаторша. Какъ я былъ подставной секретарь у ея мужа, такъ, если не былъ, то числился подставнымъ ея кавалеромъ. Танцовать съ ней мнѣ случалось очень рѣдко: всѣ наперерывъ старались ангажировать ее до бала. Мнѣ доставалась эта честь иногда на вечерахъ у ней самой, когда, уступая арену гостьямъ, она сама оставалась безъ кавалера.

Я чувствовалъ, что сталъ врастать въ губернскую почву. Меня тянуло самого то въ тотъ, то въ другой домъ, гдѣ

было поживѣе, повеселѣе, гдѣ меня больше ласкали. Но надъ всѣмъ этимъ губернскимъ людомъ царила пустота и праздность. Искры интеллектуальной жизни нигдѣ не горѣло, не было ни одного кружка, который бы интересовался какимъ-нибудь общественнымъ, ученымъ, эстетическимъ вопросомъ.

Мѣстные интересы сосредоточивались на выборахъ, этихъ потѣшныхъ карикатурахъ на выборное начало. Дѣло было вовсе не въ выборахъ, а въ обѣдахъ, танцахъ, въ картахъ.

Оторванный отъ занятій университетской жизни — я читалъ въ-одиночку, сплошь, что попадалось подъ руку, и не съ кѣмъ было даже дѣлиться впечатлѣніями и мнѣніями о прочитанномъ. Въ городѣ ни библіотеки, ни театра. Приходилось плыть по теченію мѣстной жизни. Въ карты я не игралъ и не обнаруживалъ наклонности къ нимъ: за это многіе «солидные» люди почти презирали меня. Но зато я, какъ всѣ молодые, развлекался на балахъ кадрильнымъ ухаживаньемъ, съ робкими комплиментами, за губернскими дѣвицами или «барышнями», какъ ихъ тогда называли. И все это подъ строгимъ контролемъ маменекъ или тетушекъ, которыя, пуще всякой полиціи, съ материнскимъ расчетомъ, слѣдили за каждымъ взглядомъ и движеніемъ танцующихъ паръ. Протанцуешь, бывало, съ какой-нибудь «барышней», которая приглянется, мазурку на двухъ вечерахъ сряду, начнешь заѣзжать въ домъ — губернаторша уже посматриваетъ насмѣшливо.

— Вамъ нравится Лиза Р—вая?—безцеремонно, по-начальнически спроситъ.

— Да, она хорошенькая.

— А еще что?

— Еще?.. умна, любезна, держитъ себя просто...

— Прибавьте еще, не скупитесь...—И смѣется.

Чуча смѣется во всю ширину своихъ большихъ щекъ.

Лина всегда уползетъ изъ комнаты, если разговоръ коснется при ней. Вѣсти шли черезъ нее. И Софья Львовна лукаво посматриваетъ на меня мелькомъ, съ затаенной булавкой ироніи въ улыбкѣ, и очень мило краснѣетъ. Я оглядываюсь во всѣ стороны. Войдетъ губернаторъ.

— Правда ли, что вы влюблены въ Р—ую? — хватитъ вдругъ при всѣхъ.

— Я! помилуйте!

— Ужъ признайтесь лучше!—шутитъ губернаторша.

И три дня городъ говоритъ, что я влюбленъ въ Р—ую. И дома пытаютъ меня, шутятъ надо мной. Мать моя принимаетъ это серьезно, шепотомъ предупреждаетъ, чтобы я остерегался ухаживать за красавицей, что мать у нея— ехидная, «и притомъ гордая, прочитъ дочь за какого-нибудь графа или князя, за богача, и за тебя не отдастъ».

— Вонъ куда пошло! Да развѣ я женихъ кому бы ни было!

Я готовъ былъ, какъ Чуча, приложить ладони къ вискамъ и бѣжалъ къ себѣ вверхъ, на «вышку», прятаться за книгу.

Это повторялось раза три въ зиму, и я не зналъ, какъ бы мнѣ выбраться на свободу. Но вотъ зимній сезонъ кончился, пришелъ и Великій постъ. Изъ города стали разъѣзжаться, и къ празднику оставались почти одни только служащіе, купцы и другіе постоянные городскіе жители. Я съ тоской, чуть не съ ужасомъ, ждалъ наступленія лѣта, и, наконецъ, сталъ намекать губернатору, что мнѣ нужно бы съѣздить въ Москву, за аттестатомъ, и кстати повидаться съ братомъ и воротиться вмѣстѣ съ нимъ. Губернаторъ удерживалъ, говорилъ, что хотѣлъ самъ проситься въ отпускъ, обѣщалъ взять меня съ собой. Добышевъ настаивалъ, чтобы я поскорѣе подалъ прошеніе и выписалъ изъ университета аттестатъ. Я медлилъ, и слава Богу. Ни прошенія, ни аттестата не понадобилось.

Я продолжалъ свою службу, ѣздилъ въ канцелярію. «исполнялъ», уже безъ руководства Добышева, текущія бумаги, носилъ ихъ къ подписанію его превосходительству, а часа въ три возвращался домой, къ обѣду.

Однажды, поднимаясь, по обыкновенію, около 12 часовъ, съ заготовленными бумагами, на лѣстницу, я узналъ, что у губернатора уже съ 11 часовъ сидитъ гость, помѣщикъ Ростинъ, тотъ самый другъ Якубова, о которомъ я говорилъ выше. Онъ мнѣ коротко знакомъ: еще недавно у него, въ близкой къ городу деревнѣ, на масленицѣ, былъ трехдневный праздникъ, на которомъ я отплясалъ себѣ ноги. Я безъ церемоніи вошелъ съ бумагами прямо въ кабинетъ.

Губернаторъ и помѣщикъ сидѣли въ отдаленномъ углу и о чемъ-то съ жаромъ говорили. Увидя меня, Углицкій быстро, скороговоркой сказалъ:

— Послѣ, послѣ! Положите бумаги и пройдите къ Марьѣ Андреевнѣ, или въ канцелярію.

Я успѣлъ замѣтить, что онъ былъ сильно встревоженъ, на немъ лица не было. Ростинъ тоже былъ очень серьезенъ и, повидимому, что-то сообщалъ по секрету. Ростинъ наскоро поздоровался со мной. Углицкій съ нетерпѣніемъ ждалъ, чтобы я ушелъ. «Притворите, пожалуйста, за собой дверь, и скажите, чтобы никого не принимали!» — попросилъ онъ меня. Я передалъ человѣку его приказаніе и пошелъ въ гостиную.

Въ залѣ никого не было. Въ гостиной сидѣла Чуча.

— Здравствуйте! — сказала она, улыбнулась на минуту и, обдернувъ сзади юбку, вильнула таліей и турнюрой, какъ она иногда дѣлала для граціи.

— Вы отъ Льва Михайловича теперь?—вдругъ серьезно, даже съ безпокойствомъ спросила она.

— Да, отъ него: а что?

— Что̀ тамъ дѣлается?

— Тамъ сидитъ Егоръ Степановичъ.

— Да, я знаю: я его видѣла. А еще?

— Еще—никого нѣтъ: а вамъ нужно кого-нибудь?

— Нѣтъ, нѣтъ (она замотала головой), мнѣ не нужно! Марья Андреевна посылала меня къ нему: я отворила дверь, а Левъ Михайловичъ такъ взглянули на меня, такъ взглянули... ахъ! — Она приложила ладони къ вискамъ.— И махнули рукой — вотъ такъ (она махнула), чтобы я ушла...

— Потомъ что̀?

— Ничего. Марья Андреевна думала, что я перепутала что-нибудь и послала Сонечку посмотрѣть: онъ и ей махнулъ рукой. «Поди, — говоритъ,— къ себѣ и скажи, чтобы намъ не мѣшали».

Услышавъ мой голосъ, вошла Софья Львовна, задумчивая, почти печальная.

— Вы были у папа̀?—спросила она меня.

— Да. Тамъ Ростинъ сидитъ: они о чемъ-то по секрету разговариваютъ.

— Maman очень безпокоится.

— А гдѣ Марья Андреевна?—спросилъ я.

— Она посылала за Липой и теперь заперлась съ ней и что-то шепчутъ... Я боюсь!—печально прибавила она.

— Ахъ, и я боюсь!—повторила Чуча.

— Да чего? что̀ такое?—приставалъ я.

Отвѣта не было. Мы трое стояли и вопросительно глядѣли другъ на друга.

Скоро мы заслышали, что гость уходитъ изъ кабинета; губернаторъ проводилъ его до пріемной и вошелъ къ намъ.

— Гдѣ Марья Андреевна? — спросилъ онъ торопливо и, не дождавшись отвѣта, пошелъ къ ней, а меня попросилъ идти въ канцелярію и позвать къ нему Добышева.

Я передалъ Добышеву приглашеніе и ожидалъ въ канце-

ляріи его возвращенія. Но въ три часа онъ не сходилъ, и я уѣхалъ домой.

— Ну, что? — съ тревогой спросилъ меня крестный.— Правда это?

— Что правда?

— Губернаторъ уволенъ?

Я остолбенѣлъ.

— Я ничего не знаю, не слыхалъ, но похоже на правду...

Я разсказалъ ему о посѣщеніи Ростина, о смущеніи Углицкаго и всѣхъ въ домѣ.

Якубовъ разсказалъ мнѣ, что Ростинъ заѣзжалъ къ нему и показывалъ письмо изъ Петербурга, съ извѣстіемъ, что губернаторъ причисляется къ министерству, и прибавилъ, что теперь, вѣроятно, весь городъ знаетъ о томъ.

XIV.

Извѣстіе подтвердилось. На другой день я засталъ живые толки въ канцеляріи. Чиновники не сидѣли на своихъ мѣстахъ, а собирались кучками и шептались. Добышевъ хмуро встрѣтилъ меня, подтвердивъ, что, дѣйствительно, извѣстіе объ увольненіи губернатора получено, но указа еще нѣтъ.

— Подите вверхъ,—сказалъ онъ: — его превосходительство ждетъ васъ.

Я не зналъ, какъ показаться, и зашелъ прежде на женскую половину. Чуча, завидя меня, хотѣла улыбнуться, но вмѣсто этого ахнула и приложила ладони, сначала къ вискамъ, потомъ закрыла ими лицо и залилась слезами.

— Что вы? — спросилъ я съ участіемъ: — о чемъ вы плачете?

— Ахъ, какое горе! Развѣ вы не знаете?.. Левъ Михайлычъ... уво... уволенъ... уѣзжаетъ... и Сонечка тоже...

Слезы не дали ей договорить.

Вышла Софья Львовна, тоже со слѣдами слезъ. На мой вопросъ, правда ли это, она грустно шепнула:

— Да... кажется... Мы... мы уѣдемъ... Прощайте!..

И отвернулась.

— Какъ «прощайте»! Я не останусь здѣсь, я поѣду вслѣдъ за вами! — живо перебилъ я. — Я давно рвусь отсюда.

— Да? Merci... Я рада, — тихо сказала она. — Подите теперь къ папа̀, поговорите съ нимъ, успокойте его какъ-нибудь. Онъ ходитъ въ кабинетѣ одинъ, никого не принимаетъ...

Я вошелъ въ кабинетъ. Левъ Михайлычъ ходилъ большими шагами по кабинету. Онъ обрадовался мнѣ, точно другу.

— Слышали?—почти закричалъ онъ: — каковы молодцы! Добились-таки чего хотѣли!

— Кто?—тихо спросилъ я.

— Кому же, какъ не жандарму! Подслужился! въ генералы хочется, да въ столицу. Нѣтъ, этому не бывать, какъ Богъ святъ, не бывать!—Онъ даже перекрестился.—Я еще не выжилъ изъ ума, языкъ у меня есть, за словомъ въ карманъ не полѣзу. Я тамъ открою глаза на его «ревностную и неусыпную службу!»

— Что за причина? За что? - рискнулъ я спросить, и раскаялся.

Онъ пролилъ цѣлое море жёлчи на жандармовъ, и на всѣхъ, кого онъ подозрѣвалъ изъ губернскихъ властей въ интригѣ противъ него. И надо отдать ему справедливость, мастерски освѣтилъ фигуры своихъ «враговъ».

— Вотъ вы тянулись все въ Петербургъ, — заключилъ онъ: — я не только не удерживаю васъ, но настоятельно прошу уѣхать изъ этого болота! И чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше! Вы здѣсь даромъ истратите свѣжія, молодыя силы, и ничего не пріобрѣтете, никакого опыта — ни въ службѣ,

ни въ жизни. Васъ подведутъ, насплетничаютъ, очернятъ, испортятъ вамъ репутацію, и карьера ваша пропадетъ! Женятъ васъ на какой-нибудь Голендухѣ Поликакіевнѣ, и вы загубите вѣкъ свой въ глуши, среди чиновной челяди, взяточниковъ, тупоумныхъ помѣщиковъ...

И пошелъ, и пошелъ рисовать мнѣ картину, совсѣмъ противоположную той, какую рисовалъ, когда приглашалъ меня остаться.

— Я зналъ все это,—сказалъ я ему:—и не остался бы долго ни въ какомъ случаѣ, тѣмъ болѣе теперь, когда вы уѣзжаете...

Тутъ онъ, наконецъ, подалъ мнѣ руку и горячо пожалъ мою.

— Что же вы намѣрены дѣлать?—спросилъ онъ.

— Ѣхать вслѣдъ за вами...

— А отчего не съ нами?—почти нѣжно спросилъ онъ.

— Если это не стѣсняетъ васъ, и если я вамъ могу быть чѣмъ-нибудь полезенъ...

Онъ не далъ мнѣ договорить и стремительно обнялъ меня.

— Благодарю. Не только полезны, вы мнѣ будете необходимы: я многаго жду отъ вашей... дружбы,—нерѣшительно прибавилъ онъ. — Но объ этомъ послѣ. Теперь главное — выбраться изъ этой лужи! Поѣдемте. Я вамъ найду мѣсто въ любомъ министерствѣ. Сдайте дѣла Добышеву: пусть онъ управляетъ... губерніей!

Онъ ѣдко засмѣялся и тяжело вздохнулъ.

— Я подозрѣваю, — прибавилъ онъ: — между нами сказать, и самого Добышева въ этой интригѣ... да! И предсѣдателя тоже... Яркина... Архіерей тоже послѣднее время что-то косился на меня... Вы не замѣтили, какъ онъ бывалъ сухъ?..

Я чуть не засмѣялся. Еще немного — и онъ, въ числѣ враговъ, назвалъ бы, пожалуй, Чучу. Перебирая своихъ враговъ, онъ забылъ помянуть главнаго: самого себя.

— Пріѣзжайте ко мнѣ ужо вечеромъ: мы потолкуемъ. А теперь я еще въ ажитаціи...

И онъ опять зашагалъ по кабинету.

Я сталъ раскланиваться. Въ это время распахнулась дверь, и въ кабинетъ стремительно вошелъ Андрей Петровичъ Прохинъ, чиновникъ особыхъ порученій при губернаторѣ. Онъ былъ навеселѣ, въ возбужденномъ состояніи.

— Что я слышалъ, ваше превосходительство! Ужели это правда? — началъ онъ, подбѣгая къ губернатору и съ паѳосомъ складывая руки на груди. — Ужели это правда? — обратился онъ и ко мнѣ. — Какъ; нашъ добрый, благородный начальникъ покидаетъ насъ! Нѣтъ, это невозможно! скажите, что это неправда!

— Вы выздоровѣли?—вдругъ спросилъ его Углицкій вмѣсто отвѣта.

— Да-съ; проходитъ, прошло... Какъ только я услыхалъ убійственную вѣсть, у меня все какъ рукой сняло... Извольте видѣть.

Онъ вытягивался передъ Углицкимъ.

— Да, вижу... — сказалъ губернаторъ, глядя на него съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ.

— Побѣгу,—думалъ я,—узнаю: можетъ-быть, неправда!— твердилъ Прохинъ.

— Правда!— заговорилъ губернаторъ. — Вы не ожидали этого? И никто не ожидалъ, и, надѣюсь, никто не желалъ...

— Никто, клянусь честью, никто! — патетически повторилъ Прохинъ.—Вы такъ много сдѣлали для губерніи, для всѣхъ насъ, для купечества, для мѣщанства... для народа!.. И не признать, не оцѣнить этого! Позвольте, ваше превосходительство, написать объяснительную подробную записку... У меня уже планъ въ головѣ готовъ...

— Да, да, пожалуйста,—уцѣпился за предложеніе Углиц-

кій: — я хотѣлъ объ этомъ просить, но вы были... нездоровы. Никто, кромѣ васъ, не напишетъ...

— Правда, ваше превосходительство, правда: никто, никто! И онъ (указывая на меня) ни за что не напишетъ. Онъ пишетъ чувствительно, но не дѣловито. Я сегодня же засяду...

— Мы возьмемъ записку съ собой въ Петербургъ,—перебилъ губернаторъ.—Вѣдь вы поѣдете со мной, не откажетесь?..

— Нѣтъ, ваше превосходительство! Отказаться! На край свѣта за вами...

Онъ поцѣловалъ его въ плечо.

— Вотъ и онъ ѣдетъ!—указалъ губернаторъ на меня.

— Вы благородный, благородный человѣкъ, человѣкъ съ сердцемъ!—съ жаромъ отозвался Прохинъ и бросился цѣловать меня.

Уфъ! меня точно въ винную бочку посадили!

Прохинъ сталъ изливаться передъ губернаторомъ въ чувствахъ, или «чувствованіяхъ» преданности, какъ онъ выражался, а губернаторъ живо ухватился за предложеніе писать записку въ Петербургъ и быстро увѣровалъ въ ея неотразимость и силу. Они горячо заговорили. Углицкій кидалъ мысль за мыслью, оттѣнялъ ихъ живыми деталями.

— Слушаю, слушаю! Вотъ еще надо то включить, другое...—поддакивалъ Прохинъ.

Оба они говорили въ одно время, перебивая другъ друга.

Я ушелъ.

— До вечера!—сказалъ мнѣ вслѣдъ губернаторъ.

Я ничего не говорилъ объ этомъ Прохинѣ. Онъ былъ полненькій, кругленькій сорокалѣтній человѣкъ средняго роста, съ сѣро-голубыми на выкатѣ глазами, съ одутловатыми отъ вина щеками, вѣчно съ влажнымъ подбородкомъ и руками, такъ что послѣ его рукожатія надо было обти-

рать руку. Впрочемъ, онъ былъ не непріятной наружности и пріятный въ обращеніи.

Онъ служилъ по особымъ порученіямъ, собственно по письменной части. А писать онъ былъ великій мастеръ. Его докладныя объяснительныя и оправдательныя записки были шедёврами. Онъ былъ извѣстное перо въ губерніи. Онъ воспиталъ свой стиль сначала въ семинаріи, потомъ въ казанскомъ университетѣ, на хріяхъ, періодахъ, тропахъ, фигурахъ, метафорахъ, свидѣтельствахъ отъ противнаго, подобіяхъ и прочихъ тонкостяхъ риторики. Никогда отъ нихъ не отступалъ и признавался мнѣ, что если бъ и захотѣлъ, то не могъ бы отступить. «Ужъ очень втянулся,—говорилъ онъ.—Когда возьму перо въ руку, такъ первое является у меня—не что̀ писать, а ка̀къ писать? Ядро мысли вылупляется на другой страницѣ листа, а на первую просится вступленіе, потомъ занимаетъ меня соображеніе о числѣ посылокъ» и т. д.

Слогъ у него былъ плавный, текучій, пріятный. Бывало, вникая въ дѣла, читаешь и зачитываешься этой его дѣловой литературой. Нигдѣ, что называется, ни сучка, ни задоринки. Такъ и льется рѣчь, какъ тихая рѣка. Ни нечаянныхъ оборотовъ, ни сильныхъ взмаховъ и ударовъ пера, ни поразительныхъ неожиданностей. И какой тонкій, искусный казуистъ онъ былъ! Какъ онъ умѣлъ подсказанный ему Углицкимъ софизмъ развести въ сладкой водѣ фигуръ и троповъ.

Къ сожалѣнію, всѣми качествами его пера и пріятнаго характера не часто приходилось пользоваться. Онъ являлся у губернатора мѣсяца два-три сряду, потомъ мѣсяца на три пропадалъ, запирался дома и... пилъ запоемъ. Когда спросятъ, что̀ его не видать, губернаторъ, пожавъ плечами, скажетъ, что онъ «dans les vignes du Seigneur», а другіе просто выражались: «запилъ». Потомъ отрезвляется, и какъ ни въ чемъ не бывало, является, пишетъ дѣловыя записки, со всѣми любезенъ, ласковъ, пріятенъ.

Но въ пьяномъ образѣ бывалъ свирѣпъ. Изъ оконъ своего невысокаго деревяннаго домика, гдѣ жилъ съ своимъ отцомъ, престарѣлымъ, заштатнымъ священникомъ, показывалъ прохожимъ языкъ, грозилъ кулакомъ или плевался. Иногда выходилъ въ сѣромъ халатѣ на улицу, въ галошахъ на босу-ногу, и шелъ въ кабакъ, если дома не давали пить.

Вотъ и весь Прохинъ, бывшій мой сослуживецъ и будущій спутникъ до Петербурга.

Ко мнѣ онъ очень благоволилъ, но слога въ моихъ бумагахъ не признавалъ, и весьма основательно, потому что его не было. Не любилъ онъ еще одного—зачѣмъ я зналъ иностранные языки, а онъ нѣтъ. Когда мнѣ случилось при немъ отвѣчать губернатору или губернаторшѣ по-французски на ихъ вопросы на этомъ языкѣ, онъ на меня дулся. Вообще въ немъ таилась заноза противъ всѣхъ знавшихъ языки. «Знай я ихъ, эти распрепроклятые языки,—проговаривался онъ за пуншемъ, среди своихъ:—изъ меня бы вышла не та фигура!»

Оставивъ его съ губернаторомъ и сойдя внизъ, я сдалъ всѣ бумаги опять Добышеву и передалъ ему ключъ отъ шкапа съ дѣлами.

— Что̀ такъ торопитесь: успѣли бы!—сухо замѣтилъ онъ.

Съ чиновниками канцеляріи я простился дружелюбно, пожавъ имъ всѣмъ руки въ первый и послѣдній разъ: они были уже не подчиненные мнѣ. Сторожу Чубуку на его «прощенья просимъ»—я далъ рубль и пріѣхалъ домой отставнымъ-неслужившимъ чиновникомъ, и сталъ готовиться къ скорому отъѣзду въ Петербургъ.

Я не касаюсь здѣсь причины увольненія Углицкаго. Въ губерніи его жаловали мужчины, особенно безсемейные, любившіе весело пожить, да и всѣ охотно ѣздили къ нему, принимали у себя, благодаря его живому, веселому, по-

безному характеру, его свѣтскости, тону, обходительности. Дамы были отъ него безъ ума.

Для дѣлъ онъ не сдѣлалъ ничего, ни дурного, ни хорошаго, какъ и его предмѣстники. Были, правда, у него порывы, въ родѣ вышеописаннаго: разогнать немного тьму, прижать взяточничество, замѣстить казнокрадовъ порядочными людьми, но онъ былъ не геркулесъ, чтобы очистить эти авгіевы конюшни. Гдѣ ему? У него вдругъ загорится порывъ, вспыхнетъ и скоро простынетъ.

Поводовъ къ его удаленію было, вѣроятно, найдено не мало: какихъ-нибудь мелкихъ чиновничьихъ придирокъ по дѣламъ. Но была и одна крупная причина, которая восходила до начальства дѣйствительно, какъ я слышалъ, стороной, черезъ жандармовъ.

Причина эта была посторонняя службѣ: она не подводила губернатора ни подъ какой формальный судъ и въ обществѣ вызывала только снисходительную улыбку и насмѣшливые толки. Она касалась не дѣлъ, а самой личности его, не шла къ его сану и положенію.

Онъ былъ... женолюбивъ. Въ «науки страсти нѣжной» онъ, какъ Онѣгинъ, должно быть, находилъ «и муку, и отраду». Я еще тамъ, на мѣстѣ, слышалъ кое-какія исторіи о его «любвяхъ», но не придавалъ слухамъ тогда значенія. Въ Петербургѣ уже я, частію былъ самъ свидѣтель, частію по его собственнымъ разсказамъ, могъ убѣдиться, что не только все слышанное о немъ на Волгѣ было справедливо, но и въ томъ, какъ безвозвратно и неисцѣлимо онъ былъ преданъ этой «наукѣ», т.-е. страсти нѣжной, и какой былъ великій стратегъ и тактикъ въ ней.

Можно бы было написать нѣсколько томовъ его любовныхъ исторій, въ родѣ мемуаровъ Казановы, если бъ всѣ такія исторіи не были однообразны, до крайности пошлы и не пріѣлись всѣмъ до тошноты. Онѣ могутъ быть зани-

мательны только для самихъ дѣйствующихъ въ нихъ лицъ и больше ни для кого.

Если бъ Углицкій умѣлъ писать, онъ непремѣнно изобразилъ бы себя съ своимъ обширнымъ гаремомъ и обогатилъ бы всеобщую эротическую исторію еще однимъ многотомнымъ увражемъ, въ родѣ сочиненій маркиза де-Сада, Брантома и вышепомянутаго Казанова.

Къ счастію для него и для читателей, онъ былъ слабъ въ грамотѣ. Онъ явился бы въ блескѣ своего фатовства и того «хладнокровнаго разврата», которымъ, по свидѣтельству поэта, «славился» старый вѣкъ. Углицкій, какъ и Казанова, его прототипъ, не годился въ Отелло, Ромео, даже въ Донъ-Жуаны, а прямо въ Фобласы. Онъ не зналъ никакихъ нѣжныхъ чувствъ, страстныхъ изліяній, слезъ и мукъ разлуки, ревности — всего того, чѣмъ красна человѣческая любовь. И если иногда прибѣгалъ къ этому, то единственно какъ къ средству для достиженія желаемой, извѣстой и скорой развязки.

А достигнувъ ея, искалъ новаго—и такъ безъ конца.

Все это стало въ провинціи выходить наружу. Мужья загораживали отъ него женъ, но онъ, своею вкрадчивостью, тонкой лестью, потомъ наружностью и манерами, успѣвалъ ловко вести и маскировать свою ловеласовскую политику, проникалъ въ замкнутые круги и имѣлъ успѣхъ, которымъ самъ же подъ рукой хвастался. Однако, шило стало прокалывать мѣшокъ. Разсказывали, что его домашній чиновникъ тайкомъ провожалъ къ нему по вечерамъ одну «барыню, будто бы изъ порядочнаго семейства». Потомъ говорили, что жена одного изъ его чиновниковъ пользовалась его благосклонностью, и что отъ этого, и ей, и мужу было хорошо. Наконецъ, говорили (это уже сплетня, должно-быть), что женихъ одной красивой дѣвицы... побилъ его по секрету за... черезчуръ явное и усердное поклоненіе своей невѣстѣ.

Вотъ это послѣднее обстоятельство — секретные побои — и послужило будто бы главнымъ мотивомъ доноса на губернатора и его отозванія. «Скандалъ, дескать: дурной примѣръ подаетъ!»

Я этому не вѣрилъ и до сихъ поръ не вѣрю, т.-е. въ причину отозванія. Но вообще въ романахъ Углицкаго теперь уже сомнѣваться не могу: самъ видѣлъ ихъ потомъ въ Петербургѣ и за границею. Перомъ не коснусь ни одного изъ нихъ, по вышесказанной причинѣ. Всѣ они одинаково пошлы, и только въ живыхъ разсказахъ этого Фобласа казались остроумны и веселы. Онъ прикрывалъ свои романы лоскомъ хорошаго тона, наружнаго приличія, даже галантнаго рыцарства.

Тотъ ли или другой мотивъ повелъ къ удаленію Углицкаго, но онъ вскорѣ, въ маѣ мѣсяцѣ, оставилъ губернію, съ семействомъ, еще съ Прохинымъ, и убѣдительно пригласилъ ѣхать вмѣстѣ и меня. «Веселѣе ѣхать вмѣстѣ!» — прибавилъ онъ. Я охотно согласился.

Я простился съ родными надолго, а съ Якубовымъ навсегда. Мы крѣпко обнялись съ нимъ, не предчувствуя оба, что болѣе не увидимся. Я посѣтилъ родину ровно черезъ четырнадцать лѣтъ, но его уже не засталъ въ живыхъ.

XV.

Если бъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ отъ С. до Москвы существовала желѣзная дорога, намъ понадобился бы цѣлый отдѣльный поѣздъ: такъ много насъ выѣхало изъ города.

Впереди ѣхалъ дормёзъ съ губернаторомъ и его семействомъ, т.-е. ихъ собственно было трое: мужъ съ женой и дочь. А затѣмъ на полверсты растянулась вереница экипажей съ провожатыми обоего пола. Поѣздъ замыкался коляской-тарантасомъ, гдѣ помѣщались я и Про-

хинъ, съ лакеемъ на козлахъ. А сзади насъ — бричка съ прислугой; горничной, камердинеромъ, еще лакеемъ и мальчикомъ.

Углицкій пересаживался изъ экипажа въ экипажъ, отплачивая любезностями за проводы. Къ Марьѣ Андреевнѣ по очереди садились почетныя губернскія дамы. Въ бывшемъ губернаторскомъ городскомъ экипажѣ ѣхала, шептали тогда злые языки, la favorite en titre Углицкаго, жена его чиновника, да Чуча съ Линой.

Чуча была вся распухшая отъ слезъ, а Лина, сжавъ губы, смотрѣла на все злыми глазами, особенно на Чучу и ехидно молчала. Горничная Марьи Андреевны разсказывала уже въ Москвѣ, что губернаторша не хотѣла разставаться съ Линой, звала ее съ собой, но некуда было дѣть Чучу. Лина злобно жаловалась горничной, что сестра ея заѣдаетъ ей вѣкъ, что, не будь этой «немогучки» она, Лина, была бы въ Петербургѣ, гдѣ, разумѣется, оцѣнили бы ея «золотыя руки», и она вышла бы замужъ.

Кромѣ Лины и Чучи, всѣ въ поѣздѣ были крайне веселы, особенно самъ Углицкій, нужды нѣтъ, что онъ уѣзжалъ въ качествѣ опальнаго. Напротивъ, онъ веселился мыслью, что у него въ хвостѣ поѣзда ѣхалъ Прохинъ, уже съ готовой краснорѣчивой, неотразимой оправдательной запиской, прочтя которую, всѣ начальства примутъ его съ распростертыми объятіями, будутъ гладить по головѣ, жандарма изъ провинціи прогонятъ и прочихъ «враговъ» прихлопнутъ, а ему дадутъ лучшую губернію на выборъ, или сдѣлаютъ его сенаторомъ...

Одѣтый щегольски, въ форменномъ сюртукѣ, со звѣздой, онъ, съ такими мечтами, весело оглядывалъ длинный поѣздъ провожатыхъ, садился то къ тѣмъ, то къ другимъ дамамъ, и даже нашелъ четверть часа посидѣть въ каретѣ наединѣ съ favorite en titre и... нѣжно, à la Казанова, съ нею проститься.

Это была какая-то увеселительная поѣздка, въ родѣ тѣхъ, судя по описаніямъ, какія совершались богатыми вельможами Екатерининскихъ временъ, ѣздившими изъ своихъ имѣній въ столицу. А тутъ ѣхалъ эксъ-губернаторъ, съ единственными шестью или семью тысячами рублей (ассигнаціями), вырученными отъ продажи мебели, экипажей, лошадей и всего движимаго имущества, но съ радужными надеждами на будущее. Онъ шутилъ, острилъ, смѣшилъ дамъ и самъ смѣялся.

Добышева въ числѣ провожатыхъ не было. Онъ терся уже около новаго губернатора. Я забылъ сказать, что послѣдній пріѣхалъ за нѣсколько дней до нашего выѣзда и вступилъ въ управленіе губерніей. Всѣ подчиненные оставались при немъ, и только на данномъ отъѣзжающему дворянствомъ завтракѣ выпили за его здоровье и разошлись.

На одной изъ станцій былъ заготовленъ обѣдъ, послѣ котораго бо̀льшая часть провожатыхъ воротилась. Чуча разревѣлась на прощанье такъ, что тронула всѣхъ. Она положила голову на плечо Софьи Львовны и плакала навзрыдъ. Лина сердито оторвала ее, толкнула въ карету и, пошептавъ что-то на прощанье губернаторшѣ, сама юркнула въ экипажъ и сильно захлопнула дверцы.

Еще нѣсколько самыхъ веселыхъ изъ нашихъ провожатыхъ, близкихъ безсемейныхъ пріятелей Углицкаго, поѣхали дальше впередъ, и въ богатомъ барскомъ селѣ приготовили, въ домѣ управляющаго имѣніемъ, обильный ужинъ и ночлегъ. Углицкому съ семействомъ отведены были лучшія комнаты, а намъ, помнится, четверымъ, постлали постели на полу большой залы. Но Углицкій легъ съ нами. Прохина, за недостаткомъ мѣста, помѣстили на ночь въ крестьянской избѣ, до того обильной клопами, что онъ всю ночь, какъ разсказывалъ, только и дѣлалъ, что высовывался до пояса изъ оконъ отъ боли и бранился на все село.

Спать было немыслимо. «А мужики, бестіи, говоритъ, знай-храпятъ себѣ около меня».

Мы же всѣ, т.-е. Углицкій, гости и я, спали въ повалку. Наслушались же мои молодыя уши въ эту ночь разсказовъ и анекдотовъ полупьяной компаніи! Особенно отличались самъ Углицкій и его близкій пріятель, Брашинъ. Одинъ анекдотъ скабрёзнѣе и смѣшнѣе другого, и одинъ особенно былъ такъ нечистъ и вмѣстѣ такъ смѣшонъ, что съ нашимъ хохотомъ вдругъ раздался хохотъ камердинера, которому все было слышно въ передней. Разсказчики не стѣснялись. Анекдоты Углицкаго изобиловали и кощунствомъ. Между тѣмъ, ложась спать, онъ снялъ съ груди тонкую металлическую, вершка въ два величиной, икону и просилъ меня положить на столѣ, рядомъ со мной, предварительно приложившись къ ней.

На другое утро, наконецъ, мы поѣхали уже одни, въ трехъ экипажахъ. Впереди дормёзъ съ Углицкимъ, его женой и дочерью, потомъ мы съ Прохинымъ въ коляскѣ, а сзади бричка съ прислугой. Погода была прекрасная, наше расположеніе духа тоже. Мой спутникъ, Прохинъ, совсѣмъ оправившійся отъ своего періодическаго «недуга», былъ шутливъ, веселъ, пріятенъ. Онъ острилъ надъ вчерашними проводами, и самъ Углицкій тоже. Послѣдній пересаживался изъ дормёза къ намъ въ коляску и почти все время ѣхалъ съ нами. Онъ мастерски изобразилъ въ карикатурѣ прощанье и рѣчи, и, между прочимъ, чего я никакъ не ожидалъ, самъ разболтался о нѣжномъ прощаньѣ въ каретѣ съ «дамой сердца».

— Вамъ жаль ее?—спросилъ я съ участіемъ.

— Мнѣ!—онъ засмѣялся.—Я смотрю теперь на нее—вотъ какъ на этого барана!—сказалъ сѣдой фатъ, указывая на кучку лежавшихъ въ тѣни около дороги барановъ.

Прохинъ зло и остроумно подшучивалъ, когда, при пе-

При этихъ словахъ, Прохинъ медленно поворотилъ голову къ намъ. Глаза у него блеснули. Онъ сорвалъ съ шеи салфетку и бросилъ на полъ.

— Да, и «прекрасно»!—обратился онъ къ намъ, передразнивая Углицкаго. — Вы хотите отправить меня, какъ куль съ поклажей, съ вашимъ лакеемъ: таковскій-дескать! Бросить его, какъ негодную клячу. «Пусть околѣваетъ!» Что же, бросьте, ваше превосходительство...

Мы съ Углицкимъ переглянулись другъ съ другомъ.

— А знаете ли, что̀ изъ этого выйдетъ? — продолжалъ Прохинъ. — Вы думаете, я приму ваше предложеніе, расшаркаюсь, поблагодарю и поѣду съ вашимъ холопомъ назадъ, домой? Ошибаетесь: я чиновникъ коронный, царскій слуга (онъ ударилъ себя кулакомъ въ грудь); состоялъ при васъ, какъ при губернаторѣ, но лакеемъ вашимъ не былъ, любовныхъ вашихъ записокъ по городу не разносилъ: да! (Углицкій нервно почесалъ затылокъ). Вы могли бы взять съ собой вашего Егорьева, или, пожалуй, Добышева, и потомъ отправить ихъ, какъ негодный хламъ, назадъ. Пусть они и служили бы вамъ перомъ! А я, Прохинъ, не унижусь до этого никогда! нѣтъ, никогда! Что̀ вы оба уставили глаза на меня? — продолжалъ онъ. — Я хотѣлъ быть полезенъ вамъ своимъ перомъ, нужды нѣтъ, что вы не начальникъ мой больше. Но вы всегда были добры, ласковы со мной, снисходили къ моей слабости... А у меня благодарное, незабывчивое сердце—я и поѣхалъ съ вами! А теперь что̀: не нуженъ, такъ вонъ его, какъ негодную тряпку! Оставить!

Мы слушали этотъ, сказанный хорошимъ слогомъ, какъ изъ-подъ его пера вылившійся монологъ, и ушамъ не вѣрили. Прохинъ ли это, который, за минуту передъ тѣмъ, не могъ донести ложку до рта?

— Оставьте меня здѣсь, оставьте! — продолжалъ онъ съ пьянымъ паѳосомъ: — будетъ «прекрасно»! Знаете что̀ бу-

детъ? Вашего лакея, если онъ осмѣлится звать меня съ собой, я вытолкаю въ шею, и не поѣду, нѣтъ, не поѣду! Оставьте меня — «прекрасно будетъ»! Я уйду въ кабакъ, да, уйду: вотъ у меня двѣсти рублей здѣсь, въ ящикѣ... Я всѣ ихъ пропью, до копейки, заложу одежду до послѣднихъ штановъ, рубашку пропью—и лягу вонъ тамъ, въ канавѣ—и околѣю! «Прекрасно» это будетъ, по-божески — какъ вы думаете?

Онъ опять впалъ въ свое забытье. А мы съ Углицкимъ молча, со страхомъ и недоумѣніемъ, глядѣли другъ на друга. Передъ нами разыгрывалась обыкновенная, но трагическая сцена.

— Что дѣлать?—растерянно вполголоса говорилъ Углицкій въ глубокомъ раздумьѣ:—какъ поступить! Ни взять съ собой, ни покинуть нельзя — вотъ положеніе! — Онъ скрестилъ руки на груди.

Вдругъ Прохинъ поднялся съ мѣста, сдѣлалъ два невѣрныхъ шага къ Углицкому и грохнулся передъ нимъ на колѣни.

— Не покидайте меня, не покидайте: я пропаду, какъ собака!—молилъ онъ, съ катящимися по щекамъ слезами.— Я знаю, что погибну; я вѣдь не мужикъ-пьяница, я сознаю свое положеніе и все безобразіе... Вашего лакея я не постыжусь и не послушаюсь... О, не покидайте меня... возьмите меня съ собой!

Мы оба были растроганы. Углицкій закрылъ лицо руками.

— Я не покину васъ, Андрей Петровичъ,—сказалъ онъ въ волненіи. — Будь что будетъ! Я хотѣлъ сдѣлать какъ вамъ удобнѣе...

— Я заслужу, заслужу!—продолжалъ Прохинъ.—Перомъ заслужу. Я дополню оправдательную записку, буду жить съ вами, пока нуженъ. А вы хотите дать пачкать мою записку ему (онъ съ гнѣвомъ указалъ на меня): да развѣ

Но онъ промолчалъ весь этотъ день. Ночь мы провели на станціи, поручивъ его попеченіямъ обоихъ лакеевъ, и на другой день, съ разсвѣтомъ, поѣхали далѣе.

Прохинъ сохранялъ свой монументальный видъ и неподвижную позу бронзоваго сфинкса, уставивъ глаза въ пространство. Онъ только безпрестанно вынималъ изъ-подъ подушки большую табакерку и набивалъ носъ табакомъ, которымъ запачкалъ себѣ и щеки, и небритую бороду. На мои вопросы онъ ничего не отвѣчалъ.

На вторыя сутки онъ сталъ обнаруживать признаки жизни—и отличился. Взглядъ его сталъ блуждать вокругъ себя; наконецъ онъ замѣтилъ и меня.

— А, и ты тутъ!—не то грозно, не то насмѣшливо произнесъ онъ:—мой слогъ ѣдешь поправлять! ха-ха-ха! парлефрансе! Дай табаку!

Я подалъ ему табакерку. Зловѣщая живость разыгрывалась въ немъ все болѣе и болѣе. На вопросъ мой, знаетъ ли онъ меня, кто я такой, онъ взглянулъ на меня, и ѣдко отвѣтилъ:

— Какъ не знать тебя, извѣстнаго пьяницу!

Я засмѣялся. Вотъ ужъ, что̀ называется, съ больной головы да на здоровую!

—, Что̀ смѣешься! Дай табаку! — безпрестанно командовалъ онъ. Я спѣшилъ его удовлетворить, робко прижимаясь въ уголъ и сторонясь отъ его размаховъ руками.

Онъ къ вечеру третьяго дня совсѣмъ рехнулся: кричалъ, плакалъ, называлъ насъ разбойниками, говорилъ, что мы прячемъ отъ него письма отъ отца. Завидѣвъ одну бабу, шедшую по дорогѣ съ кузовкомъ, онъ закричалъ:—Стой, стой!—Ямщикъ придержалъ лошадей, а онъ въ одно мгновеніе выскочилъ изъ экипажа—откуда проворство взялось!—перебѣжалъ дорогу и выхватилъ у бабы кузовокъ изъ рукъ, прежде нежели мы съ лакеемъ успѣли догнать его. Баба не давала, а онъ отнималъ у нея кузовъ,

крича: «Здѣсь письма отца: онъ проситъ помощи, его рѣзать хотятъ!»

Онъ испустилъ вопль и залился горькими слезами. Углицкій, я, оба лакея — насилу сладили съ нимъ и усадили въ коляску.

Дамы, т.-е. собственно Марья Андреевна, была въ ужасѣ, нюхала соли. Софья Львовна обращала любопытный вопросительный взглядъ на меня. Я украдкой прикладывалъ ладони къ вискамъ, какъ Чуча; она спѣшила отвернуться, пряча смѣхъ въ подушку. Углицкій твердилъ, что онъ давно не былъ въ такой «ажитаціи». Онъ гналъ ямщиковъ, торопилъ станціонныхъ смотрителей, требуя лошадей, чтобы добраться скорѣй до Петербурга и сдать Прохина въ больницу.

А этотъ продолжалъ все чудить, терялъ сознаніе. Ѣхали лѣсомъ, попадались навстрѣчу мужики, бабы.

— Невольницы, приближьтесь, пойте!—командовалъ онъ:— невольники, пляшите! Этотъ лѣсъ вырубить,—говорилъ дальше,—и засѣять табакомъ... Дай табаку!

— Кто же вы такой? — рискнулъ я спросить, подавая табакерку.

— Развѣ ты не знаешь, презрѣнный рабъ?—Потомъ задумался и вдругъ спросилъ меня тихо:—А скажи-ка мнѣ... только правду скажи... кто я такой?

— Развѣ вы не знаете?

— Ей-Богу, не знаю! Ты скажи, чьихъ я сынъ родителей? Откуда и куда ѣду? И ты самъ, тоже, кто такой? Лицо твое мнѣ что-то знакомо...

Я на все отвѣчалъ ему обстоятельно.

— А тамъ кто ѣдетъ впереди насъ?

— Левъ Михайлычъ Углицкій,—сказалъ я.

— Слыхалъ; имя знакомое...

На каждой остановкѣ я подбѣгалъ къ экипажу и наскоро сообщалъ Углицкимъ объ этой комедіи. Софья

Львовна опять прятала смѣхъ отъ матери, которая приходила въ ужасъ, и самъ Углицкій, какъ ни былъ озабоченъ, не могъ удержаться отъ смѣха и ходилъ взглянуть на эту трагикомедію.

Мы не останавливались ни завтракать, ни обѣдать, и гнали, что̀ есть мочи. На одной станціи, пока запрягали лошадей, Софья Львовна, шопотомъ, мило краснѣя, сказала мнѣ, что ей «кушать хочется». Я вызвалъ ее на станцію и тамъ опустошилъ скудный буфетъ. Она покушала тайкомъ, и я поѣлъ съ нею, потому что у нихъ въ каретѣ всѣ были поглощены страхомъ и заботами, было не до ѣды. Всѣ молчали.

Наконецъ, вечеромъ мы доѣхали до Новгорода и заняли нѣсколько номеровъ въ большой гостиницѣ. Марья Андреевна съ дочерью и мужемъ помѣстились въ одномъ этажѣ, а мы съ Прохинымъ—въ другомъ, въ большой комнатѣ, раздѣленной перегородкой на двѣ половины, съ двумя постелями.

Сейчасъ же по пріѣздѣ послали за докторомъ. Углицкій сталъ-было придумывать какую-то небывалую причину болѣзни, ссылаясь на нервы и прочее, чтобы не выдавать слабости Прохина. Но докторъ взглянулъ на больного, пощупалъ пульсъ, приподнялъ ему пальцемъ вѣки и сухо, коротко сказалъ:

— Совсѣмъ не то, что̀ вы говорите: это отъ пьянства! У него delirium tremens, и нервы тутъ ни при чемъ.

Углицкій, нечего дѣлать, сознался, что Прохинъ пьетъ запоемъ, запилъ еще въ Москвѣ, а дорогой это разыгралось.

— Вѣрно вдругъ пересталъ пить: вотъ если бъ вы ему постепенно уменьшали порцію водки, этого бы не случилось.

— Что̀ же теперь дѣлать: оставить его здѣсь?—спрашивалъ въ тоскѣ Углицкій.

— Зачѣмъ? Везите дальше; онъ мало-по-малу придетъ въ себя.

[illegible] исторіи исторіи обыкновенныхъ [illegible] Прокопія.

А [illegible] Прокопія, [illegible] сидѣ [illegible] пошелъ [illegible] и всѣ улеглись.

[illegible] сонъ, меня на разсвѣтѣ [illegible] Прокопія. Я всталъ и выглядѣ [illegible] Прекрасный человѣкъ спалъ [illegible] своимъ, а Прокопія въ одной [illegible] большихъ [illegible]

[illegible]

Утромъ часовъ въ девять меня разбудилъ Углицкій и сказалъ, что все готово, что послѣ завтрака мы уѣзжаемъ. Прохинъ спалъ. Я одѣлся и пошелъ пить чай къ дамамъ. Я разсказалъ имъ о ночномъ событіи. Марья Андреевна всплеснула руками.

— Что мы будемъ съ нимъ дѣлать! Боже мой, какое горе!

Я только переглянулся съ Софьей Львовной: и намъ было не до смѣху.

Прохина разбудили, напоили чаемъ, и мы поѣхали. Прохинъ хранилъ загадочное молчаніе. Мнѣ показалось, что онъ взглянулъ на меня, какъ на знакомое лицо. Онъ самъ уже доставалъ свою табакерку изъ-подъ подушки. Станціи черезъ двѣ онъ спросилъ, нѣтъ ли чего закусить. И когда я принесъ ему бутербродовъ съ телятиной и языкомъ, онъ поблагодарилъ меня. Послѣ того, часа черезъ два, онъ, не оборачиваясь ко мнѣ, вдругъ стыдливымъ шопотомъ спросилъ:

— Что Левъ Михайлычъ: онъ очень недоволенъ мною? Какъ я безпокоилъ Марью Андреевну и Софью Львовну; мнѣ совѣстно глядѣть имъ въ глаза!

Онъ пряталъ лицо даже отъ меня.

— Ничего! — успокоивалъ я его, обрадованный перемѣною:—они всѣ, дѣйствительно, безпокоились, но не за себя, а за ваше здоровье...

— Какая я скотина! Скажите откровенно—скотина? Вы, я думаю, смѣялись надо мной.

— Нѣтъ, Андрей Петровичъ, — съ участіемъ отозвался я.—Я глубоко жалѣлъ и жалѣю, что такой человѣкъ, какъ вы, съ умомъ, образованіемъ, дарованіями, съ перомъ...— прибавилъ я.

— И такая свинья,—досказалъ онъ.

— Полноте!

— А много я смѣшилъ васъ?

— Одинъ разъ только разсмѣшили.

— Когда, чѣмъ?

— Когда назвали меня пьяницей!

— Ужели? Этого только недоставало: свою шапку на васъ надѣлъ!

Онъ глубоко задумался и загрустилъ. Я на первой же станціи подбѣжалъ къ дормёзу Углицкихъ.

— Что Андрей Петровичъ?—спросили оба.

— Кланяться приказалъ!—обрадовалъ я ихъ.

Они не вѣрили. Левъ Михайлычъ выскочилъ изъ экипажа и побѣжалъ къ Прохину. Тотъ уже вылѣзъ изъ коляски и, завидя Углицкаго, закрылъ лицо руками.

— Скотина, скотина, свинья! — казнилъ онъ себя. — Не могу смотрѣть на васъ...

— Полноте, перестаньте, что вы! — успокаивалъ его Углицкій: — я такъ радъ, такъ радъ, что вы пришли въ себя; я очень боялся за ваше здоровье. Но слава Богу!

Онъ даже перекрестился.

— Какъ вы добры, снисходительны! — говорилъ сконфуженный Прохинъ, съ чувствомъ пожимая протянутыя ему Углицкимъ руки. — Я не буду больше... по крайней мѣрѣ, пока буду вамъ нуженъ... Я заслужу. Сегодня, когда я пришелъ въ себя, я уже обдумалъ, какія дополненія надо сдѣлать въ запискѣ...

— Объ этомъ послѣ, а теперь пойдемте на станцію пить вмѣстѣ чай. Какъ жена и Соня будутъ рады...

— Ахъ, нѣтъ! — отговаривался Прохинъ: — я не смѣю показаться имъ на глаза: ради Бога, позвольте подождать до Петербурга, когда совсѣмъ оправлюсь, обреюсь и умоюсь... тогда...

Онъ грустно и тяжело вздохнулъ.

Такъ мы мирно, покойно и прилично, какъ ни въ чемъ не бывало, въѣхали въ Петербургъ.

Августъ, 1887 г.

СЛУГИ СТАРАГО ВѢКА.

СЛУГИ СТАРАГО ВѢКА.

(Изъ домашняго архива.)

Вмѣсто предисловія. Мнѣ нерѣдко дѣлали и доселѣ дѣлаютъ нѣчто въ родѣ упрека или вопроса, зачѣмъ я, выводя въ своихъ сочиненіяхъ лицъ изъ всѣхъ сословій, никогда не касаюсь крестьянъ, не стараюсь изображать ихъ въ художественныхъ типахъ, или не вникаю въ ихъ бытъ, экономическія условія и т. п. Можно вывести изъ этого заключеніе, можетъ-быть, и выводятъ, что я умышленно устраняюсь отъ «народа», не люблю, т.-е. «не жалѣю» его, не сочувствую его судьбѣ, его трудамъ, нуждамъ, горестямъ, словомъ—не болѣю за него. Это-де брезгливость, барство, эпикуреизмъ, любовь къ комфорту: этимъ нѣкоторые пробовали объяснять мое мнимое равнодушіе къ народу.

На это можно бы многое отвѣчать, но у меня есть одинъ отвѣтъ, который устраняетъ необходимость всѣхъ другихъ, а именно: я не знаю быта, нравовъ крестьянъ, не знаю сельской жизни, сельскаго хозяйства, подробностей и условій крестьянскаго существованія, или если знаю что-ни-

будь, то это изъ художественныхъ и другихъ очерковъ и описаній нашихъ писателей. Я не владѣлъ крестьянами, не было у меня никакой деревни, земли; я не сѣялъ, не собиралъ, даже не жилъ никогда по деревнямъ. Ребенкомъ девяти и десяти лѣтъ я прожилъ въ деревнѣ два года и ни въ какое общеніе съ крестьянами, конечно, входить не могъ.

Откуда же мнѣ было знать, такъ сказать, лично крестьянъ, ихъ жизнь, бытъ, нравы, горести, заботы, и какъ было заразиться живою (а не литературною), личною любовью и печалованіемъ о нихъ? Сознаніе человѣческаго долга къ ближнему, безъ сомнѣнія, живетъ въ сердцѣ каждаго развитого человѣка—и въ моемъ также,—тѣмъ болѣе долга въ отношеніи «меньшой братіи».

Я не только не отрекаюсь отъ этого сознанія, но питаю его въ себѣ и—то съ грустью, то съ радостью, смотря по обстоятельствамъ, наблюдаю благопріятный или неблагопріятный ходъ народной жизни. Но отъ этого сознанія далеко до участія дѣломъ, особенно перомъ, въ народной жизни. Описывать, притомъ еще изображать художественно, типы и нравы крестьянъ, могутъ тѣ, кто жилъ среди нихъ, непосредственно наблюдалъ ихъ вблизи, рисовалъ ихъ съ натуры: тѣмъ и книги въ руки. Я вѣкъ свой провелъ въ городахъ, больше всего въ Москвѣ, гдѣ учился, потомъ въ губернскомъ городѣ, на родинѣ, потомъ болѣе полувѣка живу въ Петербургѣ, откуда отлучался нерѣдко на многіе мѣсяцы, за границу, и года два провелъ въ кругосвѣтномъ плаваніи. Внутрь Россіи я заглядывалъ мало и не надолго.

Простой народъ, т.-е. крестьянъ, земледѣльцевъ, я видалъ за ихъ работами мимоѣздомъ: то изъ вагона желѣзной дороги, то съ палубы корабля. Видѣлъ, какъ идутъ за плугомъ наши мужички, безъ шапокъ, въ рубашкахъ, въ лаптяхъ, обливаясь потомъ; видалъ какъ въ Германіи, съ коро-

тенькой трубкой въ зубахъ, крестьяне пашутъ, крестьянки жнутъ въ соломенныхъ шляпкахъ; во Франціи гомозятся въ поляхъ въ синихъ блузахъ, въ Англіи въ плисовыхъ курткахъ, сѣютъ, косятъ, или везутъ по дорогѣ продукты въ города. Далѣе, видалъ работающихъ на поляхъ негровъ, индѣйцевъ, китайцевъ, на чайныхъ, кофейныхъ и сахарныхъ плантаціяхъ. Проѣздомъ черезъ Сибирь—видалъ нашихъ сибирскихъ инородцевъ, якутовъ, бурятъ и другихъ— и все это издали, со стороны, катясь по рельсамъ, ѣдучи верхомъ, или съ борта корабля, и не вступалъ ни въ какія сношенія: не приходилось, случая не было.

Слѣдовательно, описывать или изображать крестьянъ было бы съ моей стороны претензіей, которая сразу обнаружила бы мою несостоятельность. Зачѣмъ же мнѣ было напрашиваться на явную, ненужную неудачу? «Зачѣмъ не шелъ въ народъ, не искалъ случая сблизиться, узнать, изучить его? Эпикуреизмъ, чопорность, любовь къ комфорту мѣшали», иногда слышались или чудились мнѣ обращенные по моему адресу упреки.

Что на это сказать? Я знавалъ нѣкоторыхъ народниковъ, поэтовъ, повѣствователей. Они тоже любили больше сближаться съ народомъ издали, сидя у себя въ деревенскомъ кабинетѣ, заходили въ крестьянскія избы отдохнуть, спрятаться отъ непогоды, словомъ, барски, привозя съ собой всѣ принадлежности такого утонченнаго комфорта, передъ которымъ блѣднѣлъ мой скромный «эпикуреизмъ».

Въ ходившихъ въ народъ собирателяхъ пѣсенъ я видѣлъ — можетъ-быть, я грѣшу, говоря это — болѣе влеченіе къ самымъ странствіямъ. Они собирали и записывали, что попадалось, иногда дѣйствительно втягивались въ крестьянскую среду. Собираніе пѣсенъ, сказокъ, пословицъ, конечно, полезно. Многіе обогатили послѣдними русскую литературу. И спасибо имъ! Но на это надо имѣть не только охоту и своего рода подготовку, но и

способности. А если послѣднихъ нѣтъ: что же дѣлать? Все-таки идти?

Упрекая меня въ невѣдѣніи народа и мнимомъ къ нему равнодушіи, замѣчаютъ, въ противоположность этому, что я не мало потратилъ красокъ на изображеніе дворовыхъ людей, слугъ.

Это правда. На это бы прежде всего можно было замѣтить, что слуги, дворовые люди, особенно прежніе крѣпостные—тоже «народъ», тоже принадлежатъ къ меньшой братіи. Стало-быть, я повиненъ только въ безучастіи собственно къ сельчанамъ, земледѣльческому и мелкопромышленному деревенскому люду. Это вѣрно: я его вовсе не знаю—какъ сказалъ—и оттого не берусь не за свое дѣло, не описываю и не изображаю, чего не знаю.

Другое дѣло, дворня, дворовые люди—теперь тоже явленіе отходящее мало-по-малу въ прошлое, вмѣстѣ съ помѣщиками и дворами.

Но слуги остаются и, повидимому, останутся навсегда или надолго. Отъ нихъ не отдѣлаться современному обществу. Говорятъ, въ Соединенныхъ Штатахъ уже почти совершилась отмѣна класса слугъ, демократія сама служитъ себѣ — всякій самъ себѣ слуга. Но, вѣроятно, тутъ есть огромныя исключенія. Богачи имѣютъ слугъ, и по многу, какъ видно изъ описаній. Потомъ торговыя и другія заведенія, разныя общества тоже, далѣе — рестораны, отели, кишатъ слугами, иначе вся общественная машина остановится. Слѣдовательно, и тамъ слуги есть; только тамъ вчерашній лакей въ гостиницѣ—завтра, съ поворотомъ колеса фортуны, превращается въ господина и покупаетъ себѣ домъ, экипажи, нанимаетъ слугъ, а разорившійся банкиръ, фабрикантъ, землевладѣлецъ, поступаетъ работникомъ на ферму, или лакеемъ къ состоятельному купцу. Это отчасти проникло и въ Европу.

У насъ слуги пока еще, какъ волны, ходятъ около насъ:

и не только въ большихъ, богатыхъ домахъ, не только въ буржуазіи, въ зажиточныхъ семейныхъ хозяйствахъ, но даже у холостыхъ и небогатыхъ — есть слуга, такъ-называемый лакей, или женщина для прислуги.

Я, родившійся при крѣпостномъ правѣ и воспитанный среди слугъ того времени, жилъ сначала дома въ провинціи среди многочисленной дворни, потомъ въ Петербургѣ, и, какъ всѣ мнѣ подобные, имѣлъ постоянно слугу. Въ пятьдесятъ лѣтъ, что я прожилъ здѣсь, слуги не переводились: смѣняясь одинъ другимъ.

Въ большихъ домахъ слуги, лакеи, la valetaille, составляютъ родъ хора, которымъ управляетъ капельмейстеръ изъ нихъ же, старшій, или наемный дворецкій, иногда ловкій, плутоватый, но расторопный и услужливый передъ господиномъ — и полновластный шефъ лакейской команды. Она безлична и никакіе типы не выдѣляются изъ толпы. Шефъ смѣняетъ ихъ, нанимаетъ новыхъ по своему произволу и отвѣчаетъ за все.

Не такъ въ скромныхъ, небольшихъ хозяйствахъ — и у холостяковъ особенно. Тутъ слуги на виду, каждый формируется въ типъ или характеръ и дѣлается или врагомъ дома, или другомъ, смотря по своимъ качествамъ, но вообще онъ въ своемъ родѣ членъ семейства, близкій къ дѣламъ, заботамъ, горю или радостямъ дома, а у холостяка— невольный его сожитель, ближайшій свидѣтель всего, что у того дѣлается, участникъ въ его секретахъ, если они есть, иногда и кошелька, при беззаботности хозяина.

Я иногда отмѣчалъ на клочкахъ наиболѣе выдающіяся фигуры моихъ слугъ, ихъ характерныя черты, нравы, привычки—и забрасывалъ эти клочки далеко въ столъ, въ свой домашній архивъ, не думая дѣлать изъ нихъ какое-нибудь, всего менѣе литературное употребленіе. Когда клочки попадались подъ руку, я пробѣгалъ глазами портреты, припоминалъ черты лицъ, и смѣялся, хотя нѣкоторые ориги-

налы этихъ копій въ свое время не мало причиняли мнѣ заботъ, ставили меня въ критическое, иногда, какъ увидитъ читатель, беззащитное положеніе.

Клочки эти образовали довольно объемистую пачку. Я, правду сказать, еще не знаю, что̀ буду съ ней дѣлать. Прежде попробую прочитать кое-что пріятелямъ, «свѣдущимъ людямъ»—и если они найдутъ въ нихъ нѣкоторую дозу общаго интереса, я могу иные, наиболѣе характерные наброски отобрать—и, пожалуй, напечатать, остальные бросить въ огонь.

Обработки почти никакой не требуется, такъ какъ я, старый домосѣдъ, сидя въ небольшихъ холостыхъ квартирахъ, съ-глазу-на-глазъ со своими слугами, рисовалъ ихъ, такъ-сказать, съ натуры. Они прямо выходили готовые изъ-подъ пера. Годятся ли на что-нибудь эти эскизы, займутъ ли кого-нибудь—пусть рѣшатъ «свѣдущіе люди».

Впрочемъ, въ наше, не строгое литературное время многое и многимъ сходитъ легко съ рукъ; можетъ-быть, и мнѣ сойдетъ.

I.

Валентинъ.

Ко мнѣ явился, по рекомендаціи одного моего пріятеля, человѣчекъ низенькаго роста, плѣшивый, лѣтъ пятидесяти, съ просѣдью на рѣдкихъ волосахъ, оригинальной, даже смѣшной наружности.

У него былъ маленькій, едва замѣтный, величины и цвѣта вишни носъ, голубые безъ всякаго оттѣнка глаза и яркій старческій румянецъ на щекахъ. Голубые, безъ примѣси глаза, по моему наблюденію, были почти несомнѣнною печатью наивности, граничащей съ глупостью, чаще просто глупости.

Онъ вошелъ, поклонился, кокетливо шаркнувъ ножкой, которую тотчасъ поднялъ немного, прижалъ къ другой ногѣ

и подалъ мнѣ свой паспортъ и рекомендательную записку отъ моего пріятеля. Послѣ обычныхъ объясненій о его обязанности у меня, уговора о жалованьѣ, я показалъ ему свою квартиру, его комнату, шкапы съ платьями, комоды съ бѣльемъ и прочія вещи, и предложилъ ему поскорѣе вступить въ должность.

Къ вечеру онъ водворился у меня, и на другой день все вошло въ обычную колею. Онъ оказался очень учтивымъ, исправнымъ, хорошо выдрессированнымъ слугой. Красный носъ и румяныя щеки приводили меня въ нѣкоторое сомнѣніе насчетъ его воздержанія, но къ счастію — это не подтвердилось.

Проходили недѣли, мѣсяцы, на пьянство не было и намека. Онъ исполнялъ свою должность аккуратно, шмыгалъ мимо меня по комнатамъ, какъ воробей, ступая на одну ногу легче, нежели на другую, едва касаясь ею пола. Я думалъ, что она у него короче другой, но потомъ замѣтилъ, что онъ дѣлалъ это, чтобъ придать своей походкѣ нѣкоторую грацію. Вообще онъ былъ кокетливъ; носилъ розовыя и голубыя шейныя косынки, вышитыя манишки съ розовой подкладкой, цвѣтные воротнички. Въ карманѣ онъ держалъ миніатюрное зеркальце съ гребенкой, и я зачастую заставалъ, что онъ глядится въ него и старается собрать жидкія космы волосъ съ затылка и висковъ воедино. Проходя мимо зеркалъ въ моихъ комнатахъ, онъ непремѣнно поглядится въ нихъ и иногда улыбнется. Я исподтишка забавлялся этимъ невиннымъ кокетствомъ, но не давалъ ему этого замѣтить. Я даже поощрялъ его, отдавалъ ему свои, почти совсѣмъ новые галстуки, перчатки, обѣщая отдавать и всѣ свои отслужившія платья, что, впрочемъ, дѣлалъ всегда и прежде.

Такъ мы привыкали все больше и больше другъ къ другу и наконецъ совсѣмъ привыкли. Онъ очень рѣдко отлучался со двора, у него я почти никого не видалъ въ гостяхъ,

впрочемъ, раза два-три, возвращаясь домой, замѣчалъ мелькомъ какихъ-то невзрачныхъ женщинъ, которыя при мнѣ исчезали. «Землячки», говорилъ онъ, когда мнѣ случалось встрѣчать ихъ.

Словомъ, я былъ очень доволенъ имъ и не разъ благодарилъ своего пріятеля за рекомендацію.

Но вотъ чего я никакъ не подозрѣвалъ: что онъ былъ прикосновенъ къ литературѣ. Проходя черезъ его комнату въ ванну, я видалъ у него не помню какія-то старыя, полуразорванныя книги, съ остатками переплета, или вовсе безъ переплета, иныя въ листкахъ, пожелтѣвшихъ отъ времени и употребленія. Однажды я полюбопытствовалъ и протянулъ-было руку, чтобъ взять и посмотрѣть одну изъ книгъ. Но Валентинъ (такъ звали его) поспѣшилъ стать между ними и мной, повидимому недовольный моимъ любопытствомъ. Я не настаивалъ.

— Какія это у тебя тамъ книги на полкѣ? Вонъ и какія-то тетрадки?—спросилъ я.—Ужъ не сочиняешь ли ты?

— Куда мнѣ!—сказалъ онъ, отвернувшись въ сторону.— А книжки эти у меня отъ одного барина остались: старыя, ненужныя ему, онъ и отдалъ мнѣ.

При этомъ онъ отодвинулъ ихъ отъ меня подальше въ уголъ, чтобъ я не трогалъ ихъ.

Я и забылъ про это. Не бывая дома днемъ, я возвращался вечеромъ, садился работать и часто просиживалъ часовъ до четырехъ и до пяти утра. Онъ уже спалъ, и я не зналъ, какъ онъ проводитъ день, съ кѣмъ видится, какія «землячки» ходятъ къ нему и какія книги онъ читаетъ.

Все мало-по-малу объяснилось случайно.

Бывали дни, когда у меня являлись сильные припадки дѣятельности. Тогда я обѣдалъ дома, или напротивъ моей квартиры въ клубѣ, спалъ послѣ обѣда, чтобъ освѣжиться на ночную работу, и запирался почти на всю ночь. Я—то

садился за письменный столъ, то ходилъ взадъ и впередъ по своей небольшой залѣ, и опять брался за перо.

Въ залѣ было слышно, при ночной тишинѣ, что дѣлалось въ передней и за перегородкою въ ней, рядомъ съ помѣщеніемъ человѣка.

Однажды, прохаживаясь еще не поздно ночью, послѣ вечерняго чаю, я услыхалъ его голосъ. Онъ что-то говорилъ. Сначала я не обратилъ на это вниманія, думалъ, что онъ разсуждаетъ вслухъ, какъ есть у нѣкоторыхъ привычка, или молится. Но ступая по ковру легче, я услышалъ мѣрное, плавное чтеніе, почти пѣніе, какъ будто стиховъ. Я остановился у полуотворенной двери и вслушался.

«И зри-мо ей въ мину-ту ста-ло
Незри-мое съ давнишнихъ поръ»...

читалъ онъ нараспѣвъ, съ амфазомъ, почти всхлипывая.

Я сталъ припоминать, чьи это стихи, и наконецъ припомнилъ, что это романсъ Жуковскаго, только забылъ, какъ онъ начинается.

«Валентинъ читаетъ стихи, знаетъ Жуковскаго! Стало-быть, и Пушкина, и другихъ! Да онъ развитой, образованный человѣкъ! Ужъ не инкогнито ли онъ?» мелькнуло у меня въ головѣ.

И если бъ не эти безтѣнные голубые глаза, не этотъ красненькій носъ, не розовенькіе галстучки и граціозные шажки, съ поджимаемой ножкой, я остановился бы на своемъ предположеніи.

Я осторожно вышелъ въ переднюю, неслышно отворилъ къ нему дверь и остановился. Онъ сидѣлъ задомъ къ двери и за звуками своего голоса не слыхалъ моего прихода.

«Душѣ шепну-у-лъ привѣ-ѣтъ бываа-лый
Душѣ блеснуу-лъ знакомый вз-о-о-ръ»...

заливался онъ все нараспѣвъ.

И опять:

«И зри-и-мо ей въ мину-ту ста-а-ло
Незри-и-мое съ давнишнихъ поръ»...

Онъ растягивалъ слова и ударялъ голосомъ на нѣкоторыхъ. Я сдѣлалъ шагъ къ нему, онъ вскочилъ, сконфузился, проворно снялъ очки и хотѣлъ закинуть книгу на полку. Но я удержалъ его и взялъ книгу. Это былъ небольшой томъ стихотвореній Жуковскаго, съ оторванными листами начала и конца.

— Что̀ ты читалъ сейчасъ?—спросилъ я.

— Да вотъ это самое.—Онъ указалъ на книгу:—сочиненіе господина Жуковскаго.

— Тебѣ нравится?—спросилъ я.

— А какъ же-съ: кому такое не понравится!

— Почитай, пожалуйста, послѣднее, вотъ что ты сейчасъ читалъ,—попросилъ я.

— Зачѣмъ вамъ: чтобъ смѣяться!..

— Нѣтъ, какъ можно! Напротивъ, я очень доволенъ, что ты занимаешься, читаешь, не такъ, какъ другіе...

Онъ замѣтно смягчился: ему понравилось и польстило мое замѣчаніе. Онъ взялъ книгу и надѣлъ очки. Они еле держались на его крошечномъ носу. Онъ былъ невыразимо смѣшонъ — и мнѣ не малаго труда стоило удержаться отъ смѣха.

— Это самое, или сначала прикажете?—спросилъ онъ.

— Пожалуй, сначала.

И онъ началъ:

«Мину-вшихъ дне-й очароваа-нье
Зачѣмъ (тутъ онъ взялъ высокую ноту, почти вскрикнулъ) опя-ть вос-кре-сло ты?
Кто̀ (опять удареніе голосомъ) пробудилъ воспо-мина-нье
И замолча-вшія мечты!
Душѣ шепнулъ (тоненькимъ нѣжнымъ голоскомъ запѣлъ онъ) привѣ-тъ быва-лый,
Душѣ блесну-лъ знако-мый взо-ръ
И зри-и-мо ей въ мину-ту стало
Незри-мое съ давни-шнихъ поръ».

Послѣднія слова онъ съ умиленьемъ какъ будто допѣлъ и кончилъ почти плачемъ; голубые глаза увлажились; губы сладко улыбались.

Онъ поглядѣлъ на меня, что̀ я? Я чувствовалъ, что мнѣ лицо прожигалъ смѣхъ, но я старался не улыбнуться.

— Ты все понимаешь?—спросилъ я, любопытствуя узнать, какъ онъ объясняетъ себѣ отвлеченныя выраженія Жуковскаго.

— А вы понимаете?—вдругъ скороговоркой спросилъ онъ.

Онъ живо снялъ очки, положилъ книгу и пристально посмотрѣлъ на меня.

— Какъ же: конечно, понимаю! — отвѣтилъ я, озадаченный его вопросомъ.

Онъ недовѣрчиво усмѣхнулся.

— Вы и это тоже понимаете? — насмѣшливо спросилъ онъ, взялъ книгу, надѣлъ очки и, порывшись въ листахъ, началъ читать:

«Земли жил-е-е-цъ безвы-ы-ходный—страд-анье,
Ему судьбы на ча-сть насъ обрекли;
Здѣсь ра-дости не наше облада-нье...

Я за него продолжалъ наизусть:

«Пролетные плѣнители земли
Лишь по пути заносятъ намъ преданье
О благахъ, намъ обѣщанныхъ вдали».

— Вѣрно! — сказалъ онъ, слѣдя по книгѣ за мной.— Что жъ, вы и это понимаете?—насмѣшливо повторилъ онъ.

— Да, разумѣется. Что жъ тутъ непонятнаго?

— А вотъ извольте-ка сказать, что̀ это за «жилецъ» такой «безвыходный» и что̀ это за «часть» такая тутъ попала, да еще какое слово «обрекли ему»: кому «ему»? А тутъ вдругъ «радости» пошли, да «обладанье» какое-то! Вы такъ все это и понимаете? Полноте, сударь!

— А ты развѣ этого не понимаешь?—спросилъ я, озадаченный.—Зачѣмъ же ты читаешь?

Онъ оторопѣлъ на минуту и замялся.

— Если все понимать — такъ и читать не нужно: что тутъ занятнаго!—отозвался онъ.—Иныя слова понимаешь— и то слава Богу! Вонъ тутъ написано «радости», «страданье» — это понятно. А вотъ какіе-то «пролетные плѣнители», еще «на часть насъ обрекли» — поди-ка, пойми кто!

— Постой, погоди! — сказалъ я и взялъ съ его полки одну книгу, другую—онъ уже не мѣшалъ мнѣ: книги были больше безъ переплета, съ оторванными заглавіями.

Тутъ были и календари, и духовнаго содержанія, и «новѣйшій», но старый-престарый пѣсенникъ: все рухлядь. Наконецъ я увидалъ какую-то хрестоматію безъ заглавія, кажется, Греча, поискалъ что-нибудь понятное и какъ разъ подвернулось стихотвореніе Шишкова, и я сталъ читать:

«Хоть весною и тепленько,
А зимою холодненько,
Но и въ стужѣ
Намъ не хуже.
Въ долгу ночку
Къ огонечку
Всѣ сберутся,
Старый, малый,
Точатъ балы
И смѣются.
А какъ матки
Придутъ Святки,
Тутъ-то грохотъ,
Игры, хохотъ...» и т. д.

Я дочиталъ до конца.

— Вотъ, если ты любишь стихи, это бы и читалъ!

Онъ съ нескрываемымъ презрѣніемъ слушалъ мое чтеніе.

— Это каждый мальчишка пойметъ, или деревенская баба! — сказалъ онъ, глядя въ сторону. — Прочиталъ разъ, понялъ да и бросилъ: что жъ тутъ занятнаго? То ли дѣло это?

Онъ надѣлъ очки, схватилъ свою любимую книгу и началъ опять заливаться нараспѣвъ, съ чувствомъ:

«Земли жиле-е-цъ безвыходный—страд-а-нье,
«Ему судьбы на ча-а-сть насъ обрекли...»

— Вотъ пойми-ка это? Какой такой «жилецъ» — и кому ему «обрекли» какія-то «судьбы»? Не угодно ли растолковать?—вызывающимъ голосомъ добавилъ онъ.

— Изволь!—снисходительно сказалъ я, наслаждаясь про себя его непониманіемъ. — «Жилецъ безвыходный земли» — и есть «страданье»: вотъ ему на «часть», или на долю, что ли, и обрекла насъ «судьба»... Все понятно!

Онъ положилъ книгу и снялъ очки.

— Вы, можетъ-быть, и Покалипсъ понимаете? — ѣдко спросилъ онъ.

— Апокалипсисъ, хочешь ты сказать,—поправилъ я.

— Ну, Покалипсисъ!—съ неудовольствіемъ добавилъ онъ.

— А что же: понимаю, — храбро сказалъ я, чтобъ посмотрѣть, что̀ онъ.

Я еще не успѣлъ кончить своего отвѣта, какъ мой Валентинъ завизжалъ пронзительнымъ смѣхомъ, воротя лицо, изъ почтенія ко мнѣ, въ сторону, къ стѣнѣ. «Хи-хи! хи-хи!» визжалъ онъ. Потомъ оборотился мелькомъ ко мнѣ, взглянулъ на меня и, быстро отвернувшись, опять завизжалъ, напрасно стараясь почтительно сдержаться.

— Что тутъ забавнаго? — сказалъ я, самъ весело глядя на него.

— Какъ же-съ... хи... хи... хи...—заливался онъ.

Наконецъ, мало-по-малу унялся, отдышался, откашлялся.

— Извините меня, сударь, право не могу... хи-хи-хи!

— Это у насъ въ селѣ былъ дьяконъ Еремѣй...—началъ онъ съ передышкой.—Онъ не Еремѣй, а отецъ Никита, да его прозвали Еремѣемъ. Онъ тоже хвастался, что понимаетъ Покалипсъ...

— Апокалипсисъ!—поправилъ я.

— Ну, Покалипсисъ, — нехотя вставилъ Валентинъ.— Архіерей объѣзжалъ губернію, пріѣхалъ и въ наше село. Нашъ священникъ послѣ обѣдни, за завтракомъ, и указалъ на этого самаго Никиту: «вотъ, — говоритъ, — святой владыка: дьяконъ нашъ Никита похваляется, что понимаетъ Покалипсъ»...

— Апокалипсисъ!—поправилъ я.

Валентинъ только сморщился, но не повторилъ поправки.

— «Дерзновенно!» сказалъ архіерей: такъ и сказалъ «дерзновенно!» Дьяконъ не зналъ куда дѣться изъ-за стола: «провалился бы», разсказывалъ послѣ, «лучше сквозь землю. И кулебяка, говоритъ, такъ и заперла мнѣ горло...» «А ну-ка, дьяконе, скажи...» это архіерей-то говоритъ дьякону: «скажи, говоритъ, что значитъ блудница, о которой повѣствуетъ св. Іоаннъ Богословъ въ Покалипсѣ...»

— Въ Апокалипсисѣ,—поправилъ я.

— Вы не извольте сбивать меня съ толку,—съ сердцемъ замѣтилъ Валентинъ:—а то я перепутаю архерейскую рѣчь. Я ее наизусть затвердилъ,—и всѣ тогда затвердили у насъ. Я буфетчикомъ былъ у господъ и меня послали служить за этимъ самымъ завтракомъ: нашъ поваръ и готовилъ. Вотъ дьяконъ — самъ послѣ сказывалъ — не разжевавши хорошенько, почесть цѣликомъ цѣлую корку кулебяки съ семгой проглотилъ. Чуть не подавился, весь покраснѣлъ, какъ ракъ. «Ну, говори, коли понимаешь!»—нудилъ архерей.

— «Блудница... святой владыко... это... это... — мямлилъ дьяконъ: — это св. Іоаннъ Богословъ прорекаетъ о заблудшейся западной римской каѳолической церкви...»

— Мы всѣ слушаемъ, не дохнемъ, я за самымъ стуломъ архерейскимъ стоялъ, все слушалъ и запомнилъ до слова... Такъ дьяконъ и замолчалъ. «А далѣе?»—говоритъ архерей. А у дьякона и дыханіе перехватило, молчитъ. Всѣ молчали, носы уткнули въ тарелки. Архерей посмотрѣлъ на него,

да и проговорилъ, такъ важно проговорилъ, словно въ церкви изъ алтаря голосъ подалъ...

— Что жъ онъ проговорилъ?

— «Всякій, — говоритъ, — Еремѣй про себя разумѣй!» Всѣ и замолчали, такъ и изъ-за стола разошлись. Вотъ съ тѣхъ поръ во всемъ селѣ всѣ, даже мужики, дьякона Никиту и прозвали Еремѣемъ, а подъ сердитую руку и блудницей дразнили. А вы изволите говорить, что и вы тоже понимаете Покалипсъ... Хи-хи-хи!

— Апокалипсисъ!—поправилъ я.—Если дьяконъ не понималъ, это еще не причина, чтобы я не понималъ...

— Полноте, грѣхъ, сударь,—не на шутку сердился Валентинъ.—Дьяконъ или священникъ, всю жизнь церковныя книги читаютъ—кому бы и понимать, какъ не священству? А вотъ никто не понимаетъ. Одинъ только святой схимникъ былъ: онъ въ кіевскихъ пещерахъ спасался, тотъ понималъ. Одинъ! Всѣ допытывались отъ него, и самъ митрополитъ уговаривалъ, да никому не открывалъ. Передъ кончиной его вся братія три дня на колѣняхъ молила открыть, а онъ не открылъ, такъ и скончался. А вы—понимаете!

Онъ опять захихикалъ въ сторону, глядя на меня почтительно и насмѣшливо. Это очень развлекало меня. Я пошелъ къ себѣ, порылся въ шкапу, чтобы подыскать что-нибудь подходящее для его пониманія, нашелъ между книгами «Юрія Милославскаго», «Конька Горбунка» и подарилъ ему.

— Вотъ, читай и скажи мнѣ, какъ тебѣ понравится!

Онъ очень былъ доволенъ моимъ подаркомъ и обѣщалъ читать.

Пока онъ разсматривалъ книги, я взялъ съ полки у него какую-то тетрадку и прочелъ сверху кривую надпись: «Сенонимы». Подъ этой надписью, попарно, иногда по три слова, тѣмъ же кривымъ, вѣроятно его почеркомъ, напи-

саны были однозвучныя слова. Напримѣръ, рядомъ стояли: «эмансипація и констипація», далѣе «конституція и проституція», потомъ «тлетворный и нерукотворный», «нумизматъ и кастратъ», и такъ безъ конца.

— Что̀ это такое?—спросилъ я.

— Тутъ написано что̀: сенонимы!—сказалъ онъ.

— Да что̀ такое «синонимы», ты знаешь?

— Это похожія другъ на друга слова.

— Кто это тебѣ сказалъ?

— Да тотъ же дьяконъ Еремѣй: онъ былъ ученый. Вотъ, когда я завелъ эту самую тетрадку и сталъ записывать туда изъ книгъ непонятныя похожія слова, я и спросилъ его, что̀, молъ, значатъ похожія другъ на друга слова? Онъ и говоритъ «сенонимы, говоритъ, это называется». Я такъ и записалъ и заношу туда такія слова.

— Да это совсѣмъ не то: онъ тебѣ не то сказалъ, или ты не такъ понялъ,—замѣтилъ я.—Синонимы совсѣмъ не то значитъ...

Онъ рѣшительно взялъ у меня изъ рукъ тетрадку и положилъ на полку.

— Пожалуйте, — сказалъ онъ: — вы вѣдь все изволите лучше знать, чѣмъ другіе, даже лучше самого господина Жуковскаго: вонъ и Покалипсъ понимаете...

— Апокалипсисъ!—поправилъ я.

— А намъ гдѣ понимать!

Онъ ѣдко улыбнулся и смотрѣлъ на меня такъ, чтобы я ушелъ. Я разсмѣялся и ушелъ, а онъ съ сердцемъ затворилъ за мной дверь.

Я потомъ не вмѣшивался въ его литературныя занятія, даже радовался, что они не отвлекаютъ его отъ дѣла и не ведутъ къ чему-нибудь дурному. Лишь изрѣдка, среди вечерней тишины, доходило до моихъ ушей:

«И зри-и-и-мо ей въ мину-у-ту стало
Не-зри-и-и-мое съ давнишнихъ поръ».

Не то онъ вдругъ громко заголоситъ:

«Боги гнѣва и Ерева,
Въ страшный часъ,
Ахъ, пошлите солнца лучъ,
Разгоните мраки тучъ».

Въ другой разъ слышу:

«Плещутъ волны Флегетона,
Своды тартара дрожатъ,
Кони блѣднаго Плутона
Быстро къ нимфамъ Пеліона
Изъ аида бога мчатъ...»

— Вотъ поди-ко, пойми это!—однажды насмѣшливо прибавилъ онъ вслухъ, вѣроятно намекая на меня и не подозрѣвая, что я хожу по сосѣдней комнатѣ и что мнѣ слышно.— А еще хочетъ понимать Покалипсъ!

— Апокалипсисъ!—поправилъ я, тихо отворяя дверь.

Онъ сконфузился.

Такъ онъ читалъ все больше изъ той же хрестоматіи Греча, или другое что-нибудь, лишь бы звучное и малопонятное ему.

Я тутъ убѣдился въ томъ, что̀ наблюдалъ и прежде: что простой русскій человѣкъ не всегда любитъ понимать что̀ читаетъ. Я видѣлъ какъ простые люди зачитываются до слезъ священныхъ книгъ на славянскомъ языкѣ, ничего не понимая, или понимая только «иныя слова», какъ мой Валентинъ. Помню, какъ матросы на кораблѣ слушали такую книгу, не шевелясь по цѣлымъ часамъ, глядя въ ротъ чтецу, лишь бы онъ читалъ звонко и съ чувствомъ. Простые люди не любятъ простоты.

Валентинъ прожилъ у меня нѣсколько лѣтъ, и, можетъ-быть, прожилъ бы еще долго, если бъ я не перемѣнилъ родъ службы и отчасти образъ жизни. Я сталъ бо̀льшую часть дня, а иногда и вечера, заниматься дома.

Оказалось, что это стѣсняло его. Я никогда не справлялся, какъ онъ проводитъ время безъ меня, а теперь мнѣ

открытъ былъ каждый его шагъ. «Землячки» не могли бывать у него свободно при мнѣ — и онъ оставался больше одинъ и скучалъ. Повидимому, онѣ безъ меня посѣщали его часто. Мало-по-малу открылось, что онъ отчаянный донъ-жуанъ, несмотря на свои пятьдесятъ лѣтъ слишкомъ.

Склонность его къ нѣжному полу проявлялась и прежде, но слегка. Когда у меня бывали въ гостяхъ дамы, особенно молодыя и красивыя, онъ какъ-то суетливо лебезилъ, подавая чай, фрукты, кокетливо поджималъ ножку, шаркалъ, приподнимался на цыпочкахъ, чтобъ придать себѣ росту, взглядывалъ мимоходомъ въ зеркало, украдкой зачесывалъ пальцами волосы съ затылка. Я перемигивался съ гостьями, и мы нерѣдко награждали эти маневры дружнымъ хохотомъ. Тогда онъ злобно краснѣлъ и бросалъ на насъ гнѣвные взгляды.

Однажды, воротясь домой и найдя дверь запертою, я сошелъ внизъ спросить у дворниковъ, гдѣ онъ, и замѣтивъ около каретнаго сарая кучку дворни, особенно женщинъ, пошелъ туда. И что же вижу: Валентинъ стоитъ посреди сарая, закинувъ голову вверхъ, разряженный въ желтые нанковые панталоны, черную плисовую жакетку, въ розовомъ галстукѣ и съ желтымъ цвѣткомъ въ петлицѣ, поетъ:

«Во селѣ-селѣ Покрое-вскомъ,
Среди уу-лицы большой...
Разыграа-лись, раа-сплясались
Дѣвки краа-сны межъ соо-бой...»

разливался онъ сладкимъ теноромъ, закатывая глаза подъ лобъ, разводя далеко въ стороны руками и притопывая.

Всѣ смотрѣли на него съ улыбкой, дѣвушки съ неудержимымъ хохотомъ. А онъ глядѣлъ на нихъ сладостно, какъ сатиръ. Я тоже захохоталъ. Увидавъ меня, онъ сконфузился, застыдился и опрометью бросился впередъ меня домой.

— Что это тебѣ вздумалось пѣть среди дворни? — спросилъ я.

— Барышни просили,—сказалъ онъ:—я хотѣлъ сдѣлать имъ удовольствіе...

— Какія барышни?

— А тѣ самыя, что тамъ стояли.

Это горничныя.

— Да вѣдь онѣ помирали со смѣху надъ тобой: развѣ ты не замѣтилъ?

Глядя на него въ его изысканномъ нарядѣ, я опять невольно засмѣялся.

— Онѣ смѣялись отъ удовольствія, а вотъ вы, сударь, не знаете сами чему смѣетесь! Нельзя повеселиться человѣку: развѣ это грѣхъ?

— Веселись сколько хочешь — это даже иногда нужно, здорово... Я не упрекаю тебя.

Я опять засмѣялся.

— Чему жъ вы смѣетесь? — сказалъ онъ съ сердцемъ и ушелъ къ себѣ.

Случаи донъ-жуанства стали повторяться и наконецъ доходили до меня въ видѣ жалобъ. Однажды вдругъ отворила ко мнѣ дверь въ переднюю молодая дѣвушка съ растрепанной косой, держа шейную косынку въ рукахъ.

— Что это баринъ, отъ вашего лакея прохода нѣтъ! — голосила она сердито, указывая на Валентина.

— Подите! подите! — торопливо говорилъ онъ, стараясь выпроводить ее за дверь.—Не хорошо-съ!

Я остановилъ его.

— Что вамъ угодно?—обратился я къ ней.

— Да вотъ онъ прохода не даетъ. Я живу вверху съ барыней, тихо, скромно, а онъ давно ужъ, какъ встрѣтитъ на лѣстницѣ, сейчасъ начнетъ глупые «канплименты» говорить, зоветъ на чашку щеколаду, — поди, да поди я къ

кому свята! Съ ума, что ли, я сошла! За кого онъ м[illegible]
[illegible]! Воля ваша: это обидно!

— Я тутъ еще большой вины не вижу,—сказалъ я:—ч[illegible]
[illegible] вамъ «канплиментъ». Запретить это ему я н[illegible]
[illegible]

[illegible]—[illegible]—[illegible]
[illegible] мнѣ [illegible]

— [illegible]—[illegible]

— [illegible]—[illegible]
[illegible]

— Это мои дѣла, а не ваши!—обратился Валентинъ опять ко мнѣ.—Я службу мою справляю у васъ какъ слѣдуетъ... По пью, не шляюсь, господское добро берегу...

— Это такъ: твои амуры — не мое дѣло, да зачѣмъ жалобы доходятъ до меня?

— На что же вы теперь жалуетесь?—спросилъ я ее.

— Да вотъ сейчасъ, когда я мимо вашихъ дверей по лѣстницѣ шла, онъ подкараулилъ — и цапъ меня за шею, хотѣлъ обнять... Да не таковская: я не далась, попятилась. Вонъ извольте посмотрѣть: коса у меня свалилась, и платокъ съ шеи... Не прикажите ему озорничать! Я живу скромно, всѣ знакомые мои, и въ домѣ здѣсь тоже меня знаютъ честной, аккуратной дѣвушкой: могутъ, пожалуй, подумать, что я нарочно слушаю его «комплименты...»

— Слышишь, Валентинъ, это правда, что «барышня» говоритъ! Она скромна... дорожитъ своей репутаціей, не хочетъ чтобъ ее компрометировали...—заговорилъ-было я, но остановился, вспомнивъ о его тетрадкѣ съ «сенонимами»: слова «репутація» и «компрометировали», какъ мудреныя и ему непонятныя, навѣрно попали бы туда.—Она скромна, бережетъ себя, дорожитъ своимъ честнымъ именемъ: не безпокой же ее!—дополнилъ я въ новой редакціи.

Я успокоилъ ее какъ могъ, она поблагодарила меня, извинилась за «безпокойство», прибавивъ, что и барыня ея посовѣтовала ей обратиться ко мнѣ. Она взялась за ручку двери, бросивъ опять на Валентина ядовито-насмѣшливый взглядъ.

— Чему смѣяться-то!—шипѣлъ онъ на нее.—Такія дряни, какъ вы, должны за счастье почитать, если съ ними благородно и деликатно обращается этакій кавалеръ! — Онъ поднялся на цыпочки и началъ руками собирать съ затылка волосы на макушку...

При словѣ «такой кавалеръ», дѣвушка разразилась не-

удержимымъ, визгливымъ хохотомъ и бросилась вонъ. Онъ съ трескомъ заперъ за ней дверь.

Я тоже не утерпѣлъ и покатился со смѣху. Онъ ощетинился, какъ звѣрь, злобно посмотрѣлъ на меня, хотѣлъ что-то сказать, но удержался и ушелъ къ себѣ за перегородку, хлопнувъ дверью.

Все пошло своимъ порядкомъ. Верхнюю дѣвушку онъ, повидимому, не безпокоилъ, жалобъ не было, и я забылъ объ этомъ. Я замѣчалъ только, что когда я сидѣлъ въ теченіе утра дома, мой Валентинъ сталъ отлучаться куда-то: надо было изъ окна покричать дворника, чтобъ отыскалъ его. «Землячки» при мнѣ тоже не являлись больше.

Но вотъ, однажды, недѣль шесть спустя, когда онъ вышелъ куда-то, ко мнѣ явился дворникъ и подалъ записку.

— Отъ кого это?—спросилъ я.

— А вотъ отъ той жилицы, что̀ напротивъ: у ней прачечное заведеніе, она хозяйка.

— Ко мнѣ ли эта записка? Я вовсе не знаю этой жилицы: что̀ ей нужно?

— Не могу знать: велѣла вамъ въ руки самимъ, а лакею, говоритъ, не давай.

Я взялъ записку. Она была не запечатана.

«Милостивый государь», читалъ я: «Вашъ лакей Ва«лентъ самый низкій мужчина: онъ все таскается подъ «окнами у насъ и какетничаетъ съ моими мастерицами, «мѣшаетъ имъ и дѣлаетъ разныя низости: вонъ какую за«писку онъ подалъ Лизѣ — извольте прочитать. Мы про«симъ васъ унять его. Если онъ не перестанетъ какетни«чать, ходить подъ окна и бросать записки—я тогда приду «сама и раздеру ему *всю* лицо.

«Готовая ко услугамъ
«Анна Прохорова
«прачешная хозяйка».

Подъ фразой «раздеру всю лицо» — была другая зачерк-

нутая редакція: «раздеру ему поганую харю». Должно быть эта фраза показалась ей грубою относительно меня и она изъ учтивости смягчила ее. Къ письму приложенъ былъ клочокъ бумаги, на которомъ, должно быть, рукой Валентина написано: «О милое творенье, прости мнѣ восхищенье, Лизокъ, голубочка, ангелъ, чмокъ, чмокъ тебя. Приди, серафима моя, на второй дворъ подъ ворота. Принесу гостинцевъ много, много, и подарочекъ, чмокъ! чмокъ!»

Валентинъ пришелъ.

— А у тебя опять амуры завелись?—сказалъ я ему.

— Какіе, сударь, такіе амуры?

— А вотъ смотри, какія письма пишутъ ко мнѣ.

Я прочиталъ ему прачкино письмо и показалъ его записку. Онъ вспыхнулъ, даже побагровѣлъ отъ смущенія и злости, и хотѣлъ вырвать у меня письмо. Я не далъ.

— Ишь ты, старый селадонъ! — шутилъ я: — не унимаешься! Смотри, дождешься чего-нибудь!..

— Не ваше дѣло! — почти грубо отрѣзалъ онъ: — а эту дрянь—вѣдь она мужичка—плетьми мало сѣчь! Пожалуйте мнѣ мою записку!

Я отдалъ ему.

— Я съ ними раздѣлаюсь,—злобно ворчалъ онъ:—я имъ дамъ «раздеру лицо», я имъ всѣ косы истреплю! Раздавлю! — кричалъ онъ разъяренно. — Онѣ за честь должны считать, что я съ ними обращаюсь!.. — Онъ вытянулся на цыпочкахъ и сердито загребалъ руками волосы съ затылка на темя.

— Послушай, дѣлай, какъ хочешь, — сказалъ я: — я въ твои амуры не вмѣшиваюсь, но повторяю тебѣ: устраивай такъ, чтобъ до меня жалобъ не доходило и чтобъ никакого «трепанья косъ» не было. Если выйдетъ какой-нибудь скандалъ, я держать тебя не стану.

— Хорошо-съ, я сдѣлаю,—ядовито сказалъ онъ:—будутъ

онѣ довольны! Если бы она, эта Прохорова, не безпокоила васъ, а со мной поговорила бы благородно и деликатно—я бы и ничего, отсталъ бы! А если она полѣзла къ вамъ, да еще грозитъ мнѣ, такъ нарочно, на зло ей, буду ходить, буду, буду, буду! Вы, сударь, не извольте безпокоиться: жаловаться не станутъ. Я же ей, дряни этакой: погоди она у меня!—ворчалъ онъ, уходя къ себѣ и потрясая кулаками.

Донъ-жуанство Валентина добромъ не кончилось — ни для него, ни для меня. Онъ потерпѣлъ пораженіе, а я лишился въ немъ честнаго и усерднаго, хотя и смѣшного слуги.

Черезъ мѣсяцъ послѣ этихъ писемъ, когда, возвратясь вечеромъ домой, я позвонилъ у дверей, Валентинъ, противъ обыкновенія, медленно отворилъ мнѣ дверь, не снялъ съ меня пальто и тотчасъ скрылся въ свою комнату. Я заглянулъ къ нему. Онъ лежалъ на постели.

— Что съ тобой: ты нездоровъ? — спросилъ я съ испугомъ.

— Ничего-съ, я полежу немного, отдохну... голова болитъ немножко.

Подлѣ него былъ графинъ съ водой, пахло уксусомъ.

— Ты скажи, что̀ такое?—спрашивалъ я.

— Не безпокойтесь... извольте ложиться, я ушибся, отдохну, пройдетъ...

— Гдѣ ушибся, какъ? доктора надо позвать...

— Ради Бога, не надо ничего-съ: завтра отдохну...

Я однакожъ не удовольствовался этимъ, спустился внизъ и узналъ на дворѣ, что съ Валентиномъ случилась исторія. Дворники разсказали мнѣ, что онъ въ сумерки пошелъ-таки «кокетничать» съ Лизой, здоровой мастерицей-прачкой, вызвалъ ее на второй дворъ. Хозяйка замѣтила это—и исполнила надъ нимъ свою угрозу, съ помощію какого-то, должно быть, соперника Валентина, кажется, жениха Лизы, и если и не «разодрала ему всю лицо», однако значительно исца-

рапала. Соперникъ тоже напалъ на него, ругался, сбилъ съ Валентина фуражку и старался схватить его за воротъ. Валентинъ мужественно отражалъ нападеніе, не давался, кричалъ.

Дворники старались рознять ихъ. Словомъ, вышелъ скандалъ.

Наконецъ ихъ розняли. Валентинъ, измятый, съ разорваннымъ платьемъ, съ расцарапаннымъ лицомъ, удалился, при общемъ хохотѣ дворни, къ себѣ въ комнату.

На утро онъ, по обыкновенію, принесъ мнѣ чай. Щеки и носъ у него побѣлѣли почти совсѣмъ, на одной щекѣ и на лбу была царапина, впалые глаза смотрѣли тускло.

— Что такое было вчера?—спросилъ я.

— Пожалуйте мнѣ расчетъ и паспортъ!—тихо сказалъ онъ въ отвѣтъ на мой вопросъ.

— Вотъ тебѣ на! Да ты разскажи, что̀ такое...

— Позвольте мнѣ паспортъ,—настойчиво повторилъ онъ:— Я сейчасъ извозчика приведу и уѣду...

— Дворники говорили, что у тебя вышла исторія... разскажи!

— Нечего разсказывать-съ: это мое дѣло. Только въ этомъ разбойничьемъ домѣ я и дня не проживу... Еще убьютъ, чего добраго! Позвольте расчетъ и паспортъ...

— Это рѣшительно?

— Да-съ, рѣшительно,—уныло прибавилъ онъ.

— Но вѣдь я имѣю право задержать тебя три дня, пока пріищу кого-нибудь на твое мѣсто: нельзя же мнѣ оставаться одному!

— Я ужъ это сдѣлалъ: когда вы почивали, я сходилъ къ знакомому человѣку: онъ сейчасъ придетъ и побудетъ, пока вы пріищете другого. А меня, сдѣлайте милость, отпустите сейчасъ же.

Онъ почти со слезами кончилъ эту просьбу. Я съ глубокимъ сожалѣніемъ согласился, и когда пришелъ человѣкъ,

я отдалъ Валентину паспортъ и сверхъ жалованья прибавилъ награду. Онъ поцѣловалъ меня въ плечо и прослезился.

— Да ты подумай... можетъ-быть, обойдется, я спрашивать не стану! Ты такой исправный и честный слуга!.. Мнѣ жаль разставаться съ тобой, право!—пробовалъ я уговорить его.—Исторія эта забудется. Ты получилъ жестокій урокъ и конечно больше за женщинами ухаживать не станешь...

— Какъ можно! Стану-съ. Только не съ такимъ необразованнымъ мужичьемъ, какъ здѣсь. Буду выбирать по себѣ, гдѣ благородно и деликатно...

— Подумай,—удерживалъ я:—все перемелется... Мнѣ жаль тебя!

— Покорнѣйше благодарю—нѣтъ, нѣтъ-съ, я уйду!

Онъ былъ такъ разстроенъ, что я больше не настаивалъ. Онъ быстро собралъ свои пожитки и уѣхалъ. Долго еще послѣ него, по привычкѣ, по вечерамъ, у меня иногда звучало въ ушахъ:

«И зри-мо ей въ минуту ста-ло
Незри-мое съ давни-шнихъ поръ»...

II.

Антонъ.

Служившій у меня временно, вмѣсто Валентина, человѣкъ объявилъ дня черезъ три, что онъ долго оставаться не можетъ, что господинъ его вернется съ дачи и онъ вступитъ въ свою должность. Онъ обѣщалъ привести мнѣ другого слугу, недавно пріѣхавшаго изъ деревни, отпущенника изъ крѣпостныхъ.

— Да каковъ онъ? Здѣсь его не знаютъ: какъ же безъ рекомендаціи взять?—сомнѣвался я.

— Онъ на вольной квартирѣ уголъ нанималъ до мѣста:

тамъ одобряютъ, говорятъ деревенскій, смирный, непорченный. Изъ себя видный, Антономъ зовутъ.

— Ну, хорошо!

На другой же день онъ прислалъ мнѣ молодца колоссальнаго роста, брюнета лѣтъ сорока пяти, съ лохматой головой, съ здоровыми, длинными мускулистыми руками, съ такими же здоровыми крѣпкими ногами. Онъ былъ одѣтъ въ длинномъ, широкомъ нескладномъ сюртукѣ, очевидно сшитомъ не по немъ. Онъ сталъ у дверей, какъ вкопанный, смотрѣлъ на меня покорно, почти со страхомъ, тупымъ, апатичнымъ взглядомъ, изъ котораго не только не прорѣзывалось иглы, луча свѣта, но даже искры не было.

— Тебя Антономъ зовутъ? Ты изъ деревни?—спрашивалъ я, разсматривая его билетъ.

— Точно такъ-съ,—тихо, покорнымъ голосомъ отвѣчалъ онъ:—у господъ служилъ, теперь отпущенъ на оброкъ.

— Въ какой ты должности служилъ?

— При столѣ-съ, съ господами тоже выѣзжалъ по гостямъ и по егерской части...

— Ты, значитъ, хорошій стрѣлокъ?

— Никакъ нѣтъ-съ. Дичь стрѣляли другіе у насъ, тѣ и по псовой части служили, а я больше насчетъ волковъ...

— Волковъ! Да развѣ ихъ много у васъ?

— Страсть сколько въ нашемъ уѣздѣ! Все лѣса, вотъ они и разводились: много скота рѣзали! Баринъ насъ троихъ—здоровыхъ, какъ я же...—Онъ мелькомъ взглянулъ на свои руки и шевельнулъ кулаками слегка:—и посылалъ, да человѣкъ пять изъ мужиковъ, тоже которые поздоровѣе—на этихъ самыхъ волковъ...

— Вѣдь съ ружьями же посылали васъ, не съ голыми руками?

— Никакъ нѣтъ-съ: съ дубьемъ.

— Какъ же на волковъ съ дубьемъ?

— Такъ точно-съ. Какъ услышатъ, что волки прибѣжали

въ наши лѣса, насъ и пошлютъ съ тенётами. Мы, человѣкъ пять, кругомъ раскинемъ тенета и ждемъ. А съ другой стороны ихъ начнутъ пужать трещотками, свистками, они и бросаются, словно угорѣлые, да въ тенётахъ и запутаются. Тутъ мы ихъ и примемъ въ дубье... вонъ такъ...

Онъ вытянулъ руку, точно бревно, и махнулъ. Вылитый Илья Муромецъ! Кого ударитъ, у того рука прочь. «Ну,— думалъ я,—если онъ не приметъ меня самого въ дубье, то будетъ надежнымъ моимъ тѣлохранителемъ и стражемъ дома: этакій съ цѣлой шайкой воровъ справится»

— Какъ же съ волками: тутъ же и убивали ихъ?—спрашивалъ я дальше.

— Точно такъ-съ: по головѣ надо норовить его, а то, если по чему другому, такъ не ошалѣетъ сразу и мечется: того и гляди обдеретъ скрозь тенётъ.

И много на твою долю приходилось убивать?

— Много-съ, до полста я считалъ, а послѣ ужъ и счетъ потерялъ!..

— Ну, оставайся у меня, и если волки заведутся, такъ ты ихъ... хорошенько...

— Какіе здѣсь волки!—наивно замѣтилъ онъ и какъ будто хотѣлъ улыбнуться, но улыбки не вышло.

— Другой породы,—сказалъ я:—здѣшніе волки забираются на чердаки, проникаютъ въ комоды, шкапы, въ карманы...

Я оставилъ его у себя, и онъ, какъ по машинѣ, сталъ исправлять немудреную службу.

Ходилъ онъ, несмотря на громоздкость свою и на огромную ступню, тихо, ступалъ мягко, осторожно, какъ котъ, или, пожалуй, какъ волкъ, убиралъ комнаты не слышно, пока я спалъ, и дрова приносилъ, прижимая къ груди какъ родныхъ дѣтей, и складывалъ каждое полѣно у печки, какъ перышко, какъ мать кладетъ дитя въ колыбель: ни одно полѣно у него не стукнетъ. Никогда не заговаривалъ самъ и на вопросы мои всегда отвѣчалъ тихо и робко.

«Есть же за нимъ какія-нибудь художества, но какія?»— спрашивалъ я, боязливо слѣдя, какъ онъ тихо, въ видѣ тѣни, скользилъ по комнатамъ.

— Не пьешь ли ты, Антонъ?—спросилъ я его однажды мягко, ласково.

Онъ помолчалъ немного.

— Нынче курица — и та пьетъ-съ,—уклончиво отвѣтилъ онъ.

— Да, если бы пить только то̀, что пьетъ курица...

Я не кончилъ потому, что онъ, подъ предлогомъ взять щетку, тихо ускользнулъ въ переднюю, къ себѣ.

Проходили недѣли, наконецъ мѣсяцы, я ничего не замѣчалъ, никакихъ «художествъ» — и про себя радовался пріобрѣтенію смирнаго и исправнаго слуги.

Иногда я замѣчалъ неважныя уклоненія отъ исправности, свойственныя особенно крѣпостнымъ людямъ, въ барскихъ дворняхъ. Я не обѣдалъ дома, но иногда завтракалъ, т.-е. пилъ чай съ какой-нибудь холодной закуской, сыромъ, икрой и т. п. Велишь, бывало, на другой день, когда Антонъ подавалъ чай, принести вчерашній сыръ или икру.

— Сейчасъ,—скажетъ онъ и пойдетъ въ буфетъ.

— Сыру тамъ нѣтъ-съ...—скажетъ тихо, воротясь.

— Гдѣ же онъ? Вчера большой кусокъ оставался...

— Я... употребилъ...—стыдливо скажетъ, потупивъ глаза.

Точно такъ же въ другой разъ бывало и съ икрой, съ сардинками, холоднымъ мясомъ. Когда спросишь, сначала всегда пойдетъ какъ будто справиться, а потомъ тихо скажетъ: «Употребилъ!»

Я совѣстился замѣчать что-нибудь о неумѣстности такого «употребленія», думалъ, что ради своего скуднаго питанія гдѣ-нибудь въ лавочкѣ, или сосѣдней харчевнѣ, онъ дополняетъ свой столъ моей закуской—и молчалъ. Я охотно готовъ былъ дѣлиться съ нимъ этими кусочками.

цами и прочей закуской. Тутъ же были яблоки, винныя ягоды.

Самъ Антонъ лежалъ навзничь во весь свой гигантскій ростъ на постели, безъ чувствъ, со свѣсившимися на полъ ногами, съ открытымъ ртомъ и открытыми глазами. Были видны только два бѣлка, зрачки закатились подъ лобъ.

— Ну! «употребилъ» же ты!—вырвалось у меня невольно. — Ахъ, ты, тихоня - тихоня! Что́ это, кабакъ, что ли, здѣсь?—грозно вопросилъ я всю компанію.—Кто вы такіе? Зачѣмъ сюда пришли толпой?

— Именины сегодня Антона Тихоныча!—сказалъ одинъ пьянымъ, сладенькимъ голоскомъ: — мы и собрались... проздравить...

— Пирожокъ... пирожокъ... принесли! — старался другой выговорить твердо, но ему не удавалось.

Третій указывалъ на сласти, яблоки, изюмъ, и молча тыкалъ себя въ грудь: «это, молъ, я принесъ».

— Ступайте! ступайте!

Я указалъ имъ на дверь.

— Поми...луй...те... мы...—силился говорить одинъ:—мы... не то... чтобы...

Я махнулъ имъ рукой.

Они похватали свои шапки и кучей тискались въ дверь, толкая другъ друга. По лѣстницѣ, какъ каменьями, стучали они сапогами, стараясь уйти въ перегонку.

— Дворника пришлите сюда скорѣе!—крикнулъ я одному отставшему.

Пришелъ дворникъ. Я показалъ ему на Антона, лежавшаго все навзничь, съ бѣлыми, зіяющими глазами, открытымъ ртомъ, безъ чувствъ.

— Пожалуйста, приведи его какъ-нибудь въ себя: посмотри!

— Онъ мянинникъ нонче, — сказалъ дворникъ: — такъ и... подгулялъ. Давеча и намъ съ Акимомъ поднесъ. Утромъ къ ранней обѣднѣ ходилъ.

— Уложи же его какъ слѣдуетъ, — сказалъ я: — я тебѣ завтра на чай дамъ.

— Гдѣ же мнѣ, баринъ! Одному не сладить, вонъ онъ какой: безъ малаго сажень будетъ—я схожу за Акимомъ.

Дворникъ привелъ товарища. Они вдвоемъ принялись оправлять «мянинника», облили ему голову водой, намочили виски и темя уксусомъ, раздѣли и уложили.

«О, ты», вздыхалъ я съ грустью про-себя, ходя взадъ и впередъ по залѣ:—«о ты, зелено вино! ты иго, горшее крѣпостного права: кто и когда изведетъ тебя, матушка Русь, изъ-подъ него? Князь Владиміръ великій сказалъ: «веселіе Руси—есть пити!» и это слово стало тяжкою вѣчною заповѣдью для русскаго народа! Зачѣмъ онъ не прибавилъ: «пити, но не упиватися!»

На другой день Антонъ своимъ волчьимъ шагомъ вошелъ, клоня голову и мутные глаза внизъ. Я пристально поглядѣлъ на него. Онъ пошелъ-было къ себѣ.

— Постой, что это вчера было?—спросилъ я его.

Онъ сталъ мяться на мѣстѣ.

— Именинникъ былъ!—тихо сказалъ онъ.

— Хорошо, но ты мнѣ ничего не сказалъ, не предупредилъ, что назовешь гостей, что у васъ тутъ будетъ попойка! Я ушелъ бы куда-нибудь, не видалъ бы этого безобразія!

— Я не зналъ, что они придутъ. Это они принесли вина, закусокъ, пирога... я и...

— «Употребилъ» это все...—добавилъ я.

— Они почесть все сами употребили...—тихо договорилъ онъ.

— Я не зналъ, что у тебя такое обширное знакомство! Что это за люди?

— Это со мной на квартирѣ жили до мѣста, а теперь они всѣ по мѣстамъ живутъ.

— Ты часто такъ употребляешь?

— Никакъ нѣтъ-съ: въ рѣдкость. Вотъ именины случились, они и пришли. Кабы не пришли, такъ я бы не того-съ...

Я подумалъ, что именины бываютъ однажды въ годъ—и рѣшилъ оставить дѣло безъ послѣдствій, а его опять до именинъ.

— Чтобъ это было въ послѣдній разъ:—сказалъ я:—не то уволю тебя. Ты одинъ здѣсь; пожалуй, бѣда какая-нибудь случится. Ступай!

Все пошло попрежнему, но я уже не довѣрялъ этому тихому омуту—и не даромъ.

Прошла зима, стало таять, въ воздухѣ запахло весной, т.-е. навозомъ съ каналовъ и грязью съ улицъ. Тогда еще не скалывали ледъ заблаговременно и по улицамъ стояли цѣлыя моря грязи, съ горбами, провалами—ни конному, ни пѣшему не было пути. Въ апрѣлѣ наступила жара на улицахъ, а на рѣкѣ и въ каналахъ еще держался ледъ.

Такова была и Святая недѣля. Я въ четвергъ предложилъ Антону воспользоваться цѣлымъ днемъ, предупредивъ, что вернусь поздно вечеромъ. Съ пятницы у меня начинались занятія по службѣ и надо было сидѣть дома, принимать пакеты, письма, газеты, посѣтителей по дѣламъ и прочее. Онъ отнѣкивался, сказалъ, что дойдетъ развѣ до балагановъ, которые тогда были на Адмиралтейской площади, посмотритъ, да и домой.

— Какъ хочешь!—сказалъ я и далъ ему денегъ, чтобъ онъ побывалъ и въ балаганахъ.

Вечеромъ, часу въ двѣнадцатомъ, когда я возвращался, дворникъ, сидѣвшій у воротъ, сказалъ мнѣ, что въ дворнической есть казенный пакетъ на мое имя.

— Вотъ я сейчасъ принесу.

— Отчего въ дворнической, а не у меня?—спросилъ я.

— Должно-быть, вашего человѣка не было, такъ разсыльный и отдалъ намъ.

Я взялъ пакетъ и сталъ подниматься на лѣстницу. Я жилъ тогда въ томъ же домѣ, гдѣ и теперь живу. У меня былъ особый ходъ на улицу, ни швейцаромъ, и никѣмъ не охраняемый и никогда не запираемый. По этой лѣстницѣ, подъ моей квартирой, жила какая-то древняя старушка-фрейлина; должно-быть, «Екатерины первой — и никого больше.

Я безпечно поднимался вверхъ, позвонилъ, но никто не пошевелился, дверь не отпиралась. Я еще позвонилъ и еще. Никого. Я тронулъ за ручку, и дверь отворилась. Я вошелъ, въ передней никого. Рядомъ въ комнатѣ Антона виденъ былъ свѣтъ. Я отворилъ къ нему дверь и ахнулъ.

На столѣ догорала, вся оплывши, свѣча, надъ нею, въ близкомъ разстояніи, висѣли на протянутой веревкѣ, полотенца, платки, какія-то тряпки.

Самъ Антонъ лежалъ въ растяжку на полу, діагонально: навзничь, опять съ открытымъ ртомъ, съ закатившимися подъ лобъ зрачками, безъ чувствъ.

— «Употребилъ»! не выдержалъ!—сказалъ я съ тоской и злостью, потрогивая его за плечи, стараясь поднять его голову. Напрасный трудъ: онъ не шевелился, не подавалъ голоса, не открывалъ глазъ.

«Это называется праздникъ, Святая недѣля! Святая! Вотъ ужъ, что̀ называется, «святыхъ вонъ выноси!» думалъ я злобно, даже, кажется, зубы сами невольно скрежетали у меня.

Но сюрпризъ этимъ не кончился. Я взялъ со стола свѣчку, вышелъ въ переднюю и второй разъ ахнулъ, вошелъ въ залу, въ кабинетъ, въ спальню—и все ахалъ и ахалъ.

«Что это, погромъ!» Всѣ мои чемоданы, картонки, корзинки, узлы, были вытащены въ залу и переднюю, всѣ набиты моими платьями, бѣльемъ, разными вещами. Изъ корзинъ съ бѣльемъ торчали подсвѣчники, лампы, посуда, на полу валялись зеркала, мелкія вещи. Въ кабинетѣ мой пись-

менный столъ былъ взломанъ, также книжный шкапъ и шкапчикъ съ папками. Все это было сдвинуто съ мѣста и стояло посреди комнаты.

По полу разсѣяны были письма, пакеты, бумаги, и между послѣдними до тридцати большихъ тетрадей «Обломова», приготовленнаго совсѣмъ для печати.

Полное разрушеніе! Волки были, какъ я предсказывалъ Антону. А онъ лежитъ, какъ мертвый: и дубье не помогло! У меня сердце сжалось тоской. Я чувствовалъ, что не живу подъ знаменемъ охраны, благоустроенности, порядка. Я предоставленъ самому себѣ, я беззащитенъ. Будь я помоложе, я, можетъ-быть, заплакалъ бы. Никого около меня— нѣтъ опоры, нѣтъ защиты!

— Вотъ не женились—и наказаны! Вотъ вамъ прелести холостой жизни! «Свобода, независимость!» — говорила мнѣ потомъ одна пріятельница, Анна Петровна, страстная охотница устраивать свадьбы. — Была бы жена, волки-то и не забрались бы... Женитесь-ка — еще время не ушло! я бы вамъ славную невѣсту сосватала!

— Если бъ женился, можетъ-быть, забрались бы другіе волки, злѣе этихъ!—меланхолически отвѣтилъ я.

— Ну-у! — протяжно и нерѣшительно протестовала она загадочнымъ тономъ, глядя не на меня, а куда-то въ пространство, съ загадочной улыбкой и съ загадочнымъ же взглядомъ.

Я замѣчалъ, что такой взглядъ бываетъ у всѣхъ женщинъ, умныхъ и неумныхъ, потертыхъ жизнью и непорочныхъ, начиная отъ многоопытныхъ матронъ, до «пола нѣжнаго стыдливыхъ херувимовъ» включительно. Онъ является въ разные моменты ихъ жизни: когда, напримѣръ, онѣ хотятъ замаскировать мысль, чувство, секретное желаніе или намѣреніе, или когда имъ говорятъ о какомъ-нибудь чужомъ грѣшкѣ, который и за ними водится, или когда надо выразить кому-нибудь участіе, а участія нѣтъ и т. д.

Тогда взглядъ становится стекловиднымъ, точно прозрачнымъ; глазная влага, выразительница психическихъ процессовъ, куда-то исчезаетъ—и взглядъ ничего не говоритъ,—становится, какъ я выше назвалъ, загадочнымъ, или, если угодно, дипломатическимъ. Назвать его фальшивымъ не хочу: это грубо противъ милыхъ дамъ.

Такимъ взглядомъ и сопровождалось восклицаніе Анны Петровны—«ну!» Я позволилъ себѣ угадывать въ этомъ ея дипломатическомъ взглядѣ затаенный отвѣтъ: «да, конечно, это бываетъ (т.-е. «волки», нарушители супружескаго спокойствія), можетъ случиться и съ вами—да что же мнѣ до этого за дѣло, когда вы ужъ женитесь!..»

Прошу извинить меня за это отступленіе—и обращаюсь къ своему «инциденту».

Я ничего не тронулъ изъ моего разбросаннаго добра, только собралъ тетради «Обломова», повѣрилъ, что онѣ всѣ цѣлы, и успокоился. Воры шарили вездѣ, очевидно искали денегъ, и не нашли. А деньги были: нѣсколько крупныхъ ассигнацій были разложены между листами разныхъ старыхъ рукописей, плотно уложенныхъ въ небольшой шкапикъ съ папками. Ворамъ долго бы пришлось добираться до нихъ.

Они, очевидно, были застигнуты врасплохъ и разбѣжались. Ихъ засталъ, какъ я послѣ узналъ, тотъ самый разсыльный, который принесъ мнѣ пакетъ. Онъ не дозвонился у дверей и, полагая, что Антона нѣтъ, отдалъ пакетъ дворникамъ, а воры, услыхавъ неоднократный звонокъ, подумали, что воротился хозяинъ квартиры, т.-е. я, бросили все собранное въ чемоданы и узлы, и скрылись заднимъ ходомъ, черезъ дворъ.

Мнѣ худо спалось. Я проснулся раньше Антона и, услыхавъ, что онъ тоже всталъ, я вышелъ въ переднюю. Онъ пришелъ въ себя, намочилъ голову, одѣлся—и ждалъ, когда

нойти ко мнѣ. Увидя меня, онъ привсталъ съ постели, стараясь не смотрѣть на меня.

— Гдѣ ты былъ вчера, Антонъ?—спросилъ я.

— Въ балаганѣ-съ, какъ вы приказали,—невнятно шепталъ онъ.

— А еще гдѣ?

Онъ молчалъ.

— Кто у тебя былъ въ гостяхъ?

— У меня никого-съ,—довольно живо отвѣчалъ онъ.

— Не та ли твоя зимняя компанія, что на именины къ тебѣ приходила?..

— Никакъ нѣтъ-съ: я ее съ тѣхъ поръ и не вижу-съ!—твердо говорилъ онъ.

— Такъ волки, что ли, приходили?

— Какіе волки-съ? Никого не было.

Онъ съ недоумѣніемъ поглядывалъ на меня. Видно было, что онъ дѣйствительно не понимаетъ моего вопроса.

— Поди сюда, полюбуйся: это что̀?

Я вывелъ его въ переднюю и въ залу, указывая на узлы, чемоданы съ моимъ добромъ, разбросаннымъ по полу, на мебель...

— Господи, Боже Ты мой—Господи! Господи Владыко!—говорилъ онъ, оборачиваясь около себя, таращa глаза и разводя руками, потомъ вдругъ заплакалъ и сталъ на колѣни. — Самъ Христосъ видитъ: вѣдать не вѣдаю, сударь! Виноватъ тѣмъ, что захмелѣлъ...

— Встань и разскажи, что̀ было вчера, а я запишу и дамъ знать полиціи.

Онъ разсказалъ, что ходилъ въ балаганъ, тамъ, рядомъ съ нимъ, сидѣли какія-то три личности, не то торговцы, не то служащіе у господъ. Сначала читали вмѣстѣ афишку, потомъ разговорились, потомъ гуляли около качелей, и наконецъ пошли въ трактиръ и его позвали, пили чай и прочее... Они разспрашивали его, кто онъ, гдѣ живетъ, у кого

служитъ, каково ему на мѣстѣ, бываетъ ли баринъ дома, богатъ ли онъ?—и все вывѣдали. А сами все угощали его и сами пили. Одинъ простился и ушелъ, а вмѣсто его пришли еще двое — и опять стали пить и пить, и его угощали—пока...

— Я къ вечеру очень охмелѣлъ,— заключилъ Антонъ:— и... и... не помню, что̀ было... какъ попалъ домой...

Онъ опять съ ужасомъ сталъ осматриваться кругомъ и опять хотѣлъ стать на колѣни. Я удержалъ его и велѣлъ разобрать и уложить платье, бѣлье и всѣ вещи по мѣстамъ.

Пропавшими оказались дюжины двѣ столовыхъ ложекъ, дешевые деревянные столовые часы и отличный тулупъ на бѣличьемъ мѣху, привезенный мною изъ Сибири, крытый китайскимъ атласомъ.

Все украденное оказалось мнѣ ненужнымъ. Я дома не обѣдалъ, и ложки, стариннаго фасона, семейныя, взятыя мною изъ дома такъ, на всякій случай, лежали у меня безъ употребленія въ письменномъ столѣ. Столовые часы ходили невѣрно и мало служили мнѣ. Тулупъ изъ отборныхъ бѣлокъ, сдѣланный въ Якутскѣ, я тоже никогда не надѣвалъ, чтобъ не пріучать тѣло къ излишнему теплу. Но мнѣ все-таки было жаль его: такъ онъ былъ хорошъ.

Такимъ образомъ пропажа была нечувствительная, но я все-таки объявилъ о ней полиціи, больше для острастки, чтобы знали хоть на дворѣ, что есть живые люди въ квартирѣ.

Ничего изъ этого, какъ водится, не вышло. Пришелъ квартальный надзиратель, снялъ показаніе, Антона вызывали къ допросу. Потомъ вызвали въ часть и меня, показали какіе-то окрашенные въ черную краску столовые часы, спросили не мои ли? Я отозвался, что мои были пальмовые, желтаго цвѣта. Предъявили тоже столовую ложку, съ вопросомъ, не моя ли? А я своихъ ложекъ лѣтъ десять не

вынималъ изъ стола и забылъ, какія онѣ — и потому и ложку не призналъ своею.

Тѣмъ все и кончилось. Съ Антономъ я простился, убѣдившись окончательно, что онъ не воръ, что его напоили мошенники, привезли замертво домой и хотѣли обокрасть квартиру.

Я перекрестился, что дешево отдѣлался.

III.

Степанъ съ семьей.

Гдѣ вы, мои слуги, мои тѣлохранители, «и денегъ, и бѣлья моихъ рачители»? «Иныхъ ужъ нѣтъ, а тѣ далече». Но какъ только остановлюсь памятью на которомъ-нибудь изъ нихъ, предо мною изъ тьмы предстанутъ, какъ живыя, лица Михеевъ, Егоровъ, Максимовъ, Павловъ и т. д.

Вотъ я ихъ вижу передъ собой, съ подносомъ или чашками, щетками въ рукахъ, слышу будто ихъ говоръ.

Пропускаю мимо нѣсколько человѣкъ, служившихъ у меня неподолгу: они слишкомъ однообразны.

Ихъ можно свести въ одну группу — пьющихъ. Много портили они у меня крови и отравляли мою холостую жизнь. Подъ пару Антону возьму для образчика два-три силуэта.

Былъ Петръ, который, отслуживъ свой день, запиралъ меня на ночь на ключъ и уходилъ куда-то — пить водку и играть въ карты. Я узналъ объ этомъ случайно отъ старухи, которой давался у меня въ кухнѣ уголъ, чтобы квартира не оставалась совсѣмъ пустою, когда не было меня и слуги дома.

Я вызывалъ его на откровенность, чтобы дознаться, правда ли это. Онъ упорно отрекался, особенно отрицалъ водку.

— Ни-ни!—твердилъ онъ:—я уходилъ раза два, только не водку пить, нѣтъ!

— Зачѣмъ же? Что̀ ты дѣлалъ?

— Не водку пить ходилъ, — утверждалъ онъ упорно:—я за другимъ, за дѣломъ уходилъ.

— Зачѣмъ?

— За другимъ, только не водку пить!

Однажды я хотѣлъ повѣрить, правду ли говоритъ старуха, и заработавшись долго ночью, вышелъ въ переднюю, хотѣлъ пройти чрезъ его комнату въ кухню. Его не было и дверь оказалась запертой.

Я еще не успѣлъ лечь, какъ услышалъ, что онъ пришелъ и возился у себя въ темнотѣ. Я вышелъ къ нему со свѣчкой. Онъ раздѣвался, готовясь лечь.

— Гдѣ ты былъ?—спросилъ я.—Скоро три часа.

— А вамъ что за дѣло!—дерзко отвѣчалъ онъ.

Онъ былъ очень въ возбужденномъ состояніи.

— Какъ что за дѣло: у меня живешь и бродяжничаешь по ночамъ.

— Какъ вы смѣете называть меня бродягой!—вскинулся онъ на меня съ крикомъ, съ азартомъ, такъ что изъ кухни, услышавъ крикъ, пришла старуха.

Онъ продолжалъ кричать и грубить.

— Ну, ложись спать!—покойно сказалъ я, уходя.

— Лягу и безъ васъ, не дамъ куражиться надъ собой! Я не бродяга, я хожу въ хорошіе люди, не водку пить: нѣтъ, нѣтъ!—кричалъ онъ мнѣ вслѣдъ.

Утромъ я позвонилъ. Онъ какъ ни въ чемъ не бывало принесъ мнѣ чай, газеты. Я отдалъ ему паспортъ, зажитое жалованье и сказалъ, чтобы онъ немедленно уходилъ. Онъ оторопѣлъ немного, переступилъ съ ноги на ногу.

— Помилуйте, за что же?..—тихо сказалъ онъ.

Я ничего не отвѣчалъ. Онъ взялъ паспортъ, деньги и ушелъ.

— Позвольте только оставить пожитки мои здѣсь на

день или на два, пока пріищу мѣсто,—сказалъ онъ, оборотясь при выходѣ.

— Хорошо, скажи старухѣ, чтобы она поберегла ихъ. Ты понимаешь, что ты не можешь больше оставаться у меня?

— Это точно-съ... — тихо сказалъ онъ и ушелъ, понуря голову. — Простите за вчерашнее! — еще тише прибавилъ онъ, отворяя дверь.

Я махнулъ рукой, и онъ вышелъ.

Старуха сказывала мнѣ, что, когда онъ узналъ, что и какъ онъ говорилъ со мною ночью, то онъ схватилъ себя руками за голову.

«Неужели это правда? И я это все сказалъ!»

Онъ былъ очень тихій, приличный и расторопный слуга, представительной наружности, блондинъ лѣтъ тридцати, съ грубоватыми, но правильными чертами лица.

Когда онъ дня черезъ два явился за пожитками, я спросилъ, зачѣмъ онъ уходилъ по ночамъ.

— За какимъ-такимъ дѣломъ, котораго упорно назвать ты не хотѣлъ?

— Водку пить-съ! — откровенно, со вздохомъ сознался онъ, потупляя глаза.

Послѣ него черезъ день явился другой слуга, Максимъ, рябоватый, здоровый, крѣпко сложенный, мускулистый человѣкъ невысокаго роста.

Этотъ отличился черезъ три мѣсяца. Воротясь однажды поздно домой, я засталъ дверь незапертою. Максимъ не спалъ, но былъ тоже въ возбужденномъ состояніи. Такъ какъ онъ былъ на ногахъ, помогъ мнѣ раздѣться, взялъ платье, сапоги, я не обратилъ на это вниманія. На другое утро онъ заявилъ мнѣ, что мое пальто съ бобровымъ воротникомъ пропало.

— Какъ, куда пропало? Ты дома былъ, или уходилъ со двора? Приходилъ къ тебѣ кто-нибудь?

— Нѣтъ-съ... должно-быть я не уходилъ... Кажется, что дома былъ... И у меня никого не было... что-то не помню... Кому быть у меня!—лепеталъ онъ какъ ребенокъ.

— Отчего же дверь вчера была не заперта, когда я пришелъ?

— Не помню-съ... была ли она заперта, или нѣтъ... — отговаривался онъ, глядя въ сторону.

— Поищи, спроси: если у тебя кто-нибудь былъ—сходи узнай... Я въ полицію дамъ знать,—погрозилъ я.—До завтра даю тебѣ сроку...

Онъ ничего не сказалъ. Утромъ первый мой вопросъ былъ о пальто.

— Никакъ нѣтъ-съ: нигдѣ не могъ отыскать. Спрашивалъ у дворниковъ, не входилъ ли кто, не выносили ли пальто?.. Они никого не видали...

— Ну, надо въ полицію объявить: тамъ, можетъ-быть, ты вспомнишь, отчего дверь не была заперта... — сказалъ я.

— Ваша воля, какъ вамъ угодно!—отвѣчалъ онъ равнодушно.

Но полиціи я не объявилъ, зная, по множеству примѣровъ, какъ это бываетъ безполезно, а Максима немедленно уволилъ.

Я рѣшилъ, что одному человѣку «не добро быти» даже и у одинокаго холостяка. Онъ будетъ скучать и уходить со двора, какъ Петръ, или къ нему заберутся, пожалуй, непрошенные посѣтители, какъ уже и случалось съ моими слугами.

Мнѣ посовѣтовали взять женатаго, такъ какъ въ кухнѣ у меня мѣста было довольно хоть на цѣлую семью.

Мнѣ рекомендовали старика, лѣтъ 65, но еще бодраго, хотя съ нѣсколько помятымъ лицомъ и мелкими морщинами. Онъ былъ отпущенный на волю, жилъ по мѣстамъ поваромъ, но состарѣлся, по словамъ его, для этой службы

всегда у огня, въ жару, и предпочелъ другую должность, попрохладнѣе.

Онъ стоялъ передо мною, смотрѣлъ на меня добродушно и зорко своими карими глазами, не смигнувъ, какъ собака, ожидающая приказанія своего хозяина.

«Все сдѣлаю, что̀ прикажете», читалъ я въ этихъ глазахъ, и его позѣ: «а чего не прикажете — ни за что̀ не стану дѣлать!» дополнилъ я про себя сокровенный смыслъ его взгляда.

Онъ на другой же день переѣхалъ съ женой Матреной, женщиной за пятьдесятъ лѣтъ, съ крѣпкими, точно изъ гуттаперчи щеками, носомъ и подбородкомъ. Глаза у ней глядѣли не прямо, а стороной; губы она поджимала. Она поклонилась мнѣ въ поясъ и подала хранившійся у нея паспортъ мужа.

Дня черезъ два, заглянувъ въ ихъ помѣщеніе, я изумился множеству навезенной всякой всячины. Постель съ перинами и подушками горой, почти до потолка, множество разной посуды, кастрюль, печныхъ горшковъ и т. п. утвари. Но всего болѣе было иконъ, лампадъ, пасхальныхъ яицъ, сухихъ просфоръ и вѣтокъ вербы въ кіотѣ и около.

Матрена была русская, набожная женщина — и заняла кіотомъ со священными предметами не только весь передній уголъ своей комнаты, но отчасти даже мою гардеробную и комнату съ ванной. Долго я слышалъ стукотню прибиваемыхъ иконъ и картинъ религіознаго содержанія. Это меня нѣсколько успокоивало насчетъ добропорядочности этой четы. У нихъ былъ сынъ, Петруша, лѣтъ 17, обучавшійся слесарному ремеслу и ходившій къ отцу и матери только по большимъ праздникамъ.

Водворились они, и все пошло обычнымъ порядкомъ. Но прежняго безмолвія не было. Когда я проходилъ въ свою гардеробную, я постоянно слышалъ молвь: это и натурально, когда живутъ двое вмѣстѣ. Но молвь эта была задорная,

съ крикомъ, возгласами — иногда бранью — все со стороны Матрены.

Степанъ — такъ звали новаго слугу, — можетъ-быть Михайловъ, можетъ-быть Петровъ — теперь забылъ: у нашихъ крѣпостныхъ и дворовыхъ — такъ-называемыхъ «фамилій» не бывало; ихъ звали по отцу, или давали «прозванія», т.-е. прозвища,—Степанъ, говорю я, все отмалчивался, или отрывисто огрызался на задиранья жены.

— Да ну тебя, замолчишь ли ты, о, чертовка!

— Нечего молчать-то! Еще лаяться чертовкой! — ѣдко пилила она его:—а ты что сидишь, протянулъ ноги-то, ходить негдѣ!

Онъ убиралъ ноги, вставалъ и направлялся въ мои комнаты.

— Куда, куда?—ядовито останавливала она:—что дровъ не несешь: мнѣ, что ли, идти за дровами? Я стряпай, ты будешь жрать, а самъ ни съ мѣста! Погоди, не такую дуру нашелъ: я не раба тебѣ досталась!

— Господи Боже мой! Что это за дьяволъ баба! — охая говорилъ Степанъ и шелъ за дровами.

— Я тебѣ дамъ «дьяволомъ» звать! — шипѣла она, крестясь:—Господи, спаси меня! навязалъ Ты мнѣ этакій кладъ на шею!

А когда онъ, исполненный усердія, пробовалъ помочь ей:

— Дай-ко сковороду, я картофель поджарю.

Она на него обрушивалась:

— Не суйся, не спрашиваютъ!—кричала она.

— Я бы тертымъ сухаремъ посыпалъ, да сметанки подлилъ, да лучку тебѣ поджарю — вотъ какъ вкусно будетъ, пальцы оближешь!—договаривалъ онъ.

— Слышишь, я тебя кочергой огрѣю, если будешь соваться—вотъ Пресвятая Матерь, огрѣю!—грозила она.

— Ну, чортъ съ тобой, лѣшій тебя дери!

Сидя въ ваннѣ, почти рядомъ съ кухней, одѣваясь и

раздѣваясь, я постоянно слыхалъ эти перебранки и другого не слыхалъ. Она, что называется, «поѣдомъ ѣла его», а онъ принималъ все это равнодушно, отгрызаясь, или встряхнетъ головой, усмѣхнется и идетъ ко мнѣ въ переднюю, если ему становилось уже не въ мочь. Видно было по его равнодушію, что онъ привыкъ.

Между прочимъ она просила меня отдавать жалованье не Степану на руки, а ей.

— Отчего?—спросилъ я:—развѣ онъ...

— Мотаетъ, — замѣтила она, поджимая губы и косясь на мужа.

Онъ небрежно тряхнулъ головой и усмѣхнулся.

— На пустяки тратитъ,—прибавила она.

— Я не имѣю права давать никому, кромѣ его: если онъ согласится...

— Пожалуй, извольте ей отдавать: она у меня казначей!—охотно согласился онъ, и опять усмѣхнулся.

— У меня цѣлѣе будетъ! — вполголоса прибавила она, глядя въ сторону.

Я тогда не зналъ, что̀ это значитъ.

Такъ шло дѣло до зимы, до Рождественскихъ праздниковъ, безъ всякихъ особыхъ событій. Были кое-какія неудобства. Напримѣръ, черезъ мѣсяцъ по водвореніи у меня этой четы, появились тараканы. Они наполняли не только кухню, но и мою гардеробную, и ведущій въ нее коридоръ, и переднюю. Наконецъ стали появляться у меня въ комнатахъ. Я указалъ имъ на это.

— Что̀ это такое за гадость?—говорю.

— Это... тараканы-съ! — почти въ одинъ голосъ, съ невозмутимымъ спокойствіемъ, отвѣчали они оба.

Степанъ при этомъ сгребалъ ползавшихъ на виду насѣкомыхъ горстью и бросалъ, или въ форточку, или куда-нибудь въ лохань.

— Чтобъ ихъ не было!—сказалъ я:—надо вывести. До васъ я никогда ни одного не видалъ!

— Какъ это можно!—сказала Матрена, косясь на меня:—мы не съ собой ихъ привезли. Гдѣ ихъ нѣтъ! Гдѣ мы ни жили, вездѣ были—что клопы, что тараканы!

— Не было до васъ,—строго подтвердилъ я:—надо вывести: я порошку куплю.

Но порошокъ не помогалъ, и тараканы оставались все время, пока они у меня жили. А они жили около двухъ лѣтъ.

Иногда я пробовалъ искусство Степана готовить столъ, такъ какъ онъ хвастался, что былъ хорошимъ поваромъ.

Онъ не даромъ хвастался: въ самомъ дѣлѣ онъ хорошо готовилъ. Я иногда приглашалъ пріятелей отвѣдать его стряпни—и всѣ не могли нахвалиться вкусными русскими блюдами.

Я сталъ-было привыкать къ домашнему столу и подумывалъ обратить Степана къ его прежнему ремеслу, сдѣлать своимъ поваромъ, прибавить жалованья и обѣдать у себя, словомъ жить домомъ. Онъ, казалось, и самъ не прочь былъ отъ этого.

— Что же-съ — могу! — съ самоувѣренностью говорилъ онъ.—Я все умѣю: и супы—пюрэ, и какіе угодно, и соусъ къ рыбѣ и спаржѣ, пирожное тоже всякое: вафли, кремъ шоколадный или съ ванилью...

Онъ перебралъ цѣлую поваренную книгу.

— Только надо кастрюль, сковородъ и другой посуды купить,—прибавилъ онъ.

— Все купимъ.

— Погреба нѣтъ,—вдругъ спохватился онъ:—желе, заливное, тоже что̀ останется отъ стола, въ холодъ некуда поставить...

— И погребъ найму,—говорилъ я.

— Что же-съ; я готовъ! Хозяйство у васъ не Богъ

знаетъ какое большое, семейства нѣтъ, гости рѣдко: управлюсь...

И жена его поддакивала, но нерѣшительно, и ядовито косилась на него при этихъ переговорахъ. Я не зналъ, отчего это, но потомъ узналъ.

Подходилъ праздникъ Рождества. Я изрѣдка, все еще въ видѣ опыта, обѣдалъ дома — и всегда хорошо, вкусно. Я успѣлъ прикупить столоваго бѣлья, посуды, вилокъ, ножей. Однажды я позвалъ двухъ пріятелей попробовать моего хозяйства, далъ Степану денегъ, заказалъ, что̀ купить и приготовить, и ушелъ со двора до обѣда.

Воротясь домой часовъ въ пять, я узналъ, къ ужасу моему, что печь не топилась, стола не готовили и что Степана—съ утра нѣтъ.

— Какъ ушелъ за провизіей, съ тѣхъ поръ и не бывалъ!—прибавила Матрена, не то съ тоской, не то злобно.

— Какъ же быть: сейчасъ гости придутъ!—говорилъ я.— Обѣдъ не поспѣетъ, если онъ и придетъ сейчасъ: когда готовить!

— Онъ не придетъ сегодня: развѣ къ ночи! — сказала она въ сторону.

— Что же это значитъ?—спросилъ я.—Куда онъ ушелъ?

— А вы зачѣмъ ему деньги на руки дали?—вдругъ ѣдко упрекнула она:—я просила мнѣ отдавать. Я бы сходила съ нимъ на рынокъ и провизіи бы купила: теперь кушали бы, и деньги были бы цѣли...

— Развѣ онъ всегда такъ дѣлалъ?

— Всегда-съ. Онъ, бывало, когда служилъ поваромъ, получитъ рублей двадцать жалованья, зайдетъ въ трактиръ.. и ни копейки домой не принесетъ...

— Ужели же всѣ двадцать рублей промотаетъ? Что жъ онъ, шампанское, что ли, пьетъ...

— Какое, сударь: онъ съ двухъ рюмокъ ужъ пьянъ! А

начнетъ угощать всякаго, а что̀ останется — у него вытащатъ...

— Гдѣ же онъ? Отыскать бы его да привести! — говорилъ я растерянно.

— Гдѣ ему быть: въ кабакѣ, или харчевнѣ! Можно отыскать — да зачѣмъ? Пусть тамъ и остается! Боже оборони, лишь бы не пришелъ! Я его не пущу! Онъ пьяный, злущій, презлущій! Пусть ночуетъ хоть на улицѣ, или въ части...

— Такъ онъ пьетъ: вотъ вашъ секретъ!

Она молча косилась въ уголъ.

— Кабы не пилъ запоемъ, развѣ его отпустили бы отъ мѣстовъ! Да его бы обѣими руками держали! У какихъ генераловъ живалъ онъ; въ княжескомъ домѣ жилъ! Поживетъ-поживетъ мѣсяцъ-другой—и откажутъ. Тогда ко мнѣ опять на шею, сокровище этакое, явится! Я на старости, горемычная, мыкаюсь-мыкаюсь съ нимъ...

Она пробовала заплакать, но слезъ не было, и она утирала сухіе глаза.

— Хоть бы сгинулъ, окаянный! — заключила нѣжная супруга.

Такъ кончилась моя иллюзія насчетъ домашняго стола.

Степанъ до ночи не приходилъ, а ночью силою стучался въ дверь кухни, но впущенъ не былъ и провелъ ночь въ дворнической, слѣдующую ночь въ холодномъ сараѣ. И какъ оставался живъ этотъ тщедушный старикъ послѣ такихъ ночей, зимой, въ сараѣ, или на сѣновалѣ — понять нельзя!

Онъ не являлся ко мнѣ на глаза пока длились праздники. Прислуживала мнѣ Матрена и пришедшій на праздники сынъ ея, Петруша. Этотъ мнѣ подтвердилъ, что «тятенька его запиваетъ, какъ только получитъ деньги. И тогда озорничаетъ, дерется съ мамкой, таскаетъ и его за вихры, бьетъ и ломаетъ что̀ попадетъ подъ руку». Словомъ, изъ кроткаго, смирнаго старика обращается въ звѣря.

— Мы съ мамкой запираемся отъ него на ночь, не пущаемъ!—добавилъ онъ.

Потомъ онъ, когда пропьетъ деньги, или у него утащатъ ихъ изъ кармана товарищи попойки, мало-по-малу перестаетъ пить, ходитъ дня три какъ шальной, мелетъ про себя несвязный вздоръ и постепенно приходитъ въ себя, принимаетъ свой кроткій образъ, съ добродушнымъ взглядомъ и улыбкой.

Такимъ онъ и появился ко мнѣ послѣ праздниковъ и принялся за свое дѣло, какъ ни въ чемъ не бывало.

На масленицѣ произошло то же самое. Между прочимъ онъ особенно разбушевался въ послѣдній день, ломился въ дверь кухни, и когда его не пустили, онъ ходилъ по двору, кричалъ, ругался, такъ что дворники кое-какъ увели его силою. Я слышалъ этотъ шумъ.

Когда онъ послѣ того явился ко мнѣ, уже отрезвившійся, я замѣтилъ ему, что я буду искать себѣ другого слугу, и пригрозилъ, что если онъ будетъ такъ кричать по двору, дѣлать скандалъ — я пошлю за городовымъ и препровожу его въ полицію. Онъ сталъ передо мной на колѣни, скрестилъ руки на груди и голосомъ глубокаго убѣжденія и съ чувствомъ произнесъ:

— Нѣтъ, вы этой низости со мной не сдѣлаете!

Я дѣйствительно не сдѣлалъ этой «низости», ради его добродушія,—и продолжалъ иногда пользоваться его поварскимъ искусствомъ, обѣдая изрѣдка дома. Денегъ на провизію я, конечно, уже ему на руки не давалъ—и все шло хорошо.

Были мнѣ иногда досады другого рода. Когда случалось два-три дня праздника, Степанъ обыкновенно исчезалъ изъ дома, покидая всѣ заботы на жену и сына Петрушу. Иногда мнѣ случалось не заставать никого дома, кромѣ Петруши, который или игралъ въ бабки въ углу двора съ мальчишками, или спалъ дома такъ, что его не добудиться и

не дозвониться. А однажды онъ сидѣлъ на крыльцѣ и плакалъ.

— Что ты плачешь?—спросилъ я.

— Да всѣ ушли, я одинъ... боюсь!

— Гдѣ же отецъ и мать?

— Тятенька въ кабакѣ, а мамка ушла къ обѣднѣ, да вотъ нейдетъ...

Къ вечеру она явилась и, какъ показалось мнѣ, тоже на-веселѣ. Я уже о мужѣ не спрашивалъ, гдѣ онъ.

— Гдѣ ты была, Матрена? Всѣ разошлись: домъ пустой! Какъ же это можно!

— Нынче Ильинская Пятница: я на Пороховыхъ заводахъ была! — обидчиво отозвалась она. — Нельзя же: всѣ люди, какъ люди — я точно не человѣкъ! На мнѣ, чай, крестъ есть!

Это случалось очень часто. То Родительская суббота придетъ, то Троицынъ, Духовъ, или Успеньевъ день, то она на Смоленское кладбище пропадетъ на цѣлый день. Великимъ постомъ особенно отсутствія эти были часты.

— Гдѣ была?—спросишь, бывало.

— На стояніи Маріи Египетской, или ко Кресту ходила: нонче середокрестная недѣля!

Отлучалась тоже и въ Лазареву субботу, за вербами, и въ Лазарево воскресенье, и ко всенощной съ двѣнадцатью Евангеліями и т. д.

Всѣ эти праздники служили ей болѣе предлогами къ угожденію «мамонѣ», какъ я замѣчалъ, а не проявленіемъ благочестія. Когда она приходила домой, отъ нея не святостью пахло. Мужъ и сынъ сидѣли, во время этихъ отлучекъ, не ѣвши — и первый тоже уходилъ въ свою очередь, и я оставался сиротой, безъ прислуги, и квартира пустая.

Послѣдніе три дня передъ большими праздниками меня почти выгоняли вонъ. Начиналась возня, чистка, уборка,

Она проворно отставила вино въ сторону.

— Будетъ съ тебя, не дамъ: смотри, какъ нагрузился, на недѣлю!..

— Наливай, раба! Ты раба моя! Что̀ сказано въ Писаніи: «прилѣпись къ мужу, повинуйся». Наливай же, а то я вотъ тебя...

Онъ всталъ и съ поднятой табуреткой, шатаясь, двигался къ ней, мимоходомъ сшибъ свѣчку со стола на полъ. Мальчишка заревѣлъ:—«Ай, тятька, не трогай мамку!»

Я все это видѣлъ, стоя въ дверяхъ, и поспѣшилъ прекратить безобразную сцену.

Я увидалъ, что всѣ трое были пьяны.

Я скоро послѣ того уволилъ ихъ — и потомъ уже, года черезъ два, слышалъ отъ своихъ пріятелей, знавшихъ Степана въ лицо, что они видали его въ Казанскомъ соборѣ, просящимъ милостыню. Еще черезъ годъ или два зашла ко мнѣ однажды Матрена попросить «на бѣдность», а затѣмъ вскорѣ и на похороны старика. Она разсказала, что онъ все пилъ, пилъ, наконецъ, «ослабъ», не могъ выходить, руки и ноги стали трястись, потомъ окоченѣли, и онъ умеръ тихо, мирно, принявъ Св. Таинъ, и передъ самой смертью произнесъ: «Проклятъ тотъ, кто выдумалъ водку пить!»

IV.

Матвѣй.

Я всегда смотрѣлъ косо на пьяницъ — во всякомъ быту. А мнѣ, какъ нарочно, выпало терпѣть ихъ около себя. Я никогда не былъ покоенъ: пьянство — вѣдь это перемежающееся умопомѣшательство, иногда опасное, разрѣшающееся какой-нибудь неожиданной катастрофой, какъ уже отчасти и было съ Антономъ, а нерѣдко и большой бѣдой.

Мои безпокойства длились слишкомъ два года: мнѣ во что бы то ни стало хотѣлось сбыть это домашнее иго. Для

тамъ будетъ поваръ и кухарка, не то такъ горничная: домъ никогда не останется пустымъ.

— Значитъ, мнѣ надо жениться, кромѣ жены, еще на горничной, на кухаркѣ, на лакеѣ... «Огромная опека!»... Не шутя, Анна Петровна, не знаютъ ли вашн люди такого человѣка? Домъ у васъ большой, семейный, людей много: у нихъ между прислугой есть знакомства. И если найдутъ такой феноменъ, я назначилъ бы премію.

— Хорошо, я скажу, и если что найдется, дамъ вамъ знать, а вы дня черезъ три зайдите. Да вотъ, въ среду, придите обѣдать. У меня будутъ Катринь, Иванъ Карлычъ— мы составимъ вистикъ, а я между тѣмъ разспрошу.

Я ушелъ.

Но еще до среды, ко мнѣ какъ-то утромъ пришелъ отъ нея буфетчикъ, степенный, сѣдовласый, почтенной наружности слуга.

— Отъ Анны Петровны,—сказалъ онъ:—кланяться приказали. Вы изволили спрашивать насчетъ слуги, чтобъ не пилъ?

— Да, а развѣ есть такой?—спросилъ я.

— Есть-съ... только...

— Мало пьетъ?

— Ничего-съ, ни капли въ ротъ не беретъ, только...

— Только что? Скажите откровенно: грубіянъ, или лѣнивъ... не воруетъ ли?..

— Нѣтъ-съ, нѣтъ!—съ усмѣшкой говорилъ буфетчикъ.— Только, пожалуй, посмотрите на него и не возьмете... Смѣшной ужъ очень!

Я удивился.

— Смѣшной! Чѣмъ же смѣшной?

— Такъ, ужъ очень смѣшной...

— На видъ, собой, что ли?—допытывался я.

— И собой, да и такъ: смѣшно говоритъ, и все не полюдски дѣлаетъ.

засмѣяться, судя по описанію буфетчика, но когда посмотрѣлъ на него, смѣхъ замеръ у меня на губахъ.

Это былъ довольно длинный, лѣтъ сорока пяти человѣкъ, худощавый, даже чахлый, будто только-что вставшій со смертнаго одра: кости да кожа. Небольшая голова, глаза впалые, бѣлесоватые, какъ у чухонца, безъ выраженія; большія, настежь отворенныя губы, которыхъ онъ, кажется, отъ слабости не могъ сжать, лицо съ повисшими складками — точно пожелтѣвшей отъ ветхости лайки; волосы жидкіе, подъ цвѣтъ старой рогожки. Одѣтъ въ сѣрый, длинный, поношенный сюртукъ, съ полинялымъ бархатнымъ воротникомъ. На шеѣ былъ старый вязаный шарфъ.

У меня сердце сжалось, глядя на него. Онъ, казалось, едва держался на ногахъ. Онъ прямо смотрѣлъ на меня— и будто съ трудомъ мигалъ и тяжело дышалъ. Ноги у него, начиная съ колѣнъ, были какъ будто не свои, не натуральныя, а деревянныя, приставленныя вмѣсто оторванныхъ. Руки длинныя не по корпусу, какъ у орангъ-утанга.

«Смѣшной! Онъ не смѣшной, онъ жалкій!» думалъ я, осматривая его.

— Ты боленъ?—спросилъ я.

Онъ точно проснулся.

— Никакъ нѣтъ-съ!—торопливо сказалъ онъ.—Я, слава Богу, здоровъ.

— Отчего же ты такой худой и блѣдный? Развѣ ты всегда былъ такой?

Онъ широко улыбнулся, губы распахнулись и обнаружили блѣдныя десны. Въ нижней челюсти недоставало зуба.

— Сызмалу, можетъ-быть, былъ другой, — говорилъ онъ тихо, съ передышкой, пещернымъ голосомъ, какъ умирающій.—А съ тѣхъ поръ, какъ сталъ помнить себя — я все такой, какъ теперь...

— Ты не пьешь, сказываютъ?—продолжалъ я.

— Нѣтъ-съ, не пивалъ и не пью ничего, кромѣ чаю да воды!

— Это хорошо, а вотъ, говорятъ, что ты и не ѣшь: это ужъ не хорошо. Оттого ты и такой худой...

— Нѣтъ-съ, это не отъ того,—съ жалкой усмѣшкой замѣтилъ онъ:—это отъ другого...

— Отчего же?

— Битъ больно бывалъ.

Онъ какъ-то жалко, болѣзненно взглянулъ на меня.

— Кѣмъ битъ?

— Извѣстно, бариномъ.

— А кто твой баринъ?

Онъ назвалъ польскую фамилію, которую я теперь забылъ.

— Онъ служилъ въ военной службѣ, въ гусарахъ,—продолжалъ Матвѣй:—денщиковъ не бралъ, получалъ за нихъ деньгами, а я былъ у него вмѣсто денщика. Вотъ онъ и бивалъ меня, крѣпко бивалъ!

Онъ съ трудомъ, всей грудью, дохнулъ, точно въ изнеможеніи.

— За что же?

— Такъ: вздумается и побьетъ. Извѣстно, баринъ за все можетъ бить, отвѣта нѣтъ ему. Чуть что не потрафишь, и начнетъ: и кулаками, по головѣ, и колѣнками тоже, а иной разъ саблей ударитъ, или сапогомъ...

Я съ ужасомъ слушалъ этотъ разсказъ и повѣрялъ, глядя на него, жестокую правду этихъ истязаній.

— Иной разъ не въ мочь было ѣздить съ нимъ на перекладной телѣгѣ по тряской дорогѣ, онъ спихнетъ съ телѣги и велитъ придти до мѣста пѣшкомъ... Я съ годами и ослабъ. Вотъ онъ и взялъ казеннаго денщика, а меня отпустилъ на оброкъ. Пятьдесятъ рублей оброку положилъ...

Все это онъ разсказывалъ съ передышкой, умирающимъ голосомъ, медленно открывая и закрывая глаза.

«Боже мой, какой жалкій! А тѣ находятъ его смѣшнымъ!» думалъ я, съ глубокимъ состраданіемъ слушая его.

— Все хочу откупиться на волю, да дорого проситъ,— продолжалъ онъ:—семьсотъ рублей! Я давалъ четыреста— не беретъ.

— А у тебя есть столько денегъ?—спросилъ я.

— Теперь ужъ нѣтъ: осталось меньше трехсотъ,—почти шопотомъ прибавилъ онъ. — Безъ мѣста долго былъ, платилъ за уголъ, и въ долгахъ тоже рублей шестьдесятъ пропадаетъ: не отдаютъ.

Онъ вздохнулъ.

— Да я прикоплю и выкуплюсь!—довольно живо заключилъ онъ. У него даже глаза засвѣтились. Видно было, что выкупиться на волю было его завѣтной мечтой.

«Такъ вотъ отчего онъ жаденъ на деньги!—думалъ я:— свободу хочетъ купить! Бѣдный, жалкій, жалкій!»

— Ты не торопись: можетъ-быть и даромъ отпустятъ. Теперь идутъ толки объ этомъ...—сказалъ я.

Тогда дѣйствительно въ высшихъ сферахъ былъ затронутъ этотъ вопросъ. Но наступившія политическія событія въ Европѣ отодвинули его на второй планъ. Но онъ не заглохъ — и толки принимали уже довольно опредѣленный характеръ. Пока тихо, подъ-спудомъ, но что-то готовилось...

— Богъ съ нимъ, съ бариномъ: я внѣсу, вотъ только понакоплю денегъ! — заключилъ Матвѣй. — Можетъ-быть, баринъ и правовъ-то не имѣетъ: никакихъ, говорятъ, бумагъ у него на насъ нѣтъ, а держитъ!

Онъ тяжело вздохнулъ.

Жалкій! Жалкій!

— Гдѣ же накопить такую большую сумму? — спросилъ я.—Изъ жалованья трудно, не ѣсть совсѣмъ—нельзя...

— Я наживу, баринъ, наживу: годокъ, другой—третій, семьсотъ рублей, и больше наживу...

— Чѣмъ же?—спросилъ я въ недоумѣніи.—У тебя ремесла никакого нѣтъ...

— Процентами, — тихо, почти съ лукавой улыбкой, сказалъ онъ.—Въ долгъ деньги берутъ, подъ залогъ—и хорошіе проценты платятъ. Кому 50, кому 70 рублей нужно: даютъ по два, иногда по три процента въ мѣсяцъ.

«Ты... мелкій ростовщикъ!..» хотѣлъ я сказать, но удержался. Онъ былъ такъ жалокъ. Я даже мысленно оправдывалъ его: онъ искалъ свободы!

— Какъ же ты можешь служить!—сомнѣвался я.—Хоть у меня и не Богъ знаетъ какая служба, однако, все же надо и дровъ въ печку положить, и затопить; и убрать комнаты, чистить платье. Случается иногда послать куда-нибудь... А ты такой слабый, тщедушный... гдѣ же тебѣ?..

Къ удивленію моему, Матвѣй вдругъ ожилъ, точно я его своими словами вспрыснулъ, какъ живой водой. Глаза и лицо просіяли, губы раздвинулись въ широкую улыбку, обнаруживъ десны. Онъ зорко осмотрѣлъ всю комнату, мебель, шкапы съ книгами, зашевелилъ руками, ногами.

— Все это могу-съ, все сдѣлаю: и печки буду топить, комнаты убирать, платье чистить, самоваръ ставить и чай готовить, и въ лавочку ходить, за булками, и куда еще пошлете—и все прочее... все исправлю...

Онъ говорилъ не прежнимъ потухшимъ голосомъ, а твердо, скороговоркой. При этомъ губы и носъ его, съ каждымъ словомъ, описывали круги. Онъ даже молодцовато тряхнулъ головой.

— Ну, я очень радъ. Вотъ тебѣ денегъ, ступай, вези свои вещи,—сказалъ я.

Онъ отступилъ.

— Нѣтъ-съ, баринъ, покорнѣйше благодарю... у меня есть... Какъ можно спервоначалу, еще не заслужилъ, а вамъ убытокъ! Нѣтъ-съ, нѣтъ!—сказалъ онъ и, къ удивленію моему, денегъ не взялъ.

Это какъ-то противорѣчило съ его жадностью къ наживѣ.

— Я часа черезъ два на извозчикѣ все привезу...—заключилъ онъ.

Я ему показалъ его помѣщеніе и всѣ мои комнаты.

— Вотъ твои, а это мои владѣнія. Держи въ порядкѣ, чистотѣ. Ты часто ходишь со двора?

— Только въ церковь, въ воскресенье, не каждое, а то никуда-съ.

— А знакомые есть?

— Есть кумъ у меня женатый: онъ рѣдко, въ мѣсяцъ разъ зайдетъ, больше никогда, никого-съ...

— Вотъ и бѣлье мое, и шкапъ съ платьемъ. Тамъ, въ той комнатѣ, посуда, серебро...

— Пожалуйте «ерестрикъ»: я все повѣрю и приму,— сказалъ онъ.

— У меня никакого реестра нѣтъ: я тебѣ вѣрю.

— Такъ я самъ все запишу; безъ ерестра нельзя: Боже оборони—пропадетъ что-нибудь!—сказалъ онъ и ушелъ, двигая ногами въ стороны, какъ деревянными.

Устроившись самъ, онъ дня два-три все разбиралъ мое добро. Записалъ платье, бѣлье, серебро, каждую чашку, ни одной тарелки не забылъ, и скрѣпилъ своей подписью: «такого-то числа принялъ Матвѣй».

Онъ принесъ мнѣ этотъ «ерестръ». Я хотѣлъ-было бросить его въ корзинку, подъ столъ. Но онъ сдѣлалъ такую умоляющую мину и такъ жалостно просилъ меня провѣрить, такъ ли и все ли онъ записалъ, и спрятать въ столъ, что я на послѣднее согласился, а провѣрять отказался наотрѣзъ.

— Если что износится. или разобьется, вы извольте отмѣтить на «ерестрикѣ»,—приставалъ онъ ко мнѣ:—а если я что разобью или потеряю, такъ изъ жалованья у меня вычтите...

— Если ты меня будешь безпокоить этими пустяками,

такъ я твой «ерестрикъ» въ клочки разорву—слышишь?—внушительно сказалъ я ему. — Я даю тебѣ полную свободу бить посуду, ломать или терять вещи — и никогда съ тебя за то ни гроша не взыщу. Прошу только объ одномъ: не пей!

— На этотъ счетъ будьте покойны, баринъ! — сказалъ онъ, показавъ улыбкой обѣ десны.

«На этотъ счетъ; а на какой счетъ мнѣ не слѣдуетъ быть покойнымъ?» подумалъ я.

Наблюдая за нимъ еще нѣсколько дней, я видѣлъ, что онъ все какъ-то двоился: когда молчалъ, не двигался, слушалъ что̀ ему говоришь — онъ сохранялъ свой видъ изнеможеннаго, забитаго человѣка. Не сжималъ губъ, отвѣчалъ будто съ трудомъ и еле дышалъ. То вдругъ просыпался точно отъ сна и обнаруживалъ признаки жизни. Каждый вечеръ я, однако, ложился съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ: доживетъ ли онъ до утра?

Я сказалъ ему, между прочимъ, чтобы онъ убиралъ мои комнаты по утрамъ, когда все тихо кругомъ, пока я еще въ спальнѣ.

Утромъ слѣдующаго же за тѣмъ дня, вставши, я только хотѣлъ позвонить, какъ услыхалъ ужасную суматоху, возню, стукотню въ комнатахъ. Падали вещи, что-то звенѣло, валилось.

Я заглянулъ туда. Вижу, мой Матвѣй, безъ сюртука, въ одномъ жилетѣ, раскидывая нескладныя ноги врозь и простирая длинныя руки въ стороны, бѣгаетъ, скачетъ по моему кабинету, точно ловитъ курицу по двору. Въ комнатѣ все было не на своемъ мѣстѣ: мебель сдвинута, все раскидано, книги въ кучѣ на полу, мелкія вещи на окнахъ и т. д.

— Что ты дѣлаешь?—спросилъ я.

— Убираю-съ! — сказалъ онъ, оборачиваясь ко мнѣ и обнаруживая десны.—Вотъ лѣстницу у дворниковъ досталъ,

печку вымылъ, со шкаповъ соръ смелъ, теперь лампы перетру, остались только книги!..—хвастался онъ.

Я отвернулся, чтобъ не захохотать: такъ онъ былъ смѣшонъ! Ни изнеможенія, ни вялости, ни мертваго вида,—просто смѣшонъ, невыразимо смѣшонъ!..

— Что же тутъ стукнуло, зазвенѣло?—спросилъ я.

— А вотъ, какъ я шкапы обтиралъ, такъ книжки свалились сверху, да вотъ еще стекло отъ лампы упало, разбилось... Я, баринъ, другое куплю, на свой счетъ...

Онъ схватилъ одной рукой щетку, другой тряпку и началъ опять бѣгать, скакать, ловить курицу, сшибъ со стола пепельницу, щеткой стукнулъ по зеркалу.

— Оставь! Довольно убирать!—сказалъ я, опять отворачиваясь, чтобъ не захохотать. Но онъ какъ будто не слыхалъ и долго еще возился, ставилъ все на свое, или лучше сказать, не на свое мѣсто. Тяжелые фоліанты грудой навалилъ на хрупкую этажерку, назначенную для фарфора и разныхъ легкихъ вещей: она гнулась подъ тяжестью книгъ. А легкія вещи, между прочимъ, статуэтки, прессъ-папье, занесъ на шкапъ.

— Такъ лучше, баринъ: тамъ цѣлѣе будутъ!—хвастливо прибавилъ онъ и очень удивился, когда я велѣлъ сію же минуту сдѣлать все наоборотъ: снять книги съ легкой этажерки и поставить опять на шкапы, а легкія вещи разложить на столѣ.

— Видишь, что ты надѣлалъ: почти совсѣмъ раздавилъ этажерку,—вонъ она шатается!

Онъ посмотрѣлъ на погнувшуюся этажерку, въ недоумѣніи, разиня ротъ, вздохнулъ и поставилъ нехотя все, какъ я велѣлъ.

Въ воскресенье, часа въ четыре дня, онъ попросился у меня въ свою церковь.

— Какая же у васъ служба теперь, въ эти часы?—спросилъ я.

— Сегодня у насъ «супликація» будетъ.

— А кромѣ супликаціи, еще что̀ бываетъ?

— А въ слѣдующее воскресенье будетъ «наука», потомъ, черезъ недѣлю, еще «проповѣдь».

Кромѣ этихъ выходовъ въ церковь, онъ не отлучался ни шагу. О винѣ и помину не было. Къ сожалѣнію, онъ воздерживался, повидимому, и отъ пищи: по крайней мѣрѣ я не замѣчалъ у него ничего съѣстного, кромѣ остатка селедки, огурца, рѣдьки, такъ что я почти принуждалъ его «употреблять» остатки моего завтрака, совѣтовалъ протапливать печь, варить себѣ какой-нибудь супъ, предлагалъ ему денегъ купить мяса. Мнѣ хотѣлось, чтобъ онъ вошелъ, что называется, въ тѣло.

— Нѣтъ-съ, баринъ, нѣтъ, зачѣмъ стану я вамъ убытокъ дѣлать! Богъ дастъ проживу!—говорилъ онъ медленно, съ передышкой, и денегъ на провизію не бралъ.

— Вотъ дождемся праздника, тогда запеку окорочекъ,— весело прибавлялъ онъ:—сдѣлаю пасху на сметанѣ, накрашу яицъ: придетъ кумъ и разговѣемся!

У него даже глаза блестѣли и явилась смачная улыбка. Онъ почти облизывался. Чуть румянецъ не заигралъ на щекахъ. Потомъ онъ внезапно опять принялъ свой мертвый видъ.

Жалкое и смѣшное мѣшалось въ немъ такъ слитно, что и мнѣ приходилось поминутно двоиться въ моемъ взглядѣ на него. Только-что расхохочешься невольно, глядя на его ужимки, прыжки, на эту наивную улыбку съ обнаженными деснами, какъ вдругъ сердце сожмется отъ боли, когда онъ прерветъ свою рѣчь тяжелымъ вздохомъ и закроетъ потухшіе глаза. На этомъ, обвисшемъ въ складкахъ, блѣдно-желтомъ лицѣ, опять прочтешь неизгладимую исторію перенесенныхъ имъ истязаній.

— Ты много страдалъ, Матвѣй?—сказалъ я ему однажды, когда онъ принесъ мнѣ подносъ съ чаемъ, и съ участіемъ

глядя на него. — Какія жестокія боли ты вынесъ, ты просто мученикъ! Тебя надо въ календарь, въ святые включить: вонъ какъ худъ! Преждевременно сколько морщинъ!

— Нѣтъ-съ, баринъ, это что за боли: это ничего!—молодцовато отговаривался онъ.—Такія ли бываютъ! Это легко... а тѣ вотъ страшныя!

— Какія же еще есть такія страшныя боли? — спросилъ я.

— Ихъ три, три мученическія муки,—сказалъ онъ съ убѣжденіемъ.—Нашъ ксёндзъ, отецъ Іеронимъ, сказывалъ: «Нѣтъ, говоритъ, тяжелѣ этихъ самыхъ мукъ: когда, говоритъ, зубы болятъ, когда женщина родитъ и когда человѣкъ помираетъ».

— А онъ почему же знаетъ, твой ксёндзъ? Про зубную боль, пожалуй, еще такъ, если у него болѣли зубы. А про роды, или про смерть, какъ онъ можетъ знать: вѣдь онъ не родилъ самъ и не умиралъ тоже?

— Ксёндзы все знаютъ!—съ благоговѣніемъ произнесъ Матвѣй, закрывая глаза:—Все-съ. Знаютъ, зачѣмъ каждый человѣкъ родится на свѣтъ, а когда помираетъ, знаютъ что съ его душой въ шестой и девятый день послѣ смерти дѣлается и по какимъ «мутарствамъ» ходитъ она. Да-съ!—со вздохомъ заключилъ онъ.

Кто-то въ эту минуту позвонилъ. Матвѣй мой вдругъ вспрянулъ,—куда дѣвалось изнеможеніе!—почти бросилъ подносъ съ чаемъ, однимъ прыжкомъ очутился въ передней и отперъ дверь.

— Дома-съ, пожалуйте!—бодро и живо говорилъ онъ и такъ усердно стаскивалъ съ гостя пальто, точно грабилъ его. Тотъ, входя, покосился на него съ улыбкой.

— У васъ новый слуга?—спросилъ онъ.

— Да. И не пьющій, подивитесь!

— Въ самомъ дѣлѣ? Поздравляю: это рѣдкость. Только, какой онъ... смѣшной! — заключилъ онъ, глядя, какъ Мат-

вѣй ухватилъ съ обезьяньимъ проворствомъ подносъ со стола и, раскидывая ноги врозь, понесъ въ буфетъ, задѣвъ плечами за дверь.

Я вскорѣ къ свойствамъ «жалкій», найденнымъ въ Матвѣѣ мною, и «смѣшной», какимъ находили его другіе, долженъ былъ прибавлять новые эпитеты, по мѣрѣ того какъ наблюдалъ его. Онъ становился для меня весьма сложнымъ и любопытнымъ этюдомъ характера. Я затруднялся найти въ немъ преобладающую черту, чтобы подвести его подъ какую-нибудь категорію общечеловѣческихъ видовъ. Пока я замѣтилъ выдающимся — страхъ передъ «убытками». Это слово являлось чаще всего у него въ рѣчи.

Между прочимъ онъ былъ неумолимо аккуратенъ и безпощадно честенъ. Первымъ онъ причинялъ мнѣ не мало досадъ. Потомъ былъ еще упрямъ, какъ волъ, и этимъ иногда выводилъ изъ себя. Я понималъ, какъ это должно было бѣсить его барина, молодого, горячаго гусара.

— Поди, отнеси эту книгу и отдай швейцару,—скажешь ему:—тутъ недалеко, въ такомъ-то домѣ.

— Я, баринъ, лучше ужо снесу, вотъ когда посуду перемою и когда вы уйдете...

— Теперь, сейчасъ снеси!—надо приказать строго. Иначе не пойдетъ.

— Отнеси эти письма и посылку на почту,—приказалъ я ему разъ:—сдай, потомъ зайди къ портному и заплати ему по этому счету: вотъ деньги, да не забудь взять расписку.

Воротясь вечеромъ, я нашелъ посылку и письма въ передней на столѣ. Я удивился.

— Что же ты не отдалъ?—строго спросилъ я.

— Опоздалъ, баринъ,—жалкимъ голосомъ оправдывался онъ:—портной какимъ-то господамъ примѣривалъ платья: я, почесть, часъ ждалъ. На почтѣ пріема ужъ не было...

— Вѣдь я тебя прежде на почту послалъ!

— Я думалъ—по дорогѣ зайду прежде лучше къ портному...

И такъ на каждомъ шагу: какая-то страсть къ противорѣчіямъ!

Однажды, имѣя спѣшную работу — это было уже мѣсяца четыре спустя, какъ онъ поступилъ ко мнѣ,—я настрого велѣлъ ему никого не принимать въ теченіе нѣсколькихъ дней. Я слышалъ не разъ звонокъ: приходили, онъ отказывалъ, подавалъ потомъ мнѣ карточки—все какъ слѣдуетъ.

Но вдругъ слышу однажды онъ кого-то усердно проситъ. «Пожалуйте, дома-съ!»—говоритъ.

Я съ изумленіемъ жду. Входитъ одинъ скучный, болтливый господинъ, котораго я и въ свободное время избѣгалъ. Когда онъ ушелъ, я спросилъ Матвѣя, почему онъ, несмотря на мое приказаніе, принялъ гостя?

— У него двѣ звѣзды на обѣихъ грудяхъ: какъ же этакаго барина не принять: онъ «винералъ!»—оправдывался Матвѣй. Генераловъ онъ называлъ «винералами» и питалъ къ нимъ какое-то суевѣрное почтеніе, или боялся, какъ большихъ собакъ, Богъ его знаетъ!

Послѣ того пропустилъ нѣсколько человѣкъ въ теченіе двухъ-трехъ дней. Я работалъ въ тишинѣ неутомимо, никто не мѣшалъ. Вдругъ опять слышу однажды громкій звонокъ, въ самый разгаръ моей работы, и опять приглашеніе Матвѣя: «Дома-съ, пожалуйте!»

Раздался шумный шелестъ женскаго платья, точно вѣтеръ пробѣжалъ по лѣсу, влетѣла барыня, frou—frou, и разсѣлась, закрывъ юбками весь диванъ.

— Что вы тутъ дѣлаете,—такая погода, а вы сидите за работой! Бросьте, бросьте!—зачастила она.—Я пріѣхала похитить васъ; дачу ѣду смотрѣть: поѣдемте, поѣдемте безъ отговорокъ!

У меня утро пропало. Я, какъ только воротился, сейчасъ обратился съ вопросомъ къ Матвѣю, зачѣмъ онъ принялъ гостью?

— Барыня! — говорилъ онъ въ свое оправданіе:—я думалъ, какъ бы вы не разгнѣвались, если не приму...

— Наканунѣ, однако, ты не принялъ одной барыни: зачѣмъ же эту пустилъ? Кто тебѣ позволилъ?—строго приставалъ я.

— Та, баринъ, пѣшкомъ приходила, одѣта не важно: я думалъ, на бѣдность просить пришла... боялся, вамъ убытокъ будетъ—и не принялъ...

— Вѣдь тебя твой баринъ, пожалуй, побилъ-бы за это непослушаніе, какъ ты думаешь?—спросилъ я.

Онъ горестно вздохнулъ.

— Голову бы проломилъ,—съ жалкой улыбкой отозвался онъ.

— Зачѣмъ же не слушаешься: принялъ барыню!

— Да у ней, баринъ, на козлахъ кучеръ въ ливреѣ сидитъ и по-русски не говоритъ: англичанинъ, что-ли, какой... Я и подумалъ, какъ не принять!

Я сталъ привыкать и къ этой новой чертѣ. Но вотъ къ чему нельзя было привыкнуть — это къ его аккуратности. Дашь ему рублей десять, двадцать, на расходы: чай, сахаръ, булки, сливки и прочее. Когда деньги израсходуются, онъ является ко мнѣ съ запачканнымъ листкомъ на сѣрой бумагѣ, гдѣ все записано до послѣдней мелочи, и требуетъ, чтобъ я повѣрилъ. Тутъ же принесетъ и остатокъ, какой-нибудь двугривенный, или мѣдныя. При этомъ никогда не преминетъ помянуть, что̀ стало дороже, что̀ дешевле.

— Сахаръ двумя копейками на фунтъ дешевле, баринъ!— съ сіяющими глазами скажетъ, или, наоборотъ, съ уныніемъ объявитъ, какъ о сердечной утратѣ:—на черный хлѣбъ, баринъ, копейку набавили!

Онъ переносилъ все: и побои своего барина, терпѣлъ постоянную голодуху, падалъ силами отъ работы, но не

падалъ духомъ. Только страхъ «убытковъ» превозмогалъ въ немъ все.

Я дѣлалъ видъ, будто просматриваю счетъ, потомъ дамъ опять денегъ, а счетъ брошу тихонько подъ столъ. Но онъ замѣтитъ, достанетъ его и тихонько же подложитъ ко мнѣ въ бумаги, пока я не разорву.

Иногда вдругъ онъ суетъ мнѣ подъ носъ 10 или 20 копеекъ. «Это лишекъ—скажетъ:—въ прошломъ счетѣ ошибкой два раза записано у меня за однѣ булки, такъ вотъ извольте...»

Взглядывая иногда мелькомъ въ эти счеты—я не могъ воздержаться отъ улыбки отъ его орѳографіи, а онъ принималъ эту улыбку за одобреніе и тоже улыбался отъ удовольствія. Орѳографія эта была своеобразная. Онъ признавалъ буквы *ѣ* и *ы*, но никогда не употреблялъ ихъ гдѣ надо: напримѣръ, писалъ «свѣкла», «смѣтана», «свечы», а слова «хлѣбъ», «хрѣнъ» писалъ «хлеб», «хрен» и т. п. Букву *ъ* онъ считалъ, кажется, совершенно лишнею, или «игнорировалъ», какъ говорятъ у насъ печатно нѣкоторые... знатоки французскаго языка.

Иногда Матвѣй лѣзъ ко мнѣ съ этими счетами среди занятій. Я молча смахивалъ со стола и счетъ, и мелочь, и взглядывалъ на него, должно быть, звѣроподобно, потому что онъ тотчасъ со вздохомъ удалялся къ себѣ.

Онъ жилъ у меня уже года два—и я все болѣе и болѣе успокоивался. Онъ былъ вѣрнымъ моимъ, хотя и смѣшнымъ хранителемъ и опорою моего холостого гнѣзда. Мои гости тоже привыкли къ нему и только улыбались, глядя на него, и особенно на его длинный, сѣрый сюртукъ. Я ему отдавалъ всѣ свои платья, но никогда не видалъ, чтобъ онъ носилъ какое-нибудь изъ нихъ. Куда онъ ихъ дѣвалъ, я не зналъ и теперь не знаю. Я настоялъ, послѣ упорной борьбы, на одномъ, чтобъ онъ при гостяхъ иначе не входилъ въ комнаты, какъ въ черномъ, почти новомъ

сюртукѣ, который я подарилъ ему, вмѣстѣ съ панталонами, галстуками—и даже далъ перчатки, чтобъ подавать чай. Насилу я добился этого. Но когда онъ одѣлся во все это, я долженъ былъ сознаться, что онъ сталъ еще смѣшнѣе.

Были въ немъ еще нѣкоторыя, несвойственныя ему, такъ сказать, эпизодическія черты, какъ-то мало идущія къ его измученному, больному организму. Это были какія-то шаловливыя, почти ребяческія выходки, но онѣ мгновенно, гальванически, пробуждали тлѣвшую въ больномъ тѣлѣ искру жизни и тоже превращали этотъ ходячій трупъ—въ живое, прыгающее, скачущее, какъ обезьяна, существо.

Бывало онъ, когда я одѣваюсь, держитъ передо мной сапоги, или полотенце, или готовится подать сюртукъ, или несетъ подносъ съ завтракомъ—словомъ въ полномъ отправленіи своей обязанности, и вдругъ услышитъ ударъ барабана съ улицы, проходящую мимо музыку,—онъ мгновенно бросаетъ все, что у него въ рукахъ, и исчезаетъ. Я только слышу стукъ будто катящихся съ лѣстницы каменьевъ—это его убѣгающихъ ногъ. Я остаюсь съ однимъ сапогомъ въ рукѣ, или съ намыленной щекой и жду.

Окликнуть его, воротить — былъ бы напрасный трудъ: онъ, какъ испуганная, закусившая удила лошадь, ничего не видитъ и не слышитъ. Минутъ черезъ десять онъ возвращается, почти всегда сіяющій, удовлетворенный. — «Винерала» (т.-е. генерала) или князя такого-то везутъ хоронить, донесетъ онъ и разскажетъ, какой полкъ шелъ провожать, или «антирерія», кто ѣхалъ верхомъ, кто шелъ пѣшкомъ, сколько каретъ было и т. д.

Я пробовалъ сердиться, увѣщавать—ничего не помогало. Заиграетъ завтра музыка, онъ опять исчезаетъ. Однажды онъ такъ же исчезъ, хотя и музыки не было. Но у него былъ такой чуткій слухъ, что онъ мигомъ схватывалъ ухомъ всякое необычное движеніе или звукъ, шумъ на

улицѣ, или на дворѣ. Онъ прибѣжалъ все-таки сіяющій, потому что какое-то зрѣлище было, но и съ недоумѣніемъ на лицѣ.

— Что тамъ такое случилось? — спросилъ я: — и зачѣмъ ты бросился, какъ мальчишка?

— Арестантовъ казнить повезли! — выпалилъ онъ, сіяя отъ новости небывалаго случая.

Я смотрѣлъ на него, не сошелъ ли онъ съ ума.

— Какъ казнить? Какихъ арестантовъ? Что ты городишь!

— Правда, баринъ; жандармы, казаки, полиція съ ними, а они въ зеленыхъ каретахъ ѣдутъ... женщины кучей идутъ за каретами, все сморкаются, потому плачутъ: жалко мужей, сыновьевъ...

Это оказалось отчасти правда. Дѣйствительно, по Литейной улицѣ провезли партію осужденныхъ, только не на казнь, какъ говорилъ Матвѣй, а просто ссыльныхъ.

Еще другое обстоятельство вызывало жизнь въ моемъ мертвенно-блѣдномъ слугѣ. Это ловля воровъ и расправа съ ними. Никогда, ни въ какомъ охотникѣ, ни прежде, ни послѣ, мнѣ не случалось замѣчать такой лихорадочной страстности въ погонѣ за самой интересной дичью, какъ у Матвѣя за ловлей воровъ, и главное—за битьемъ ихъ.

Не разъ онъ, сіяющій, блещущій жизнью, какъ внезапно расцвѣтшій цвѣтокъ, доносилъ мнѣ, что въ домѣ, иногда по сосѣдству, поймали гдѣ-нибудь на чердакѣ, въ подвалѣ, или застали въ квартирѣ, или въ лавкѣ, вора.

— Что же, въ полицію отвели? — спрашивалъ я равнодушно.

— Нѣтъ, баринъ, какъ можно: изъ полиціи его завтра выпустятъ. Нѣтъ, мы сами его отколошматили: будетъ помнить!

— «Мы»: да развѣ ты былъ тамъ?

— Какъ же-съ, баринъ, былъ! — одушевленно, скорого-

воркой, добавлялъ онъ, показывая десны. — Какъ только дворники схватили, я, почесть, первый прибѣжалъ и помогалъ держать. Славно «наклали» ему: въ кровь все лицо!

— И ты билъ?—спросилъ я, самъ боясь отвѣта.

— Самую малость, баринъ: я больше за шею его держалъ, за галстукъ, вотъ такъ, чтобъ не убѣгъ!

— И тебѣ не стыдно, не грѣхъ?—наступалъ я на него.

— А онъ зачѣмъ чужое беретъ, баринъ? Какой «убытокъ» тому, кого обокралъ! Такъ ему и надо!—энергически подтверждалъ онъ.

Случилась такая ловля однажды на дачѣ, на Выборгской сторонѣ. Я занималъ съ однимъ пріятелемъ верхъ на дачѣ протоіерея, а хозяинъ съ семействомъ жилъ внизу. Домъ стоялъ среди густого сада. У насъ вверху было четыре комнаты и въ сторонѣ особое помѣщеніе для Матвѣя.

Мы съ пріятелемъ сидѣли однажды у длиннаго стола, передъ открытымъ окномъ, въ темную ночь, въ концѣ августа. Въ домѣ и въ саду была безмятежная тишина. Хозяинъ отбывалъ въ городѣ свою очередную недѣлю. Семейство было съ нимъ, и домъ былъ пустъ.

Я читалъ, сожитель мой сидѣлъ за казенными бумагами. Ночь тихая, ни зги не видать. Только я вижу, пріятель мой пристально всматривается во что-то изъ окна въ темноту. Наконецъ спрашиваетъ кого-то:

— Что ты тутъ дѣлаешь? Что тебѣ нужно? Зачѣмъ ты влѣзъ на дерево?

— Съ кѣмъ вы разговариваете?—спросилъ я.

— Да вотъ кто-то на деревѣ сидитъ.

Я выглянулъ въ окно и ничего не могъ разглядѣть.

Но этотъ разговоръ моего пріятеля съ кѣмъ-то въ темнотѣ и мои вопросы уже разбудили вниманіе Матвѣя. Онъ почуялъ что-то необычное.

— Воръ, воръ! — проговорилъ онъ, вихремъ мчась мимо насъ, почти неодѣтый, въ рубашкѣ, съ накинутымъ сверху

своимъ сѣрымъ сюртукомъ, затопалъ по лѣстницѣ и скрылся въ саду.

Я шутилъ надъ моимъ сожителемъ, обратившимся къ вору съ вопросомъ: «зачѣмъ онъ влѣзъ ночью на дерево и что тамъ дѣлаетъ?»

Черезъ добрые полчаса вернулся Матвѣй, радостный, торжествующій, и донесъ, что вправду воры были. Онъ разбудилъ сторожа, двухъ садовниковъ—и всѣ погнались за ворами, но двое убѣжали, а третій зацѣпился полой за плетень и былъ ими захваченъ.

— Что же вы?—спросилъ я.

— «Наклали» порядкомъ! — хвастался онъ: — будетъ помнить! Какъ выпустили, такъ и бѣжать не могъ... Идетъ по переулку, да проситъ: «отпустите, Христа ради!» А мы идемъ, да кто его въ шею, кто по скулѣ...

Онъ показывалъ какъ били.

— И ты тоже?—спросилъ я съ омерзѣніемъ.

— Нѣтъ, баринъ, я только за шиворотъ его крѣпко держалъ и велъ, а вотъ сторожъ, тотъ больно билъ...

— И тебѣ не грѣхъ это?

— Они, баринъ, собирались у насъ внизу всю дачу обокрасть: тутъ и тачка у нихъ была припасена... изъ сосѣдняго сада взяли, и мѣшки принесли... Если бъ обокрали дачу, на сторожа подумали бы... Ему досталось бы. Попъ-то строгій, скупой... Какой ему убытокъ!

Пріятель мой засмѣялся.

— Какой смѣшной этотъ Матвѣй!—сказалъ онъ.

А мнѣ онъ казался нераздѣльно — и смѣшной, и жалкій, а въ этой ловлѣ воровъ отчасти и гадкій.

Шли годы. Я жилъ точно семейный: безопасно, уютно, не заботясь о цѣлости своего гнѣзда и добра, и благословлялъ случай, пославшій мнѣ такого друга — слугу. Да, друга, потому что въ немъ обнаруживались признаки, хотя рабской, т.-е. лакейской, оставшейся отъ крѣпостного

права, но живой преданности ко мнѣ и къ моимъ интересамъ, матеріальнымъ разумѣется. Другіе интересы были не по его разумѣнію, и онъ въ нихъ не могъ входить. Ему, напримѣръ, непонятно было, какъ это я, сидя за «книжкой», или за какой-нибудь «бумагой», могу пренебрегать его «ерестромъ», или счетомъ изъ лавокъ, гдѣ забрано разнаго товара рублей на двадцать, и не отрывая глазъ отъ книги, рву счетъ и бросаю подъ столъ, а сдачу, иногда 20—30 копеекъ, смахиваю ладонью со стола, какъ соръ! Убытокъ!

Еще онъ частенько надоѣдалъ мнѣ, кромѣ своего упрямства и подачи счетовъ, тѣмъ, что старался втягивать меня въ интересы своей наживы или копленья денегъ. Нѣтъ, нѣтъ, да вдругъ явится съ золотыми часами и цѣпочкой спрашивать, можно ли дать «подъ нихъ» 25 или 30 рублей. Стоятъ ли они того? Не то принесетъ брошку съ каменьями.

— Баринъ, стоитъ ли брошка 75 рублей? Клара проситъ подъ нее 30 рублей на три мѣсяца?

Клара — это какая-то жилица того же дома, гдѣ жилъ и я — жившая, по словамъ Матвѣя, богато. Я ее никогда не видалъ.

Я забылъ сказать, что у него была цѣлая кладовая разнообразныхъ предметовъ, напримѣръ, шубъ, женскихъ платьевъ, офицерскихъ пальто, лисьихъ салоповъ, бархатныхъ мантилій, развѣшанныхъ по стѣнамъ его комнаты и по коридору, тщательно прикрытыхъ простынями, частью лежащихъ на полкахъ, иногда на полу. То англійское сѣдло высовывается изъ-подъ кровати, то пара пистолетъ виситъ на гвоздяхъ. Золотыя и серебряныя вещи онъ хранилъ — кажется — въ моихъ шкапахъ съ платьемъ и посудой.

Онъ принялъ за какое-то роковое правило тащить ко мнѣ и показывать всякую закладываемую ему вещь.

— Можно ли, баринъ, дать за эту шаль 25 р.: говорятъ, она стòитъ 100 рублей?—спрашивалъ онъ.

Или: «Вотъ просятъ 70 рублей подъ эту шубу: соболья ли она, не крашеная ли? Можно ли дать до зимы? Зимой хотѣли выкупить!» и т. д. Такъ, что я приблизительно зналъ, чтò у него хранится подъ залогомъ.

На его стереотипные вопросы о стоимости вещей, получался мой стереотипный отвѣтъ: «Пошелъ вонъ, не мѣшай!» Или: «Я твои вещи въ форточку выкину, если станешь приставать!»

Но, несмотря на мой, въ нѣкоторомъ родѣ, собачій отвѣтъ, черезъ день, черезъ два, его вопросы повторялись, и мои отвѣты тоже.

— Ты, вѣдь, незаконное дѣло дѣлаешь,—говорилъ я ему не разъ: — на право давать въ ссуду деньги подъ закладъ надо имѣть особое свидѣтельство! Кромѣ того, тѣ, которые берутъ у тебя деньги, могутъ подумать, что и я съ тобой участвую въ этомъ дѣлѣ, или покрываю тебя. Вѣдь это гадость!

Онъ какъ будто немного терялся.

— Этого никто не знаетъ: я по знакомству даю, жаловаться никто не пойдетъ, — торопливо, шопотомъ оправдывался онъ. — И господа это дѣлаютъ, тихонько, черезъ человѣка. Въ Гороховой одинъ баронъ этимъ занимается: онъ «винералъ», а потихоньку, черезъ своего камердинера, даетъ взаймы подъ залогъ. Говорятъ, въ годъ тысячъ шесть наживаетъ! — съ восторженнымъ ужасомъ добавилъ онъ. — У него страсть сколько денегъ!

— Вотъ видишь, про него уже говорятъ, а я не хочу, чтобъ, по твоей милости, даже подумали на меня! Ты, Матвѣй, лучше прекрати эту наживу, а то я, пожалуй, побоюсь держать тебя: это гадость!

— Это не грѣхъ, баринъ: и нашъ ксёндзъ — я исповѣдался ему — сказалъ: «ничего, говоритъ, если не жмешь

очень! Только на церковь не жалѣй!» Я, что же, самую малость беру: 2% въ мѣсяцъ и впередъ вычитаю только половину.

— Вотъ ты какой!

— Да-съ, это немного: другіе сто на сто берутъ. Одинъ купецъ—онъ торгуетъ въ лавкѣ, и деньги тоже даетъ...

Я махнулъ ему рукой, чтобъ шелъ вонъ.

— У меня ужъ опять четыреста накопилось! — торжествующимъ шопотомъ прибавилъ онъ, уходя.

Вниманіе его ко мнѣ, заботливость о моемъ спокойствіи и добрѣ, его неподкупная честность—онъ, несмотря на жадность, не продалъ бы меня ни за какіе милліоны — потомъ его трезвость и аккуратность—все это, если не привязывало, то располагало меня къ нему и заставляло дорожить имъ. Потеряй я его, онъ былъ бы незамѣнимъ.

Однако, я чуть-было не лишился этого примѣрнаго слуги. И это по милости праздниковъ. Праздники, конечно, святое дѣло, но вмѣстѣ съ тѣмъ и великое зло для Руси. Святые дни омрачаются такою тѣнью, позорятся такою грязью, какой не смоютъ никакія молитвы и посты. Это всѣ знаютъ— и всѣ покорно несутъ добровольное иго.

Однажды наступала Пасха. Я замѣтилъ еще на Страстной недѣлѣ какую-то особую суетливость и оживленіе у Матвѣя. Онъ куда-то уходилъ, что-то приносилъ, опять уходилъ: я постоянно слышалъ его скаканье по лѣстницѣ. Постъ онъ держалъ, не только католическій, но строже православнаго: буквально ничего не ѣлъ. Пилъ только послѣ меня чай съ булкой.

— Что ты суетишься?—спросилъ я его.

— Окорочекъ купилъ, далъ запечь, и пасху тоже заказалъ на томъ дворѣ повару «винерала» такого-то. Можетъ, баринъ, откушаете моей пасхи и окорочка!

Я далъ ему денегъ, чтобъ онъ купилъ и мнѣ яицъ, за-

казалъ куличей, пожалуй, пасху, чтобъ избавить его отъ «убытка».

— Куличъ, если приказываете, закажу, а пасхи моей покушайте!—почти умолялъ онъ. — Ветчина, колбаса и пирожокъ будетъ: и кумъ обѣщалъ придти. Вамъ не нужно заказывать: вы дома не кушаете!

— Да ты теперь, до Пасхи-то ѣшь: постъ для католиковъ не обязателенъ. Ты можешь ѣсть яйца, молоко... Смотри, на что ты похожъ!

— Не долго, два дня всего осталось!—отвѣчалъ онъ, обнажая десны.

Дѣйствительно, пасха его была хорошая, т.-е. менѣе запирающая горло, чѣмъ другія, и ветчина не совсѣмъ жесткая. Онъ былъ внѣ себя отъ радости, что я попробовалъ того и другого.

Въ праздники меня съ утра до вечера не бывало дома, и я не зналъ, что̀ онъ дѣлалъ. На четвертый день вотъ что̀ случилось.

Я, проснувшись, позвонилъ. Шнурокъ отъ звонка висѣлъ подлѣ моей постели. Матвѣй не являлся, по обыкновенію, на мой зовъ. Я думалъ, что онъ вышелъ куда-нибудь, и подождалъ немного, потомъ опять позвонилъ сильнѣе. Никого. Только до меня донесся какой-то стонъ, издали, казалось, со двора. Я не обратилъ на это вниманія и позвонилъ еще сильнѣе. Стонъ послышался явственнѣе, какъ будто у меня въ квартирѣ. Въ то же время что-то шелестило въ коридорѣ, кто-то будто медленно двигался. Я быстро вскочилъ съ постели, накинулъ шлафрокъ и ждалъ. Шелестъ приближался. Дверь медленно отворилась, и на фонѣ темноты явилась фигура...

Кто это: ужели Матвѣй?.. Нѣтъ, это... Лазарь, грядущій изъ гроба въ пеленахъ...

— Что̀ ты, что̀ съ тобой? — едва я могъ проговорить, охваченный ужасомъ.

— У...и...а...ю!..—стоналъ онъ, шатаясь, трясясь и держась за обѣ стѣны руками.

Губы у него не сжимались, отъ слабости онъ не могъ выговорить согласныхъ буквъ.

«Умираю» хотѣлъ онъ сказать и не могъ, и съ этимъ словомъ пошелъ-было къ себѣ, и тоже дойти не могъ. Я его довелъ, и онъ безъ чувствъ рухнулъ на постель. Я наскоро одѣлся и побѣжалъ вверхъ, къ доктору, который жилъ этажомъ выше, и иногда пользовалъ меня. Мы съ нимъ сбѣжали внизъ, подняли шторы, занавѣсы. Онъ осмотрѣлъ больного и нашелъ, что у него начало горячки, только не могъ еще рѣшить, какой горячки и отъ чего: простудился ли онъ, или отъ невоздержанія.

Обличители, то-есть «окорочекъ», пасха, колбасы, были отчасти тутъ, налицо. Я вкратцѣ объяснилъ доктору объ аскетическомъ воздержаніи Матвѣя и потомъ о розговѣньѣ.

— Я зайду ужо, послѣ обѣда, — сказалъ докторъ: — я нынче дежурный въ больницѣ. Если онъ разнеможется— ему здѣсь неудобно, тѣсно и воздуху мало, надо его къ намъ, въ палату...

— Ради Бога!—сказалъ я:—сдѣлайте все, докторъ, какъ для меня самого—ничего не жалѣйте!

— Будьте покойны, а покуда вотъ дайте ему принять это питье.—Онъ наскоро начертилъ рецептъ.—Въ пять часовъ я зайду, а теперь велю въ больницѣ оставить свободную кровать.

Между тѣмъ мы кое-какъ привели Матвѣя въ чувство. Увидя меня, онъ заплакалъ.

— Какое вамъ безпокойство, баринъ, я надѣлалъ! Господи!—стоналъ онъ, хватаясь за голову, за животъ.—Умираю, умру! Дворника бы ко мнѣ, Егора!—молилъ онъ.

Я сошелъ внизъ, отыскалъ Егора и привелъ, а самъ по-

шелъ въ аптеку, за лѣкарствомъ, купилъ мяты, гофманскихъ капель и того, что велѣлъ докторъ.

Дворникъ поставилъ самоваръ и по просьбѣ Матвѣя куда-то ушелъ. Оказалось, что Матвѣй, среди своей агоніи, позаботился опять-таки обо мнѣ.

Дворникъ привелъ какого-то, очень приличнаго молодого лакея, пріятеля Матвѣя, который соглашался на время заступить его мѣсто.

Послѣ обѣда докторъ осмотрѣлъ больного и рѣшилъ, что его надо перенести въ больницу. Боли въ животѣ не унимались, такъ же какъ и рвота и поносъ.

— Умру, умру!—стоналъ Матвѣй.

И когда заступившій его мѣсто человѣкъ пошелъ за извозчикомъ: перевезти его въ больницу, онъ подозвалъ меня къ себѣ, вытащилъ изъ-подъ тюфяка у себя пакетъ и, едва шевеля губами, говорилъ мнѣ чуть слышно:

— Здѣсь, баринъ, 443 р. — пересчитайте, спрячьте эти деньги, и когда я умру...

Онъ залился слезами.

— Перестань!—почти строго сказалъ я:—отъ чего умирать? Вздоръ какой! Объѣлся и умирать!

— Нѣтъ, баринъ, умру, охъ, охъ—у меня всѣ жилы тянетъ!..—Онъ хватался за животъ, за грудь.

— Что же съ деньгами дѣлать?—спросилъ я, пересчитавъ наскоро.

— Какъ умру... половину ксёндзамъ, баринъ, отдайте, на поминовеніе души... а другую... куму: онъ знаетъ...

Онъ схватилъ меня за руку, старался цѣловать, плакалъ, какъ ребенокъ. Къ вечеру его увезли и положили въ Маріинскую больницу, на Литейной. Я жилъ тогда рядомъ. ..

На другой день я пошелъ навѣстить его. Онъ плохо провелъ ночь, метался, бредилъ. Докторъ еще не могъ опредѣлить, какой оборотъ приметъ болѣзнь, выдержитъ ли го-

рячку его истощенный организмъ? Надъ кроватью его на дощечкѣ написано было: dyssenteria.

Я старался ободрить его, но онъ плакалъ, твердилъ, что умираетъ, просилъ прислать новаго человѣка, чтобъ разсказать ему, гдѣ что лежитъ, какъ надо мнѣ служить, что и когда подавать.

Я чуть самъ не заплакалъ отъ этой заботливости обо мнѣ въ его положеніи.

«Нѣтъ, онъ не смѣшной!» думалъ я, удерживая слезы.

Черезъ три недѣли онъ, блѣдный, шатающійся, пришелъ домой и, несмотря на мои увѣщанія, вступилъ въ должность, чтобъ избавить меня отъ «убытка» платить лишнее его замѣстителю. За эту «жадность» онъ поплатился вторичною болѣзнью: опять припадки, больница, лѣкарства. Онъ оправился совсѣмъ, когда уже наступило лѣто, съ ясной и теплой погодой.

Онъ жилъ у меня долго послѣ того, лѣтъ шесть, если не больше. Онъ снарядилъ меня и въ дальнее кругосвѣтное плаваніе.

Тонкость его вниманія ко мнѣ простиралась до мелочей. Корабль нашъ не сразу вышелъ въ море. Насъ, собиравшихся въ путь, созывали въ Кронштадтъ, и потомъ откладывали выходъ въ море на два, на три дня — и мы уѣзжали въ Петербургъ. Мой небольшой багажъ былъ уже на кораблѣ, и я поручилъ Матвѣю сдать мою городскую квартиру. Мебель моя и разныя вещи были отданы— теперь не помню кому. Оставался въ пустой квартирѣ одинъ Матвѣй.

Какую суету и усердіе выказывалъ онъ, когда я внезапно являлся, за отсрочкой отплытія, въ мои опустѣвшія комнаты! Онъ не допустилъ никоимъ образомъ, чтобъ я ночевалъ въ гостиницѣ. Онъ, Богъ его знаетъ, гдѣ и какъ, досталъ мнѣ постель, тюфякъ, подушки, одѣяло, даже принесъ откуда-то, какъ теперь помню, какую-то женскую гор-

ностаевую кацавейку, вмѣсто шлафрока, устраивалъ мнѣ ложе, поилъ утромъ и на ночь чаемъ, и съ тоскливой, жалкой миной, опять прощался со мною, такъ что я готовъ былъ заплакать. Но тутъ же онъ прибавилъ сквозь слезы:

— Я помолюсь за васъ, баринъ, и отца Іеронима попрошу помолиться, чтобъ воротились... здорово, благополучно... «винераломъ!»

Я проплавалъ два года, да возвращаясь Сибирью, ѣхалъ около полугода, и рѣками, и сухимъ путемъ, съ августа до февраля. Съ дороги, помнится изъ Казани, я писалъ друзьямъ въ Петербургъ, чтобы отыскали мнѣ квартиру, нашли какого-нибудь слугу и дали бы мнѣ знать въ Москву.

Это было въ 1855 году. Тогда уже открыта была николаевская желѣзная дорога. Я получилъ извѣстіе, что подходящая мнѣ квартира найдена на Невскомъ проспектѣ, съ обозначеніемъ № дома.

Не безъ волненія подъѣзжалъ я съ багажомъ, въ наемномъ экипажѣ, къ означенному дому, думая о томъ, сколько мнѣ предстоитъ хлопотъ устраиваться на новой квартирѣ, заводиться тѣмъ, другимъ — вмѣсто отдыха послѣ такого длиннаго пути!

Робко я позвонилъ у двери новой своей квартиры, сопровождаемый дворникомъ. Дверь отворилась и на порогѣ явился—Матвѣй!!

Я ахнулъ отъ изумленія, отъ радости.

— Баринъ! Баринъ!—оралъ во все горло, обнажая десны, Матвѣй, какъ будто кричалъ: «пожаръ! караулъ!» и бросился цѣловать мнѣ руки, плечи, смѣялся, скакалъ, рвалъ у дворника и у меня мѣшки, пледъ, вещи изъ рукъ.

— Все готово-съ, пожалуйте, баринъ! Богъ услышалъ мои молитвы—отецъ Іеронимъ... обѣдню ему закажу... И постель уже пятый день готова... дровъ купилъ... уголь, свѣчи... все есть... чай, сахаръ два фунта...

Проговоривъ все это скороговоркой, разинувъ ротъ, задыхаясь, онъ опять скакалъ около меня, буквально рвалъ съ меня платье.

— Успокойся, другъ мой!—просилъ я, но напрасно.

— Вещи гдѣ, чемоданъ, платье, бѣлье?..

— Тамъ, въ каретѣ все... дворники принесутъ, погоди!— унималъ я.

— Пойдемъ, пойдемъ, Василій!—тащилъ онъ дворника.

Насилу я могъ сунуть ему деньги заплатить за карету.

Все принесли. Черезъ часъ я уже сидѣлъ за чаемъ, въ своемъ креслѣ, съ сигарой — какъ будто никуда не выѣзжалъ.

А Матвѣй разбиралъ мое платье, бѣлье, разложилъ груды по стульямъ, столамъ, диванамъ.

Просто умилительно!

«Добрый, славный, честный, но и какой смѣшной Матвѣй!» думалъ я, глядя, какъ онъ суетится.

Не даромъ лакеи смѣялись надъ нимъ! Какъ же не смѣшной: не лжетъ, бережетъ и свои, и чужія деньги и все, что ему довѣряютъ, мало ѣстъ, не пьетъ вина, не обманываетъ, преслѣдуетъ воровъ, и не съ злобой, а съ сожалѣніемъ вспоминаетъ о побояхъ барина, да еще ищетъ свободы! Какъ же не смѣшной! Такимъ, глядя на него, и считаютъ его всѣ: но не замѣчаютъ въ немъ эти всѣ то несмѣшное, чего у нихъ самихъ нѣтъ, что свѣтится въ этомъ чахломъ, измученномъ тѣлѣ и неожиданными искрами прорывается наружу. Донъ-Кихотъ тоже былъ смѣшной!

Матвѣй разложилъ платье, бѣлье, вещи, конечно не на свои мѣста, руководствуясь не моими, а своими соображеніями. Но я просилъ его отложить все до утра. Утромъ, лишь только я всталъ, онъ явился... съ «ерестромъ» привезеннаго мною платья, бѣлья и вещей и со счетомъ купленнаго имъ къ моему пріѣзду сахару, чаю, дровъ и про-

чаго. «Хлеб», «свечы», «мило (мыло)» опять запестрѣли въ глазахъ.

— Дрова 75-ю копейками дороже прошлогодняго! — горестно замѣтилъ онъ. — Зато сахаръ и свѣчи дешевле,— прибавилъ онъ и просіялъ, суя мнѣ счетъ и «ерестръ».

Я въ отчаяніи всплеснулъ-было руками, потомъ расхохотался. И онъ показалъ десны.

— Ты все такой же, Матвѣй: неисправимъ!

Онъ стоялъ передо мной, все въ своемъ сѣромъ сюртукѣ, съ невозмутимымъ спокойствіемъ, но съ примѣсью тихой радости въ глазахъ, о томъ, что я опять у себя, а онъ у меня. Онъ, кажется, любовался мною.

— Тебѣ цѣны нѣтъ: знаешь ли ты, Матвѣй?

Онъ понялъ это буквально.

— Баринъ мой сбавилъ цѣну, соглашается теперь на пятьсотъ!—живо, захлебываясь отъ радости, сказалъ онъ.— Приказчику велѣлъ писать ко мнѣ, а я послалъ письмо, что скоро деньги вышлю... Четыреста у меня ужъ есть,—довѣрчиво, шопотомъ прибавилъ онъ:—мѣсяца черезъ три, Богъ дастъ, прикоплю и остальное.

— Какъ четыреста: вѣдь у тебя еще до моего отъѣзда была ужъ эта сумма! Теперь должно быть вдвое. Развѣ ты не копилъ безъ меня, или прожилъ?

Лицо у него помрачилось и приняло такой мертвый видъ, какого я и прежде не замѣчалъ.

— Тѣхъ денегъ ужъ нѣтъ, баринъ...—сказалъ онъ съ передышкой, глядя въ сторону.

— Куда же онѣ дѣлись: украли, что ли, воры были?

Онъ вдругъ ожилъ, десны показалъ.

— Никакъ нѣтъ, баринъ: куда ворамъ! Я бы изловилъ ихъ... и вотъ какъ...

Онъ показалъ руками, какъ бы онъ истерзалъ вора.

— Ногъ бы не унесли; не токма денегъ...

— Куда жъ онѣ дѣлись?

Онъ помолчалъ минуту.

— Кумъ пропилъ! — съ глубокимъ вздохомъ, зажмуривъ глаза, прошепталъ онъ.

— Пропилъ! Зачѣмъ же ты давалъ? Ты бы въ банкъ положилъ...

— Въ банкѣ нельзя держать: деньги часто нужно давать взаймы—куда въ банкъ бѣгать! Я и отдалъ куму на сбереженіе: они съ женой живутъ одни на квартирѣ, комната у нихъ не бываетъ пустая: то онъ, то жена всегда дома. У нихъ я и мои закладныя вещи держалъ. Только я да они двое и знали объ деньгахъ... Самъ я уголъ нанималъ; въ углу, извѣстно, баринъ, всякій народъ толчется... утащатъ. Я и отдалъ куму спрятать!..—прибавилъ онъ шопотомъ, съ тяжкимъ вздохомъ.—Онъ держалъ ихъ въ трубѣ въ горшечкѣ, чтобъ не замѣтили, да не украли—и все таскалъ, сначала понемногу, а потомъ взялъ все и мѣсяца три пропадалъ... все пилъ!

Опять глубокій вздохъ и изнеможенный видъ.

«Жалкій, жалкій!»—ворочалось у меня въ душѣ...

— Такъ и не отдалъ?—спросилъ я.

— Гдѣ отдать! Обнищалъ весь: я ему, какъ пришелъ, свои старые сапоги далъ, да отъ васъ панталоны оставались, нечего надѣть ему, отдалъ, деньгами тоже рубль далъ...—добавилъ онъ, закрывъ глаза.

— Какіе же это теперь у тебя четыреста рублей—гдѣ ты взялъ?

Онъ вдругъ ожилъ, глаза засвѣтились...

— Опять накопилъ, баринъ! — торжествуя, скороговоркою, обнажая десны, сказалъ онъ. — Дѣла шибко, хорошо пошли. Въ домѣ, гдѣ я жилъ, молодые господа были: вотъ они часто брали, проценты, какіе хочешь, давали. Иногда брали безъ залога и все отдавали аккуратно! Года въ полтора я все, почесть, воротилъ. Теперь опять много заложенныхъ вещей здѣсь у меня лежатъ...

Прошелъ съ годъ, Матвѣй мой сталъ поговаривать, что онъ хочетъ снять квартиру, пускать жильцовъ... Я съ болѣзненнымъ изумленіемъ взглянулъ на него.

— Ты хочешь покинуть меня!—почти горестно воскликнулъ я.

— Теперь нѣтъ-съ, нѣтъ!—заторопился онъ говорить: — а вотъ къ осени, баринъ, отпустите меня (это было въ апрѣлѣ)!..—Онъ такъ жалостно просилъ.—Къ осени приказчикъ мнѣ вышлетъ отпускную, когда я деньги пришлю въ контору, не всѣ, половину, а другую послѣ... У меня еще пятьсотъ останется,—таинственно прибавилъ онъ.

Я вздохнулъ.

— Что жъ дѣлать—простимся!—сказалъ я.

— Я вамъ другого поставлю, баринъ, такого же...

— Нѣтъ, Матвѣй, такого мнѣ не найти!

Тутъ онъ повѣдалъ мнѣ неожиданную вѣсть, что у него есть женщина на примѣтѣ и что она не прочь за него замужъ...

Я не дослушалъ и всталъ въ изумленіи съ креселъ.

— Ты... жениться хочешь?.. Неправда!..

Я не договорилъ и закатился хохотомъ.

И онъ показалъ десны.

— Правда, баринъ, правда... — заторопился онъ и будто застыдился.

— Ты—семейный человѣкъ, съ женой, съ дѣтьми...

Я опять захохоталъ.

— Богъ съ ними, съ дѣтьми! Какія, баринъ, дѣти: стану ли я такимъ пустымъ дѣломъ заниматься! Это баловство, тьфу!

Онъ пошелъ, плюнулъ въ уголъ и воротился.

— Она почти старушонка!—прибавилъ онъ.

— Тебѣ-то что за охота связать себя!

— У ней деньги есть,—шопотомъ говорилъ онъ: — говорятъ, за тысячу будетъ и больше, двѣ, можетъ-быть. Она знаетъ, что и у меня тоже есть... Мы будемъ вмѣстѣ дѣла дѣлать: снимемъ большую квартиру, кухмистерскую откроемъ,

жильцовъ пустимъ. Залу станемъ отдавать подъ свадьбы, подъ балы... Какъ наживемся—страсть! Вотъ, баринъ, безъ хозяйки этихъ дѣловъ нельзя дѣлать.

Осенью мы съ нимъ простились — оба съ сожалѣніемъ. Онъ дѣйствительно женился, открылъ заведеніе, столовую, приходилъ звать меня «откушать» его стряпни. Но я не былъ, а слышалъ отъ знакомыхъ, что кухня у него недурная и дѣла идутъ, хотя онъ еще не выкупился у барина. Залу снимали дѣйствительно подъ свадебные балы и ужины.

Въ Новый Годъ и Пасху онъ года три сряду являлся ко мнѣ, во фракѣ, въ бѣломъ галстукѣ, съ часами. Боже мой, какъ онъ былъ смѣшонъ! Когда я, по старой памяти, вынималъ изъ бумажника ассигнацію и хотѣлъ подарить «на красное яичко»—онъ, какъ раненый волкъ, отскочилъ и съ упрекомъ обращается ко мнѣ.

— Я не затѣмъ, баринъ, не затѣмъ. Боже оборони! Я молюсь за васъ... и никогда васъ не забуду!

«За что!» думалъ я, глядя на него, и со смѣхомъ, и со слезами.

Въ послѣдній разъ онъ пришелъ ко мнѣ, услыхавъ, что меня произвели въ чинъ. Какъ онъ вскочилъ ко мнѣ, какъ прыгалъ, какими сіяющими глазами смотрѣлъ на меня!

— Я вамъ говорилъ, баринъ, говорилъ: я зналъ, что будете «винераломъ»—я молился!—торопливо и радостно поздравлялъ онъ меня, цѣлуя въ плечо.

— Графомъ дай Богъ вамъ быть! — почти съ визгомъ произнесъ онъ, уходя.—Я помолюсь!

Очень сожалѣю, что я не дослужился до этого титула, хотя бы затѣмъ, чтобъ опять увидать Матвѣя (онъ бы прибѣжалъ, если живъ еще) и посмотрѣть, что онъ сдѣлаетъ, какъ будетъ прыгать и что скажетъ.

P. S. Я послѣ слышалъ, что Матвѣй откупился, внесъ деньги и получилъ отпускную, незадолго до Манифеста 19 февраля.

ПРЕВРАТНОСТЬ СУДЬБЫ.

Очеркъ.

(Посмертное произведеніе.)

I.

Въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія, по Варшавской дорогѣ, на перекладной телѣгѣ, подъѣхали къ заставѣ въ Петербургъ два путешественника. У шлагбаума, гдѣ была застава, одинъ объявилъ себя польскимъ помѣщикомъ Загруско, а другой отставнымъ штабсъ-ротмистромъ Леонтьемъ Хабаровымъ. Такъ писарь и записалъ ихъ фамиліи. Затѣмъ подняли шлагбаумъ и пропустили обоихъ.

Они остановились вмѣстѣ въ двухъ чистыхъ комнатахъ, гдѣ-то близъ Невскаго проспекта, и на другой день оба разошлись по своимъ дѣламъ.

Этотъ Хабаровъ служилъ въ военной службѣ въ Царствѣ Польскомъ, которымъ управлялъ тогда великій князь Константинъ Павловичъ. Отецъ привезъ Хабарова почти прямо изъ корпуса въ полкъ въ одну изъ мѣстностей царства, уже офицеромъ, отдалъ его на руки начальству полка, а самъ уѣхалъ, оставивъ сыну пятьсотъ рублей деньгами. Молодой Хабаровъ скоро свыкся въ полку со своими товарищами, другими офицерами, и производилъ также на начальство выгодное впечатлѣніе. Онъ былъ очень исправенъ

по службѣ: не гулялъ, не пилъ, словомъ былъ трезвымъ и исправнымъ офицеромъ. Годы между тѣмъ проходили, онъ привыкалъ все болѣе и болѣе къ дѣлу, въ очередь получилъ слѣдующій чинъ. Только денегъ у него было немного, вся бѣда заключалась въ томъ, какъ ни старался онъ сберегать данные ему отцомъ пятьсотъ рублей, жить этими деньгами и офицерскимъ жалованьемъ ему трудно было и въ деревнѣ даже, гдѣ стоялъ ихъ полкъ. Онъ сталъ ухитряться, какъ бы вести свои дѣла такъ, чтобы не затянуться въ долги и поддержать свое достоинство офицера. Для этого онъ купилъ за сто пятьдесятъ рублей, разумѣется, ассигнаціями, молодую лошадь, выѣздилъ ее отлично и сбылъ въ другой полкъ уже за тысячу рублей. Когда это удалось ему, черезъ нѣсколько времени онъ повторилъ опытъ, купилъ другую лошадь, выѣздилъ ее, какъ первую, и опять сбылъ. Такимъ образомъ дѣла его были въ хорошемъ положеніи. Онъ всегда былъ при деньгахъ, притомъ любимъ товарищами и уважаемъ начальствомъ.

Отецъ, кажется, забылъ о немъ. Онъ писалъ къ нему раза два, но отвѣта не получилъ никакого, и стороной узналъ, что старый Хабаровъ продалъ деревеньку и уѣхалъ въ Москву, гдѣ и умеръ, не оставивъ сыну ничего. Матери своей онъ лишился давно.

Молодой человѣкъ вздохнулъ раза три, утеръ украдкой слезу, навернувшуюся на глаза при печальномъ извѣстіи, махнулъ рукой и продолжалъ свое дѣло въ полку. Онъ служилъ усердно, узналъ толкъ въ лошадяхъ, выѣзжалъ ихъ, сбывалъ въ другіе полки и жилъ почти припѣваючи.

Такъ прошло года четыре. Онъ былъ уже поручикомъ и продолжалъ служить попрежнему.

Вдругъ великій князь потребовалъ ихъ полкъ, какъ и прочіе полки изъ провинцій въ Варшаву, на какой-то смотръ. Хабаровъ, какъ и другіе офицеры, старались не ударить себя лицомъ въ грязь: они усердно занимались выправкой

людей и лошадей, и готовились сами, чтобы достойно предстать предъ великаго князя.

Проведя нѣсколько дней въ Варшавѣ, они успѣли приглядѣться къ тамошнимъ порядкамъ и могли явиться на смотръ, совсѣмъ подготовленные. Великій князь остался очень доволенъ смотромъ. Когда Хабаровъ подъѣхалъ къ нему ординарцемъ, на прекрасно выѣзженной имъ самимъ лошади, молодецки отсалютовалъ саблей, великій князь, обращаясь къ его полковому командиру, бывшему въ свитѣ, сказалъ:

— Этого перевести въ Варшаву, въ мою гвардію.

Когда полковой командиръ объявилъ ему объ этой милости, надѣясь его обрадовать, онъ встрѣтилъ, къ удивленію своему, одно гробовое молчаніе офицера.

— Вы, кажется, Хабаровъ, не рады этому случаю?— спросилъ онъ.

— Какъ не радоваться: только жить мнѣ нечѣмъ будетъ здѣсь! Я бы попросилъ избавить меня отъ этой чести.

Полковой командиръ доложилъ объ этомъ великому князю. Послѣдовалъ приказъ выдавать Хабарову вдобавокъ къ жалованью по двѣсти рублей въ годъ. Это была бездѣлица при томъ образѣ жизни, какой нужно было вести въ Варшавѣ, въ столицѣ царства, гдѣ служба, обычай—было все другое, не такъ, какъ въ деревнѣ, гдѣ стоялъ ихъ полкъ.

Но надо было исполнить волю великаго князя, и Хабаровъ остался. Онъ промаячилъ еще кое-какъ года два, потомъ донесъ своему начальству, что онъ не можетъ существовать въ столицѣ, и просилъ уволить его отъ военной службы, для опредѣленія къ другимъ дѣламъ.

Великій князь, наконецъ, согласился. Кромѣ обыкновеннаго указа объ отставкѣ, онъ далъ ему свидѣтельство за собственноручной подписью въ томъ, что онъ своею службою и поведеніемъ заслуживаетъ полное одобреніе и можетъ исполнять всѣ возлагаемыя на него дѣла и порученія.

Снабженный этими документами, сколотивъ кое-какъ около тысячи руслей ассигнаціями, продажей между прочимъ своей лошади, взявъ свой мундиръ и вицмундиръ, данный ему при отставкѣ, вмѣстѣ съ чиномъ штабсъ-ротмистра, Хабаровъ изъ экономіи подыскалъ себѣ попутчика, и вмѣстѣ съ нимъ на почтовыхъ, въ перекладной телѣгѣ, пріѣхалъ, какъ сказано выше, въ Петербургъ.

II.

На другой день по пріѣздѣ, утромъ, Хабаровъ надѣлъ мундиръ и отправился къ одному изъ министровъ просить мѣсто городничаго, гдѣ-нибудь въ уѣздномъ городѣ. Онъ надѣялся, что его документы откроютъ ему двери повсюду. Онъ не ошибся. Министръ принялъ его очень любезно и адресовалъ его къ директору департамента, а директоръ позвалъ секретаря, велѣлъ ему разсмотрѣть документы Хабарова, и если тамъ не было дурной отмѣтки, записать его въ кандидаты на просимую должность. Оказалось, что онъ былъ четырнадцатымъ, чающимъ движенія воды. Его имя и адресъ записали и велѣли время отъ времени навѣдываться. Но и только.

Онъ пошелъ домой въ сильномъ раздумьи отъ этого перваго своего дебюта. Однакоже онъ не упалъ отъ этого духомъ и успѣлъ съ помѣщикомъ, съ которымъ пріѣхалъ и поселился вмѣстѣ, пообѣдать и даже въ театръ сходить, также посмотрѣть городъ, который онъ давно не видалъ.

Прошло дня два-три. Кто-то надоумилъ его просить или искать мѣста смотрителя какого-нибудь казеннаго заведенія. Онъ явился со своими аттестатами къ новому начальству, которое завѣдывало этими мѣстами. Но тамъ оказалась такая масса лицъ, желающихъ такихъ мѣстъ, что онъ не счелъ нужнымъ даже записаться въ кандидаты.

Наконецъ, по чьему-то совѣту, онъ обратился къ почтовому вѣдомству, выразивъ желаніе опредѣлиться почтмей-

стеромъ въ какой-нибудь уѣздный городъ. Но и тамъ не оказалось для него мѣста.

Недѣли черезъ двѣ онъ пришелъ освѣдомиться о мѣстѣ городничаго, но секретарь сказалъ ему, что съ тѣхъ поръ, какъ онъ записанъ, только двое поѣхали на открывшіяся вакансіи, и что число записанныхъ почти не уменьшилось, такъ что ему, Хабарову, мѣсяца три или четыре придется подождать.

Хабаровъ сильно затосковалъ. Онъ наконецъ понялъ, что и съ отличными документами можно просидѣть безъ дѣла и безъ куска хлѣба. Тогда ему предложили поискать частныхъ занятій и указали мѣста два или три.

III.

Онъ явился къ одному богатому человѣку, который только-что купилъ домъ и искалъ управляющаго. Онъ показалъ ему книги, росписаніе квартиръ и цѣны этимъ квартирамъ, какія изъ нихъ въ настоящее время заняты, какія пустыя, сколько казоннаго долга числится на домѣ и прочее.

— Разберите все это,—сказалъ онъ:—и приведите въ порядокъ! Я купилъ домъ и не могу одинъ сообразить ни доходу, ни того, кто мнѣ долженъ, кто заплатилъ за квартиру, кто нѣтъ, ничего! Все это есть въ этихъ бумагахъ. Потомъ надо осмотрѣть квартиры отъ чердаковъ до подваловъ. Завтра мы объ этомъ поговоримъ.

Хабаровъ взялъ всѣ бумаги къ себѣ и разобралъ ихъ на досугѣ и по возможности привелъ въ порядокъ. На другой день онъ пошелъ осматривать квартиры, потомъ чердаки и подвалы и нашелъ въ этихъ послѣднихъ помѣщеніяхъ много хламу, ненужныхъ вещей и вообще большой безпорядокъ. При осмотрѣ пострадалъ его вицмундиръ. Когда онъ лазилъ, то вынесъ на себѣ пыль, соръ и всякую дрянь.

Онъ принялся прежде всего за дворниковъ и велѣлъ

одному изъ нихъ стоять у воротъ по-очереди, а другихъ заставилъ сносить съ чердаковъ ненужныя вещи въ пустую кладовую. Онъ занималъ этихъ людей дня три-четыре. Двоихъ, которые изъ-за пьянства не явились къ дѣлу, онъ прогналъ и вмѣсто нихъ взялъ новыхъ. Потомъ обошелъ всѣхъ жильцовъ, которые не внесли за квартиру, потребовалъ съ нихъ денегъ, чѣмъ вдругъ нажилъ себѣ много враговъ.

Въ домѣ про него говорили, что новая метла всегда хорошо мететъ, оттого-де управляющій такъ и старается. Но прошло пять, шесть недѣль, Хабаровъ не только не унимался, но усердствовалъ все болѣе и болѣе, за всѣмъ смотрѣлъ зорко и постоянно занималъ работой дворниковъ, такъ что они плевали на все и уходили въ кабакъ, лишь только управляющій куда-нибудь отлучался. Онъ добывалъ ихъ и тамъ, и такъ надоѣлъ всѣмъ въ домѣ, что его возненавидѣли и стали жаловаться на него хозяину дома.

Сначала хозяинъ не слушалъ и только смѣялся надъ жаловавшимися и одобрялъ распоряженія управляющаго. Но наконецъ все это до того надоѣло ему, что онъ рѣшился, или какъ-нибудь помирить этого черезчуръ усерднаго управляющаго съ врагами его, или пожертвовать управляющимъ:

«Не гнать же изъ-за него всѣхъ жильцовъ!» думалъ онъ.

— Вы отлично распоряжаетесь! — сказалъ онъ, пригласивъ Хабарова къ себѣ.—Но войдите и въ мое положеніе: не проходитъ дня, чтобы кто-нибудь на васъ не пожаловался!

Онъ засмѣялся.

Хабарову было не до смѣха, онъ принужденно улыбнулся и сказалъ:

— Ну, тогда увольте лучше меня.

— Нѣтъ, зачѣмъ же? Посмотримъ, что̀ будетъ дальше!— улыбаясь сказалъ хозяинъ.

И оставилъ пока его.

Прошло еще недѣли двѣ. Вдругъ въ домѣ сдѣлался от-

чего-то пожаръ, такъ что Хабаровъ успѣлъ только спасти вицмундиръ, бѣлье, немного денегъ и документы по дому. Все же остальное, въ томъ числѣ мундиръ его тоже, сгорѣло.

Когда прискакала пожарная команда, флигель, гдѣ онъ жилъ, былъ уже объятъ пламенемъ. Огонь скоро успѣли потушить, но дворниковъ не оказалось налицо: всѣ они разбѣжались еще до пожара, и въ домѣ были смутные слухи о поджогѣ...

На другой день хозяинъ его пригласилъ къ себѣ.

— Я знаю, что вы не виноваты, — сказалъ онъ: — всѣ думали, что вы новая метла, а вы исправный и честный человѣкъ, оттого всѣ и напали на васъ и чуть-было не сожгли, какъ не даромъ говорятъ въ домѣ. Тутъ надо не такого человѣка, какъ вы, а собаку! Такого я и сыщу! А пока прощайте и извините меня! Вотъ вамъ заработанные вами сто рублей.

Хабаровъ съ тѣмъ, что у него осталось, печально вернулся домой. Онъ прежде жилъ, гдѣ-то на хлѣбахъ у хозяйки, и занималъ небольшой уголокъ. Теперь, послѣ пожара, вернулся къ ней же. Взятыя имъ изъ Варшавы деньги были израсходованы и жить приходилось трудомъ. На квартирѣ теперь стояла его кровать и единственный столъ и стулъ, на которомъ онъ помѣстилъ другую пару бѣлья, а на стѣнѣ рядомъ повѣсилъ, снявъ съ себя, свой вицмундиръ и фуражку съ своими документами.

— За что же уволилъ васъ отъ должности этотъ баринъ?—спросила его хозяйка.

— За что? За исправность! — со вздохомъ сказалъ онъ, и погрузился въ уныніе.

Однажды, когда онъ особенно былъ задумчивъ и не въ духѣ, хозяйка его сказала ему, что одинъ купецъ ищетъ себѣ на пристань у Смольнаго приказчика за 25 рублевъ въ мѣсяцъ, такъ не пойдетъ ли онъ къ нему? «Ему, дескать, нуженъ честный человѣкъ!»

На другой день онъ пошелъ къ этому купцу, по прозванью Сивкову, которому показалъ свои документы. Тотъ принялъ его и сказалъ, что онъ радъ имѣть дѣло съ «благороднымъ» человѣкомъ, ему-де такой нуженъ, а то все «плуты да мошенники!» Онъ поставилъ его въ амбарѣ у Смольнаго, куда съ барокъ складывали кули муки, а оттуда, подъ присмотромъ приказчика, развозили ихъ купцамъ, забиравшимъ хлѣбъ у Сивкова.

Сначала все шло какъ по маслу. Возы брали изъ амбара кули и отвозили купцамъ, а Хабаровъ отмѣчалъ число кулей, записывалъ въ тетрадь и отдавалъ ее каждый день хозяину. Такъ прошло недѣли три-четыре, пріѣхали отъ какого-то купца нѣсколько возовъ, взяли около сотни кулей и уѣхали. Хабаровъ отмѣтилъ число кулей въ своей тетрадкѣ и, по обыкновенію, отдалъ ее хозяину. Но купецъ, на котораго показали подводы, забравшія кули, отозвался, что онъ никакихъ кулей не требовалъ и за ними подводъ не посылалъ. Оказалось, что мужики съ подводами были сами по себѣ и замѣтивъ, что разсылкой кулей распоряжался не ихъ братъ-мужикъ, а «благородный», рѣшили понадуть его и показали на купца облыжно, а мукой воспользовались въ свою пользу. Хабаровъ ихъ въ лицо не зналъ и отпустилъ довѣрчиво кули. Удивленные хозяинъ и купецъ, на котораго показали мужики, приступили къ нему съ вопросами. Онъ не могъ указать подводы, потому что не зналъ въ лицо ни купца, ни мужиковъ.

— Вотъ что, ваше благородіе, нашъ-то простой человѣкъ, приказчикъ, запримѣтилъ бы этихъ самыхъ мужиковъ въ лицо и что они не тово... не отъ хозяина пріѣхали, а сами по себѣ. При этомъ купецъ не то крякнулъ, не то вздохнулъ.—Я сыщу этихъ самыхъ возчиковъ, а вы намъ не рука! — прибавилъ онъ. — Вотъ вамъ пятьдесятъ рублевъ, что вы зажили у насъ! Богъ съ вами, намъ такихъ не надо!

Купецъ выдалъ ему рублей пятьдесятъ ассигнаціями и разстался съ нимъ.

Хабаровъ пришелъ домой совсѣмъ разстроенный своею неудачей.

— Что жъ стало съ вами?—спросила его хозяйка, когда онъ не пошелъ къ своему дѣлу, ни завтра, ни послѣзавтра.— За что жъ этотъ купецъ отказалъ вамъ?

— За неисправность! — съ горькой усмѣшкой отвѣчалъ Хабаровъ.

— Охъ, вы, сердешный!—сказала добрая женщина.

Дня черезъ три онъ пошелъ навѣдаться о мѣстѣ городничаго или исправника, потомъ почтмейстера, потомъ смотрителя казеннаго дома. Но вездѣ былъ принятъ сухо, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ швейцары не допустили его даже до пріемной, видя его потертый вицмундиръ, и грубо ему отказывали.

— Вамъ сказано, чего жъ вы лѣзете!—сказалъ одинъ.

— Много васъ этакихъ шляется!—отвѣчали въ другомъ мѣстѣ на его смиренный вопросъ.

Онъ вздохнулъ и пошелъ далѣе.

На другой день онъ пробрался въ Казанскій соборъ и помолился тамъ Божіей Матери, потомъ вышелъ и машинально сталъ смотрѣть, какъ на Екатерининскомъ каналѣ воротомъ тащили большой камень на пьедесталъ какого-то монумента. Не извѣстно сколько времени онъ простоялъ въ грустномъ раздумьѣ. Приказчикъ въ синей сибиркѣ вдругъ пригласилъ его занять пустое мѣсто и вмѣстѣ съ другими тянуть канатъ.

— Что такъ-то стоять да зѣвать: принимайся-ка за дѣло!—промолвилъ онъ:—получишь рубль въ сутки, на полу не поднимешь.

«Видно, въ самомъ дѣлѣ я обносился!» подумалъ Хабаровъ: «и мой вицмундиръ не спасаетъ меня отъ обидъ!»

Постоявъ еще немного, онъ молча всталъ у шпиля на

пустое мѣсто и вмѣстѣ съ другими потянулъ лямку... На другой день раннимъ утромъ онъ пришелъ на ту же работу и всталъ къ шпилю вмѣстѣ съ другими. На третій, на четвертый день то же, и такъ онъ проработалъ дней двѣнадцать, доставивъ ту же работу проживавшему вмѣстѣ съ нимъ у той же хозяйки какому-то Штукину. Но этотъ, однакоже, не всякій день аккуратно являлся къ Казанскому мосту, а заработавъ небольшія деньги, предавался любимому занятію—пьянству.

Проработавъ дней двѣнадцать, Хабаровъ захотѣлъ наконецъ отдохнуть, тѣмъ болѣе, что отъ непривычнаго труда на шпилѣ ладони у него покрылись мозолями.

IV.

День былъ солнечный, ясный. Купивъ ситнаго хлѣба и нѣсколько печеныхъ яицъ, Хабаровъ вышелъ за городъ и, пройдя нѣсколько верстъ, сѣлъ на траву на краю канавы и сталъ завтракать, чѣмъ Богъ послалъ. Утоливъ немного голодъ и отдохнувъ, онъ пошелъ дальше, погруженный въ глубокое раздумье о своей горькой участи. Долго ли, коротко ли онъ шелъ, онъ ничего не помнилъ. Очнувшись отъ задумчивости, онъ шелъ дальше, оглядывался кругомъ и опять шелъ. Онъ даже времени не считалъ и не соображалъ — и не по чемъ и не зачѣмъ было — и все шелъ. Вдругъ, нечаянно взглянувъ передъ собою, онъ увидѣлъ какія-то зданія, какъ будто улицы, словомъ городъ. Онъ робко вошелъ въ него, пошелъ по длинной улицѣ, дошелъ до какого-то дворца и сада. У воротъ стоялъ инвалидъ, который на его истертомъ вицмундирѣ увидѣлъ офицерскіе знаки, вытянулся въ струнку.

— Можно туда? — робко спросилъ Хабаровъ, показывая на садъ.

— Можно, ваше благородіе, пожалуйте!

Хабаровъ, нахлобучивъ на себя фуражку, углубился въ

уединенную аллею сада, погруженный въ тяжелыя размышленія. Его грызла неотступная мысль, что̀ ему теперь осталось дѣлать? Умереть, наложить на себя руку... Боже сохрани! Онъ отгонялъ отъ себя эту мысль, онъ былъ христіанинъ, онъ вѣровалъ, молился... Но всѣ средства были имъ истощены... ничего не осталось, ничего... А самъ все шелъ...

Вдругъ въ его грудь уперлась чья-то рука, съ краснымъ обшлагомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ раздался строгій голосъ:

— Кто ты? Зачѣмъ здѣсь? Какъ сюда зашелъ?

Хабаровъ поднялъ глаза: передъ нимъ самъ императоръ Александръ Павловичъ.

— Кто ты такой?—спросилъ грозно императоръ.

Хабаровъ снялъ съ себя фуражку и тихо отвѣчалъ:

— Отставной штабсъ-ротмистръ Хабаровъ.

— Вѣроятно, выгнанный изъ полка за пьянство и гнусное поведеніе?

Хабаровъ досталъ не разлучавшіеся съ нимъ изъ фуражки свои документы, указъ объ отставкѣ и рекомендательное письмо великаго князя и подалъ ихъ императору.

Государь машинально взглянулъ на указъ объ отставкѣ, но съ особеннымъ вниманіемъ прочиталъ свидѣтельство великаго князя.

— Что жъ довело васъ до этого положенія? — спросилъ, понизивъ тонъ, государь.

Хабаровъ собрался съ силами и разсказалъ государю исторію всего того, что онъ претерпѣлъ въ Петербургѣ съ тѣхъ поръ, какъ оставилъ военную службу. Какъ онъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ былъ записанъ кандидатомъ, гдѣ именно, какъ сначала секретари, потомъ швейцары отгоняли его отъ дверей, потомъ разсказалъ о частныхъ своихъ занятіяхъ, наконецъ перешелъ къ работѣ у шпиля и въ заключеніе показалъ свои дрожащія, покрытыя мозолями руки.

Выслушавъ этотъ простой, но краснорѣчивый разсказъ

и взглянувъ на покрытыя мозолями ладони Хабарова, государь вынулъ платокъ и закрылъ имъ глаза.

— Къ Дибичу!—сказалъ онъ, указывая въ сторону дворца:—онъ узнаетъ мои повелѣнія!

Онъ отвернулся и пошелъ отъ него прочь, закрывая глаза платкомъ.

Хабаровъ стоялъ неподвижно минуты двѣ, пораженный тѣмъ, что произошло. Онъ той же аллеей вышелъ вонъ изъ сада и у того же инвалида спросилъ, гдѣ живетъ Дибичъ. Инвалидъ показалъ на дворецъ.

— Тамъ вамъ скажутъ гдѣ!—промолвилъ онъ.

Хабаровъ пришелъ къ дворцу и спросилъ, гдѣ живетъ генералъ Дибичъ. Какой-то придворный лакей мимоходомъ показалъ на дверь и скрылся. Хабаровъ вошелъ.

Въ передней, въ залѣ, никого не было, ни курьера, ни лакея. Въ слѣдующей затѣмъ комнатѣ Дибичъ барабанилъ пальцами по стеклу и что-то насвистывалъ.

Хабаровъ, постоявъ еще нѣсколько минутъ, наконецъ кашлянулъ, чтобъ обратить на себя вниманіе генерала.

— Кто ты такой? Какъ сюда зашелъ? Отчего о тебѣ не доложили?—обернувшись, спросилъ онъ, какъ государь.

— Я отставной штабсъ-ротмистръ Хабаровъ и меня послалъ къ вамъ самъ государь!—отвѣчалъ Хабаровъ и подалъ ему свои документы.

Дибичъ посмотрѣлъ и тотъ и другой документы, потомъ взглянулъ еще разъ на Хабарова и сказалъ ему:

— Я сегодня увижу государя и узнаю его волю на вашъ счетъ, а теперь, видя ваше положеніе, я догадываюсь, что вамъ нужно вотъ это!

Съ этими словами онъ подошелъ къ столу, досталъ сто рублей и подалъ ихъ Хабарову.

— Запишите вашъ адресъ,—сказалъ онъ, и позвонилъ.

Тутъ явились и адъютанты, и курьеры, и лакеи, записали фамилію и адресъ Хабарова.

Хабаровъ, имѣя сто рублей въ карманѣ, не сообразилъ, что онъ можетъ домой пріѣхать хоть въ коляскѣ, пѣшкомъ добрался до Петербурга, добрался до перваго трактира и велѣлъ подать себѣ что-нибудь поѣсть. Съ утра онъ ничего не ѣлъ. У него пересохло горло.

V.

Онъ только-что успѣлъ отдать хозяйкѣ деньги и легъ на свою убогую постель, забывшись сномъ.

— Сердешный, какъ умаялся! Гдѣ-то ты побывалъ?—сказала хозяйка, принимая отъ него деньги.

На другой или на третій день прискакалъ фельдъегерь изъ Царскаго Села и отыскалъ его, но онъ былъ безъ памяти. Около него стоялъ какой-то призванный хозяйкой лѣкарь. Фельдъегерь пріѣхалъ, чтобы пригласить его на другой день къ Дибичу. Но потрясенный нравственными впечатлѣніями, встрѣчей съ государемъ и словами его и Дибича, вслѣдствіе всего испытаннаго имъ, онъ заболѣлъ нервной горячкой и пролежалъ больной около шести недѣль. Въ это время отъ Двора пріѣзжалъ не разъ докторъ и, вмѣстѣ съ призваннымъ хозяйкой врачомъ, слѣдили за его болѣзнью и лѣчили его, старались около него, какъ близкаго своего знакомаго. Хозяйка его и бывшій у нея другой жилецъ ходили за нимъ какъ родные, такъ что черезъ нѣсколько недѣль онъ всталъ съ постели и могъ прохаживаться по комнатѣ.

Между тѣмъ Дворъ не оставлялъ его безъ освѣдомленій: почти каждый день курьеръ пріѣзжалъ узнавать о его здоровьѣ и наказывалъ хозяйкѣ, что какъ только онъ выздоровѣетъ, то, чтобъ явился къ генералу Дибичу.

Наконецъ Хабаровъ могъ выйти со двора и явился къ генералу Дибичу, когда тотъ пріѣхалъ въ Петербургъ. Онъ принялъ его ласково.

— Вотъ что государь велѣлъ мнѣ вручить вамъ.—Онъ

подалъ ему толстый пакетъ.—Мѣсто почтмейстера, которое назначено было для васъ, уже занято,—прибавилъ онъ.—Но вы получите, когда выздоровѣете совсѣмъ, мѣсто смотрителя работъ при строящемся въ Москвѣ храмѣ Спасителя въ память изгнанія французовъ. Объ этомъ уже писано въ Москву.

Хабаровъ, возвратясь домой, нашелъ въ пакетѣ пять тысячъ рублей ассигнаціями, пожалованными ему государемъ. Когда онъ вновь обмундировался и явился къ генералу Дибичу, тотъ сначала не узналъ его, такъ онъ измѣнился къ лучшему, потомъ сказалъ ему, чтобъ онъ немедленно отправился въ Москву, къ мѣсту новаго своего назначенія.

Хабаровъ не долго собирался, онъ распрощался съ хозяйкой, съ товарищами по житью, собралъ свои вещи и бѣлье и отправился въ Москву. Но передъ отъѣздомъ онъ зашелъ въ Казанскій соборъ, долго молился и горячо благодарилъ за Божественную помощь въ претерпѣнныхъ испытаніяхъ и внезапную радость превратности судьбы.

Въ Москвѣ тогда архитекторъ Витбергъ задумалъ смѣлый планъ построить храмъ на Воробьевыхъ горахъ. Планъ этотъ былъ впослѣдствіи оставленъ, но въ то время работы были въ полномъ ходу, и Хабаровъ назначенъ былъ смотрителемъ рабочихъ. Онъ явился къ митрополиту, къ Витбергу, и занялъ свое мѣсто.

Углицкій, отъ котораго я слышалъ этотъ разсказъ, былъ у него въ гостяхъ въ его палаткѣ, видѣлъ кругомъ прекрасную обстановку, чистую постель, мебель, ковры, черешневые чубуки, янтари и прочее, что только могло льстить избалованному вкусу.

Хабаровъ разсказалъ ему эту самую исторію и все то, что здѣсь мною со словъ Углицкаго записано.

20-го августа 1891.

МАЙ МѢСЯЦЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

Очеркъ.

(Посмертное произведеніе.)

На одномъ изъ проспектовъ въ Петербургѣ былъ, а можетъ-быть и теперь есть, высокій домъ, который одною стороной выходилъ на какой-то каналъ, а другою въ противоположную улицу. Съ боковъ, въ улицѣ и переулкѣ были жилыя помѣщенія.

Посреди двора тянулся также флигель и разныя квартиры.

Словомъ, домъ былъ обширный.

Съ лицевой стороны два главные подъѣзда принадлежали къ большой квартирѣ въ бельэтажѣ, занимаемой генераломъ графомъ и супругою его графиней Рѣшетиловыми.

Графъ былъ человѣкъ военный и возраженій на свои приговоры не допускалъ. Только отъ равныхъ себѣ по чину онъ принималъ противныя его взгляду мнѣнія. На низшихъ же смотрѣлъ свысока.

У графа были дѣти. Одинъ сынъ служилъ въ гвардіи, въ Конномъ полку, другой былъ пажъ.

У графини была дочь, подростокъ. Она еще не выѣзжала. У нея была гувернантка.

Съ другой стороны въ бельэтажѣ жилъ какой-то важный чиновникъ, а вверху надъ ними проживали двѣ дѣвицы-сироты, уже на возрастѣ.

Внизу былъ ренсковый погребъ, хозяинъ котораго, купецъ Гвоздевъ, очень заинтересованъ этими дѣвицами.

Всякій разъ при проходѣ ихъ, стоя на порогѣ своего магазина, онъ низко раскланивался, чѣмъ дѣвицы весьма обижались. Чего-чего онъ ни дѣлалъ, чтобъ привлечь ихъ вниманіе! Напримѣръ, на Святой недѣлѣ, онъ купилъ гдѣ-то на Невскомъ проспектѣ, въ иностранномъ магазинѣ, яйцо такой чудовищной величины; что ахнулъ весь домъ. Онъ доверху набилъ яйцо конфетами и принесъ къ сестрамъ-дѣвицамъ, чтобы похристосоваться съ ними. Сестры тоже ахнули и не могли отказаться отъ христіанскаго обычая.

Когда у него были занятія въ погребѣ, онъ высылалъ вмѣсто себя мальчика, и тотъ давалъ ему знать немедленно, лишь только сестры показывались на тротуарѣ.

На дворѣ помѣщался нѣкто Чихановъ съ женой. Онъ занималъ четыре комнаты: двѣ были отдѣланы особенно чисто, а другія двѣ попроще.

Надъ нимъ жили три чиновника холостыхъ, съ кухаркой.

Надъ ними еще чиновники. Посерединѣ тоже ютились разные жильцы и расположены были торговыя помѣщенія.

Всѣмъ этимъ домомъ завѣдывалъ управляющій, всегда отсутствующаго хозяина, Иванъ Ивановичъ Хохловъ. Это былъ нѣсколько высокій, сутуловатый человѣкъ, съ большой бородавкой на щекѣ, покрытой волосами, и съ вѣчной улыбкой, которою онъ сопровождалъ свои шутки. Онъ всегда шутилъ. Занималъ онъ нѣсколько комнатъ въ среднемъ корпусѣ, изъ которыхъ одна была обращена въ контору. Въ ней онъ принималъ просителей, т.-е. жильцовъ дома. Тѣ, которые были поважнѣе, приглашали его къ себѣ, въ томъ числѣ и графъ генералъ.

Вотъ, кажется, все, что можно сказать объ этомъ домѣ.

Утромъ домъ только-что просыпался. Раньше всѣхъ проснулись, конечно, голуби, воробьи и кошки. Кошки вылѣзали изъ трубъ чердаковъ, гоняясь за голубями. Но, кажется, сами сознавали безполезность своихъ покушеній: онѣ только-что присядутъ, чтобъ броситься на добычу, голубямъ и воробьямъ стоило своротить въ сторону или перелетѣть на другую крышу — и кошки притворялись, что это ихъ будто вовсе не занимаетъ и что онѣ дѣлаютъ такъ только чтобъ не терять своихъ пріемовъ гоняться за пернатыми. Но горе тѣмъ, кто оплошаетъ!

Все прочее еще спало, хотя было давно свѣтло. Въ это время, въ маѣ, на Сѣверѣ всегда свѣтло.

Часовъ въ семь, дворникъ Архипъ вынесъ самоваръ, обхвативъ его какъ друга рукой, и началъ звать товарища своего пить чай. На другомъ дворѣ наблюдалось то же самое. Окончивъ это дѣло, если только тутъ было сколько-нибудь дѣла, они принялись мести, вздымая пыль, навозъ и другое, что валялось на мостовой. Около нихъ образовались цѣлыя облака, до самой крыши. Домъ и улицы — все утонуло какъ въ дыму.

Сверху вдругъ раздался крикливый голосъ кухарки:

— Что вы пылите-то, черти! Я только-что поставила сливки на подоконникъ простудить, а вы намели пыли.— Она поперхнулась и закашлялась.—Право, черти! — прибавила она.

Но самихъ дворниковъ не было видно. Только голосъ изъ облака отвѣчалъ:

— Какъ же намъ быть, когда *самъ* поѣдетъ, дворы и передъ домомъ улицу надо вымести.

И принялись опять мести.

Галлерея, или какъ дворники прозывали «галдарея», просыпалась. Лакеи чистили мундиры графа и сыновей его.

На другой сторонѣ горничныя отряхали пыль съ платьевъ, ботинокъ графини, дочери ея и гувернантки.

Внизу, на обоихъ подъѣздахъ, швейцары ставили самовары. Одинъ пузатый, плѣшивый, — не самоваръ, а швейцаръ,—со стороны графини, а другой, въ военномъ унтеръ-офицерскомъ мундирѣ, со стороны графа. Нельзя было не замѣтить трубы изъ синей бумаги на одномъ изъ самоваровъ.

Былъ еще восьмой часъ утра. Оба швейцара (одинъ пилъ кофе, а другой—чай) напились, одѣлись и ждали девяти часовъ, когда приносятъ письма и газеты.

Съ улицы городовой просунулъ-было на дворъ голову и крикнулъ дворникамъ:

— Что вы, съ ума, что ли, сошли, пыль столбомъ до самой крыши! Экъ напустили!

Онъ закашлялся и плюнулъ.

Тогда дворники очнулись:

— Сами же вы велѣли...—началъ-было одинъ.

— Такъ я велѣлъ поливать, а вы что дѣлаете, только пыль разводите!

Тогда дворники, одинъ взялъ шайку, другой полоскательную чашку, стали поплескивать воду на дворъ и на мостовую передъ домомъ.

Какой-то ранній прохожій, зажимая носъ и жмурясь, спѣшилъ пройти мимо.

— Что это вы за пыль подняли на улицѣ: нельзя дышать!—упрекнулъ онъ.

— Полиція велитъ!—сказалъ первый дворникъ.

Съ противоположной стороны ѣхала на дрожкахъ барыня, и зонтикомъ, сколько могла, защищалась отъ пыли.

— Какая пыль! Что это вы, съ ума сошли?—сказала она.

— Полиція велитъ!—отвѣчалъ второй дворникъ.

Около дома на другой сторонѣ, и около другихъ домовъ, дворники твердили то же самое и неистово мели улицу, не

заботясь о прохожихъ и проѣзжихъ. У нихъ была одна отговорка: «полиція такъ велитъ».

Пыль кое-какъ осѣла.

Наконецъ ударило 9 часовъ, графу и дѣтямъ его понесли чай, а графинѣ, дочери и гувернанткѣ—кофе.

Вотъ проѣхалъ и *самъ*, т.-е. частный приставъ. Онъ зорко осмотрѣлъ домъ, улицу и дворъ, погрозилъ почему-то дворникамъ и вытянувшемуся въ струнку городовому.

Почталіонъ принесъ газету, журналы и письма.

Тогда оба швейцара принялись разбирать, кому какіе журналы, а кому письма.

— Кто его знаетъ, по-французски это или по-другому; кому это письмо, а кому другое?—говорилъ военный швейцаръ.

— Ужъ я вамъ тысячу разъ твердилъ,—замѣтилъ статскій:—это по-французски, а это по-аглицки.

На это замѣчаніе военный только погладилъ свою голову и ничего не сказалъ, а самъ, кажется, думалъ:

«Богъ знаетъ, что ты тамъ скажешь».

Статскій высокомѣрно поглядѣлъ на военнаго, разобралъ все по порядку, но все перепуталъ, такъ что потомъ пришлось все перебирать опять. Въ серединѣ двора сверху раздался голосъ Чиханова:

— Дворникъ, дворникъ! Поди сюда!

Одинъ изъ дворниковъ уткнулъ только вверхъ голову и ничего не сказалъ. А товарищъ ему тихо говорилъ:

— Не ходи, это Чихановъ тебя зоветъ, опять куда-нибудь пошлетъ.

Первый въ нерѣшительности смотрѣлъ вверхъ и ничего не говорилъ. Голосъ сверху опять повторилъ:

— Дворникъ, тебѣ говорятъ, иди сюда!

— Не ходи!—твердилъ товарищъ его. — Онъ опять тебя пошлетъ куда-нибудь, къ итальянцу въ Морскую безъ денегъ, а тамъ тебя въ шею вытолкаютъ.

— Какъ не ходить-то, — отвѣчалъ первый: — иной разъ онъ въ долгъ взять велитъ разнаго товару, а другой разъ дастъ сотенную расплатиться тамъ за все, что̀ забрано въ лавкахъ; а когда станешь отдавать ему сдачи, рублевъ слишкомъ десять, «возьми, скажетъ, себѣ на чай!» Такъ-тось!

Сказавъ это, онъ пошелъ вверхъ къ Чиханову. Тотъ велѣлъ ему зайти къ итальянцу и въ другія лавки, купить масла, сыру, вина и прочихъ закусокъ, а денегъ опять не далъ.

Дворникъ постоялъ-постоялъ, взялъ записку—чего купить, и задумчиво, тихо, точно ногами считалъ ступени лѣстницы, пошелъ внизъ.

— Опять денегъ не далъ! — ворчалъ онъ про себя. — Въ лавкахъ, пожалуй, въ шею прогонятъ!

— Я тебѣ говорилъ, не ходи! — замѣтилъ его товарищъ.

Первый взялъ шапку и со вздохомъ пошелъ со двора.

Между тѣмъ, къ управляющему въ контору приходили и уходили разные жильцы дома. Одинъ просилъ отсрочки уплаты за квартиру. Это былъ Чихановъ. Онъ сладкимъ, нѣвучимъ тенoромъ, съ масляннымъ взглядомъ, просилъ отложить плату до слѣдующей трети.

— Тогда получу и непремѣнно, непремѣнно отдамъ...

— Будто!.. — сказалъ на это Иванъ Ивановичъ и улыбнулся по-своему. — Не вѣрится мнѣ!

Другой, напротивъ, принесъ деньги за то же самое. Третій жаловался на течь въ потолкѣ и на сырость.

Иванъ Ивановичъ всѣхъ удовлетворилъ: Чиханову отсрочилъ, какъ онъ просилъ, уплату до такого-то числа, чему тотъ очень обрадовался и проворно убрался къ себѣ; отъ другого Иванъ Ивановичъ принялъ деньги, третьему обѣщалъ прислать мастерового осмотрѣть потолокъ и сдѣлать что̀ нужно.

Чудный человѣкъ былъ этотъ Иванъ Ивановичъ. Онъ

всѣмъ умѣлъ быть полезенъ и всѣмъ угождалъ, и никогда не разставался со своими шутками и со своей улыбкой. Какъ онъ отговаривалъ молодежь обоего пола, стриженыхъ дѣвицъ въ синихъ очкахъ, длинноволосыхъ юношей съ развязными манерами, отъ найма квартиры въ этомъ домѣ! Вообще у него былъ какой-то особый нюхъ на благонадежныхъ и благонамѣренныхъ жильцовъ.

Пришли къ нему какія-то двѣ жилицы и просили взыскать съ нихъ за настоящую треть не всѣ деньги за квартиру, а половину, потому, что онѣ-де переѣзжаютъ на дачу, а вернувшись въ сентябрѣ, заплатятъ остальное. Иванъ Ивановичъ удовлетворилъ ихъ просьбу, зная ихъ аккуратность. Пришелъ въ контору какой-то Зашибаевъ, на котораго онъ смотрѣлъ съ особенной улыбкой.

— Ну, здравствуйте, какъ поживаете?.. Сегодня вы въ новыхъ панталонахъ, вотъ какъ!—сказалъ онъ.

— Это товарищъ мой прислалъ: у него двѣ пары!—безпечно отвѣчалъ Зашибаевъ, небрежно поглядывая на свой костюмъ.

Иванъ Ивановичъ съ улыбкой смотрѣлъ на него.

— Что жъ вы смѣетесь, что панталоны у меня есть!.. И всегда будутъ—безъ панталонъ никто не ходитъ! Нечего и хлопотать, откуда они возьмутся!

Онъ хлопнулъ себя по брюкамъ.

— Что жъ, вы деньги за квартиру принесли за эту треть?—спросилъ Иванъ Ивановичъ.

— Нѣтъ, я зашелъ сказать вамъ, что у меня ихъ нѣтъ.

— Не стоило и заходить! — сказалъ Иванъ Ивановичъ, улыбаясь.—Я зналъ впередъ, что это такъ будетъ.

На другомъ дворѣ важный чиновникъ уѣзжалъ въ свое присутствіе. По фамиліи его звали Вальневъ, а по имени Петръ Егоровичъ, но всего больше величали его «ваше превосходительство», по его чину. Онъ былъ тоже феноменъ въ своемъ родѣ, этотъ важный чиновникъ. Онъ всегда

былъ озабоченъ, говорилъ всѣмъ, что у него пропасть дѣла, и даже увѣрялъ свое начальство, что онъ не спитъ, не ѣстъ, а все дѣлаетъ дѣло. Выпроситъ себѣ какую-нибудь командировку, всегда полегче, а денегъ на нее побольше, сдастъ всѣ дѣла свои другимъ, и возится съ этой командировкой цѣлые мѣсяцы; потомъ увѣряетъ всѣхъ и каждаго, больше всего свое начальство, что безъ него и безъ его трудовъ дѣло бы стояло. Потомъ всѣмъ говорилъ, что былъ тамъ-то вице-директоромъ, тамъ помощникомъ управляющаго, здѣсь состоялъ въ такой-то должности, дѣлалъ то-то... Но никогда не намекалъ, что̀ сдѣлано имъ путнаго на томъ или другомъ мѣстѣ.

Онъ выпросилъ себѣ чиновъ, звѣздъ, денегъ — всего, и начальство было въ недоумѣніи, какую пользу принесъ онъ отечеству, дѣлало, при видѣ его, большіе глаза и отпускало ему все, чего онъ ни попроситъ. За глаза прозвали его «холопомъ», «нахаломъ», но въ глаза ему ничего не говорили, а только спрашивали другъ друга, «въ чемъ состояли его заслуги, и что̀ такое онъ дѣлалъ, чѣмъ взялъ?» На это никто ничего не могъ отвѣтить, многіе пожимали плечами, дѣлали, глядя на него, какъ сказано выше, большіе глаза. Онъ какъ-то проглатывалъ это вольнымъ духомъ и храбро шелъ туда, гдѣ его не знали, увѣрять, что на его плечахъ лежитъ цѣлое вѣдомство.

Онъ былъ небольшого роста, съ маленькимъ лбомъ; съ высшими себя почтителенъ, равныхъ избѣгалъ, а съ низшими наглъ и настойчивъ.

Въ домашнемъ быту своемъ онъ былъ во всемъ приличенъ, но, вглядываясь въ приличіе это, замѣтишь бѣлые швы. У него въ квартирѣ было все сборное, никакого единства, т.-е. вкуса въ обстановкѣ не было. Мебель была изъ Гостинаго двора, картины оттуда же. Тутъ же подъ ногами дорогой персидскій коверъ, о которомъ онъ случайно прочелъ въ газетахъ. Словомъ, когда войдешь въ квартиру, все

на взглядъ было прилично, хотя все смотрѣло врознь. Джентльменомъ онъ не былъ, едва ли даже понимаетъ это слово, или смѣшиваетъ его съ крупнымъ чиномъ. Въ настоящую пору онъ ладилъ, какъ бы ему жениться на богатой, хоть купеческой дочери, и взять приданаго побольше.

Таковъ былъ этотъ важный чиновникъ.

Дѣвицы-сироты пошли пройтись куда-то по набережной.

Хозяинъ ренсковаго погреба, купецъ Гвоздевъ, стоя у себя на порогѣ, съ восторгомъ смотрѣлъ вслѣдъ имъ обѣимъ.

— Эхъ!—кряхтѣлъ онъ, слѣдя за ними влюбленными глазами.

Между тѣмъ насталъ полдень, затѣмъ завтракъ. Къ графу пріѣхалъ завтракать другой генералъ. Дѣти разъѣхались по службѣ. Въ первомъ часу всѣ собралисъ къ столу, также и графиня съ дочерью и гувернанткой.

Послѣ завтрака графъ и гость его, другой генералъ, уѣхали въ свой Совѣтъ, графиня сѣла въ гостиной принимать посѣтителей, а дочь съ гувернанткой скрылись въ своей комнатѣ.

Къ графинѣ—то пріѣдетъ русскій архіерей, то католическій прелатъ, иногда какая-нибудь великосвѣтская барыня съ визитомъ. Графиня одинаково говорила и съ русскимъ преосвященнымъ, и съ католическимъ прелатомъ, и съ великосвѣтской барыней. Услышитъ, напримѣръ, она, что въ такой-то церкви православный священникъ будетъ говорить краснорѣчивую проповѣдь, она ѣдетъ туда, выслушаетъ и умилится искренно. Узнаетъ, что готовится говорить католическій прелатъ, она ѣдетъ въ инославный храмъ и также умиляется, какъ онъ хорошо говорилъ; точно такъ же съ восторгомъ слушаетъ и какого-нибудь апостола изъ свѣтскихъ проповѣдниковъ, нужды нѣтъ, что онъ проповѣдуетъ явный расколъ. А къ вечеру забудетъ ихъ всѣхъ.

Часа въ три, вдругъ графиня, какъ сидѣла, такъ поднялась со своего мѣста, накинула, не глядя, какую-то ман-

тилью на плечи, на ходу надѣла шляпку, перчатки. Ей подали экипажъ, она сѣла и поѣхала, куда глаза глядятъ. Ей предшествовалъ лакей. Она не ѣздила, какъ большинство нашихъ барынь, по магазинамъ, а посѣщала музеи, картинныя галлереи, мастерскія художниковъ.

Дочь съ гувернанткой и лакеемъ пошли въ Лѣтній садъ.

Домъ какъ будто заснулъ. Только, то къ тому, то къ другому подъѣзду, подъѣзжали кареты: лакеи соскакивали со своего мѣста, принимали отъ господъ визитныя карточки, подавали швейцарамъ и ѣхали дальше.

Графиня вернулась къ шести часамъ. Послѣднею ея гостьей была княгиня Перская, пріятельница графини. Она пріѣхала къ послѣдней обѣдать и жаловалась ей, что «измучилась совсѣмъ, дѣлая визиты».

— Представь, я нынче сдѣлала двадцать два визита... это ужасъ!—съ неподдѣльнымъ ужасомъ говорила она.

Графиня съ состраданіемъ покачивала головой.

— Осталось еще визитовъ тридцать!—со вздохомъ добавила она.

— Зачѣмъ ты ихъ дѣлаешь, эти визиты?—спросила графиня.—Ты бы, какъ я, вовсе не ѣздила!

— Нельзя, нельзя!—строго замѣтила княгиня.—Если дѣлать по-твоему—не соберешь у себя на балѣ всѣхъ маменекъ и тетушекъ! Вотъ ты узнаешь, когда будешь вывозить свою Nadine! Хорошо еще, что сегодня въ четырнадцати домахъ не было хозяекъ у себя, я оставила карточки, а въ восьми домахъ приняли — надо было тащиться на лѣстницу!—со вздохомъ прибавила она.—Да... я и забыла сказать тебѣ: представь себѣ, я видѣла во снѣ—гробъ! Что бы это значило?—вдругъ спросила она.

На это графиня только улыбнулась и покачала головой.

Вскорѣ пріѣхалъ ея обыкновенный гость,—высокій, лѣтъ шестидесяти, мужчина, въ бѣломъ батистовомъ жабо, въ черномъ фракѣ, съ прозрачными ногтями, накрахмаленный,

державшій себя прямо, какъ палка. Онъ былъ ежедневнымъ посѣтителемъ и являлся неизмѣнно къ обѣду.

Когда-то онъ былъ неравнодушенъ къ графинѣ, въ ея дѣвичествѣ, но какъ у него было какихъ-то триста, а у графа, тогда еще подполковника, тысячи три душъ, то онъ скромно уклонился отъ сватовства, предоставивъ первому искать руки его предмета, а самъ остался вѣчнымъ обожателемъ графини.

Къ обѣду же пріѣхалъ къ генералу еще какой-то статскій, весь въ звѣздахъ, потомъ явились дѣти, и всѣ сѣли за столъ.

Въ то же утро, часа въ два, пріѣхалъ къ Чиханову старинный его пріятель, богатый князь Копылинъ. Мужъ и жена Чихановы встрѣтили его въ комнатахъ получше.

— Eh bien, mes enfants, какъ поживаете?—сказалъ князь, обращаясь къ мужу и женѣ и пожимая имъ руки.

— Нельзя сказать, чтобы хорошо, князь! — сказалъ Чихановъ.—Сидимъ безъ денегъ и на Антоніевой пищѣ.

— Какъ такъ, «безъ денегъ и на Антоніевой пищѣ»? Что это значитъ?

— Такъ, князь: вѣдь я у васъ просилъ денегъ, потому что... мы ѣдимъ печенку съ огурцами, приходится такъ...

— Sauce Madère?—спросилъ съ нѣкоторымъ вниманіемъ князь.

— Вы смѣшиваете печенку съ почкой: это двѣ вещи разныя!—сказала Чиханова.

— Печенка, печенка!—повторялъ князь.—Qu'est ce que c'est que ça?

— Печенка c'est le foie, а почка c'est le rognon.

— А, теперь понимаю!—сказалъ князь.

Въ это время лакей отворилъ дверь въ другую комнату, гдѣ накрытъ былъ столъ на три куверта.

— Это только для васъ, князь, и при васъ мы позво-

ляемъ себѣ такую роскошь!—сказалъ Чихановъ и просилъ князя принять отъ нихъ завтракъ.

Онъ велѣлъ выставить рядъ закусокъ и винъ, за которыми посылалъ въ лавки дворника, уговорилъ чьего-то повара сдѣлать бифштексъ,—словомъ, все устроилъ, какъ принято въ хорошихъ домахъ.

— Неужели вы ѣдите печенку?—прибавилъ князь, почти съ отвращеніемъ.

Чихановъ комически вздохнулъ.

— Что дѣлать! Денегъ нѣтъ, чтобъ ѣсть, какъ порядочные люди ѣдятъ,—сказалъ, опустивъ глаза, Чихановъ.

Жена его въ это время перебирала концы своей шали. Князь посмотрѣлъ на нихъ обоихъ какъ бы съ состраданіемъ, досталъ со вздохомъ изъ кармана своего бумажникъ, отсчиталъ пять сотенныхъ бумажекъ и отдалъ ихъ Чиханову:

— Вотъ вамъ, на первый разъ довольно! — сказалъ онъ.

Потомъ всѣ принялись за завтракъ. Чихановъ говорилъ, разсказывалъ анекдоты, дѣлалъ удачныя карикатуры общихъ знакомыхъ. И всѣ трое смѣялись, завтракали, пили вино, какъ ни въ чемъ не бывало.

Посидѣвъ еще немного, поговоривъ съ Чихановыми, князь пожалъ имъ обоимъ руки и уѣхалъ.

Чихановы точно ожили. Онъ энергически потрясъ сотенными бумажками; одну отдалъ женѣ, а остальныя спряталъ въ карманъ.

— Ну, теперь недѣли на двѣ разжились! Вотъ сто рублей тебѣ, а остальные мнѣ!

Онъ захохоталъ.

И съ этими словами разошлись въ разныя стороны.

Онъ не зашелъ къ Ивану Ивановичу отдать долгъ за квартиру, а тихо проскользнулъ поспѣшно мимо него, выкупилъ у портного свое платье, потомъ досталъ себѣ билетъ въ театръ, въ первыхъ рядахъ, потомъ пообѣдалъ во фран-

цузскомъ ресторанѣ, вовсе не печенкой, а какъ слѣдуетъ: пятью блюдами, съ бутылкой добраго вина. Такъ прошелъ у него второй и слѣдующіе дни.

А она, жена его, заѣхавъ въ Гостиный дворъ и къ портнихѣ-француженкѣ, одѣлась скромно, но прилично, въ черномъ платьѣ, съ подвязанной щекой, будто отъ зубной боли, и поѣхала къ знакомымъ богатымъ барынямъ клянчить на бѣдность, и добыла въ свою очередь рублей двѣсти.

Когда-то Чихановъ служилъ въ военной и гражданской службѣ, вертѣлся въ большомъ свѣтѣ, жилъ долгами, но былъ всегда франтовски одѣтъ, принятъ въ лучшихъ салонахъ. Его называли «ci-devant jeune homme», «ловкимъ малымъ», а кое-гдѣ и «пустымъ человѣкомъ». Но ему дѣла ни до чего не было, онъ хлопоталъ только о томъ, какъ бы прожить весело день. Жена его была какъ-то въ тѣни и жила своей особенной жизнью.

Къ обѣду сходятся обыкновенно всѣ—всѣ и у графа сошлись. Графъ-генералъ, графиня, дѣти ихъ, тоже и гости сѣли за столъ.

Важный чиновникъ Вальневъ, на другой сторонѣ, пріѣхалъ изъ своего присутствія, пообѣдалъ, легъ спать. Живущія надъ нимъ дѣвицы давно отобѣдали и ушли куда-то въ гости. Опять купецъ Гвоздевъ проводилъ ихъ съ крыльца своего магазина, съ поклономъ и съ улыбкой восторга глядя имъ вслѣдъ.

Генералъ-графъ прислалъ «просить», такъ выразился человѣкъ, а графъ велѣлъ попросту позвать къ себѣ управляющаго домомъ.

— Любезный Иванъ Ивановичъ!—сказалъ онъ по-своему ласково, но выходило это не ласково:—садись, садись здѣсь.

Онъ показалъ ему стулъ. Онъ говорилъ ему то «вы», то «ты» и не зналъ, какъ съ нимъ обращаться. Этотъ Иванъ Ивановичъ былъ только титулярный совѣтникъ и не любилъ соваться впередъ своимъ знаніемъ и образованіемъ.

— Вотъ что,—сказалъ графъ:—у меня на кухнѣ лишній поваръ—мнѣ сегодня только объ этомъ сказали:—нельзя ли его пристроить?

— Отчего же, можно!—подумавъ, съ неизмѣнной улыбкой отозвался Хохловъ:—мѣсто готово, хоть сейчасъ!

— Такъ чего же лучше? Если готово, то и мѣшкать нечего!..—сказалъ графъ.

— Только тамъ денегъ не платятъ,—замѣтилъ Иванъ Ивановичъ, со своей неизмѣнной улыбкой.

И самъ графъ, и гости его залились смѣхомъ. У графа даже эполеты заплясали на плечахъ. Всѣ, выпуча глаза, смотрѣли на Ивана Ивановича.

— Заставятъ поработать вашего повара съ мѣсяцъ или около того, потомъ и откажутъ: «Не хорошо, молъ, не годится», скажутъ ему и дадутъ что-нибудь изъ милости, что̀ вздумаютъ, въ вознагражденіе.

Опять графъ и гости его засмѣялись.

Все это, кажется, Иванъ Ивановичъ выдумалъ, т.-е. «мѣсто для повара, гдѣ денегъ не платятъ», чтобъ графъ не приставалъ къ нему со своимъ предложеніемъ. По крайней мѣрѣ, идучи отъ графа къ себѣ домой, онъ усиленно чему-то улыбался.

Насталъ вечеръ. Чиновники, жившіе надъ Чихановымъ, давно отобѣдавшіе, каждый чѣмъ-нибудь занимался. Одинъ читалъ какую-то книгу, другой разсматривалъ дѣло изъ своей канцеляріи, а третій, постарше, по фамиліи Брагинъ, служившій по особымъ порученіямъ при одномъ директорѣ департамента, что-то усердно писалъ, бормоча про себя: «И на сію командировку положить ему, Лязгину, прогонныя по чину... всего 200 рублей, да суточныхъ примѣрно по 4 рубля, итого...»

Онъ положилъ перо.

— Маланья!—крикнулъ онъ кухарку.

Минуты черезъ двѣ въ комнату вошла пожилая, бойкая женщина. Брагинъ хлебнулъ изъ стакана пунша.

— Маланья!—повторилъ онъ.

— Чего вамъ: я пришла!—сказала Маланья.

— Если бъ ты теперь словила на дворѣ пѣтуха и передала его сосѣдямъ, а полиція предписала бы, во что бы то ни стало, отыскать этого пѣтуха...

Маланья не вдругъ поняла сказанное, и сначала, разиня ротъ, подумала съ минуту, потомъ, кажется, смекнула.

— А какъ она, ваша полиція, отыщетъ его? Я бы взяла и отдала дворнику черезъ задній ходъ... — проворно сказала она.

— Погоди, погоди!—нетерпѣливо перебилъ ее Брагинъ.— Квартальному начальство выдало бы десять рублей за этого пѣтуха...

— Весь пѣтухъ-то не стоитъ и тридцати копеекъ: за что жъ давать десять-то рублей? Да не отыщетъ она никакъ, ваша-то полиція, когда я отдамъ дворнику черезъ задній ходъ, а десять рублей пропадутъ!..

— А вотъ здѣсь посылаютъ офицера и даютъ ему прогонныя и суточныя по чину, тогда какъ дѣло-то все въ трехстахъ рубляхъ.

Одинъ изъ чиновниковъ, Юхновъ, вскочилъ изъ-за стола.

— Да что вы, Андрей Тихоновичъ, опять за свое: теперь стали начальство бранить!

— А что, не нравится!—сказалъ Брагинъ, смѣясь и прихлебывая пуншъ.

Третій чиновникъ, Понюшкинъ, только усмѣхнулся. Маланья посмотрѣла на нихъ всѣхъ трехъ, утерла фартукомъ носъ и ушла къ себѣ.

— Я думала зовутъ за дѣломъ, а они вонъ что выдумали! У меня еще посуда не мыта!—ворчала она.

Въ это время раздался звонокъ. Явился курьеръ отъ экзекутора того департамента, гдѣ служилъ Брагинъ, и

объявилъ послѣднему, что завтра уѣзжаетъ за границу директоръ съ супругой, такъ не угодно ли проводить ихъ превосходительство на станцію. «Такъ, молъ, экзекуторъ велѣлъ сказать».

— Развѣ завтра? Вѣдь директоръ хотѣлъ ѣхать на той недѣлѣ! — возразилъ Брагинъ и въ это время хлебнулъ пунша изъ стакана. Онъ сказалъ курьеру:—Хорошо, скажи, что буду.

Курьеръ ушелъ.

— Тутъ занимаешься дѣломъ, вдругъ извóль провожать директора на станцію!

Онъ вздохнулъ.

— Или въ праздникъ, напримѣръ: чѣмъ бы отдыхать у себя дома, надо поздравлять начальство! И выходитъ — суета суетъ!

Онъ даже плюнулъ.

Юхновъ бросилъ перо и вскричалъ:

— Вы опять, Андрей Тихоновичъ, на начальство роптать!

— Чтò, не понравилось вамъ? — язвительно замѣтилъ Брагинъ:—по-вашему молчи? Ха-ха-ха!

Понюшкинъ опять только усмѣхнулся.

Въ тотъ же вечеръ у графа усѣлись играть въ карты, а къ графинѣ собрались молодые люди и дѣвицы вмѣстѣ съ графскими дѣтьми занялись музыкой.

Швейцары оба все ссорились между собой. Статскій швейцаръ спорилъ съ военнымъ о томъ, чьи гости важнѣе— графа или графини.

— У моего-то графа вонъ какіе, всѣ въ звѣздахъ! А одинъ гость ѣздитъ, махонькій такой: чего-чего на немъ нѣтъ! У васъ такихъ не бываетъ!

— У насъ-то?!—съ презрѣніемъ отозвался статскій:—да у насъ такія бываютъ княгини и графини, что вамъ и во снѣ не видать!

— Легко сказать! - отозвался военный.

Купецъ Гвоздевъ съ порога своего погреба продолжалъ слѣдить восторженнымъ взглядомъ за обѣими дѣвицами. Тѣ торопились пройти мимо или ворочались, замѣтивъ его, домой, перебранивались между собой о томъ, къ кому относятся эти комплименты. Ни одна изъ сестеръ не хотѣла брать ихъ на свой счетъ. Дѣло въ томъ, что онѣ были дочери умершаго коллежскаго совѣтника, слѣдовательно въ нѣкоторомъ родѣ дворянки, а онъ только купецъ.

Что касается Брагина, хотя онъ зарычалъ какъ бульдогъ на извѣщеніе экзекутора объ отъѣздѣ за границу директора и его жены, но на другой день явился на станцію съ глубокимъ поклономъ этому самому директору и букетомъ цвѣтовъ его супругѣ. Онъ не только не былъ пьянъ, но былъ прилизанъ, причесанъ и въ свѣжемъ вицмундирѣ. Онъ и экзекуторъ были между собою пріятели и любили вмѣстѣ выпить. Они жили, что называется, душа въ душу, т.-е. рука руку мыли. Оттого Брагинъ и получилъ извѣщеніе отъ экзекутора объ отъѣздѣ директора за границу.

— Сюда, сюда, ваше превосходительство, сюда пожалуйте!—твердили взапуски экзекуторъ и Брагинъ, приглашая директора на назначенныя имъ мѣста въ вагонѣ.

Директора, кромѣ родныхъ и знакомыхъ, еще провожалъ заступившій его мѣсто въ его отсутствіе вице-директоръ, какой-то нѣмецъ Шленне, человѣкъ тихій и добрый. Онъ пріѣхалъ сюда, какъ для приличія проводить директора, такъ и для того, что директоръ давалъ ему кое-какія наставленія, что̀ дѣлать въ его отсутствіе.

— Да, да, будетъ исполнено, все будетъ! — говорилъ въ отвѣтъ Шленне.

Поговоривъ съ нимъ, директоръ обратился къ Брагину:

— А вы, Брагинъ, не забудьте дѣла̀, которыя я вамъ поручилъ...

— Какъ можно забыть, ваше превосходительство! Сдѣлаю все, все, до дѣла Лязгина включительно...

— Да, дѣло Лязгина... Да, да, — прервалъ директоръ:— вѣдь я вамъ его передалъ?

— Какъ же, ваше превосходительство, оно у меня: Лязгину назначено двѣсти рублей на командировку, да прогонныхъ по чину. Бумага у меня готова...

— Такъ Иванъ Богдановичъ подпишетъ мои распоряженія, офицеръ получитъ деньги и отправится... Да... да... Что̀ еще я хотѣлъ сказать?—торопился директоръ.

— Пойдемъ скорѣе! Мы опоздаемъ! — говорила между тѣмъ директорша, и наскоро отдавала горничной разныя мелкія вещи для размѣщенія ихъ въ вагонѣ и въ то же время прощалась съ родными и знакомыми.

— Adieu, ma chère!—кричали ей разные голоса:—пишите чаще! Прощайте! До свиданья!

— Да, да: я еще что-то хотѣлъ объяснить, да какъ въ этой суматохѣ объяснишь!.. Прощайте, прощайте!..

— А вамъ, Петръ Петровичъ,—обратился директоръ къ экзекутору:—я еще на квартирѣ сказалъ, что̀ безъ меня дѣлать... Еще что-то я хотѣлъ сказать...—говорилъ растерянный директоръ.

— Слушаю, ваше превосходительство, все будетъ сдѣлано,—твердилъ, какъ сорока, экзекуторъ.

Курьеръ между тѣмъ принесъ квитанцію на багажъ, сдачу и подалъ директору.

— Такъ прощайте, до свиданія!—сказалъ директоръ, подавъ руку только вице-директору и своимъ роднымъ.

— Прощайте, ваше превосходительство!—кричали всѣ.

— До свиданія!—повторили директоръ и жена его, высовываясь изъ вагона и кивая головой всѣмъ и каждому.

Больше всѣхъ юлилъ Брагинъ, подавая свой букетъ директоршѣ и цѣлуя ей руку, а директору отвѣшивалъ глубокіе поклоны.

— Прощайте, счастливаго пути вашему превосходительству и скораго возвращенія!

— До свиданія, до свиданія!—раздавалось изъ вагона.

Поѣздъ тронулся и ушелъ.

Родные и знакомые разъѣхались. Вице-директоръ уѣхалъ къ себѣ, Брагинъ и экзекуторъ, рука въ руку, пошли вмѣстѣ.

— Теперь мы покутимъ!—сказалъ Брагинъ.—Директоръ, слава Богу, уѣхалъ, а этотъ вице-директоръ, Иванъ Богдановичъ, мякушка!

— И то мякушка, ты правду сказалъ! И лѣнивый какой — ужасъ! Плохо не клади бумаги, гдѣ стоитъ «вице-директоръ»—сейчасъ подпишетъ.

Брагинъ усмѣхнулся.

— Пойдемъ-ка лучше въ мѣсто злачное и покойное, гдѣ ни печали, ни воздыханій... Туда, знаешь, на уголъ?—сказалъ онъ.

— Хорошо, да только мнѣ надо забѣжать въ департаментъ: тамъ у меня дѣло есть, надо распорядиться.

— И мнѣ нужно на часокъ-другой домой: у меня вѣдь бумаги о Лязгинѣ не готовы, хоть я и сказалъ директору, что написалъ ихъ. Пожалуй, завтра Иванъ Богдановичъ спроситъ.

— Лязгинъ то и дѣло бѣгаетъ къ казначею: ждетъ не дождется, когда получитъ деньги.

Оба засмѣялись.

— Такъ часа черезъ два мы тамъ опять... — сказалъ Брагинъ.—Знаешь?

— Знаю, знаю! — съ усмѣшкой отозвался экзекуторъ, и пріятели разошлись, чтобъ въ скоромъ времени опять сойтись въ трактирѣ.

— Какой же выводъ сдѣлать изъ всего этого? Ровно никакого.

Прошелъ одинъ, другой и третій май-мѣсяцы... Ихъ смѣняли лѣтнія жары, потомъ осеннія непогоды, зимніе морозы и такъ далѣе. Домъ стоитъ все на томъ же мѣстѣ. Надо начать сначала: съ голубей, воробьевъ и кошекъ. Первые выводили новыя поколѣнія, кошки тоже обзаводились котятами. И тѣ, и другія вели между собою войну: кошки учили котятъ гоняться за голубями и воробьями, а воробьи и голуби, въ свою очередь, такъ же, какъ и прежде, перелетали на другую крышу.

Дворники, можетъ-быть все тотъ же Архипъ и его товарищъ, попрежнему ставили самовары и пили чай, потомъ принимались мести дворъ и улицу, въ ущербъ прохожимъ и проѣзжимъ, все съ той же оговоркой: «полиція велитъ». Попрежнему они плескали изъ лаекъ и полоскательныхъ чашекъ воду за дворъ и мостовую.

Попрежнему проѣзжалъ по улицѣ «сѣмъ» и, можетъ-быть, грозилъ пальцемъ дворникамъ и городовому. Шкатулки графа и графини Рѣшетиловыхъ все [illegible] попрежнему разорены, кому какіе алтыны и письма.

Графъ Рѣшетиловъ [illegible] что-то въ [illegible] мнѣ [illegible] [illegible] [illegible]

Кромѣ того, онъ убираетъ свою квартиру, заводитъ мебель, зеркала и ковры, все руководясь газетами. Да еще у своего начальства выпросилъ крупную сумму на свадьбу.

Чихановъ радъ бы переѣхать съ квартиры съ женой на другую, болѣе ему подходящую, но его не пускаетъ неумолимый Иванъ Ивановичъ. Онъ считаетъ за нимъ двѣ трети незаплаченныхъ денегъ. Чихановъ клянется заплатить, лишь только будутъ у него деньги. Но Иванъ Ивановичъ не вѣритъ. Онъ очень искусно переписалъ его вещи на хозяина дома за долгъ и только все улыбается. Чихановъ забѣгалъ къ нему раза три, но, видя его непреклонность, вдругъ бросилъ все — куда-то исчезъ. Іюнь и іюль онъ прожилъ въ одномъ семействѣ, въ августѣ съ кѣмъ-то попалъ за границу, въ сентябрѣ явился оттуда франтомъ и ни о чемъ, попрежнему, не заботился, предоставивъ женѣ своей распоряжаться, какъ она знаетъ. Та уѣхала на лѣто съ одной богатой барыней въ ея имѣніе, оставивъ присматривать за квартирой какую-то старуху изъ богадѣльни.

Дѣвицы-сироты продолжаютъ одна худѣть, другая толстѣть, и все бранятся между собой о томъ, къ кому относятся комплименты купца Гвоздева. Этотъ продолжаетъ восхищаться ими съ порога своего магазина.

Чиновникъ Брагинъ теперь ужъ управляетъ отдѣленіемъ. Съ экзекуторомъ онъ попрежнему закадычный пріятель и получилъ казенную квартиру.

Кончивъ всѣ дѣла въ департаментѣ, они садятся за карты и къ ночи расходятся по своимъ квартирамъ, не совсѣмъ трезвые. Брагинъ, съ вечера, послѣ пунша, либеральничаетъ напропалую и бранитъ, какъ всегда, свое начальство, а утромъ является къ директору почтительнымъ чиновникомъ.

Юхновъ служитъ въ отдѣленіи Брагина и пріютился на маленькой квартирѣ въ казенномъ домѣ подъ крылышкомъ Брагина. Когда этотъ выпьетъ вечеромъ пунша, Юхновъ попрежнему возмущается за либеральныя его выходки про-

тивъ начальства. Утромъ же Брагинъ, отрезвившись, во всемъ соглашается съ нимъ и пользуется его услугами.

Жизнь все жизнь, все понемногу движется, куда-то идетъ все впередъ и впередъ, какъ все на свѣтѣ, и на небѣ, и на землѣ... Только, кажется, одинъ Иванъ Ивановичъ какъ будто не измѣнился. Онъ попрежнему управляетъ домомъ, живетъ и лѣто и зиму постоянно въ городѣ, со всѣми говоритъ шутя и все улыбается. Да, онъ, какъ будто, не измѣнился.

А почему же онъ отговорилъ отъ квартиры, вакантной послѣ Брагина, какихъ-то длинноволосыхъ молодыхъ людей и стриженую барышню, и поспѣшилъ отдать ее какому-то своему, повидимому, пріятелю, прозванному имъ «философомъ», съ которымъ онъ ничего общаго не имѣлъ?

Тотъ лѣтъ десять все составляетъ какой-то лексиконъ восточныхъ языковъ, да кромѣ того занимается астрономіей, перечелъ всѣ авторитеты отъ Ньютона, Гершелей, до какого-нибудь Фламмаріона, и все хочетъ добиться, есть ли жители на Венерѣ, Марсѣ и другихъ планетахъ, какіе они, что̀ дѣлаютъ и прочее?

Онъ тоже охотникъ разсуждать объ отвлеченныхъ предметахъ и говоритъ, все говоритъ, когда къ нему зайдетъ Иванъ Ивановичъ! А этотъ послѣдній заходитъ туда каждый день, слушаетъ философа одного молча и серьезно, улыбаясь только его сестрѣ, молодой вдовѣ, на которой будто бы, какъ разсказываютъ злые языки въ домѣ, онъ не прочь и жениться. Онъ и дачу нанялъ подъ городомъ близко, перевезъ туда брата и сестру, и кончивъ свои занятія въ домѣ, ѣздитъ туда ежедневно, обѣдаетъ съ ними и поздно вечеромъ возвращается въ городъ.

Почему же все это? А будто не измѣнился! Нѣтъ, видно, измѣнился и онъ, и его жизнь идетъ куда-то впередъ, какъ все на бѣломъ свѣтѣ...

ОГЛАВЛЕНІЕ

ДВѢНАДЦАТАГО ТОМА:

Стр.

Воспоминанія:

I. Въ университетѣ 5

II. На родинѣ 44

Слуги стараго вѣка:

I. Валентинъ 166

II. Антонъ 186

III. Степанъ съ семьей 200

IV. Матвѣй 213

Превратность судьбы. Очеркъ. (Посмертное произведеніе.) . . . 247

Май мѣсяцъ въ Петербургѣ. Очеркъ. (Посмертное произведеніе.). 261

Алфавитный указатель

къ двѣнадцати томамъ.

Антенъ, т. XII, 186.

Біографическій очеркъ: Иванъ Александровичъ Гончаровъ, т. I, 3.

Валентинъ, т. XII, 166.

Воспоминанія, т. XII, 3.

Въ университетѣ, т. XII, 5.

Замѣтки о личности Бѣлинскаго, очеркъ, т. XI, 159.

Иванъ Савичъ Поджабринъ, очеркъ, т. XI, 188.

Литературный вечеръ, очеркъ, т. XI, 3.

Лучше поздно, чѣмъ никогда, критическія замѣтки, т. I, 29.

Май мѣсяцъ въ Петербургѣ, очеркъ (посмертное произведеніе), т. XII, 261.

Матвѣй, т. XII, 213.

Мильонъ терзаній, очеркъ, т. XI, 117.

На родинѣ, т. XII, 44.

Нарушеніе воли, очеркъ, т. II, 213.

Обломовъ. Романъ въ четырехъ частяхъ.

Часть первая, т. III, 5.

» *вторая*, т. III, 193.

Часть третья, т. IV, 5.

» *четвертая*, т. IV, 115.

Обрывъ. Романъ въ пяти частяхъ.

Часть первая, т. VIII, 5.

» *вторая*, т. VIII, 188.

» *третья*, т. IX, 5.

» *четвертая*, т. X, 5.

» *пятая*, т. X, 138.

Обыкновенная исторія. Романъ въ двухъ частяхъ.

Часть первая, т. I, 93.

» *вторая*, т. II, 5.

Превратность судьбы, очеркъ (посмертное произведеніе), т. XII, 247.

Слуги стараго вѣка (изъ домашняго архива), т. XII, 159.

Степанъ съ семьей, т. XII, 200.

Фрегатъ Паллада. Очерки путешествія въ двухъ томахъ.

Томъ первый, т. V, 5.

» *второй*, т. VI, 5, т. VII, 5.

Черезъ двадцать лѣтъ, т. VII, 252.

PG
3337
G6
189
V.1,
c.2

JAN 7 '69

13. 06 [illegible]

APR 30 '87

[illegible] 22 '86

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.